
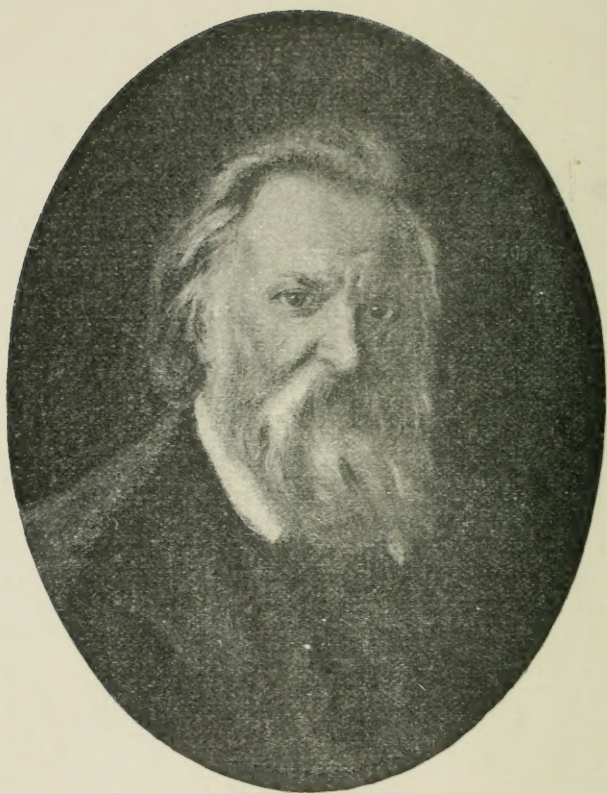




3 1761 07747580 4



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto



А. И. Герценъ.

(Съ портрета Н. Ге, 1867 г.).

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА.

Томъ IV.

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА

И

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

~~~~~  
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.  
~~~~~

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

—
Т о м ъ IV.

—
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Ф. Павленкова.
1905.

AC
65
H63
L4



1116750

Оглавление IV-го тома.

Публицистическія и критическія статьи.

	СТР.
Знаменитые современники. Гоффманъ	1
Рѣчь, сказанная при открытіи Вятской публичной библіотеки 6-го декабря 1837 г.	16
Отдѣльныя мысли	19
Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ	22
Разсказы о временахъ Меровингскихъ	26
По поводу одной драмы.	31
Москва и Петербургъ.	52
Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ	60
Дилетантизмъ въ наукѣ:	
Глава I.	67
Глава II. Дилетанты-романтики	81
Глава III. Дилетанты и цехъ ученыхъ	97
Глава IV. Буддизмъ въ наукѣ.	115
Публичныя чтенія г. Грановскаго.	
Письмо первое.	136
Письмо второе.	140
Письмо первое о «Москвитянинѣ» 1845 г.	146
«Москвитянинъ» и вселенная.	147
Умъ хорошо, а два лучше.	153
Путевыя записки г. Ведрина	157
Письма объ изученіи природы:	
Письмо первое. Эмпирія и идеализмъ	163
Письмо второе. Наука и природа—феноменологія мышленія.	190
Письмо третье. Греческая философія	203

Письмо четвертое. Последняя эпоха древней науки	стр. 243
Письмо пятое. Схоластика	269
Письмо шестое. Декартъ и Бэконъ	290
Письмо седьмое. Бэконъ и его школа въ Англіи	301
Письмо восьмое. Реализмъ	317
Публичныя чтенія г-на профессора Рулье	337
Истинная и послѣдняя эмансипація рода человѣческаго отъ злѣй- шихъ враговъ его	347
Капризы и раздумье:	
По разнымъ поводамъ	351
Cogitata et visa	352
Новыя варіаціи на старыя темы	362
Станція Едрово.	376
Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести	391
«Москвитянинъ» о Коперникѣ	413
Оба лучше	417
Изъ писемъ путешественника. Во внутренности Англіи	423
Изъ воспоминаній объ Англіи.	430
Русская колонія въ Парижѣ.	436
Опытъ бесѣды съ молодыми людьми.	440
Разговоры съ дѣтьми. Пустые страхи. Вымыслы	452
Примѣчанія	459

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКІЯ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

Знаменитые современники ¹⁾.

ГОФФМАННЪ.

Родился 24 января 1776.

Умеръ 25 июня 1822.

(Н. П. О—у).

I.

. . . . Die Künstler und die Räuber. das
Ist eine Art der Leuten Beide meiden
Den breiten staubigen Weg des Alltagslebens;
Oehlenschläger, **Correggio.**

Всякой Божій день являлся поздно вечеромъ какой-то чело-
вѣкъ въ одинъ винный погребъ въ Берлинѣ: пилъ одну бутылку
за другой и сидѣлъ до разсвѣта. Но не воображайте обыкновен-
наго пьяницу: нѣтъ! Чѣмъ болѣе онъ пилъ, тѣмъ выше парила
его фантазія, тѣмъ ярче, тѣмъ пламеннѣе изливался юморъ на
все окружающее, тѣмъ обильнѣе вспыхивали остроты. Его стран-
ности, постоянство посѣщеній, его литературная и музыкальная
слава привлекали цѣлый кругъ обожателей въ питейный домъ,
и когда иностранецъ пріѣзжалъ въ Берлинъ, его вели къ Лют-
теру и Вегнеру, показывали непремѣннаго члена и говорили:
вотъ нашъ сумасбродный Гоффманъ. Посмотримъ на эту жизнь,
оканчивающуюся питейнымъ домомъ. Жизнь сочинителя есть
драгоценный комментарий къ его сочиненіямъ, но не жизнь гер-
манскаго автора; для нихъ злой Гейне выдумалъ алгебраическую
формулу: «родился отъ бѣдныхъ родителей, учился теологіи, но
почувствовалъ другое призваніе, тщательно занимался древними
языками, писалъ, былъ бѣденъ, жилъ уроками и передъ смертью
получилъ мѣсто въ такой-то гимназіи или въ такомъ-то универ-
ситетѣ». Но «есть люди, подобные деньгамъ, на которыхъ чека-
нится одно и тоже изображеніе; другіе похожи на медали, выби-
ваемые для частнаго случая» ²⁾; и къ послѣднимъ-то принадле-
жалъ сказавшій эти слова Гоффманнъ. Его жизнь нисколько не

¹⁾ *Телескопъ XXXIII.*

²⁾ Hoffmann's Lebensansichten des Kater Murr.

была похожа на прозябаніе, она самая странная, самая разнообразная изъ всѣхъ его повѣстей: или лучше въ ней-то зародышъ всѣхъ его фантастическихъ сочиненій.

Одинокѣ воспитывался Гоффманнъ въ чинномъ, чопорномъ домѣ своего дяди. Странное вліяніе на душу младенческую дѣлаетъ одиночество: оно навсегда кладетъ зародышъ какой-то робости и самонадѣянности, дикости и любви, а болѣе всего мечтательности. Посмотрите на такого ребенка: блѣдный, тонкій, едва живой, онъ такъ похожъ на растеніе, выросшее въ парникѣ, такъ нѣжно, такъ застѣнчиво, такъ близко жметъ къ отцу, такъ краснѣетъ отъ каждаго слова и при каждомъ словѣ такъ сосредоточенъ самъ въ себѣ, что если онъ только не лишенъ способностей, то изъ него необходимо выйдетъ человѣкъ, не принадлежащій толпѣ: ибо онъ не въ ней воспитанъ, ибо онъ не былъ въ передѣлкѣ у толпы какого-нибудь пансіона, которая бы научила его завидовать чужимъ успѣхамъ, унизила бы его чувства, развратила бы его воображеніе. Вотъ такое-то дитя былъ Гоффманнъ ¹⁾. Главная отличительная черта подобнымъ образомъ воспитанныхъ дѣтей состоитъ въ томъ, что они, будучи окружены взрослыми людьми, рано зрѣютъ чувствами и умомъ, для того чтобъ никогда не созрѣть вполне: теряютъ прежде времени почти все дѣтское, для того чтобъ послѣ на всю жизнь остаться дѣтьми. Ребенокъ Гоффманнъ—большой человѣкъ, мечтатель, страстный другъ Гинцеля и рѣшительный музыкантъ: но онъ скверно учится, и это слѣдствіе воспитанія, въ которомъ человѣкъ долженъ развиваться самъ изъ себя: надо непременно побывать въ публичномъ заведеніи, чтобъ получить утиную способность пожирать равнымъ образомъ десять разныхъ наукъ, не любя ни которой, изъ одного благороднаго соревнованія. Гоффманнъ находилъ скучнымъ Цицерона и не читалъ его; призваніе его было чисто художническое; не форумъ,—консерваторія была ему нужна. Въ томъ же домѣ, гдѣ воспитывался Гоффманнъ, жила сумасшедшая женщина, пророчившая въ изступленіи высокую судьбу своему сыну, Захаріи Вернеру! Какія странныя впечатлѣнія должна была она сдѣлать на младенческую душу сосѣда!

Гоффманна юному отправили въ университетъ um die Rechte zu studiren, назначая его на юридическое поприще. Но для него тягостенъ университетъ съ своими пандектами и Брадербургскимъ правомъ, съ своей латинью и профессорами; его пламенная душа начинаетъ развиваться, его фантазія жаждетъ восторговъ, жизни; а что можетъ быть наиболѣе удалено отъ всего фантастическаго, всего живого, какъ не школьныя занятія!

¹⁾ И онъ очень хорошо знаетъ огромное вліяніе своего воспитанія между четырьмя стѣнами, какъ видно изъ писемъ его къ Гинцелю.

Da wird der Geist noch wohl dressirt.
In Spanische Stiefeln eingeschnürt ¹⁾.

Онъ становится мраченъ, ибо начинаетъ разглядывать дѣйствительный міръ во всей его прозѣ, во всѣхъ его мелочахъ; это простуда отъ міра реальнаго, это холодъ и ужасъ, навѣваемый дыханіемъ людей на грудь чистаго юноши. И тутъ-то рождается въ немъ потребность сорваться съ пути битаго, обыкновеннаго, пыльнаго, которую мы равно видимъ во всѣхъ истинныхъ художникахъ. Онъ все, что вамъ угодно: живописецъ, музыкантъ, поэтъ... только, ради-Бога, не юристъ, не буднишный, всеневный человѣкъ. И эта борьба между симпатіею и необходимостью составляетъ его дѣлать пресмѣшныя вещи. Получивъ хорошее мѣсто въ Позенѣ, знаете ли, чѣмъ онъ дебютировалъ? Каррикатурами на всѣхъ своихъ начальниковъ; тѣ отвѣчали на нихъ доносомъ, и Гоффманнъ не успѣлъ привыкнуть къ Позену, какъ его отставили. Спустя нѣсколько времени, мы видимъ его важнымъ совѣтникомъ правленія въ Варшавѣ. Но онъ не перемѣнился; это все тотъ же музыкантъ: хлопочетъ, трудится, собираетъ деньги, чтобъ завести филармоническую залу; успѣлъ, и *Regierungs-Rath Hoffmann*, въ засаленной курткѣ, цѣлые дни на строилахъ разрисовываетъ плафонъ залы; окончивъ, онъ же является капельмейстеромъ, бьетъ тактъ, дирижируетъ, сочиняетъ такъ усердно, что нисколько не замѣчаетъ, что вся Европа въ крови и огнѣ. Между тѣмъ война, видя его невнимательность, рѣшается сама посѣтить его въ Варшавѣ; онъ бы и тутъ ее не замѣтилъ, но надо было на время прекратить концерты. Гоффманнъ въ горѣ: но черезъ нѣсколько дней пишетъ къ Гитцигу, что концерты снова продолжаются, что онъ побранился съ Наполеоновымъ капельмейстеромъ; «что-жъ касается до политическихъ обстоятельствъ, онѣ меня не очень занимаютъ;.. искусство, вотъ моя покровительница, моя защитница, моя святая, которой я весь преданъ!»... Должно-ли послѣ того удивляться, что Шлегель и Вильменъ розно понимаютъ литературу, что одинъ далъ ей самобитный полетъ, чтобъ не заставить ее дѣлать скучный покой своей родины, а другой приковалъ ее къ обществу, чтобы ускорить развитіе литературы, сообщивъ ей быстрое движеніе гражданственности. Шлегель и Вильменъ, это—Германія и Франція: Германія, мирно живущая въ кабинетахъ и библіотекахъ, и Франція, толпящаяся въ кофейныхъ и Пале-Ройялѣ; Германія, внимательно перечитывающая свои книги, и Франція, два раза въ день пожирающая журналы. Гоффманнъ, занятый до того концертами, что не замѣтилъ приближенія Наполеона, есть типъ прошедшаго,

¹⁾ Goethe. Faust. 1 Th.

сверхъ-земного направленія литературы германской. По большей части сочинители, жившіе до 1813 года, воображали, что все земное слишкомъ низко для нихъ, и жили въ облакахъ; но это имъ не прошло даромъ. Теперь, когда Германія проснулася при громѣ Лейпцигской битвы, явилось новое поколѣніе, болѣе земное, болѣе національное. Теперь Гейне бичуетъ своимъ ядовитымъ перомъ направо и налѣво старое поколѣніе, которое разбило себя съ родиной, прошлую эпоху, которая такъ колоссально, такъ величественно окончилась въ Веймарѣ 22 марта 1832 года. Впрочемъ Гёте страшно причислить къ этому направленію: Гёте былъ слишкомъ высокъ, чтобъ имѣть какое-либо направленіе, слишкомъ высокъ, чтобъ участвовать въ этихъ гомеопатическихъ переворотахъ... Какъ бы то ни было, Гоффманнъ самъ очень чувствовать и очень хорошо представилъ односторонность германскихъ ученыхъ, окопавшихъ себя валомъ отъ всего человѣчества, въ превосходной повѣсти своей «*Datura Tastuosa*». Но обратимся къ его жизни.

Принужденный оставить Варшаву и свою *собственноручную* залу, онъ отправился въ Берлинъ съ шестью лундорами, которые у него на дорогѣ украли; пристроился какъ-то къ Бамбергскому театру, и съ того-то времени (1809) собственно начинается литературное его поприще: тогда написалъ онъ дивный разборъ Бетховена и Крейслера. Впрочемъ, это еще не тотъ Крейслеръ, изъ жизни котораго макулатурные листы попались въ когти знаменитому Коту Мурру, а начальное образованіе, основа этого лица, которому Гоффманнъ подарилъ все свои свойства, который нѣсколько разъ является въ разныхъ его сочиненіяхъ и который занимать его до самой кончины. Вскорѣ узнала его вся Германія, и Гоффманнъ является формальнымъ литераторомъ. Этому удивиться нечего: Германія страна писанія и чтенія. «Что бы мы ни дѣлали одной рукой, въ другой непременно книга, говоритъ Менцель. Германія нарочно для себя изобрѣла книгопечатаніе, и безъ устали все печатаетъ и все читаетъ» ¹⁾. Въ то же время Гоффманнъ пишетъ музыкальныя произведенія, даетъ уроки, рисуетъ, снимаетъ портреты и *par dessus le marché* острить, просить, чтобъ ему платили не только за уроки, но и за пріятное препровожденіе времени; сверхъ всего того, онъ при театрѣ компонистъ, декораторъ, архитекторъ и канцельмейстеръ. Впрочемъ, финансовыя его обстоятельства все не блестящи: 26 ноября 1810 г. въ дневникъ его написана печальная фраза: «*den alten Rock verkauft um nur essen zu können*» ²⁾. Эта цестрая жизнь служить до-

¹⁾ Die deutsche Litteratur. von W. Menzel.

²⁾ Проданъ старый сюртукъ, чтобъ ѣсть.

казательствомъ, что безпорядочная фантазія Гоффманна не могла удовлетворяться *нѣмецкой болѣзью*—литературой. Ему надобно было дѣятельности живой, дѣятельности въ самомъ дѣлѣ; и вы можете прочесть въ его журналѣ того времени, какъ онъ страстно былъ влюбленъ въ свою ученицу—«онъ, женатый человѣкъ!» (какъ будто женатымъ людямъ отрѣзывается всякая возможность любить!)

Съ 1814 года настаетъ послѣдняя эпоха жизни Гоффманна, обильная сочиненіями и дурачествами. Онъ поселился въ Берлинѣ, въ этомъ первомъ городѣ Брандербургскаго курфиршества, который сдѣлался первымъ городомъ Германіи, *sauf le respect que je dois Вѣнѣ* съ ея аристократической улыбкой, готическими правами и церковью Св. Стефана. Берлинъ не Бамбергъ, Берлинъ живетъ жизнью, ежели не полной, то свѣжей, юной; онъ увлекъ, завертѣлъ Гоффманна, и Гоффманнъ попалъ въ аристократическій кругъ, въ черномъ фракѣ, въ башмакахъ, читаетъ статьи, слушаетъ пѣнье, аккомпанируетъ. Но аристократы скучны; сначала ихъ тонъ, ихъ пышность, ихъ освѣщенные залы нравятся; но все одно и тожъ надобеть до нельзя. Гоффманнъ бросилъ аристократовъ, и съ паркета, изъ душныхъ залъ бѣжалъ все внизъ, внизъ, и остановился въ питейномъ домѣ. «Отъ восьми до десяти», пишетъ онъ, «сѣжу я съ добрыми людьми и пью чай съ ромомъ; отъ десяти до двѣнадцати также съ добрыми людьми, и пью ромъ съ чаемъ». Но это еще не конецъ; послѣ двѣнадцати онъ отправляется въ винный погребокъ, сохраняя въ питьѣ тоже *crescendo*. Тутъ-то странныя, уродливыя, мрачныя, смѣшныя, ужасныя тѣни наполняли Гоффманна, и онъ въ состояніи сильнѣйшаго раздраженія схватывалъ перо и писать свои судорожныя, сумасшедшія повѣсти. Въ это время онъ сочинилъ ужасно много, и наконецъ торжественно заключилъ свою карьеру автобіографіей Кота Мурра. Въ Котѣ и Крейслерѣ Гоффманнъ описывалъ самъ себя; но, впрочемъ, у него въ самомъ дѣлѣ былъ котъ, котораго называли Мурромъ и въ котораго онъ имѣлъ какую-то мистическую вѣру. Странно, что Гоффманнъ совершенно здоровый говаривалъ, что онъ не переживетъ Мурра, и дѣйствительно умеръ вскорѣ послѣ смерти кота. Страдая мучительною болѣзью (*tabes dorsalis*), онъ былъ все тотъ же, фантазія не охладѣла. Лишившись ногъ и рукъ, онъ находилъ, что это прекрасное состояніе; его сажали противъ угольнаго окна, и онъ нѣсколько часовъ сидѣлъ, смотря на рынокъ и придумывая, за чѣмъ кто идетъ ¹⁾, а когда ему прижигали каленымъ желѣзомъ спину, воображалъ себя товаромъ, который клеймятъ по приказу таможеннаго пристава! Теперь, доведши его жизнь до похоронъ, обратимся къ его сочиненіямъ.

¹⁾ Meines Bitters Eckfenster.

II.

Wie heisst des Sängers Vaterland?
 das Land der Eichen,
 Das freie Land, das Deutsche Land.
 So hiess mein Vaterland!

Körner.

Въ Англіи скудно жить: вѣчный парламентъ съ своими готическими затѣями, вѣчныя новости изъ Остъ-Индіи, вѣчный голодъ въ Ирландіи, вѣчная сырая погода, вѣчный запахъ каменнаго угля, и вѣчныя обвиненія во всемъ этомъ перваго министра. Вотъ, чтобъ этой скукѣ помочь, и вздумать одинъ англійскій сирь-тори, ужасный болтунъ, рассказывать старыя преданія своей Шотландіи, такъ мило, что, слушая его, совсѣмъ переносишься въ блаженной памяти феодальныя вѣка. Въ послѣднее время сомнѣвались въ исторической вѣрности его картинъ,—въ чемъ не сомнѣвались въ послѣднее время? Не могу рѣшить, справедливо-ли это сомнѣніе; но знаю, что одинъ великій историкъ ¹⁾ совѣтуетъ изучать исторію Англіи въ романахъ Вальтеръ-Скотта. По моему, въ Вальтеръ-Скоттѣ другой недостатокъ: онъ аристократъ, а общій недостатокъ аристократическихъ росказней есть какая-то апатія. Онъ иногда походитъ на секретаря уголовной палаты, который съ величайшимъ хладнокровіемъ докладываетъ самыя нехладнокровныя происшествія: вездѣ въ романѣ его видите лорда-тори съ аристократической улыбкой, важно повѣствующаго. Его дѣло описывать, и какъ онъ, описывая природу, не углубляется въ растительную фізіологію и геологическія изслѣдованія, такъ поступаетъ онъ и съ человѣкомъ: его психологія слаба и все вниманіе сосредоточено на той поверхности души, которая столь похожа на поверхность геода, покрытаго земляною корою, по которой нельзя судить о кристаллахъ, въ его внутренности находящихся. Не ищите у Вальтеръ-Скотта поэтическаго провидѣнія характера великаго человѣка, не ищите у него этихъ дивныхъ созданій пламенной фантазіи, этихъ *Schwankende Gestalten*, которые на вѣки остаются въ памяти: Фауста, Гамлета, Миньоны, Клода-Фролло: ищите разсказа, и вы найдете прелестный, изящный. У Вальтеръ-Скотта есть двойникъ, такъ, какъ и у Гофманнова Медардуса: это Куперъ, это его alter ego, романистъ Соединенныхъ Штатовъ, этого alter ego Англіи. Американское повтореніе Вальтеръ-Скотта совершенно ему подобно: иногда оно интересуется Шотландіи. Если романы Вальтеръ-Скотта историческіе, то Куперовы

¹⁾ *Lettres sur l'histoire de la France*, par Aug. Thierry.

надобно назвать статистическими; ибо Америка страна безъ исторіи, безъ аристократическаго происхожденія, страна рагвенне, имѣющая одну статистику. Направленіе Вальтеръ-Скотта было господствующее въ началѣ нашего вѣка; но оно никогда не должно было выходить изъ Англіи, ибо оно несообразно съ духомъ другихъ европейскихъ народовъ.

Во Франціи, въ концѣ прошлаго столѣтія, некогда было писать и читать романы; тамъ занимались эпопеею. Но когда она успокоилась въ объятіяхъ Бурбоновъ, тогда ей былъ полной досугъ писать всякую всячину. Знаете-ли вы, что за состояніе называется *спохмелья*. Это состояніе, когда въ головѣ пусто, въ груди пусто, и между тѣмъ насилу подымается голова и дышать тяжело. Точно въ такомъ положеніи была Франція послѣ 1815 года; это было пробужденіе въ своей горницѣ, послѣ шумной вакханаліи, послѣ банка и дуэли. Тогда должна была развиться эта огромная потребность *for niente*, которая нисколько не похожа на квіетизмъ Востока,—квіетизмъ, основанный на мистической вѣрѣ въ себя; ибо на днѣ души было разочарованіе, раскаяніе. Начали было писать романы по подобію Вальтеръ-Скотта; не удались. Юная Франція столь же мало могла симпатизировать съ Вальтеръ-Скоттомъ, сколько съ Велингтономъ и со всеѣмъ торизмомъ. И вотъ французы замѣнили это направленіе другимъ, болѣе глубокимъ; и тутъ-то явились эти анатомическія разъятія души человѣческой, тутъ-то стали раскрывать все смердящія раны тѣла общественнаго, и романы сдѣлались психологическими разсужденіями ¹⁾. Но не воображайте, чтобъ этотъ родъ родился во Франціи; нѣтъ! психологія дома въ Германіи: французы перенесли его къ себѣ цѣликомъ, прибавивъ свое разочарованіе и свой слогъ.

Психологическое направленіе романа несравненно прежде явилось въ Германіи; но не въ такой судорожной формѣ, не съ такимъ страшнымъ опытомъ въ задаткѣ, какъ у за-рейнскихъ сосѣдей. Нѣмца не скоро расшевелишь: привыкнувшій съ юности къ огню Шиллера, къ глубинѣ Гёте, онъ никогда не могъ высоко цѣнить чуть теплую прозу Вальтеръ-Скотта ²⁾; ему надобно бурю и громъ, чтобъ восхищаться природою, ему надобно, чтобъ революція выплеснула Наполеона съ легіонами республики; для того, чтобъ оставить отеческій кровъ, закрыть книгу и подумать о себѣ. Сообразно духу народному, на нѣмецкихъ романахъ лежитъ особая печать глубины фантазіи и чувствъ. Однажды романъ и драма

¹⁾ Бальзакъ, Сю, Ж.-Жаненъ, А. де Виньи.

²⁾ Когда Гитцигъ далъ Гоффманну читать Вальтеръ-Скотта, онъ возвратилъ, не читавши: наоборотъ Вальтеръ-Скоттъ въ Гоффманнѣ находилъ только сумасшедшаго!

приняли было ложное направленіе, затерялись въ скучныхъ подробностяхъ всѣхъ пошлостей частной жизни обыкновенныхъ людей и, будучи еще пошлѣе самой жизни, впади въ приторную, паточную сантиментальность: это Лафонтенъ, Иффландъ, Коцебу. Ихъ читають теперь *die Stubenmädchen* по субботамъ, набирая оттуда цѣлый арсеналъ нѣжностей для воскресенья. Но это отклоненіе романа было обильно вознаграждено прелестными сочиненіями таинственнаго Жанъ-Поля, наивнаго Новалиса, готическаго Тика. Гёте, этотъ Зевесъ искусства, поэтъ Буонаротти, Наполеонъ литературы, бросилъ Германіи своего «Вертера», нѣснь чистую, высокую, пламенную, нѣснь любви, начинающуюся съ самаго тихаго *adagio* и кончающуюся бѣшеннымъ крикомъ смерти, раздирающимъ душу *addio!* За «Вертеромъ» поетъ Гёте другую дивную нѣснь, нѣснь юности, въ которой все дышетъ свѣжимъ дыханіемъ юноши, гдѣ всѣ предметы видны сквозь призму юности, эти вырванные сцены, рапсодіи безъ соотношенія внѣшняго, тѣсно связанныя общей жизнью и поэзіей. И чтѣ за созданія наполняютъ его «Вильгельма Мейстера!» Миньона, баядерка, едва умѣющая говорить, изломанная для гасерства, мечтающая о странѣ лимонныхъ деревьевъ, померанца, о ея свѣтломъ небѣ, о ея тепломъ дыханіи, Миньона, чистая, непорочная какъ голубь: и, съ другой стороны, сладострастная, огненная Филена, роскошная какъ страна юга, пламенная, бѣшеная какъ юношеская вакханалія, Филена, ненавидящая дневной свѣтъ и вполне живущая при тайномъ, неопредѣленномъ мерцаніи лампы, пылая въ объятіяхъ *его*; и тутъ же величественный барельефъ старца, лишеннаго зрѣнія, арфиста, которому хлѣбъ былъ горекъ и котораго слезы струились въ тиши ночной!

III.

Die Kunst ist meine Beschützerin, meine Heilige.
Hoffmann's Brief an Hitzig. 1812.

Въ началѣ нынѣшняго вѣка явился въ нѣмецкой литературѣ писатель самобытный, Теодоръ-Амедей Гофманнъ: покоренный необузданной фантазіи, съ душою сильной и глубокой, художникъ въ полномъ значеніи слова, онъ смѣлымъ перомъ чертилъ какія-то тѣни, какіе-то призраки, то страшные, то смѣшные, но всегда изысканные; и эти-то неопредѣленные, набросанные тѣни — его повѣсти. Обыкновенный, скучный порядокъ вещей слишкомъ тѣнилъ Гофманна: онъ пренебрегъ жалкимъ пластическимъ правдоподо-

біемъ. Его фантазія предѣловъ не знаетъ: онъ пишеть въ горячкѣ, блѣдный отъ страха, трепещущій предъ своими вымыслами, съ всклокоченными волосами: онъ самъ отъ чистаго сердца вѣрить во все: и въ «песочнаго человѣка», и въ колдовство, и въ привидѣнія, и этой-то вѣрой подчиняетъ читателя своему авторитету, поражаетъ его воображеніе и надолго оставляетъ слѣды. Три элемента жизни человѣческой служатъ основою ббльшей части сочиненій Гоффманна, и эти же элементы составляютъ душу самого автора: внутренняя жизнь артиста, дивныя психическія явленія, и дѣйствія сверхъ-естественныя. Все это, съ одной стороны, погружено въ черныя волны мистицизма, съ другой, растворено юморомъ живымъ, острымъ, жгучимъ. Юморъ Гоффманна весьма отличенъ и отъ страшнаго, разрушающаго юмора Байрона, подобнаго смѣху ангела, низвергающагося въ преисподнюю, и отъ ядовитой, адской, змѣиной насмѣшки Вольтера, этой улыбки самодовольствія, съ сжатыми губами. У него юморъ артиста, падающаго вдругъ изъ своего Эльдорадо на землю, артиста, который среди мечтаній замѣчаетъ, что его Галатея кусокъ камня,—артиста, у котораго, въ минуту восторга, жена просить денегъ дѣтямъ на башмаки. Этимъ-то юморомъ растворилъ Гоффманнъ всѣ свои сочиненія и безпрестанно перебѣгаетъ отъ самаго пылкаго паюса къ самой злой ироніи. Этотъ юморъ натураленъ Гоффманну; ибо онъ больше всего художникъ истинный, совершенный. Посмотрите на его статьи объ музыкѣ: назову двѣ: «разборъ Бетховена» и «разборъ Донъ-Жуана». ¹⁾ Тамъ вы увидите, что для него звуки, увидите, какъ они облекаются въ формы, оставаясь безтѣлесными.

«Музыка есть искусство наиболѣе *романтическое*, ибо характеръ ея безконечность. Пира Орфея растворила врата Орка. Музыка открываетъ человѣку невѣдомое царство, новый міръ, не имѣющій ничего общаго съ міромъ чувственнымъ, въ которомъ пропадаютъ всѣ опредѣленные чувства, оставляя мѣсто невыразимому страстному увлеченію.

«Въ сочиненіяхъ Гайдна выражается дѣтская, свѣтлая душа. Его симфоніи ведутъ насъ на необозримые, зеленые луга, въ пестрыя толпы счастливыхъ людей. Мелькаютъ юноши и дѣвы; смѣющіяся дѣти прячутся за деревья и за розовые кусты, бросаются цвѣтами. Жизнь, исполненная любви, блаженства, жизнь до грѣхопаденія, вѣчно юная; нѣтъ страданья, нѣтъ мученій, одно томное, сладкое стремленіе къ милому образу, несущемуся въ блескѣ вечерней зари; онъ и не приближается, и не улетаетъ, и, пока не исчезнетъ, не настанетъ ночь.

¹⁾ Phantasiestücke in Gallotsmanier.

«Въ глубины царства духовъ ведетъ Моцартъ. Страхъ объемлетъ насъ, но безъ мученія; это предчувствіе безконечнаго. Любовь и пѣга дышатъ въ прелестныхъ голосахъ существъ неземныхъ; ночь настаетъ при яркомъ пурпурномъ свѣтѣ, и съ невыразимымъ восторгомъ стремимся мы за призраками, которые зовутъ насъ въ свои ряды, летая въ облакахъ.

«Музыка Бетховена раскрываетъ намъ царство безконечнаго и необъятнаго. Огненные лучи мелькаютъ въ этомъ царствѣ ночи, и мы видимъ тѣни великановъ, которые все болѣе и болѣе приближаются, окружаютъ насъ, подавляютъ, уничтожаютъ; но не уничтожаютъ безконечной страсти, въ которую переливается всякій восторгъ, въ которомъ сыпавлена любовь, надежда, удовольствіе, и въ которой тогда мы только продолжаемъ жить.

«Гайднъ беретъ человѣческое въ жизни романтически; онъ соизмѣримѣ, понятнѣ для толпы.

«Моцартъ беретъ сверхъ-естественное, чудесное, обитающее во внутренности нашего духа.

«Музыка Бетховена дѣйствуетъ страхомъ, ужасомъ, изступленіемъ, болью, и раскрываетъ именно то безконечное влеченіе, которое составляетъ собственно сущность романтизма. Посему-то онъ компонируетъ чисто романтическій; и не оттого-ли происходитъ плохой успѣхъ его въ вокальной музыкѣ, уничтожающей словами этотъ характеръ непрелѣнности и безконечности?..»

Не правда-ли, въ этомъ небольшомъ отрывкѣ видна непомѣрная глубина артистическаго чувства! Какъ полны, многозначущи нѣсколько словъ, мелькомъ брошенные о романтизмѣ!

Хотите-ли вы знать, что такое душа художника, насколько она отдѣлена отъ души обыкновеннаго человѣка, души съ запахомъ земли, души, въ которой запачкано божественное начало? Хотите-ли взойти во внутренность ея, въ этотъ храмъ идеала, къ которому рвется художникъ и котораго никогда во всей чистотѣ не можетъ исторгнуть изъ души своей? Хотите-ли видѣть, какъ бурны его страсти, слѣдовать за нимъ въ буйную вакханалію и въ объятія дѣвы? Читайте Гоффманновы повѣсти: онѣ вамъ представляютъ самое полное развитіе жизни художника во всѣхъ фазахъ ея. Возьмемъ его Глюкка, напримѣръ: развѣ это не типъ художника, кто бы онъ ни былъ—Буонаротти или Бетховенъ, Дантъ или Шиллеръ? Послушайте, вотъ Глюккъ рассказываетъ о минутахъ восторга и вдохновенія:

«Можетъ быть, полузабытая тема какой-нибудь пѣсни, которую мы поемъ на другой манеръ, есть первая мысль, намъ принадлежащая, зародышъ великана, который все пожретъ около себя и все превратитъ въ свою кровь, въ свое тѣло! Путь широкій, на немъ толнится народъ, и все кричатъ: мы посвящен-

ные! мы достигли цѣли! Чрезъ врата изъ слоновой кости входятъ въ царство видѣній, малое число замѣчаютъ эти врата, еще меньшее проходятъ въ нихъ! Здѣсь все страшно: безумные образы летаютъ тамъ и сямъ, и эти образы имѣютъ свои характеры, болѣе или менѣе опредѣленные. Все вертится, кружится; многіе засыпаютъ, и таютъ, уничтожаются въ своемъ снѣ, и нѣтъ тѣни отъ нихъ,—тѣни, которая бы сказала имъ о дивномъ свѣтѣ, которыми озарено это царство. Нѣкоторые, проснувшись, идутъ далѣе и достигаютъ истины. Высокое мгновеніе! минута соприкосновенія съ вѣчнымъ невыразимымъ! Посмотрите на солнце: это троезвучіе (Dreiklang), изъ котораго сыплются аккорды подобно звѣздамъ и обвиваютъ васъ нитями свѣта.

«Когда я былъ въ томъ дивномъ царствѣ, меня терзали и страхъ и боль! Это было ночью; я боялся безобразныхъ чудовищъ, которыя то повергали меня на дно океана, то подымали на воздухъ. Внезапно лучи свѣта прорѣяли въ мракѣ, эти лучи были звуки, освѣтившіе меня какой-то ясностью, исполненною нѣги. Я проснулся: большое, свѣтлое око было обращено на органы, и доколѣ оно было обращено, лилися тоны изъ него, мерцали, сливались въ прелестныхъ аккордахъ, недоступныхъ прежде для меня. Волны мелодій неслись; я погрузился въ этотъ потопъ, уже тонувъ въ немъ, какъ око обратилось на меня, и я остался на поверхности волнъ. Снова мракъ, и явились два гиганта въ блестящихъ доспѣхахъ: основной тонъ (Grund-Ton) и квинта! Они устремились на меня, увлекли. Но око улыбалось: я знаю, что твою грудь наполняетъ страсть; придетъ кроткій, нѣжный юноша—терца; онъ пріобщится къ великанамъ, ты услышишь его сладкій голосъ, и мои мелодіи будутъ твоими».

Возьмемъ Крейсlera, капельмейстера Иогана Крейсlera, котораго нѣмецкій принцъ Ириней называлъ Mr. Krösel; этотъ Mr. Krösel есть лучшее произведеніе Гоффманна, самое стройное, исполненное высокой поэзіи. Тутъ болѣе, нежели гдѣ либо, Гоффманнъ высказалъ все, что могъ, чѣмъ душа его была такъ полна, о любимомъ предметѣ своемъ, о музыкѣ. Крейслеръ—пламенный художникъ, съ дѣтскихъ лѣтъ мучимый внутреннимъ огнемъ творчества, живущій въ звукахъ, дышащій ими, и между тѣмъ неугомонный, гордый, бросающій направо и налево презрительные взгляды. Ему придалъ Гоффманнъ свой собственный характеръ, или, лучше, въ немъ описалъ онъ самого себя, и быстрые, внезапные переливы Крейсlera отъ высокихъ ощущеній къ сардоническому смѣху придаютъ ему какую-то неуловимую фізіономію. И этотъ Крейслеръ поставленъ между двумя существами дивнаго изящества. Одна—дочь Сѣвера, дочь туманной Германіи, что-то темное, неопредѣленное, таинственное, неразгаданное—Гедвига. Другая ды-

шетъ югомъ, Италіей—тѣнь Россіи, тѣнь пламенная, яркая, влюбленная—Юлія. А тутъ для тѣни принцъ Ириней, предобрѣйшій God save the King. Но въ Крейслерѣ еще не вся жизнь художника исчерпана. Глубже понимала ее мрачная фантазія Гоффманна. Она сошла въ тѣ заповѣдныя изгибы страстей, которые ведутъ къ преступленіямъ: и вотъ его «Jesuiten-Kirche». Художникъ живетъ только идеаломъ, любовью къ нему, онъ не дома на землѣ, не между своими съ людьми: для него вся земля огромная собачья пещера, въ которой онъ задыхается. Художникъ въ пылу мечтанія создалъ идеалъ, хранилъ его, лелѣялъ; его идеалъ святъ, чистъ, высокъ, небесенъ: и вдругъ онъ нашелъ его въ женщинѣ, и это женщина матеріальная, и ѣсть и пьетъ, словомъ, женщина изъ костей и мяса, земная жена его! Идеалъ затмился, унизился; порывы творчества исчезли: виновата жена, и онъ убійца ея! Но и тутъ, въ самомъ преступленіи, Гоффманнъ умѣлъ столько разлить изящнаго въ своемъ живописцѣ, и тутъ можно отыскать опять божественное начало художника, такъ что вы не можете ненавидѣть его. Во многихъ другихъ повѣстяхъ представлены прочіе элементы жизни художника: мы не станемъ разбирать ихъ.

Два другіе элемента его повѣстей, явленія психическія и чудесное, по большей части переплетены между собою. Но здѣсь надо сдѣлать яркое раздѣленіе. Однѣ повѣсти дышатъ тѣмъ-то мрачнымъ, глубокимъ, таинственнымъ; другія—шалости необузданной фантазіи, писанныя въ чадѣ вакханалій. Сперва нѣсколько словъ о первыхъ.

Идіосинкразія, судорожно обвивающая всю жизнь человѣка около какой-нибудь мысли, сумасшествіе, ниспровергающее полюсы умственной жизни, магнетизмъ, чародѣйная сила, мощно подчиняющая одного человѣка волѣ другого, открываетъ огромное поприще пламенной фантазіи Гоффманна. Но тутъ еще не все: есть люди, одаренные какою-то невѣдомою силой, заставляющей трепетать передъ ними. Не случилось ли вамъ когда встрѣчать взоръ незнакомца, взоръ удушливый и страшный, отъ котораго вы съ ужасомъ должны отворотиться, и доселѣ помните его? Не случилось-ли встрѣтить цѣлаго человѣка, похожаго на этотъ взоръ, человѣка съ блѣднымъ лицомъ, съ тусклыми глазами, съ судорожной улыбкой, который васъ отталкиваетъ, и въ то же время привлекаетъ? Вотъ въ эти-то темныя, недоступныя области психическихъ дѣйствій не побоялся спуститься Гоффманнъ, и вышелъ—смѣло скажу—торжествующимъ. Это ужъ не Жюль-Ванена натянутыя, вытянутыя, раскрашенныя повѣсти, —дѣти страннаго соединенія философіи XVIII вѣка съ германскою поэзіей. Нѣтъ! Это волчья долина «Фрейшюца» со всеми ея ужасами, съ заколдованными цулими, съ блѣднымъ мерцающимъ свѣтомъ, съ

неистойой музыкой, съ дьявольскимъ аккомпаниментомъ, съ запахомъ ада. Въ этихъ повѣстяхъ вы уже разстаетесь съ обыкновенными людьми, то есть съ людьми, которые во время ѣдятъ, во время спать, во время умирають, проводя жизнь въ добромъ здоровьи, съ людьми, которые по донесенію Парижской академіи имѣють столь счастливую комплексію, что *не могутъ быть магнетизированы*. Нѣтъ, тутъ являются другіе люди,—люди съ душою сильной, обманомъ заключенною въ эту тюрьму ¹⁾, съ ея маленькимъ свѣтомъ, съ ея цѣпиями, съ ея сырымъ воздухомъ. Такая душа не-дома въ тѣлѣ, она безпрестанно ломаетъ его и кончить тѣмъ, что сломаетъ самое-себя; она-то дѣлается необыкновеннымъ человѣкомъ: великимъ мужемъ, великимъ злодѣемъ, сумасшедшимъ—это все равно. У такихъ людей своя жизнь, свои законы. Это кометы, пренебрегающія однообразнымъ эллипсисомъ планетныхъ орбитъ, не боясь раздробиться на пути своемъ. Для того, чтобъ ихъ узнать, рассмотрите у Гоффманна ихъ странныя, исковерканныя черты, ихъ огромныя отклоненія отъ обычнаго прозябанія людей. Вообразите себѣ несчастнаго юношу, котораго разстроенная фантазія облекла въ какой-то страшный образъ, дѣтскую сказку о «песочномъ человѣкѣ», и этотъ «песочной человѣкъ» преслѣдуетъ его вездѣ, и въ отеческомъ домѣ, и въ университетѣ, и ночью, и днемъ, то въ видѣ алхимика, то въ видѣ итальянскаго кіарлатано. Вообразите послѣднюю минуту его иступленія, когда онъ съ неистовымъ восторгомъ бросаетъ свою невѣсту съ колокольни и съ безумнымъ хохотомъ кричитъ: *Feuerurriel dreh' dich! Feuerurriel dreh' dich!!* У Гоффманна цѣлый рядъ этихъ страшныхъ людей: «*Der unheimliche Gast*» ²⁾, «*Der Magnetiseur*». Наконецъ, онъ собралъ всѣ отдѣльные лучи этого направленія и слилъ ихъ въ одинъ адскій, сѣрный огонь: это «*Die Elixire des Teufels*», монахъ Медардусъ. Гоффманну мало было одной жизни, онъ взялъ четыре поколѣнія, наслѣдовавшія другъ отъ друга злодѣйства, и собралъ ихъ всѣ на главѣ Медардуса. Гоффманну мало было одной жизни: онъ представилъ цѣлую семью, рожденную въ гнусныхъ кровосмѣшеніяхъ, и поразилъ ее слѣпымъ мечемъ рока, который вручилъ Медардусу. Этотъ рокъ влечетъ Медардуса отъ преступленія къ преступленію, и никому нѣтъ пощады; у этого рока чистая кровь Авреліи въ свою очередь брызнула на алтарь Божій, какъ кровь невинной жертвы искупленія. Гоффманну все еще было мало: онъ раздвоилъ, разсѣкъ самого

¹⁾ Du weisst dass der Leib ein Kerker ist.

Die Seele hat man hinein betrogen.

Goethe W.-O. Diwan Saki-Nameh.

²⁾ „Недобрый Гость“, перевод. въ *Телеск.* 1836, кн. 1 и 2.

Медардуса на-двое; и какъ страшенъ его двойникъ, съ своей всклокоченной бороною, съ своимъ изодранымъ рубищемъ, съ своимъ окровавленнымъ лицомъ: верхъ ужаса! Я трепеталъ всеми членами, читая, какъ же-Медардусъ гнался въ лѣсу за настоящимъ: мнѣ казалось, я слышать его произвительный, скрывающій какъ ржавое желѣзо голосъ, которымъ онъ звалъ его на бой съ безумнымъ хохотомъ. Этотъ двойникъ Медардуса, братъ его, котораго Медардусъ не знаетъ; онъ сошелъ съ ума на мысли, что онъ Медардусъ, и вотъ онъ преслѣдуетъ Медардуса, который, терзаясь угрызеніями совѣсти, думаетъ, что его существо раздвоилось!—Какая смѣлость фантазіи, и посмотрите, какъ выдержалъ Гоффманнъ всѣ сцены ихъ встрѣчъ, какъ онъ переплелъ эти двѣ жизни, такъ что онѣ и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ розныя!—Это самое сильное произведеніе его фантазіи!

Перейдемъ теперь къ шалостямъ, дурачествамъ его сильнаго воображенія.

Опомнилась—глядить Татьяна...
И что же видить... За столомъ
Сидятъ чудовища кругомъ:
Одинъ въ рогахъ, съ собачьей мордой,
Другой съ пѣтушьей головой.
Здѣсь вѣдьма съ козьей бородой,
Тутъ шевелится хоботъ гордый,
Тамъ карла съ хвостикомъ, а вотъ
Полу-журавль и полу-котъ...

Кому не случалось видать подобныхъ сновъ? Хотите-ли ихъ видѣть на-яву? Вотъ вамъ «Meister Floh», Принцесса Брамбилла, Цинноберъ, Золотой Горшокъ... Это все сны, одинъ безсвязнѣе другого. Тутъ нѣтъ ни мыслей, ни завязокъ, ни развязокъ, но занимательность ужасная. Сны вообще занимательны, а то кто бы велѣлъ человѣку спать ежедневно? Да и какъ не быть имъ занимательными? живи до ста лѣтъ, никогда не встрѣтитесь ничего мудренѣе. Тутъ вы познакомитесь съ принцемъ, который сдѣлался изъ цѣвки; иногда задумается, вспомнить жизнь былую, и вытянется до потолка и съежится въ кулакъ. Тутъ увидите принцессу, которая спитъ въ вѣничкѣ прекраснаго цвѣтка, мила до крайности: но что проку: *oculis non manibus*..... и вотъ ее увеличиваютъ въ микроскопъ, и дѣлаютъ изъ ней прецорядочную барышню. Но пуще всего прошу васъ ненавидѣть Циннобера: онъ, право, злодѣй, мой личный врагъ, и если бы онъ не утонулъ въ рукомыльникѣ, я убилъ бы его. Вообразите: уродъ въ нѣсколько вершковъ, съ тремя рыжими волосами на головѣ, попать въ фаворъ къ колдуньѣ; и что-же? Что кто ни сдѣлай хорошаго, *klein Zaches Zimmober* genannt получаетъ похвалу. Од-

нажды кто-то даетъ концертъ на контръ-басѣ, а публика аплодируетъ, благодарить Циннобера. Взойдите въ это положеніе: вообразите, что вы Даль-Онно, что вы всякой постѣ съ 1700 года ѣздите въ Москву съ контръ-басомъ, и вдругъ вмѣсто васъ хвалятъ Циннобера, а можетъ быть — я не отвѣчаю за него — что всего хуже, ему отдадутъ и деньги за билеты. O horrible! O horrible! Право, я съ робостью узналъ, что Алоизій чернокнижникъ вступилъ съ нимъ въ бой. Алоизій человѣкъ хорошій, живетъ аристократомъ, страусъ въ ливреѣ швейцаромъ, двѣ лягушки у воротъ дворниками, жукъ ѣздитъ за каретой. За то рекомендую вамъ Ансельма; онъ женатъ на зеленой змѣѣ съ голубыми глазами, нужды нѣтъ: съ чужими женами не надобно знакомиться: но онъ васъ познакомитъ съ своимъ свекромъ, архиваріусомъ Линдгорстомъ; чудакъ преестественный, былъ когда-то саламандромъ, въ юности напроказилъ, его прямо изъ Индіи, за нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, въ наказаніе и сослали архиваріусомъ въ Дрезденъ. Гоффманнъ самъ былъ у него въ гостяхъ; онъ ему далъ санскритскую грамоту и стаканъ ямайскаго рома, да вдругъ снялъ сапоги, раздѣлся, и давай купаться въ стаканѣ. Вѣдь я говорилъ вамъ, что чудакъ. Словомъ, вообразите себѣ отдѣльныя сцены Гётевой «Вальпургиснахтъ»: это вѣрный образъ, типъ Гоффманновыхъ сказокъ. Еще къ вамъ просьба — забыть было совсѣмъ — сходите поклониться праху Кота Мурра. Во-первыхъ, былъ онъ человѣкъ ученый, не смотря на то, не былъ никогда человѣкомъ; но я увѣренъ, что со временемъ ясно докажутъ, что прилагательное «ученый» уничтожаетъ существительное «человѣкъ». Далѣе, этотъ котъ самъ Гоффманнъ, котораго, я надѣюсь, вы любите, хоть par courtoisie ко мнѣ. Сходите же, какъ будете въ той сторонѣ, къ нему на могилу.

Теперь, слегка начертавши характеръ Гоффманна, мы окончимъ. Можетъ быть, на досугѣ поговоримъ и о другихъ прозаикахъ Германіи. Въ заключеніе скажу, что Гоффманнъ превосходно переведенъ Леве-Веймаромъ на французскій языкъ и былъ принятъ въ Парижѣ съ восторгомъ. *Когда-нибудь* и у насъ его переведутъ съ французскаго.

1834. апрѣля 12.

Р Ъ Ч Ъ,

сказанная при открытіи Вятской
Публичной Библіотеки 6 декабря 1837 г.

Милостивые Государи!

Съ тѣхъ поръ, какъ Россія въ лицѣ Великаго Петра совѣщалась съ Лейбницомъ о своемъ просвѣщеніи, съ тѣхъ поръ, какъ она царю передала дѣло своего воспитанія,—правительство подобно солнцу ниспослало лучи свѣта тому великому народу, которому только не доставало просвѣщенія, чтобъ сдѣлаться первымъ народомъ въ мірѣ. Оно продолжало жизнь Петра выполненіемъ его мысли, постоянно, неутомимо прививая Россіи науку. Цари, какъ Великій Петръ, стали впереди своего народа и повели его къ образованію. Ими были заведены академіи и университеты, ими были призваны люди знаменитые на ученомъ поприщѣ: а они намъ передали европейскую науку, и мы вступили во владѣніе ея, не дѣлая тѣхъ жертвъ, которыхъ она стоила нашимъ сосѣдямъ: они намъ передали изобрѣтенія, найденныя по тернистому пути, который сами прокладывали, а мы ими воспользовались и пошли далѣе; они передали прошедшее Европы, а мы отворили безконечный индромъ въ будущемъ. Свѣтъ распространяется быстро, потребность вѣдѣнія обнаружилась рѣшительно во всѣхъ частяхъ этой вселенной, называемой Россія. Чтобъ удовлетворить ей, учебныхъ заведеній оказалось недостаточно: аудиторія открыта для нѣкоторыхъ избранныхъ, массамъ надобно другое. Сфинксы, охраняющіе храмъ наукъ, не каждого пропускаютъ и не каждый имѣетъ средство войти въ него. Для того, чтобъ просвѣщеніе сдѣлать народнымъ, надобно было избрать болѣе общее средство и размѣнить, такъ сказать, на мелкія деньги. И вотъ нашъ великій царь предупреждаетъ потребность народную заведеніемъ публичныхъ библіотекъ въ губернскихъ городахъ.

Публичная бібліотека — это открытый столъ идей, за который приглашенъ каждый, за которымъ каждый найдетъ ту пищу, которую ищетъ; это запасной магазинъ, куда одни положили свои мысли и открытія, а другіе берутъ ихъ врось. Въ той странѣ, гдѣ просвѣщеніе считается необходимымъ, какъ хлѣбъ насущный, — въ Германіи, это средство давно уже извѣстно; тамъ нѣтъ маленькаго городка, гдѣ бы не было бібліотеки для чтенія: тамъ все читаютъ: работникъ, положивъ молотъ, беретъ книгу, торговка ожидаетъ покупателя съ книгою въ рукѣ, и послѣ этого обратите вниманіе ваше на образованность народа германскаго и вы увидите пользу чтенія. Это-то вліяніе вмѣстѣ съ положительной пользой распространенія открытій посеяло великую мысль учредить публичныя бібліотеки на всѣхъ мѣстахъ, гдѣ связываются узлы гражданской жизни нашей обширной родины. Августѣйшимъ утвержденіемъ своимъ, государь императоръ далъ жизнь этой мысли и въ большей части значительныхъ городовъ имперіи открыты бібліотеки. Пожертвованія ваши, милостивые государи, доказываютъ, что здѣшнее общество оправдало попеченія правительства. Нѣтъ мѣста сомнѣнію, что святое начинаніе наше благословится Богомъ.

Теперь позвольте мнѣ, милостивые государи, обратиться исключительно къ будущимъ читателямъ: не новое хочу я имъ сказать, а повторить извѣстные всѣмъ вамъ мысли о томъ, что такое книга.

Отецъ передаетъ сыну опытъ, приобретенный дорогими трудами, какъ даръ для того, чтобъ избавить его отъ труда уже совершеннаго. Точно такъ поступали цѣлыя племена, такъ составились на Востокѣ эти преданія, имѣющія силу закона: одно поколѣніе передавало свой опытъ другому; это другое, уходя, прибавляло къ нему результатъ своей жизни, и вотъ составила система правилъ, истинъ, замѣчаній, на которую новое поколѣніе опирается, какъ на предыдущій фактъ, и который хранитъ твердо въ душѣ своей, какъ драгоценное отцовское наслѣдіе. Этотъ предыдущій фактъ, этотъ-то опытъ, написанный и брошенный въ употребленіе, — *есть книга*. Книга, это духовное завѣщаніе одного поколѣнія другому, совѣтъ умирающаго старца юношѣ, начинающему жить, приказъ, передаваемый часовымъ, отирающимся на отдыхъ, часовому, заступающему его мѣсто. Вся жизнь человечества послѣдовательно осѣдала въ книгѣ: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. Она росла вмѣстѣ съ человечествомъ, въ нее кристаллизовались все ученія, потрясавшія умы, и все страсти, потрясавшія сердца: въ нее записана та огромная исповѣдь бурной жизни человечества, та огромная аутографія, которая называется Всемирной исторіей. Но въ книгѣ

не одно прошедшее, она составляет документъ, по которому мы вводимся во владѣніе настоящаго, во владѣніе всей суммы истинъ и успій, найденныхъ страданіями, облитыхъ иногда кровавымъ потомъ; она программа будущаго. Итакъ, будемъ уважать *книгу*! Это мысль человека, получившая относительную самобытность, это слѣдъ, который онъ оставилъ при переходѣ въ другую жизнь.

Было время, когда и букву и книгу хранили тайной, именно потому, что массы не умѣли оцѣнить того, что онѣ выражали. Жрецы Египта, желая пламенно высказать свою теодицею, исписали все храмы, все обелиски, но исписали іероглифами, для того, чтобъ одни избранные могли понимать ихъ. Левиты хранили въ святой скинии, небомъ вдохновенныя, книги Моисея. Настали другія времена. Христіанство научило людей уважать слово человѣческое, народы сбѣгались слушать учителей и съ благоговѣніемъ читали писанія св. отцовъ и легенды. Слово было оцѣнено, а между тѣмъ мысль окрыляла, наука двинулась впередъ, ей стало тѣсно въ школѣ, народы почувствовали жажду познаній, не доставало токмо средствъ распространять мысль быстро, мгновенно, подобно лучамъ свѣта. Германія подарила роду человѣческому книгопечатаніе и мысль написанная разнеслась во все четыре конца міра и отзывалась, тысячу разъ повторенная, въ тысячахъ сердцахъ.

Вспомнивъ это, не грустно ли будетъ думать, что праздность можетъ много заставить приходить сюда, вялой рукою оборачивать страницы, какъ будто книга назначена токмо для препровожденія времени. Нѣтъ, будемъ съ почтеніемъ входить въ этотъ храмъ мысли, утомленные заботами вседневной жизни; придемъ сюда отдохнуть душою и, укрѣпленные на новый трудъ, всякій разъ благословимъ нынѣшній день, столь близкій русскому сердцу, столь торжественный и съ памятью котораго соединяется *день рожденія* нашей библіотеки.

Отдѣльныя мысли.

Произведеніе человѣка имѣетъ цѣлью пребываемость, существованіе, но не всякое: иное производится для гибели другихъ и собственной. Таковъ брандеръ. Его дѣлю жечь, губить и самому погибнуть въ пожарѣ; даже болѣе—самому горѣть прежде корабля. Такъ и провидѣніе: ему нужны всякія орудія и нуженъ брандеръ, который жжетъ. Но легко ли быть имъ? Правда, подобно конгревовой ракетѣ, онъ блескитъ, шумитъ, жжетъ. Но внутри его ядъ, долженствующій разрушить его самого.

Но, вѣдь, не всякій огонь на морѣ—брандеръ. Есть и маяки, фаросы, указующіе путь кораблямъ, ведущіе ихъ въ безопасную пристань, показующіе имъ мели. Брандеръ нуженъ въ войну, фаросъ—всегда.

Вотъ апостолы и революціонеры. Аттила, Аларихъ, Дантонъ, Мирабо были эти *brulots*, пущенные провидѣніемъ въ станъ непріятельскій; Св. Павелъ, Златоустъ, Іоаннъ — фаросы для веси Господней.

Бенедиктины—якобинцы. Та же противоположность.

Человѣкъ, назначенный жечь, давшій мѣсто въ своей груди огню разрушенія, будетъ все жечь. Пожаръ сжигаетъ и икону, и хартію, и стѣну, и пыль на стѣнѣ. Я увѣренъ, что Аттила, Аларихъ, ежели-бъ не они были призваны вести разрушителей Рима, то они были бы простыми воинами этой брани, отъ или по душѣ. Даже ежели-бъ остались дома, то они въ своемъ семейномъ кругу сдѣлали-бы этотъ пожаръ. Примѣръ жизни Мирабо подтверждаетъ это.

14 октября, 1836 года. Еще весьма важный примѣръ—Марать. Прежде чѣмъ онъ являлся въ [не разобрано] камерѣ на трибуну конвента требовать казни поколѣній, онъ былъ докторомъ медицины. Есть его сочиненіе «Полемика о теоріи свѣта», гдѣ онъ

съ такою же яростью опровергаетъ опыты и теоріи предшественниковъ. Кинэ очень остроумно сравнилъ Робеспьера и Фихте, Наполеона и Шеллинга!

Представьте себѣ медаль, на одной сторонѣ которой будетъ изображено преображеніе, на другой— Іуда Искаріотъ!!—Человѣкъ.

Римская исторія имѣетъ то же вліяніе на душу юности, какъ романы на душу дѣвушки.

Откуда сила этихъ типовъ историческихъ?

Греція выразила полную идею изящнаго. Ея архитектура всегда будетъ поражать самой простотой. Римъ сдѣлалъ то же съ своимъ политическимъ бытомъ. Простыми, рѣзкими, гениальными чертами набросалъ онъ жизнь свою. Но въ изящномъ Греція и въ гражданственности Рима одинъ недостатокъ— нѣтъ религіи. Отсюда этотъ характеръ конечности, соизмѣримость.

Ноября 6, 1836 г. Весь вечеръ, занимаясь развитіемъ мысли религіозной въ жизни человѣчества и открывъ нѣкоторые весьма важные результаты,—я радовался. Уже ложась спать, безъ всякаго дѣла развернулъ Декартсгаузена и попалъ на слѣдующій текстъ св. Писанія: «И бѣси вѣрують и трепещуть!» Да, вѣра безъ любви—мечта! Мышленіе безъ дѣйствованія—мечта!

У египтянъ болѣе гордости, болѣе тайны, болѣе касты: въ готизмѣ—болѣе молитвы, болѣе святаго.

Готизмъ или тевтонизмъ имѣетъ какое-то сродство съ духомъ мавританскимъ. Но въ одномъ мысль аскетическая и религіозная: въ другомъ— жизнь разгульная, роскошная. Тамъ—поэзія молитвы, тутъ—поэзія жизни восточной, Дантъ и Аріостъ.

Италія, кажется, нигдѣ во всей чистотѣ не выразила готизма,—она не могла забыть своего прошедшаго.

Искаженные зданія XVII и XVIII вѣка тѣмъ же дурны, какъ и тогдашняя литература. Вездѣ эффекты, поза, натяжка, настоляръ на паркетѣ, театральная декорация, а не самосущность.

Ежели стиль тевтонскій во всей чистотѣ своей выражаетъ христіанство, стиль греческій—политеизмъ, стиль египетскій—религію того края: и ежели мы откроемъ, чѣмъ каждый изъ нихъ выражаетъ свою религію и какъ, тогда не въ правѣ ли мы будемъ дѣлать по тому же закону примыя заключенія отъ стиля храмовъ къ религіи? Напримѣръ, находя въ Пубіи стиль египетскій, заключимъ, что ихъ религія сходна: напротивъ, разсматривая развалины индусскихъ храмовъ, этихъ пенечей, извѣченныхъ въ скалѣ, этихъ пилюновъ четверогранныхъ, или массы, скалы, перенесенныя кельтами, или овальные своды персовъ,—мы ихъ равно отдѣлимъ отъ всего предыдущаго.

Не будемъ дивиться сродству дальнему индѣйскихъ разва-

линь и тевтонскаго стили. Вспомнимъ сходство религiи христiанской и Вишну.

Открытие развалинь Мерое въ Эфиопiи французомъ Cailloud еще далѣе на югъ отталкиваетъ колыбель греческой цивилизаци. Вѣроятно, изъ Эфиопiи населился Египетъ. Храмы того же характера: тамъ встрѣчается уже форма периптеральная храмовъ. Итакъ, и эта форма не есть изобрѣтенiе грековъ. Можетъ, Пира нези очень правъ, говоря, что всѣ ордена только усовершенствованы греками.

Сами египтяне говорятъ, что Изидѣ пришла изъ Эфиопiи и научила ихъ обрабатывать поля.

Храмъ египетскiй (вообще) есть храмъ чисто земной, тѣлесный, изсѣченный въ скалѣ, углубленный, такъ сказать, въ землю, мрачный со своими стройными пилонами. Они выражали свое поклоненiе Озирису, давая ему ужасную человѣческую форму (50 фут., напр., въ Эбсимбулѣ).

Идея тайны грозной, страшной выражалась въ мрачномъ фасадѣ.

Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ.

Въ гражданскомъ обществѣ (*dans le fait social*) прогрессивное начало есть правительство, а не народъ. Правительство есть формула движенія (*du progrès*), выраженіе идеи общества, форма его историческая, фактъ непреложный. Нигдѣ правительство не становилось настолько передъ народомъ, какъ въ Россіи; можетъ, отъ этого оно не всегда было исторически справедливо, не всегда послѣдовательно. Прежде юрисконсультовъ у насъ явились учрежденія съ самыми дробными приложеніями, но зато не всѣ они своевременны и умѣстны.

Сводъ императора Николая—огромнѣйшій юридическій фактъ; онъ остановилъ жизнь юридическую Россіи и, показавъ все совершенное ею, все, что сдѣлало правительство, показалъ, [что] труды индивидуальныя должны теперь облегчить труды правительства.

Возраженія Савиньи противъ германской кодификаціи не идутъ. Сводъ не токмо не ограничилъ, но далъ правильную форму прогрессивному началу законодательства.

Есть ли естественный переходъ отъ «Уложенія» къ законамъ Петра Великаго?

Есть ли и насколько національная сторона [во] вновь выходящихъ узаконеніяхъ отъ Петра до Свода?

Какіе національные элементы перешли изъ Судебника, Уложенія черезъ все царствованіе дома Романовыхъ до Свода? Какіе исключились?

Глубокія изысканія токмо могутъ разрѣшить эти вопросы.

Характеръ законодательства императрицы Екатерины II—философскій, въ смыслѣ филантропіи XVIII вѣка, проникнуть

важнѣйшими идеями для быта гражданскаго. Характеръ законодательства Павла—рыцарскій и, можетъ, не вовсе своевременный. Характеръ законодательства Александра [Павловича] сбивается во многомъ на начальный характеръ постановленій de l'Assemblée nationale и вообще политическаго ученія des garanties.

Въ законахъ Екатерины есть что-то женское, исполненное любви, что-то напоминающее патріархальную Германію. У Александра много Франціи (учрежденіе министерствъ).

Въ законахъ императора Николая виденъ характеръ положительности, котораго не доставало прежде, характеръ внутренней силы государства, чувствующаго всю мощность свою.

У насъ не было системы, послѣдовательности принятія европеизма. Россія воспитана такъ же, какъ мы. Ибо революція Петра была матеріальная.

Въ европейскую эпоху нашего законодательства при самыхъ начальныхъ трудахъ являются два элемента, блестящимъ образомъ развитые императрицей Екатериной II. Эти два элемента лучшее доказательство, насколько правительство стояло выше народа и насколько оно хотѣло поднять его. Я говорю о коллегіальномъ началѣ и о выборахъ. Одна власть исполнительная ввѣрялась лицу; власть судебная и законодательная (въ назначенныхъ предѣлахъ) всегда ввѣрялась мѣсту, а не лицу. Совѣтникъ всегда имѣлъ право подать голосъ, перенести дѣло въ высшую инстанцію; эта высшая опять составляется изъ нѣсколькихъ лицъ, и ежели снова возникнетъ разногласіе, то рѣшеніе вопроса можетъ быть или большинствомъ голосовъ, или же восходить на высочайшее разсмотрѣніе, т. е. къ источнику законодательной власти. Его рѣшеніе не имѣетъ и апелляціи. Такъ и быть должно. Изъ уваженія къ самому народу такъ быть должно; воля царя самодержавнаго—есть воля самого народа, его рѣшеніе имѣетъ святость; эту мысль очень хорошо развили въ восточныхъ законодательствахъ.

Итакъ, съ одной стороны коллегіальное начало и, слѣдственно, большинство голосовъ, съ другой—выборы и, слѣдственно, прямое вліяніе массы, или, лучше сказать, дворянства въ дѣлахъ судебныхъ, ибо представители [его]—во всѣхъ судебныхъ мѣстахъ. Довѣренность правительства была такъ велика, что не токмо судебную власть, но и исполнительную вручило оно отчасти людямъ выбраннымъ, а не назначеннымъ, оставя себѣ главный надзоръ, т. е. губернаторъ, губернское правленіе, городничій,... а, такъ сказать, прямые исполнители, земскій засѣдатель, исправникъ и др.,—избранные. Еще больше. Устройство муниципальное само въ себѣ весьма хорошо: не говоря уже о кушцахъ,—мѣщане и цеховые имѣютъ всѣ нужныя гарантіи. Они сами дѣлаютъ

раскладку городских сборовъ, сами распоряжаются суммами, судить своимъ судомъ свои дѣла (магистраты, ратуши, словесный, сиротскій судъ, наконецъ, коммерческій судъ). Но и въ тѣхъ дѣлахъ, когда они судимы гражданскимъ судомъ или уголовнымъ, голосъ остается въ засѣдателѣ, въ депутатѣ.

Основанія муниципальнаго права, выборовъ, и коллегіальныя учрежденія такъ обширны, что другія страны долгой юридической жизнью своей не достигли ихъ. Можетъ быть, всего менѣе обращено было вниманіе до сихъ поръ на казенныхъ крестьянъ. Но элементъ выбора и большинства голосовъ уже есть въ волостномъ правленіи: уже сверхъ полицейскаго надзора и нѣкотораго участія въ раскладкѣ земскихъ и натуральныхъ повинностей, право составленія приговоровъ довольно велико. Но недостатокъ учреждений по этой части — уже въ виду правительства и отъ министерства государственныхъ имуществъ надлежитъ ждать ихъ. Удѣльное имѣніе въ маломъ видѣ показываетъ планы правительства. Впрочемъ, крестьяне въ другихъ странахъ точно такъ же hors la loi, какъ выходящіе изъ электоральнаго ценза (кроме Швеціи). Замѣтить необходимо, у насъ ценза нѣтъ: право, данное сословію, независимо отъ его состоянія, и въ нѣкоторомъ смыслѣ цензъ имѣетъ жизнь въ нашемъ законодательствѣ только въ переходѣ изъ мѣщанъ въ купцы, изъ гильдіи въ гильдію и, наконецъ, въ почетное гражданство.

Наше законодательство принимаетъ владѣніе за фактъ и только въ этомъ смыслѣ охраняетъ его: лучшее доказательство — это десятилѣтняя давность, безспорное межеваніе ¹⁾.

Взгляните, какая обширная база лежитъ подъ «Уводомъ». Россія и Америка — двѣ страны, которыя поведутъ далѣе юридическую жизнь человѣчества. Россія — какъ высшее развитіе самодержавія на народныхъ основаніяхъ, и Америка — какъ высшее развитіе демократіи на монархическихъ основаніяхъ.

Вотъ что, кажется мнѣ, останавливаетъ болѣе правильное и полное развитіе законодательства.

1) Доселѣ массы не умѣютъ понять своихъ правъ. Говорятъ: «да какой голосъ имѣетъ засѣдатель отъ градекаго общества въ уголовной палатѣ?» Кто же въ этомъ виноватъ? Конечно, не законодательство. Такъ, какъ оно не виновато въ томъ, что совѣтники не подають голоса, боясь председателя или губернатора, въ томъ, что журналъ составленъ весь секретаремъ, котораго дѣло — только изложеніе и справка. Такъ, какъ оно не виновато въ томъ, что дворянинъ богатый и чиновный пренебрегаетъ службой обще-

¹⁾ Главнѣйшее — это раздѣленіе полей по вылазямъ. *Uro Lex agraria* вооп-
лненный кодъ.

ственной, въ то самое время, какъ въ Остзейскихъ провинціяхъ отставные генералы, аристократы не стыдятся служить нѣсколько трехлѣтій на самыхъ низшихъ мѣстахъ. Виновато ли оно въ томъ, что дворяне не считаютъ своихъ суммъ, не требуютъ отчета въ земскихъ повинностяхъ у губернатора?

А причина этому — недостатокъ просвѣщенія, недостатокъ гражданственности, эгоистическая лѣнь, но болѣе всего недостатокъ просвѣщенія.

2) Нѣкоторыя учрежденія основаны совсѣмъ на другихъ началахъ и часто противоположныхъ,—они останавливаютъ другъ друга.

3) Перевѣсь, данный дворянству.

4) Помѣщичье право, исключющее изъ общаго круга людей крѣпостныхъ.

Разсказы о временахъ Меровингскихъ.

(Предисловіе къ первому разсказу).

Извѣстность Огюстина Тьерри, столь справедливо заслуженная новымъ его взглядомъ на событія французской исторіи и увлекательнымъ разсказомъ самихъ событій, давно дошла до насъ; но на этомъ поверхностномъ знакомствѣ мы и остановились; ни одно сочиненіе Огюстина Тьерри не переведено еще на русскій языкъ. Положимъ, что его «Письма объ исторіи Франціи», его «Десятилѣтніе историческіе труды» для нашей публики слишкомъ спеціальны и отчасти лишены интереса, потому что обсуживаютъ и разрѣшаютъ вопросы, не возникавшіе въ ней и къ которымъ она равнодушна; но его «Завоеваніе Англіи норманнами» и «Разсказы о временахъ Меровингскихъ», изданные въ прошломъ году, — великія, обширныя эпопеи, въ которыхъ событія и индивидуальности воссоздаются съ какой-то художественной рельефностью, въ которыхъ давнопрошедшіе вѣка выходятъ изъ могилы, стряхаютъ съ себя пыль и прахъ, обростають плотию и снова живутъ передъ вашими глазами: эти эпопеи имѣютъ интересъ всеобщій, какъ художественныя реставраціи Вальтера Скотта, какъ мрачныя портреты Тацита. Желая передать въ «Отечественныхъ Запискахъ» нѣсколько разсказовъ о Меровингахъ, мы обращаемъ вниманіе читателей на *чисто повѣствовательный* характеръ историческихъ сочиненій Огюстина Тьерри; въ этомъ тайна его чрезвычайнаго успѣха, въ этомъ свидѣтельство его яснаго сознанія французскаго духа и его симпатія съ нимъ; онъ остался вѣренъ ему, не смотря на общее увлеченіе молодой школы къ теоретическимъ мудрованіямъ въ исторіи, онъ писалъ *разсказы*, а не философствованія по поводу исторіи (какъ, напримѣръ, Мишлѣ). Истинная, единая философія, философія-наука не дается еще французамъ, и эклектизмъ Кузена — такъ же мало философія, какъ пространное опроверженіе его, написанное, можетъ быть, сильнѣй-

шей спекулятивной головой, какая теперь есть налицо во Франціи, Пьеромъ Леру 1). Гдѣ нѣтъ философіи какъ науки, тамъ не можетъ быть и твердой, послѣдовательной философіи исторіи, какъ бы ярки и блестящи ни были отдѣльныя мнѣнія, высказанныя тѣмъ или другимъ 2). Тьерри, повторяемъ, остался вѣренъ французскому духу: онъ *разсказываетъ* бывшее прошедшихъ вѣковъ, внося въ разсказъ свой всю живость и увлекательность француза и, не смотря на то, что каждая строка его повѣствованій твердо опирается на множествѣ цитатъ и ссылокъ, разсказы его существуютъ самобытно и независимо отъ нихъ; всѣ матеріалы сплавились въ нѣчто органически живое, въ свободное художественное произведеніе въ мощномъ горнилѣ таланта, и нигдѣ не осталось «запаха лампы» не смотря на то, что много масла было сожжено имъ въ продолженіи двадцатилѣтнихъ глубочайшихъ изысканій и трудовъ. Для того, чтобъ оцѣнить всю прелесть его разсказа, поставьте рядомъ съ нимъ какогонибудь Капфига: онъ, въ сравненіи съ Тьерри, вамъ покажется несчастной каріатидой, раздавленной множествомъ матеріаловъ, актовъ, жалкимъ труженикомъ, выписывающимъ тамъ и сямъ по страницѣ; и какъ бы выписки его ни были занимательны сами въ себѣ, весь трудъ мертвъ, все вмѣстѣ—сухая компиляція. Не говоря уже о томъ, что одно глубочайшее изученіе своего предмета, жизнь въ немъ могла сообщить разсказу Тьерри его одушевленіе и вѣрность, надобно припомнить, что для него изученіе исторіи имѣло современный, живой, общественный интересъ: онъ принялся за древнюю Францію, чтобъ уяснить себѣ тяжкіе вопросы о новой Франціи, въ которой онъ жилъ и для которой жилъ 3). Такое направленіе сообщило еще болѣе энергіи его труду, и въ самомъ направленіи этомъ онъ опять находится въ той области, гдѣ французъ дома и полонъ поэзіи. Но не думайте, чтобъ онъ внесъ какуюнибудь *arrière pensée*, какуюнибудь свою задушевную теорію въ свои изслѣдованія (какъ нѣкогда Буленвилье, Мабли и проч.),—для этого онъ слишкомъ ученъ, слишкомъ талантливъ, слишкомъ добросовѣстенъ.

Самая личность Тьерри занимательна. Страдалецъ науки, онъ потерялъ зрѣніе въ 1826 году отъ непрерывныхъ занятій; рушились всѣ его предпріятія, всѣ замыслы; горестъ начинала

1) *Réfutation de l'éclectisme, où se trouve exposée la vraie définition de la philosophie etc.* par P. Leroux 1839. Paris.

2) Напримѣръ, множество чрезвычайно вѣрныхъ и глубокихъ мыслей у Бюше; въ статьяхъ „Новой Энциклопедіи,“ издаваемой Леру, въ прежнемъ *Revue Encyclopédique* и въ многихъ другихъ сочиненіяхъ.

3) См. въ *Dix ans d'études, historiques*, par A. Thierry, предисловіе и въ особенностяхъ статьи, написанныя отъ 1819 до 1821 года.

овладѣвать имъ, какъ вдругъ явился юный, тогда еще безвѣстный помощникъ, замѣтившій ему съ теплою симпатіей глаза и руку: посредствомъ его слѣпецъ *помирился съ мракомъ* ¹⁾; имъ этого юноши впоследствии сдѣлалось довольно громко, и бѣдному Тьерри пришлось плакать на его могилѣ: то былъ извѣстный Арманъ Каррель. Когда историкъ возобновилъ свои занятія, болѣзненный организмъ его еще разъ объявилъ войну духу: совершенно больной и изнеможенный, онъ долженъ былъ оставить Парижъ: но болѣзнь не побѣдила его. Вотъ что писалъ онъ въ мѣстечкѣ Везуль 10 ноября 1834: «Если интересы науки считать на ряду съ великими національными интересами, то я дамъ родинѣ все, что можетъ дать ей солдатъ, изувѣченный на полѣ битвы. Какова бы ни была участь моихъ трудовъ, примѣръ этотъ не долженъ погибнуть: пусть онъ будетъ уликой противъ нравственнаго изнеможенія, этой язвы новаго поколѣнія: пусть укажетъ онъ на прямую дорогу жизни кому нибудь изъ этихъ разслабленныхъ, жалующихся на недостатокъ вѣрованій, не знающихъ, куда дѣться, гдѣ найти любовь и убѣжденія... Развѣ въ наукѣ нѣтъ убѣжища, пристани, надежды? Съ нею не такъ тягостно идутъ дурные дни, съ нею жизнь употреблена благородно... Слѣпой и страждущій безнадежно, я могу свидѣтельствовать, и моему свидѣтельству должно дать вѣру: есть въ мірѣ нѣчто драгоценнѣе матеріальныхъ наслажденій, богатства, самаго здоровья—*любовь къ наукѣ*». И эта благородная любовь настолько восторжествовала надъ мракомъ и недугами, что въ 1840 году вышли двѣ изящныя книжки «Разсказовъ о временахъ Меровингскихъ», которые Тьерри твердо намѣренъ продолжать. Единодушныя рукоплесканія цѣлой Франціи встрѣтили новый трудъ историка: Франція щедро наградила страждущаго инвалида науки.—объ этомъ писали во всѣхъ газетахъ. Орывки изъ «Разсказовъ» были напечатаны въ его «Dix Ans» и въ «Revue des Deux Mondes» ²⁾. На этотъ разъ мы предлагаемъ *«первый разсказъ»* по исправленному и дополненному тексту вновь вышедшей книги. Сверхъ того, намъ казалось необходимымъ присоединить къ разсказу письмо Тьерри къ издателю «Revue des Deux Mondes», чтобъ разомъ поставить читателя на ту точку зрѣнія относительно временъ меровингскихъ, съ которой всего правильнѣе долженъ освѣтиться рядъ слѣдующихъ картинъ. Вотъ это письмо ³⁾:

1) J'avais fait amitié avec les ténèbres, говорить Тьерри. Какое умиленное, проткое выраженіе! (Dix Ans, Préface).

2) N° du 15 Décembre 1833 et du 15 Juillet 1834.

3) N° du 15 Aout 1833. Оно не перепечатано въ его «Récits» и не было въ томъ нужды, поелѣ его пространной и прекрасной диссертаціи «Considérations sur l'histoire de France», служащей какъ бы введеніемъ къ нимъ.

«М. П. Съ давняго времени утвердилось и распространилось до пошлости мнѣніе, что нѣтъ періода въ нашей исторіи бесплоднѣе и запутаннѣе періода меровингскаго. О немъ говорятъ наскоро, сокращаютъ его, скользятъ по немъ безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти. Мнѣ кажется, въ этомъ пренебреженіи больше лѣни, нежели истины, и если отчасти справедливо, что исторія Меровинговъ запутана, но ужъ вовсе несправедливо, что она бесплодна. Напротивъ, это время исполнено происшествій рѣзкихъ, личностей выразительныхъ, случаевъ драматическихъ, такъ что затрудненіе собственно сводится на приведеніе въ порядокъ огромнаго количества матеріаловъ. Вторая половина шестого столѣтія въ особенности богата интересами для современныхъ историковъ и читателей,—потому ли, что то было время начального смѣшенія между туземцами и побѣдителями, запечатлѣвшаго ее поэтическимъ характеромъ, или она такъ оживлена для насъ простосердечнымъ лѣтописцемъ своимъ, Георгіемъ-Флоренціемъ-Григоріемъ, извѣстнымъ подъ пменемъ Григорія Турскаго. Въ самомъ дѣлѣ, надобно спуститься до временъ Фруасара, чтобъ найти повѣствователя, который могъ бы равняться ему въ искусствѣ драматически выводить людей на сцену. Въ его разсказахъ, иногда забавныхъ, иногда печальныхъ, но всегда истинныхъ и оживленныхъ, выступаютъ перекутанными и смѣшанными всѣ борьбы, всѣ противоположности племенъ, сословій, состояній, вызванныхъ въ Галлію франкскимъ завоеваніемъ. Это галлерей картинъ и изваяній, въ безпорядкѣ расположенныхъ: это древнія народныя пѣсношнія, случайно собранныя вмѣстѣ, и слѣдующія другъ за другомъ безъ всякаго порядка; но изъ нихъ рука искусная можетъ образовать великую поэму. Григорій Турскій и его современники, однимъ словомъ, прекрасный предметъ для художественнаго и историческаго произведенія.

«Если я не осмѣливаюсь предпринять этого труда во всей его обширности, если вся поэма выше силъ моихъ, я могу, по крайней мѣрѣ, обѣщать вамъ нѣсколько эпизодовъ, нѣсколько отрывковъ, которые дадутъ истинное понятіе о странномъ смѣшеніи людей и фактовъ, наполняющемъ періодъ меровингскій. Мое дѣло будетъ—собрать разсыянные, несвязанные между собою случаи и подробности и составить изъ нихъ *массы* повѣствованій. Быть королевскій, внутренняя жизнь ихъ дворцовъ, буйство вельможъ и насилія, междоусобныя войны и войны частныя, коварная мстительность галло-римлянъ и дикая необузданность варваровъ, духъ возмущенія и самоуправства, распространенный даже за стѣны женскихъ монастырей,—вотъ картины, которыя я хочу набросать по современнымъ памятникамъ и которыхъ совокупность должна возстановить Галлію шестого вѣка. Я изучу до малѣйшихъ под-

робностей судьбы исторических лицъ, буду слѣдовать за ними черезъ все фазы ихъ существованія и постараюсь дать реальность и жизнь тѣмъ, которыя были наиболѣе оставлены въ тѣни новѣйшею исторіей. Наконецъ, надъ всеми ими будутъ господствовать три индивидуальности, типически выражающія свой вѣкъ: Фредегонда, Еоній Муммоль и самъ Григорій Турскій: Фредегонда — идеаль первонаачальнаго варварства безъ всякаго сознанія добра и зла; Муммоль — образованный человѣкъ, который по доброй волѣ *развращается* въ варварство для того, чтобъ быть своевременнымъ; Григорій Турскій — человѣкъ прошедшаго, но прошедшаго лучшаго, нежели тягостное настоящее, вѣрное эхо скорбныхъ звуковъ, исторгавшихся у благородныхъ сердецъ при видѣ гибнущей цивилизаціи!»

По поводу одной драмы.

Сердце жертвуетъ родъ лицу,
разумъ—лицо роду. Человѣкъ безъ
сердца не имѣетъ своего очага;
семейная жизнь зиждется на серд-
цѣ: разумъ—*res publica* человѣка.
Изъ какой-то нѣмецкой книги.

Отличительная черта нашей эпохи есть *grübeln*. Мы не хотимъ шага сдѣлать, не вырази́мъ его, мы безпрестанно оста́навливаемся, какъ Гамлетъ, и думаемъ, думаемъ... Нѣкогда дѣйствовать: мы переживаемъ непрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся съ нами и съ другими,—ищемъ оправданій, объясненій, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее насъ подверглось пытующему взгляду критики. Это болѣзнь промежуточныхъ эпохъ. Встарь было не такъ: всѣ отношенія, близкія и дальнія, семейныя и общественныя были опредѣлены — справедливо ли, нѣтъ ли,—но опредѣлены. Оттого много думать было нечего: стоило сообразоваться съ положительнымъ закономъ, и совѣсть удовлетворялась. Все существующее казалось тогда натурально, какъ кровообращеніе, пищевареніе, которыхъ причина и развитіе спрятаны за спиною сознанія, но дѣйствуютъ своимъ порядкомъ, безъ того, чтобъ мы объ нихъ заботились, безъ того, чтобъ мы ихъ понимали. На всѣ случаи были разрѣшенія; оставалось жить по писанному. А если и являлись когда сомнѣнія, ихъ легко было разрѣшить; стоило спросить папу, напริมѣръ, или обмакнуть руку въ кипятокъ,—и истина открывалась. На всѣхъ перепутьяхъ жизни стояли тогда разныя неподвижныя тѣни, грозныя привидѣнія для указанія дороги, и люди покорно шли по ихъ указанію. Иногда спорили, почему указана та дорога, а не другая, но никому и въ голову не приходило, откуда взялись эти привидѣнія, и по какому праву распоряжаются они. Ихъ принимали за фактъ, имѣющій самъ въ себѣ узаконеніе и котораго признанное

бытіе — непреложное ему доказательство. Ко всему привязывающійся, сварливый вѣкъ, уничтожая все, что попадалось подъ руку, добрался, наконецъ, до преданій предковъ, подточилъ ихъ основаніе, сжегъ огнемъ критики, преданія исчезли. Стало просто: но просторъ даромъ не достается: мы узнали, что вся отвѣтственность, падавшая вѣкъ ихъ, падаетъ на насъ; самимъ пришлось смотрѣть за всѣми и занять мѣста привидѣній, которые стали злѣе грызть совѣсть. Сдѣлалось тоскливо и страшно: пришлось проводить сквозь горнило сознанія статью за статью прежняго кодекса, пока этого не сдѣлано, начали *grübeln*. Ясное, какъ дважды-два—четыре, нашимъ дѣдамъ исполнилось мучительной трудности для насъ. Въ событіяхъ жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ насъ преслѣдуютъ неразрѣшимые вопросы, и, вмѣсто того, чтобъ наслаждаться жизнью, мы мучимся. Подъ часъ, подобно Фаусту, мы готовы отказаться отъ духа, вызваннаго нами, чувствуя, что онъ не по груди и не по головѣ намъ. Но бѣда въ томъ, что духъ этотъ вызванъ не изъ ада, не съ планетъ, а изъ собственной груди человѣка, и ему нѣкуда исчезнуть. Куда бы человѣкъ ни отвернулся отъ этого духа, первое, что попадетъ на глаза, это онъ съ своими вопросами. *Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu!*

Безотходный духъ критики овладѣлъ и театромъ: мы его приносимъ съ собою въ партеръ. Сочинитель пишетъ пьесу для того, чтобъ пояснить свое сомнѣніе,—и, вмѣсто того, чтобъ отдохнуть отъ дѣйствительной жизни, глядя на воспроизведенную искусствомъ,—мы выходимъ изъ театра, задавленные мыслями тяжелыми и неловкими. Это понятно. Театръ—высшая инстанція для рѣшенія жизненныхъ вопросовъ. Кто-то сказать, что сцена — представительная камера познѣи. Все тяготящее, занимающее извѣстную эпоху, само собою вносится на сцену и обсуживается странной логикой событій и дѣйствій, разворачивающихся и свертывающихся передъ глазами зрителей. Это обсуживаніе приводитъ къ заключеніямъ не отвлеченнымъ, но трепещущимъ жизнью, нестерпимымъ и многостороннимъ. Тутъ не лекція, не поученіе, поднимающее слушателей въ сферу отвлеченныхъ всеобщностей, въ безстрастную алгебру, мало относящуюся къ каждому, потому именно, что она относится ко всѣмъ. На сценѣ жизнь схвачена во всей ея полнотѣ, схвачена въ дѣйствительномъ осуществленіи лицами, на самомъ дѣлѣ, *flagrant délit* съ ея общечеловѣческими началами и частно-личными случайностями, съ ея ежедневной пошлостью и съ ея грязной, всепожирающей страстью, скрытой подъ пыльной плевою мелочей, какъ огонь подъ золой Везувія. Жизнь схвачена и, между тѣмъ, не остановлена: напротивъ, стремительное движеніе продолжается, увлекаетъ зрителя съ собою.

и онъ съ прерывающимся дыханіемъ, боясь и надѣясь, несется вмѣстѣ съ развертывающимся событіемъ до крайнихъ слѣдствій его,—и вдругъ остается одинъ. Лица исчезли, погибли; онъ переживаетъ ихъ жизнь, успѣлъ полюбить ихъ, взойти въ ихъ интересы. Ударъ, разразившійся надъ ними, рикошетомъ былъ ударъ въ него. Такая страстная близость зрителя и сцены дѣлаетъ сильную, органическую связь между ними; по сценѣ можно судить о партерѣ, по партеру о сценѣ. Партеръ не чужой сценѣ: онъ въ родѣ хора греческой трагедіи; онъ не внѣ драмы, а обнимаетъ ее волнами жизни, атмосферой сочувствія, которая оживляетъ актёра; и сцена, съ своей стороны, не чужая зрителю: она переноситъ его не дальше, какъ въ его собственное сердце. Сцена всегда современна зрителю, она всегда отражаетъ ту сторону жизни, которую хочетъ видѣть партеръ. Нынче она участвуетъ въ трупораззятіи жизненныхъ событій, стремится привести въ сознаніе всѣ проявленія жизни человѣческой и разбираетъ ихъ, какъ мы, судорожной и трепетной рукой, потому что не видитъ, какъ мы, ни выхода, ни всего результата этихъ изслѣдованій. Она дѣлаетъ это, относясь къ намъ, такъ, какъ нѣкогда эсхилловъ «Прометей» относился къ внутренней жизни народа аѳинскаго, или «Свадьба Фигаро» къ внутренней жизни Франціи передъ революціей. Мы умѣемъ восхищаться, понимать и «Прометея», и «Свадьбу Фигаро», но мы понимаемъ (лучше ли, хуже ли—другой вопросъ), мы понимаемъ *иначе*, нежели рукоплескавшіе аѳиняне, нежели рукоплескавшіе парижане 1785 года,—и того тѣсно жизненнаго сочлененія нѣтъ болѣе. Французъ XIX вѣка оцѣнить и пойметъ Бомаршѣ, но «Фигаро» не есть уже *необходимость* для него съ тѣхъ поръ, какъ его лицо воплотилось во множество лицъ палаты, а графъ Альмавива скончался въ бѣдности отъ преждевременной дряхлости, обыкновенной спутницы слишкомъ разгульной юности. Самый воздухъ, окружающій его, не тотъ; густая, знойная атмосфера, пропитанная нѣгой, сладострастіемъ и тяжелая отъ предчувствія бури, такъ очистилась и разъяснилась отъ громовыхъ ударовъ кроваваго террора, что чахоточные боятся чрезвычайной изрѣженности ея. Въ Германіи въ одно и то же время были принимаемы громомъ рукоплесканій Коцебу и Шиллеръ, потому что въ Германіи сентиментальность и шпигенбургерлихкейтъ, по странному стеченію обстоятельствъ, были корою, за которую шевелился мощный и здоровый зародышъ. Шиллеръ и Коцебу—полные и достойные представители: одинъ всего святаго человѣчественнаго, возникавшаго въ эту эпоху, другой всего грязнаго и отвратительнаго, загнивавшаго тогда же. У насъ даютъ все на свѣтѣ—оттого, что нашъ партеръ все на свѣтѣ. Мы не только въ физическомъ, но и въ нравственномъ отноше-

ниі всеѣдны. Какъ послѣдніе пришельцы и наслѣдники, мы перебираемъ унаслѣдованное изъ всѣхъ странъ и вѣковъ, смотримъ на это, какъ на чужое и постороннее, смотримъ не потому, чтобъ оно было нужно намъ или доставляло много удовольствія, а для того, чтобъ заявить наше право и не отставать отъ другихъ,— на томъ же основаніи, какъ нѣкогда мы ѣздили въ ассамблеи не для удовольствія, а по наряду и по нуждѣ. А force de forger многое принялось—однимъ то, другимъ другое; никто ни съ кѣмъ не стоваривался, всякій молодецъ на свой образецъ; оттого потребности нашего партера, съ одной стороны, очень сложны, а, съ другой стороны, имъ очень легко удовлетворить. У насъ, въ одномъ ряду креселъ встрѣчаются полюсы человѣчества — отъ *небритой* бороды патриархальной, бороды *an sich*, до отрощенной бороды, сознательной, бороды *für sich*; а между двумя бородами можно найти представителей главныхъ моментовъ развитія человѣчества, да еще нѣкоторыхъ оригинальныхъ, не достававшихъ человѣчеству. Каждый говоритъ своимъ языкомъ, каждый имѣетъ свои потребности. Счастливыѣ вавилоняны, мы начинаемъ съ того, чѣмъ они кончили свое столпотвореніе, то есть, не понимаемъ другъ друга; они таскали камни, и долго работая, дошли до того, что у насъ впередъ идти. Каждая пьеса имѣетъ свою публику; къ ней присоединяется постоянно балластъ, то есть, люди, которые послѣ 7 часовъ бываютъ въ театрѣ единственно потому, что они не видѣ театра бываютъ послѣ 7 часовъ. Разомъ для всей публики у насъ пьесъ не дается, развѣ за исключеніемъ «Горе отъ Ума» и «Ревизора»: для бельэтажа—безъ *словъ*, но съ танцами и богатой постановкой; для райка—пьесы, въ которыхъ кто нибудь кого нибудь бьетъ; для статскихъ чиновниковъ—пьесы съ пушечной пальбой, превращеніями, нравственными сентенціями: для купцовъ—тоже съ превращеніями, но и съ цыганскими плясками; другіе все смотрятъ, но особенно же любятъ водевили съ двусмысленными куплетами и танцы съ двусмысленными движеніями.

Все это безсвязно, такъ, какъ я рассказаль, пришло мнѣ въ голову при выходѣ изъ театра, когда я думаль о пьесѣ, которую видѣлъ; а содержаніе этой пьесы въ самыхъ короткихъ словахъ вотъ какое.

Драма самая простая; если вы не видали подобной у себя въ домѣ, то навѣрное могли видѣть у котораго нибудь изъ сосѣдей. Дѣвица 28 лѣтъ, по имени Генріетта, болѣзненная и печальная, влюблена до безумія въ юношу 20 лѣтъ, а тотъ, беззаботный и веселый, живетъ себѣ, не думая о ней, да сверхъ того, кажется, и ни о чемъ другомъ. Докторъ,—другъ отца Генріетты, понявъ дѣло, захотѣлъ съ патологическимъ благоразуміемъ помочь и, само

собою разумѣется, страшно повредилъ. Онъ торжественно и таинственно разсказалъ юношѣ о любви къ нему Генріетты, требуя отъ него, чтобъ онъ уѣхалъ, скрылся. Вѣсть о любви сильно отозвалась въ сердцѣ юноши; сознаніе быть любимымъ, и притомъ въ 20 лѣтъ, обняло огнемъ всю грудь его и съ той минуты онъ самъ ее любить. Она, никогда не смѣвшая питать надежды на взаимность, счастлива до высочайшей степени; мечта ея сбылась, осуществилась прекрасно и полно. Онъ проситъ ея руки и, не смотря на предостереженія доктора, или именно подстрекаемый имъ, женится. Проходитъ пять лѣтъ въ антрактѣ. Мы застаемъ нашу чету въ замкѣ. Люди богатые, они ведутъ пустую и праздную жизнь; дѣтей нѣтъ. Скоро открывается, что подъ этой праздностью кроются развѣдающія страсти. Онъ не любитъ больше Генріетты и страстно влюбленъ въ Полину. Молодой человекъ благороденъ и честенъ; онъ понимаетъ святость своихъ обязанностей и болѣе—онъ исполненъ безпредѣльнаго уваженія къ любящей, кроткой, доброй Генріеттѣ. Но онъ ея не любитъ,—онъ любитъ другую, это фактъ его сердца: любить потому, что любить, не любить потому, что не любить,—логика чувствъ и страстей коротка. Сгнетенная страсть растетъ; онъ ей не даетъ шага; онъ уничтожается, разлагается въ этой борьбѣ, но борется. Жена догадалась, и они быстро влекутъ другъ друга къ гибели во имя любви. Генріетта въ отчаяніи: она ничего не имѣетъ внѣ мужа, ея жизнь только любовь къ нему; а онъ еще больше въ отчаяніи: онъ безчестенъ въ своихъ глазахъ, онъ клятвопреступникъ, онъ подлый обманщикъ — тутъ, притворяясь, что любитъ, тамъ, притворяясь, что не любитъ. Такое натянутое положеніе долго не можетъ продолжаться. Генріетта рѣшается выдать Полину за какого-то шута; та не хочетъ. Въ порывѣ ревности, Генріетта упрекаетъ ее въ разрушеніи семейнаго счастья, въ любви къ ней мужа, въ ея любви къ нему. Молодая дѣвица, любившая въ тиши, не признаваясь себѣ, Эмиля, не подозрѣвая его любви, этими словами вовлечена въ страшную борьбу страстей. Чувство ея названо; тайна ея обличена. Въ первомъ порывѣ отчаянія, она соглашается идти замужъ. Спрашиваютъ согласія Эмиля: Полина живетъ у нихъ въ домѣ и родственница. Онъ согласенъ. Долгъ побѣдилъ; но и Эмиль получилъ рану въ грудь, вся сила его истощена на эту побѣду. Онъ рѣшается—и это, можетъ, благоразумнѣйшая мысль во всю его жизнь—онъ рѣшается уѣхать... Даль, занятія разсѣютъ, отвлекутъ, исцѣлятъ; но жена, узнавъ это, намѣревается лишить себя жизни, отказывается ему имѣніе и исчезаетъ. Эмиль въ отчаяніи. Проходитъ годъ. Полина въ монастырѣ; вдовецъ ѣдетъ за ней, женится и на обратномъ пути встрѣчается съ Генріеттой, которая

вовсе не утонула, а жила съ убійственной грустью въ душѣ и съ злою чахоткой въ груди у доктора; бѣдная женщина питала на днѣ оскорбленнаго, истерзаннаго сердца надежду, что Эмиль полюбитъ ее изъ сожалѣнія, а между тѣмъ, она не знала, что смерть ея была доказана трупомъ всплывшей женщины въ день ея побѣга. Эмиль, отыскивая въ маленькомъ городкѣ врача, приходитъ къ доктору и застаётъ Генріетту; она бросается къ нему; но онъ, окаменѣтый, полумертвый, потерянный, отвѣчаетъ на ея порывъ новостью о своемъ бракѣ. Слабой, едва живой Генріеттѣ нельзя было вынести такого удара. Глухо закашляла она и бросилась изъ комнаты. Онъ ринулся было за нею,—дверь занерта... Страшная минута тишины, невыносимая минута бездѣйствія,—онъ сложился подъ ея гнетомъ, онъ съ бѣшенствомъ и безуміемъ бросился на полъ, вырывая себѣ волосы и стѣны. Дверь отворилась; докторъ вошелъ спокойный и величественно-коротко возвѣстивъ, что она умерла, прощая его и совѣтуя беречь Полину. И двоеженецъ, поверженный въ прахъ, остается съ страшными угрызѣніями совѣсти, которыя, вѣроятно, проводятъ его черезъ всю жизнь. Вотъ и пьеса!

Когда опустился занавѣсъ, мнѣ было невыразимо тяжело. Точно я присутствовалъ при инквизиторской пыткѣ невинныхъ. Всѣ люди въ этой драмѣ—люди добрые, обыкновенные, даже честные и исполняющіе долгъ свой; а между тѣмъ одинъ изъ нихъ казнень смертью, двое другихъ—участіемъ въ этой казни.

«Какъ вамъ нравится драма?» спросилъ меня сосѣдъ, протирая очки...

У меня есть примѣта не вступать въ разговоръ съ незнакомымъ въ публичномъ мѣстѣ, если онъ самъ его не начнетъ: мнѣ все кажется, что такой человѣкъ или большой говорунъ, или большой слушатель. А потому, вмѣсто отвѣта, я посмотрѣлъ на моего сосѣда, желая узнать, что онъ, говорунъ или слушатель; но онъ такъ добродушно, и такъ наивно, и такъ щури глаза протирая очки, что я преступилъ правило дипломатической гнѣны и отвѣчалъ:

— «Драма, кажется, обыкновенная, а между тѣмъ она глубоко задѣваетъ».

«Я даже было прослезился... стыдно признаться. Этакая славная женщина, идеаль!»... продолжать человѣкъ кресель подъ № 39: «и досталась же такому мерзавцу мужу!»

— «Не лучше ли сказать—такому несчастному человѣку?»

«Какой онъ несчастный! Безхарактерный эгоистъ, не умѣлъ ни отказаться во-время отъ нея, ни любить ее послѣ, ни побѣдить новой страсти. Неужели онъ правъ по вашему?»

— «По моему, отвѣчать я улыбаясь: — во-первыхъ, всѣ они

правы, а во-вторыхъ, всѣ они виноваты, но вѣроятно не такъ, какъ вы полагаете».

«Очень хорошо, но... главный виновникъ?»

— «Да на что вамъ онъ? Главный виновникъ, какъ всегда, спрятался: онъ стоялъ за кулисами».

Въ это время къ № 39 подошелъ какой-то знакомый,—и нашъ разговоръ кончился, но продолжался во мнѣ рядомъ грустныхъ Grübeleien.

...Ничѣмъ люди не оскорбляются такъ, какъ неотысканіемъ виновныхъ; какой бы случай ни представился, люди считаютъ себя обиженными, если не кого обвинить—и, слѣдственно, бранить, наказывать. Обвинять гораздо легче, нежели понять. Понять событіе, преступленіе, несчастье—чрезвычайно важно и совершенно противоположно рѣшительнымъ сентенціямъ строгихъ судей; понять значить, въ широкомъ смыслѣ слова, оправдать, возстановить: дѣло глубоко человѣческое, но трудное и неказистое. Оправдать падшаго то же, что поставить его на одну доску со мною. То ли дѣло съ высоты своего нравственнаго величія упрекать и позорить его, указывая на себя, хотя въ положеніи и нѣтъ никакого сходства, и проповѣдникъ по большей части—извѣстная мышь въ голландскомъ сырѣ! Оставляя эту суетность, спрашиваемъ, для чего намъ судить? Для суда и осужденія есть положительное законодательство, имѣющее на это болѣе права—силу, власть. Наше *партикулярное* дѣло—проникать мыслью въ событіе, освѣщать его не для того, чтобъ наказывать и награждать, не для того, чтобъ прощать,—тутъ столько же гордости и еще больше оскорбленія,—а для того, что, внося свѣтъ въ тайники, въ подземельные ходы жизни, изъ которыхъ вырываются иногда чудовищныя событія, мы изъ тайныхъ дѣлаемъ ихъ явными и открытыми. Зло—темнота; оно не имѣетъ никакой внутренней силы, чтобъ противостоять свѣту. Оно только сильно, пока не взошло солнце разума, и мы, не видя его, придаемъ ему фантастическіе, чудовищные образы. Къ этой страсти искать виновныхъ для того, чтобъ ихъ ругать и клеймить позоромъ, присовокупляется у добрыхъ людей наивное требованіе, чтобъ каждый человѣкъ былъ мелодрамнымъ, романически-безукоризненнымъ героемъ, исполнялъ бы съ полнымъ самоотверженіемъ свои обязанности, или, лучше, не свои обязанности, а тѣ, которыя заставляютъ его исполнять. И кто же эти взыскательные? Люди, которые для общей пользы не жертвуютъ рюмкой водки, люди, къ которымъ въ семейную жизнь оборони Богъ заглянуть, милые невѣжды въ страстяхъ и увлеченіяхъ, потому что любили только себя и употребляли всю жизнь для успокоенія и холенья себя. Кто бывають искушаемъ, падалъ и воскресалъ, найдя себѣ силу хранительную, кто одолѣлъ хоть

разъ истинно распахнувшуюся страсть, тотъ не будетъ жестокъ въ приговорѣ: онъ помнить, чего ему стоила побѣда, какъ онъ, изнеможенный, сломанный, съ изорваннымъ и окровавленнымъ сердцемъ, вышелъ изъ борьбы: онъ знаетъ цѣну, которою покупаются побѣды надъ увлеченіями и страстями. Жестоки непамятные, вѣчно трезвые, вѣчно побѣждающіе, то есть, такіе, къ которымъ страсти едва притрогиваются. Они не понимаютъ, что такое страсть. Они благоразумны, какъ пьюфаундлендскія собаки, и хладнокровны, какъ рыбы. Они рѣдко падаютъ и никогда не поднимаются: въ добрѣ они такъ же воздержны, какъ въ злѣ. Остановимся лучше съ горестью передъ лицами нашей драмы, пожалѣемъ объ нихъ, протянемъ имъ руку, не осуждая, не браня; мы не члены уголовного суда; они довольно пострадали,—поговоримъ объ нихъ съ участіемъ, а не съ укоромъ, будемъ на нихъ смотреть какъ на больныхъ, а не такъ, какъ на преступниковъ.

Герой нашей драмы—человѣкъ увлекающійся и безъ всякаго направленія: его жизнью управляетъ виѣшняя власть; онъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые ложатся спать, не зная, что завтра будутъ дѣлать, пойдутъ ли на охоту или будутъ читать, или играть въ карты. Онъ сначала любилъ свою жену откровенно,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, и, какъ все люди, не имѣющіе, такъ сказать, *задней мысли*, дающей тонъ всей ихъ жизни, онъ не могъ быть остановленъ ничѣмъ въ свѣтѣ передъ бракомъ. Когда люди такого рода получаютъ какое-нибудь определенное чувство, имъ становится хорошо; состояніе безцѣльнаго существованія тягостно... Мало-по-малу онъ охладѣлъ къ женѣ; къ этому многое способствовало: всегдашняя зависимость его отъ впечатлѣній, разнища лѣтъ, насмѣшки; потомъ—бездѣтныи бракъ всегда ближе къ тому, чтобъ распасться. Не смотря на охлажденіе мужа, жизнь ихъ могла бѣ идти довольно хорошо: форма безъ содержанія можетъ долго простоять въ покоѣ, но первый толчокъ,—и она падетъ. Въ молодой душѣ Эмилія была бездна силъ неупотребленныхъ; ихъ нѣкуда было ему дѣть; у домашнего очага, въ пустой жизни, блага неупотребленные, праздныя силы всегда грозятъ бѣдой: онъ бродитъ, требуютъ занятія, истока. Взоръ его, искавшій спасенія отъ скуки, встрѣтилъ живой, милый взоръ дѣвицы, только что вышедшей изъ дѣтской хризолиты. «Тутъ онъ долженъ былъ остановить себя!...» Да неужели, вы думаете, онъ полюбилъ ее намѣренно? Эти привязанности дѣлаются безсознательно. Можетъ, мѣсяцы прошли прежде, нежели онъ догадался, отчего ему пріятно смотреть на ея улыбку, слушать ея пѣсню; а когда онъ узналъ, назвалъ свое чувство, страсть глубоко вкоренилась: и когда онъ хотѣлъ себя остановить, его бытіе раскололось на двое, гдѣ, съ одной стороны, долгъ и умъ, а, съ другой, сердце, кипящее

страстями; у него не достало силы найти выходъ. Онъ остался, какъ былъ, человѣкъ подчиненный сердцу, да сверхъ того, какъ слабый человѣкъ и въ страсти, не умѣлъ идти до крайнихъ послѣдствій, а остановился въ страшной и мучительной борьбѣ, не имѣя силы ни сердца принести въ жертву долгу, ни долга принести въ жертву сердцу. Мы его видимъ во второмъ дѣйствіи съ потеряннѣмъ видомъ, жалкимъ до слезъ; онъ твердъ въ натянутой роли; но подземный хоръ дьяволовъ, какъ въ «Робертѣ», слышится глухо въ его груди, и эта страшная пѣсня раздается вопреки ему,—и чувствуется, что ему не подавить этого хора.

Генриетта сама ускоряетъ взрывъ. Она точно также покорна одному сердцу, болѣе, можетъ, нежели Эмиль; по счастью ея сердце не въ разладѣ съ долгомъ; ея любовь къ мужу—безумная страсть; уязвленная, она обвиняется гремучей змѣей около трехъ лицъ и должна или ихъ задушить, или погубить. Да не ненависть ли это?... Посмотрите, какъ все странно въ этой тѣсной сферѣ личныхъ отношеній. Кроткая, благородная, добрая женщина въ своекорыстномъ опьяненіи ревности жертвуетъ жизнью Полины, отдавая ее замужъ за какого-то урода. Дѣвица готова погубить себя,—юность всегда самоотверженна и безразсчетна,—готова предать себя позору брачнаго ложа безъ любви, какъ будто Эмиль отъ этого снова полюбитъ свою жену. Не знаю цѣли, съ какой авторы ¹⁾ прибавили третье дѣйствіе, но оно до такой степени не нужно, до такой степени несправедливо (въ смыслѣ наказанія Эмиля), что превосходно вѣнчаетъ всю драму. Только въ этомъ мірѣ могутъ развиваться такія катастрофы, гдѣ внутренняя случайность чувствъ учреждаетъ жизнь вмѣстѣ съ внѣшней случайностью обстоятельствъ.

Виновныхъ тутъ нѣтъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ хотятъ виноватыхъ (какъ сознательныхъ преступниковъ); есть одна вина, за которую ихъ нельзя отдать подъ судъ, но которая была причиною всѣхъ бѣдствій, причиной скрытой, неизвѣстной имъ.

Нѣтъ ничего легче, послѣ сужденій обвиняющей толпы, какъ стоическимъ формализмомъ разрѣшать жизненные вопросы. Формализмъ, какъ всякая отвлеченность, беретъ одну сторону, и правъ съ этой стороны, а другихъ онъ знать не хочетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пытались, особенно въ Германіи, всѣ вопросы и всѣ сомнѣнія разрѣшать путемъ отвлеченнымъ, отрѣшая отъ вопроса усложняющія стороны его и дѣлая его, слѣдовательно, вовсе не тѣмъ вопросомъ, какимъ онъ есть; на широкихъ и крѣпкихъ основаніяхъ вырастили тощіе и бѣдные плоды, искусственно п

¹⁾ Arnould et Fournier.

насиловственно вытянутые. Рѣшенія такого формализма безжизненны; онѣ идутъ отъ умерщвленнаго даннаго къ мертвому послѣдствію; отъ его холоднаго дыханія все коченѣетъ, вытягивается въ угловатыя формы, въ которыхъ содержанію мочи нѣтъ тѣсно; въ немъ нѣтъ ни пощады, ни милосердія—одни категоріи и пренебреженія. Вездѣ, гдѣ гордый формализмъ касается жизни, онѣ стремится рабски подчинить страсти сердца, всю естественную сторону, всѣ личныя требованія—разуму, какъ бы чувствуя, что онѣ не совладаетъ съ ними, пока онѣ на волѣ. Толкуя безпрестанно о тождествѣ противоположностей, о примиреніи ихъ въ высшемъ единствѣ, объ ихъ соприисусущности и взаимной необходимости, формалисты только *на словахъ* принимаютъ тождество и примиреніе, а на дѣлѣ хотятъ подавить всю естественную сторону, хотятъ отбросить ее, какъ калоши, служившія только, чтобъ пройти по грязи. Кто-то прекрасно замѣтилъ, что природа для идеалистовъ—*развратившаяся идея* (so eine liederliche Idee). Все временное, частное, само собою приносится въ жертву идеѣ и всеобщему; это цѣль его; но хотятъ у него отнять и минутное владѣніе, единственное благо его; вмѣсто свободной жертвы, хотятъ вынудить насиліемъ рабское признаніе своей ничтожности; *не даютъ себѣ труда устремить сердце къ разумной цѣли*, а требуютъ, чтобъ оно отрелось отъ себя, потому что оно ближе къ природѣ. Такихъ требованій не признаетъ гордое сердце человѣка; оно сильно своими страстями и знаетъ свою силу: оно знаетъ, если пламя страстныхъ увлеченій подниметъ голову, какъ безсильно, какъ несостоятельно обязательство жертвовать формальному долгу! Сердце знаетъ, что наслажденіе есть также право всего живущаго, ищетъ его и манитъ имъ; за что оно имъ пожертвуетъ,—формализму до этого дѣла нѣтъ. Держась на ледяной высотѣ своихъ всеобщностей, онѣ пренебрегаетъ сердцемъ, онѣ его не хочетъ знать. Такъ принялся было онѣ защищать бракъ, но никогда не могъ дойти до христіанскаго ученія о бракѣ, именно по недостатку любви и сердца ¹⁾. Онѣ допускаетъ, что *основаніе* браку любовь: это его естественная непосредственность; но послѣ вѣнчанія любовь не нужна,—вы перешли за границу естественныхъ влеченій, въ сферу нравственности, гдѣ ужъ нѣтъ ни плача, ни воздыханія, никакой страстности, а есть скука и тупое исполненіе долга, котораго смыслъ утратился и котораго внутрення психея отлетѣла. Сознаніе, что я жертвую всею сердечной стороной бытія для нравственной идеи брака,—вотъ паграда. Словомъ, бракъ для брака. Самое высшее развитіе такого

¹⁾ Наприм., диссертация Рёттера о ritteromъ Wahlverwandschaft,

брака будетъ, когда мужъ и жена другъ друга терпѣть не могутъ и исполняютъ ех офіціо супружескія обязанности. Тутъ торжество брака для брака гораздо полнѣйшее, нежели въ случаѣ равнодушія. Люди равнодушные другъ къ другу могутъ по расчету жить вмѣстѣ; они не мѣшаютъ другъ другу.

Религія *устремляется* въ другой міръ, въ которомъ также улетучиваются страсти земныя; этотъ другой міръ не чуждъ сердцу; напротивъ, въ немъ сердце находитъ покой и удовлетвореніе; сердце не отвергается имъ, а распускается въ него; во имя его религія могла требовать жертвованія естественными влеченіями; въ высшемъ мірѣ религіи личность признана, всеобщее нисходитъ къ лицу, лицо поднимается во всеобщее, не переставая быть лицомъ; религія имѣетъ собственно двѣ категоріи: всемірная личность божественная и единичная личность человѣческая. Формализмъ убиваетъ живыя личности въ пользу промежуточныхъ отвлеченныхъ всеобщностей. Религія не становится выше любви въ отношеніи брака; религія говоритъ: люби твою жену, потому что она Богомъ тебѣ данная подруга. Религія связываетъ лица связью неразрушимой; здѣсь бракъ есть таинство, совершающееся подъ благословеніемъ Божиимъ. Формализмъ разсуждаетъ не такъ: «Ты, какъ свободно разумная воля, вступилъ въ бракъ съ сознаніемъ его обязанностей въ нравственномъ и спеціальномъ смыслѣ,—пади же жертвой этой обязанности, запутайся въ цѣпь, которую добровольно надѣлъ на себя; плати всѣми годами твоей жизни за прошедшій фактъ, быть можетъ, основанный на минутномъ увлеченіи. Никакой взглядъ на міръ, ни развитіе, ни опытность ничего не помогутъ, потому что принесеніемъ тебя въ жертву идея брака укрѣпляется и поднимается. Тебѣ, какъ личности, выхода нѣтъ; да и гибни себѣ, ты, случайность. Необходимъ человѣкъ, а не ты». Формализмъ топчетъ ногами всю сторону естественной непосредственности; религія и тутъ его побѣждаетъ, ибо она, признавая семейную жизнь, считаетъ ее естественною непосредственностью, въ свою очередь, передъ жизнью въ высшемъ мірѣ. Да, религія снимаетъ семейную жизнь, какъ и частную, во имя высшей, и громко призываетъ къ ней: «кто любитъ отца своего и мать свою болѣе Меня, тотъ недостойнъ Меня». Эта высшая жизнь не состоитъ изъ одного отрицанія естественныхъ влеченій и сухого исполненія долга: она имѣетъ свою положительную сферу во всеобщихъ интересахъ своихъ; поднимаясь въ нее, личныя страсти сами собою теряютъ важность и силу,—и это единственный путь обузданія страстей,—свободный и достойный человѣка. Сдѣлаемъ опытъ оглянуться на нашу драму съ этой точки зрѣнія.

Жизнь лицъ, печально прошедшихъ передъ нашими глазами,

была жизнь односторонняго сердца, жизнь личныхъ преданностей, исключительной иѣжности. Небосклонъ ея тѣсенъ; намъ въ немъ тяжело дышать, человекъ требуетъ больше; комнатный воздухъ для него нездоровъ. Мы чувствуемъ себя чужими между этими людьми и личностями, другъ въ другѣ живущими, сосредоточенными на себѣ и довѣяющимися другъ другу во имя своихъ личностей. При такомъ направленіи духа, начала кроткаго, тихаго семейнаго счастья лежали въ нихъ; они могли бы быть счастливы, даже иѣкоторое время были,—и ихъ счастье было бы дѣломъ *случая*, такъ же, какъ и ихъ несчастіе. Міръ, въ которомъ они жили,—міръ случайности. Частная жизнь, не знающая ничего за порогомъ своего дома, какъ бы она ни устроилась, бѣдна; она похожа на обработанный садъ, благоухающій цвѣтами, вычищенный и прибранный. Садъ этотъ можетъ долго утѣшать хозяевъ, особенно если заборъ его перестанетъ колоть ихъ глаза; но случись ураганъ,—онъ вырветъ деревья съ корнями и затопитъ цвѣты, и садъ будетъ хуже всякаго дикаго мѣста. Такимъ хрупкимъ счастьемъ человекъ не можетъ быть счастливъ; ему надобенъ безконечный океанъ, который волнуется ураганами, но чрезъ нѣсколько мгновеній бываетъ гладокъ и свѣтелъ, какъ прежде. Судьба всего исключительно личнаго, не выступающаго изъ себя, незавидна; отрицать личные несчастія нелѣпо; вся индивидуальная сторона человека погружена въ темный лабиринтъ случайностей, пересѣкающихся, влетающихъ другъ въ друга; дикія физическія силы, непросвѣтленныя влеченія, встрѣчи имѣютъ голосъ, и изъ нихъ можетъ составиться согласный хоръ, но могутъ двигать и раздражающіе душу диссонансы. Въ эту темную кузницу судебъ свѣтъ никогда не проникаетъ; слѣпые работники бьютъ зря молотомъ налѣво и направо, не отвѣчая за слѣдствія. Чѣмъ болѣе человекъ сосредоточивается на частномъ, тѣмъ болѣе голыхъ сторонъ онъ представляетъ ударамъ случайности. Пенять нѣ на кого: личность человека не замкнута; она имѣетъ широкія ворота для выхода. Вся вина людей, живущихъ въ однихъ сердечныхъ, семейныхъ и частныхъ интересахъ, въ томъ, что они не знаютъ этихъ воротъ, а остальное, въ чемъ ихъ винять,—обыкновенно дѣло случая.

Случайность имѣетъ въ себѣ нѣчто невыносимо противное для свободнаго духа. Ему такъ оскорбительно признать неразумную власть ея, онъ такъ стремится подавить ее, что, не зная выхода, выдумываетъ лучше грозную судьбу и покоряется ей; хочетъ, чтобъ бѣдствія, его постигающія, были предопредѣлены, т. е. состояли бы въ связи съ всемірнымъ порядкомъ; онъ хочетъ принимать несчастія за преслѣдованія, за наказанія: тогда ему есть утѣха въ повиновеніи или въ ропотѣ: одна случайность для

него невыносима, тягостна, обидна; гордость его не можетъ вынести безразличной власти случая. Эта ненависть и стремленіе выйти изъ-подъ ярма указываютъ довольно ясно на необходимость другой области, *иного міра*, въ которомъ врагъ поправъ, духъ свободенъ и дома. Еслибъ человѣкъ не имѣлъ никакого выхода, въ немъ не было бы и потребности выйти изъ міра случайности, какъ у животнаго, напримѣръ. Поднимаясь, развиваясь въ сферу разумную и вѣчную всеобщаго, мы стяжаемъ возможность и крѣпость переносить удары случайности: они бьютъ тогда въ одну долю бытія, они не такъ обидны. Надобно было большое совершенствленіе, большое развитіе своей индивидуальности въ родовое, чтобъ съ яснымъ челомъ сказать: *«есть міръ; въ немъ мы развиваемся; какая судьба насъ постигнетъ, все равно (да и судьбы вовсе нѣтъ); дѣло въ томъ, чтобъ мы пришли въ себя, остальное безразлично»*. Хвала великой еврейкѣ, сказавшей это! ¹⁾

Не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство всеобщему, но раскрыть свою душу всему человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности, работать столько же для рода, сколько для себя, словомъ, развитіе эгоистическое сердце во всѣхъ скорбящее, обобщить его разумомъ, и въ свою очередь оживить имъ разумъ... Человѣкъ безъ сердца какая-то безстрастная машина мышленія, не имѣющая ни семьи, ни друга, ни родины; сердце составляетъ прекрасную и неотъемлемую основу духовнаго развитія; изъ него пробѣгаетъ по жиламъ струя огня всеогрѣвающего и живительнаго; имъ живое сотрясается въ наслажденіи, радо себѣ. Поднимаясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преобразается, теряя свою дикую, судорожную сторону; предметъ ея выше, святѣе; по мѣрѣ расширенія интересовъ, уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей. Въ самомъ колебаніи между двумя мірами—личности и всеобщаго—есть непреодолимая прелесть; человѣкъ чувствуетъ себя живою, сознательною связью этихъ міровъ, и теряясь, такъ сказать, въ свѣтломъ эфирѣ одного, онъ хранитъ себя и слезами, и восторгамъ, и всею страстностью другаго. Человѣческая жизнь—трудная статистическая задача; безчисленныя противоположности, множество борющихся элементовъ ринуты въ одну точку и сняты ею. Природа, развиваясь, безпрестанно усложняется; проще всего камень, за то и жизнь его состоитъ въ одномъ мертвомъ, косномъ

¹⁾ Рахель—Briefwechsel.

покоѣ. Человѣкъ не можетъ отказаться безнаказанно отъ участія во всѣхъ обителяхъ, въ которыя онъ призванъ своимъ временемъ. Человѣкъ развившійся равно не можетъ ни исключительно жить семейною жизнью, ни отказаться отъ нея въ пользу всеобщихъ интересовъ. Было время для каждаго народа, когда семейная жизнь удовлетворяла всѣмъ требованіямъ; для насъ, европейцевъ, это время миновало; мы живемъ шире, богаче. Въ патриархальный вѣкъ дѣтекая простота, односложность отношеній, физическій трудъ и психическая неразвитость отстраняла всякую возможность скорбныхъ катастрофъ, поражающихъ нѣжныя одухотворенныя существованія развитыхъ странъ. Удары случайности были тѣ же; грудь, на которую они падаютъ, измѣнилась.

Лица нашей драмы отравили другъ другу жизнь, потому что они слишкомъ близко подошли другъ къ другу, и, занятыя единственно и исключительно своими личностями, они собственными руками разрыли пропасть, въ которую низверглись; страстность ихъ, не имѣя другого выхода, сожгла ихъ самихъ. Человѣкъ, строящій домъ свой на одномъ сердцѣ, строитъ его на огнедышащей горѣ. Люди, основывающіе все благо своей жизни на семейной жизни, ставятъ домъ на песокъ. Быть можетъ, онъ простоятъ до ихъ смерти, но обезпеченія нѣтъ, и домъ этотъ, какъ дома на дачахъ, прекрасны только во время хорошей погоды. Какое семейное счастье не раздробится смертью одного изъ лицъ? Мы отвѣтять: а утѣшеніе религіи? Но религія есть по преимуществу выходъ въ иной міръ. А тамъ, гдѣ религіозная и гуманическая сторона бытія слаба, гдѣ она подчинена чувствамъ, подчинена частному и личному, тамъ ждите бѣдъ и горестей... Въ этомъ положеніи наши герои. Они сводятъ насъ въ преисподнюю, въ міръ сердца, разорваннаго съ разумомъ, въ подземный міръ обезумѣвшихъ естественныхъ влеченій, готовыхъ пожрать все вокругъ себя. Это страшная изнанка жизни человѣческой: тутъ опредѣляются личныя гибели, дробятся однимъ ударомъ песчинками собранныя достоинства; тутъ раздаются глухіе стоны отчаянія, яростные крики боли; тутъ индивидуальное доведено до послѣдней крайности, до нелѣпости, и царитъ объ руку съ безумнымъ самоотверженіемъ и съ наглымъ эгоизмомъ. Тутъ люди сражаются съ призраками, порожденными ихъ болѣзненной фантазіей, рвутъ въ ключъ свою грудь и грудь ближняго, бѣснуются, ненавидятъ, ревнуютъ, лишаютъ себя жизни, влюбляются, — все это, ни разу не давши себѣ отчета въ томъ, чего хотятъ...

Не засмѣяться ли имъ, пока
Не обогрѣлась ихъ рука?

Если человѣкъ, попавши во власть адскимъ силамъ, найдеть твердость пріостановиться, подумать, — онъ, безъ сомнѣнія, засмѣется и, еще вѣрнѣе, покраснѣетъ. Главное сумасшествіе состоитъ въ какой-то чудовищной важности, которую приписываютъ событіямъ, именно потому, что они не знаютъ, что въ самомъ дѣлѣ важно. Не факты отдѣльные—смертные грѣхи, а грѣхи противъ духа и въ духѣ. Возьмемъ, напримѣръ, драму Бомаршѣ «La mère coupable». Человѣкъ, годы цѣлые съ злою ревностью отыскивавшій улики противъ своей жены, наконецъ, находитъ ихъ. Теперь-то онъ отомститъ, теперь-то онъ бросится со всею жестокостью невинности, со всею свирѣпостью судіи на преступную, которая двадцать лѣтъ, не осушая слезъ, оплакиваетъ свое паденіе. Онъ точно пользуется первымъ случаемъ, чтобъ положить на благородное чело ея печать позора; при этомъ онъ ждетъ увертокъ, ждетъ горькихъ словъ,—и встрѣчаетъ кроткое сознаніе вины, и его жесткая душа смягчается, онъ *пропрезвляется*, изъ мужа-мстителя дѣлается мужемъ-человѣкомъ. Сердце, полное желчи и злобы, раскрывается снова любви. А между тѣмъ доказательства найдены, и то, что въ подозрѣніи онъ не могъ вынести, онъ забываетъ при достовѣрности. Почти все злодѣйства въ мірѣ происходятъ отъ нетрезваго пониманія. Бентамъ говоритъ, что всякій преступникъ дурной счетчикъ. Если обобщить эту мысль и взять ее не въ тѣхъ матеріальныхъ границахъ, въ которыхъ она высказана имъ, то это будетъ одна изъ величайшихъ истинъ.

Но возвратимся къ нашей драмѣ. Закулисная вина несчастія этихъ людей—тѣснота и неестественная для человѣка жизнь праздности, преступное отчужденіе отъ интересовъ всеобщихъ, преступный холодъ ко всему человѣческому внѣ ихъ тѣснаго круга, исключительное занятіе собою, взаимное обоготвореніе. Другихъ винъ не ищите, вотъ больное мѣсто! Если-бъ въ нихъ было развито *живое* религіозное чувство, если-бъ *человѣчность* ихъ не ограничилась первой ступеню, т. е. семейной жизнью, — катастрофы этой, конечно, не было бы. Если-бъ Эмиль, сверхъ своихъ личныхъ привязанностей, имѣлъ симпатію къ современности, любовь къ родинѣ, къ искусству, къ наукѣ, остался ли бы онъ, сложа руки, въ ничтожной праздности, разжигая бездѣйствіемъ страсти, истощая силы души на противодѣйствіе несчастной любви? Можетъ быть, эта любовь и посѣтила бы его сердце, какъ мимолетная гостья, но она не стащила бы его въ преисподнюю, не нарушила бы мира съ женой, потому что онъ былъ бы сильнѣе всего той стороной бытія, которой онъ не развилъ. Еще разъ, ихъ жизнь была бѣдная жизнь въ сферѣ частной любви, выхода не имѣла и при неудачѣ лопнула. Словомъ, *любовь* оправдываетъ все. Но нынче, когда нѣтъ авторитета, подъ который духъ кри-

тики не дѣлать бы опыта подкопаться, можно и самую златовласую Афродиту потребовать къ трибуналу, если судья только не боится ея красоты. И, съ своей стороны, готовъ быть лучше Антоніемъ, нежелая Октавіаномъ, и навѣрное не велю покрыться Клеопатрѣ, лишь бы встрѣтиться съ нею; однакожъ, осмѣливаясь звать на правожъ ея, изъ пѣны морской рожденную!

Существовать—величайшее благо; любовь раздвигаетъ предѣлы индивидуальнаго существованія и приводитъ въ сознаніе все блаженство бытія; любовью жизнь восхищается собою; любовь—апоеоза жизни. Лукрецій всю природу называетъ торжественнымъ празднествомъ любви, брачнымъ широмъ, для котораго цвѣты развертываютъ свои прекрасные вѣнчики, наполняютъ благоуханіемъ воздухъ, птицы покрываются красивыми перьями, и проч. Любовь человѣческая—еще болѣе апоеоза самой любви, такъ какъ вообще человѣческое есть апоеоза естественнаго. Природа оканчивается взоромъ юноши и дѣвы, любящихъ другъ друга. Этимъ взоромъ она страстно понимаетъ всю безконечную красоту свою, имъ она *ощутила себя*; далѣе она идти не можетъ,—далѣе другое царство; она совершила свое, подняла форму до соотвѣтствія духу, раздвоилась, и, взглянувъ высшими представителями своего дуализма, она поняла выразительность своей красоты; личности, въ нѣмомъ восторгѣ другъ отъ друга, въ торжественномъ упоеніи взаимнаго созерцанія, отрѣшились отъ себя. Они сняли противоположность свою любовью и между тѣмъ не совпадаютъ для того, чтобъ наслаждаться другъ другомъ, для того, чтобъ жить другъ въ другѣ. И съ этимъ мгновеніемъ восторга и поклоненія бытію соединена великая тайна возникновенія, обновленія юнымъ отжившаго. Любовь—пышный, изысканный цвѣтокъ, вѣнчающій и оканчивающій индивидуальную жизнь: но онъ, какъ всѣ цвѣты, долженъ быть раскрытъ одною стороною, лучшей стороною своей къ небу всеобщаго. Цвѣтокъ питается изъ земли и изъ солнца; отъ этого,—въ немъ земное такъ чудно хорошо. Любовь—одинъ моментъ, а не вся жизнь человѣка; любовь вѣнчаетъ личную жизнь въ ея индивидуальномъ значеніи; но за исключительною личностью есть великія области, также принадлежащія человѣку или, лучше, которымъ принадлежитъ человѣкъ и въ которыхъ его личность, не переставая быть личностью, теряетъ свою исключительность. Монополію любви надобно подорвать вмѣстѣ съ прочими монополіями. Мы отдали ей принадлежащее, теперь скажемъ прямо: человѣкъ не для того только существуетъ, чтобъ *любить*; неужели *вся цѣль* мужчины—обладаніе такою-то женщиной, *вся цѣль* женщины—обладаніе такимъ-то мужчиною?—Никогда! Какъ неестественна такая жизнь, всего лучше доказываютъ герои почти всѣхъ романовъ. Что за

жалкое, потерянное существованіе какого нибудь Вертера,—чтобъ указать на знаменитость; сколько сумасшедшаго и эгоистическаго въ немъ, при всей блестящей сторонѣ, которую всегда придаетъ человѣку сильная страсть. Не должно ошибаться: это блескъ очей лихорадочнаго; онъ имѣетъ въ себѣ магнетическое, притягивающее, а между тѣмъ онъ выражаетъ не огонь жизни, а пламя, разрушающее ее. При всѣхъ поэтическихъ выходкахъ Вертера, вы видите, что эта нѣжная, добрая душа не можетъ выступать изъ себя; что, кромѣ маленькаго міра его сердечныхъ отношеній, ничто не входитъ въ его лиризмъ; у него ничего нѣтъ ни внутри, ни внѣ, кромѣ любви къ Шарлоттѣ, не смотря на то, что онъ почитываетъ Гомера и Оссіана. Жаль его! Я горькими слезами плакалъ надъ его послѣдними письмами, надъ подробностями его кончины. Жаль его,—а вѣдь пустой малый былъ Вертеръ! Сравните его, или Эдуарда, и всѣхъ этихъ страдателей съ широко-развернутыми людьми, у которыхъ субъективному кесарю отдана богатая доля, но и доля обще-человѣческая не забыта: сравните ихъ съ Карломъ Мооромъ, съ Максомъ Пикколомини, съ Теллемъ, наконецъ, съ этимъ добрымъ патріархальнымъ отцомъ семейства, съ этимъ энергическимъ освободителемъ своего отечества. И, чтобъ не обидѣть Гёте, сравните съ архитекторомъ въ «Wahlverwandtschaft» и вы ясно увидите, что я хочу сказать. Любовь вошла великимъ элементомъ въ ихъ жизнь, но не поглотила, не всосала въ себя другихъ элементовъ. Они любовью не отрѣзались отъ всеобщихъ интересовъ гражданственности, искусства, науки; напротивъ, они внесли все одушевленіе ея, весь пламень ея въ эти области, и, наоборотъ, ширину и грандіозность этихъ міровъ внесли въ любовь. Оттого любовь ихъ, счастлива или нѣтъ, но не вырождается въ помѣшательство. Помните, Тиссѳ, въ извѣстной книгѣ своей о нѣкотораго рода самоудовлетвореніи, сказалъ: «Природа жестоко мститъ оскорбляющимъ ея законы; эта месть лежитъ въ самомъ отступленіи отъ бытія, въ которое долженъ развиваться организмъ, и есть физическое послѣдствіе его». Великая истина! Человѣкъ долженъ развиваться въ міръ всеобщаго; оставаясь въ маленькомъ, частномъ мірѣ, онъ надѣваетъ китайскіе башмаки: чему дивиться, что ступать больно, что трудно держаться на ногахъ, что органы уродуются? чему дивиться, что жизнь, несообразная цѣли, ведетъ къ страданіямъ? Самыя эти страданія—громкій голосъ, напоминающій, что человѣкъ сбился съ дороги.

Но я предвижу возраженіе: этотъ міръ всеобщихъ интересовъ, эта жизнь общественная, художественная, сціентифическая,—все это для мужчины; а у бѣдной женщины ничего нѣтъ, кромѣ ея семейной жизни. Она должна жить исключительно сердцемъ; ея

міръ ограниченъ спальней и кухней... Странное дѣло! Девятнадцать столѣтій христіанства не могли научить людей понимать въ женщинѣ человѣка. Кажется, гораздо мудренѣе понять, что земля вертится около солнца, однако поспорили, да и согласились; а что женщина человѣкъ, въ голову не помѣщается! Однакожь участіе женщины въ высшемъ мірѣ было признано религіею. «Марѳа, Марѳа, ты печешься о многомъ, а *одно* потребно. Марія избрала *благую часть*». На женщинѣ лежатъ великія семейныя обязанности относительно мужа—тѣ же самыя, которыя мужъ имѣетъ къ ней, а званіе матери поднимаетъ ее надъ мужемъ, и тутъ-то женщина во всемъ ея торжествѣ: женщина больше мать, нежели мужчина отецъ; дѣло начальнаго воспитаніе есть дѣло общественное, дѣло величайшей важности, а оно принадлежитъ матери. Можетъ ли это воспитаніе быть полезно, если жизнь женщины ограничить спальней и кухней? Почему римляне такъ уважали Корнелію, мать Гракховъ?.. Во-вторыхъ, ея семейное призваніе никоимъ образомъ не мѣшаетъ ея общественному призванію. Міръ религіи, искусства, всеобщаго—точно такъ же раскрытъ женщинѣ, какъ намъ, съ тою разницею, что она во все вноситъ свою грацію, непреодолимую прелесть кротости и любви. Вся исторія Италіи не совершилась ли подъ непрерывнымъ вліяніемъ женщинъ? Не доказали-ль онѣ мощь геніальности своей и на престолѣ, какъ Екатерина II, и на плахѣ, какъ Роланъ? Нужны ли доказательства людямъ, которые своими глазами видѣли Сталь, Рахель, Беттину и теперь еще видятъ исполнскій талантъ геніальной женщины?.. Но въ сторону эти исключительныя явленія: обращаю вниманіе на фактъ, извѣстный всѣмъ, находящійся у каждаго передъ глазами. Откуда дѣвицы имѣютъ необыкновенный тактъ поведенія, умѣнье себя держать, вѣрный смыслъ въ дѣлахъ жизни? Воспитаніе ихъ ограничено гаремнымъ заключеніемъ, и между тѣмъ ихъ быстро понимающей натурѣ достаточно нѣсколько шаговъ по полю жизни, чтобъ выразумѣть ее, чтобъ приобрести *esprit de conduite*, до котораго мужчина вырабатывается полжизни самымъ скорбнымъ путемъ паденій, разврата, разореній, обидъ, униженій и Богъ-знаетъ чего. Этотъ фактъ, совершенно всеобщій, доказываетъ ли подчиненность женщины мужчинамъ въ отношеніи ума, или напротивъ? Какое же мы имѣемъ право отчуждать ихъ отъ міра всеобщихъ интересовъ? Я скажу какъ Розина, когда ей Бартоло доказывалъ, что мужъ можетъ распечатывать письма жены: «*Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne?*» («Севильскій Цирюльникъ»). Въ дикія времена феодализма (которыя представляются такими поэтическими, чистыми у нашихъ романтиковъ), рыцари имѣли обыкновеніе въ

своихъ помѣстьяхъ выбирать маленькихъ дѣвочекъ, общавшихъ красоту, и заперать въ особое отдѣленіе, гдѣ за ихъ *нравственностью* былъ строгій надзоръ: изъ этихъ разсадниковъ брали они себѣ, по мѣрѣ надобности, любовницъ. Такъ рассказываетъ очевидецъ Брантомъ. Нынче такого грубаго и отвратительнаго уничиженія женщины нѣтъ. А не правда ли, что-то родственное этимъ хозяйственнымъ запасамъ осталось въ воспитаніи дѣвицъ исключительно въ невѣсты? Мысль, что она сама въ себѣ никакой цѣли не имѣетъ, кромѣ замужества, право, не нравственна и не пристройна.

Я почти все сказать, что хотѣлъ сказать по поводу одной драмы. Слѣдовало бы остановиться, но характеръ Grubeleien именно таковъ, что они до тѣхъ поръ тянутся, пока внѣшняя причина натолкнетъ на что нибудь другое, или напомнить, что пора кончить. Теперь, когда слѣдовало положить перо, мнѣ пришло въ голову еще кое-что о любви.

Любовь почти всегда поэтами поется сквозь слезы, покрытая какою-то траурною мантиею, замѣнившіею алое покрывало. вмѣсто радостной улыбки, у нихъ скрежетъ зубовъ: вмѣсто юнаго румянца—блѣдныя щеки. Откуда взялся въ любви, въ этомъ торжественномъ, радостномъ чувствѣ, мучительно грустный, раздражающій душу характеръ? Это послѣдіе мечтательности среднихъ вѣковъ и германизма: для романтизма нѣтъ счастья выше несчастья, нѣтъ радости выше скорби и грусти: все человѣческое получило тогда судорожно болѣзненное направленіе: такъ простыя южныя болѣзни получаютъ на сѣверѣ чрезвычайно сложное нервическое, желчевое свойство. То было время убіенія всего естественнаго и развитія всего противоестественнаго, время вѣчнаго противорѣчія словъ и дѣла; оно, мрачное, сосредоточенное, вѣчно обращенное на себя, занимающееся собою, раздуло въ струи адскаго огня кроткій пламень любви. Міръ дѣйствительный былъ въ пренебреженіи: жили въ мечтахъ, отрелись отъ естественныхъ влеченій и воцарили вмѣсто ихъ новыя, порожденные отъ беззаконной смѣси крови и духа: таково понятіе чести, доведенное до безумнаго себя обоготворенія: такова платоническая любовь—натянутое одухотвореніе истинной любви. Словомъ, романическое возрѣніе представляетъ, какъ телескопъ, весь міръ вверхъ ногами: внутреннее у него поставлено вдали, духовное исполнено чувственности, чувственность одухотворена. Съ такимъ настроеніемъ души, при вѣчномъ разрывѣ съ истинною жизнью, страсти получили тѣмъ ужаснѣйшее развитіе, что онѣ были неестественны. Нельзя отрицать сильную увлекательность романтизма; туманность его, бѣгущая ясности и разума, стремленіе, не знающее предѣла и цѣли, искусственная чистота, восторженная нѣжность, рѣчь, ко-

торая, какъ музыка, больше намекаетъ, нежели высказываетъ,— все вмѣстѣ захватываетъ душу особенно юную, дѣвственную. Романтизму шла такъ же хорошо платоническая, несчастная любовь, какъ романтизмъ шелъ среднимъ вѣкамъ. Но время его миновало, поэты-романтики знать этого не хотѣли. А между тѣмъ, представьте вы себѣ вмѣсто изыскаго образа рыцаря Тогенбурга, закопаннаго въ желѣзо, съ крестомъ на груди,—представьте г. Тогенбурга, въ пальто и резиновыхъ сапогахъ, проводящаго жизнь гдѣ-нибудь въ Парижѣ, Лондонѣ, Брюсселѣ, на улицѣ, дожидаясь «какъ стукнетъ окно»,—и вамъ сдѣлается ужасно смѣшно...

Мечтательность, романтизмъ, платоническая любовь,— все это въ наше время очень хорошо при переходѣ изъ отрочества въ юношество. Душа моется, расправляетъ крылья въ этомъ фантастическомъ морѣ, въ этомъ уныломъ полумракѣ. Но остаться на вѣкъ мечтательно вздыхающимъ, страдающимъ безнадежно *по ней*, стремящимся и возносящимся,—не види, что подъ ногами дѣлается, что надъ головою гремитъ!... Какъ люди, вѣчно занятые суетою ежедневности, безсознательно влекомые общимъ движеніемъ, совершенно внѣшніе и ограниченные, вышли съ одной стороны изъ жизни истинно человѣческой, такъ мечтатели, исполненные неопредѣленной тоски, сердечныхъ страданій, боящіеся грубыхъ прикосновеній дѣйствительности, въ другую сторону вышли изъ жизни. Первые возвратились въ состояніе животныхъ или не дошли еще до человѣческаго; они довольны своею жизнью на скотномъ дворѣ. Вторые вышли изъ человѣческой жизни въ какую-то стень, по которой сколько ни пройдеши, столько же остается. Тѣ не могутъ прийти въ себя, эти выйти изъ себя не могутъ. Жизнь не для нихъ: это два берега ея: она величественно течетъ между ними. На мечтателей часто клепятъ глубину души, неизвѣстную намъ, профанамъ: тамъ «покоится не одна прекрасная жемчужина», да они ее выковырять не могутъ, и словъ нѣтъ высказать и звуковъ нѣтъ спѣть... Знаете ли, что мнѣ подъ часъ приходитъ въ голову? Глубина эта похожа на то, что если-бъ выкопать колодезь до центра земли и все продолжать копать, каждый шагъ глубже былъ бы шагомъ ближе къ поверхности. Центр тяжести — граница глубины; еще разъ, жизнь — статистическая задача—ни troppo, ни troppo poco. Troppo poco — человѣкъ въ толпѣ съ низкими желаніями безгласенъ; troppo — человѣкъ внѣ дѣйствительности въ сферѣ празднои и бесполезной... Возвращаюсь къ любви. Мучительная любовь не есть истинная, а... «Знаешь ли ты», сказалъ мнѣ одинъ ученый другъ, которому я читалъ эту тетрадь, «знаешь ли ты условіе, чтобъ не дурную, да и не хорошую статью прочли?» Я наострилъ уши. «Надобно», продолжалъ онъ съ важностью ученаго и съ участіемъ друга, точно въ статистической

задачи жизни человѣческой: «чтобъ было сказано ни troppo, ни troppo poco. Въ послѣднемъ ты предостерегся, я первой отдаю полную справедливость; подумай о второмъ; вспомни историческую воздержность Сципіона».

Подумавъ и вспомнивъ историческую воздержность Сципіона, я остановился; тѣмъ болѣе не осмѣлюсь заставить благосклоннаго читателя (если Богъ пошлетъ его) читать продолженія безсвязныхъ Grübeleien.

10 октября. 1842.

Москва и Петербургъ ¹⁾).

Печатавъ въ первый разъ небольшую статейку о «Москвѣ и Петербургѣ», писанную мною во время моей второй ссылки, т. е. пятнадцать лѣтъ тому назадъ, я исполняю желаніе моихъ друзей, между прочимъ того, который мнѣ прислалъ ее изъ Россіи. Статья эта правилась многимъ и обошла всю Россію въ рукописныхъ копіяхъ. Впослѣдствіи (въ 1846) я напечаталъ отрывки изъ нея въ небольшомъ разсказѣ—«Станція Едрово», но само собою разумѣется, что нечего было и думать, чтобы цензура пропустила рѣзкія мѣста, а они-то и составляютъ все достоинство этой шутки. Я во многомъ теперь не согласенъ, но оставилъ статью такъ, какъ она была, по какому-то чувству добросовѣстности къ прошедшему.

И вы туда же, любезные друзья, сердитесь, что я, усѣвшись на берегу Волхова, говорю объ одномъ прошедшемъ, какъ будто у насъ нѣтъ настоящаго, какъ будто намъ положенъ тайный рубежъ въ исторіи—не вести изслѣдованій позже происхожденія Руси, какъ будто важнѣйшее дѣло и событіе въ нашей исторіи—метрическое свидѣтельство о рожденіи, послѣ котораго такъ скромно жили, что нечего и разсказать... Тутъ я васъ останавливаю. Я потому именно сталъ говорить о прошедшемъ, что, мнѣ кажется, мы и въ немъ не жили, а только кой-какъ существовали. Но, пожалуйста, въ сторону прошедшее!

Говорить о настоящемъ Россіи значитъ говорить о Петербургѣ, объ этомъ городѣ безъ исторіи въ ту и другую сторону, о городѣ настоящаго, о городѣ, который одинъ живетъ и дѣйствуетъ

въ уровень современнымъ и своеземнымъ потребностямъ на огромной части планеты, называемой Россіей. Москва, напротивъ, имѣтъ притязанія на прошедшій бытъ, на мнимую связь съ нимъ; она хранить воспоминанія какой-то прошедшей славы, всегда глядитъ назадъ, увлеченная петербургскимъ движеніемъ, идетъ задомъ напередъ и не видитъ европейскихъ началъ оттого, что касается ихъ затылкомъ. Жизнь Петербурга только въ настоящемъ; ему не о чемъ вспоминать, кромѣ о Петрѣ I, его прошедшее сколочено въ одинъ вѣкъ, у него нѣтъ исторіи, да нѣтъ и будущаго; онъ всякую осень можетъ ждать шквала, который его потопитъ. Петербургъ—ходячая монета, безъ которой обойтись нельзя; Москва—рѣдкая, положимъ, замѣчательная для охотника нумизма, но не имѣющая хода. Итакъ, о городѣ настоящаго, о Петербургѣ.

Петербургъ—удивительная вещь. Я всматривался, приглядывался къ нему и въ академіяхъ, и въ канцеляріяхъ, и въ казармахъ, и въ гостинныхъ, — а мало понималъ. Живши безъ занятій, не втянутый въ омутъ гражданскихъ дѣлъ, ни въ фронты и разводы *мирныхъ военныхъ занятій*, я имѣлъ досугъ, отступя, такъ сказать въ сторону, разсматривать Петербургъ; видѣлъ разные слои людей, людей, которые олимпийскимъ движеніемъ пера могутъ дать Станислава или отнять мѣсто; людей непрерывно пишущихъ, т. е. чиновниковъ; людей почти никогда не пишущихъ, т. е. русскихъ литераторовъ; людей не только никогда не пишущихъ, но и никогда не читающихъ, т. е. лейбъ-гвардіи штабъ и оберъ-офицеровъ; видѣлъ львовъ и львицъ, тигровъ и тигрицъ: видѣлъ такихъ людей, которые ни на какого звѣря, ни даже на человѣка не похожи, а въ Петербургѣ дома, какъ рыба въ водѣ: наконецъ, видѣлъ поэтовъ въ III отдѣленіи собственной канцеляріи—и III отдѣленіе собственной канцеляріи, занимающееся поэтами: но Петербургъ остался загадкой, какъ прежде. И теперь, когда онъ началъ для меня исчезать въ туманѣ, которымъ Богъ завѣшиваетъ его круглый годъ, чтобъ издали не видно было, что тамъ дѣлается, я не нахожу средствъ разгадать загадочное существованіе города, основаннаго на всякихъ противоположностяхъ и противорѣчіяхъ физическихъ и нравственныхъ..... Это, впрочемъ, новое доказательство его современности: весь періодъ нашей исторіи отъ Петра I — загадка, нашъ настоящій бытъ — загадка..... этотъ разноначальный хаосъ взаимногложущихъ силъ, противоположныхъ направленій, гдѣ, иной разъ всплываетъ что-то европейское, прорѣзывается что-то широкое и человѣческое, и потомъ тонетъ или въ болотѣ косо-страдательнаго славянскаго характера, все принимающаго съ апатіей—кнутъ и книги, права и лишеніе ихъ, татаръ и Петра—и потому въ сущности ничего не

принимающаго; или въ волнахъ дикихъ понятій о народности исключительной, понятій недавно выползшихъ изъ могилъ и не поумѣвшихъ подъ сырой землей.

Съ того дня, какъ Петръ увидѣлъ, что для Россіи одно спасеніе—перестать быть русской, съ того дня, какъ онъ рѣшился двинуть насъ во всемірную исторію, необходимость Петербурга и пенужность Москвы опредѣлились. Первый, неизбѣжный шагъ для Петра было перенесеніе столицы изъ Москвы. Съ основанія Петербурга, Москва сдѣлалась второстепенной, потеряла для Россіи прежній смыслъ свой и прозябала въ ничтожествѣ и пустотѣ до 1812 года. Быть можетъ, въ будущую эпоху.... Мало-ли что можетъ быть, и навѣрно много хорошаго будетъ въ будущую эпоху; мы говоримъ о прошедшемъ и о настоящемъ. Москва ничего не значила для человѣчества, а для Россіи имѣла значеніе омута, втянувшаго въ себя все лучшія силы ея и ничего не умѣвшаго сдѣлать изъ нихъ. Москву забыли послѣ Петра и окружили тѣмъ уваженіемъ, тѣми знаками благосклонности, которыми окружаютъ старуху-бабушку, отнимая у нея всякое участіе въ управленіи имѣніемъ. Москва служила станціей между Петербургомъ и тѣмъ свѣтомъ для отслужившаго барства, какъ предвкушеніе могильной тишины. Къ Петербургу она не питала негодованія, напротивъ, тянулась всегда за нимъ, перенимала и уродовала его моды, обычаи. Все юное поколѣніе служило тогда въ гвардіи: все талантливое, появившееся въ Москвѣ, отправлялось въ Петербургъ писать, служить, дѣйствовать. И вдругъ эта Москва, о существованіи которой забыли, замѣшалась съ своимъ Кремлемъ въ исторію Европы, кетати сторѣла, кетати обстроилась: ея имя пошло въ бюллетени великой арміи, Наполеонъ ѣздилъ по ея улицамъ. Европа вспомнила объ ней. Фантастическія сказки о томъ, какъ обстроилась она, обошли свѣтъ. Кому не прокричали уши о прелести, въ которой этотъ фениксъ воспрянулъ изъ огня. А надобно признаться, плохо обстроилась Москва: архитектура домовъ ея уродлива, съ ужасными претензіями: дома или лучше хутора ея малы, обтѣлены колоннами, задавлены фронтонами, огорожены заборами... И какова же она была прежде, ежели была гораздо хуже? Нашлись добрые люди, которые подумали, что такой сильный толчекъ разбудить жизнь Москвы: думали, что въ ней разовьется народность самобытная и образованная, а она, моя голубушка, растянулась на сорокъ верстъ отъ Троицы въ Голенищевѣ до Бутырокъ, да и поживаетъ опять. А ужъ Наполеона не предвидится!

Въ Петербургѣ все люди вообще и каждый въ особенности прескверные. Петербургъ любить нельзя, а я чувствую, что не стать бы жить ни въ какомъ другомъ городѣ Россіи. Въ Москвѣ,

напротивъ, все люди предобрые, только съ ними скука смертельная: въ Москвѣ есть своего рода полудикій, полуобразованный барскій бытъ, стирающійся въ тѣснотѣ петербургской; на него хорошо взглянуть, какъ на всякую особенность, но онъ тотчасъ надоесть. Русское барство не знаетъ комфорта, оно богато, но грязно; оно провинціально и напыщено въ Москвѣ, и оттого безпрерывно на иглокахъ, тянется, догоняетъ нравы Петербурга, а Петербургъ и нравовъ своихъ не имѣетъ. Оригинальнаго, самобытнаго въ Петербургѣ ничего нѣтъ, не такъ, какъ въ Москвѣ, гдѣ все оригинально—отъ нелѣпой архитектуры Василія-Блаженнаго до вкуса калачей. Петербургъ — воплощеніе общаго, отвлеченнаго понятія столичнаго города; Петербургъ тѣмъ и отличается отъ всехъ городовъ европейскихъ, что онъ на все похожъ; Москва тѣмъ, что она вовсе не похожа ни на какой европейскій городъ, а есть гигантское развитіе русскаго богатаго села. Петербургъ—рагуенцъ; у него нѣтъ вѣкамъ освященныхъ воспоминаній, нѣтъ сердечной связи съ страной, которую представлять его вызвали изъ болотъ; у него есть полиція, присутственные мѣста, купечество, рѣка, дворъ, семипэтажные дома, гвардія, тротуары, по которымъ ходить можно, газовые фонари, дѣйствительно освѣщающіе улицы, и онъ доволенъ своимъ удобнымъ бытомъ, не имѣющимъ корней и стоящимъ, какъ онъ самъ, на сваяхъ, вбивая которыя умерли сотни тысячъ работниковъ.

Въ Москвѣ мертвая тишина; люди систематически ничего не дѣлаютъ, а только живутъ и отдыхаютъ передъ трудомъ; въ Москвѣ послѣ 10 часовъ не найдешь извозчика, не встрѣтишь человѣка на иной улицѣ; разъединенный бытъ славяно-восточный напоминается на каждомъ шагѣ. Въ Петербургѣ вѣчный стукъ *суеты суетъ*, и все до такой степени заняты, что даже не живутъ. Дѣятельность Петербурга безсмысленна, но привычка дѣятельности вещь великая. Летаргическій сонъ Москвы придастъ москвичамъ ихъ пекинско-хухунорскій характеръ стоячести, который навелъ бы уныніе на самого отца Іакинѣа. У петербуржца цѣли ограниченныя или подлыя; но онъ ихъ достигаетъ, онъ недоволенъ настоящимъ, онъ работаетъ. Москвичъ, преблагородитѣльнѣй въ душѣ, никакой цѣли не имѣетъ, большею частью доволенъ собою, а когда не доволенъ, то не умѣетъ изъ всеобщихъ мыслей, неопредѣленныхъ и неотчетливыхъ, дойти до указанія больного мѣста. Въ Петербургѣ все литераторы торгаши; тамъ нѣтъ ни одного круга литературнаго, который бы имѣлъ не личность, не выгоду, а идею связью. Петербургскіе литераторы вдвое менѣе образованы московскихъ; они удивляются, приѣзжая въ Москву, умнымъ вечерамъ и бесѣдамъ въ ней. А между тѣмъ вся книжная дѣятельность только и существуетъ въ Петербургѣ.

Тамъ издаются журналы, тамъ цензура умѣе, тамъ пишутъ и живутъ Пункины, Карамзины, даже Гоголь принадлежать болѣе къ Петербургу, чѣмъ къ Москвѣ. Въ Москвѣ есть люди глубокихъ убѣжденій, но они сидятъ сложа руки: въ Москвѣ есть круги литературные, безкорыстно проводящіе время въ томъ, чтобы всякій день доказывать другъ другу какую нибудь полезную мысль, напр., что Западъ гниетъ, а Русь цвѣтетъ. Въ Москвѣ издается одинъ журналъ, да и тотъ «Москвитининъ».

Москвичъ любить кресты и церемоніи, петербуржецъ—мѣста и деньги; москвичъ любитъ аристократическія связи, петербуржецъ—связи съ должностными людьми. Москвичу дадутъ Станислава на шею, а онъ его носитъ на брюхѣ; у петербуржца Владиміръ надѣтъ, какъ ошейникъ съ замочкомъ у собаки. Въ Петербургѣ можно прожить года два, не догадываясь какой религіи онъ держится: въ немъ даже русскія церкви приняли что-то католическое. Въ Москвѣ на другой день пріѣзда вы узнаете и услышите православіе и его мѣдный голосъ. Въ Москвѣ множество людей ходить каждый воскресный и праздничный день къ обѣднѣ: есть даже такіе, которые ходятъ и къ заутренѣ: въ Петербургѣ мужскаго пола никто не ходитъ къ заутренѣ, а къ обѣднѣ ходятъ одни пѣмцы въ кирку, да пріѣзжіе крестьяне. Въ Петербургѣ одни и есть мощи: это домикъ Петра: въ Москвѣ покоятся мощи всѣхъ святыхъ изъ русскихъ, которыя не помѣстились въ Кіевѣ, даже такихъ, о смерти которыхъ доселѣ идетъ споръ, напримѣръ, Дмитрій-царевичъ. Вся эта святыня бережется стѣнами Кремля: стѣны Петропавловской крѣпости берегутъ казематы и монетный дворъ.

Удаленная отъ политическаго движенія, питаясь старыми новостями, не имѣя ключа къ дѣйствіямъ правительства, ни инстинкта отгадывать ихъ, Москва резонерствуетъ, многимъ недовольна, обо многомъ отзывается вольно..... Вдругъ является Иванъ Александровичъ Хлестаковъ большого размѣра,—Москва кланяется въ поясъ, рада посвященію, даетъ балы и обѣды и пересказываетъ бон-мо. Петербургъ, въ центрѣ котораго все дѣлается, ничему не радуется, никому не радуется, ничему не удивляется: если-бъ порохомъ подорвали весь Васильевскій Островъ, это сдѣлало бы меньше волненія, чѣмъ пріѣздъ Хозрева-Мирзы въ Москву. Иванъ Александровичъ въ Петербургѣ ничего не значить, тамъ никого не надуешь ни силой, ни властью, тамъ знаютъ, гдѣ сила и въ комъ. Въ Москвѣ до сихъ поръ принимаютъ всякаго иностранца за великаго человѣка, въ Петербургѣ cadaго великаго человѣка за иностранца. Во всю свою жизнь Петербургъ разъ только обрадовался: онъ очень боялся француза, и когда Витгенштейнъ его спасъ, онъ бѣгалъ къ нему навстрѣчу. Въ добрыйней

Москвѣ можно черезъ газеты объявить, чтобъ она въ такой-то день умилялась, въ такой-то обрадовалась: стоитъ генераль-губернатору распорядиться и выставить полковую музыку или устроить крестный ходъ. Зато москвичи плачутъ о томъ, что въ Рязани голодъ, а петербуржцы не плачутъ объ этомъ, потому что они и не подозреваютъ о существованіи Рязани, а если и имѣютъ темное понятіе о внутреннихъ губерніяхъ, то навѣрное не знаютъ, что тамъ хлѣбъ ѣдятъ.

Молодой москвичъ не подчиняется формамъ, либеральничаетъ, и именно въ этихъ либеральныхъ выходкахъ виднѣется законный скпѣзъ. Этотъ либерализмъ проходитъ у москвичей тотчасъ, какъ побывають въ тайной полиціи. Молодой петербуржецъ формаленъ, какъ дѣловая бумага, въ шестнадцать лѣтъ корчитъ дипломата и даже немного шпиона, и остается твердъ въ этой роли на всю жизнь. Въ Петербургѣ все дѣлается ужасно скоро. Полевой въ пятый день по пріѣздѣ въ Петербургъ сдѣлался вѣрнопопданнѣмъ: въ Москвѣ онъ лѣтъ пять вольнодумствовалъ бы еще. Вообще московскіе жиденькіе либералы начинаютъ въ Петербургѣ искать мѣсть, проклинать просвѣщеніе и благословлять разводы. Петербургъ, какъ египетская печь, только скорѣе развертываетъ скорлупу, а каковъ выйдетъ цыпленокъ,—не его вина. Бѣлинскій, проповѣдывавшій въ Москвѣ народность и самодержавіе, черезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ въ Петербургъ заткнулъ за поясъ самого Анахарсиса Клоотса. Петербургъ, какъ всѣ положительные люди, не слушаетъ болтовни, а требуетъ дѣйствій, оттого часто благородные московскіе говорители становятся подлѣйшими дѣйствителями. Въ Петербургѣ вообще либераловъ нѣтъ, а коли заведется, такъ въ Москву не попадаетъ.

Въ судьбѣ Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное. Это любимое дитя сѣвернаго великана, гиганта, въ которомъ сосредоточена была энергія и жестокость конвента 93 года и революціонная сила его, любимое дитя царя, отрекшагося отъ своей страны для ея пользы и угнетавшаго ее во имя европеизма и цивилизаціи. Небо Петербурга вѣчно сѣро; солнце, свѣтящее на добрыхъ и злыхъ, не свѣтитъ на одинъ Петербургъ: болотистая почва испаряетъ влагу; сырой вѣтеръ приморскій свищетъ по улицамъ. Повторяю, каждую осень онъ можетъ ждать шквала, который его затопитъ. Въ судьбѣ Москвы есть что-то мѣщанское, пошлое; климатъ не дуренъ, да и не хорошъ; дома не низки, да и не высоки. Взгляните на москвичей подъ Новинскимъ, или въ Сокольникахъ 1 мая: имъ и не жарко, и не холодно, имъ очень хорошо, и они довольны балаганами, экипажами, собою. И взгляните послѣ того въ хорошій день на Петербургъ. Торопливо бѣгутъ несчастные жители изъ своихъ норъ и бросаются

въ экипажи, скачутъ на дачи, острова: они унимаются зеленою и солнцемъ, какъ арестанты въ *Fidelio*: но привычка заботы не оставляетъ ихъ, они знаютъ, что черезъ часъ пойдетъ дождь, что завтра труженники канцелярій, поденщики бюрократіи, они утромъ должны быть по мѣстамъ. Человѣкъ, дрожащій отъ стужи и сырости, человѣкъ, живущій въ вѣчномъ туманѣ и инеѣ, иначе смотритъ на міръ: это доказываетъ правительство, сосредоточенное въ этомъ инеѣ и принявшее отъ него свой угрюмый характеръ. Художникъ, развившійся въ Петербургѣ, избралъ для кисти своей страшный образъ дикой, неразумной силы, губящей людей въ Помпеѣ, — это вдохновеніе Петербурга! Въ Москвѣ на каждой верстѣ прекрасный видъ: плоскій Петербургъ можно исходить съ конца въ конецъ и не найти ни одного даже посредственнаго вида: но исходивши, надо воротиться на набережную Невы и сказать, что всѣ виды Москвы ничего передъ этимъ. Въ Петербургѣ любятъ роскошь, но не любятъ ничего лишняго: въ Москвѣ именно одно лишнее считается роскошью: оттого у каждаго московскаго дома колонны, а въ Петербургѣ нѣтъ: у каждаго московскаго жителя нѣсколько лакеевъ, скверно одѣтыхъ и ничего не дѣлающихъ, а у петербургскаго одинъ, чистый и ловкій.

Нигдѣ я не предавался такъ часто, такъ много скорбнымъ мыслямъ, какъ въ Петербургѣ. Задавленный тяжкими сомнѣніями, бродилъ я бывало по граниту его и былъ близокъ къ отчаянію. Этими минутами я обязанъ Петербургу, и за нихъ я полюбить его такъ, какъ разлюбилъ Москву за то, что она даже мучить, терзать не умѣетъ. Петербургъ тысячу разъ заставитъ всякаго честнаго человѣка проклясть этотъ Вавилонъ: въ Москвѣ можно прожить годы и кромѣ Успенскаго Собора нигдѣ не услышать проклятій. Вотъ чѣмъ она хуже Петербурга. Петербургъ поддерживаетъ физически и морально лихорадочное состояніе. Въ Москвѣ до такой степени здоровье усыпляется, что органическая пластика замѣняетъ всѣ жизненные дѣйствія. Въ Петербургѣ, кромѣ коменданта Захаржевскаго, нѣтъ ни одного толстаго человѣка, да и тотъ толстъ отъ контузіи. Изъ этого ясно, что кто хочетъ жить тѣломъ и духомъ, тотъ не изберетъ ни Москвы, ни Петербурга. Въ Петербургѣ онъ умретъ на подорожѣ, а въ Москвѣ изъ ума выкиветъ.

Да что, чортъ возьми, скажете вы: говорилъ, говорилъ, а я даже не понялъ, кому вы отдасте преимущество. Будьте увѣрены, что и я не понялъ. Во-первыхъ, для житія нельзя избрать въ сію минуту ни Петербурга, ни Москвы: но такъ какъ есть фатумъ, который за насъ избираетъ мѣсто жительства, то это дѣло конченное: во-вторыхъ, все живое имѣетъ такое множество сторонъ,

такъ удивительно спаянныхъ въ одну ткань, что всякое рѣзкое сужденіе—односторонняя нелѣпость. Есть стороны въ московской жизни, которыя можно любить, есть онѣ и въ Петербургѣ; но гораздо болѣе такихъ, которыя заставляютъ Москву не любить, а Петербургъ ненавидѣть. Впрочемъ, хорошія стороны найдутся вездѣ, даже въ Пекинѣ и Вѣнѣ; это тѣ три человека добрыхъ, за которыхъ Богъ прощаль нѣсколько разъ грѣхи Содома и Гоморры, но не болѣе какъ прощаль. Увлекаться этимъ не надобно: вездѣ, гдѣ много живетъ людей, гдѣ давно живутъ люди, найдется что-нибудь человѣческое, что-нибудь торжественное и поэтическое. Торжественъ звонъ московскихъ колоколовъ и процессій въ Кремлѣ; торжественны большіе парады въ Петербургѣ, торжественны сходы буддистовъ на Востокѣ, при свѣтѣ ста двѣнадцати факеловъ, читающихъ свои святыя книги. Намъ мало этой поэтической стороны, намъ хочется..... Мало ли чего хочется!

Пророчать теперь желѣзную дорогу между Москвой и Петербургомъ. Давай Богъ! Черезъ этотъ каналъ Петербургъ и Москва взойдутъ подъ одинъ уровень, и навѣрно въ Петербургѣ будетъ дешевле икра, а въ Москвѣ двумя днями раньше будутъ узнавать, какіе нумера иностранныхъ журналовъ запрещены. И то дѣло!

Новгородъ, 1842.

Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ ¹⁾).

Недостаточно знать Петербургъ и Москву; для того чтобъ знать Петербургъ и Москву,—надобно еще заглянуть на то, что дѣлается вокругъ нихъ. Около Москвы мирный вѣнокъ шести или восьми губерній великороссійскихъ до конца ногтей. Москва среди ихъ поконится, какъ старшая въ семействѣ: изъ нея берутъ ея племянницы и сестрицы образованіе, моду, умъ и глупость. Довольное спокойствіе овладѣло этой полосой и она находится въ полудремотѣ, предпочитая сонъ отцу и матери, какъ говоритъ пословица. Старые губернаторы любятъ назначеніе въ эти губерніи. Въ нихъ никогда не бываетъ ни чрезвычайныхъ преступленій, ни безпримѣрной добродѣтели, ни вулканическихъ изверженій, ни опасныхъ разливовъ: хлѣбъ всегда родится довольно плохо, за то рѣдко совѣзмъ не родится: крестьяне благочестивы, жалуются на Бога за бѣдность, на казенную плату за рекрутскіе наборы, а на помѣщиковъ никогда не жалуются вѣлухъ. Каждая изъ этихъ губерній имѣетъ свой талантъ, стало, завидовать другъ другу нечего, и онѣ также мирно и родственно стоятъ на одномъ мѣстѣ около Москвы, какъ планеты ни минуты не стоятъ на мѣстѣ около солнца. Калуга производитъ тѣсто, Владиміръ вишни, Тула пистолеты и самовары, Тверь извозничаетъ, Ярославль чело-
вѣкъ торговый.

Климатъ Москвы съ ея присными принадлежитъ къ тѣмъ вещамъ, которыхъ вся характеристика состоитъ изъ отрицательныхъ качествъ: не холодный, не теплый; кукуруза не растетъ, яблоки не мерзнутъ. Послѣ того какъ Петръ I открылъ возможность жить въ сыромъ болотѣ, прилегающемъ къ Балтійскому морю, нечего и доказывать обитаемость московской полосы. И

¹⁾ Полярная Звѣзда на 1855 г.

признаюсь откровенно въ моей ограниченности: не понимаю, какъ можно по доброй волѣ жить въ климатѣ восьми-деяти мѣсячной зимы. Аскольдъ и Диръ были единственные порядочные люди изъ всей норманской сволочи, пришедшей съ Рюрикомъ: они взяли свои лодки, да и пошли съ ними пѣшкомъ въ Кіевъ. Игорь, Олегъ и tutti quanti, жившіе на югѣ Россіи, были люди со вкусомъ, оттого единственный періодъ въ русской исторіи, который читать не страшно и не скучно, это кіевскій періодъ.

Но какъ волка не корми, онъ къ лѣсу глядитъ; истинные патриоты убѣждали опять на сѣверъ, на сѣверъ Владиміра на Клязьмѣ и Москвы. Впослѣдствіе и эта полоса оказалась радикаламъ недостаточно сѣверной. Петръ нашелъ сѣверъ почище.

Когда ѣдешь изъ Москвы въ Петербургъ, сначала, по дорогѣ, деревни напоминаютъ близость къ сердцу государства; Тверь дальній кварталъ Москвы и притомъ хорошій кварталъ, Тверь на Волгѣ и на шоссе, городъ съ будущностью, съ карьерой. Но въ Новгородской губерніи путника обдастъ тоской и ужасомъ; это предисловіе къ Петербургу: другая земля, другая природа, безплодные нажити, болота съ болѣзненными испареніями, бѣдные деревни, бѣдные города, голодные жители и, что шагъ, становится страшнѣе, сердце сжимается; тутъ природа съ величайшимъ усиленіемъ, какъ сказалъ Грибоѣдовъ, производитъ одни вѣники; чувствуешь, что подѣзжаешь къ той полосѣ земного шара, которая только сдѣлана Богомъ для бѣлыхъ медвѣдей, да для равновѣсія, чтобъ шаръ не свалился съ орбиты. Деревья, какъ-то сгорбившіеся, болѣзненно стоятъ на сырой и тощей землѣ, какъ волосы на головѣ у полуплѣшиваго. Такъ, вы достигаете Новгорода. Отъ Новгорода начинаются стеариновые свѣчи, гвардейскіе и всяческіе солдаты, видно, что Петербургъ близко. Остальные 180 верстъ тотъ же пустырь ужасный, отвратительный, посыпанный кое-гдѣ солдатами. До Ижоръ, до Померанья можете присягнуть, что остается верстъ 1.000 до большого города. И въ углу этой-то неблагоприятной полосы земли, на трясинѣ между двухъ водъ—Петербургъ, Петербургъ блестящій, удивительный, одинъ изъ самыхъ красивыхъ городовъ въ мірѣ. Петръ I по русской пословицѣ на обухѣ рожь малотилъ. Лишь бы мнѣ уѣхать на югъ, я всегда буду восхвалять какъ дивную побѣду надъ природой—Петербургъ. Три градуса вверхъ начинается здоровый сѣверъ, три градуса внизъ начинается умѣренно дурная полоса, въ которой Москва; промежуточные шесть градусовъ при пріятномъ содѣйствіи моря и всякихъ водъ рѣчныхъ, озерныхъ, болотныхъ, лечебныхъ и ядовитыхъ, при восточности положенія, составляютъ полосу вѣчной сырости, нравственной и физической изморози, душевнаго и тѣлеснаго тумана. Петербургъ, вбитый

сваими не въ русскую, а въ финскую землю, находится между Олонецкой и Новгородской губерніями. Олонецкая губернія отстала отъ Иркутской, Иркутская не отстала отъ Новгородской. Въ Олонецкой губерніи разбросанныя по скалистой землѣ и между лѣсами деревни совершенно разобщены; есть села, къ которымъ никакихъ нѣтъ дорогъ, кромѣ троиннокъ. Новое изобрѣтеніе колесъ не вездѣ извѣстно въ Олонецкой губерніи, и они таскають тяжести волокомъ. Петрозаводскъ—мѣсто въ родѣ Березова, ему дали сибирскія права, чтобъ заманить служащихъ. И все это возлѣ Петербурга. До границы Олонецкой губерніи отъ Петербурга верстъ 200, не больше. Новгородская губернія дальними уѣздами не далеко ушла отъ Олонецкой. Объ ней еще нельзя судить по большой дорогѣ. Дикость, бѣдность земли, которая никогда не родить достаточно хлѣба для прокормленія и къ тому еще военныя поселенія.

Въ Новгородской губерніи есть деревни, разобщенныя лужами и болотами съ цѣлымъ шаромъ земнымъ, къ нимъ ѣздить только зимой. Этими болотами и этою грязью защищались новгородцы нѣкогда отъ великокняжескаго и великоханскаго ига, теперь защищаются отъ великопольскаго. Въ эти деревни поцѣдить раза три въ годъ, и за цѣлую треть накрещиваетъ, навѣнчиваетъ, хоронить... При зимней дизлокаціи солдатъ по уѣздамъ, какая-то рота попала въ одну изъ этихъ моченыхъ деревень; пришла весна, нѣтъ роты, да и деревни не могутъ найти,—хлопоты, переписка, съемка плановъ; по счастью лѣто продолжается мѣсяца три, въ октябрскіе утренники является рота, она была за непроходимыми топями.

Да, нечего сказать, Петербургъ не разлилъ жизни около себя: и не могъ, наоборотъ, почерпнуть жизненныхъ соковъ изъ сосѣдства: и въ этомъ опять его трагическій характеръ. Петербургъ все сжимается, лѣшится, сосредоточивается около Зимняго Дворца, даже въ самомъ городѣ такъ. Много толковали о томъ, что въ Москвѣ огромный домъ, а возлѣ него хижины: но надобно вспомнить, что эти дома разбросаны на сорока верстахъ вездѣ. Не угодно ли въ Петербургѣ мѣрою двѣ версты отойти отъ Зимняго Дворца по петербургской сторонѣ—какая пустота, нечистота. Все дѣйствіе Петербурга на окружающія мѣста ограничилось тѣмъ, что онъ развратилъ Новгородъ и, начавши собою новую неопытную Русь, придавилъ все древнее въ самомъ мѣстѣ зародыша.

Владиміръ относится къ Москвѣ такъ, какъ Новгородъ къ Петербургу. Владиміръ былъ столицей, великъ и славенъ,—какъ можно было быть великимъ и славнымъ на Руси. Задуманный татарами, онъ уступилъ Москвѣ, пошелъ къ ней въ подмастерья, когда она была хозяйкой всякимъ пронырствомъ и нескатыствомъ.

но онъ сохранилъ въ своихъ воспоминаніяхъ былую славу, помнитъ Андрея Боголюбскаго и древность своей епархіи. Что-то тихое, кроткое въ его чертахъ, осыпанныхъ вишнями. Москва любила такихъ не слишкомъ удалыхъ сосѣдей и помощниковъ и между ними завязалась искренняя, дружеская связь; что было лишней крови, Москва высосала и отставной столичный городъ, какъ истинный философъ или какъ грузинскій царевичъ, довольный тѣмъ, что осталось—хотя и ничего не осталось кромѣ того, чего взять нельзя—ничего не хочетъ, ничего не усовершенствуетъ, строго держится православія и не заслуживаетъ брани, можетъ, потому, что и похвалить не за что. И Новгородъ былъ столицей и поважнѣе, онъ былъ республикой, насколько можно было быть республикой на Руси. Душить его принялись мастера не татарамъ чета: два Ивана Васильевича, да одинъ Алексѣй Андреевичъ. Татары народъ кочевой, ни въ чемъ нѣтъ выдержки; придутъ, сожгутъ, оберутъ, разобидятъ, научать считать на счетахъ, бить кнутомъ, а потомъ и уйдутъ себѣ чортъ знаетъ куда. Нехристи и варвары. Православные Иваны Васильевичи, особенно послѣдній, принялись за дѣло основательнѣе. Память вышибъ своей *долбнєю* царь Иванъ Васильевичъ изъ новгородцевъ, а долбня эта осталась и хранится въ соборѣ; Вельтманъ писалъ книгу о «Господинѣ нашемъ Новгородѣ великомъ» и плакалъ отъ умиленія, встрѣтившись нечаянно на улицѣ съ Ярославовой башней. Я не плакалъ о господинѣ-слугѣ, а не разъ содрогался. Зданія, пережившія смыслъ свой, наводятъ ужасъ, когда вы спросите объ нихъ новгородца, выросшаго и состарѣвшагося здѣсь, и онъ вамъ отвѣтитъ: «говорять, еще до Петра строено». Софійскій соборъ стоитъ на томъ же мѣстѣ, а противъ него губернское правленіе съ какой-то подъячески-осунувшейся фасадой. Въ соборѣ хранится, какъ я сказалъ, долбня, а въ губернскомъ правленіи въ золотомъ ковчегѣ записка Аракчеева къ губернатору о убійствѣ его любовницы.

Какъ Новгородъ жилъ отъ Ивана Васильевича до Петербурга,—никто не знаетъ: вѣроятно, корни гражданственности были и не глубоки и не живучи, вѣроятно, самъ Новгородъ ужаснулся грѣху торговать съ Ганзою и не слушаться указовъ. Грязный, дряхлый и ненужный стоялъ онъ, пока Петербургъ подросталъ, обстроился: но въ немъ не осталось ничего стариннаго русскаго, и не привилось ни одной капли европейскаго; нравы Новгорода представляютъ уродливую и отвратительную пародію на петербургскіе. Нравы Петербурга могутъ быть сносны только въ этомъ вѣчномъ вихрѣ, шумѣ, стукѣ, трескѣ, при новостяхъ, театрахъ, пароходахъ, кофейныхъ и иныхъ увеселительныхъ заведеніяхъ. Бѣдный и лишенный всякихъ удобствъ Новгородъ невыносимо

скученъ. Это большая казарма, набитая солдатами, и маленькая канцелярія, набитая чиновниками. Изъ обществѣнности, подъяичіе по петербургски держать дверь на ключъ и не сходятся. Немного смѣшное гостепріимство подмосковныхъ губерній имѣетъ всегда какую-то бономию: циническій эгоизмъ новгородцевъ поселить отвращеніе. Тутъ въ первый разъ пріѣзжающій изъ внутреннихъ губерній можетъ узнать, что такое петербургскій чиновникъ, *species petropolina, ministerialis*, это—махровый чиновникъ, далеко оставляющій за собою мелкихъ плутовъ уѣздныхъ и губернскихъ.

Въ Новгородѣ каждое неосторожное слово можетъ навлечь бѣдствія: Петербургъ научилъ *ci-devant* республику наущивать. Въ губерніяхъ подмосковныхъ говорите, что хотите: разумѣется, не поймутъ, коли дѣло скажете, но и не донесутъ, «мы де дворяне».

Иваны Васильевичи долбили собственно городъ; но какъ нашъ вѣкъ желаетъ пріобщить къ муниципальнымъ выгодамъ и земледѣльцевъ.—графъ Аракчеевъ рѣшился распространить благодѣянія Ивановъ Васильевичей на всю губернію. Средство, имъ избранное, было гениально—военныя поселенія. Заставить пахать землю по темнамъ, увѣрить мирнаго мужика, что онъ грозный воинъ, разрушить семью и деревню и водворить казармы въ цѣлую волость и все это легкимъ и простымъ средствомъ, заставляя десятого мужика до смерти, и всѣхъ остальныхъ степенью меньше. Жаль, что смерть Анастасіи помѣшала графу очень много, а потому немножко смерть императора Александра, окончить богоугодное дѣло.

Странная судьба Новгорода—въ его исторіи два имени не забыты, оба женскія: Марфа посадница и Настасья наложница: обѣ обрушили на Новгородъ невыразимыя бѣдствія. Первая жизнью, вторая смертию. Москва радовалась смерти первой, Петербургъ плакать о второй!

Новгородъ. 1842 года.

ДИЛЕТАНТИЗМЪ ВЪ НАУКЪ.



I.

Мы живемъ на рубежѣ двухъ міровъ,—оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящихъ людей. Старыя убѣжденія, все прошедшее міросозерцаніе потрясены, но они дороги сердцу. Новыя убѣжденія, многообъемлющія и великія, не успѣли еще принести плода; первые листы, почки пророчать могучіе цвѣты, но этихъ цвѣтовъ нѣтъ, и они чужды сердцу. Множество людей осталось безъ прошедшихъ убѣжденій и безъ настоящихъ. Другіе механически спутали долю того и другого и погрузились въ печальные сумерки. Люди внѣшніе предаются въ такомъ случаѣ ежедневной суетѣ; люди созерцательные страдаютъ, во что-бъ ни стало ищутъ примиренія, потому что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ краеугольнаго камня нравственному бытію, человѣкъ не можетъ жить. Между тѣмъ, всеобщее примиреніе въ сферѣ мышленія провозгласилось міру наукой. И жаждавшіе примиренія раздвоились. *Одни* не вѣрятъ наукѣ, не хотятъ ею заняться, не хотятъ обслѣдовать, почему она такъ говоритъ, не хотятъ идти ея труднымъ путемъ; «наболѣвшія души наши», говорятъ они, «требуютъ утѣшеній, а наука на горячія просьбы о хлѣбѣ подаетъ камни, на вошь и стонъ растерзаннаго сердца, на его плачь, молящій объ участіи, предлагаетъ холодный разумъ и общія формулы; въ логической неприступности своей она равно не удовлетворяетъ ни практическихъ людей, ни мистиковъ. Она намѣренно говоритъ языкомъ неудобопонятнымъ, чтобъ за лѣсомъ схоластики скрыть сухость основныхъ мыслей—elle n'a pas d'entrailles». *Другіе*, совсѣмъ напротивъ, нашли внѣшнее примиреніе и отвѣтъ всему какимъ-то незаконнымъ процессомъ, усвоивая себѣ букву науки и не касаясь до живого духа ея. Они до того поверхностны, что имъ кажется все ужасно лег-

кимъ, на всякій вопросъ они знаютъ разрѣшеніе; когда слушаешь ихъ, то кажется, что наукѣ больше ничего не осталось дѣлать. У нихъ свой алькоранъ, они вѣрятъ въ него и цитируютъ мѣста, какъ послѣднее доказательство. Эти мухаммедане въ наукѣ чрезвычайно вредятъ ея успѣхамъ. Генрихъ IV говаривалъ: «лишь бы Провидѣніе меня защитило отъ друзей, а съ врагами я самъ справлюсь»; такіе друзья науки, смѣшиваемые съ самой наукой, оправдываютъ ненависть враговъ ея;—и наука остается въ маломъ члелѣ избранныхъ.

Но хотя бы она была въ одномъ человѣкѣ,—она фактъ, великое событіе не въ возможности, а въ дѣйствительности; отрицать событіе нельзя. Такого рода факты никогда не совершаются не въ свое время: время для науки настало, она достигла до истиннаго понятія своего; духу человѣческому, искусившемуся на всѣхъ ступеняхъ лѣстницы самопознанія, начала раскрываться истина въ стройномъ наукообразномъ организмѣ и притомъ въ живомъ организмѣ. За будущность науки нѣчего бояться. Но жаль поколѣнія, которое, имѣя, если не совершенное освѣщеніе дня, то навѣрное утреннюю зарю, страдаетъ во тьмѣ или тѣнится пустяками, оттого что стоитъ спиною къ востоку. За что изъяты стремившіеся отъ блага обоихъ міровъ: прошедшаго умершаго, вызываемаго ими иногда, но являющагося въ саванѣ, и настоящаго, для нихъ не родившагося?

Массамъ философія теперь принята быть не можетъ. Философія, *какъ наука*, предполагаетъ извѣстную степень развитія самомышленія, безъ котораго нельзя подняться въ ея сферу. Массамъ вовсе недоступны безтѣлесныя умозрѣнія; ими принимается имѣющее плоть. А для того, чтобъ перейти во всеобщее сознаніе, потерявъ свой искусственный языкъ и сдѣлаться достоиніемъ площади и семьи, живоначальнымъ источникомъ дѣйствованія и воззрѣнія всѣхъ и каждаго,—она слишкомъ юна, она не могла еще имѣть такого развитія въ жизни, ей много дѣла дома, въ сферѣ абстрактной; кромѣ философовъ-мухаммеданъ, никто не думаетъ, что въ наукѣ все совершенно, не смотря ни на выработанность формы, ни на полноту развертывающагося въ ней содержанія, ни на діалектическую методу, ясную и прозрачную для самой себя. Но если массамъ недоступна наука, то до нихъ не дошли и страданія душнаго состоянія пустоты и натянутого бѣснующагося цѣтизма. Массы не видѣ истины: онѣ знаютъ ее божественнымъ откровеніемъ. Въ несчастномъ и безотрадномъ положеніи находятся люди, попавшіе въ промежутокъ между *естественною* простотою массъ и *разумной* простотою науки.

На первый случай да будетъ позволено намъ не разрушать на нѣкоторое время спокойствія и кѣтизма, въ которомъ почи-

вають формалисты, и заняться исключительно врагами современной науки; ихъ мы понимаемъ подъ общимъ именемъ дилетантовъ и романтиковъ. Формалисты не страдаютъ, а эти больны,—имъ жить тошно.

Враговъ собственно наука въ Европѣ не имѣетъ, развѣ за исключеніемъ какихъ-нибудь кастъ, доживающихъ въ безсмысліи свой вѣкъ, да и тѣ такъ нелѣпы, что съ ними никто не говоритъ. Дилетанты вообще тоже друзья науки, *nos amis les ennemis*, какъ говоритъ Беранжѣ, но непріатели современному состоянию ея. Всѣ они чувствуютъ потребность пофилософствовать, но пофилософствовать между прочимъ, легко и пріятно, въ извѣстныхъ границахъ; сюда принадлежатъ нѣжныя мечтательныя души, оскорбленныя положительностью нашего вѣка; онѣ, жаждавшія вездѣ осуществленія своихъ милыхъ, но не сбыточныхъ фантазій, не находятъ ихъ и въ наукѣ, отворачиваются отъ нея, и, сосредоточенныя въ тѣсныхъ сферахъ личныхъ упованій и надеждъ, бесплодно выдыхаются въ какую-то туманную даль. И, съ другой стороны, сюда принадлежатъ истые поклонники позитивизма, потерявшіе духъ за подробностями и упорно остающіеся при разсудочныхъ теоріяхъ и аналитическихъ трупоразвѣтіяхъ. Наконецъ, толпа этого направленія составляется изъ людей, вышедшихъ изъ дѣтскаго возраста и вообразившихъ, что наука легка (въ ихъ смыслѣ), что стоить захотѣть знать — и узнаешь, а между тѣмъ наука имъ не далась, за это они и разсердились на нее; они не вынесли съ собою ни укрѣпленныхъ дарованій, ни постоянного труда, ни желанія чѣмъ бы то ни было пожертвовать для истины. Они попробовали плодъ древа познанія и грустно повѣдали о кислотѣ и гнилости его, похожіе на тѣхъ добрыхъ людей, которые со слезами рассказываютъ о порокахъ друга,—и имъ вѣрятъ добрые люди, потому что они друзья.

Возлѣ дилетантовъ доживаютъ свой вѣкъ романтики, запоздалые представители прошедшаго, глубоко скорбящіе объ умершемъ мірѣ, который имъ казался вѣчнымъ; они не хотятъ съ новымъ имѣть дѣла, иначе какъ съ копьемъ въ рукѣ; вѣрные преданію среднихъ вѣковъ, они похожи на Донъ-Кихота и скорбятъ о глубокомъ паденіи людей, завернувшись въ одежды печали и стѣнованія. Они, впрочемъ, готовы признать науку; но для этого требуютъ, чтобы наука признала за абсолютное, что Дульцинея Тобозская—первая красавица. Пришло время, въ которое должно безъ увлеченія и предразсудковъ смотрѣть на людей; начинается совершеннолѣтіе, и потому не одно сладкое должно высказываться, но и горькое. Надобно для того начать рѣчь противъ дилетантовъ науки, что они клеветаютъ на нее, и для того, что ихъ жаль; наконецъ, всего болѣе необходимо говорить о нихъ *у насъ*.

Одно изъ существеннѣйшихъ достоинствъ русскаго характера—чрезвычайная легкость принимать и усваивать себѣ плоды чужого труда. И не только легко, но и ловко: въ этомъ состоитъ одна изъ гуманнѣйшихъ сторонъ нашего характера. Но это достоинство вмѣстѣ съ тѣмъ и значительный недостатокъ: мы рѣдко имѣемъ способность выдержаннаго, глубокаго труда. Намъ понравилось загребать жаръ чужими руками, намъ показалось, что это въ порядкѣ вещей, чтобъ Европа кровью и потомъ вырабатывала каждую истину и открытіе: ей всѣ мученія тяжелой беременности, трудныхъ родовъ, изнурительнаго кормленія грудью,—а дитя намъ. Мы проглядѣли, что ребенокъ будетъ у насъ—пріемышъ, что органической связи между нами и имъ нѣтъ..... Все шло хорошо. Но когда мы приблизились къ современной наукѣ, ея упорство должно было удивить насъ. Эта наука вездѣ дома, но только она нигдѣ не даетъ жатвы, гдѣ не посѣяна, она должна не только въ каждомъ принимающемъ народѣ, но въ каждой личности прозябнуть и возрасти. Намъ хотѣлось бы взять результатъ, поймать его, какъ ловить мухъ, и, раскрывая руку, мы или обманываемъ себя, думая, что абсолютное тутъ, или съ досадой видимъ, что рука пуста. Дѣло въ томъ, что эта наука существуетъ, какъ наука, и тогда она имѣетъ великій результатъ; а результатъ отдѣльно вовсе не существуетъ; такъ голова живого человѣка кипитъ мыслями, пока шейя прикрѣплена къ туловищу, а безъ него она—пустая форма. Все это должно было удивить и оскорбить нашихъ дилетантовъ гораздо болѣе, нежели иностранныхъ, ибо у насъ гораздо менѣе развито понятіе науки и путей ея. Наши дилетанты съ плачемъ засвидѣтельствовали, что они обманулись въ коварной наукѣ Запада, что ея результаты темны, сбивчивы, хотя и есть порядочныя мысли, принадлежащія «такому-то и такому-то». Такія рѣчи у насъ вредны, потому что нѣтъ нелѣпости, обветшалости, которая не высказывалась бы нашими дилетантами съ увѣренностью, приводящею въ изумленіе; а слушающіе готовы вѣрить, оттого что у насъ не установились самыя общія понятія о наукѣ; есть предварительныя истины, которыя въ Германіи, напримѣръ, впередъ идти, а у насъ нѣтъ. О нихъ тамъ уже никто не говоритъ, а у насъ никто *еще* не говорилъ о нихъ. На Западѣ война противъ современной науки представляетъ извѣстные элементы духа народнаго, развившіеся вѣками и окрѣпнувшіе въ упрямой самобытности; имъ вспять идти не позволяютъ воспоминанія: таковы, напримѣръ, піетисты въ Германіи, порожденные односторонностью протестантизма. Какъ ни жалко ихъ положеніе—быть изыатыми изъ жизни современной, но нельзя отрицать въ нихъ особый характеръ упругости и послѣдовательности, съ которой они ведутъ отчаянный бой. Наши дилетанты,

если и принимаютъ эти чужеземныя болѣзни, то, не имѣя предшествовавшихъ фактовъ, они дивятся поверхностностью и неразуміемъ. Имъ не стыдно отступить, потому что они еще не сдѣлали ни одного шага впередъ. Они были всегда праздношатающимися въ сѣняхъ храма науки, у нихъ нѣтъ своего дома. И если-бъ они могли побѣдить восточную лѣнь и въ самомъ дѣлѣ обратить вниманіе на науку, они помирились бы съ нею. Но тутъ-то и бѣда. Мы сердимся на науку въ совершенныхъ годахъ такъ, какъ сердились на грамматику, будучи восьми лѣтъ. Трудность, темнота—главное обвиненіе; къ нему присовокупляются, какъ къ существенному, другія возраженія, піэтическія, моральныя, патріотическія, сентиментальныя. Гёте давнымъ-давно сказалъ: «когда толкуютъ о темнотѣ книги, слѣдуетъ спросить, въ книгѣ ли темнота, или въ головѣ». Вообще ссылаться вѣчно на трудность—это что-то неблагопристойное, лѣнливое и незаслуживающее возраженія ¹⁾. Наука не достается безъ труда—правда; въ наукѣ нѣтъ другого способа пріобрѣтенія, какъ въ потѣ лица; ни порывы, ни фантазіи, ни стремленіе всѣмъ сердцемъ не замѣняютъ труда. Но трудиться не хотятъ, а утѣшаются мыслью, что современная наука есть разработка матеріаловъ, что надобно не чловѣчьи усилія для того, чтобъ понять ее, и что скоро упадетъ съ неба или выйдетъ изъ-подъ земли другая *легкая* наука.

«Трудность, непонятность!» А почему они знаютъ это? Развѣ внѣ науки можно знать степень ея трудности? развѣ наука не имѣетъ формальнаго начала, которое легко именно по тому, что оно начало, какая нибудь неразвитая всеобщность? Съ другой стороны, они правы, ссылаясь на непониманіе, больше правы, нежели думаютъ. Если мы вникнемъ, почему, при всемъ желаніи, стремленіи къ истинѣ, многимъ наука не дается, то увидимъ, что существенная, главная, всеобщая причина одна: всѣ они *не понимаютъ* науки и не понимаютъ, чего хотятъ отъ нея. Скажутъ: для кого же наука, если люди, ее любящіе, стремящіеся къ ней, не понимаютъ ея? Стало-быть, она, какъ алхимія, существуетъ только для адептовъ, имѣющихъ ключъ къ ея іероглифическому языку? Нѣтъ; современная наука можетъ быть понятна всякому, кто имѣетъ живую душу, самоотверженіе и подходитъ къ ней *просто*. Въ томъ-то и дѣло, что всѣ эти господа подходятъ къ ней *замысловато*, съ «задними мыслями», испытывая ее, дѣлая ей требованія и ничѣмъ не жертвуя для нея; и она для нихъ остается—хотя бы они были мудры, какъ змѣи—безмысленнымъ формализмомъ, логическимъ *casse-tête*, не заключающимъ въ себѣ никакой сущности.

¹⁾ У насъ, пожалуй, есть и еще нелѣпѣе обвиненіе науки,—зачѣмъ она употребляетъ *незнакомыя слова*. Кому незнакомыя?? . . .

Отреченіе отъ личныхъ убѣжденій значитъ признаніе истины: доколѣ моя личность соперничаетъ съ нею, она ее ограничиваетъ, она ее гнетъ, выгибаетъ, подчиняетъ себѣ, повинуваясь одному своеволю. Сохраняющимъ личныя убѣжденія дорога не *истина*, а то, что они *называютъ* истиной. Они любятъ не науку, а именно туманное, неопредѣленное стремленіе къ ней, въ которомъ раздолье имъ мечтать и льстить себѣ. Эти искатели премудрости, каждый по своей тропинкѣ, такъ высоко оцѣнили свой подвигъ, такъ полюбили свою умную личность, что не могутъ поступиться ею. Было время, когда многое прошло за одно стремленіе, за одну любовь къ наукѣ; это время миновало; нынче мало одной платонической любви: мы—реалисты, намъ надобно, чтобъ любовь становилась дѣйствіемъ. А что заставляетъ такъ упорно держаться личныхъ убѣжденій? Эгоизмъ. Эгоизмъ ненавидитъ всеобщее, онъ отрываетъ человѣка отъ человѣчества, ставитъ его въ исключительное положеніе; для него все чуждо, кромѣ своей личности. Онъ вездѣ носитъ съ собою свою злокачественную атмосферу, сквозь которую не проникаетъ свѣтлый лучъ, не изуродовавшись. Съ эгоизмомъ объ-руку идетъ гордая надменность: книгу науки развертываютъ съ дерзкимъ легкомысліемъ. Уваженіе къ истинѣ—начало премудрости.

Положеніе философіи въ отношеніи къ ея любовникамъ не лучше положенія Пенелопы безъ Одиссея: ее никто не охраняетъ—ни формулы, ни фигуры, какъ математику, ни частоколы, воздвигаемые специальными науками около своихъ огородовъ. Чрезвычайная всеобъемлемость философіи даетъ ей видъ доступности извнѣ. Чѣмъ всеобъемлемѣе мысль и чѣмъ болѣе она держится во всеобщности, тѣмъ легче она для поверхностнаго разумнѣя, потому что частности содержанія не развиты въ ней и ихъ не подозреваютъ. Смотри съ берега на зеркальную поверхность моря, можно дивиться робости пловцовъ; спокойствіе волнъ заставляетъ забывать ихъ глубину и жадность,—онѣ кажутся хрусталемъ или льдомъ. Но пловецъ знаетъ, можно ли положиться на эту холодность и покой. Въ философіи, какъ въ морѣ, нѣтъ ни льда, ни хрустали: все движется, течетъ, живетъ, подъ каждой точкой одинакая глубина: въ ней, какъ въ горнилѣ, расплавляется все твердое, окаменѣлое, понавшее въ ея безначальный и безконечный круговоротъ, и, какъ въ морѣ, поверхность гладка, спокойна, свѣтла, безпредѣльна и отражаетъ небо. Благодаря этому оптическому обману, дилетанты подходятъ храбро, безъ страха истины, безъ уваженія къ преемственному труду человѣчества, работавшаго около трехъ тысячъ лѣтъ, чтобы дойти до настоящаго развитія. Не спрашиваютъ дороги, скользятъ съ пренебреженіемъ по началу, полагая, что знаютъ его, не спрашиваютъ, чтѣ такое наука, чтѣ

она должна дать, а требуютъ, чтобъ она дала имъ то, что имъ вздумается спросить. Темное предчувствіе говоритъ, что философія должна разрѣшить все, примирить, успокоить; въ силу этого отъ нея требуютъ доказательствъ на свои убѣжденія, на всякія гипотезы, утѣшенія въ неудачахъ и Богъ-вѣсть чего не требуютъ. Строгий, удаленный отъ паѳоса и личностей, характеръ науки поражаетъ ихъ, они удивлены, обмануты въ ожиданіяхъ, ихъ заставляютъ трудиться тамъ, гдѣ они искали отдыха, и трудиться въ самомъ дѣлѣ. Наука перестаетъ имъ нравиться: они берутъ отдѣльные результаты, не имѣющіе никакого смысла въ той формѣ, въ которой они берутъ, привязываютъ ихъ къ позорному столбу и бичуютъ въ нихъ науку. Замѣьте, каждый считаетъ себя состоятельнымъ судьей, потому что каждый увѣренъ въ своемъ умѣ и въ превосходствѣ его надъ наукою, хотя бы онъ прочелъ одно введеніе. «Нѣтъ въ мірѣ человѣка», говоритъ одинъ великій мыслитель, «который бы думать, что можно, не учась башмачному мастерству, шить башмаки, хотя у cadaго есть нога—мѣра башмаку. Философія не дѣлитъ даже этого права». Личныя убѣжденія—окончательное, безапелляціонное судилище. А они откуда взяты? Отъ родителей, нянекъ, школы, отъ добрыхъ и недобрыхъ людей, и отъ своего посильнаго ума. «У всякаго свой умъ,—что за дѣло, какъ думаютъ другіе». Чтобъ сказать это, когда рѣчь идетъ не о пустыхъ случайностяхъ ежедневной жизни, а о наукѣ, надобно быть или гениемъ, или безумнымъ. Гениевъ мало, а сентенція эта повторяется часто. Впрочемъ, хоть я понимаю возможность генія, предупреждающаго умъ современниковъ (напр. Коперникъ) такимъ образомъ, что истина съ его стороны въ противность общепринятому мнѣнію, но я не знаю ни одного великаго человѣка, который сказалъ бы, что у всѣхъ людей умъ самъ по себѣ, а у него самъ по себѣ. Все дѣло философіи и гражданственности—раскрыть во всѣхъ головахъ одинъ умъ. На единеніи умовъ зиждется все зданіе человѣчества; только въ низшихъ, мелкихъ и чисто животныхъ желаніяхъ люди распадаются. При этомъ надобно замѣтить, что сентенціи такого рода признаются только, когда рѣчь идетъ о философіи и эстетикѣ. Объективное значеніе другихъ наукъ, даже башмачнаго ремесла, давно признано. У всякаго своя философія, свой вкусъ. Добрымъ людямъ въ голову не приходитъ, что это значитъ самымъ положительнымъ образомъ отрицать философію и эстетику. Ибо что же за существованіе ихъ, если онѣ зависятъ и мѣняются отъ всякаго встрѣчнаго и поперечнаго? Причина одна: предметъ науки и искусства ни око не видитъ, ни зубъ нейметъ. Духъ—Протей; онъ для человѣка то, что человѣкъ понимаетъ подъ нимъ и насколько понимаетъ; совсѣмъ не понимаетъ—его нѣтъ, но нѣтъ для *человѣка*.

а не для человечества, не для себя. Юмъ, съ наивною *sui generis*, своего вѣка, говорить, читая какую-то гипотезу Бюффона: «Удивительно, я почти убѣжденъ въ достовѣрности его словъ, а онъ говорить о предметахъ, которыхъ глазъ *человѣческій* не видитъ». Для Юма, слѣдственно, духъ существовать только въ своемъ воплощеніи: критеріумъ истины для него—носъ, уши, глаза и ротъ. Мудрено ли послѣ этого, что онъ отрицалъ каузальность (причинность)?

Другія науки гораздо счастливѣе философій: у нихъ есть предметъ, непроницаемый въ пространствѣ и сущій во времени. Въ естествознаніи, напр., нельзя такъ играть, какъ въ философій. Природа—царство видимаго закона: она не даетъ себя насиловать: она представляетъ улыбки и возраженія, которыя отрицать невозможно: ихъ глазъ видитъ и ухо слышитъ. Занимающіеся безусловно покоряются, личность подавлена и является только въ гипотезахъ, обыкновенно не идущихъ къ дѣлу. Въ этомъ отношеніи, матеріалисты стоятъ выше и могутъ служить примѣромъ мечтателямъ-дилетантамъ: матеріалисты поняли духъ въ природѣ и только какъ природу,—но передъ объективностью ея, не смотря на то, что въ ней нѣтъ истиннаго примиренія, склонились; оттого между ними являлись такіе мощные люди, какъ Бюффонъ, Кювье, Лапласъ и др. Какую теорію ни бросить, какимъ личнымъ убѣжденіемъ ни пожертвуетъ химикъ, если опытъ покажетъ другое: ему не прійдетъ въ голову, что цинкъ ошибочно дѣйствуетъ, что селитряная кислота—нелѣпость. А между тѣмъ опытъ—бѣднѣйшее средство познанія. Онъ покоряется физическому факту: фактамъ духа и разума никто не считаетъ себя обязаннымъ покоряться: не даютъ себѣ труда уразумѣть его, не признаютъ фактомъ. Къ философій приступаютъ съ своей маленькой философіей: въ этой маленькой, домашней, ручной философій удовлетворены всѣ мечты, всѣ прихоти эгоистическаго воображенія. Какъ же не разсердиться, когда въ философій-наукъ всѣ эти мечты блѣднѣютъ передъ разумнымъ реализмомъ ея! Личность исчезаетъ въ царствѣ идеи въ то время, какъ жажда насладиться, уныть себялюбіемъ заставляетъ искать вездѣ себя и себя, какъ единичнаго, какъ этого. Въ наукъ дилетанты находятъ одно всеобщее,—разумъ, мысль, по превосходству, всеобщее: наука перешагнула за индивидуальности, за случайныя и временныя личности: она далеко оставила ихъ за собою, такъ что онѣ незамѣтны изъ нея. Въ наукъ царство совершеннѣйшаго и свободы; слабые люди, предчувствуя эту свободу, трепещутъ: они боятся ступить безъ пѣстуна, безъ вѣрнаго вѣдѣнія; въ наукъ нѣкому оцѣнить ихъ подвига, похвалить, наградить: имъ кажется это ужасной пустотою, голова кружится, и они удаляются. Распадаясь съ наукой, они

начинають ссылатся на темное чувство свое, которое хоть и никогда не приходитъ въ ясность, но не можетъ ошибиться. Чувство индивидуально: я чувствую, другой нѣтъ, — оба правы; доказательствъ не нужно, да они и невозможны; если-бъ была искра любви къ истинѣ въ самомъ дѣлѣ, разумѣется, ее не рѣшились бы провести подъ каудинскія фурукулы чувствъ, фантазій и капризовъ. Не сердце, а разумъ судья истины. А разуму кто судья? Онъ самъ. Это одна изъ непреодолимѣйшихъ трудностей для дилетантовъ; оттого они, приступая къ наукѣ, и ищутъ внѣ науки аршина, на который мѣрить ее; сюда принадлежитъ извѣстное нелѣпное правило: прежде, нежели начать мыслить, изслѣдовать орудія мышленія какимъ-то внѣшнимъ анализомъ.

При первомъ шагѣ, дилетанты предъявляютъ допросные пункты, труднѣйшіе вопросы науки хотятъ впередъ узнать, чтобъ имѣть залогъ, что такое духъ, абсолютное... Да такъ, чтобъ опредѣленіе было коротко и ясно, т. е., дайте содержаніе всей науки въ нѣсколькихъ сентенціяхъ, — это была бы легкая наука! Что сказали бы о томъ человѣкѣ, который, собираясь заняться математикой, потребовалъ бы впередъ яснаго изложенія дифференцірованія и интегрированія, и притомъ на его собственномъ языкѣ? Въ специальныхъ наукахъ рѣдко услышите такіе вопросы: страхъ показаться невѣждой держать въ уздѣ. Въ философіи дѣло другое: тутъ никто не женируется! Предметы все знакомые — умъ, разумъ, идея и проч. У всякаго есть палата ума, разума и *не одна*, а *много* идей. Я еще здѣсь предположилъ темную наслышку о результатахъ философіи, хотя и нельзя угадать, что именно допрашивающіе разумѣютъ подъ абсолютнымъ, духомъ и проч.; но болѣе отважные дилетанты идутъ дальше; они дѣлаютъ вопросы, на которые рѣшительно нѣчего сказать, потому что вопросъ заключаетъ въ себѣ нелѣпость. Для того, чтобъ сдѣлать дѣльный вопросъ, надобно непременно быть сколько-нибудь знакомому съ предметомъ, надобно обладать своего рода предугадывающею проницательностью. Между тѣмъ, когда наука молчитъ изъ снисхожденія, или старается, вмѣсто отвѣта, показать невозможность требованія, ее обвиняютъ въ несостоятельности и въ употребленіи уловокъ.

Приведу, для примѣра, одинъ вопросъ, разнымъ образомъ, но чрезвычайно часто предлагаемый дилетантами: «какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое, внѣшнее, и что оно было прежде существованія внѣшняго?» Наука потому не обязана на это отвѣчать, что она и не говорила, что два момента, существующіе какъ внутреннее и внѣшнее, можно разъять такъ, чтобъ одинъ моментъ имѣлъ дѣйствительность безъ другого. Въ абстракціи, разумѣется, мы можемъ отдѣлить причину отъ дѣйствія, силу отъ проявленія, субстанцію отъ наружнаго. Но имъ не того хочется:

имъ хочется *освободить* сущность, внутреннее—такъ, чтобъ можно было посмотрѣть на него: они хотятъ какого-то предметнаго существованія его, забывая, что предметное существованіе внутренняго есть именно виѣшнее; внутреннее, не имѣющее виѣшняго, просто—безразличное ничто.

Nichts ist drinnen, nichts ist draussen;
Denn was innen, das ist aussen.

Goethe.

Словомъ, виѣшнее есть обнаруженное внутреннее, и внутреннее потому внутреннее, что имѣетъ свое виѣшнее. Внутреннее безъ виѣшняго какая-то дурная возможность, потому что нѣтъ ему проявленія; виѣшнее безъ внутренняго—безсмысленная форма, не имѣющая содержанія. Такимъ объясненіемъ дилетанты недовольны: у нихъ кроется мысль, что во внутреннемъ спрятана тайна, которая разуму непостижима, а между тѣмъ вся сущность его въ томъ только и состоитъ, чтобъ *обнаружиться*,—и для чего, для кого была бы эта *тайная тайна*? Безконечное, безначальное отношеніе двухъ моментовъ, другъ друга опредѣляющихъ, другъ въ друга *утягивающихъ*, такъ сказать, составляютъ жизнь истины: въ этихъ вѣчныхъ переливахъ, въ этомъ вѣчномъ движеніи, въ которое увлечено все сущее, живетъ истина: это ея вдыханіе и выдыханіе, ея систола и діастола. Но истина жива, какъ все органически живое, только какъ цѣлостность; при разъятіи на части, душа ея отлетаетъ и остаются мертвыя абстракція съ запахомъ трупa. Но живое движеніе, это всемірное діалектическое бѣненіе пульса, находитъ чрезвычайное сопротивленіе со стороны дилетантовъ. Они не могутъ допустить, чтобъ *порядочная* истина, не сдѣлавшись нелѣпостью, могла перейти въ противоположное. Разумѣется, что виѣ науки нельзя передать ясно и отчетливо необходимость вѣчнаго, неуловимаго перехода внутренняго во виѣшнее, такъ что наружное есть внутреннее, а внутреннее наружное. Но причина, почему именно такіе выводы философіи возмущаютъ,—очевидна. Разсудочныя теоріи приучили людей до такой степени къ анатомическому способу, что только неподвижное, мертвое, т. е. неистинное, они считаютъ за истину, заставляютъ мысль оледенѣть, застыть въ какомъ-нибудь одностороннемъ опредѣленіи, полагая, что въ этомъ омертвѣломъ состояніи легче разобрать ее. Встарь учились фізіологін въ анатомическомъ театрѣ: оттого наука о жизни такъ далеко отстоитъ отъ науки о трупѣ. Какъ только взять одинъ моментъ,—невидимая сила влечетъ въ противоположный: это первое жизненное сотрясеніе мысли: субстанція влечетъ въ проявленію, безконечное къ конечному: они такъ необходимы другъ другу, какъ полюсы магнита.

Но недовѣрчивые и осторожные пыталели хотять раздѣлить полюсы: безъ полюсовъ магнита нѣтъ; какъ только они вонзаютъ скальпель, требуя *того или другого*,—дѣлается разъятіе нераздѣльнаго, и остаются двѣ мертвыя абстракціи, кровь застываетъ, движеніе остановлено. Да пусть бы знали, что то или другое отдѣльно—абстракціи, такъ, какъ математикъ, отвлекая линію отъ площади и площадь отъ тѣла, знаетъ, что реально одно тѣло, а линія и площадь абстракціи ¹⁾. Нѣтъ, эти люди, не понимающіе объективности разума, отрицающіе ее, именно тутъ требуютъ незаконной объективности, дѣйствительности своимъ отвлеченностямъ.

Здѣсь время напомнить третье условіе пониманія науки, о которомъ было сказано, *живую душу*. Только живой душой понимаются живыя истины; у нея нѣтъ ни пустого внутри формализма, на который она растягиваетъ истину, какъ на прокустовомъ ложѣ, ни твердыхъ застылыхъ мыслей, отъ которыхъ отступить не можетъ. Эти застылыя мысли составляютъ массу аксіомъ и теоремъ, которая впредь идетъ, когда приступаютъ къ философіи: съ ихъ помощью составляются готовые понятія, опредѣленія, Богъ-вѣсть на чемъ основанныя, безъ всякой связи между собою. Начать знаніе надобно съ того, чтобъ забыть все эти сбивчивыя, невѣрные понятія; они вводятъ въ обманъ; извѣстнымъ полагается именно то, что неизвѣстно; надобно смерти и уничтоженію предоставить мертвыхъ, отказаться отъ всехъ неподвижныхъ привидѣній. Живая душа имѣетъ симпатію къ живому, какое-то ясновидѣніе облегчаетъ ей путь, она трепещетъ, вступая въ область родную ей, и скоро знакомится съ нею. Конечно, наука не имѣетъ такихъ торжественныхъ пропилей, какъ религія. Путь достиженія къ наукѣ идетъ, повидимому, бесплодной стѣнью; это отталкиваетъ нѣкоторыхъ. Потери видны, пріобрѣтеній нѣтъ; поднимаемся въ какую-то изрѣженную среду, въ какой-то міръ безплотныхъ абстракцій, важная торжественность кажется суровою холодною; съ каждымъ шагомъ уносишься болѣе и болѣе въ это воздушное море; станowitz *страшно просторно*, тяжело дышать и безотрадно, берега отдаляются, исчезаютъ,—съ ними ис-

¹⁾ Вообще, математика, не смотря на то, что предметъ ея, по превосходству, мертвъ и формаленъ, отдѣлилась отъ сухого *то или другое*. Что такое дифференціалъ?—безконечно-малая величина; стало-быть, или онъ имѣетъ величину, и въ такомъ случаѣ это величина конечная, или не имѣетъ никакой величины, въ такомъ случаѣ онъ нуль. Но Лейбницъ и Ньютонъ постигли шире и приняли сосуществованіе бытія и небытія, начальное движеніе возникновенія, переливъ отъ ничего къ чему-нибудь. Результаты теоріи безконечно-малыхъ извѣстны. Далѣе, математика не испугалась ни отрицательныхъ величинъ, ни несоизмѣримости, ни безконечно-великаго, ни мнимыхъ корней. А разумѣется, все это падаетъ въ прахъ передъ узенькимъ разсудочнымъ «то или другое».

чезаютъ все образы, навѣянные мечтами, съ которыми сжилось сердце; ужасъ объемлетъ душу: *Lasciate ogni speranza voi che entrate!* Гдѣ бросить якорь? Все разбѣсится, теряетъ твердость, улетучивается. Но вскорѣ раздается громкій голосъ, говорящій подобно Юлію Цезарю: «чего боишься? ты *меня* везешь!» Этотъ Цезарь—бесконечный духъ, живущій въ груди человѣка; въ ту минуту, какъ отчаяніе готово вступитъ въ права свои, онъ встрепенулся; духъ найдетъ въ этомъ мірѣ: это его родина, та, къ которой онъ стремился и звуками, и статуями, и пѣснопѣніями, по которой страдалъ, это *Jenseits*, къ которому онъ рвался изъ тѣсной груди: еще шагъ—и міръ начинаетъ возвращаться; но онъ не чужой уже: наука даетъ на него инвеституру. Поблекли мечты, основанныя на раздраженной фантазіи, чрезъ посредство которой духъ прорывался къ знанію; но зато дѣйствительность просвѣтлѣла, взоръ проникаетъ глубоко и видитъ, что нѣтъ тайны, которую хранили бы сфинксы и грифы, что внутренняя сущность готова раскрыться дерзающему. Но за мечты именно и держатся всего болѣе дилетанты. Они не могутъ найти силъ перенести съ самоотверженіемъ начала и дойти до той оборотной точки, съ которой боль скептицизма и лишеній замѣняется предчувствіемъ знанія успокоеннаго. Они знаютъ, что боготворимыя мечты, все идеалы ихъ какъ-то не истинны, чувствуютъ неловкость, несвязность, и остаются при этой неловкости, *могутъ* остаться. Но человѣкъ, поднявшійся до современности съ живой душой не можетъ удовлетвориться внѣ науки. Глубоко протравивъ пустоту субъективныхъ убѣжденій, постучавшись во все двери, чтобъ утолить жгучую жажду возбужденнаго духа, и нигдѣ ни находя истиннаго отвѣта, измученный скептицизмомъ, обманутый жизнью, онъ идетъ нагой, бѣдный, одинокій, и бросается въ науку.

«Неужели онъ страдательно склонится подъ ярмо чужого авторитета?» Наука не требуетъ ничего впередъ, не даетъ никакихъ началъ на вѣру, и какія начала у нея, которыя впередъ можно было бы передать? Ея начала — это конецъ ея, это послѣднее слово, итогъ всего движенія, до нихъ она достигаетъ; самое развитіе ихъ есть неопровержимое доказательство. Если же подъ началомъ разумѣть первую страницу, то въ ней истины науки потому не можетъ быть, что она первая страница, и все развитіе еще впереди. Наука начинается съ какого-нибудь общаго мѣста, а не съ изложенія своего *profession de foi*. Она не говоритъ «допусти то и то», а «я тебѣ дамъ истину, спрятанную у меня, ты можешь получить ее, рабски повинувшись»; въ отношеніи къ лицу, она только направляетъ внутренній процессъ развитія, прививаетъ индивидуальности совершенное родомъ, приобщаетъ ее къ

современности: она сама есть процессъ углубленія въ себя природы, и развитіе полного сознанія космоса о себѣ; ея вселенная *приходитъ въ себя* послѣ бореній матеріальнаго бытія, жизни, погруженной въ непосредственность. Его фантастическое упоеніе *образнаго* вѣдѣнія становится, по выраженію Аристотеля, *трезвымъ знаніемъ*. Но для того, чтобъ достигнуть дѣйствительно до трезвости, надобенъ былъ трудъ 3.000 лѣтъ. Сколько прожилъ скорбнаго, страдалъ, унывалъ, лилъ слезъ и крови духъ челоуѣчества, пока отрѣшилъ мышленіе отъ всего временнаго и одно-сторонняго, и началъ понимать себя сознательной сущностью міра! Величественную и огромную эпопею исторіи надобно было прожить челоуѣчеству, чтобъ великій поэтъ, опередившій свою эпоху и предузнавшій нашу, могъ спросить:

Ist nicht der Kern der Natur
Menschen im Herzen?

О какомъ чужомъ авторитетѣ говорятъ дилетанты, гдѣ возможность его въ наукѣ? Дѣло въ томъ, что они науку принимаютъ не за послѣдовательное развитіе разума и самопознанія, а за разные опыты, выдуманные разными особами въ разные времена, безъ связи и отношенія между собою. Они не могутъ понять, что истина не зависитъ отъ личности трудящихся, что они только органы развивающейся истины; они не могутъ никакъ постигнуть ея высокое объективное достоинство; имъ все кажется, что это субъективные помыслы и капризы. Наука имѣетъ свою автономію и свой генезисъ; свободная, она не зависитъ отъ авторитетовъ; освобождающая, она не подчиняетъ авторитетамъ. Но въ самомъ дѣлѣ, она имѣетъ право требовать впередъ настолько довѣрія и уваженія, чтобъ къ ней не приступали съ заготовленными скептическими и мистическими возраженіями, потому что и они—добровольныя принятія на вѣру. Гдѣ? по какому праву? на чемъ основываясь? заготавливаютъ возраженія на науку вѣкъ за вѣкомъ. Откуда эта твердая масса, отталкивающая свѣтъ? Въ душѣ чистой отъ предразсудковъ наука можетъ опереться на свидѣтельство духа о своемъ достоинствѣ, о своей возможности развитъ въ себѣ истину; отъ этого зависитъ смѣлость знать, святая дерзость сорвать завѣсу съ Изиды и вперить горящій взоръ на обнаженную истину, хотя бы то стоило жизни, лучшихъ упованій.

Но какая эта истина, которую намъ общаютъ за покрываломъ?... Въ самомъ дѣлѣ, *какая?* Тѣ, которые желали ее пламенно, скорбѣли и лили слезы по ней, тайкомъ заглянули, и были поражены,—кто страхомъ, кто негодованіемъ. Вѣдная истина! Хорошо, что древніе ваяли покрывало изъ мрамора: его нельзя было поднять; глаза людей недостаточно окрѣпли, чтобъ вынести

ей черты. Или *не той* истины хотѣли они? А сколько же истинъ? Люди добрые, разсудочные знаютъ *много*, очень много истинъ,—но *одна* истина имъ недоступна; какой-то онтическій обманъ представляетъ ямъ истину въ уродливомъ видѣ и притомъ каждому на свой ладъ. Если собрать обвиненія, безпрерывно слышимыя, когда рѣчь идетъ о наукѣ, т. е. о истинѣ, раскрывающейся въ правильномъ организмѣ, то можно, употребляя извѣстное средство астрономіи для полученія истиннаго мѣста свѣтила, наблюдаемаго съ разныхъ точекъ, т. е. вычитывая противоположные углы (теорія параллаксовъ), вывести справедливое заключеніе. Одни говорятъ — атеизмъ, другіе — пантеизмъ; одни говорятъ — трудность, ужасная трудность, другіе — пустота, просто ничего нѣтъ. Матеріалисты улыбаются надъ мечтательнымъ идеализмомъ науки; идеалисты находятъ въ анализѣ науки хитро-скрытый матеріализмъ. Піетисты убѣждены, что современная наука безрелигіознѣ Дразма, Вольтера и Гольбаха съ компаніей, и считаютъ ее вреднѣе волтеріанизма. Люди нерелигіозные упрекаютъ науку въ ортодоксіи. И, главное, всѣ недовольны,—требуютъ опять завѣсы. Кого поразили свѣтъ, кого простота, кому стыдно стало наготы истины, кому черты ея не понравились, потому что въ нихъ много земного. Всѣ обманулись, — а обманулись отъ того, что хотѣли не истины.

Но дѣлю сдѣлано. Событіе всякъ не пойдетъ; однажды начавъ разоблачаться и показавъ намъ торсъ поразительной прелести, истина не надѣнетъ снова покрывала изъ ложнаго стыда; она знаетъ силу, славу и красоту наготы своей.

1842. апрѣля 25.

II.

Дилетанты-романтики.

Оставим мертвымъ погребать мертвыхъ.

Есть вопросы, до которыхъ никто болѣе не касается не потому, чтобъ они были рѣшены, а потому, что надоѣли; не сговариваясь, соглашаются ихъ считать непонятными, прошедшими. лишенными интереса и молчатъ объ нихъ. Но время отъ времени полезно заглядывать въ эти архивы мнимо-рѣшенныхъ дѣлъ: послѣдовательно оглядываясь, мы смотримъ на прошедшее всякій разъ иначе; всякій разъ разглядываемъ въ немъ новую сторону, всякій разъ прибавляемъ къ уразумѣнію его весь опытъ вновь пройденнаго пути. Полнѣе сознавая прошедшее, мы уясняемъ современное; глубже опускаясь въ смыслъ былого, раскрываемъ смыслъ будущаго; глядя назадъ, шагаемъ впередъ; наконецъ, и для того полезно перетрясти ветошь, чтобъ узнать, сколько ея истлѣло и сколько осталось на костяхъ.

Одно изъ такихъ дѣлъ, которое, выражаясь судейскимъ слогомъ, зачислено рѣшеннымъ впредь до востребованія, дѣло, недавно поступившее въ архивъ,—тяжба романтизма и классицизма, такъ волновавшая умы и сердца въ первую четверть нашего вѣка (даже и ближе); тяжба этихъ возставшихъ изъ гроба сошла съ ними вмѣстѣ второй разъ въ могилу, и нынче говорятъ всего менѣе о правахъ романтизма и его боѣ съ классиками, хотя и остались въ живыхъ многіе изъ закоснѣлыхъ поклонниковъ и непримиримыхъ враговъ его.

А давно ли этотъ бой, шумно начавшійся, блисталъ во всей красѣ? Много было талантовъ на аренѣ; общественный голосъ участвовалъ живо, дѣятельно; нынче избитыя имена «классикъ, романтикъ» были многозначительны,—и вдругъ все замолкло: интересъ, окружавшій сражавшихся, исчезъ; зрители догадались, что и тѣ, и другіе сражаются за мертвыхъ; мертвецы вполне заслужили тризны и мавзолей,—они оставили намъ богатые наслѣдія, которыя стяжали въ кровавомъ потѣ, страданіяхъ, тяжкомъ трудѣ,—но бороться за нихъ безцѣльно. Нѣтъ въ мірѣ неблагодарнаго занятія, какъ сражаться за покойниковъ: завоевываютъ тронъ, забывая, что нѣкого посадить на него, потому что царь умеръ. Когда бойцы увидѣли, что они лишились участія,—ихъ жаръ простылъ. Одни упорные и ограниченные люди остались на

поэтъ битвы въ полномъ вооруженіи, похожіе на теперешнихъ бонапартистовъ, отстаивающихъ права великой тѣни, но все же тѣни.

Борьба эта, будто, явилась съ того свѣта, чтобъ присутствовать при вступленіи въ отрочество новаго міра, передать ему владычество отъ имени двухъ предшествовавшихъ, отъ имени отца и дѣда, и увидѣть, что для мертвыхъ нѣтъ больше владычій въ мірѣ жизни. Фактическое явленіе романтизма и классицизма въ видѣ двухъ исключительныхъ школъ было слѣдствіемъ страннаго состоянія умовъ лѣтъ за тридцать тому назадъ. Когда народы успокоились послѣ пятнадцати первыхъ лѣтъ нашего вѣка и жизнь потекла обычнымъ русломъ, тогда лишь увидѣли, сколько изъ существовавшаго порядка вещей, незамѣненнаго новымъ, потеряно и сломано. Въ разгромѣ революціи и императорства некогда было прийти въ себя. Сердца и умы наполнились скукой и пустотой, раскаяніемъ и отчаяніемъ, обманутыми надеждами и разочарованіемъ, жаждой вѣры и скептицизмомъ. Пѣвецъ этой эпохи — Байронъ, мрачный, скептическій, поэтъ отрицанья и глубокаго разрыва съ современностью, падшій ангелъ, какъ называлъ его Гёте. Франція, главный театръ событій переворота, всего болѣе страдала. Религія была въ упадкѣ, политическія вѣрованія исчезли, всѣ направленія самыя противоположныя были оскорблены эклектизмомъ первыхъ годовъ реставраціи. Спасаясь отъ тягости настоящаго, отыскивая вездѣ выхода, Франція впервые иными глазами взглянула на прошедшее. Воспоминаніе человѣчества — своего рода небесное чистилище; бывшее воскресаетъ въ немъ просвѣтленнымъ духомъ, отъ котораго отпало все темное, дурное. Когда Франція увидѣла великую тѣнь преображенныхъ среднихъ вѣковъ съ ихъ увлекательнымъ характеромъ единства, вѣрованія, рыцарской доблести и удали, и увидѣла очищенную отъ дерзкаго своеволія и наглої несправедливости, отъ всестороннихъ противорѣчій, кое-какъ формально примиренныхъ, тогдашней жизни, она, пренебрегавшая дотолѣ всѣмъ феодальнымъ, предалась неоромантизму. Шатобріанъ, романы Вальтеръ-Скотта, знакомство съ Германіей и съ Англіей — способствовали къ распространенію готическаго воззрѣнія на искусство и жизнь. Франція увлеклась готизмомъ, такъ, какъ увлеклась античнымъ міромъ, но чрезвычайной воспримчивости и живости, не опускаясь во всю глубину. Однако не все покорилось романтизму: умы положительные, умы, сосавшіе всѣ соки свои изъ великихъ произведеній Греціи и Рима, прямые наследники литературы Людовика XIV, Вольтера и Энциклопедія, участники революціи и императорскихъ войнъ, односторонніе и упрямые въ своихъ началахъ, съ презрѣніемъ смотрѣли на юное поколѣніе, отрицающее ихъ въ пользу понятій,

ими казненныхъ, какъ полагали, на вѣки. Романтизмъ, бродившій въ умахъ юнаго поколѣнія Франціи, братски встрѣтился съ зарейнскимъ романтизмомъ, разразившимся тогда же до высшаго предѣла. Въ характерѣ германскомъ было всегда что-то мистическое, натянуто-восторженное, склонное къ спекуляціи и не менѣе склонное къ кабалистикѣ,—это лучшая почва для романтизма, и онъ не замедлилъ явиться въ полнѣйшемъ развитіи въ Германіи. Реформація, освободивъ преждевременно и односторонне умы германскіе, двинула ихъ въ поэтико-схоластическомъ, въ разсудочно-мистическомъ направленіи. Отклоненіе важное отъ истиннаго пути. Лейбницъ въ свое время замѣтилъ, что Германіи трудно будетъ отдѣлаться отъ этого направленія, которое, прибавимъ мы, оставило слѣды въ твореніяхъ самого Лейбница. Эпоха неестественнаго классицизма и галломаніи, на время прикрывшая національные элементы, не могла произвести важнаго вліянія: эта литература не имѣла отголоска въ народѣ. Богъ знаетъ, для кого она говорила и чью мысль высказывала. Болѣе истинное, несравненно глубочайшее вліяніе произвела литературная эпоха, начавшаяся съ Лессинга: космо-политическая и совершенновѣтная, она старалась развить національные элементы въ общечеловѣческіе: это была великая задача и Гердера, и Канта, и Шиллера, и Гёте. Но задача эта разрѣшалась на полѣ искусства и науки, отдѣляя китайскою стѣною общественную и семейную жизнь отъ интеллектуальной. Внутри Германіи была другая Германія — міръ ученыхъ и художниковъ; они не имѣли никакого истиннаго отношенія между собою. Народъ не понималъ своихъ учителей. Онъ по большей части остался на томъ мѣстѣ, на которомъ съѣлъ отдыхать послѣ Тридцатилѣтней войны. Исторія Германіи отъ Вестфальскаго мира до Наполеона имѣетъ одну страницу, именно ту, на которой писаны дѣянія Фридриха II. Наконецъ, Наполеонъ, тяжело ударяя, добился практическихъ сторонъ духа германскаго, забытаго ея образователями, и тогда только бродившія внутри и усыпленные страсти подняли голову, и раздались какіе-то страшные голоса, полные фанатизма и мрачной любви къ отечеству. Феодальное возрѣніе среднихъ вѣковъ, приложенное нѣсколько къ нашимъ правамъ и одѣтое въ рыцарски-театральные костюмы, овладѣло умами. Мистицизмъ снова вошелъ въ моду; дикій огонь преслѣдованія блеснулъ въ глазахъ мирныхъ германцевъ и фактически-реформаціонный міръ возвратился въ идеѣ къ католическому міросозерцанію. Величайшій романтикъ, Шлегель, потому что онъ лютеранинъ, перекрестился въ католицизмъ, — тутъ видна логика.

Ватерлоо рѣшило на первый случай, кому владѣть полемъ: Наполеону-классику, или романтикамъ—Веллингтону и Блюхеру.

Въ лицѣ Наполеона, императора французовъ и корсиканца, представителя классической цивилизаціи и романской Европы, германцы снова побѣдили Римъ и снова провозгласили торжество готическихъ идей. Романтизмъ торжествовалъ; классицизмъ былъ гонимъ: съ классицизмомъ сопрягались воспоминанія, которыя хотѣли забыть, а романтизмъ выполнялъ забытое, которое хотѣли вспомнить. Романтизмъ говорилъ безпрестанно, классицизмъ молчалъ; романтизмъ сражался со всѣмъ на свѣтѣ, какъ Донъ-Кихоть, — классицизмъ сидѣлъ съ спокойною важностью римскаго сенатора. Но онъ не былъ мертвъ, какъ тѣ римскіе сенаторы, которыхъ галлы приняли за мертвецовъ: въ его рядахъ были не дюжинные люди,—всѣ эти Бенгаты, Ливингстоны, Тенары, Декандоли, Берцелии, Макласы, Сэй, не были похожи на побѣжденныхъ, и веселыя пѣсни Беранже раздавались въ стану классицистовъ. Осыпаемые проклятіями романтиковъ, они молча отвѣчали громко — то пароходами, то желѣзными дорогами, то цѣлыми отраслями науки, вновь разработанными, какъ геогнозіи, политическая экономія, сравнительная анатомія, то рядомъ машинъ, которыми они отрѣзали челоуѣка отъ тяжкихъ работъ. Романтики смотрѣли съ пренебреженіемъ на эти труды, унижали всѣми средствами всякое практическое занятіе, находили печать проклятія въ матеріальномъ направленіи вѣка и проглядѣли, смотря съ своей колокольни, всю поэзію индустріальной дѣятельности, такъ грандіозно развертывавшейся, напримѣръ, въ Сѣверной Америкѣ.

Пока классицизмъ и романтизмъ воевали, одинъ, обращая міръ въ античную форму, другой въ рыцарство, возрастало болѣе и болѣе *нѣчто* сильное, могучее; оно прошло между ними, и они не узнали властителя по царственному виду его; оно оперлось однимъ локтемъ на классицизовъ, другимъ на романтиковъ, и стало выше ихъ—какъ «власть имущее»; признало тѣхъ и другихъ и отреклось отъ нихъ обоихъ:—это была внутренняя мысль, живая психея современнаго намъ міра. Ей, рожденной среди молній и громовыхъ ударовъ отчаяннаго боя католицизма и реформаціи, ей, вступившей въ отрочество среди молній и громовыхъ ударовъ другой борьбы, не годились чужія платья: у ней были выработаны свои. Ни классицизмъ, ни романтизмъ долгое время не подозрѣвали существованія этой третьей власти. Сперва и тотъ, и другой приняли его за своего сообщника (такъ, напримѣръ, романтизмъ мечталъ, не говоря уже о Вальтеръ-Скоттѣ, что въ его рядахъ Гёте, Шиллеръ, Байронъ). Наконецъ и классицизмъ, и романтизмъ признали, что между ними есть что-то другое, далекое отъ того, чтобъ помогать имъ: не мирясь между собой, они опрокинулись на новое направленіе. Тогда была рѣшена ихъ участь.

Мечтательный романтизмъ сталъ *ненавидѣть* новое направленіе за его *реализмъ*!

Щупающій пальцами классицизмъ сталъ *презирать* его за *идеализмъ*!

Классики, вѣрные преданіямъ древняго міра, съ гордой вѣро-терпимостью и съ сардонической улыбкой поглядывали на идеалоговъ и чрезвычайно занятые опытами, спеціальными предметами, рѣдко являлись на арену. По справедливости, ихъ не должно считать врагами нашего вѣка. Это большею частью люди практическихъ интересовъ жизни, утилитаризма. Новое направленіе такъ недавно стало выступать изъ школы, его занятія казались неприлагаемы, неразвиваемы въ жизнь,—они отвергали его, какъ ненужное. Романтики, столь же вѣрные преданіямъ феодализма, съ дикой нетерпимостью не сходили съ арены; то былъ бой на смерть, отчаянный и злой; они готовы были воздвигнуть костры и завести инквизицію для окончанія спора; горькое сознаніе, что ихъ не слушаютъ; что ихъ игра потеряна, раздувало закоснѣлый духъ преслѣдованія, и доселѣ они не смирились. А при всемъ томъ, каждый день, каждый часъ яснѣе и яснѣе показываетъ, что человѣчество не хочетъ больше ни классиковъ, ни романтиковъ,—хочетъ людей, и людей современныхъ, а на другихъ смотритъ, какъ на гостей въ маскарадѣ, зная, что когда пойдутъ ужинать, маски снимутъ, и подъ уродливыми чужими чертами откроются знакомыя, родственныя черты. Хотя и есть люди, которые не ужинаютъ, для того, чтобъ не снимать масокъ, но ужъ нѣтъ больше дѣтей, которыя бы боялись замаскированныхъ. Возникшій бой былъ гибеленъ для обѣихъ сторонъ; несостоятельность классицизма, невозможность романтизма обличались; по мѣрѣ ближайшаго знакомства съ ними, раскрылось ихъ неестественное, анахронистическое появленіе, и лучшіе умы той эпохи остались не причастны войнѣ оборотней, не смотря на весь шумъ, поднятый ими. А было время когда классицизмъ и романтизмъ были живы, истинны и прекрасны, необходимы и глубоко-человѣчественны. Было... «Полезу или вредъ принесло папство?» спросилъ наивный Ласъ-Казъ у Наполеона. «Я не знаю, что сказать», отвѣчалъ отставной императоръ: «оно было полезно и необходимо въ свое время, оно было вредно въ другое». Такова судьба всего являющагося во времени. Классицизмъ и романтизмъ принадлежатъ двумъ великимъ прошедшимъ; съ какимъ бы усиленіемъ ихъ ни воскрешали, они останутся тѣнями усопшихъ, которымъ нѣтъ мѣста въ современномъ мірѣ. Классицизмъ принадлежитъ міру древнему, такъ, какъ романтизмъ среднимъ вѣкамъ. Исключительнаго владѣнія въ настоящемъ они имѣть не могутъ, потому что настоящее нисколько не похоже ни на древній міръ,

ни на средній. Для доказательства достаточно бросить самый бѣглый взглядъ на нихъ.

Греко-римскій міръ былъ, по превосходству, реалистическій: онъ любилъ и уважалъ природу, онъ жилъ съ нею за одно, онъ считалъ высшимъ благомъ существовать; космосъ былъ для него истина, за предѣлами которой онъ ничего не видалъ, и космосъ ему довѣлъ именно потому, что требованія были ограничены. Отъ природы и чрезъ нее достигалъ древній міръ до духа, и оттого не достигъ до единого духа. Природа есть именно существованіе идеи въ многообразіи: единство, понятое древними, была необходимость, фатумъ, тайная, міродержавная сила, неотразимая для земли и для Олимпа: такъ природа подчинена законамъ необходимымъ, которыхъ ключъ *въ ней, но не для нея*. Космогонія грековъ начинается хаосомъ и развивается въ олимпійскую федерацію боговъ, подъ диктатурою Зевса: не дойдя до единства, они, республиканцы, охотно остановились на этомъ республиканскомъ управленіи вселенной. Антропоморфизмъ поставилъ боговъ очень близко къ людямъ. Грекъ, одаренный высокимъ эстетическимъ чувствомъ, прекрасно постигнулъ *выразительность внѣшняго*, тайну формы: божественное для него существовало облеченнымъ въ человѣческую красоту: въ ней обоготворялась ему природа, и далѣе этой красоты онъ не шелъ. Въ этой жизни за одно съ природою была увлекательная прелесть и легкость существованія. Люди были довольны жизнью. Ни въ какое время не были такъ художественно уравновѣшены элементы души человѣческой. Дальнѣйшее развитіе духа было необходимымъ шагомъ впередъ, но оно не могло иначе быть, какъ на счетъ плоти, тѣла, формы: оно было выше, но должно было пожертвовать античною граціей. Жизнь людей въ цвѣтущую эпоху древняго міра была безнечно ясна, какъ жизнь природы. Неопредѣленная тоска, мучительныя углубленія въ себя, болѣзненный эгоизмъ—для нихъ не существовали. Они страдали отъ реальныхъ причинъ, лили слезы отъ истинныхъ потерь. Личность индивидуума терялась въ гражданствѣ, а гражданствъ былъ органъ, атомъ другой, священной, обоготворяемой личности—личности города. Тренетани не за свое «я», а за «я» Афинъ, Спарты, Рима: таково было широкое, вольное воззрѣніе греко-римскаго міра, человѣчески прекрасное *въ своихъ границахъ*. Оно должно было уступить иному воззрѣнію, потому что оно было ограничено. Древній міръ поставилъ вышнее на одну доску съ внутреннимъ: такъ оно и есть въ природѣ, но не такъ въ истинѣ,—духъ господствуетъ надъ формою. Греки думали, что они *вываляли* все, что находится въ душѣ человѣческой: но въ ней осталась бездна требованій, усиленныхъ, неразвитыхъ еще, для которыхъ рѣзецъ не состоятеленъ:

они поглотили всеобщимъ личность, городомъ—гражданина, гражданиномъ—человѣка; но личность имѣла свои неотъемлемыя права, и, по закону возмездія, кончилось тѣмъ, что индивидуальная, случайная личность императоровъ римскихъ поглотила городъ городовъ. Апотеоза Нероновъ, Клавдіевъ и деспотизмъ ихъ были проныческимъ отрицаніемъ одного изъ главнѣйшихъ началъ эллинскаго міра въ немъ самомъ. Тогда наступило время смерти для него и время рожденія иного міра. Но плодъ жизни эллино-римской не могъ и не долженъ былъ погибнуть для человѣчества. Онъ прозябалъ пятнадцать столѣтій для того, чтобъ германскій міръ имѣлъ время укрѣпить свою мысль и проіобрѣсти умѣніе воспользоваться имъ. Въ этотъ промежутокъ расцвѣлъ и поблѣкъ романтизмъ съ своей великой истиной и съ своей великой одно-сторонностью.

Романтическое воззрѣніе не должно принимать ни за всеобщехристіанское, ни за чисто-христіанское: оно почти исключительная принадлежность католицизма. Въ немъ, какъ во всемъ католическомъ, спаялись два начала: одно, почерпнутое изъ Евангелія, другое—народное, временное, болѣе всего германическое. Туманная, наклонная къ созерцанію и мистицизму фантазія германскихъ народовъ развернулась во всемъ своемъ безконечномъ характерѣ, принявъ въ себя и переработавъ христіанство; но съ тѣмъ вмѣстѣ она придала религіи національный цвѣтъ, и христіанство могло болѣе дать, нежели романтизмъ могъ взять, даже то, что было взято ею, взято односторонне, и, развившись—развилось насчетъ остальныхъ сторонъ. Духъ, рвавшійся на небо изъ подъ стрѣлокъ готическихъ соборовъ, былъ совершенно противоположенъ античному. Основа романтизма—спиритуализмъ, трансцендентность. Духъ и матерія для него не въ гармоническомъ развитіи, а въ борьбѣ, въ диссонансѣ. Природа—ложь, не истинное; все естественное отринуто. Духовная субстанція человѣка «краснѣла оттого, что тѣло бросаетъ тѣнь» ¹⁾. Жизнь, постигнувъ себя двойственностію, стала мучиться отъ внутренняго раздора и искала примиренія въ отреченіи одного изъ началъ. Постигнувъ свою безконечность, свое превосходство надъ природою, человѣкъ хотѣлъ пренебрегать ею, и индивидуальность, затерянная въ древнемъ мірѣ, получила безпредѣльные права; раскрылись богатства души, о которыхъ тотъ міръ и не подозрѣвалъ. Цѣлью искусства сдѣлалась не красота, а одухотвореніе. Громкій смѣхъ пирующаго Олимпа прекратился; ждали со дня на день представленія свѣта, вѣчность котораго была догматъ классическаго воззрѣнія. Все вмѣстѣ разливало что-то величе-

¹⁾ Данте: восходъ въ рай.

ственно-грустное на дѣйствія и мысли: но въ этой грусти была неодолимая прелесть темныхъ, неопредѣленныхъ, музыкальныхъ стремлений и упований, потривающихъ заповѣданнѣйшія струны души человѣческой. Романтизмъ былъ прелестьная роза, выросшая у подножія распятія, обвившаяся около него, но корни ея, какъ всякаго растенія, питались изъ земли. Этого романтизмъ знать не хотѣлъ; въ этомъ было для него свидѣтельство его низости, недостойнства,—онъ стремился отречься отъ корней своихъ. Романтизмъ безпрестанно плакалъ о тѣснотѣ груди человѣческой и никогда не могъ отрѣшиться отъ своихъ чувствъ, отъ своего сердца: онъ безпрестанно приносилъ себя въ жертву и требовалъ безконечнаго вознагражденія за свою жертву; романтизмъ обоготворялъ субъективность, предавая ее анаѹемѣ, и эта самая борьба мнимопримиренныхъ началъ придавала ему порывистый и мощно-увлекательный характеръ его.

Если мы забудемъ блестящій образъ среднихъ вѣковъ, какъ намъ втѣснила его романтическая школа, мы увидимъ въ нихъ противорѣчія самыя странныя, примиренныя формально и свирѣпо раздирающія другъ друга на дѣлѣ. Вѣря въ божественное искупленіе, въ то же время принимали, что современный міръ и человѣкъ—подъ непосредственнымъ гнѣвомъ Божиимъ. Приписывая своей личности права безконечной свободы, отнимали всѣ человѣческія условія бытія у цѣлыхъ сословій: ихъ самоотверженіе—было эгоизмомъ, ихъ молитва была корыстная просьба, ихъ войны были монахи, ихъ архіереи были военачальники: обоготворяемые ими женщины содержались, какъ узники,—воздержанность отъ наслажденій невинныхъ и преданность буйному разврату, слѣпая покорность и безпредѣльное своеволие. Только и рѣчи было что о духѣ, о поцраніи плоти, о пренебреженіи всѣмъ земнымъ, и—ни въ какую эпоху страсти не бушевали необузданнѣе и жизнь не была противоположнѣе убѣжденію и рѣчамъ, формализмомъ, условкамъ, себяобольщеніемъ примиряясь съ совѣстью (напр. покупая индульгенціи). То было время лжи явной, безстыдной. Свѣтская власть, признавая папу за пастыря, Богомъ установленнаго, унижаясь передъ нимъ формально, вредила ему всѣми силами, безпрестанно повторяя о своемъ повиновеніи. Папа, рабъ рабовъ Божіихъ, смиренный пастырь, отецъ духовный, стикалъ богатства и матеріальныя силы. Въ такой жизни было что-то безумное и горячее. Долго человечество не могло оставаться въ этомъ неестественно-напряженномъ состояніи.

Истинная жизнь, непризнанная, отринутая, стала предъявлять свои права: сколько ни отворачивался отъ нея, устремившись въ безконечную даль, —голосъ жизни былъ громокъ и родствененъ человѣку, сердце и разумъ откликнулись на него. Вскорѣ къ нему

присоединился другой сильный голосъ: классическій міръ возсталъ изъ мертвыхъ. Романскіе народы, въ которыхъ никогда и не погибала закваска римская, бросились съ восторгомъ на дѣдовское наслѣдіе. Движеніе совершенно-противоположное духу среднихъ вѣковъ стало заявлять свое бытіе во всѣхъ областяхъ дѣятельности человѣческой. Стремленіе отречься отъ прошедшаго, во что бы то ни стало, обнаружилось: захотѣли подышать на волѣ, пожить. Германія стала въ главѣ реформы и, гордо поставивъ на знамени «право изслѣдованія», далеко была отъ того, чтобъ въ самомъ дѣлѣ признать это право. Германія устремила всѣ силы свои на борьбу съ католицизмомъ; сознательно-положительной цѣли въ этой борьбѣ не было. Она опередила классицизмъ романскихъ народовъ несвоевременно, и именно оттого въ послѣдствіи была обойдена. Отрекаясь отъ католицизма, Германія отвязывала послѣднюю нить, прикрѣплявшую ее къ землѣ. Католическій ритуальъ сводилъ небо на землю, а протестантская пустая церковь только указывала на небо. Стоитъ вспомнить склонный къ таинственному характеръ германцевъ, чтобъ понять сильное вліяніе реформаціи на нихъ. Мистицизмъ схоластическій, отрѣшающій человѣка отъ всякаго реализма, мистицизмъ, основанный на буквальномъ изъясненіи текстовъ въ десяти разныхъ смыслахъ, холодное безуміе у однихъ, разработанное съ страшной послѣдовательностью, фанатическій бредъ у другихъ, необузданный и тяжелый,—вотъ направленіе, въ которое впали германцы послѣ реформаціи.

Среди всего этого движенія, новый міръ «нарождался»; его дыханіе стало замѣтно вездѣ. Храмомъ Петра въ Римѣ человечество торжественно отрелось отъ готической архитектуры. Браманте и Буонаротти лучше хотѣли нечистый стиль *de la renaissance*, нежели суровый—оживы. Это очень понятно. Готизмъ, безъ сомнѣнія, въ эстетическомъ смыслѣ, отвлеченномъ отъ исторіи, несравненно выше стиля возстановленія, рококо и другихъ, служившихъ переходомъ отъ готизма къ истинной реставраціи древняго зодчества. Но готизмъ, тѣсно связанный съ католицизмомъ среднихъ вѣковъ, съ католицизмомъ Григорія VII, рыцарства и феодальныхъ учреждений, не могъ удовлетворить вновь развившимся потребностямъ жизни. Новый міръ требовалъ иной плоти; ему нужна была форма болѣе свѣтлая, не только *стремящаяся*, но и *наслаждающаяся*, не только подавляющая величіемъ, но и успокоивающая гармоніей. Обратились къ древнему міру; къ его искусству чувствовалась симпатія; хотѣли усвоить его зодчество, ясное, открытое, какъ чело юноши, гармоничное, «какъ остывшая музыка». Но много было прожито послѣ Рима и Греціи, и опытъ, глубоко запавшій въ душу, го-

ворилъ въ то же время, что ни перинтеръ Грековъ, ни римская ротонда не выражаютъ всей идеи новаго вѣка. Тогда построили «Пантеонъ на Паросионѣ»¹⁾, и неопытные, боясь прямой линіи, исказили пилестрами, уступами и выступами античную простоту; перевернуть этотъ въ зодчествѣ былъ шагомъ назадъ искусства и шагомъ впередъ человечества. Своевременность его доказала вся Европа: всѣ богатые города построили свои храмы Петра. Готическія церкви оставили недостроенными для того, чтобъ воздвигать церкви въ стилѣ возстановленія. Одна Германія, по превосходству готическая, оставалась долѣе вѣрною своему зодчеству, но она мало воздвигала въ эту эпоху: глубокія раны и истощеніе не дозволяли ей много строить. Противъ такихъ всеобщихъ фактовъ возражать нечего: надо стараться ихъ понять: человечество грубо не ошибается цѣлыми эпохами. Храмъ новаго стиля свидѣтельствуешь объ окончаніи среднихъ вѣковъ и ихъ воззрѣнія. Готическая архитектура сдѣлалась невозможною послѣ храма Петра: она сдѣлалась прошедшею, анахронизмомъ.

Пластическія искусства освобождались въ свою очередь. Готическая церковь дѣлала нѣмныя требованія на живопись, нежели храмъ Петра. Византизмъ выражаетъ одинъ изъ существенныхъ моментовъ готической живописи. Неестественность положенія и колорита, суровое величіе, отрѣшающее отъ земли и отъ земного, намѣренное пренебреженіе красотою и изяществомъ — составляетъ аскетическое отрицаніе земной красоты: образъ не картина: это слабый очеркъ, намекъ. Но художественная натура итальянцевъ не могла долго удержаться въ предѣлахъ символическаго искусства и, развивая его далѣе и далѣе, ко времени Льва X, съ своей стороны, вышло изъ преобразовательнаго искусства въ область чисто-художественную. Великіе, вѣчные типы *dei divini maestri* облекли во всю красоту земной плоти небесное, и идеаль ихъ—идеаль челоуѣка преображеннаго, но челоуѣка. Рафаэлевы мадонны представляютъ апотеозу дѣвственно-женской формы: но его мадонны не супранатуральныя, отвлеченныя существа,—это преображенныя дѣвы. Живопись, поднявшись до высочайшаго идеала, стала снова твердой ногой на землю, а не оставила ея. Византійская кисть отреклась отъ идеала земной челоуѣческой красоты древняго міра. Итальянская живопись, развивая византійскую, въ высшемъ моментѣ своего развитія отреклась отъ византизма и, повидному, возвратилась къ тому же античному идеалу красоты: но шагъ былъ совершенъ огромный: въ очахъ новаго идеала свѣтилась иная глубина, иная мысль, нежели въ *открытыхъ глазахъ безъ зрѣнія* греческихъ статуй. Итальянская кисть, возвращая жизнь

¹⁾ Выраженіе о музыкѣ принадлежитъ Шеллингу: «Пантеонъ на Паросионѣ» ставилъ о храмѣ Петра В. Гюго.

искусству, придала ему всю глубину духа, развитого словомъ божіимъ.

Въ поэзіи совершался свой переворотъ. Рыцарство въ поэзіи теряетъ свою созерцательную важность и феодальную гордость. Аріосто, играя, улыбаясь, рассказываетъ о своемъ Орландѣ; Сервантесъ со злой проніей объявляетъ міру безсиліе и несвоевременность его; Боккаччіо раскрываетъ жизнь католическаго монаха; Рабле идетъ еще дальше, съ отважной дерзостью француза. Протестантскій міръ даетъ Шекспира. Шекспиръ—это человѣкъ двухъ міровъ. Онъ затворяетъ романтическую эпоху искусства и растворяетъ новую. Геніальное раскрытіе субъективности человѣческой во всей глубинѣ, во всей полнотѣ, во всей страстности и безконечности, смѣлое преслѣдованіе жизни до заповѣднѣйшихъ тайниковъ ея и обличеніе найденнаго, не составляетъ романтизма, а *переходитъ его*. Главный характеръ романтизма выражается сердечнымъ стремленіемъ куда-то, непременно грустнымъ, потому что «тамъ никогда не будетъ здѣсь». Онъ вѣчно стремится оставить грудь; ему нѣтъ примиренія въ ней. Для Шекспира грудь человѣка — вселенная, которой космологію онъ широко набрасываетъ мощной и геніальной кистью. Во Франціи и въ Италіи въ это время возрастаетъ и усиливается ложный классицизмъ. Палладій, въ своемъ сочиненіи объ архитектурѣ, съ презрѣніемъ говоритъ о готизмѣ; слабыя и безцвѣтныя подражанія древнимъ писателямъ цѣнились выше исполненныхъ поэзіи и глубины истинней и легендъ среднихъ вѣковъ. Античное увлекало своею человѣчностью, своимъ примиреніемъ въ жизни, въ красотѣ. Черезъ античное вырабатывалось новое. Въ наукѣ ¹⁾, въ политикѣ даже проявляется тотъ же духъ.

Между тѣмъ, борьба католицизма и протестантизма продолжалась. Католицизмъ обновился, поюнѣлъ въ этомъ бою, протестантизмъ мужалъ и окрѣпалъ: но новый міръ не принадлежалъ исключительно ни тому, ни другому. Въ началѣ этой перепутанной борьбы былъ одинъ ученый, отказывавшійся прямо пристать къ той или другой сторонѣ. Онъ говорилъ, что, занимаясь *гуманіоромъ*, не хочетъ мѣшаться въ войну папы съ Лютеромъ. Этотъ ученый гуманистъ былъ Эразмъ Роттердамскій, тотъ самый, который, улыбаясь, написалъ что-то такое *de libero et servo arbitrio*, отъ чего Лютеръ дрожа отъ гнѣва сказалъ: «если кто-нибудь меня ранилъ въ самое сердце, такъ это Эразмъ, а не защитники папы». Съ легкой руки Эразма, мысль новаго гуманическаго міра то являлась въ мірѣ классиче-

¹⁾ О переворотѣ въ наукѣ предполагаемъ поговорить въ особой статьѣ, а потому не говоримъ здѣсь. Впрочемъ, достаточно назвать Бэкона, Декарта и Спинозу.

скомъ, то въ романтическомъ: реформація принесла ей бездну силъ, но она при первомъ случаѣ перешла къ классикамъ. Изъ этого ясно можно было понять—однако не поняли—что для новой мысли опредѣленія: классики, романтики, несвойственны, несущественны, что она ни то, ни другое, или лучше и то и другое, но не какъ механическая смѣсь, а какъ химическій продуктъ, уничтожившій въ себѣ свойства составныхъ частей, какъ результатъ уничтожаетъ причины, *одѣйствовворя* ихъ, какъ сплюгизмъ уничтожаетъ въ себѣ послылки. Кто не видалъ дѣтей чудно схожихъ на отца и на мать—вовсе непохожихъ другъ на друга? Такое дитя быть новый вѣкъ: въ немъ были и есть элементы романтической мечтательности и классическаго классицизма: но они въ немъ не отдѣльны, а неразъемлемо слиты въ его организмъ, въ его чертахъ.

Романтизмъ и классицизмъ должны были найти гробъ свой въ новомъ мірѣ, и не одинъ гробъ,—въ немъ они должны были найти свое безсмертіе. Умираетъ только одностороннее, ложное, временное: но въ нихъ была и истина—вѣчная, всеобщечеловѣческая: она не можетъ умереть, она поступаетъ въ майоратъ старшимъ рода человѣческаго. Вѣчные элементы классическіе и романтическіе безъ всякихъ насильственныхъ средствъ живы: они принадлежатъ двумъ истиннымъ и необходимымъ моментамъ развитія духа человѣческаго во времени: они составляютъ двѣ фазы, два возрѣнія разнотѣнія и относительно-истинныя. Каждый изъ насъ, сознательно или безсознательно, классикъ или романтикъ, по крайней мѣрѣ, былъ тѣмъ или другимъ. Юношество, время первой любви, невѣдѣнія жизни, располагаютъ къ романтизму: романтизмъ благодотворенъ въ это время: онъ очищаетъ, облагораживаетъ душу, выжигаетъ изъ нея животность и грубыя желанія: душа моется, расправляетъ крылья въ этомъ морѣ свѣтлыхъ и непорочныхъ мечтаній, въ этихъ возношеніяхъ себя въ міръ горній, поправшій въ себѣ случайное, временное, ежедневность. Люди, одаренные свѣтлымъ умомъ болѣе, нежели чувствительнымъ сердцемъ—классики по внутреннему строенію духа, такъ, какъ люди созерцательные, нѣжные, томные болѣе, нежели мыслящіе,—скорѣе романтики, нежели классики. Но отъ этого до существованія исключительныхъ школъ — безконечное разстояніе.

Шплеръ и Гёте представляютъ великій образъ, какъ должны быть приемы романтическіе и классическіе элементы въ нашемъ вѣкѣ. Конечно, Шплеръ болѣе Гёте имѣть симпатіи къ романтизму: но главная его симпатія была къ современности, и послѣдняя, самыя зрѣлыя его произведенія чисто *гуманическія* (если допустите это названіе), а не романтическія. И развѣ для Шплера было что-нибудь чуждое въ классическомъ мірѣ, — для него,

переводившаго Расина, Софокла, Виргилія? А для Гёте развѣ было что-нибудь недоступное въ глубочайшихъ тайникахъ романтизма? Въ этихъ гигантахъ борющіеся и противоположныя направленія соединились огнемъ генія въ воззрѣніе изумляющей полноты. Но люди партій остались при своемъ. Человѣчество вошло въ такую эпоху совершеннѣйшаго, что просто смѣшно сдѣлалось притязаніе обратить его въ классицизмъ или романтизмъ. И между тѣмъ, мы были свидѣтелями, какъ послѣ Наполеона явилась сильная школа нео-романтизма. Явленіе это не было лишено причинъ достаточныхъ, чтобъ узаконить его. Направленіе германской науки и германскаго искусства становилось болѣе и болѣе всеобщимъ, космополитическимъ. Всеобщность эта покупалась цѣною жизненности. Вилая народность германцевъ не напоминала о себѣ до-наполеоновской эпохи; тутъ Германія восприняла, одушевленная національными чувствами; всемірныя пѣсни Гёте худо согласовались съ огнемъ, горѣвшимъ въ крови. Что сдѣлалъ патріотизмъ въ Германіи, то совершила апатія во Франціи, и ихъ руками растворились обѣ половинки дверей романтизму. Удушающее чувство равнодушія и сомнѣнія и пылкое чувство народной гордости располагали особенно душу къ искусству, полному вѣры и національныхъ сочувствій. Но такъ какъ чувства, вызвавшія нео-романтизмъ, были чисто-временныя, то судьбу его можно было легко предвидѣть,—стоило взглянуть въ характеръ XIX вѣка, чтобъ понять невозможность продолжительнаго очарованія романтизмомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, самобытный характеръ XIX вѣка обозначился съ первыхъ лѣтъ его. Онъ начался полнымъ развитіемъ наполеоновской эпохи; его встрѣтили пѣснопѣнія Гёте и Шиллера, могучая мысль Канта и Фихте. Полный памяти о событіяхъ десяти послѣднихъ лѣтъ, полный предчувствій и вопросовъ, онъ не могъ шутить, какъ его предшественникъ. Шиллеръ въ колыбельной пѣсни ему напоминалъ трагическую судьбу его.

Das Jahrhundert ist in Sturm geschieden,
Und das neue öffnet sich mit Mord.

Окаменѣлыя зданія вѣковъ рушились; усомнились въ прочности былого, въ дѣйствительности и незыблемости существующаго, глядя на поля Іены, Ваграма. Въ парижскомъ *«Монитеръ»* было однажды объявлено, что Германскій союзъ пересталъ существовать. Гёте узналъ объ этомъ изъ французской газеты. Сколько скептическихъ мыслей, сколько критики навѣвали развалины храминъ, считавшихся вѣчными! И неужели весь этотъ *remue-ménage* имѣлъ цѣлью возвратитъ къ романтизму? Нѣтъ! Люди мысли присутствовали при великой драмѣ, переходя изъ одной эры въ другую:

не даромъ они важно разошлись съ глубокой и торжественной думой: плодъ этой думы развился на деревѣ всего прошедшаго мышленія. Первое имя, загремявшее въ Европѣ, произносимое возлѣ имени Наполеона, было имя великаго мыслителя. Въ эпоху судорожнаго боя началъ, кровавой распри, дикаго расторженія, вдохновенный мыслитель провозгласить основую философію примиренія противоположностей: онъ не отталкивалъ враждующихъ: онъ въ борьбѣ ихъ постигнуть процессы жизни и развитія. Онъ въ борьбѣ видѣлъ высшее тождество, снимающее борьбу. Мысль эта, заключающая въ себѣ глубокой смыслъ нашей эпохи, едва пришла въ сознаніе и высказалась поэтомъ-мыслителемъ, какъ уже развилась въ стройной, строгой, наукообразной формѣ спекулятивнымъ, діалектическимъ мыслителемъ. Въ маѣ мѣсяцѣ 1812 года, въ то время, какъ у Наполеона въ Дрезденѣ толпились короли и вѣиценодцы, печаталась въ какой-то нюрнбергской типографіи «*Логика*» Гегеля: на нее не обратили вниманія, потому что все читали тогда же напечатанное «объявленіе о второй польской войнѣ». Но она прозябала. Въ этихъ нѣсколькихъ печатныхъ листахъ, писанныхъ труднымъ языкомъ и назначенныхъ, кажется, исключительно для школы, лежалъ плодъ всего прошедшаго мышленія, сѣмя огромнаго, могучаго дуба. Условія для его развитія не могли не найтись, стоило понять и развернуть скобки—какъ говорятъ математики—и древо познанія и жизни развертывалось съ зелеными шумящими листьями, съ прохладною тѣнью, съ плодами сочными и питательными. То, что носилось въ изящныхъ образахъ шиллеровыхъ драмъ, что прорывалось сквозь нѣсношѣнія Гёте, было понято, обличалось. Истина, будто изъ какого-то чувства цѣломудренности и стыда, задержалась мантией схоластики и держалась въ одной отвлеченной сферѣ науки: но мантия эта, изношенная и протертая еще въ средніе вѣка, не можетъ нынче прикрывать: истина лучезарна: ей достаточно одной щели, чтобъ освѣтить цѣлое поле.

Лучшіе умы сочувствовали новой наукѣ: но большинство не понимало ея, и псевдоромантизмъ, развиваясь, въ то же самое время заманивалъ въ ряды свои юношей и дилетантовъ. Старикъ Гёте скорбѣлъ, глядя на отклонившееся поколѣніе. Онъ видѣлъ, какъ въ немъ цѣнять не то, что достойно, какъ въ немъ понимаютъ не то, что онъ говоритъ. Гёте былъ, по превосходству, реалистъ, какъ Наполеонъ, какъ вся наша эпоха: романтики не имѣютъ органа понимать реальное. Байронъ осыпалъ ругательствами мнимыхъ товарищей. Но большинство было въ пользу романтизма: въ украшеніяхъ, въ одеждахъ воскресъ вкусъ среднихъ вѣковъ, столь діаметрально-противоположный положительному характеру нашей современности и ея требованіямъ. Рукава женскаго платья, прическа мужчинъ, все

подверглось романтическому влиянію. Такъ, какъ у классиковъ трагедія была не трагедія, если въ ней не было греческихъ или римскихъ героевъ, такъ, какъ классики безпрестанно воспѣвали дрянное фалернское вино, употребляя прекрасное бургонское,—такъ поэзія романтизма поставила необходимымъ условіемъ рыцарскую одежду, и нѣтъ у нихъ поэмы, гдѣ не льется кровь, гдѣ нѣтъ наивныхъ пажей и мечтательныхъ графинь, гдѣ нѣтъ череповъ и труповъ, восторженности и бреда. Мѣсто фалернскаго вина заняла платоническая любовь; поэты-романтики, любя реально, человѣчески, поютъ одну платоническую страсть. Германія и Франція наперерывъ дарили человѣчество романтическими произведеніями: Гюго и Вернеръ,—поэтъ, прикинувшійся безумнымъ, и безумный, прикинувшійся поэтомъ,—стоятъ на вершинѣ романтическаго Брокена, какъ два сильные представителя. Между ними являлись истинно-увлекательные таланты, какъ Новалисъ, Тикъ, Уландъ, и др.: но ихъ побивала когорта послѣдователей. Эти портретисты такъ искажали черты романтической поэзіи, такъ напѣли о своемъ стремленіи и о своей любви, что и хорошихъ романтиковъ стало скучно и невозможно читать. Особенно примѣчательно, что одинъ изъ главныхъ распространителей романтизма вовсе не былъ романтикъ,—я говорю о Вальтеръ-Скоттъ: жизненно-практическій взоръ его родины есть его взоръ. Возсоздать жизнь эпохи—не значитъ принять односторонность ея.

Такъ или иначе романтизмъ торжествовалъ, воображая, что его станетъ на вѣка. Онъ гордо начиналъ переговаривать съ новой наукой, и она часто поддѣлывалась подъ его языкъ; романтизмъ, снисходя къ ней, начиналъ какую-то романтическую философію, но никогда не доходилъ до того, чтобъ съ ясностью изложить, въ чемъ дѣло. Философы и романтики подъ одними и тѣми же словами разумѣли разное—и безпрестанно говорили! Комизмъ былъ совершеннѣйшій, когда послѣ долгихъ трудовъ догадались тѣ и другіе, что они не понимаютъ другъ друга. За этимъ невиннымъ занятіемъ, за сочиненіемъ пѣсенъ на трубадурный ладъ, за откапываніемъ преданій и хроникъ о рыцаряхъ для балладъ, за томнымъ стремленіемъ, за мучительной любовью къ неизвѣстной дѣвѣ... шло время и прошло нѣсколько лѣтъ. Гёте умеръ, Байронъ умеръ, Гегель умеръ, Шеллингъ *состарился*. Казалось бы, тутъ-то бы и царствовать романтизму. Вѣрный тактъ массъ рѣшилъ иначе: массы въ послѣднее пятнадцатилѣтіе перестали сочувствовать романтикамъ, и они остались, какъ спартанцы съ Леонидомъ, обойденными и обрекли себя, по ихъ примѣру, на геройскую, но бесполезную смерть. Что заняло общее вниманіе, что отвлекло отъ нихъ,—это другой вопросъ, на который мы не имѣемъ намѣренія теперь отвѣчать. Ограничимся фактомъ. Кто нынче говорить о

романтикахъ, кто занимается ими, кто знаетъ ихъ? Они поняли ужасный холодъ безучастья и стоятъ теперь со словами чернаго проклятiя въку на устахъ, печальные и блѣдные; видятъ, какъ рушатся замки, гдѣ обитало ихъ милое воззрѣнiе, видятъ, какъ новое поколѣнiе попираетъ мимоходомъ эти развалины, какъ не обращаетъ вниманiя на нихъ, проливающихъ слезы; слышатъ съ содроганiемъ веселую пѣсню жизни современной, которая стала не ихъ пѣсню, и съ скрежетомъ зубовъ смотрятъ на вѣкъ суетный, занимающiйся матеріальными улучшенiями, общественными вопросами, наукой. И страшно подчасъ становится встрѣтить среди книсящей, благоухающей жизни этихъ мертвецовъ, укориющихся, озлобленныхъ и не вѣдающихъ, что они умерли! Дай имъ, Богъ, покой могилы: не хорошо мертвымъ мѣшаться съ живыми.

Werden sie nicht schaden
So werden sie schrecken.

1842. мая 9.

III.

Дилетанты и цехъ ученыхъ.

Такихъ... welche alle Töne einer Musik mit durchgehört haben, an deren Sinn aber das Eine, die *Harmonie dieser Töne* nicht gekommen ist... какъ сказалъ Гегель. (Gesch. der Phil.).

Во всѣ времена долгой жизни человѣчества замѣтны два противоположныя движенія: развитіе одного обусловливаетъ возникновеніе другого, съ тѣмъ вмѣстѣ борьбу и разрушеніе перваго. Въ какую обитель исторической жизни мы ни вемотримся,—увидимъ, этотъ процессъ, и притомъ повторяющійся рядомъ метапсихозъ. Вслѣдствіе одного начала, лица, имѣющія какую-нибудь общую связь между собою, стремятся отойти въ сторону, стать въ исключительное положеніе, захватить монополію. Вслѣдствіе другого начала, массы стремятся поглотить выгородившихъ себя, взять себѣ плодъ ихъ труда, растворить ихъ въ себѣ, уничтожить монополію. Въ каждой странѣ, въ каждой эпохѣ, въ каждой области борьба монополіи и массъ выражается иначе, но цехи и касты непрерывно образуются, массы непрерывно ихъ подрываютъ, и что всего страннѣе, масса, судившая вчера цехъ, сегодня сама оказывается цехомъ, и завтра масса степенью общѣе поглотитъ и побьетъ ее въ свою очередь. Эта полярность—одно изъ явленій жизненнаго развитія человѣчества, явленіе въ родѣ пульса, съ той разницей, что съ каждымъ біеніемъ пульса человѣчество дѣлаетъ шагъ впередъ. Отвлеченная мысль осуществляется въ цехѣ; группа людей, собравшихся около нея, во имя ея,—необходимый организмъ ея развитія; но какъ скоро она достигла своей возмужалости въ цехѣ, цехъ дѣлается ей вреденъ, ей надобнодохнуть воздухомъ и взглянуть на свѣтъ, какъ зародышу послѣ девяти-мѣсячнаго прозябанія въ матери; ей надобна среда болѣе широкая; между тѣмъ, и люди касты, столь полезные своей мысли при начальномъ развитіи ея, теряютъ свое значеніе, застываютъ, останавливаются, не идутъ впередъ, ревниво отталкиваютъ новое, страшатся упустить руно свое, хотя бы для себя, за собою удерживать мысль. Это невозможно. Натура мысли лучезарна, всеобща: она жаждетъ обобщенія, она вырывается во всѣ щели, утекаетъ между пальцами. Истинное осуществленіе мысли не въ кастѣ, а въ человѣчествѣ; она не можетъ ограничиться тѣснымъ кругомъ цеха; мысль не знаетъ супружеской вѣрности,—ея объятія всѣмъ.

она только для того не существует, кто хочет эгоистически владѣть ею. Цехъ падаетъ по мѣрѣ того, какъ массы постигаютъ мысль и симпатизируютъ съ нею: жалѣть нечего,—онъ сдѣлалъ свое. Цель отторженія непременно единеніе, общеніе. Люди выходятъ изъ дому, чтобъ возвратиться съ новыми пріобрѣтеніями: навсегда домъ оставляютъ одни бродяги. Таковъ путь касты. Можно предположить, что *rouge la bonne bouche* цехъ челоѣчества обниметъ всѣ прочіе. Это еще не скоро. Пока—челоѣкъ готовъ принять всякое званіе, но къ званію челоѣка не привыкъ.

Современная наука начинаетъ входить въ ту пору зрѣлости, въ которой обнаруженіе, отданіе себя всѣмъ становится потребностью. Ей скучно и тѣсно въ аудиторіяхъ и конференцъ-залахъ: она рвется на волю, она хочетъ имѣть дѣйствительный голосъ въ дѣйствительныхъ областяхъ жизни. Не смотря на такое направленіе, наука остается при одномъ желаніи и не можетъ войти живымъ элементомъ въ стремительный потокъ практическихъ сферъ, пока она въ рукахъ касты ученыхъ; одни люди жизни могутъ вѣдрить ее въ жизнь. Великое дѣло началось; оно идетъ тихо; наука дорабатываетъ кое-что въ области отвлеченностей, столь же необходимой для науки, какъ и выходъ изъ нея. Для массы наука должна родиться не ребенкомъ, а въ полномъ вооруженіи, какъ Паллада. Прежде, нежели она предложитъ плодъ свой, она должна совершить въ себѣ и сознать, что совершила все, къ чему была призвана въ своей сферѣ: она близка къ этому. Но люди смотрятъ доселѣ на науку съ недоѣріемъ, и недоѣріе это прекрасно: вѣрное, но темное чувство убѣждаетъ ихъ, что въ ней должно быть разрѣшеніе величайшихъ вопросовъ, а между тѣмъ передъ ихъ глазами ученые, по большей части, занимаются мелочами, пустыми диспутами, вопросами, лишенными жизни, и отворачиваются отъ общечелоѣческихъ интересовъ; предчувствуютъ, что наука—общее достояніе всѣхъ, и между тѣмъ видятъ, что къ ней приступа нѣтъ, что она говоритъ страннымъ и трудно-понятнымъ языкомъ. Люди отворачиваются отъ науки, такъ, какъ ученые отъ людей. Вина, конечно, не въ наукѣ и не въ людяхъ, а между ними. Лучъ науки, чтобъ достигнуть обыкновенныхъ людей, долженъ пройти сквозь такіе густые туманы и болотистыя испаренія, что достигаетъ ихъ подкрашенный, непохожій самъ на себя,—а по немъ-то и судить. Первый шагъ къ освобожденію науки есть сознаніе пренятствій, обличеніе ложныхъ друзей, воображающихъ, что ее доселѣ можно целовать схоластическимъ свивальникомъ и что она, живая, будетъ лежать, какъ египетская мумія. Туманная среда, окружающая науку, вся наполнена ея друзьями: но эти друзья ея опаснѣйшіе враги. Они живутъ, какъ совы подъ кровомъ храма Паллады, и виднотъ себя за хозяевъ

въ то время, какъ они работники или празднующіеся. Они заслужили всѣ нареканія, всѣ упрёки, дѣлаемые наукѣ. Поверхностный дилетантизмъ и ремесленническая специальность ученыхъ ех officio—два берега науки, удерживающіе этотъ Нилъ отъ плодоноснаго разлива. О дилетантизмѣ мы недавно говорили, но считаемъ не вовсе излишнимъ упомянуть объ немъ здѣсь, какъ о совершеннѣйшей противоположности специализму. Противоположность объясняетъ иногда лучше сходства.

Дилетантизмъ—любовь къ наукѣ, сопряженная съ совершеннымъ отсутствіемъ пониманія ея; онъ расплывается въ своей любви по морю вѣдѣнія и не можетъ сосредоточиться; онъ доволенъ тѣмъ, что любитъ и не достигаетъ ничего, не печется ни о чемъ, ни даже о взаимной любви; это платоническая, романтическая страсть къ наукѣ, такая любовь къ ней, отъ которой дѣтей не бываетъ. Дилетанты съ восторгомъ говорятъ о слабости и высотѣ науки, пренебрегаютъ иными рѣчами, предоставляя ихъ толпѣ, но смертельно боятся вопросовъ и измѣнически продаютъ науку, какъ только ихъ начнутъ тѣснить логикой. Дилетанты—это люди предисловія, заглавнаго листа, люди, ходящіе около горшка въ то время, какъ другіе ѣдятъ. Жарновикъ училъ, помнится, англійскаго короля играть на скрипкѣ. Король былъ дилетантъ, т. е. любилъ музыку и не умѣлъ играть. Однажды онъ спросилъ Жарновика, къ какому разряду скрипачей онъ его относитъ? «Ко второму», отвѣчалъ артистъ. «Кого же вы еще причисляете къ этому разряду?»—«Многихъ, государь; я вообще дѣлю родъ человѣческій относительно скрипичной игры на три разряда: первый, самый большой, люди не умѣющіе играть на скрипкѣ; второй, также довольно многочисленный, люди—не то, чтобъ умѣющіе играть, но любящіе безпрестанно играть на скрипкѣ; третій очень бѣденъ: къ нему причисляются нѣсколько человѣкъ, знающихъ музыку и иногда прекрасно играющихъ на скрипкѣ. Ваше величество, конечно, ужъ перешли изъ перваго разряда во второй». Не знаю, былъ ли доволенъ этимъ отвѣтомъ король, но лучше о дилетантизмѣ ничего нельзя сказать, и Жарновикъ превосходно замѣтилъ, что именно второй разрядъ *безпрерывно* играетъ; у дилетантовъ дѣлается болѣзнь, помѣшательство отъ избытка любовной страсти. Дилетантизмъ дѣло не новое. Неронъ былъ дилетантъ музыки, Генрихъ VIII—дилетантъ теологіи. Дилетанты принимаютъ наружный видъ своей эпохи. Въ XVIII вѣкѣ, они были веселы, шумѣли и назывались esprits forts; въ XIX вѣкѣ дилетантъ имѣетъ грустную и неразгаданную думу; онъ любитъ науку, но *знаетъ* ея коварность; онъ немного мистикъ и читаетъ Оведенборга, но также немного скептикъ и заглядываетъ въ Байрона: онъ часто говоритъ съ Гамлетомъ: «нѣтъ, другъ Го-

рацію, есть много вещей, которыхъ не понимаютъ ученые», — а про себя думаетъ, что понимаетъ все на свѣтѣ. Наконецъ, дилетантъ безвреднѣйшій и безполезнѣйшій изъ смертныхъ; онъ кротко проводитъ жизнь свою въ бесѣдахъ съ мудрецами всѣхъ вѣковъ, пренебрегая матеріальными занятіями: о чемъ они бесѣдуютъ, — кто ихъ знаетъ! Самимъ дилетантамъ это еще не ясно, но какъ-то хорошо въ своемъ полумракѣ.

Каста ученыхъ (die Fachgelehrten), ученыхъ по званію, по диплому, по чувству собственнаго достоинства, составляетъ совершенную противоположность дилетантовъ. Главнѣйшій недостатокъ этой касты состоитъ въ томъ, что она каста; второй недостатокъ — специализмъ, въ которомъ обыкновенно затеряны ученые. Чтобы разогнать выраженіе отношенія касты ученыхъ къ наукѣ, вспомнимъ, что она развилась болѣе, нежели гдѣ-нибудь, въ Китаѣ. Китай считается многими очень благоденствующимъ патриархальнымъ царствомъ: это можетъ быть; ученыхъ тамъ бездна: преимущества ученыхъ въ службѣ у нихъ спокойнѣе вѣка, но науки слѣда нѣтъ... «Да у нихъ своя наука!» И противъ этого не будемъ спорить; но мы говоримъ о наукѣ, человѣчеству принадлежащей, а не Китаю, не Японіи и другимъ ученымъ государствамъ. У насъ мальчишекъ отдають въ науку къ кузнецамъ, столярамъ: думать надобно, что и у нихъ есть *своя* наука. Впрочемъ, и для *истинной науки* былъ возрастъ, въ который каста ученыхъ, какъ *каста*, была необходима, — въ періодъ неразвитости, когда наука была отринута, ея права непризнаны, она сама подчинена авторитетамъ. Но это время прошло. Такъ, у касты ученыхъ, у людей знанія въ среднихъ вѣкахъ, даже до XVII столѣтія, окруженныхъ грубыми и дикими понятіями, хранилось и святое наследіе древняго міра, и воспоминаніе прошедшихъ дѣяній, и мысль эпохи; они въ тиши работали, боясь гоненій, преслѣдованій, — и слава послѣ озарила скрытый трудъ ихъ. Ученые хранили тогда науку, какъ тайну, и говорили объ ней языкомъ недоступнымъ толгѣ, намѣренно скрывая свою мысль, боясь грубаго непониманья. Тогда было доблестно принадлежать къ левидамъ науки; тогда званіе ученаго чаще вело на костеръ, нежели въ академію. И они шли, вдохновенные истиной. Джордано Бруно былъ ученый, и Галилей былъ ученый. Тогда ученые, какъ словесіе, были своевременны; тогда въ аудиторіяхъ обсуживались величайшіе вопросы того вѣка: кругъ занятій ихъ былъ пространенъ, и ученые озарились первыя восходящими лучами разума, какъ нагорные дубы — гордые и мощные. Съ тѣхъ поръ все перемѣнилось; науки никто не гонитъ, общественное сознаніе доросло до уваженія къ наукѣ, до желанія ея, и справедливо стало протестовать противъ монополіи ученыхъ; но ревнивая каста хо-

четь удержать свѣтъ за собою, окружаетъ науку лѣсомъ схоластики, варварской терминологіи, тяжелымъ и отталкивающимъ языкомъ. Такъ огородники сажаютъ около грядъ своихъ колючее растеніе, чтобъ дерзкій, намѣревающийся перелѣзть, сперва десять разъ укололся и изорвалъ платье въ клочки. Все тщетно! Время аристократіи знанія миновало. Изобрѣтеніе книгопечатанія, безъ всѣхъ остальныхъ содѣйствовавшихъ причинъ, должно было нанести рѣшительный ударъ спрятанности вѣдѣнія, приобщая къ нему всѣхъ желающихъ. Наконецъ, послѣдняя возможность удержать науку въ цѣхъ была основана на разработываніи чисто теоретическихъ сторонъ, не вездѣ недоступныхъ профанамъ. Но современная наука, сверхъ теоретическихъ отвлеченностей, имѣетъ иныя притязанія: она, будто забывая свое достоинство, хочетъ съ своего трона сойти въ жизнь. Ученымъ ея не удержать; это не подвержено сомнѣнію.

Каста ученыхъ нашего времени образовалась послѣ реформаціи и всего болѣе въ мірѣ реформаціонномъ. Объ ученыхъ корпораціяхъ въ среднихъ вѣкахъ и въ католическомъ мірѣ мы упомянули; ихъ не надо смѣшивать съ новой кастой ученыхъ, выращенной въ Германіи въ послѣдніе вѣка. Правда, старая каста ученыхъ налагала на умы ярмо своего авторитета, но не надобно забывать, во-первыхъ, состояніе умовъ того времени, во-вторыхъ, что и ихъ шея была стерта отъ ярма, тяжело лежавшаго на ней. Во всемъ реформаціонномъ образованіи была какая-то недодѣлка; не доставало геройства идти до послѣдняго слѣдствія, не доставало геройства логики: часто ставили громогласно начало и робко отрекались отъ естественныхъ послѣдствій; часто разрушали зданіе и берегли мусоръ и битый кирпичъ; часто не умѣли ни благочестиво уважить существующее, ни смѣло отречься отъ него. Мысль реформаціи пришла въ дѣйствіе какъ-то преждевременно, и оттого она отстала и была обойдена. Каста ученыхъ, образовавшаяся въ мірѣ реформаціонномъ, никогда не имѣла силы ни составить точно замкнутую въ себѣ твердую и вѣдающую свои предѣлы корпорацію, ни распуститься въ массы. Она никогда не имѣла энергіи ни пристать къ положительному порядку дѣлъ, ни стать противъ него: оттого на нее со всѣхъ сторонъ стали смотрѣть косо, какъ на что-то постороннее; оттого она сама стала убѣгать живыхъ вопросовъ и сосредоточиваться на мертвыхъ. Нить, связующая касту съ обществомъ, должна была ослабнуть, а прямымъ слѣдствіемъ этого — взаимное непониманіе, взаимное равнодушіе. Какое-то поэтическое провидѣніе указало на слово *гуманіора*, — слово прекрасное, пророческое; но въ гуманіорахъ ученыхъ не было ничего человѣческаго. Слово это было отнесено исключительно къ филологіи, какъ будто тутъ участвовала пронія, какъ будто они понимали, что

древній міръ челоуѣчественнѣ ихъ. Педантизмъ, распаденіе съ жизнью, ничтожныя занятія, типъ которыхъ меледа — какой-то призрачный трудъ, трудъ занимающій, а въ сущности пустой: дагѣ, искусствєнныя построєнія, неприлагаємая теоріи, невѣдѣніє практики и надменное самодовольство — вотъ условія, подъ которыми развилося бѣднѣеиое дерево цеховой учености. Ученые принесли свою пользу наукѣ, которую не признать было бы неблагородно; но совѣтъ не потому, что они стремились составить касту: напротивъ, одни индивидуальныє труды были истинно-полезны. Послѣ католической науки, новая наука, рожденная среди отрицанія и борьбы, требовала иныхъ основаній, болѣе положительныхъ, фактическихъ; но не было у нея матеріаловъ, запасовъ, обследованныхъ событій и наблюденій; войско фактовъ было недостаточно. Ученые разобрали по ключку поле науки и разсыпались по нему; имъ досталась тягостная доля *de défricher le terrain*, и въ этой-то работѣ, составляющей важнѣйшую услугу ихъ, они утратили широкій взглядъ и сдѣлались ремесленниками, оставаясь при мысли, что они пророки. На ихъ потѣ, на ихъ утомительномъ трудѣ цѣлыхъ поколѣній возрасла истинная наука,—и работники, какъ всегда бываетъ, всего менѣе воспользовались результатомъ своего труда.

Противоположность романскаго характера и германскаго не могла не отразиться въ вновь образовавшемся сословіи ученыхъ. Французскіє ученые сдѣлались болѣе наблюдатели и матеріалисты, германскіє болѣе схоласты и формалисты; одни болѣе занимаются естествовѣдѣніємъ, прикладными частями, и притомъ они славные математики; вторые занимаются филологіей, всѣми неприлагаемыми отраслями науки, и притомъ они тонкіє теологи. Одни въ наукѣ видятъ практическую пользу, другіє поэтическую бесполезность. Французы болѣе специалисты, но меньше каста; германцы наоборотъ. Ученые въ Германіи похожи на касту жрецовъ въ Египтѣ: они составляютъ особый народъ, въ рукахъ котораго лежитъ дѣло общественнаго воспитанія, общественнаго мыслєнія, лечєнія, ученія и пр. Добрымъ германцамъ оставалось пить, ѣсть и *subir* лечєніє, ученіє, мыслєніє имущихъ право на то по дилемму. Во Франціи ученые не стоятъ на первомъ планѣ и, слѣдственно, не имѣютъ такого вліянія, какъ ученые въ Германіи. Во Франціи они всѣ болѣе или менѣе устремлены на практическія улучшенія,—это огромный выходъ въ жизнь. Если ихъ по справедливости можно упрекнуть въ специальности болѣе, нежели германцевъ, то навѣрное нельзя упрекнуть въ бесполезности. Франція именно стоитъ въ главѣ популяризаціи науки. Какъ ловко она умѣла, вѣкъ тому назадъ, свое воззрѣніє (каково бы оно ни было) облечь въ современно-народную, всѣмъ доступную, проник-

пугую жизнью, форму! Французъ не можетъ удовлетвориться въ одной отвлеченной сферѣ; ему нужна и гостиная, и площадь, и пѣсни Беранже, и листъ газеты, за него нѣчего бояться, онъ долго въ кастѣ не останется.

Совсѣмъ не таковы цеховыя ученые германскіе. Главный, отличительный признакъ ихъ—быть валомъ отдѣлену отъ жизни: это отшельники среднихъ вѣковъ, имѣющіе свой міръ, свои интересы, свои обычаи. Теологія, древніе писатели, еврейскій языкъ, объясненія темныхъ фразъ какой-нибудь рукописи, опыты безъ связи, наблюденія безъ общей цѣли,—вотъ ихъ предметъ: когда же имъ случится имѣть дѣло съ дѣйствительностью, они хотятъ подчинить ее своимъ категоріямъ, и изъ этого выходятъ пресмѣшныя уродства. Академическій, ученый міръ въ Германіи составляетъ особое государство, которому дѣла нѣтъ до Германіи. По правдѣ, послѣ Тридцатилѣтней войны, немного можно было заимствовать школъ изъ жизни. Вина обоюдная. Прозябая въ вѣчномъ занятіи схоластическими предметами, ученые приняли слой, рѣзко отдѣляющій ихъ отъ прочихъ людей. Жизнь, медленно и скудно процвѣтавшая за стѣнами академіи, не манила къ себѣ; она въ своемъ филистерствѣ была столько же невыносимо скучна, какъ ученость въ своемъ. Не смотря на это распадѣніе съ жизнью, ученые, памятуя, какой могучій голосъ имѣли университеты и доктора въ средніе вѣка, когда къ нимъ относились съ вопросами глубочайшей важности, захотѣли вершить безапелляціоннымъ судомъ всѣ сціентифическіе и художественные споры; они, подрывшіе во имя всеобщаго права изслѣдованія касту католическихъ духовныхъ пастырей, показывали поползновеніе составить свой цехъ пастырей свѣтскихъ. Не удалось имъ. Лишеннымъ, съ одной стороны, энергіи католическихъ пропагандистовъ, съ другой—невѣжества массъ. Новая каста людопасовъ не состоялась; пасти людей стало труднѣе; люди смотрятъ на ученыхъ дѣль мастеровъ, какъ на равныхъ, какъ на людей, да еще какъ на людей, не дошедшихъ до полной жизни, а пробавляющихся одной обителью изъ многихъ.

Наука—открытый столъ для всѣхъ и каждого, лишь бы былъ голодъ, лишь бы потребность манны небесной развилась. Стремленіе къ истинѣ, къ знанію не исключаетъ никакимъ образомъ частнаго употребленія жизни; можно равно быть при этомъ химикомъ, медикомъ, артистомъ, кушомъ. Никакъ не можно думать, чтобъ спеціально-ученый имѣлъ большія права на истину; онъ имѣетъ только большія притязанія на нее. Отчего человѣку, проводящему жизнь въ монотонномъ и одностороннемъ занятіи какимъ-нибудь исключительнымъ предметомъ, имѣть болѣе ясный взглядъ, болѣе глубокую мысль, нежели другому, искусившемуся самыми событіями, встрѣ-

тивимуси въ тысячѣ разныхъ столкновений съ людьми? Напротивъ, цеховой ученый внѣ своего предмета за что ни примется, примется дѣловой рукой. Онъ не нуженъ во всякомъ живомъ вопросѣ. Онъ всѣхъ менѣе подозреваетъ великую важность науки: онъ ея не знаетъ изъ-за своего частнаго предмета, онъ свой предметъ считаетъ наукой. Ученые, въ крайнемъ развитіи своемъ, заняли въ обществѣ мѣсто второго желудка животныхъ, жующихъ жвачку: въ него никогда не попадаетъ свѣжая пища,—одна пережеванная, такая, которую жуютъ изъ удовольствія жевать. Массы дѣйствуютъ, проливаютъ кровь и потъ, а ученые являются послѣ разсуждать о происшествіи. Поэты, художники творятъ, массы восхищаются ихъ твореніями,—ученые пишутъ комментаріи, грамматическіе и всяческіе разборы. Все это имѣетъ свою пользу; но несправедливость въ томъ, что они себя считаютъ по праву головою выше насъ, жрецами Паллады, ея любовниками, хуже—мужьями ея. Съ другой стороны, было бы еще страннѣе, если-бъ мы сказали, что ученые не могутъ знать истины, что они внѣ ея. Духъ, стремящій человѣка къ истинѣ, не исключаетъ никого. Не всѣ ученые принадлежать къ *цеховымъ* ученымъ; многие *истинно-ученые* дѣлаются, подавляя въ себѣ школьность, *образованными* ¹⁾ людьми, выходятъ изъ цеха въ человѣчество. *Безнадежные* цеховые,—это рѣшительные и отчаянные спеціалисты и схоластики, тѣ, на которыхъ намекалъ Жанъ-Поль, говоря: «скоро поваренное искусство разовьется до того, что жарящій форели не будетъ умѣть жарить карпа». Вотъ эти-то повара карповъ и форелей составляютъ массу ученой касты, въ которой творятся всякаго рода лексиконы, таблицы, наблюденія и все то, что требуетъ долготерпѣнія и душу мертву. Ихъ въ людей развить трудно; они крайность односторонняго направленія учености; мало того, что они умрутъ въ своей односторонности,—они бревнами лежатъ на дорогѣ всякаго великаго усовершенія, не потому, чтобъ не хотѣли улучшенія науки, а потому, что они только то усовершеніе признаютъ, которое вытекло съ соблюденіемъ ихъ ритуала и формы, или которое они сами обработали. У нихъ метода одна—анатомическая: для того, чтобъ понять организмъ, они дѣлаютъ аутопсію. Кто убилъ ученіе Лейбница и далъ ему труповой видъ школьности, какъ не ученые прозекторы? Кто изъ живого, всеобъемлющаго ученія Гегеля стремился сдѣлать схоластическій, безжизненный, страшный скелетъ?—Берлинскіе профессора.

Греція, умѣвшая развивать индивидуальности до какой-то

¹⁾ Разумѣется, слово *образованный* принято въ истинномъ смыслѣ его, а не въ томъ, въ которомъ его употребляетъ, напримѣръ, жена городничаго въ Ревизорѣ.

художественной оконченности и высоко-человѣческой полноты, мало знала въ цвѣтущія времена свои ученыхъ въ нашемъ смыслѣ: ея мыслители, ея историки, ея поэты были прежде всего граждане, люди жизни, люди общественнаго совѣта, площади, военного стана: оттого это гармонически уравновѣшенное, прекрасное своимъ аккордомъ, многостороннее развитіе великихъ личностей ихъ науки и искусства—Сократа, Платона, Эсхила, Ксенофонта и другихъ. А наши ученые? Сколько профессоровъ въ Германіи спокойно читали свой схоластическій бредъ во время наполеоновской драмы и спокойно справлялись на картѣ, гдѣ Ауэрштетъ, Ваграмъ, съ тѣмъ любознательнымъ бездушіемъ, съ которымъ на другой картѣ отмѣчали они путь Одиссея, читая Гомера! Одинъ Фихте, вдохновенный и глубокій, громко сказалъ, что отечество въ опасности, и бросилъ на время книгу. А Гёте... прочтите его переписку того времени! Конечно, Гёте недосыгаемо выше школьной односторонности: мы доселѣ стоимъ передъ его грозной и величественной тѣнью съ глубокимъ удивленіемъ, съ тѣмъ удивленіемъ, съ которымъ останавливаемся передъ Луксорскимъ обелискомъ—великимъ памятникомъ какой-то иной эпохи, великой, но прошлой ¹⁾, не нашей! Ученый ²⁾ до такой степени разобщился съ современностью, до такой степени завялъ, вымеръ съ трехъ сторонъ, что надобно почти нечеловѣческія усилія, чтобъ ему войти живымъ звеномъ въ живую цѣпь. Образованный человѣкъ не считаетъ ничего человѣческаго чуждымъ себѣ: онъ сочувствуетъ всему окружающему: для ученаго—наоборотъ: ему все человѣческое чуждо, кромѣ избраннаго имъ предмета, какъ бы этотъ предметъ самъ въ себѣ ни былъ ограниченъ. Образованный человѣкъ мыслить по свободному побужденію, по благородству человѣческой природы, и мысль его открыта, свободна; ученый мыслить по обязанности, по возложенному на себя обѣту, и оттого въ его мысли есть что-то ремесленническое, и она всегда подъ-авторитетна. Ученый имѣетъ часть и въ ней; онъ долженъ быть уменъ: образованный человѣкъ не имѣетъ права быть глупымъ ни въ чемъ. Образованный человѣкъ можетъ знать и не знать по латинѣ, ученый долженъ знать по-латинѣ... Не смѣйтесь надъ этимъ замѣчаніемъ: я и здѣсь вижу слѣдъ окостенѣлаго духа касты. Есть великія поэмы, великія творенія, имѣющія всемірное

¹⁾ Не помню въ какой-то, недавно вышедшей въ Германіи, брошюрѣ было сказано: «Въ 1832 году, въ томъ замѣчательномъ году, когда умеръ послѣдній мистикъ нашей великой литературы.»—Да!

²⁾ Считаю необходимымъ еще разъ сказать, что дѣло идетъ единственно и исключительно о *целовыхъ ученыхъ* и что все сказанное только справедливо въ антитетическомъ смыслѣ; *истинный* ученый всегда будетъ просто человѣкъ, и человѣчество всегда съ уваженіемъ поклонится ему.

значеніе, вѣчныя истины, завѣщаваемыя изъ вѣка въ вѣкъ; нѣтъ сколько-нибудь образованнаго человѣка, который бы не зналъ ихъ, не читалъ ихъ, не прожилъ ихъ: цеховой ученый навѣрное не читалъ ихъ, если онѣ не относятся прямо къ его предмету. На что химику «Гамлетъ»? На что физику «Донъ-Жуанъ»? Есть еще болѣе странное явленіе, особенно часто встрѣчающееся между германскими учеными: нѣкоторые изъ нихъ все читали и все читаютъ,—но понимаютъ только по одной своей части: во всѣхъ же другихъ они изумляютъ сочетаніемъ огромныхъ свѣдѣній съ несовершеннѣйшею тупостью, напоминающею иногда наивность ребяческаго возраста: «они прослушали всѣ звуки, но гармоніи не слышали», какъ сказано въ эпитафій. Степень цеховой учености опредѣляется рѣшительно памятью и трудолюбіемъ: кто помнитъ наибольшій запасъ вовсе ненужныхъ свѣдѣній объ одномъ предметѣ, у кого въ груди не бьется сердце, не кипитъ страсти, требующія не книжнаго удовольствія, а подѣйствительнаго: кто имѣтъ терпѣніе лѣтъ двадцать твердить частности и случайности, относящіяся къ одному предмету,—тотъ и ученѣе. Безъ сомнѣнія, господиновъ, котораго привозили къ князю Потемкину и который зналъ на память мѣсяцесловъ, былъ ученый—и еще болѣе: самъ изобрѣлъ *свою* науку. Ученые трудятся, пишутъ только для ученыхъ: для общества, для массы пишутъ образованные люди; большая часть писателей, произведшихъ огромное вліяніе, потрясавшихъ, двигавшихъ массы, не принадлежатъ къ ученымъ: Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Руссо. Если же изъ среды ученыхъ какой-нибудь гигантъ пробьется и вырвется въ жизнь, они отрекаются отъ него, какъ отъ блуднаго сына, какъ отъ ренегата. Копернику не могли простить геніальность, надъ Колумбомъ смѣялись, Гегеля обвиняли въ невѣжествѣ. Ученые пишутъ съ ужаснымъ трудомъ: одинъ трудъ только тягостнѣе и есть: это чтеніе ихъ *doctes écrits* ¹⁾. Впрочемъ, такого труда никто и не предпринимаетъ: ученыя общества, академіи, бібліотеки покупаютъ ихъ фоліанты: иногда нуждающіеся въ нихъ справляются,—но никогда никто не читаетъ ихъ отъ доски до доски. Обращеніе ученыхъ какой-нибудь академіи было бы похоже на нану роговую музыку, гдѣ каждый музыкантъ всю жизнь дудитъ одну и ту же ноту, если-бъ у нихъ былъ канцельмейстеръ и *ensemble* (а въ *ensemble* и состоитъ наука). Они похожи на роговыхъ музыкантовъ, спорящихъ между собою каждый о превосходствѣ своей ноты и дудящихъ, для доказательства, во всю силу легкихъ. Имъ въ голову не приходитъ,

¹⁾ Гегель, говоря гдѣ-то объ гигантскомъ трудѣ читать какую-то ученую немецкую книгу, присовокупилъ, что ее вѣрно было легче писать.

что музыка будетъ только тогда, когда всѣ звуки поглотятся, уничтожатся въ одной ихъ объемлющей гармоніи.

Различіе ученыхъ съ дилетантами весьма ярко. Дилетанты любятъ науку, но не занимаются ею; они разбѣваются по лазури, носящейся надъ наукой, которая точно такъ же ничего, какъ лазурь земной атмосферы. Для ученыхъ наука—барщина, на которой они призваны обработать указанную полосу; занимаясь кочками, мелочами, они рѣшительно не имѣютъ досуга бросить взглядъ на все поле. Дилетанты смотрятъ въ телескопъ: оттого видятъ только тѣ предметы, которые по меньшей мѣрѣ далеки какъ луна отъ земли,—а земного и близкаго ничего не видятъ. Ученые смотрятъ въ микроскопъ, и потому не могутъ видѣть ничего большого; для того, чтобъ быть ими замѣченнымъ, надобно быть незамѣтнымъ глазу человѣческому; для нихъ существуетъ не кристалльный ручей, а капля, наполненная гомеопатическими гадами. Дилетанты любятъ науку, такъ, какъ мы любимъ Сатурномъ, на благородной дистанціи, и ограничиваясь знаніемъ, что онъ свѣтится и что на немъ обручъ. Ученые такъ близко подошли къ храму науки, что не видятъ храма и ничего не видятъ кромѣ кирпича, къ которому пришелся ихъ носъ. Дилетанты—туристы въ областяхъ науки и, какъ вообще туристы, знаютъ о странахъ, въ которыхъ они были, общія замѣчанія, да всякій вздоръ, газетную клевету, свѣтскія сплетни, придворныя интриги. Ученые—фабричные работники и, какъ вообще работники, лишены умственной развязности, что не мѣшаетъ имъ быть отличными мастерами своего дѣла, внѣ котораго они никуда не годны. Каждый дилетантъ занимается всѣмъ scibile, да еще, сверхъ того, тѣмъ, чего знать нельзя, т. е. мистицизмомъ, магнетизмомъ, физиогномикой, гомеопатіей, гидропатіей и пр. Ученый, наоборотъ, посвящаетъ себя одной главѣ, отдѣльной вѣтви какой-нибудь спеціальной науки и, кромѣ ея, ничего не знаетъ и знать не хочетъ. Такія занятія имѣютъ иногда свою пользу, доставляя факты для истинной науки. Отъ дилетантовъ, само собою разумѣется, никому и ничему нѣтъ пользы. Многіе думаютъ, что самоотверженіе, съ которымъ ученые обрекаютъ себя на кабинетную жизнь, на скучную работу, однообразную и утомительную, для пользы своей науки, заслуживаетъ великой благодарности со стороны общества. Мнѣ кажется, награда всякому труду въ самомъ трудѣ, въ дѣятельности. Но не подымаясь въ эту сферу, расскажу одинъ старый анекдотъ.

Какой-то добрый французъ сдѣлалъ модель парижскаго квартала изъ воска, съ удивительною отчетливостью. Окончивъ долготѣтній трудъ свой, онъ поднесъ его конвенту единой и нераздѣльной республики. Конвентъ, какъ извѣстно, былъ права кру-

того и оригинального. Сначала онъ промолчалъ: ему и безъ во-сковыхъ кварталниковъ было довольно дѣла,—образовать нѣсколько армій, прокормить голодныхъ парижанъ, оборониться отъ коалицій..... Наконецъ, онъ добрался до модели и рѣшилъ: «гражданина такого-то, котораго произведенія нельзя не признать оконченно-выполненнымъ, посадить на шесть мѣсяцевъ въ тюрьму за то, что онъ занимался безполезнымъ дѣломъ, когда отечество было въ опасности». Съ одной стороны, конвентъ правъ; но вся бѣда конвента состояла въ томъ, что онъ во всѣхъ дѣлахъ смотрѣлъ съ одной стороны, да и то не съ самой пріятной. Ему не пришло въ голову, что человѣкъ, который *могъ* съ охотой заниматься годы цѣлые лѣпленіемъ изъ воска, и притомъ такіе годы, — *не могъ* никуда быть иначе употребленъ. Миѣ кажется, подобныхъ людей не слѣдуетъ ни наказывать, ни награждать. Специалисты науки находятся въ этомъ положеніи: имъ ни брани, ни похвалы; ихъ занятія, безъ сомнѣнія, не хуже, да и конечно не лучше всѣхъ будничныхъ занятій человѣческихъ. Странная несправедливость состоитъ въ томъ, что ученыхъ считаютъ повыше простыхъ гражданъ, освобождаютъ отъ всякихъ общественныхъ тягостей потому, что они ученые,—а они рады сидѣть въ халатѣ и предоставлять другимъ всѣ заботы и труды. За то, что человѣкъ имѣетъ мономанію къ камнямъ или къ медалямъ, къ раковинамъ или къ греческому языку, за это его ставятъ въ исключительное положеніе—нѣтъ достаточной причины. Между тѣмъ, избалованные обществомъ ученые дошли было до троглодитовскаго дикаго состоянія. И теперь, всякій знаетъ, что нѣтъ ни одного дѣла, которое можно поручить ученому: это вѣчный недоросль между людьми; онъ только не смѣшонъ въ своей лабораторіи, музеумѣ. Ученый теряетъ даже первый признакъ, отличающій человѣка отъ животнаго—общественность: онъ конфузится, боится людей; онъ отвыкъ отъ живого слова: онъ трепещетъ передъ опасностью; онъ не умѣетъ одѣться: въ немъ что-то жалкое и дикое. Ученый—это готтентотъ съ другой стороны, такъ, какъ Хлестаковъ былъ генералъ съ другой стороны. Таково клеймо, которымъ отмѣчаетъ Немецка людей, думающихъ выйти изъ человѣчества и не имѣющихъ на то права. А они требуютъ, чтобъ мы признали ихъ превосходство надъ нами: требуютъ какого-то спасіа отъ человѣчества, воображаютъ себя въ авангардѣ его! Никогда! Ученые—это чиновники, служащіе идеѣ, это бюрократія науки, ея писцы, столоначальники, регистраторы. Чиновники не принадлежать къ аристократіи, и ученые не могутъ считать себя въ передовой фалангѣ человѣчества, которая первая освѣщается восходящей идеей и первая побивается грозой. Въ этой фалангѣ можетъ быть и ученый, такъ, какъ можетъ быть и воинъ, и ар-

тисть, и женщина, и купецъ. Но они избираются не по званіямъ, а потому, что на челѣ ихъ увидѣли слѣдъ божественной искры; они принадлежать не къ ученому сословію, а просто къ тому кругу образованныхъ людей, который развился до живого уразумѣнія понятія человѣчества и современности. Этотъ кругъ, болѣе или менѣе просторный, смотря по степени просвѣщенія страны, есть живая, полная силъ среда, пышный цвѣтъ, въ который втекають разными жилами все соки, трудно разработанные, и преобразуются въ пышный вѣнчикъ. Въ немъ настоящее, переходя въ будущее, развертывается во всей красѣ и благоуханіи для того, чтобъ насладиться настоящимъ. Но предупредимъ недоразумѣніе — эта аристократія далеко незамкнута: она, какъ Фивы, имѣетъ сто широкихъ вратъ, вѣчно открытыхъ, вѣчно зовущихъ.

Каждый можетъ войти въ ворота, но труднѣе въ нихъ пройти ученому, нежели всякому другому. Ученому мѣшаетъ его дипломъ: дипломъ—чрезвычайное препятствіе развитію; дипломъ свидѣтельствуешь, что дѣло кончено, *consomatum est*; носитель его совершилъ въ себѣ науку, знаетъ ее. Жанъ-Поль говоритъ въ Леванѣ: «Когда ребенокъ сказалъ неправду, скажите ему, что онъ сдѣлалъ дурно, скажите, что онъ *солгалъ*, но не называйте *лгуномъ*; онъ наконецъ, повѣритъ, что онъ лгунъ». Это замѣчаніе очень идетъ сюда: получивъ дипломъ, человѣкъ въ самомъ дѣлѣ воображаетъ, что онъ знаетъ науку, въ то время, когда дипломъ имѣетъ собственно одно гражданское значеніе; но носитель его чувствуетъ себя отдѣленнымъ отъ рода человѣческаго: онъ на людей безъ диплома смотритъ, какъ на профановъ. Дипломъ, точно іудейское обрѣзаніе, дѣлитъ людей на два человѣчества. Юноша, получившій дипломъ, или принимаетъ его за актъ освобожденія отъ школы, за подорожную въ жизнь,—и тогда дипломъ не сдѣлаетъ ни вреда, ни пользы; или онъ въ гордомъ сознаніи отдѣляется отъ людей и принимаетъ дипломъ за право гражданства въ республикѣ *litterarum*, и идетъ подвизаться на схоластическомъ форумѣ ея. Республика ученыхъ—худшая республика изъ всехъ когда-нибудь бывшихъ, не исключая Парагвайской во время управленія ею *ученымъ докторомъ* Франція. Юношу вступившаго встрѣчаютъ нравы и обычаи окостенѣлые и наросшіе поколѣніями; его вталкиваютъ въ споры безконечные и совершенно бесполезные; бѣдный истощаетъ свои силы, втягивается въ искусственную жизнь касты и забываетъ мало по малу все живые интересы, разстается съ людьми и съ современностью; съ тѣмъ вмѣстѣ начинаетъ чувствовать высоту жизни въ области схоластики, привыкаетъ говорить и писать напыщеннымъ и тяжелымъ языкомъ касты, считаетъ достойными вниманія только тѣ событія, которыя случились за 800 лѣтъ и были отвергаемы по латинѣ и признаваемы по

гречески. Но это еще не все: это медовый мѣсяцъ; вскорѣ имъ овладѣваетъ односторонняя исключительность (въ родѣ *idée fixe* у поврежденныхъ). Онъ предается спеціальности, дѣлается ремесленникомъ; наука теряетъ для него свою торжественность; для слуги цѣль великаго человѣка,—и цеховой ученый готовъ!

Но можетъ ли существовать наука безъ спеціальныхъ занятій? Развѣ энциклопедическая поверхностность, за все хватающаяся, не есть именно недостатокъ дилетантизма? Конечно, не можетъ; но вотъ въ чемъ дѣло.

Наука—живой организмъ, которымъ развивается истина. Истинная метода одна: это собственно процессъ ея органической пластичности: форма, система—предопредѣлены въ самой сущности ея понятія и развиваются по мѣрѣ стеченія условій и возможностей осуществленія ихъ. Полная система есть расчлененіе и развитіе *души* науки до того, чтобъ душа стала тѣломъ и тѣло стало душою. Единство ихъ одѣйствоворяется въ методѣ. Никакая сумма свѣдѣній не составитъ науки до тѣхъ поръ, пока сумма эта не обростетъ живымъ мясомъ, около одного живого центра, то есть не дойдетъ до пониманія себя тѣломъ его. Никакая блестящая всеобщность, съ своей стороны, не составитъ полного, наукообразнаго знанія, если, заключенная въ ледяную область отвлеченій, она не имѣетъ силы воплотиться, раскрыться изъ рода въ видъ. Изъ всеобщаго въ *личное*, если необходимость индивидуализаціи, если переходъ въ міръ событій и дѣйствій не заключенъ во внутренней потребности ея, съ которой она не можетъ *совладѣть*. Все живое живо и истинно только какъ цѣлое, какъ внутреннее и внѣшнее, какъ всеобщее и единичное—сосуществующія. Жизнь связуетъ эти моменты; жизнь — процессъ ихъ вѣчнаго перехода другъ въ другъ. Одностороннее пониманіе науки разрушаетъ неразрывное, то есть убиваетъ живое. Дилетантизмъ и формализмъ держатся въ отвлеченной всеобщности; оттого у нихъ нѣтъ дѣйствительныхъ знаній, а есть только тѣни. Они легко распыляются оттого, что кругомъ пустота: они для легкости ноши хотѣли отдѣлнить жизнь отъ живущаго; ноша стала, въ самомъ дѣлѣ, легка, потому что такое отвлеченіе—*ничего*. А это ничего есть любимая среда дилетантовъ всѣхъ степеней; они въ немъ видятъ безпредѣльный океанъ и довольны просторомъ для мечтаній и фантазій.

Но если очевидно нѣчто безумное въ мысли отдѣлнить жизнь отъ живого организма и между тѣмъ сохранить ее, то ошибка спеціализма, конечно, не лучше. Онъ всеобщаго знать не хочетъ, онъ до него никогда не поднимается; онъ за самообытность принимаетъ всякую дробность и частность, удерживая ихъ самообытность: спеціализмъ можетъ дойти до каталога, до

всякихъ субсумаций, но никогда не дойдетъ до ихъ внутренняго смысла, до ихъ понятія—до истины, наконецъ, потому что въ ней надобно погубить всѣ частности: путь этотъ похожъ на опредѣленіе внутреннихъ свойствъ человѣка по калошамъ и пуговицамъ. Все вниманіе специалиста обращено на частности: онъ съ каждымъ шагомъ болѣе и болѣе зацутывается; частности дѣлаются дробнѣе, ничтожнѣе; дѣленіе не имѣетъ границъ: темный хаосъ случайностей стережетъ его возлѣ и увлекаетъ въ болотистую тину той *закраины* бытія, которую свѣтъ не объемлетъ: это *его* безконечное море въ противоположность дилетантскому. Всеобщее, мысль, идея — начало, изъ котораго текутъ всѣ частности, единственная нить Аріадны, теряется у специалистовъ, упущена изъ вида за подробностями; они видятъ страшную опасность: факты, явленія, видоизмѣненія, случаи давятъ со всѣхъ сторонъ. Они чувствуютъ природный человѣку ужасъ заблудиться въ много-различіи всякой всячины, ничѣмъ не снитою; они такъ положительны, что не могутъ утѣшаться, какъ дилетанты, какимъ-нибудь общимъ мѣстомъ, и въ отчаяніи, теряя единую, великую цѣль науки, ставятъ границей стремленія *Orientirung*. *Лишь бы найтися*, лишь бы не быть засыпану съ головой пескомъ фактовъ, сыплющихся отовсюду. Желаніе найтися наводитъ на искусственныя системы и теоріи, на искусственныя классификаціи и всякія построенія, о которыхъ *впередъ знаютъ*, что они не истинны. Такія теоріи трудны для изученія, потому что онѣ противоестественны, и онѣ-то составляютъ непререборимыя укрѣпленія, за стѣнами которыхъ сидятъ ученые себѣ на умѣ. Эти теоріи—на-росты, бѣлѣны на наукѣ; ихъ должно въ свое время срѣзать, чтобъ раскрыть зрѣніе; но они составляютъ гордость и славу ученыхъ. Въ послѣднее время не было извѣстнаго медика, физика, химика, который не выдумалъ бы своей теоріи: Бруссе и Гей-Люссакъ, Тенаръ и Распайль, и *tutti quanti*. Но чѣмъ добросовѣстнѣе ученый, тѣмъ меньше онъ самъ можетъ удовлетвориться подобными теоріями: лишь только онъ принялъ *какую-нибудь*, чтобъ скрѣпить связку фактовъ, онъ наталкивается на фактъ, очевидно не идущій въ мѣру; надобно для него сдѣлать отдѣлъ, новое правило, новую гипотезу, а эта новая гипотеза противорѣчитъ старой,—и чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Ученый долженъ *по своей части* знать всѣ теоріи и при этомъ не забывать, что всѣ онѣ вздоръ (какъ оговариваются во всѣхъ французскихъ курсахъ физики и химіи). Посвящая время на полезныя изученія прошедшихъ ошибокъ, онъ не можетъ найти мгновений, чтобъ заняться *не по своей части*, еще менѣе, чтобъ подняться въ сферу истинной науки, обнимающей всѣ частныя предметы, какъ свои вѣтви. Впрочемъ, ученые не вѣрятъ въ нее; они на мыслителей посма-

триваютъ, прощесски улыбаюсь, какъ Наполеонъ смотрѣть на идеологовъ. Они люди положительнаго опыта, наблюденія. А между тѣмъ, ни положительность, ни матеріализмъ не мѣшаютъ имъ быть, по превосходству, идеалистами. Искусственные методы, системы, субъективныя теоріи развѣ не крайность идеализма? Какъ бы человекъ ни считалъ себя занимающимся одними фактами, внутренняя необходимость ума увлекаетъ его въ сферу мысли, къ идеѣ, къ всеобщему; специалисты выпрыгиваютъ упорнымъ непослушаніемъ только то, что, вмѣсто правильнаго пути поднятія, они блуждаютъ въ странной средѣ, которой дно—факты безъ связи, а верхъ—теоретическія мечтанія безъ связи. Поднимаясь по-своему во всеобщее, они не хотятъ упустить ни одной частности, а въ той сферѣ не принимается ничего точнаго моллю: одно вѣчное, родовое, необходимое призвано въ науку и освящено ею. Міръ фактической служить, безъ сомнѣнія, основой науки: наука, опертая не на природѣ, не на фактахъ, есть именно туманная наука дилетантовъ. Но, съ другой стороны, факты in *seculo*, взятые во всей случайности бытія, несостоятельны противъ разума, свѣтящаго въ наукѣ. Въ наукѣ природа возстановляется, освобожденная отъ власти случайности и вышнихъ вліяній, которая притѣсняетъ ее въ бытіи; въ наукѣ природа просвѣтляется въ чистотѣ своей логической необходимости; подавляя случайность, наука примпляетъ бытіе съ идеей, возстановляетъ естественное во всей чистотѣ, понимаетъ недостатокъ существованія (*des Daseins*) и поправляетъ его, какъ власть пмущая. Природа, такъ сказать, жаждала своего освобожденія отъ узъ случайнаго бытія, и разумъ совершилъ это въ наукѣ. Люди отвлеченной метафизики должны опуститься изъ своего поднебесья именно въ *физику* (въ обширѣйшемъ смыслѣ слова), и въ нее же должны подняться роющіеся въ землѣ специалисты. Въ наукѣ, принимаемой такимъ образомъ, нѣтъ ни теоретическихъ мечтаній, ни фактическихъ случайностей: въ ней—себя и природу созерцающій разумъ.

Главное, что дѣлаетъ науку *ученымъ* трудною и запутанною, это—метафизическія бредни и тьма тьмущая специальностей, на изученіе которыхъ посвящается дѣлая жизнь и схоластическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ. Но въ истинной наукѣ необходимо улетучивается то и другое, и остается стройный организмъ, разумный и оттого *просто понятный*. Наука достигаетъ теперь, передъ нашими глазами, до попятія себя въ истинномъ значеніи. Если-бъ не было такъ, и намъ не пришлось бы въ голову говорить объ этомъ. Всегда и вѣчно будетъ техническая часть отдѣльныхъ отраслей науки, которая очень справедливо останется въ рукахъ специалистовъ, — но не въ ней дѣло. Наука въ высшемъ

смыслъ своемъ сдѣлается доступна людямъ, и тогда только она можетъ потребовать голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни. Нѣтъ мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развитіи. Буало правъ:

Tout ce que l'on conçoit bien s'annonce clairement
Et les mots pour le dire, arrive aisément.

Мы, улыбаясь, предвидимъ теперь смѣшное положеніе ученыхъ, когда они хорошенько поймутъ современную науку; ея истинные результаты до такой степени просты и ясны, что они будутъ скандализованы. «Какъ! неужели мы бились и мучились цѣлую жизнь, а ларчикъ такъ просто открывался?» Теперь еще они сколько-нибудь могутъ уважать науку, потому что надобно имѣть нѣкоторую силу, чтобъ понять, какъ она *проста* и нѣкоторую сноровку, чтобъ узнавать ясную истину подъ плевою схоластическихъ выраженій, а они не догадываются объ ея простотѣ. Но если, въ самомъ дѣлѣ, истинная наука такъ проста, зачѣмъ же высшіе представители ея, напр. Гегель, говорили тоже труднымъ языкомъ? Гегель, не смотря на всю мощь и величіе своего генія, былъ тоже человѣкъ; онъ испыталъ паническій страхъ просто выговориться въ эпоху, выражавшуюся ломаннымъ языкомъ, такъ, какъ боялся идти до послѣдняго слѣдствія своихъ началъ; у него не достало геройства послѣдовательности, самоотверженія въ принятіи истины во всю ширину ея и чего бы она ни стоила. Величайшіе люди останавливались передъ очевиднымъ результатомъ своихъ началъ; иные, испугавшись, шли вспять, и, вмѣсто того, чтобъ искать ясности, затемняли себя. Гегель видѣлъ, что многимъ изъ общепринятаго надобно пожертвовать: ему жаль было разить; но, съ другой стороны, онъ не могъ не высказать того, что былъ призванъ высказать. Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всѣхъ слѣдствіяхъ его и ищетъ *не простого*, естественнаго, само собою вытекающаго результата, но еще, чтобъ онъ былъ въ ладу съ существующимъ; развитіе дѣлается сложнѣе, ясность затемняется. Присовокупимъ къ этому дурную привычку говорить языкомъ школы, которую онъ по неволѣ долженъ былъ пріобрѣсти, говоря всю жизнь съ нѣмецкими учеными. Но мощный геній его и тутъ прорывается во всемъ колоссальномъ своемъ величій. Возлѣ зачутанныхъ періодовъ, вдругъ одно слово, какъ молнія, освѣщаетъ безконечное пространство вокругъ, и душа ваша долго еще трепещетъ отъ громовыхъ раскатовъ этого слова и благоговѣтъ передъ высказавшимъ его. Нѣтъ укора отъ насъ великому мыслителю! Никто не можетъ стать настолько выше своего вѣка, чтобъ совершенно выйти изъ него, и, если современное поколѣніе начинать проше говорить и рука его смѣлѣе

открывать послѣднія завѣсы Пизиды, то это именно потому, что Гегелева точка зрѣнія у него впередъ шла, была побуждена для него. Человѣкъ настоящаго времени стоитъ на горѣ и разомъ обнимаетъ обширный видъ; по проложившему дорогу на гору видъ этотъ раскрывался мало-по-малу. Когда Гегель взойдетъ первый, ширина вида его подавила; онъ сталъ искать своей горы; ее не было видно на вершинѣ; онъ испугался; она слишкомъ тѣсно связалась со всѣми испытаніями его, со всѣми воспоминаніями, со всѣми судьбами, которыя онъ пережилъ; онъ хотѣлъ сохранить ее. Юное поколѣніе, легко взнесшее на мощныхъ раменахъ гениальнаго мыслителя, не имѣетъ уже къ горѣ ни той любви, ни того уваженія: для него она *прошедшее*.

Когда юное возмужаетъ, когда оно привыкнетъ къ высотѣ, оглядится, почувствуетъ себя тамъ дома, перестанетъ дивиться широкому, безконечному виду и своей волѣ, — словомъ, сживется съ вершиной горы, тогда его истина, его наука выскажется просто, всякому доступно. *И это будетъ!*

1842 г., ноябрь.

IV.

Буддизмъ въ наукѣ.

— Погубящій свою душу найдетъ ее.

— Вѣра безъ дѣлъ мертва.

Наука, сказали мы прежде, провозгласила всеобщее примиреніе въ сферѣ мышленія, и жаждавшіе примиренія раздвоились: одни отвергли примиреніе науки, не обсудивъ его, другіе приняли поверхностно и буквально; были и есть, само собою разумѣется, истинно понявшіе науку,—они составляютъ македонскую фалангу ея, о которой мы не предположили себѣ говорить въ рядѣ этихъ статей. Потомъ, мы сдѣлали опытъ взглянуть на *непримиримыхъ* и видѣли, что по большей части имъ не позволяетъ большое и испорченное зрѣніе туда смотрѣть, куда слѣдуетъ, такъ видѣть, какъ совершается, такъ понимать, какъ сказано; личный недостатокъ въ огранахъ зрѣнія переносится ими на зримое. Болѣзненность глаза не всегда свидѣтельствуетъ о слабости его; иногда съ нею вмѣстѣ соединяется чрезвычайная сила, но отклоненная отъ естественнаго отправленія своего. Теперь, обратимся къ *примиреннымъ*. Въ ихъ числѣ есть люди ненадежные, положившіе оружіе при первомъ выстрѣлѣ, принявшіе все условія съ самоотверженіемъ, приводящимъ въ отчаяніе, съ подозрительною безпрекословностью. Мы ихъ называли мухаммеданами въ наукѣ, но не оставимъ при нихъ этого названія, напоминающаго пестрыя и яркія картины Халифата и Алгамбры; ихъ несравненно вѣрнѣе можно назвать буддистами въ наукѣ¹⁾. Постараемся высказать нашу мысль о нихъ какъ можно яснѣе, безъ притязаній, простыми средствами разговорной рѣчи.

Наука не только провозгласила, но и сдержала слово; она дѣйствительно достигла примиренія *въ своей сферѣ*. Она явилась тѣмъ вѣчнымъ посредствомъ, которое сознаніемъ, мыслью снимаетъ противоположное, примиряетъ ихъ обличеніемъ ихъ единства, примиряетъ ихъ въ себѣ и собою, сознаніемъ себя правдой борющихся начать. Требованіе было бы безумно, если-бъ вмѣнили

¹⁾ Буддисты принимаютъ существованіе за истинное зло, ибо все существующее — призракъ. Верховное бытіе для нихъ — пустота безконечнаго пространства. Переходя изъ степени въ степень, они достигаютъ высшаго конечнаго блаженства несуществованія, въ которомъ находятъ полную свободу (Клапротъ). Какое родственное сходство!

ей въ обязанность совершить что-нибудь въ своей сферѣ. Сфера науки всеобщее, мысль, разумъ, *какъ самопознающій духъ*, и въ ней она исполнила главную часть своего призванія: за остальную можно поручиться. Она поняла, сознала, развила истину разума, какъ *предлежащей действительности*; она освободила мысль міра изъ событія міра, освободила все сущее отъ случайности, распустила все твердое и неподвижное, прозрачнымъ сдѣлала темное, свѣтъ внесла въ мракъ, раскрыла вѣчное во временномъ, безконечное въ конечномъ и признала ихъ необходимое существованіе: наконецъ, она разрушила китайскую стѣну, дѣлившую безусловное, истину отъ человѣка, и на развалинахъ ея водрузила знамя самозаконности разума. Останавливая человѣка на простомъ событіи чувственной достовѣрности, начавъ съ нимъ личныя уметствованія, она развиваетъ въ немъ родовую идею, всеобщій разумъ, освобожденный отъ личности. Она требуетъ съ самаго начала жертвоприношенія личностью, закланія сердца,—это ей *conditio sine qua non*. И какъ бы это ужасно ни казалось, она права: у науки одна сфера всеобщаго, мысли. Разумъ не знаетъ личности *этой*: онъ знаетъ одну необходимость личностей вообще: разумъ, какъ высшая справедливость, нелицепріятенъ. Оглашенный наукой долженъ пожертвовать своей личностью, долженъ ее понять не истиннымъ, а случайнымъ, и, свергая ее со всѣми частными убѣжденіями, взойти въ храмъ науки. Этотъ искусъ для однихъ слишкомъ труденъ, для другихъ слишкомъ легокъ. Мы видѣли, какъ дилетантамъ наука недоступна, оттого что между ими и наукой стоитъ ихъ личность; они ее удерживаютъ трепетной рукой и не подходятъ близко къ стремительному потоку ея, боясь, что быстрое движеніе волнъ унесетъ и утопитъ; а если и подходятъ, то забота самосохраненія не позволяетъ ничего видѣть. Такимъ людямъ наука не можетъ раскрыться, оттого что они ей не раскрываются. Наука требуетъ всего человѣка, безъ заднихъ мыслей, съ готовностью все отдать и въ награду получить тяжелый крестъ *презвѣго знанія*. Человѣкъ, который ничему не можетъ распахнуть груди своей, жалокъ: ему не одна наука затворяетъ свою храмину; онъ не можетъ быть ни глубоко-религіознымъ, ни истиннымъ художникомъ, ни доблестнымъ гражданномъ: ему не встрѣтить ни глубокой симпатіи друга, ни пламеннаго взгляда взаимной любви. Любовь и дружба — взаимное зло: онѣ даютъ столько, сколько берутъ. Въ противоположность этимъ кунцамъ и эгоистамъ нравственнаго міра, есть моты и расточители, не ставящіе ни во что ни себя, ни свое достоинствѣ: радостно бѣгутъ они къ самоуничтоженію во всеобщемъ и при первомъ словѣ бросаютъ и убѣжденія свои, и свою личность, какъ черное бѣлье. Но невѣста, которой они искали, своенравна: она потому не хочетъ

брать душу этихъ людей, что они легко отдаютъ ее и не требуютъ назадъ, напротивъ, довольны, что отдѣлались отъ нея. Она права: хороша личность, которую бросаютъ въ окошко! Но какъ же быть? Погуби свою личность, а тамъ удерживай свою личность — логомехія новой кабалистики!

Личность погибла въ наукѣ; но не имѣетъ ли личность, сверхъ призванія въ сферу всеобщаго, иного призванія, и если то призваніе лично, то оно не можетъ поглотиться наукой, именно потому, что она улетучиваетъ личное, обобщая его. Процессъ погубленія личности въ наукѣ есть процессъ становленія въ сознательную, свободно-разумную личность изъ непосредственно-естественной: она приостановлена для того, чтобъ вновь родиться. Вѣдь, и парабола погибла въ уравненіи параболы, и цифра погибла въ формулѣ. Алгебра — логика математики; алгоритмъ ея представляетъ всеобщіе законы, результатъ и самое движеніе въ родовомъ, вѣчномъ, безличномъ видѣ. Но парабола только *притаилась* въ уравненіи, не умерла въ немъ, такъ, какъ и цифра въ формулѣ. Для полученія дѣйствительно сущаго результата, буква замѣняется цифрой, формула получаетъ живую особность, уносится въ міръ событий, изъ котораго вышла, движется и оканчивается практическимъ результатомъ, не уничтожая, съ своей стороны, формулу. Выкладка исполнила ее практическимъ одѣйствовореніемъ и попрежнему, спокойная, царитъ въ сферѣ всеобщаго. Примѣры изъ формальной науки всегда способствуютъ къ уразумѣнію, если только мы не будемъ забывать, что спекулятивная наука *не только* формальная, что ея формула исчерпываетъ и самое содержаніе.

Итакъ, личность, разрѣшающаяся въ наукѣ, не безвозвратно погибла: ей надобно пройти чрезъ эту гибель, чтобъ убѣдиться въ невозможности ея. Личности надобно отречься отъ себя для того, чтобъ сдѣлаться сосудомъ истины; забыть себя, чтобъ не стѣснять ея собою, принять истину со всеми послѣдствіями и въ числѣ ихъ раскрыть непреложное право свое на возвращеніе самобытности. Умереть въ естественной непосредственности значитъ воскреснуть въ духѣ, а не погибнуть въ безконечномъ ничегѣ, какъ погибаютъ буддисты. Эта побѣда надъ собою возможна и дѣйствительна, когда есть борьба; ростъ духа труденъ, какъ ростъ тѣла. То дѣлается нашимъ, что выстрадано, выработано: что даромъ свалилось, тому мы цѣны не знаемъ. Игроки бросаютъ деньги горстями. Стоило ли испытывать Авраама, если-бъ ему ничего не стоило убить Исаака?

Здоровая, сильная личность не отдается наукѣ безъ боя; она даромъ не уступить шагу; ей ненавистно требованіе пожертвовать собою; но непреодолимая власть влечетъ ее къ истинѣ; съ каждымъ ударомъ человѣкъ чувствуетъ, что съ нимъ борется

моцный, противъ котораго силъ не довѣсть: стена, рыдая, отдаетъ онъ по клочку все свое, и сердце, и душу. Такъ Одиссей, погибая въ волнахъ и цѣпляясь за скалы, прежде печели спасся, орумянить ихъ своею кровью и оставилъ на нихъ куски своего мяса. Побѣдитель безпощаденъ, требуетъ всего,—и побѣжденный отдаетъ все; но побѣдитель въ самомъ дѣлѣ не возьметъ: на что ему человѣческое? Человѣку нужно было отдать, а не ему взять. Формалистамъ, вѣчно находящимся въ мірѣ отвлеченномъ, уступка личностью ничего не значитъ, и потому они черезъ такую уступку ничего не пріобрѣтаютъ; они забываютъ жизнь и дѣятельность: лиризмъ и страстность ихъ удовлетворяются отвлеченнымъ пониманіемъ, оттого имъ не стоитъ ни труда, ни страданій пожертвовать личнымъ благомъ своимъ. Имъ убить Псаака ничего не стоитъ. Формалисты науку *изучаютъ*, какъ нѣчто внѣшнее: до нѣкоторой степени они могутъ усваивать себѣ ея остовъ, ея выраженія, полагая, что они приняли въ себя ея животворящую душу. Науку надобно прожить, чтобъ не формально усвоить ее себѣ. Переломившій ногу полнѣе и тверже всякаго врача знаетъ, какая именно боль при переломѣ. Прострадать феноменологию духа, неходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худѣть отъ скептицизма, жалѣть, любить многое, много любить и все отдать истинѣ,—такова лирическая поэма воспитанія въ науку. Наука дѣлается страшнымъ вампиромъ, духомъ, котораго нельзя прогнать никакимъ заклинаніемъ, потому что человѣкъ вызвалъ его изъ собственной груди и ему *некуда* скрыться. Тутъ надобно оставить пріятную мысль благоразумно заниматься въ извѣстный часъ дня бесѣдой съ философами для образованія ума и украшенія памяти. Вопросы страшные безотходны: куда ни отвернется несчастный, они передъ нимъ, писанные огненными буквами Даніила, и тянутъ куда-то въ глубь. и силъ нѣтъ противостоятъ чарующей силѣ пропасти, которая влечетъ къ себѣ человѣка загадочной опасностью своей. Змѣя мечетъ банкъ; игра, холодно начинающаяся съ логическихъ общихъ мѣстъ, быстро разворачивается въ отчаянное состязаніе; всѣ заповѣдныя мечты, святыя, нѣжныя упованія, Олимпъ и Аидъ, надежда на будущее, довѣріе настоящему, благословеніе прошедшему, все послѣдовательно является на картѣ, и она, медленно вскрывая, безъ улыбки, безъ прощанія и участія, повторяетъ холодными устами: «убита». Что еще поставить? Все проиграно; остается поставить себя; понтеръ ставить, и съ той минуты игра мѣняется. Горе тому, кто не доигрался до послѣдней таліи, кто остановился на проигрышѣ: или онъ падаетъ подъ тяжестью мучительнаго сомнѣнія, снѣдаемый алканіемъ горячей вѣры, или приметъ проигрышъ за выигрышъ и самодовольно примирится съ своимъ

увѣчемъ; первое—путь къ нравственному самоубійству, второе—къ бездушному атеизму. Личность, имѣвшая энергію себя поставить на карту, отдается наукѣ безусловно; но наука не можетъ уже поглотить такой личности, да и она сама по себѣ не можетъ уничтожиться во всеобщемъ—слишкомъ просторно. Погубящій душу *найдетъ ее*.

Кто такъ дострадался до науки, тотъ усвоилъ ее себѣ не токмо какъ остовъ истины, но какъ живую истину, раскрывающуюся въ живомъ организмѣ своемъ; онъ дома въ ней, не дивится болѣе ни своей свободѣ, ни ея свѣту; но ему становится мало ея примиренія; ему мало блаженства спокойнаго созерцанія и видѣнія; ему хочется полноты упоенія и страданій жизни; ему хочется *дѣйствованія*, ибо одно дѣйствованіе можетъ исполнѣ удовлетворить человѣка. Дѣйствованіе сама личность. Когда Данте вступилъ въ свѣтлую область, въ которой нѣтъ ни плача, ни воздыханія; когда онъ увидѣлъ безплотныхъ жителей рая, ему стало стыдно тѣни, бросаемой его тѣломъ. Ему, земному, не товарищи были эти свѣтлые, эфирные, и онъ пошелъ опять въ нашу юдоль, опираясь на свой посохъ бездомнаго изгнанника: но теперь ужъ онъ не потеряетъ тропинки, не упадетъ среди дороги отъ усталости и изнеможенія. Онъ пережилъ свое становленіе, выстрадалъ его; онъ блуждалъ по жизни и прошелъ мученіями ада; онъ лишился чувствъ отъ вопля и стога и раскрывалъ мутный, испуганный взоръ, вымаливая каплю утѣшенія. вмѣсто котораго снова стоны, e nuovi tormenti, e nuovi tormentati. Но онъ *дошелъ* до Люцифера, и тогда поднялся черезъ свѣтлое чистилище въ сферу вѣчнаго блаженства безплотной жизни, узналъ, что есть міръ, въ которомъ человѣкъ счастливъ, отрѣшенный отъ земли,—и воротился въ жизнь и понесъ ее крестъ.

Буддисты науки, такъ или сякъ поднявшіеся въ сферу всеобщаго, изъ нея не выходятъ. Ихъ калачомъ не заманишь въ міръ дѣйствительности и жизни. Кто имъ велитъ промѣнять обширную храмину, въ которой дѣлать нѣчего, а почетно, на нашу жизнь съ ея бушующими страстями, гдѣ надобно работать, а иногда погибнуть. Одни тѣла, имѣющія удѣльный вѣсъ, тяжеле воды и тонуть; щепы и солома важно плаваютъ по поверхности. Формалисты нашли примиреніе въ наукѣ, но примиреніе ложное: они больше примирились, нежели наука могла примирить; они не поняли, *какъ* совершенно примиреніе въ наукѣ; вошедши съ слабымъ зрѣніемъ, съ бѣдными желаніями, они были поражены свѣтомъ и богатствомъ удовлетворенія. Имъ понравилась наука такъ же неосновательно, какъ дилетантамъ не понравилась. Они вообразили, что достаточно *знать* примиреніе, а одѣйствоворять его не нужно. Отступивъ отъ міра и разсматривая его съ отри-

цательной точки, имъ не захотѣлось снова взойти въ міръ; имъ показалось достаточно знать, что хина лечитъ отъ лихорадки, для того, чтобъ вылечиться; имъ не пришло въ голову, что для человѣка наука — моментъ, по обѣимъ сторонамъ котораго жизни съ одной стороны, стремящаяся къ нему — естественно-непосредственная, съ другой, вытекающая изъ него — сознательно-свободная: они не поняли, что наука — сердце, въ которое втекаетъ темная венозная кровь не для того, чтобъ остаться въ немъ, а чтобъ, сочетавшись съ огненнымъ началомъ воздуха, разлиться алой артеріальной кровью. Формалисты подумали, что пріѣхали въ пристань въ то время, какъ въ самомъ дѣлѣ имъ слѣдовало отчаливать; они сложили руки, узнавъ, въ чемъ дѣло, т. е. когда послѣдовательность заставляла ихъ раскрыть руки. Для нихъ знаніе заклатило за жизнь и имъ ее больше не нужно: они узнали, что наука цѣль самой себя, и вообразили, что наука исключительная цѣль человѣка. Примиреніе науки—снова начатая борьба, достигающая примиренія въ практическихъ областяхъ; примиреніе науки—въ мышленіи, но «человѣкъ не только мыслящее, но и дѣйствующее существо» ¹⁾. Примиреніе науки всеобщее и отрицательное,—оттого ей личность не нужна; положительное примиреніе можетъ только быть въ дѣяніи свободномъ, разумномъ, сознательномъ. Въ тѣхъ сферахъ, въ которыхъ личность сохранила необходимость проявленія ея въ дѣяніяхъ очевидца, въ религіи, напримѣръ, не одно возношеніе лицъ, но и нисхождение къ лицамъ, сохраненіе ихъ; въ ней вѣра признана мертвою безъ дѣлъ. Любовь поставлена выше всего. Отвлеченная мысль есть непрерывное произношеніе смертнаго приговора всему временному, казнь неправого, ветхаго во имя вѣчнаго и непреходящаго,—оттого наука ежеминутно отрицаетъ воображаемую незыблемость существующаго. Дѣяніе сознательной любви творчески созидательно. Любовь есть всеобщее прощеніе, снисходительное, прижимающее къ груди своей самое временное за слѣдъ вѣчнаго, впечатлѣннаго на немъ. Но чистыя отвлеченія не имѣютъ возможности существовать, противоположное находитъ мѣсто, вкрадывается и развивается въ домъ врага своего; отрицаніе науки чревато съ перваго появленія положительнымъ. Эта скрытая положительность освобождается любовью, струится во все стороны какъ теплотворъ, непрерывно стремясь найти условія осуществленія и выхода изъ области всеобщаго отрицанія въ область свободного дѣянія: когда наука достигаетъ высшей точки, она естественно переходитъ самое себя. Въ наукѣ мышленіе и бытіе примирены:

¹⁾ Это сказалъ Гёте; Гегель въ „Процедвигѣ“ (томъ XVIII, § 63) говоритъ: „слово не есть еще *дѣяніе*, которое *выше* *речи*“. И германцы, стало, понимали это.

но условія мира дѣланы мыслію, — полный міръ въ дѣяніи. «Дѣяніе есть живое единство теоріи и практики», сказали слишкомъ за двѣ тысячи лѣтъ величайшій мыслитель древняго міра ¹⁾. Въ дѣяніи разумъ и сердце поглотились одѣйствованіемъ, исполнили въ мірѣ событій находившееся въ возможности. Мірозданіе, исторія — не вѣчны ли дѣянія? Дѣяніе отвлеченнаго разума — мышленіе, уничтожающее личность: человекъ безконеченъ въ немъ, но теряетъ себя; онъ вѣченъ въ мысли — *но онъ не онъ*: дѣяніе отвлеченнаго сердца — частный поступокъ, не имѣющій возможности раскрыться во всеобщее; въ сердцѣ человекъ у себя, — но преходящъ. Въ разумномъ, нравственно-свободномъ и страстно-энергическомъ дѣяніи, человекъ достигаетъ дѣйствительности своей личности и увѣковѣчиваетъ себя въ мірѣ событій. Въ такомъ дѣяніи человекъ вѣченъ во временности, безконеченъ въ конечности, представитель рода и самого себя ²⁾, живой и сознательный органъ своей эпохи.

Истина, высказанная нами, далека отъ того, чтобъ быть сознанною. Могуществѣннѣйшіе и величайшіе представители современнаго человечества попяли мысль и дѣяніе разное и одностороннее. Степенная, глубоко чувствующая и созерцающая Германія опредѣлила себя человека какъ мышленіе, науку признала цѣлью и нравственную свободу поняла только какъ внутреннее начало. Она никогда не имѣла вполне развитаго смысла практической дѣятельности: обобщая каждый вопросъ, она выходила изъ жизни въ отвлеченія и оканчивала одностороннимъ разрѣшеніемъ. Саванарола, слѣдуя инстинкту жизни романскихъ народовъ, сдѣлался главою политической партіи ³⁾. Германскіе реформаторы, уничтоживъ въ половинѣ Германіи католицизмъ, не выступили изъ области теологіи и схоластическихъ споровъ; фазы новой французской исторіи повторялись въ Германіи въ области науки и отчасти искусства. Германическій міръ имѣетъ самъ въ себѣ и противоположное направленіе, также отвлеченное и одностороннее. Англія одарена величайшимъ смысломъ жизни и дѣятельности: но всякое дѣяніе ея есть частное; общечеловѣческое у британца превращается въ національное; всеобъемлющій вопросъ сводится на мѣстный. Англія моремъ отдѣлена отъ человечества и, гордая своей замкнутостью, не раскрываетъ своей груди интересамъ ма-

¹⁾ Аристотель.

²⁾ Надъ этими выраженіями поемѣются наши люстихи; не будемъ такъ робки. пусть люстихи поемѣются, на то они люстихи. Смѣхъ для нихъ вознагражденіе непониманью: изъ человѣколюбія надобно имъ предоставить такой дешевый *реваншъ*.

³⁾ Романскіе народы имѣютъ характеристику рѣзче германцевъ, они опредѣленные цѣли свои исполняютъ съ чрезвычайной твердостью, обдуманностью и ловкостью. Philosophie der Geschichte, p. 422, tome IX.

терика. Британецъ никогда не отступитъ отъ своей личности; онъ знаетъ великую заслугу свою, то неприкосновенное величіе, тотъ нимбъ уваженія, которымъ онъ окружилъ именно идею личности. Заснувшіе народы Италіи и вновь выступающіе испанцы не заявили никакихъ правъ на попринце, о которомъ мы говоримъ.

Остаются два народа, на которые невольно обращается взглядъ. Съ одной стороны, Франція — самымъ счастливымъ образомъ поставленная относительно европейскаго міра, сбѣгающагося въ ней, опираваясь на край романизма, и соприкасающаяся со всѣми видами германизма, отъ Англіи, Бельгіи до странъ, прилегающихъ Рейну; романо-германская сама, она какъ будто призвана примирить отвлеченную практичность средиземныхъ народовъ съ отвлеченной умоизрядностью за-рейнской, поэтическую нѣгу солнечной Италіи съ индустріальной хлопотливостью туманнаго острова. Доселѣ Франція и Германія не понимали другъ друга вполнѣ; разное волновало ихъ, разное влекло ихъ, одни и тѣ же предметы выражались иными языками; весьма недавно, они узнали другъ друга: ихъ познакомили Наполеоны; и, послѣ взаимныхъ посѣщеній, когда улеглись страсти вмѣстѣ съ пороховымъ дымомъ, онѣ съ уваженіемъ склонились другъ передъ другомъ и признали другъ друга. Но истиннаго единенія нѣтъ. Наука Германіи упорно не переплываетъ Рейна; бѣглый умъ француза предупреждаетъ діалектическое развитіе, хватается изъ середины какую-нибудь мысль и торопится осуществить ее. Грядущему предлежитъ разрѣшить, насколько Франція можетъ быть органомъ примиренія науки и жизни; впрочемъ, не надобно ошибаться, принимая слишкомъ рѣзко противоположность Франціи и Германіи: она часто совершенно вышняя. Франція своимъ путемъ дошла до заключеній очень близкихъ къ заключеніямъ науки германской, но не умѣетъ перенести ихъ на всеобщій языкъ науки, такъ, какъ Германія не умѣетъ языкомъ жизни повторить логику. И сверхъ того, наука германская искони пользовалась Франціей. Не говоря о Декартѣ, вліяніе энциклопедистовъ было очень сильно; ей никогда не достигнуть бы своей зрѣлости безъ фактическаго общія разработаннаго по всѣмъ отраслямъ во Франціи. Съ другой стороны, можетъ, тутъ раскроется великое призваніе бросить нашу сѣверную гривну въ хранилищницу челоуѣческаго разумѣнія; можетъ, мы, маложившіе въ бытомъ, явивши представителями дѣйствительнаго единства науки и жизни, слова и дѣла. Въ исторіи поздно приходящимъ — не кости, а сочные плоды. Въ самомъ дѣлѣ, въ нашемъ характерѣ есть нѣчто, соединяющее лучшую сторону французовъ съ лучшей стороной германцевъ. Мы несравненно способнѣе къ наукообразному мышле-

нію, нежели французы, и намъ рѣшительно невозможна мѣщански-филистерская жизнь нѣмцевъ; въ насъ есть что-то gentlemanlike, чего именно нѣтъ у нѣмцевъ, и на челѣ нашемъ проступаетъ слѣдъ величавой мысли, какъ-то не сосредоточивающейся на челѣ француза.

Но не будемъ забѣгать въ будущее и возвратимся. Философы Германіи какъ-то провидѣли, что дѣяніе, а не наука—цѣль чело-вѣка. Это была часто геніальная пророческая непослѣдовательность, насильно врывавшаяся въ безстрастныхъ и суровыхъ логическихъ построеній. Самъ Гегель болѣе намекнулъ, нежели развилъ мысль о дѣяніи. Это дѣло не его эпохи,—дѣло эпохи, имъ порожденной. Гегель, раскрывая области духа, говоритъ о искусствѣ, наукѣ и забываетъ практическую дѣятельность, вплетенную во все событія исторіи. Но рядъ мыслителей Германіи, замыкающійся Гегелемъ, не должно ставить на одну доску съ настоящими формалистами. Они не имѣли иныхъ требованій, кромѣ потребности вѣдѣнія, но это было своевременно; они труженически работали для челоуѣчества путь науки; для нихъ примиреніе въ наукѣ было наградой; они имѣли право, по историческому мѣсту своему, удовлетвориться во всеобщемъ; они были призваны свидѣтельствовать міру о совершившемся самопознаніи и указать путь къ нему: въ этомъ состояло *ихъ дѣяніе*. Мы совсѣмъ не въ томъ положеніи; для насъ жизнь въ отвлеченно-всеобщихъ сферахъ—несвоевременность, личная охота. Всякая восходящая сфера имѣетъ притязаніе на исключительное господство и безусловное значеніе: вѣра въ него—главнѣйшее условіе успѣха; но дальнѣйшее развитіе во времени необходимо переходитъ мнимо-безусловную сферу и эта необходимость перехода гораздо съ большей справедливостью можетъ казаться безусловной. Гегель чрезвычайно глубокомысленно сказалъ: «понять *то, что есть*—задача философіи, ибо *то, что есть*—разумъ. Какъ всякая личность *произведеніе своего времени*, такъ философія есть въ *мысляхъ схваченная эпоха*; нелѣпо предположить, что какаѣ-нибудь философія переходила свой современный міръ» ¹⁾. Задача реформаціоннаго міра была понять, но понятіемъ не замыкается воля. Философы забыли о положительной дѣятельности. Бѣды въ этомъ не было. Практическія сферы вовсе не лишены языка; онѣ заявили свой голосъ, когда время пришло. Оно пришло быстро; челоуѣчество несется теперь какъ по желѣзной дорогѣ. Годы—вѣка. Едва прошло десять лѣтъ послѣ смерти Гёте и Гегеля, величайшихъ представителей искусства и науки, какъ самый

¹⁾ Philosophie des Rechts, Vorrede. Курсивомъ напечатанное подчеркнуто въ текстѣ.

Шеллингъ, увлеченный новымъ направленіемъ, сталъ дѣлать совершенно инныя требованія, нежели съ которыми явился проповѣдывать науку въ началѣ XIX вѣка. Рангегатство Шеллинга во всякомъ случаѣ событіе важное и многозначительное. Шеллингъ болѣе обладаетъ поэтическимъ созерцаніемъ, чѣмъ діалектикой, и именно какъ Vates онъ испугался океана всеобщаго, готовившагося поглотить весь потокъ умственной дѣятельности; онъ пошелъ вспять, не славивши съ послѣдствіями своихъ началъ, и вышелъ изъ современности, указывая на большое мѣсто. Во всей германской атмосферѣ носятся новые вопросы о жизни и наукѣ,—это очевидный фактъ въ журналистикѣ, въ изящныхъ произведеніяхъ, въ книгахъ. Забытая въ наукѣ личность потребовала своихъ правъ, потребовала жизни, трепещущей страстями и удовлетворяющейся однимъ творческимъ, свободнымъ дѣяніемъ. Послѣ отрицанія, совершеннаго въ сферѣ мышленія, она захотѣла отрицаній въ другихъ сферахъ: необходимость личности обличилась. Человѣкъ требуетъ ее, а наука, взявшая все, признаетъ это право: она не удерживаетъ, она благословляетъ въ жизнь личную, въ жизнь свободнаго дѣянія во имя абсолютной безличности.

Да, наука есть царство безличности, успокоенное отъ страстей, почившее въ величайшемъ самопознаніи, озаренное всепроникающимъ свѣтомъ разума,—царство идеи. Не мертвое, не остывшее, какъ трупъ, но покойное въ самомъ движеніи своемъ, какъ океанъ. Въ наукѣ—сонмъ Олимпійцевъ, а не люди: *матери*, къ которымъ ходилъ Фаустъ. Въ наукѣ—истина, облеченная не въ вещественное тѣло, а въ логическій организмъ, живая архитектуроникой діалектическаго развитія, а не эпопеей временнаго бытія: въ ней законъ—мысль исторгнутая, спасенная отъ бурь существованія, отъ возмущеній внѣшнихъ и случайныхъ; въ ней раздается симфонія сферъ небесныхъ и каждый звукъ ея имѣетъ въ себѣ вѣчность, потому что въ немъ была необходимость, потому что случайный стонъ временнаго не достигаетъ такъ высоко. Мы согласны съ формалистами, наука *выше* жизни, но въ этой высотѣ свидѣтельство ея односторонности: конкретно истинное не можетъ быть ни выше, ни ниже жизни, оно должно быть въ самомъ средоточіи ея, какъ сердце въ срединѣ организма. Отъ того, что наука выше жизни, ея область отвлеченна, *ея полнота не полна*. Живая цѣлость состоитъ не изъ всеобщаго, снявшаго частное, но изъ всеобщаго и частнаго, взаимно другъ въ друга стремящихся и другъ отъ друга отторгающихся; ея нѣтъ ни въ какомъ моментѣ, ибо все моменты ея: какъ бы ни казались самобытны и исчерпывающіи инныя опредѣленія, они таютъ отъ огня жизни и вливаются, теряя односторонность свою, въ широкій, всепоглощающій потокъ. Разумъ сущій прояснить для

себя въ наукѣ, свѣтъ свои счеты съ прошедшимъ и настоящимъ,—но осуществиться будущему надобно не въ одной всеобщей сферѣ. Въ ней будущности собственно нѣтъ, потому что она предузнана, какъ неминуемое логическое послѣдствіе, но такое осуществленіе бѣдно своей отвлеченностью; мысль должна принять плоть, сойти на торжище жизни, раскрыться со всею роскошью и красотой временнаго бытія, безъ котораго нѣтъ живо-тренещущаго, страстнаго, увлекательнаго дѣянія.

Warum bin ich vergänglich, o Zeus? so fragte die Schönheit.
Macht ich doch, sagte der Gott, nur das Vergängliche schön.

G e t t e.

Наука не только сознала свою самозаконность, но себя сознала, закономъ міра; переводя его въ мысль, она отреклась отъ него, какъ отъ сущаго, улетучила его своимъ отрицаніемъ, противъ дыханія котораго ничто фактическое несостоятельно. Наука разрушаетъ въ области положительно-сущаго и создаетъ въ области логики,—таково ея призваніе. Но человѣкъ призванъ не въ одну логику, — а еще въ міръ социальнo-историческій, нравственнo-свободный и положительно-дѣятельный; у него не одна способность отрѣшающагося пониманія, но и воля, которую можно назвать разумомъ положительнымъ, разумомъ творящимъ; человекъ не можетъ отказаться отъ участія въ человѣческомъ дѣяніи, совершающемся около него; онъ долженъ дѣйствовать въ своемъ мѣстѣ, въ своемъ времени,—въ этомъ его всемірное призваніе, это *ego conditio sine qua non*. Личность, выходящая изъ науки, не принадлежитъ болѣе ни частной жизни исключительно, ни исключительно всеобщимъ сферамъ; въ ней сочетались частное и общее въ единичности гражданского лица. Примирившись въ наукѣ,—онъ жаждетъ примиренія въ жизни; но для этого надобно творчески одѣйствоворить нравственную волю во всѣхъ практическихъ сферахъ.

Вина буддистовъ состоитъ въ томъ, что они не чувствуютъ потребности этого выхода въ жизнь — дѣйствительнаго осуществленія идеи. Они примиреніе науки принимаютъ *за всяческое* примиреніе; не за поводъ къ дѣйствованію, а за совершенное, замкнутое удовлетвореніе. А тамъ хоть трава не расти за переплетомъ книги. Они все снесутъ за пустоту всеобщности. Буддисты индійскіе стремятся *цѣлью бытія* купить свободу въ Буддѣ. Будда для нихъ именно отвлеченная безконечность, ничего. Наука покоряла человѣку міръ, больше—покоряла исторію не для того, чтобъ онъ могъ отдыхать. Всеобщность, удерживаемая въ своей отвлеченности, всегда ведетъ къ сонному уничтоженію дѣятельности, таковъ индійскій квіетизмъ. Гранитный міръ событій,

подвергаясь огненной струѣ отрицанія, не имѣть силы противостоять и пизвергается растопленной каскадой въ океанъ науки. Но человѣкъ долженъ переплыть океанъ для того, чтобъ снова начать дѣйствованіе въ иномъ свѣтѣ, въ обѣтованной Атлантидѣ. Начать не инстинктомъ, не по вѣбшимъ наталкиваніямъ, не съ скорбнымъ метаньемъ во всѣ стороны, не съ темнымъ предчувствіемъ, а съ полной нравственной свободой. Человѣкъ не можетъ примириться, пока все окружающее не приведено въ согласіе съ нимъ. Формалисты довольствуются тѣмъ, что выплыли въ море. качаются на поверхности его, не плывутъ никуда и оканчиваютъ тѣмъ, что обхватываются льдомъ, не замѣчая того; наружно для нихъ тѣ же стремящіяся прозрачныя волны, но въ самомъ дѣлѣ это мертвый ледъ, украсившій очертанія движенія, живая струна замерла сталактитомъ, все окончѣло. Формалисты сами приняли характеръ льда и нанесли ужасный вредъ наукѣ, говоря ея языкомъ и высказывая безжалостные приговоры свои, отъ которыхъ вѣтъ полярной стужей; весь блескъ ихъ рѣчи—блескъ льда. водяной, мертвой, по которому лучъ солнца скользить, но не грѣеть, который скорѣе уничтожится, нежели приметъ теплоту.

Слушавшіе содрогнулись, замѣтивъ отсутствіе любви у большой части берлинскихъ и иныхъ корифеевъ формализма, этихъ *таламудистовъ* новой науки. Взявъ однѣ буквы, одни слова, они ими заглушили всякое состраданіе, всякое теплое сочувствіе. Они намѣренно, съ усиліями поднялись на точку равнодушія ко всему человѣческому, считая ее за истинную высоту: имъ не всегда надобно вѣрить, что они безъ сердца,—они часто прикидываются такими (новаго рода *captatio benevolentiae*). Формальныя разрѣшенія принимаются ими всегда и вездѣ за дѣйствительныя. Имъ казалось, что личность—дурная привычка, отъ которой пора отстать; они проповѣдывали примиреніе со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словомъ все, что ни встрѣтится на улицѣ, *дѣйствительнымъ* и слѣдственно, имѣющимъ право на признаніе. Такъ поняли они великую мысль, «что все дѣйствительное разумно»: они всякій благородный порывъ клеймили названіемъ *Schönseeligkeit*, не усвоивъ себѣ смысла, въ которомъ слово это употреблено ихъ учителемъ ¹⁾. Если присовокупимъ къ этимъ результатамъ напыщенный и нечѣрный языкъ, надменность ограниченности, то отдадимъ справедливость вѣрному такту общества, смотрѣвшаго съ недовѣріемъ на этихъ фигляровъ науки. Гегель гдѣ только могъ

¹⁾ «Есть болѣе полный миръ съ дѣйствительностью, доставляемый познаніемъ ея, нежели отчаянное сознаніе, что временное дурно или неудовлетворительно, но что съ нимъ слѣдуетъ примириться, потому что оно лучше не можетъ быть». *Philosophie des Rechts*.

просилъ, умолялъ опасаться формализма ¹⁾, доказывалъ, что самое истинное опредѣленіе, взятое въ его завыченности, буквальности, доведеть до бѣдъ, бранился, наконецъ,—ничего не помогало. Они его-то фразы и свинтили, его-то и поняли буквально. Они не могутъ привыкнуть къ вѣчному движенію истины, не могутъ разъ навсегда признать, что всякое положеніе отрицается въ пользу высшаго, и что только въ преемственной послѣдовательности этихъ положеній, бореній и снятій проторгается живая истина, что это ея змѣняныя шкуры, изъ которыхъ она выходитъ свободнѣе и свободнѣе. Они (не смотря на то, что толкуютъ о чемъ-то подобномъ) не могутъ привыкнуть, что въ развитіи науки нѣ на что опереться, что одно спасеніе въ быстромъ, стремительномъ движеніи. Они цѣпляются за каждый моментъ, какъ за истину; какое-нибудь одностороннее опредѣленіе принимаютъ за все опредѣленіе предмета, имъ надобны сентенціи, готовые правила; пробравшись до станціи, они, смѣшно-довѣрчивые, полагаютъ всякій разъ, что достигли абсолютной цѣли и располагаются отдыхать. Они строго держатся текста, и оттого не могутъ усвоить себѣ его. Мало понимать то, что сказано, что написано: надобно понимать то, что свѣтится въ глазахъ, что вѣетъ между строкъ, надобно такъ усвоить себѣ книгу, чтобъ выйти изъ нея. Такъ понимаетъ *живущій* науку; пониманіе есть обличеніе однородности, которая предсуществуетъ. Наука живому передается жизненно, формалисту—формально. Посмотрите на Фауста и его фамулуса: Фаусту наука—жизненный вопросъ «быть или не быть»; онъ можетъ глубоко падать, унывать, впадать въ ошибки, искать всякихъ наслажденій, но его натура глубоко проникаетъ за кору вѣщности, его ложь имѣетъ болѣе истины въ себѣ, нежели плоская, непогрѣшительная правда Вагнера. Трудное Фаусту легко Вагнеру. Вагнеръ удивляется, какъ Фаустъ не понимаетъ простыхъ вещей. Надо имѣть много ума, чтобъ не понять иного. Вагнера наука не мучитъ, напротивъ, утѣшаетъ, успокоиваетъ, отраду въ скорби подаетъ. Онъ покой свой купилъ на мѣдные гроши. оттого что онъ не беспокоился собственно никогда. Гдѣ онъ видѣлъ единство, примиреніе, разрѣшеніе и улыбался, тамъ Фаустъ видѣлъ расторженіе, ненависть, усложнившійся вопросъ—и страдалъ.

Каждый занимающійся *проходитъ* черезъ формализмъ, это одинъ изъ моментовъ становленія; но имѣющій живую душу проходитъ, а формалистъ остается; для одного формализмъ ступень, для другого цѣль. Такъ, природа, достигая совершенія своего въ человѣкѣ, останавливается на каждой попыткѣ, увѣковѣчивая ее

¹⁾ Напримѣръ, во всемъ предисловіи въ „Феноменологія“.

родомъ, вѣчно свидѣтельствующимъ о пройденномъ моментѣ, который для него высшая, единая форма бытія. Но ни природа, ни наука не могли удовлетвориться, не дойдя до послѣднихъ слѣдствій, заключенныхъ въ ихъ понятіи. Природа перешла себя въ человѣкъ, или наступила себѣ на грудь. Наука нынче представляетъ то же зрѣлище: она достигла высшаго призванія своего; она явилась солнцемъ всеосвѣщающимъ, разумомъ факта и, слѣдственно, оправданіемъ его. Но она не остановилась, не сѣла отдыхать на тронѣ своего величія; она перешла свою высшую точку и указываетъ путь изъ себя въ жизнь практическую, сознавая, что въ ней не весь духъ человѣческій исчерпанъ, хотя и весь понятъ. Она этимъ погруженіемъ въ жизнь не потеряетъ своего трона: однажды побѣжденное въ этихъ сферахъ—побѣждено на вѣки: но и человѣкъ не потеряетъ въ ней остальныхъ обитателей жизни. Правовѣрные буддисты больше самой науки за науку, они рѣшились умереть, защищая единодержавное владычество ея надъ жизнью. «Наука есть наука и единый путь ея абстракція»—это стихъ ихъ Корана. Они на все отвѣчаютъ громкими словами и вмѣсто того, чтобъ наполнить въ самомъ дѣлѣ пронасти, дѣлящая сферы отвлеченныя отъ дѣйствительныхъ, противорѣчія въ жизни и мысленіи, прикрываютъ ихъ легкими тканями искусственной діалектической *фіоритуры*. Растягивать все сущее на одръ формализма не трудно для тѣхъ, кто не внемлетъ никакому протесту со стороны сущаго. Профаны дивятся иногда, какъ самые странные факты, чрезвычайныя явленія легко покоряются у формалистовъ общимъ законамъ, дивятся, — а между тѣмъ чувствуютъ, что при этомъ сдѣланъ какой-то фокусъ—изумительный, но неприятный для того, кто ищетъ добросовѣстнаго и дѣльнаго отвѣта. Формалистовъ, съ грѣхомъ пополамъ, можно оправдать только тѣмъ, что они себя первыхъ обманываютъ своими фокусами. Вольтеръ рассказываетъ, какъ докторъ увѣрялъ зрячо, что онъ слышитъ, доказывая ему, что неразумный фактъ его зрѣнія несколько не противорѣчитъ его выводу, и что онъ все-таки принимаетъ его за слѣпое. Такъ новые буддисты разговаривали съ германцами до тѣхъ поръ, пока, не смотря на всю тихую и добрую натуру свою, нѣмцы догадались, въ чемъ дѣло. А дѣло въ томъ, что факты имъ и не покоряются вовсе. Они, какъ китайскій императоръ, считаютъ себя владѣтелями всего земного шара, что однакожъ не мѣшаетъ всему земному шару, за исключеніемъ Китая, вовсе не зависеть отъ него.

Дилетанты, находящіеся вѣѣ науки, могутъ иногда образумиться и въ самомъ дѣлѣ запиться наукой, но крайней мѣрѣ, могутъ *оставаться въ подозрѣніи*, что съ ними случится такой переворотъ. Формалистовъ въ этомъ никакъ занедозрѣть нельзя.

они удовлетворились, покойны, дальше идти не могут; они не знают и не могут себя представить, что есть дальше. Неизлечимо отчаянное положение их состоитъ въ этомъ чрезвычайномъ довольствѣ; они совсѣмъ примирились; ихъ взглядъ выражаетъ спокойствіе, немного стеклянное, но невозмущаемое изнутри; имъ осталось поживать и наслаждаться, прочее все сдѣлано или сдѣлается само собою. Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочутъ, когда все объяснено, сознано, и человѣчество достигло *абсолютной* формы бытія ¹⁾,—что доказано ясно тѣмъ, что современная философія есть абсолютная философія, а наука всегда является тождественною эпохѣ, но какъ ея результатъ, т. е. по совершеніи въ бытіи. Для нихъ такое доказательство неопровержимо. Фактами ихъ не смутишь, они пренебрегаютъ ими. Спросите ихъ, отчего при этой абсолютной формѣ бытія въ Манчестерѣ и Бирмингамѣ работники мрутъ съ голоду или прокармливаются настолько, насколько нужно, чтобъ они не потеряли силъ. Они скажутъ, что это случайность. Спросите ихъ, какъ они слово абсолютное привязываютъ къ развивающимся событіямъ, къ сферамъ, которыя своимъ движеніемъ впередъ доказываютъ свою неабсолютность. «Да такъ сказано въ такомъ-то и такомъ-то параграфѣ». Для нихъ и это доказательство, а въ какомъ смыслѣ принято слово въ этихъ параграфахъ,—объ этомъ нѣчего и хлопотать. Раскрыть глаза формалистовъ трудно; они рѣшительно, какъ буддисты, мертвое уничтоженіе въ безконечномъ считаютъ свободой и цѣлью, и чѣмъ выше поднимаются въ морозныя сферы отвлеченій, отрываясь отъ всего живого, тѣмъ покойнѣе себя чувствуютъ. Такъ эгоисты доставляютъ себѣ своего рода спокойное счастье, заглушая всѣ человѣческія чувства, удаляя отъ себя все непріятное, огорчительное. Но для эгоизма, какъ для формализма, надобно родиться. Всякій можетъ отвернуться отъ картины страданій, но не всякій перестаетъ стонать отъ этого. Гегель (подъ фирмою котораго идутъ всѣ нелѣпости формалистовъ нашего времени, такъ, какъ подъ фирмой Фарина продается одеколонъ, дѣлаемый на всѣхъ точкахъ нашей планеты) вотъ какъ говоритъ о формализмѣ ²⁾: «Нынче главный трудъ состоитъ не въ томъ, чтобъ очистить отъ чувственной непосредственности лицо и развить его въ мыслящую сущность, но болѣе въ противоположномъ, въ одѣйствованіи всеобщаго чрезъ снятіе отвердѣлыхъ, опредѣленныхъ мыслей. Но гораздо труднѣе сдѣлать текучими твердыя мысли, нежели чувственную вещественность.....»

¹⁾ Это не выдумка, а сказано въ Байергоферовой «Исторіи философіи» (Die Idee und Geschichte der Philosophie, von Bayerhoffer, Leipzig, 1838, Последняя глава).

²⁾ Phenomenologie, Vorrede.

Формализмъ принимаетъ отвлеченную всеобщность за безусловное; онъ увѣряетъ, что быть неудовлетвореннымъ ею—доказываетъ неспособность подняться на безусловную точку зрѣнія и держаться на высотѣ ея. Онъ все приписываетъ всеобщей идее въ ея недѣйствительной формѣ и принимаетъ за спекулятивность бросанье и низверженье всего въ пропасть этой страшной пустоты. Разсма- триваніе чего-либо сущаго въ безусловномъ сводится на то, что въ немъ все одинаково, и безусловное дѣлается, такимъ образомъ, почвою, въ которой всѣ коровы черныя. Если нѣкогда людямъ показалось возмутительно принять безусловное за субстанцію, то долею основа этого отвращенія лежала въ инстинктуальномъ про- зрѣніи, что самопознаніе потеряно, а не сохранено въ субстанціи: обратное воззрѣніе, останавливающее мышленіе, какъ мышленіе, всеобщее, какъ таковое, есть опять безразличная неподвижная суб- станціальность. Даже, если мышленіе соединяетъ бытіе субстанціи съ собою и непосредственное воззрѣніе (*das Anschauen*) постигаетъ, какъ мышленіе, то и тутъ все зависитъ отъ того, не впадаетъ ли это умозрѣніе въ дѣйное однообразіе, и не представится ли дѣй- ствительность недѣйствительнымъ образомъ. Въ философіи права Гегель говоритъ: «между самопознаніемъ и дѣйствительностью всего чаще становится отвлеченность, не освободившаяся въ по- нятіе». Читая эти и подобныя мѣста, съ изумленіемъ спраши- ваешь, какъ добрые люди всю жизнь читаютъ Гегеля и не пони- маютъ. Человѣкъ читаетъ книгу, но понимаетъ собственно то, что въ его головѣ. Это зналъ тотъ китайскій императоръ, который, учившись у миссіонера математикѣ, послѣ всякаго урока благо- дарилъ, что онъ *напомнилъ* ему забытыя истины, которыя онъ не могъ не знать, будучи *par métier* всезнающимъ сыномъ неба. Въ самомъ дѣлѣ такъ. Читая Гегеля, только то понимаютъ, что онъ напоминаетъ, то, что неразвито предсуществовало чтенію. Дѣло книги собственно акушерское дѣло—способствовать, облегчить рожденіе, но что родится, за это акушеръ не отвѣчаетъ.

Не надобно, впрочемъ, думать, чтобъ Гегель самъ не впадалъ много разъ въ *нѣмецкую болѣзнь*, состоящую въ признаніи вѣдѣнія послѣдней цѣлью всемірной исторіи. Онъ это гдѣ-то прямо сказалъ¹⁾. Мы говорили въ третьей статьѣ о томъ, что Гегель часто непослѣдо- вателенъ своимъ началамъ. Никто не можетъ стать выше своего времени. Въ немъ наука имѣла величайшаго представителя: доведя ее до крайней точки, онъ нанесъ ея могуществу, какъ исключи- тельному, можетъ пехотя, сильный ударъ, ибо каждый шагъ впередъ долженствовалъ быть шагомъ въ практическія сферы. Ему лично довѣло знаніе, и потому онъ не сдѣлалъ этого шага.

¹⁾ Поминется въ Исторіи философіи.

Наука была для германо-реформаціоннаго міра то, что искусство для эллинскаго. Но ни искусство, ни наука въ своей исключительности не могли служить полнымъ успокоеніемъ и отвѣтомъ на всѣ требованія. Искусство представило, наука поняла. Новый вѣкъ требуетъ совершить понятое въ дѣйствительномъ мірѣ событіи. Геніальная натура Гегеля безпрерывно порывала путы, накладываемыя духомъ времени, воспитаніемъ, привычкой, образомъ жизни, званіемъ профессора. Посмотрите, какъ торжественно развертывается у него философія права; не фразу, не выраженіе намѣрены мы указать, а внутреннюю настоящую мысль, душу книги.

Области отвлеченнаго права разрѣшаются, снимаются міромъ нравственности, царствомъ нормъ, правомъ, просвѣтленнымъ для себя. Но Гегель этимъ не оканчиваетъ, а устремляется съ высоты идеи права въ потокъ всемірной исторіи, въ океанъ исторіи. Наука права совершается, вѣнчается, выходитъ изъ себя. Процессъ развитія личности тотъ же самый. Мутныя индивидуальности, вырабатываясь изъ естественной непосредственности, туманомъ поднимаются въ сферу всеобщаго и просвѣтленныя солнцемъ идеи разрѣшаются въ безконечной лазури всеобщаго; но онѣ не уничтожаются въ ней, принявъ въ себя всеобщее, онѣ низвергаются благодатнымъ дождемъ, чистыми кристалльными каплями на прежнюю землю. Все величіе возвращенной личности состоитъ въ томъ, что она сохранила оба міра, что она родъ и недѣлимое вмѣстѣ, что она *стала* тѣмъ, чѣмъ родилась или, лучше, къ чему родилась—сознательною связью обоихъ міровъ; что она постигла свою всеобщность и сохранила единичность. Развитая такимъ образомъ, личность самое вѣдѣніе принимаетъ за непосредственность *высшаго порядка*, а не за совершеніе судебъ. Возвращеніе есть діалектическое движеніе столь же необходимое, какъ восхожденіе. Пребываніе во всеобщемъ—покой, то есть смерть; жизнь идеи есть «вакхическое опьяненіе, въ которое все увлечено, безпрерывное возникновеніе и уничтоженіе, никогда не останавливающееся и спокойное только въ этомъ движеніи». Еще разъ, всеобщее не есть полная истина, а одна фаза ея, въ которой частное распустилось, а процессъ перехода уже совершился. Всеобщее представляетъ довременный или послѣвременный покой, но идея не можетъ пребывать въ покоѣ, она сама собою выходитъ изъ области всеобщаго въ жизнь.

Полное *trio*, согласное и величественное, звучитъ только во всемірной исторіи, только въ ней живетъ идея полнотою жизни; въѣ—ея отвлеченности, стремящіяся къ полнотѣ, алкающія друга друга. Непосредственность и мысль—два отрицанія, разрѣшающіяся въ дѣяніи исторіи. Единое для того расторгнулось въ противоположное, чтобъ соединиться въ исторіи. Природа и логика сняты и осуществлены ею. Въ природѣ все частно, индивиду-

ально, врозь суща, едва обнято вещественною связью: въ природѣ идея существуетъ тѣлесно, безсознательно, подчиненная закону необходимости и влеченіямъ темнымъ, не снятымъ свободнымъ разумѣніемъ. Въ наукѣ, совсѣмъ напротивъ: идея существуетъ въ логическомъ организмѣ, все частное заморено, все проникнуто свѣтомъ сознанія, *скрытая* мысль, волнующая и приводящая въ движеніе природу, освобождаясь отъ физическаго бытія развитіемъ его, становится *открытой* мыслью науки. Какъ бы полна ни была наука, ея полнота отвлеченна, ея положеніе относительно природы отрицательно; она это знала со временъ Декарта, ясно противопоставившаго мышленіе факту, духъ—природѣ. Природа и наука, два выгнутыя зеркала, вѣчно отражающія другъ друга: фокусъ, точку пересѣченія и сосредоточенности между оконченными мірами природы и логики, составляетъ личность человѣка. Природа, собираясь на каждой точкѣ, углубляясь болѣе и болѣе, оканчиваетъ человѣческимъ я; въ немъ она достигла своей цѣли. Личность человѣка, противопоставляя себя природѣ, борясь съ естественною непосредственностью, развертывается въ себѣ родовое, вѣчное, всеобщее, разумъ. Совершеніе этого развитія — цѣль науки.

Вся прошедшая жизнь человѣчества, сознательно и безсознательно, имѣла идеаломъ стремленіе достигнуть разумнаго самопознанія и поднятія воли человѣческой къ волѣ божественной: во всѣ времена человѣчество стремилось къ нравственно-благому, свободному дѣянію. Такого дѣянія въ исторіи не было и не могло быть. Ему должна была предшествовать наука: безъ вѣдѣнія, безъ полнаго сознанія нѣтъ истинно свободнаго дѣянія: но полнаго сознанія въ прошедшей жизни человѣческой не было. Наука, приводя къ нему, оправдываетъ исторію и съ тѣмъ вмѣстѣ отрывается отъ нея: истинное дѣяніе не требуетъ для своего оправданія предыдущаго событія, исторіи для него почва, непосредственность; все предшествующее необходимо въ генетическомъ смыслѣ, но самобытность и самоозакононеніе грядущее столько же будетъ имѣть въ себѣ, какъ въ исторіи. Грядущее отнесется къ былому, какъ совершеннолѣтній сынъ къ отцу: для того, чтобъ родиться, для того, чтобъ сдѣлаться человѣкомъ, ему нуженъ воспитатель, ему нуженъ отецъ; но ставши человѣкомъ, связь съ отцомъ мѣняется, дѣлается выше, полифебною, свободнѣе. Лессингъ назвалъ развитіе человѣчества воспитаніемъ — выраженіе невѣрное, если взять его безусловно, но въ извѣстныхъ предѣлахъ оно удачно. Въ самомъ дѣлѣ, человѣчество доселѣ имѣетъ ясные признаки несовершенности: оно мало-по-малу воспитывается въ сознаніе. Единство этой педагогіи теряется для неглубокаго взгляда за пышностью и много-

образіемъ, за роскошью творчества, за преизбыткомъ формъ и силъ, повидимому, ненужныхъ и противоборствующихъ. Но таковъ инстинктуальный путь развитія естественнаго, безсознательнаго къ сознанію, къ себяобладанію. Обратимся къ природѣ: не ясная для себя, мучимая и томимая этой неясностью, стремясь къ цѣли ей неизвѣстной, но которая, съ тѣмъ вмѣстѣ, есть причина ея волненія, — она тысячами формами домогается до сознанія, одѣйствоворяетъ всѣ возможности, бросается во всѣ стороны, толкается во всѣ ворота, творя безчисленные варіаціи на одну тему. Въ этомъ поэзія жизни, въ этомъ свидѣтельство внутренняго богатства. Каждая степень развитія въ природѣ есть вмѣстѣ и цѣль, относительная истина; она звено въ цѣпи, но кольцо для себя. Влекомая непонятной, великой тоской, природа возвышается отъ формы въ форму; но переходя въ высшее, она упорно держится въ прежней формѣ и развиваетъ ее до послѣдней крайности, какъ будто все спасеніе въ этой формѣ. И въ самомъ дѣлѣ, достигнутая форма великая побѣда, торжество и радость: она всякій разъ высшее, *что есть*. Природа выступаетъ изъ нея во всѣ стороны ¹⁾. Оттого такъ тщетно искали вытянуть всѣ произведенія ея въ мертвую прямолинейность; у ней нѣтъ правильной таблицы о рангахъ. Произведенія природы не составляютъ одну лѣстницу: нѣтъ, они представляютъ лѣстницу и то, что идетъ по лѣстницѣ; каждая ступень вмѣстѣ и средство, и цѣль, и причина. *Idemque rerum naturæ opus et rerum ipsa natura*, какъ сказалъ Плиній.

Исторія человѣчества продолженіе исторіи природы: многообразіе, разнородность, встрѣчаемая въ исторіи, поразительны: область стала шире, вопросъ выше, средства богаче, задняя мысль яснѣе, — какъ же не усложниться путямъ? Развитіе съ каждымъ шагомъ становится глубже и съ тѣмъ вмѣстѣ сложнѣе: всего проще камень, спокойно отдыхающій на начальныхъ ступеняхъ. Гдѣ начинается сознаніе, тамъ начинается нравственная свобода: каждая личность одѣйствуетъ *по-своему* призваніе, оставляя печать своей индивидуальности на событіяхъ. Народы — эти колоссальныя дѣйствующія лица всемірной драмы — исполняютъ дѣло всего человѣчества, какъ *свое дѣло*, придавая тѣмъ художническую оконченность и жизненную полноту дѣяніямъ. Народы представляли бы ничто жалкое, если-бъ они свою жизнь считали только одной ступенью неизвѣстному будущему: они были бы похожи на носильщиковъ, которымъ одна тяжесть ноши и трудъ пути, а руно несомое другимъ. Природа не посту-

¹⁾ Великая мысль Бюффона: *La nature ne fait jamais un pas qui ne soit en tout sens*.

пасть такъ съ своими безсознательными дѣтьми, — какъ мы замѣтили: тѣмъ болѣе въ мірѣ сознанія не можетъ быть степени, которая не имѣла бы собственнаго удовлетворенія. Но духъ чело-вѣчества, нося въ глубинѣ своей непреложную цѣль, вѣчное домогательство полнаго развитія, не могъ успокоиться ни въ одной изъ бывшихъ формъ: въ этомъ тайна его трансценденціи, его перехватывающей личности (*übergreifende Subjectivität*). Не забудемъ однако, что каждая изъ бывшихъ формъ имѣла содержаніемъ его, и не было духу иной формы, какъ той, за грани которой онъ перешелъ, только потому, что онъ доросъ до нея, быть ею и переросъ ее. Исторія дѣянія духа, такъ сказать, личность его, ибо «онъ есть то, что дѣлаетъ» ¹⁾ — стремленіе безусловнаго примиренія, осуществленіе всего, что есть за душою, освобожденіе отъ естественныхъ и искусственныхъ путъ. Каждый шагъ въ исторіи, поглощая и осуществляя *весь* духъ своего времени, имѣетъ свою полноту, однимъ словомъ, личность, кипящую жизнью.

Народы, ощущая призваніе выступить на всемірно-историческое поприще, услышавъ гласъ, возвѣщавшій, что часъ ихъ насталъ, проникались огнемъ вдохновенія, оживали двойною жизнью, являли силы, которыя никто не смѣлъ бы предполагать въ нихъ и которыя они сами не подозрѣвали: степи и лѣса обстроивались весями, науки и искусства расцвѣтали, гигантскіе труды совершались для того, чтобъ приготовить караванъ-сарай грядущей идеѣ, а она—величественный потокъ—текла далѣе и далѣе, захватывая болѣе и болѣе пространства. Но эти караванъ-сарайи не внѣшнія гостиницы идеѣ, а ея плоть, безъ которой она не могла бы осуществиться, — чрево матери, принявшее прошедшее для будущаго, но и живое своею жизнью: каждая фаза историческаго развитія имѣла сама въ себѣ цѣль и, слѣдственно, награду и удовлетвореніе. Для греческаго міра, его призваніе было безусловно: за предѣлами своего міра, онъ ничего не видалъ и не могъ видѣть, ибо тогда *не было* еще будущаго. Будущее возможность, а не дѣйствительность: его собственно нѣтъ. Идеаль для всякой эпохи—она сама, очищенная отъ случайности, преобразованное созерцаніе настоящаго. Разумѣется, чѣмъ всеобъемлемѣе и полнѣе настоящее, тѣмъ всемірнѣе и истиннѣе его идеаль. Такова наша эпоха. Народы, глядя на совершеніе судебъ чело-вѣчества, не знали аккорда, связывавшаго ихъ звуки въ единую симфонію: Августинъ на развалинахъ древняго міра возвѣстилъ высокую мысль о веси Господней, къ постро-енію которой идетъ чело-вѣчество, и указалъ вдали торжественную субботу успокоенія. Это было поэтико-религіозное начало

¹⁾ Philosophie des Rechts.

философiи исторiи; оно очевидно лежало въ христiанствѣ, но долго не понимали его; не болѣе, какъ вѣкъ тому назадъ, человечество подумало и въ самомъ дѣлѣ стало спрашивать отчета въ своей жизни, провидя, что оно не даромъ идетъ и что біографiя его имѣетъ глубокой и единый всесвязывающей смыслъ. Этимъ совершеннolѣтнимъ вопросомъ оно указало, что воспитаніе оканчивается. Наука взялась отвѣчать на него; едва она высказала отвѣтъ, явилась у людей потребность выхода изъ науки, — второй признакъ совершеннolѣтія. Но для того, чтобы своими руками растворить двери, наука должна совершить во всей полнотѣ свое призваніе; пока хоть одна твердая точка остается непокоренною самопознаніемъ, — виѣшнее будетъ противодѣйствовать. Число неподвижныхъ звѣздъ становится менѣе и менѣе, но онѣ еще есть. Воспитаніе предполагаетъ внѣ-сущую, готовую истину; съ того мгновенія, какъ человекъ пойметъ истину, она будетъ у него въ груди, и тогда дѣло воспитанія исчерпано, — дѣло сознательнаго дѣянiя начнется. Изъ вратъ храма науки человечество выйдетъ съ гордымъ и поднятымъ челомъ, вдохновенное сознаніемъ: *omnia sua secum portans* — на творческое созданіе веси Божіей. Примиреніе науки въ дѣлѣ сняло противорѣчія. Примиреніе въ жизни сниметъ ихъ блаженствомъ ¹⁾. Примиреніе въ жизни есть плодъ другого древа эдемскаго, его надобно было заслужить Адаму въ кровавомъ потѣ, въ тяжкихъ трудахъ, — и онъ заслужилъ его.

Но *какъ* будетъ это? *Какъ* именно принадлежитъ будущему. Мы можемъ предузнавать будущее, потому что мы — послы, на которыхъ оснуется его силлогизмъ, но только общимъ, отвлеченнымъ образомъ. Когда настанетъ время, молнія событій раздеретъ тучи, сожжетъ препятствія и будущее, какъ Паллада, родится въ полномъ вооруженіи. Но вѣра въ будущее наше благороднѣйшее право, наше неотъемлемое благо; вѣруя въ него, мы полны любви къ настоящему.

И эта вѣра въ будущее спасетъ насъ въ тяжкія минуты отъ отчаянія; и эта любовь къ настоящему будетъ жива благими дѣянiями.

23 марта. 1843.

¹⁾ При этомъ невольно вспомнилась великая мысль Спинозы: «*Beatitudo non est virtutis praeium, sed ipsa virtus*».

Публичныя чтенія г. Грановскаго.

(Письмо въ Петербургъ).

Письмо первое.

Новаго въ нашемъ литературно-ученомъ мірѣ немного. Предвижу вашу улыбку при этомъ словѣ. «Въ Москвѣ дѣлятся, въ Москвѣ отдыхаютъ передъ трудомъ». Такъ и нѣтъ. Правда, въ Москвѣ говорятъ больше, нежели пишутъ, думаютъ больше, нежели работаютъ, въ Москвѣ иногда лучше любятъ ничего не дѣлать, нежели дѣлать *ничего*. Правда и то, что иной разъ сквозь видимую апатію прорывается вдругъ какое-нибудь явленіе прекрасное и глубоко-знаменательное, трудъ разумный и отчетливый, не механическій продуктъ фабрично-искусственной дѣятельности, а дѣяніе поэтическое и свободное. Къ такимъ явленіямъ отношу и публичный курсъ исторіи среднихъ вѣковъ г. Грановскаго. Въ самомъ событіи этого курса есть что-то чрезвычайно поэтическое: въ то время, когда трудный вопросъ объ истинномъ отношеніи западной цивилизаціи къ нашему историческому развитію занимаетъ всѣхъ мыслящихъ и разрѣшается противоположно, является одинъ изъ молодыхъ преподавателей нашего университета на кафедрѣ, чтобы передать живымъ словомъ исторію того оконченнаго отдѣла судебъ міра германо-католическаго, котораго самобытно-развивающаяся Россія не имѣла. Г. Грановскій, года три тому назадъ оставившій скамьи лучшихъ германскихъ университетовъ, посвятившій жизнь свою глубокому изученію европейской исторіи, выходитъ передъ московскимъ обществомъ не какъ адвокатъ среднихъ вѣковъ, а какъ заявитель великаго ряда событій, въ ихъ органической связи съ судьбами всего человѣчества: его чтенія не могутъ быть разрѣшеніемъ вопроса, но должны внести въ него новыя данныя: онъ въ правѣ требовать, чтобы, желая осуждать и отталкивать цѣлую фазу жизни

человѣчества, выслушали, но крайней мѣрѣ, симпатическій разсказъ о ней. Благородную симпатію къ своему предмету мы видѣли, глубоко-тронутые, въ первыхъ прекрасныхъ словахъ, которыми открылъ г. Грановскій курсъ свой. Эта симпатія—великое дѣло: въ наше время глубокое уваженіе къ народности не изъято характера реакціи противъ иноземнаго; многіе смотрятъ на европейское, какъ на чужое, почти какъ на враждебное, многіе боятся въ общечеловѣческомъ утратить русское. Генезисъ такого воззрѣнія понятенъ,—но и неправда его очевидна. Человѣкъ, любящій другого, не перестаетъ быть самимъ собою, а расширяется всѣмъ бытіемъ другого: человѣкъ, уважающій и признающій права ближняго, не лишается своихъ правъ, а незыблемо укрѣпляетъ ихъ. Мы должны уважить и оцѣнить скорбное и трудное развитіе Европы, которая такъ много даетъ намъ теперь: мы должны постигнуть то великое единство развитія рода человѣческаго, которое раскрываетъ въ мнимомъ врагѣ—брата, въ расторженіи—миръ: одно сознаніе этого единства уже даетъ намъ святое право на плодъ, выработанный, потомъ и кровью, Западомъ: это сознаніе, съ нашей стороны, есть вмѣстѣ мысль и любовь, — оттого оно такъ легко: логика и симпатія всего менѣе тѣснятъ человѣка: человѣкъ созданъ, чтобъ думать и любить. Первые слова Грановскаго, проникнутыя любовью, проникнутыя мыслию, заставили меня ожидать многого отъ его чтеній!

И какою блестящей аудиторіей наградила Москва человѣка, обѣщавшаго ей передать величавую эпопею феодализма, суровую и гордую поэму католицизма и рыцарства, церкви и замка,—этихъ каменныхъ представителей замкнутой въ себѣ и оконченной эпохи. Да, московское общество самымъ лестнымъ образомъ оцѣнило приглашеніе доцента: благороднѣйшіе представители этого общества (мы говоримъ о дамахъ образованнѣйшаго круга) сѣли на скамьяхъ студентовъ и слушали,—и слушали въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли это. И послѣ этого говорите, что всеобщіе интересы не имѣютъ глубокихъ корней въ публикѣ: она съ необыкновеннымъ тактомъ оцѣнила всю современность живой, всенародной рѣчи объ исторіи. Въ наше время исторія поглотила вниманіе всего человѣчества, и тѣмъ сильнѣе развивается жадное пытаніе прошедшаго, чѣмъ ясенѣе видятъ, что бывшее пророчествуетъ, что, устремляя взглядъ назадъ, мы, какъ Янусъ, смотримъ впередъ. Духъ, понимая свое достоинство, хочетъ оправдать свою біографію, освѣтить ее восходящимъ солнцемъ мысли, освободить отъ могильнаго тѣла безсмертную душу прошедшаго, какъ то наслѣдіе его, которое не точится молью. Исторія, если не страшный судъ человѣчества, то страшное оправданіе, всѣхъ—скорбящее прощеніе его. Исторія — чистилище, въ которомъ мало-по-малу временное и случайное воскре-

сать вѣчнымъ и необходимымъ, тѣло смертное преобразается въ тѣло безсмертное. Память человечества есть память поэта и мыслителя, въ которой прошедшее живетъ какъ художественное произведеніе.

Но что же новаго скажетъ г. Грановскій? Развѣ мало писано объ исторіи среднихъ вѣковъ, начиная съ французовъ XVIII столѣтія, не понимавшихъ прошедшаго, и до Мео, который не понимаетъ настоящаго? Человѣчество, въ разные эпохи, въ разныхъ странахъ, оглядываясь назадъ, видитъ прошедшее, но самымъ образомъ восприниманія и отраженія его раскрываетъ само себя. Чтобъ привести первый примѣръ, попавшій въ голову, вспомните, какимъ рядомъ метемисхозъ гомерическіе и софокловскіе герои перешли сквозь душу Сенеки, Расина, Альфіери, Гёте. Самъ Грановскій сказалъ, что ни въ чемъ такъ ярко не выражается характеръ народа, какъ въ пониманіи исторіи. Я совершенно согласенъ съ нимъ и потому именно придаю такое значеніе его чтеніямъ. Для насъ вѣка готическіе не имѣютъ того смысла, какъ для западнаго европейца: архитектура *оживы* не напоминаетъ намъ ни отчуждающаго дома, ни храма Божьяго: рыцарскія поэмы и западныя легенды не похожи на наши колыбельныя пѣсни: для насъ средніе вѣка имѣютъ иной интересъ, чисто-человѣческой, безкорыстной, отрѣшенной отъ всякой непосредственности. Мы породнились съ Европой, когда феодализмъ, послѣдовательный и неумолимый въ консеквентности, своими ногами сталъ себѣ на грудь, своимъ языкомъ громогласно отрекся отъ своихъ родителей, и, забывъ свое сердце, положилъ красутольнымъ камнемъ новаго зданія свою голову, послѣдую отъ мысли. Мы сначала узнали новую Европу, а потомъ справились о ея происхожденіи. Оттого нашъ взглядъ на прошедшее Европы—не можетъ быть взглядомъ старшихъ европейцевъ. Западно-европейскій историкъ—судья и тяжущійся вмѣстѣ, въ немъ не умерли семейныя ненависти и распри, онъ человѣкъ какой-нибудь стороны,—иначе онъ апатическій эгоистъ; онъ слишкомъ вросъ въ послѣднюю страницу исторіи европейской, чтобъ не имѣть непосредственнаго сочувствія съ первою страницей и со всеми остальными. Нѣтъ положенія объективности относительно западной исторіи, какъ положеніе русскаго. Насколько Грановскій въ своихъ чтеніяхъ удовлетворитъ тѣмъ ожиданіямъ, которыя я предъявляю, — увидимъ впоследствии; но первая лекція — ключъ къ курсу; онъ благородно и прямо указалъ основанія, на которыхъ будетъ читать: они широки, современны и проникнуты любовью.

Первая лекція была посвящена изложенію развитія науки исторіи: г. Грановскій остановился, кажется, на Фихте. Два частныя замѣчанія я сдѣлать бы ему: онъ слишкомъ скудно опредѣ-

лпть вліяніе Канта на історію и все еще, по старой привычкѣ, слишкомъ много приписываетъ Гердеру. Гердеръ былъ прекрасное явленіе въ германской беллетристикѣ; симпатической чело-вѣкѣ, открытый всѣмъ интересамъ искусства и науки, всему со-чувствовавшій и ничего не знавшій основательно; окруженный толпою нѣмецкихъ педантовъ и цеховыхъ ученыхъ того времени, онъ могъ сосредоточить на себѣ любовь современниковъ и даже заставить ихъ повѣрить въ свое глубокомысліе,—но онъ мыслилъ фантазіей, онъ былъ поэтъ и дилетантъ въ наукѣ, и оттого не былъ двигателемъ. Что же касается до Канта, то дѣло совсѣмъ не въ томъ, что онъ писалъ объ історіи, но какой онъ далъ мощный толчекъ всему разумнѣиоу челоѣческому; кантіанизмъ отразился во всѣхъ сферахъ мысли—и во всѣхъ сдѣлалъ пере-воротъ. Історія не могла быть изъята, и дѣйствительно Шиллеръ пошелъ отъ кантіанизма—и развитъ его до своихъ писемъ объ эстетическомъ воспитаніи челоѣчества. А эта диссертація въ писъмахъ—колоссальный шагъ въ развитіи идеи історіи.

Но на сей разъ довольно. Если что-нибудь не воспрепят-ствуетъ, я доставлю вамъ общій обзоръ лекцій и нѣсколько част-ныхъ замѣчаній. Надѣюсь, что г. Грановскій не подастъ на меня въ судъ челобитную, какъ Шеллингъ на Паулуса. Мы, русскіе, какъ-то не привыкли свою мысль, свое слово считать товаромъ, личной собственностью.—Г. Грановскій читаетъ довольно тихо, органъ его бѣденъ, но какъ богато искупается этотъ физическій недостатокъ прекраснымъ языкомъ, огнемъ связующимъ его рѣчь, полнотою мысли и полнотою любви, которые очевидны не только въ словахъ, но и въ самой благородной наружности доцента. Въ слабомъ голосѣ его есть нѣчто, проникающее въ душу, вызываю-щее вниманіе. Въ его рѣчи много поэзіи и ни малѣйшей изыскан-ности, ничего для эффекта; на его задумчивомъ лицѣ видна вну-тренняя добросовѣстная работа. Вотъ все, что я могу вамъ сооб-щить.

Рама, назначенная г. Гр., обширна: онъ хочетъ прочесть історію среднихъ вѣковъ до конца, то есть, до того времени, какъ католицизмъ развитъ въ Лютера, феодальная раздроблен-ность въ самодержавную централизацію, и Европа стала до того тѣсна вновь развивающемуся міру, что великій генуэзецъ отпра-вился искать Новый Свѣтъ. Прощайте!—жду извѣстія о вашихъ университетскихъ и литературныхъ событіяхъ.

Письмо второе.

Публичныя чтенія Грановскаго кончились: въ ушахъ моихъ еще раздается дрожащій отъ внутренняго волненія, глубоко потрясенный отъ сильнаго чувства, голосъ, которымъ онъ благодарилъ слушателей, и дружный, громкій, продолжительный отвѣтъ, которымъ аудиторія прогремѣла ему свою благодарность.—«Благодарю еще разъ, благодарю тѣхъ, которые, сочувствуя мнѣ, раздѣлили добросовѣстность моихъ ученыхъ убѣжденій, благодарю и тѣхъ, которые, не раздѣляя ихъ, съ открытымъ челомъ, прямо и благородно высказывали мнѣ свою противоположность!» Этими прекрасными словами заключилъ Грановскій свой курсъ. Вы помните, что, послѣ перваго чтенія, я рѣшился назвать событіемъ замѣчательнымъ этотъ курсъ, — теперь я имѣю нѣкоторое право сказать, что не ошибся. Участіе къ чтеніямъ г-на Грановскаго непрерывно возрастало, его кафедра была постоянно окружена тройнымъ вѣнкомъ дамъ, и замѣтите, доцентъ читалъ свой предметъ со всею важною наукой, не разсыпая пенужныхъ цвѣтовъ, не жертвуя глубиною для пріятной легкости. Мнѣ кажется, ничѣмъ не могъ онъ болѣе выразить своего уваженія и благодарности слушателямъ, посѣщавшимъ его чтенія, — и онѣ были ему признательны. Слава Богу, проходитъ время того оскорбительнаго вниманія къ женщинѣ, когда для нея, рядомъ съ дѣльнымъ изложеніемъ науки, излагали предметъ намѣренно-искаженнымъ образомъ, считая одинъ мужской умъ способнымъ къ глубокомыслію.

Московское общество узнало, сидя на университетскихъ скамьяхъ, новое увлекательное и сильно-занимающее наслажденіе: преподавателямъ открылась очевидная возможность новаго дѣйствованія и указанъ путь, по которому достигается сочувствіе. И увѣренъ, что, съ легкой руки Грановскаго, начнутся въ нашемъ университетѣ публичныя чтенія о предметахъ, равно исполненныхъ общаго интереса, — новое сближеніе города съ университетомъ. У насъ не можетъ быть науки, разъединенной съ жизнью: это противно нашему характеру; потому всякое сближеніе университета съ обществомъ имѣетъ значеніе и важно для обоихъ. Преподаваніе, для пріобрѣтенія сочувствія, должно очиститься отъ школьнаго формализма, оно должно изъ холодной замкнутости сухихъ односторонностей выйти въ жизнь дѣйствительности, возволноваться ея вопросами, устремиться къ ея стремленіямъ. Общество должно забыть суету ежедневности и подняться въ среду

общихъ интересовъ для того, чтобъ слушать преподаваніе. Оно готово это сдѣлать. Тактъ общества вѣренъ: все живое и сочувствующее ему находить въ немъ неминуемое признаніе,—курсъ Грановскаго лучшее доказательство. У насъ публичныя чтенія въ такомъ родѣ—новость. Весьма можетъ быть, что часть публики сначала явилась полусути, ради новости; но послѣ первыхъ трехъ, четырехъ чтеній аудиторія была совершенно симпатично настроена, вниманіе дѣятельное, напряженное видѣлось на всѣхъ лицахъ; это сочувствіе сильно отразилось на преподаваніи. Между слушателями и преподавателемъ (если въ самомъ дѣлѣ одни слушаютъ, а другой преподаетъ) образуется необходимо магнитическая связь, съ обѣихъ сторонъ дѣятельная; сначала они будто чужіе другъ другу, но мало-по-малу между ними устанавливается уровень, и когда онъ приходитъ въ сознаніе обоихъ, тогда взаимодѣйствіе растетъ быстро, слова увлекаютъ слушателей, и аудиторія, срастающаяся въ одно нравственное лицо, увлекаетъ говорящаго. Скажу прямо и знаю, что Грановскій не обидится этимъ: онъ видимо развивался, читая, онъ росъ, крѣпнулъ на кафедрѣ. Слушатели не отстали отъ него: аудиторія и доцентъ разстались друзьями, глубоко-тронутые, глубоко-уважающіе другъ друга, они разстались со слезами на глазахъ.

Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человѣчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдѣ ничему не вырвалось слова ненависти въ его чтеніяхъ, онъ проходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ, но не оскорбилъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человѣчества далека была отъ его научно-образнаго взгляда, онъ вездѣ покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ. Мнѣ кажется, что именно этотъ характеръ преподаванія возбудилъ такое сильное участіе общества къ чтеніямъ Грановскаго. Умѣть во всѣ вѣка, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ проявленіяхъ найти съ любовію родное, человѣческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ бы они рубищѣ ни были, въ какомъ бы неразумномъ возрастѣ мы ихъ ни застали, видѣть, сквозь туманныя испаренія временнаго, просвѣчиваніе вѣчнаго начала, т. е. вѣчной цѣли,—великое дѣло для историка. Много разъ, когда я слушалъ Грановскаго, живо представлялся мнѣ Гораціо, съ стѣсненнымъ сердцемъ повѣстующій повѣсть о Гамлетѣ, возлѣ помоста, на которомъ покоится тѣло его. Въ Гораціо и мысли нѣтъ воскресить принца, смерть Гамлета для него событіе, онъ самъ сквозь слезы указываетъ на

юнаго Фортинбраса, которому завѣдана кровавая порфира, но онъ не можетъ отказать въ грусти надшему. Такъ и въ сочувствіи Грановскаго къ среднимъ вѣкамъ не было ничего всяить текущаго, обращающаго назадъ. Любовь и сочувствіе къ побѣжденному — верхъ побѣды. Неподвижныя тѣни, забытыя отшедшимъ міромъ на почвѣ новаго, всего менѣе могутъ устоять противъ теплаго дыханія любви: онѣ распускаются въ свѣтлую влагу, отдавая себя на утоленіе жажды новыхъ поколѣній. Но эта любовь не легко достигается.

Русскій историкъ стоитъ на почвѣ, которая ему чрезвычайно облегчаетъ объективное симпатическое воззрѣніе на западную исторію. Незакупленная мысль наша можетъ, освѣщая средневѣковыя событія, сохранить высокій характеръ кротости и милосердія, явиться примиряющей и вселюбящей: мы были чужды феодальной жизни Европы, мы ни наслѣдій не стяжали отъ этого времени, ни родовыхъ болѣзней. Мы цѣловальники, взятые изъ другого края, у которыхъ не можетъ быть личностей ни противъ кого, ни за кого. Не такъ для германца: онъ въ борьбѣ съ своимъ воспоминаніемъ, онъ чувствуетъ родственную любовь и родственную ненависть къ нему, онъ или падетъ подъ бременемъ богатаго наслѣдія, или долженъ отречься отъ отца съ матерью. Былое Европы для него еще живо: онъ, выходя на арену, не можетъ сохранить спокойствія судьи; вмѣсто благотворной теплоты, въ душѣ его является пристрастіе или пожирающій пламень критики, беспощадный и неотступный. Ошибаться не надобно: этотъ гнѣвъ, эта критика — тоже любовь, но любовь, доведенная до крайности, ревнивая, карающая, оскорбленная. Странная односторонность въ исторіи Запада прощительна западному человѣку, и была бы странна въ русскомъ. Откуда взять увлеченному въ омутъ событій, въ самомъ круговоротѣ ихъ, равное и мудрое безпристрастіе зрителя? не будетъ ли это ниже или выше достоинства человеческого, не надобно ли для этого сдѣлаться Талейраномъ или Гёте. — *Sine ira et studio!* Неужели вы вѣрите, что Тацитъ писалъ *sine ira*? Повторяю сказанное въ первомъ письмѣ: нѣтъ положенія объективнаго относительно прошедшаго Европы, какъ положеніе русскаго. Конечно, чтобъ воспользоваться имъ, недостаточно быть русскимъ, а надобно достигнуть общечеловѣческаго развитія: надобно именно не быть исключительно русскимъ, т. е. понимать себя не противоположнымъ западной Европѣ, а братственнымъ. Понятіе братства не поглощаетъ самобытности братій, но и самобытность ихъ, какъ лицъ, не противопоставляетъ ихъ другъ другу врагами, что уничтожило бы братство. Отталкивающее противоположеніе себя чему-нибудь не можетъ достигнуть объяснительной точки: вражда въ основѣ своей судь-

ективна; быть въ противоположности значить отказаться отъ пониманія противоположнаго, потому что пониманіе есть именно снятіе противоположности. Доколѣ мысль ревниво отталкиваетъ противоположное, она ограничена имъ, какъ чуждымъ, и это чуждое дѣлается камнемъ преткновенія, брошеннымъ на всѣхъ путяхъ ея. Въ Уложеніи сказано: «А буде который судья истцу будетъ недругъ, а отвѣтчику другъ, и тѣхъ истца и отвѣтника тому судья не судить». Намъ чрезвычайно легко достигнуть этой юридической состоятельности: стоитъ хотѣть и умѣть воспользоваться нашимъ положеніемъ. Прошедшее Европы не тревожить насъ ни какъ утрата, ни какъ угрызеніе совѣсти: оно имѣетъ для насъ иной великой интересъ.

Das stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

Грановскій (не смотря на упреки, дѣланные ему въ началѣ курса) прекрасно понялъ, каковъ долженъ быть русскій языкъ о западномъ дѣлѣ. Онъ ни разу не внесъ въ катакомбы чужихъ праотцевъ ни одного слова, ни одного намека изъ сегодняшнихъ споровъ ихъ наслѣдниковъ; не для того была взята имъ въ руки запыленная хартія среднихъ вѣковъ, чтобы въ ней сыскать опору себѣ, своему образу мыслей: ему не нужна средневѣковая инвентитура, онъ стоитъ на иной почвѣ. Отъ этого его преподаваніе получило тотъ характеръ искренности и добросовѣстности, ту многостороннюю полноту и пластичность, которая такъ рѣдко встрѣчается въ исторіи; событія, не стнетаемыя никакой личной теоріей, являлись въ его разсказѣ совершенно ожившими. Мнѣ случалось много разъ слышать нелѣпые вопросы, почему онъ не высказывается яснѣе, что онъ хочетъ доказать, какая цѣль его? онъ и любить феодализмъ, и радъ его паденію, и пр. Всѣ эти вопросы, впрочемъ, послѣдовательнѣе, нежели думаютъ: все живое чрезвычайно трудно условимо, именно потому, что въ немъ скинѣлось безчисленное множество элементовъ и сторонъ въ одинъ движущійся процессъ: живое приводится въ сознаніе только спекуляціей или созерцаніемъ, а благоразумная разсудочность видитъ въ немъ одинъ беспорядокъ, жизнь ускользаетъ отъ ея грубыхъ рукъ. Многосторонность живого наводитъ страхъ и уныніе на одностороннихъ людей, они требуютъ *du positif!* Такъ долины, лишеныя собственнаго движенія, лишнуть всю жизнь на одной сторонѣ камня и гложутъ мохъ, его покрывающій. Этимъ безпозвоночнымъ умамъ легче было бы въ десять разъ понять исторію, подтасованную съ какой бы то ни было точки зрѣнія; но Грановскій — слишкомъ

историкъ въ душѣ, чтобы впасть въ ненужную односторонность и не воспользоваться прекраснымъ положеніемъ. Исторія очень легко дѣлается орудіемъ партій. Событія бывшія нѣмы и темны, люди настоящаго освѣщаютъ ихъ, какъ хотятъ; прошедшее, чтобы получить гласность, переходитъ черезъ гортань настоящаго поколѣнія, а оно часто хочетъ быть не просто органомъ чужой рѣчи, а суфлеромъ; оно заставляетъ прошедшее лжесвидѣтельствовать въ пользу своихъ интересовъ. Такое вызываніе прошедшаго изъ могилы унижительно, но есть возможность извинить эти чернокнижныя попытки при извѣстныхъ обстоятельствахъ: феодализмъ, папская власть, аристократія, среднее состояніе и проч. не просто предметы изученія науки для Запада, а знамена партій, вопросы на жизнь и смерть. Умершій порядокъ дѣлъ имѣетъ въ Европѣ своихъ повѣренныхъ, продолжающихъ тяжбу; но къ этой тяжбѣ мы менѣе, гораздо менѣе прикосновенны, нежели даже Сѣверо-Американскіе Штаты. Это не наши споры и не наша вражда: мы вступаемъ въ общеніе съ Европой не во имя ея частныхъ и прошедшихъ интересовъ, а во имя великой, общечеловѣческой среды, къ которой стремится она и мы; наше сочувствіе есть собственно предчувствіе грядущаго, которое равно распустило въ себѣ все исключительное,—романо-германское-ли, или славянское оно.

Грановскій миновать другой подводный камень, опаснѣйшій, нежели пристрастіе въ воззрѣніи на феодальныя событія. Знакомый съ писаніями великихъ германскихъ мыслителей, онъ остался независимъ. Онъ прекрасно опредѣляетъ современное состояніе философіи исторіи во 2-мъ чтеніи, но не подчинилъ живого развитія никакой общеняющей формулѣ: Грановскій смотритъ на современное состояніе жизни, какъ на великій историческій моментъ, котораго не знать, котораго миновать безнаказанно нельзя, такъ какъ нельзя и остаться въ немъ на вѣки, не околѣбѣвши. Чтобы очевидно указать глубокой исторической смыслъ нашего доцента, достаточно сказать, что, принимая исторію за правильно развивающійся организмъ, онъ нигдѣ не подчинилъ событий формальному закону необходимости и искусственнымъ границамъ. Необходимость являлась въ его разсказѣ какою-то сокровенной мыслью эпохи: она ощущалась издали, какъ нѣкій *Deus implicitus*, предоставляющій полную волю и полный разгулъ жизни. Величайшіе мыслители Германіи не миновали соблазна насильственного построения исторіи, основаннаго на недостаточныхъ документахъ и одностороннихъ теоріяхъ,—это понятно: сторона спекулятивнаго мышленія была ближе ихъ душѣ, нежели живое историческое воззрѣніе. Ихъ теоретическая и тягостная необходимость являлась доведенной до нелѣпости въ сочиненіяхъ нѣкогда очень

извѣстнаго Кузена. Въ Кузенѣ я вижу Немезиду, мстящую нѣмцамъ за ихъ любовь къ отвлеченности, къ сухому формализму. Нѣмцы должны были сами расхохотаться, читая, куда они завели добраго и безхитростнаго галла, ввѣрившагося имъ. Онъ такимъ внѣшнимъ образомъ понялъ необходимость, что чуть не выводилъ изъ общей формулы развитія человѣчества кривую шею Александра Македонскаго. Это была реакція вольтеровскому воззрѣнью, которое, наоборотъ, приводило судьбы міра въ зависимость отъ очертанія носа у Клеопатры.

Грановскій обѣщаетъ напечатать свои чтенія: тогда, посылая вамъ книгу, я попытаюсь разобрать самый курсъ, поговорить о немъ подробно. Теперь позвольте кончить, надѣюсь, что вы противъ этого ничего не имѣете.

Письмо первое о „Москвитянинѣ“ 1845 г.

Еще не выходилъ. Chi va piano, va sano.

20 января, 1845 г.

Москва.

Письмо это, напечатанное въ февральской книгѣ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1845 г. (смѣсь, стр. 133), сопровождалось слѣдующимъ замѣчаніемъ отъ редакціи:

„Одинъ изъ нашихъ московскихъ корреспондентовъ взялъ на себя обязанность доставлять въ „*Отеч. Записки*“ ежемѣсячно свѣдѣнія о новостяхъ московской журналистики, вообще мало извѣстной въ Петербургѣ. Такъ какъ до сихъ поръ въ Москвѣ издается только одинъ литературный журналъ—„Москвитянинъ“, то извѣстія нашего корреспондента должны ограничиться имъ однимъ. На-дняхъ получили мы отъ него слѣдующее письмо, которое, для полноты его отчетовъ, считаемъ нужнымъ также напечатать“.

Москвитянинъ и вселенная.

Западное государство можно выразить такою дробью $\frac{10}{10}$, а наше десятичною.
(Погодинъ. № 1 „Москвитянина“ за 1845).

Въ то время, какъ солнечная система, ничего не предчувствуя, спокойно продолжала свои однообразныя занятія, а народы Запада, увлеченные со временъ Өалеса въ пути не хорошіе, еще менѣе что-либо подозрѣвая, продолжали свои разнообразныя дѣла,—совершилось въ тиши событіе рѣшительное: редакція «Москвитянина» сообщила публикѣ, что на слѣдующій годъ она будетъ выписывать иностранныя журналы, приобрѣтатъ *важнѣйшія* книги, что у ней будутъ новыя сотрудники, которые не токмо будутъ участвовать, но и примутъ «мѣры»... Изъ этого можно было бы подумать, что до реформы журналы не выписывались, книги приобрѣтались неважныя и мѣры брались не сотрудниками, а подписчиками... Спустя нѣсколько времени редакція успокоила умы на счетъ своего направленія, удостовѣряя, что оно останется то же, которое приобрѣло ея журналу такое значительное количество почитателей.... Впрочемъ ариѳметическая сумма читателей никогда не занимала «Москвитянина»; цѣль его была совсѣмъ не та: онъ имѣлъ высшую, вселенскую цѣль,—онъ собою заложилъ магазинъ обновительныхъ мыслей и оживительныхъ идей для будущихъ поколѣній Европы, Азіи, Америки и Австраліи, онъ приготовилъ въ тиши якорь спасенія погибающему Западу. Гибнущая Европа, нося въ груди своей черныя пророчества А. С. Хомякова, утоная въ безстыдствѣ знанія, въ личномъ себялюбіи, заставляющемъ европейцевъ жертвовать собою наукѣ, идеямъ, человѣчеству,—ищетъ помощи, совѣта.... И нѣтъ его внутри ея нѣмецкаго сердца, въ немъ одни слова — аутономія, соціальныя интересы—и слова, какъ видите, все иностранныя. Но придетъ время, кто-нибудь укажетъ на дальнемъ финскомъ берегу луче-

зарный «Маякъ». . . . Тогда народы всего земного шара побѣгутъ къ «Маяку», и онъ имъ скажетъ: «Идите на Тверскую, въ домъ Попова, противъ дома военного генералъ-губернатора: тамъ готово для васъ исцѣленіе, тамъ лежатъ дѣвственные непочатые запасы въ конторѣ «Москвитянина», — и народы прійдутъ на Тверскую и увидятъ, что противъ дома военного генералъ-губернатора никакой конторы нѣтъ, а что она съ боку, подпишутся на «Москвитянина», узнаютъ много, оживутъ и потолстѣютъ.

Когда я получилъ новую книжку «Москвитянина» и увидѣлъ другую обертку съ изящнымъ видомъ Кремля, понялъ я, что редакція не шути говорила о перемѣнѣ. И, какъ слабъ человекъ! мнѣ смерть стало жаль стараго «Москвитянина». Что будетъ въ новомъ, думалось мнѣ, кто знаетъ? Сотрудники не токмо будутъ участвовать, но и возьмутъ мѣры. . . А, бывало, ждешь съ нетерпѣніемъ какъ-нибудь въ февралѣ декабрьской книжки, и знаешь напередъ: будетъ чѣмъ душу отвести: вѣрно будетъ отрывокъ изъ «путевого дневника» г. Погодина. . . энергическія фразы, изрубленные въ куски: читаешь и, кажется, будто самъ ѣдешь осенью по фашиннику. Дѣтски-милое, наивное воззрѣніе г. Погодина на Европу казалось намъ иногда страннымъ, но, не надобно забывать, онъ, какъ кажется, имѣлъ въ виду дикія племена Африки и Австраліи: для нихъ нельзя писать другимъ языкомъ. Ну вотъ, напримѣръ, шлегелевски-глубокомысленныя, основанныя на глубокомъ изученіи Данта, критики г. Шевырева не имѣли въ тѣхъ странахъ далеко такого успѣха, въ нихъ и Западу доставалось. . . а все не то! Бывало, королева Помара (какъ ее называетъ «Сѣверная Пчела» ¹⁾) какъ получить вселенскую книжку, только и спрашиваетъ: «Есть ли дневникъ»? — Есть! Она, моя голубушка, такъ и катается по полу (въ Отантн это значить восторгъ) и посылаетъ къ Причарду за коньякомъ выпить за здоровье редакціи. Оно, кажется, бездѣлица, а, вѣдь, это главная причина раздора между Причардомъ и капитаномъ Брюа. Брюа — морякъ и думаетъ, что еще болѣе вселенскій журналъ «Маякъ», а Причардъ наклоненъ къ пузенизму, — словомъ симпатизируетъ во многомъ съ «Москвитяниномъ». . . . Впрочемъ, все это было въ газетахъ и Гизо насчетъ этого успокоитъ Пили: Помаре согласилась кататься по полу и отъ «Маяка». Въ сторону политику — Богъ съ ней! Обратимся къ «Москвитянину».

Всѣ ли прежніе сотрудники останутся? продолжатъ и думать, глядя на обертку съ изящнымъ видомъ Кремля. Останется ли г. Лихонинъ, переводившій шиллерова «Дона-Карлоса», кажется, прямо съ испанскаго и переводившій прекрасные стихи графини

¹⁾ Выхото Помаре.

Сарры Толстой на вовсе несуществующій языкъ, по крайней мѣрѣ, въ земной юдоли? Останется ли главный сотрудникъ, духъ праведнаго негодованія противъ европейской цивилизаціи и индустріи? ¹⁾ А, вѣдь, одному «Маяку» не справиться со всѣмъ этимъ. «Москвитянинъ-рѣге», что ни говорите, журналъ былъ хорошій: если-бъ былъ кто-нибудь, кто его читалъ не въ Отаити, а на Руси, тотъ согласился бы съ нами. Чья вина? Кто жъ не велитъ читать? Издатель «Маяка» математически доказалъ въ своемъ несравненномъ отчетѣ за пятилѣтнее управленіе современнымъ просвѣщеніемъ, во-первыхъ, что со всякимъ годомъ у него подписчиковъ меньше и меньше, такъ что за 1844 годъ языкъ не повернулся признаться въ цифрѣ; во-вторыхъ, что это очень стыдно читателямъ, а не журналу. Еще разъ, жаль прежняго «Москвитянина». Господа! помните, какъ онъ вдохновенно объявилъ, что мы спимъ, а онъ не спитъ за насъ (иные думали, что мы именно потому и спимъ, что онъ не спитъ!). Разумѣется, въ этомъ сторожевомъ положеніи иногда говорилъ онъ что попало, чтобъ разогнать дремоту,—человѣкъ слабъ есть! Теперь его чередъ; пожелаемъ ему доброй ночи: пусть онъ спитъ легкимъ сномъ: его не потревожатъ частыя воспоминанія. Воздавъ должную честь покойному «Москвитянину-рѣге», обратимся къ ново-рожденному «Москвитянину-fils» (живой о живомъ и думаетъ) ²⁾.

Свѣтская часть начинается стихами: тутъ вы встрѣчаете имена Жуковского, М. Дмитріева, Языкова (какое-то предчувствіе говорить намъ, что въ слѣдующей книжкѣ будутъ стихи О. Глинки и г. А. Хомякова). Разсказъ г. Языкова о капитанѣ Сурминѣ—трогательнъ и наставителенъ; кажется, успокоившаяся отъ суеты муза г. Языкова рѣшительно посвящаетъ нѣкогда забубенное перо свое поэзіи исправительной и обличительной. Это истинная цѣль искусства, пора поэзіи сдѣлаться трибуналомъ de la poésie correctionnelle. Мы имѣли случай читать еще поэтическія произведенія того-же исправительнаго направленія, ждемъ ихъ въ печати, это громъ и молнія: озлобленный поэтъ не остается въ абстракціяхъ: онъ указываетъ негодующимъ перстомъ *лица*—при полномъ изданіи можно приложить адреса!... Исправлять нравы! ³⁾ Что можетъ быть выше этой цѣли? Развѣ не ее имѣлъ въ виду самоотверженный Коцебу и авторъ «Выжигиныхъ» и другихъ нравственно-сатирическихъ романовъ?

¹⁾ Съ чувствомъ увидѣли мы потомъ въ оглавленіи именно двухъ прежнихъ сподвижниковъ Москвитянина : поэта М. Дмитріева и философа Стурдзу.

²⁾ Мы считаемъ обязанностью отдѣлить отъ прочихъ частей «Москвитянина» теологическую его часть.—она не входитъ въ обзоръ нашъ.

³⁾ Объ этомъ стихотвореніи говорится въ V части *Былое и Думы*.

Замѣчательнѣйшія статьи принадлежатъ гг. Погодину и Кирѣевскому. Статья г. Погодина «Параллель Русской исторіи съ исторіей западныхъ государствъ» написана ясно, рѣзко и довольно вѣрно, даже въ ней было бы много новаго, если-бъ она была напечатана лѣтъ двадцать-пять назадъ. Все же она не лишена большого интереса. Если бы г. Погодинъ чаще писалъ такія статьи, его литературные труды цѣнились бы больше. Главная мысль г. Погодина состоитъ въ томъ, что основанія государственнаго быта въ Европѣ съ самаго начала были иные, нежели у насъ; исторія развила эти различія; онъ показываетъ, въ чемъ они состоятъ, и ведетъ къ тому результату, что Западу (т. е. одностороннему европеизму) на Востокѣ (т. е. въ славянскомъ мірѣ) не бывать. Но въ томъ-то и дѣло, что и на Западѣ этой односторонности больше не бывать: самъ г. Погодинъ очень вѣрно изложилъ, какъ новая жизнь побѣждала въ Европѣ феодальную форму, и даже заглянулъ въ будущее. Если-бъ авторъ не затемнилъ своей статьи поясняющими сравненіями, большею частію математическими, своими $10/10$ и 0.00001 , примѣромъ о шарахъ, свидѣтельствующимъ какое-то оригинальное понятіе о механикѣ, о линіи и о бильярдной игрѣ вообще,—то она была бы очень недурна. Несмотря на славянизмъ, истина пробивается у г. Погодина сквозь личные мнѣнія, и сторона, которую ему хочется поднять, не то, чтобъ въ авантажъ была..... Это — надобно согласиться—дѣлаетъ большую честь автору: «шелъ въ комнату—попалъ въ другую», но попалъ, увлекаемый истиною. Честь тому, кто можетъ быть ею увлеченъ за предѣлы личныхъ предразсудковъ.

Другая статья принадлежитъ г. Кирѣевскому: «Обозрѣніе современнаго состоянія словесности». Даровитость автора никому не нова. Мы узнали бы его статью безъ подписи по благородной рѣчи, по поэтическому складу ея; конечно, во всемъ «Москвитинѣ» не было подобной статьи. Согласиться съ ней, однакожь, невозможно: ея результатъ почти противоположенъ выводу г. Погодина. Г. Погодинъ доказываетъ, что два государства, развивающіяся на разныхъ началахъ, не привыютъ другъ къ другу основаній своей жизни: г. Кирѣевскій стремится доказать, напротивъ, что славянскій міръ можетъ обновить Европу своими началами. Послѣ живого, энергическаго разсказа современнаго состоянія умовъ въ Европѣ, послѣ картины, набросанной смѣлой кистью таланта, мѣстами страшно-вѣрной, мѣстами слишкомъ отражающей личные мнѣнія,—выводъ бѣдный, странный и ни откуда не слѣдующій! Европа поняла, что она далѣе идти не можетъ, сохраняя германороманскій бытъ; слѣдовательно, она не имѣетъ другого выхода, какъ принятіе въ себя основъ жизни славено-русской? Это въ

самомъ дѣлѣ такъ по исторической ариѳметикѣ г. Погодина, что $\frac{10}{10}$ не помѣстятся въ 0,000001, а 0,000001 въ $\frac{10}{10}$, въ случаѣ нужды, всегда помѣстятся. Надобно быть слѣпымъ, чтобъ не понимать великаго значенія славянскаго міра, и не столько его, какъ Россіи. Но отчего-же Европа должна посылать къ намъ за какими-то неизвѣстными основаніями нашего быта,—такъ, какъ мы нѣкогда посылали къ ней за варяжскими князьями? Петръ I, обращаясь къ Европѣ, зналъ, видѣлъ, за чѣмъ обращается; но съ чего же Европа, оживившая насъ своею богатой, полной жизнью, пойдетъ къ намъ искать для себя строящую идею, и какая это идея, принадлежащая намъ національно и съ тѣмъ вмѣстѣ всеобще-человѣческая? Г. Кирѣевскій говоритъ, что теперь вопросъ объ отношеніи Европы къ славянскому міру обратился на себя вниманіе Запада. Да гдѣ же все это? Правда, что нѣсколько брошюръ появилось въ Австріи и индѣ, но онѣ такъ же мало занимаютъ Европу, какъ піэтистическіе контroversы протестантскихъ теологовъ, о которыхъ съ подробностью говоритъ авторъ. Самое сильное вліяніе славянскаго міра на Европу состоитъ въ распространеніи польки: танцуютъ-то они по-словенски, да ходятъ-то по-европейски. Такого патріотизма я не понимаю, и особенно въ томъ человѣкѣ, который за нѣсколько страницъ высказалъ эту превосходную мысль: «Общее стремленіе умовъ къ событіямъ дѣйствительности, къ интересамъ дня, имѣетъ источникомъ своимъ не однѣ личныя выгоды или корыстныя цѣли, какъ думаютъ нѣкоторые. По большей части это просто интересъ сочувствія. Умъ разбуженъ и направленъ въ эту сторону. Мысль человѣка срослась съ мыслью о человѣчествѣ, это—*стремленіе любви, а не выгоды*», и проч. Какое глубокое пониманье! Вотъ когда бы истые славяне умѣли подобнымъ образомъ понимать явленія, тогда хульные слова на Европу не такъ легко произносились бы ими! Славянизмъ—мода, которая скоро надоѣстъ; перенесенный изъ Европы и переложенный на наши нравы, онъ не имѣетъ въ себѣ ничего національнаго; это явленіе отвлеченное, книжное, литературное,—оно такъ-же изсякнетъ, какъ отвлеченныя школы націоналистовъ въ Германіи, разбудившія словенизмъ.

Скажу вкратцѣ о содержаніи остальной части журнала. Цѣлый отдѣлъ посвященъ апологическимъ разборамъ публичныхъ чтеній г. Шевырева въ видѣ писемъ къ иногороднымъ, къ г. Шевыреву, къ самому себѣ, подписанныхъ фамиліями, буквами, цифрами; иныя изъ нихъ напечатаны въ первый разъ, другія (именно, лирическое письмо, подписанное цифрами) мы уже имѣли удовольствіе читать въ *Московскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ* (№ 2, января 13). Вообще во всѣхъ статьяхъ доказывается, что чтенія г. Шевырева имѣютъ космическое значеніе, что это зубъ мудрости,

прорѣзавшійся въ челоостяхъ нашего историческаго самопознанія. За этимъ отдѣломъ все идетъ по порядку, какъ можно было ждать а priori: статья о «Словѣ о полку Игоревѣ», догадка о происхожденіи Кіева, путешествіе по Черногоріи и тому подобныя живые, современные интересы: статья о сельскомъ хозяйствѣ, можетъ быть, и хороша, но что-то очень длинна для чтенія. Изъ западныхъ принципцовъ, составляющихъ *нѣмецкую слободу* «Москвитянина», статья о Стефенѣ (онъ родился ужъ очень въ холодной полусѣ, и потому родитѣ намъ) и интересная хроника Русскаго въ Парижѣ. Историческая новость о томъ, какъ пытали и сожгли какую-то колдунью въ Германіи въ 1670 году (ужъ этотъ инквизиціонный, аутодафежный Западъ!), точно будто взята изъ Кошихина или Желябужскаго.

Не ограничиваясь настоящимъ, «Москвитянинъ» пророчитъ намъ двѣ новости: изъ нихъ одна очень утѣшительна... Первая состоитъ въ томъ, что профессоръ Гейманъ *скоро* издастъ химію, а вторая—что пасторъ Зедегольмъ очень *долго* не издастъ второй части своей «Исторіи философіи».

Кажется, довольно. Журналъ будетъ выходить около 20 чиселъ мѣсяца. Я ищу теперь въ археографическихъ актахъ ключа къ этому и такъ занять, что кладу перо.

Ярополкъ Водяникій.

Умъ хорошо, а два лучше ¹⁾).

Въ особенности лучше для изданія журнала. Наиболѣе читаемые и уважаемые журналы издавались у насъ всегда парюю литераторовъ: «Сѣверная Пчела», «Маякъ», «Москвитянинъ». Г. Сенковскій зналъ это и, за неимѣніемъ alter ego, онъ самъ раздвоился, какъ Гофмановъ Медардусъ, и издавалъ «Библіотеку для чтенія» съ барономъ Брамбеусомъ,—время славы и величія этого журнала было временемъ товарищества съ Брамбеусомъ. «Маякъ» явнымъ образомъ сталъ тускнѣть съ тѣхъ поръ, какъ издается однимъ г. Бурачкомъ: даже признаки бѣшенства, прорывавшіеся въ его литературныхъ обзорахъ, мнѣ кажется, происходятъ отъ одиночества. Но на верху литературной славы теперь, какъ и прежде, два журнальные брака: Н. И. Гречъ и Ѳ. В. Булгаринъ, въ Петербургѣ, С. П. Шевыревъ и М. П. Погодинъ, въ Москвѣ. Московская чета, впрочемъ, еще не такъ извѣстна, какъ наши добрые и любимые Филемонъ и Бавкида петербургской журналистики и потому подробное разсмотрѣніе той и другой пары не лишено занимательности. Плутархъ любитъ сравнивать одинъ на одинъ великихъ людей: мы, во всемъ опередившіе древній міръ, можемъ сравнивать ихъ попарно. Конечно, наши цари, при всемъ авторскомъ пристрастіи къ предмету, не совѣмъ плутарховскіе герои. Одинъ изъ четырехъ уважаемыхъ нами литераторовъ можетъ имѣть на это притязаніе и даже неотъемлемое право—это Ѳаддей Венедиктовичъ. Въ его жизни есть что-то античное: онъ, какъ Сократъ, знакомъ не токмо съ нравственною философіею, но и съ мечемъ,—не токмо съ однимъ, но и съ двумя. . . но и это выходитъ изъ круга нашей параллели.

Начнемъ съ главнаго. Четыре героя, составляющіе двѣ пары, люди вселенской извѣстности: г. Булгарина переводитъ: г. Меццофанти,

¹⁾ Не была напечатана (*Примѣч. загранич. изданія*).

Гёте упоминаетъ о г. Шевыревѣ, г. Шеллингъ спрашиваетъ о философскихъ статьяхъ г. Погодина, г. Гречъ усердно кланяется г. Гизо. Но въ ихъ отношеніяхъ къ Европѣ найдутся отѣнки, которые необходимо уловить. Гречъ и Погодинъ обтекаютъ часто разныя страны, Булгаринъ и Шевыревъ обтекли ихъ и успокоились. Гречъ, по прекрасному выраженію «Москвитянина», разсматриваетъ Европу въ полицейскомъ отношеніи, обращая всего болѣе вниманія на чистоту и порядокъ. Погодинъ ее же разсматриваетъ съ экономической точки зрѣнія, въ отношеніи дешевизны и дороговизны предметовъ, нужныхъ путешественнику. Булгаринъ любитъ вспоминать (точно маршалъ Сультъ), какъ онъ былъ въ Испаніи, а Шевыревъ никогда не забываетъ, какъ онъ былъ въ Италіи. Европу всѣ четверо не любятъ, но каждый по своему: въ этихъ точкахъ пересѣченія легко измѣрить всю необъятную противоположность ихъ; самыя средства, которыми они хотятъ отвортить добрыхъ людей отъ Запада, разны: такъ г. Гречъ останавливаетъ васъ, обращая вниманіе на слабое полицейское устройство, на нечистоту улицъ; г. Погодинъ стремится застрашать дороговизной и издержками; г. Шевыревъ съ ужасомъ указываетъ на развратъ мышленія, на порокъ логики, овладѣвшей Европою; г. Булгаринъ своимъ собственнымъ примѣромъ, патріотизмомъ («Цѣверной Пчелы»), заставляетъ любить и предпочитать Петербургъ всему міру.

При этомъ каждый изъ нихъ милуетъ на Западѣ какую-нибудь страну. Степанъ Петровичъ любитъ Италію, поющую октавы, Ѳаддей Венедиктовичъ и Николай Ивановичъ *нравственную* семейную Германію, Михаилъ Петровичъ — *западныхъ* славянъ, потому что онъ ихъ считаетъ *восточными*.

Такъ же, какъ Европу, они не любятъ и современную науку и не токмо не любятъ, но и не знаютъ ея, — да и зачѣмъ-же знать то, чего не любишь. Гречъ и Погодинъ не бранятъ науку, потому что они считаютъ себя выше ея; они на нее смотрятъ, какъ мы смотримъ на азбуку — нѣсколько съ улыбкой, и въ этой улыбкѣ видно гордое сознаніе: «мы-де знаемъ, что тамъ написано, насъ не проведешь», — они развили въ себѣ высшіе взгляды, передъ которыми интересы науки — ребячество. Гречъ иногда даже защищаетъ науку: отдавать справедливость врагамъ — свидѣтельство сердца полного благородствомъ, откровенностью и примодушіемъ, — качества, всегда отличавшія Греческую Исторію и Исторію Н. П. Греча. Степанъ Петровичъ не таковъ: онъ хорошаго слова о западной наукѣ не скажетъ; у него есть своя «словенская» наука, неписанная, несуществующая, а словенская. Въ ея-то пользу онъ готовъ выдать за общество фальшивыхъ монетчиковъ и зажигателей всѣхъ послѣдователей презрѣнной писанной науки. Гибель

Шевырева какой-то католическій, онъ обучался ему въ Италіи. Ѳаддей Венедиктовичъ — это петербургскій Сковорода, невскій Коцебу, его наука — практическая мораль; о теоріи, методѣ, системѣ — не надобно и спрашивать, онъ рѣдко говорить о наукѣ, она слишкомъ безлична, чтобы сердить его, а когда ругнетъ ее, то наскоро, имѣя въ виду нравственную цѣль.

Гречъ и Шевыревъ — филологи и грамматики; Шевыревъ первый профессоръ *елоквенціи* послѣ Тредьяковскаго; онъ читалъ въ Москвѣ публичныя лекціи о русской словесности, преимущественно того времени, когда ничего не писали, и его лекціи были какою-то дѣтскою пѣсней, пѣтой чистымъ *sopra*но, напоминающимъ папскіе дисканты въ Римѣ. Гречъ публично читалъ въ Петербургѣ поэзію грамматики и тронулъ всѣхъ, доказывая, какъ счастливъ долженъ быть тотъ языкъ, который такъ хорошо, какъ мы, спрягаемъ глаголы.

Погодинъ и Булгаринъ — историки, но съ разныхъ концовъ: одинъ идетъ отъ происхожденія Руси до X вѣка, другой — отъ нашего благодатнаго времени до 1810 г. и даже до Аустерлицкой битвы. Погодинъ, впрочемъ, не токмо не участвовалъ въ рюриковскую эпоху, но издавалъ, больше *общинно*, историческіе труды; а Ѳ. В. участвовалъ самъ въ важнѣйшихъ событіяхъ нашего вѣка, онъ сперва *сдѣлалъ* современную исторію и потомъ началъ писать объ ней.

Главная цѣль знаменитыхъ литераторовъ, о которыхъ идетъ рѣчь, ознакомить міръ съ Россіей, если имъ и не удастся, то намѣреніе похвально. Съ этою цѣлью Гречъ издалъ формулярные списки всѣхъ русскихъ авторовъ; Булгаринъ составилъ книгу о Россіи, которую врядъ-ли читалъ самъ Гречъ; Погодинъ приобрѣлъ извѣстность своими неизданными трудами; Шевыревъ возстановляетъ Русь, которой не было и, слава Богу, не будетъ.

Союзъ г. Погодина съ г. Шевыревымъ *matrimonium secretum*; союзъ г. Булгарина съ г. Гречемъ открытый конкубинатъ. Нѣтъ ни одного человѣка въ Москвѣ, который бы умѣлъ врознь понять Минина и Пожарскаго, такъ, какъ нѣтъ ни одного человѣка въ Петербургѣ, который бы умѣлъ понять врознь Булгарина и Греча, — хотя бы одинъ жилъ для удовольствія и нравственныхъ *наблюденій* въ Парижѣ, а другой для нравственныхъ *наблюденій* и для удовольствія въ Дерптѣ. Г. Шевыревъ какъ-то было охладѣлъ къ брачному ложу, т. е. къ «Москвитянину», — сейчасъ начали выходить уроды, двойни, но новая программа утѣшила всѣхъ. Степанъ Петровичъ оттого не занимался, что увлекся своимъ краснорѣчіемъ и сталъ записывать свои слова (собою восхищаться запрещаетъ Тиссо), теперь онъ опять готовъ исполнять свои брачно-литературныя обязанности.

Гречъ и Булгаринъ издають съ примѣрнымъ мужествомъ и самоотверженіемъ «Сѣверную Пчелу», для того только, чтобы въ ней высказывать тѣ сильныя убѣжденія, которыя легли краеугольнымъ камнемъ ихъ нравственно-сатирическаго существованія. Стенанъ и Михайлъ Петровичи съ еще болѣе примѣрнымъ упорствомъ и безкорыстіемъ издають «Москвитянина», не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что читатели подписываются на другіе журналы: въ этомъ «Москвитянинъ» такъ же, какъ и во всемъ прочемъ, похожъ на «Маяка», какъ на родного брата. Что дѣлать, любовь къ истинѣ и ненависть къ «Отечественнымъ Запискамъ» — страсть сихъ четырехъ сердець и одного «Маяка». Страсть къ истинѣ доводитъ ихъ до неблагоразумія.

Я всякій разъ со слезами читаю, какъ иногда Ѳ. В., другъ Платона, другъ Аристотеля, другъ Греча, а еще болѣе другъ правды, всенародно журить Николая Ивановича. Онъ забываетъ тутъ узлы, связующія его съ Гречемъ, дѣлается страшень, дѣлается отрывистъ: и ты, братецъ, — говоритъ, — стыдно, братецъ, говоритъ, что ты мальчикъ, что-ли? не слыхалъ, что-ли? говоритъ... и поидеть, и поидеть. Николай Ивановичъ дѣйствительно иногда заслуживаетъ порицанія: то за радикальный образъ мыслей, то за либерализмъ. Зачѣмъ, говоритъ, Бонапарте сдѣлался Наполеономъ, зачѣмъ во Франціи пишутъ объ алжирской войнѣ, зачѣмъ не заведутъ тамъ цензуры, зачѣмъ во Франціи нѣтъ тѣлесныхъ наказаній: такъ, кажется, и сдѣлалъ бы революцію во всей Европѣ. А главное — Наполеонъ. Ѳ. В. за Наполеона всегда горой: онъ считаетъ Наполеона своимъ товарищемъ по службѣ и никогда не выдаетъ. Черта прекрасная! Искренность Ѳ. В-ча развѣ можетъ быть побѣждена только правдивостью Мих. П-ча. — Погодинъ до того откровененъ, что напечаталъ такую исповѣдь о себѣ самомъ (подъ вымышленнымъ именемъ «Путевыхъ Записокъ»), что исповѣди Руссо и Кардана ничего не значать въ сравненіи съ его исповѣдью: все рассказалъ и какъ платье покупать на бульварѣ, и какъ... и все это безъ всякой нужды, по одному благородному побужденію сердца. Гречъ скрываетъ напротивъ, онъ въ сердцахъ *доноситъ* до поры до времени и зло и добро и не станетъ попусту болтать.

Вообще у гг. Булгарина и Погодина осталось бездна дѣтскаго, наивнаго: люблю я радужное привѣтствіе Ѳ. В-ча пирожику, открывающему лавочку, портному, начинающему шить платье, — точно онъ въ первый разъ кушаетъ пирожокъ и въ первый разъ затягиваетъ подтяжку. Люблю ребячій взглядъ Михаила Петровича на Европу, взглядъ милаго ребенка, — хорошъ онъ у 50-лѣтняго старика: имъ всегда отличались — авторъ Марѳы Посадинцы и авторъ Димитрія Самозванца.

Путевыя записки г. Вёдрина¹⁾.

Одинъ неизвѣстный литераторъ, впрочемъ очень почтенный человѣкъ, г. Вёдринъ, объѣхавшій съ большою пользою многія страны, намѣренъ издать въ весьма непродолжительномъ времени свои *путевыя записки*, какъ для покрытія издержекъ, неминуемыхъ при путешествіяхъ, такъ отчасти для пользы и удовольствія читателей. Спѣшимъ познакомить публику съ этими записками небольшимъ отрывкомъ, въ которомъ живо описываетъ г. Вёдринъ выѣздъ изъ Москвы. Къ путешествію присовокупится особо напечатанная на веленовой бумагѣ расходная книжка, въ которой можно будетъ ясно видѣть и всю воздержность почтеннаго Вёдрина и все пренебреженіе его къ благамъ міра сего. Но вотъ отрывокъ, отдаемъ его на судъ читателей.

«28. Клопы не дали спать всю ночь. Скверное насѣкомое! Говорятъ, на Дербеновкѣ грузинъ продаетъ кавказскій порошокъ, уничтожающій клоповъ: да страшно дорого, рубль серебромъ фунтъ,—а тамъ выдохнется, перестанетъ дѣйствовать. Но все къ лучшему. Вскочилъ въ 5, умылся и въ Рогожскую искать товарища. Долго толкался. Что за лихой народъ извозчики! Борода, кушакъ... Размечтался и вспомнилъ Кеплена брошюру о курганахъ. Товарищъ попался, купецъ изъ Нижняго, съ брюшкомъ, говорить на о. Потолковали—сладили, черезъ часъ ѣдемъ. Домой за чемоданомъ—далъ страшная, хотѣлъ взять извозчика,—очень стали дороги, 25 сер., меньше ни одинъ взять не хотѣлъ... Идучи, проголодался, перехватилъ. Нельзя не отдать справедливости цивилизаціи, когда дѣло идетъ объ удобствахъ,—кабы не вредъ нравамъ! Только не завязывай туго кошелька: цивилизація требуетъ за все деньги, но за этотъ презрѣнный металлъ окружаешь

¹⁾ *Отечественныя Записки*, 1843 г., № 11, отд. VIII, стр. 58—60.

человѣка такими предупредительными удобствами, что менѣе жаль денегъ. Я бѣгу домой... верстъ пять — проголодался, въ животь ворчить; а цивилизація тутъ; такъ аппетитно бросила въ открытыя лавки печенку; вынуть грошъ; отляпали кусокъ въ двѣ ладони, соль даромъ — разумѣется, у нихъ свой расчетъ. Замѣтилъ, что жевавши дорога кажется короче. Гастрическій обманъ! Встрѣтился мальчишка обтерханный, продать голенища: стянуть гдѣ-нибудь; посмотрѣлъ, нѣмецкая работа, потроговаль было — дорого просить — мимо!

«Выѣхали въ 11 часовъ.

«На заставѣ солдатъ съ медалью и съ усами. Люблю медаль и усы у воина; молодецъ! нынче на заставахъ даютъ контрмарку съ М. Получилъ, отдалъ, шлагбаумъ вверхъ — тррр... ѣдемъ. Товарищъ человѣкъ тихой, занимаетъ три-четверти повозки, платитъ половину. Онъ дома поѣлъ пирога съ лукомъ. Странно: запахъ сивухи — ничего, лука — даже хорошъ, а эти два запаха вмѣстѣ — препротивные. Пусть объясняютъ химики — не наше дѣло.

«Мѣста болѣе плоски, нежели гористы; справа виднѣется рѣка — волны смалтово-серебристо-платинистыя. Чудный видъ! что передъ нимъ хваленная Италія! Деревни и села и притомъ все русскія деревни и села... Мужички работаютъ такъ усердно. Люблю земледѣльческіе классы: не они намъ, мы имъ должны завидовать; въ простотѣ душевной они работаютъ, не зная бурь и тревогъ, напиханныхъ въ нашу душу, — ни роскоши, вытягивающей мнимые избытки.

«Село — церковь, довольно большая, византійской архитектуры.

«Станція. Ыхали на вольныхъ. Постоялый дворъ съ рѣзными украшеніями... У воротъ хозяинъ съ рыжей бородой, на лицѣ написано корыстолюбіе; не пойду: слушать чортъ знаетъ что! Остался въ повозкѣ. Пока лошадей — наблюдать нравы. На улицѣ мужикъ тузить какую-то бабу, вѣроятно жену, это развеселило меня, хохоталъ: ницѣ помѣшали досмотрѣть. Отвратительная привычка у нищихъ, — просить у проезжаго: проезжему мелкія деньги нужны, не крупныхъ-же дать. Надоѣли, притворился соннымъ, помѣшали и тутъ: ямщикъ разбудилъ, требуя на водку, — еще скверный обычай! что у нихъ за служенія мамону. Дать 3 коп. сер. (что составляетъ на асс. десять съ половиной). Жалѣлъ. Пошелъ дождь — промочилъ до костей. Скучно.

«Поскакали. До второй станціи ничего особеннаго. Купецъ выѣзжалъ изъ повозки, такъ, не на долго; это было къ сумеркамъ. Я дрожалъ, сидя одинъ съ ямщикомъ; я родился не воиномъ — признаюсь. Пріѣхали, вышелъ на постоялый дворъ, закатилъ сивухи съ перцомъ, славно! а всего стоитъ 17 коп. съ половиной асс. Сапоги долой, все долой — растянулся.

«29. Чѣмъ свѣтъ разбудилъ товарищъ и предложилъ выпить чаю (онъ возить свой чай, маюконъ, не цвѣточный, но хорошій: это умно, гораздо дешевле: платишь только за самоваръ). Я не отказался: я люблю пить чай съ кѣмъ-нибудь. Да и ему почти все равно, я-же пью сквозь кусочекъ».

Очень сожалѣемъ, что на первый разъ г. Вѣдринъ не могъ дать намъ болѣе отрывковъ изъ своихъ «путевыхъ записокъ»; но въ скоромъ времени надѣмся получить отъ него еще нѣсколько отрывковъ, и тотчасъ же подѣлимся ими съ нашими читателями.

ПИСЬМА ОБЪ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДЫ.

Природа—баядера, являющаяся передъ очами духа. Онъ упрекаетъ ее въ безстыдствѣ, съ которымъ она обнажаетъ себя и отдается очамъ зрителей; но, выказавъ себя, она удаляется, потому что ее видѣли, и зритель удаляется, потому что видѣлъ ее.

Colebrook. *Sank-hia, Philos. of the Hindous.*

...Doch der Götter Jüngling hebet
Aus der Flamme sich empor,
Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor.

G ö t h e. Bayadere.



ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Эмпирія и Идеализмъ.

Слава Церерѣ, Помонѣ и ихъ родственникамъ! Я, наконецъ, не съ вами, любезные друзья!—Я одинъ въ деревнѣ. Мнѣ смертельно хотѣлось отдохнуть поодаль отъ всѣхъ... Нельзя сказать, чтобъ почтенныя особы, которыхъ я сейчасъ славословилъ, очень изубытчились для моего приѣма: дождь льетъ день и ночь, вѣтеръ рветъ ставни, шагу нельзя сдѣлать изъ комнаты, и, странное дѣло! при всемъ этомъ, я ожилъ, поправился, веселѣе вздохнулъ,—нашелъ то, за чѣмъ ѣхалъ. Выйдешь подъ-вечеръ на балконъ, ничто не мѣшаетъ взгляду; вдохнешь въ себя влажно-живой, насыщенный дыханіемъ лѣса и луговъ воздухъ, прислушаешься къ дубравному шуму,—и на душѣ легче, благороднѣе, свѣтлѣе; какая-то благочестивая тишина кругомъ успокоиваетъ, примиряетъ... Вотъ такъ и кажется, что годы бы не выѣхалъ отсюда... Предвижу, что моя идиллическая выходка вамъ не понравится: «человѣкъ не долженъ жить особнякомъ, это—эгоизмъ, бѣгство, это—битыя фразы безумнаго Женевца, который считалъ современную ему городскую жизнь искусственною, какъ будто формы міра историческаго не такъ же естественны, какъ формы физическаго міра». Во-первыхъ, что касается до побѣга,—позорно бѣжать воину во время войны; а когда благоденственно царитъ прочный міръ, отчего не пожить въ отпуску? Во-вторыхъ, что касается до Руссо, я не могу безусловно принять за вранье того, что онъ говоритъ объ искусственности въ жизни современнаго ему общества: искусственнымъ кажется неловкое, натянутое, обветшалое. Руссо понялъ, что міръ, его окружавшій, не ладенъ; но нетерпѣливый, негодующій и оскорбленный, онъ не понялъ, что храмينا устарѣвшей цивилизаціи о двухъ дверяхъ. Боясь задохнуться, онъ бросился въ тѣ двери, въ которыя входятъ, и изнемогъ, борясь съ потокомъ, стремившимся прямо противъ него. Онъ не

сообразилъ, что возстановленіе первобытной дикости болѣе искусственно, нежели выжившая изъ ума цивилизація. Мпѣ, въ самомъ дѣлѣ, кажется, что нашъ образъ жизни, особенно въ большихъ городахъ, въ Лондонѣ или Берлинѣ, все-равно, не очень естественъ; вѣроятно, онъ во многомъ измѣнится, — человѣчество не давало подписки жить всегда, какъ теперь; у развивающейся жизни ничего нѣтъ завитнаго. Знаю я, что формы историческаго міра такъ же естественны, какъ формы міра физическаго! Но знаете ли вы, что въ самой природѣ, въ этомъ вѣчномъ настоящемъ безъ раскаянія и надежды, живое, развиваясь, безпрестанно отрывается отъ миновавшей формы, обличаетъ неестественнымъ тотъ организмъ, который вчера вполне удовлетворялъ? Вспомните превращеніе наѣкомыхъ, вѣчный примѣръ бабочки и куколки. Когда настоящее оперто *только* на прошедшее, оно дурно оперто. Петръ Великій торжественно доказалъ, что прошедшее, выражаемое цѣлой страной, несостоятельно противъ воли одного человѣка, дѣйствующаго во имя настоящаго и будущаго. Юридическая пропія многотѣтней давности не признается жизнию; совѣмъ напротивъ, давность съ точки зрѣнія природы даетъ только одно право, право смерти.

Видите ли, я въ ударѣ резонерствовать? Это дѣйствіе деревенскаго farniente. Но Богъ съ ней, съ городской жизнью! Я и не думалъ объ ней говорить; лучше, благо есть время, начну нѣкогда обѣщанныя письма о современномъ состояніи естествовѣдѣнія.

Помните ли вы наши безконечные споры студенческой эпохи, въ которыхъ обыкновенно съ двухъ отвлеченныхъ точекъ зрѣнія мы стремились понять явленіе жизни и не могли никогда дойти не только до дѣльнаго результата, но даже до того, чтобъ вполне понять другъ друга? Такъ относится къ природѣ философія, съ своей стороны, и естествовѣдѣніе, съ своей,—обѣ съ страннымъ притязаніемъ на обладаніе если не всею истиною, то единственно истиннымъ путемъ къ ней. Одна прорицала тайны съ какой-то недосыгаемой высоты, другое смиренно покорялось опыту и не шло далѣе; другъ къ другу онѣ питали ненависть; онѣ выросли въ взаимномъ недоверіи; много предразсудковъ укоренилось съ той и другой стороны; столько горькихъ словъ пало, что, при всемъ желаніи, онѣ не могутъ примириться до сихъ поръ. Философія и естествовѣдѣніе отстраиваютъ другъ друга тѣнями и привидѣніями, наводящими, въ самомъ дѣлѣ, страхъ и уныніе. Давно ли философія перестала увѣрять, что она какими-то заклинаніями можетъ вызвать сущность, отрѣшенную отъ бытія? всеобщее, существующее безъ частнаго? безконечное, предшествующее конечному? и проч. Положительныя науки имѣютъ свои ма-

ленькія привидѣнница: это силы, отвлеченныя отъ дѣйствій, свойства, принятыя за самый предметъ, и вообще разные кумиры, сотворенные изъ всякаго понятія, которое еще не понято: *exempli gratia*—жизненная сила, эфиръ, теплотворъ, электрическая матерія и проч. Все было сдѣлано, чтобъ не понять другъ друга, и они вполне достигли этого. Между тѣмъ, стало уясняться, что философія безъ естествовѣдѣнія такъ же невозможна, какъ естествовѣдѣніе безъ философіи. Для того, чтобъ убѣдиться въ послѣднемъ, взглянемъ на современное состояніе физическихъ наукъ. Оно представляется самымъ блестящимъ; о чемъ едва смѣли мечтать въ концѣ прошлаго столѣтія, то совершенно, или совершается передъ нашими глазами. Органическая химія, геологія, палеонтологія, сравнительная анатомія распустились въ нашъ вѣкъ изъ небольшихъ почекъ въ огромныя вѣтви, принесли плоды, превзошедшіе самыя смѣлыя надежды. Міръ прошедшій, покорный мощному голосу науки, поднимается изъ могилы свидѣтельствовать о переворотахъ, сопровождавшихъ развитіе поверхности земного шара; почва, на которой мы живемъ, эта надгробная доска жизни миновавшей, становится какъ бы прозрачною; каменные склепы раскрылись; внутренности скалъ не спасли хранимаго ими. Мало того, что полуистлѣвшіе, полуокаменѣлые остовы обрастаютъ снова плотью, палеонтологія стремится ¹⁾ раскрыть законъ соотношенія между геологическими эпохами и полнымъ органическимъ населеніемъ ихъ. Тогда все нѣкогда-живое воскреснетъ въ человѣческомъ разумѣніи, все исторгнется отъ печальной участи безслѣднаго забвенія, и то, чего кость истлѣла, чего феноменальное бытіе совершенно изгладилось, возстановится въ свѣтлой обители науки, въ этой обители успокоенія и увѣковѣченія временнаго. Съ другой стороны, наука открыла за видимымъ предѣломъ цѣлые міры невидимыхъ подробностей; ей раскрылся тотъ *monde des détails*, о возможности котораго генераль Бонапарте мечталъ, бесѣдуя въ Каирѣ съ Монжемъ и Жоффруа (Сентъ-Илеромъ ²⁾). Естествоиспытатель, вооруженный микроскопомъ, преслѣдуетъ жизнь до послѣдняго предѣла, слѣдитъ за ея закулисной работой. Физиологъ на этомъ порогѣ жизни встрѣтился съ химикомъ, вопросъ о жизни сталъ опредѣленнѣе, лучше поставленъ, химія заставила смотрѣть не на однѣ формы и ихъ видоизмѣненія; она въ лабораторіи научила допрашивать органическія тѣла о ихъ тайнахъ. Сверхъ теоретическихъ успѣховъ, успѣхи физическихъ наукъ имѣютъ громкія доказательства въѣ

¹⁾ Вспомните труды Агассиса надъ ископаемыми рыбами и труды Орбиньи надъ слизняками и другими началами.

²⁾ *Notions de Philos. naturele par Jeoffroy St-Hilaire. Paris. 1838.*

кабинетовъ и академій: онѣ окружили, вмѣстѣ съ механикой, каждый шагъ нашей жизни открытіями и удобствами. Онѣ машинами, призваніемъ въ дѣло силу броненныхъ и теряющихся, упрощеніемъ сложныхъ и трудныхъ производствъ, указаніемъ возможности тратить не *болѣе* усилій, какъ сколько нужно для достиженія цѣли, — участвуютъ въ разрѣшеніи важнѣйшаго общественнаго вопроса: онѣ подають средства отрѣзать руки человѣческія отъ непрерывной тяжелой работы.

Казалось бы, послѣ этого, естествовѣдѣнію остается торжествовать свои побѣды и, въ справедливомъ сознаніи великаго совершеннаго, трудиться, спокойно ожидая будущихъ успѣховъ; на дѣлѣ не совѣмъ такъ. Внимательный взглядъ безъ большого напряженія увидитъ во всѣхъ областяхъ естествовѣдѣнія какую-то пеловкость; имъ *чего-то* не достаетъ, чего-то, незамѣняемаго обиліемъ фактовъ: въ пещинахъ, ими раскрытыхъ, есть недомолвка. Каждая отрасль естественныхъ наукъ приводитъ постоянно къ тяжелому сознанію, что есть нѣчто неуловимое, непонятное въ природѣ; что онѣ, не смотря на многостороннее изученіе своего предмета, узнали его *почти, но не совѣмъ*, и именно въ этомъ, недостающемъ чемъ-то, постоянно ускользающемъ, предвидится та отгадка, которая должна превратитъ въ мысль и, слѣдственно, усвоить человѣку непокорную чуждость природы. Сознаніе сказаннаго вкралось въ самое изложеніе естественныхъ наукъ; вы часто встрѣтите средь удачъ и открытій грустную жалобу; увеличеніе знаній, не имѣющее никакихъ предѣловъ, обусловливаемое извнѣ случайными открытіями, счастливыми опытами, иногда не столько радуется, сколько тѣснить умъ. Пребывающая и по-неволѣ признанная чуждость предмета, упорно не поддающаяся, сердитъ человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ влечетъ его къ себѣ на непрерывную борьбу, на покореніе, котораго онъ сдѣлать не въ состояніи и оставить не можетъ. Это голосъ воющаго разума, не умѣющаго останавливаться на полдорогѣ, — голосъ самой *naturæ regim*, стремящейся вполне просвѣтлѣть въ мышленіи человѣческомъ. Вѣроятно, вы замѣчали, съ какою поспѣшностью естествоиспытатели предупреждаютъ о предѣлахъ своего воззрѣнія, какъ-бы страшась услышать вопросы, на которые они отвѣчать не могутъ; но такого рода границы несостоятельны; поставленные личной волей, онѣ столько же виѣшни предмету, сколько заборъ, поставленный правомъ собственности, чуждъ полю, на которомъ стоитъ. Цеховые натуралисты громко и смѣло говорить, что имъ дѣла нѣтъ до самыхъ естественныхъ и законныхъ требованій разума, что человѣкъ не долженъ заниматься тѣмъ, чего нельзя разрѣшить¹⁾.

¹⁾ Кому нельзя? когда? почему? гдѣ критеріумъ? Наполеонъ считалъ пароходы невозможностью...

Большей частью смѣлость эта подозрительна: она проистекаетъ или отъ ограниченности, или отъ лѣни; у иныхъ, однако, она имѣетъ высшее начало для нихъ,—это ложныя утѣшенія, которыми человѣкъ хочетъ отвести свои собственные глаза отъ зла, считаемаго неисправимымъ. По несчастію, вопросамъ такого рода нельзя навязать каменьевъ на шею—бросить ихъ въ воду и потомъ забыть о нихъ: они, какъ упрекъ совѣсти, какъ тѣнь Банко, мѣшаютъ наслаждаться пиромъ опытовъ, открытій, сознаніемъ истинныхъ и прекрасныхъ заслугъ, напоминая, что нѣтъ полного успѣха, что предметъ не побѣжденъ....

Въ самомъ дѣлѣ, неужели можно успокоиться на предположеніи невозможности знанія? Тутъ человѣку науки остановиться и забыть такъ же не подѣ-силу, какъ скупому стяжателью знать о кладѣ, зарытомъ на его дворѣ, и не искать его. Ни одинъ изъ великихъ естествоиспытателей не могъ спокойно пренебрегать этой неполнотой своей науки: таинственное *ignotum* мучило ихъ; они относили къ одному недостатку фактическихъ свѣдѣній неуловимость его. Мы думаемъ, что, сверхъ этого недостатка, имъ мѣшаетъ всего болѣе робкое и безсознательное употребленіе логическихъ формъ. Естествоиспытатели никакъ не хотятъ разобрать отношеніе знанія къ предмету, мышленія къ бытію, человѣка къ природѣ; они подъ мышленіемъ разумѣютъ способность разлагать данное явленіе и потомъ сличать, наводить, располагать въ порядкѣ найденное и данное для нихъ; критериумъ истины—вовсе не разумъ, а одна чувственная достовѣрность, въ которую они вѣрятъ; имъ мышленіе представляется дѣйствіемъ чисто личнымъ, совершенно внѣшнимъ предмету. Они пренебрегаютъ формою, методою, потому что знаютъ ихъ по схоластическимъ опредѣленіямъ. Они до того боятся систематики ученія, что даже матеріализма не хотятъ, *какъ ученія*; имъ бы хотѣлось относиться къ своему предмету совершенно эмпирически, страдательно, наблюдая его; само собою разумѣется, что для мыслящаго существа это такъ же невозможно, какъ организму принимать пищу, не претворяя ея. Ихъ мнимый эмпиризмъ все же приводитъ къ мышленію, но къ мышленію, въ которомъ метода произвольна и лична. Странное дѣло! каждый фізіологъ очень хорошо знаетъ важность формы и ея развитія, знаетъ, что содержаніе только при извѣстной формѣ оживаетъ стройнымъ организмомъ,—и ни одному не пришло въ голову, что метода въ наукѣ вовсе не есть дѣло личного вкуса, или какого-нибудь внѣшняго удобства, что она, сверхъ своихъ формальныхъ значеній, есть самое развитіе содержанія, эмбриологія истины, если хотите.

Этотъ странный силлогизмъ естественныхъ наукъ не прошелъ имъ даромъ. Идеалисты непрерывно ругали эмпириковъ, топтали

ихъ ученіе своими безтѣлесными ногами и не подвинули вопроса ни на одинъ шагъ впередъ. Идеализмъ—собственно для естествовѣдѣнія ничего не сдѣлать... Позвольте обговориться! Онъ работалъ, онъ приготовилъ безконечную форму для безконечнаго содержанія фактической науки: но она еще не воспользовалась ею: это дѣло будущаго... Мы на сію минуту говоримъ, если не о совершенно-прошедшемъ, то о проходящемъ моментѣ. Идеализмъ всегда имѣлъ въ себѣ нѣчто невыносимо-дерзкое: человѣкъ, увѣрившійся въ томъ, что природа вздоръ, что все временное не заслуживаетъ его вниманія, дѣлается гордъ, безпощаденъ въ своей односторонности и совершенно-недоступенъ истинѣ. Идеализмъ высокомерно думалъ, что ему стоитъ сказать какую-нибудь презрительную фразу объ эмпириі,—и она разсѣется, какъ прахъ. Вышнія натуры метафизиковъ ошиблись: они не поняли, что въ основѣ эмпириі положено широкое начало, которое трудно пошатнуть идеализмомъ. Эмпирики поняли, что *существованіе предмета не шутка*; что взаимодействіе чувствъ и предмета не есть обманъ: что предметы, насъ окружающіе, не могутъ не быть истинными, потому уже, что они существуютъ; они обернулись съ довѣріемъ къ тому, *что есть*, вмѣсто отыскиванія *того, что должно быть*, но чего, странная вещь, нигдѣ нѣтъ! Они приняли міръ и чувства съ дѣтской простотою и звали людей сойти съ туманныхъ облаковъ, гдѣ метафизики возились съ схоластическими бреднями; они звали ихъ въ настоящее и дѣйствительное: они вспомнили, что у человѣка есть пять чувствъ, на которыхъ основано начальное отношеніе его къ природѣ, и выразили своимъ воззрѣніемъ первые моменты чувственного созерцанія—необходимаго, единственно-истиннаго предшественника мысли. Безъ эмпириі нѣтъ науки, такъ, какъ нѣтъ ея и въ одностороннемъ эмпиризмѣ.

Опытъ и умозрѣніе—двѣ необходимыя, истинныя, дѣйствительныя степени одного и того же знанія; спекуляція—больше ничего, какъ высшая, развитая эмпирія; взятая въ противоположности исключительно и отвлеченно, онѣ такъ же не приведутъ къ дѣлу, какъ анализъ безъ синтеза, или синтезъ безъ анализа. Правильно развиваясь, эмпирія непременно должна перейти въ спекуляцію, и только то умозрѣніе не будетъ пустымъ идеализмомъ, которое основано на опытѣ. Опытъ есть хронологически-первое въ дѣлѣ знанія, но онъ имѣетъ свои предѣлы, далѣе которыхъ онъ или сбивается съ дороги, или переходитъ въ умозрѣніе. Это два магдебургскія полушарія, которыя ищутъ другъ друга и которыхъ, послѣ встрѣчи, лошадыми не разорвешь. Несмотря на то, что правда сказаннаго нами довольно проста, она далека отъ того, чтобъ быть познаною; антагонизмъ между эмпиріей и спекуляціей, между естествовѣдѣніемъ и философіей продолжается.

Чтобъ понять это, надобно вспомнить время, когда естествовѣдѣніе отторглось отъ философіи: то было въ торжественную и великую эпоху возрожденія наукъ, когда поюнѣвшій человѣкъ снова почувствовалъ горячую кровь въ жилахъ и началъ своею мыслью обсуживать и изучать все, окружавшее его. Съ негодованіемъ взглянули тогда всѣ положительныя, практическіе умы на схоластику; они, какъ всегда бываетъ при переворотахъ, забыли всѣ ея заслуги и помнили одинъ тяжкій яремъ, который она накладывала на мысль,—помнили, какъ она, уничиженная, покорная, подѣавторитетная, занималась пустыми формальными интересами, и съ ненавистью отвергли ее. Возстаніе противъ Аристотеля было началомъ самобытности новаго мышленія. Не надобно забывать, что Аристотель среднихъ вѣковъ не былъ настоящій Аристотель, а переложенный на католическіе нравы; это былъ Аристотель съ тонзурой. Отъ него, канонизированнаго язычника, равно отреклись Декартъ и Бэконъ. Посмотрите, съ какимъ запальчивымъ пренебреженіемъ химики XVIII вѣка говорятъ о школьныхъ метафизикахъ и какъ радостно провозглашаютъ права опыта, наблюденій, эмпириі, какъ они ничего знать не хотятъ внѣ чувственной достовѣрности, какъ они трепещутъ всего, напоминающаго схоластическіе кандалы. Имъ стало легко и привольно, потому-что они стали на землю, на которой человѣку суждено стоять; у нихъ была отыскана точка внѣшней опоры, точка отправления; они ревниво ее отстаивали и пошли своей дорогой, дорогой трудной, песчаной; они не боялись труда—непреложная реальность ихъ занятій увлекала ихъ; природа, неистощимо-богатая явленіями, довѣла надолго жадному любознанію; но, само собою разумѣется, натуралисты должны были неминуемо прійти къ предѣламъ своего воззрѣнія, потому-что ихъ воззрѣнія были узки, и въ самомъ дѣлѣ пришли къ нимъ; но страхъ схоластики превозмогъ, они не выступаютъ изъ круга, добровольно ими самими замкнутаго. Философіи было легче дойти до истинныхъ и дѣйствительныхъ основаній логики, нежели поправить свою репутацію. Впрочемъ, это возстановленіе репутаціи она вполне можетъ сдѣлать только въ наше время,—закваска схоластическая только теперь начинаетъ выдыхаться изъ нея. Идеализмъ не что иное, какъ *схоластика протестантскаго міра*. Онъ никогда не уступалъ въ односторонности эмпириі; онъ никогда не хотѣлъ понять ее, и когда понялъ по-неволѣ, съ важностью протянулъ ей руку, прощалъ ее, диктовалъ условія міра—въ то время, какъ эмпирія вовсе не думала у него просить помилованія.

Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что умозрѣніе и эмпирія равно виноваты во взаимномъ непониманіи, и дѣло теперь вовсе не въ томъ, чтобъ оправдать одну сторону на счетъ другой, но въ томъ,

чтобъ, объяснивъ, какъ они попали въ борьбу известной притчи Менения Агриппы, показать, что это фактъ прошедшій, принадлежащій гробу и исторіи, что продолжать эту борьбу обѣимъ сторонамъ вредно и нецѣльно. И философія, и естествовѣдѣніе выросли изъ временнаго антагонизма своего, имѣютъ всѣ средства въ рукахъ понять, откуда онъ вышелъ и въ чемъ состояла его историческая необходимость,—одно только унаслѣдованное чувство вражды можетъ поддерживать обветшалыя и жалкія взаимныя обвиненія. Имъ надобно *объясниться* во что бы то ни стало, понять разъ навсегда свое отношеніе, и освободиться отъ антагонизма: всякая исключительность тягостна: она не даетъ мѣста свободному развитію. Но для этого объясненія необходимо, чтобъ философія оставила свои грубыя притязанія на безусловную власть и на всегдашнюю непогрѣбительность. Ей, по праву, дѣйствительно принадлежитъ центральное мѣсто въ наукѣ, которымъ она вполне можетъ воспользоваться, когда перестанетъ требовать его, когда откровенно побѣдитъ въ себѣ дуализмъ, идеализмъ, метафизическую отвлеченность, когда ея совершеннѣйшій языкъ отучится отъ робости передъ словами, отъ трепета передъ умозаключеніемъ: ея власть будетъ признана тогда болѣе, нежели признана она будетъ дѣйствительно; иначе, объявляя себя, сколько хочешь, абсолютной, никто не повѣритъ, и частныя науки останутся при своихъ федеральныхъ понятіяхъ ¹⁾. Философія развиваетъ природу и сознаніе а priori, и въ этомъ ея творческая власть: но природа и исторія тѣмъ и велики, что онѣ не нуждаются въ этомъ а priori: онѣ сами представляютъ живой организмъ, развивающій логику а posteriori. Что тутъ за мѣстничество? Наука одна: двухъ наукъ нѣтъ, какъ нѣтъ двухъ вселенныхъ; споконъ-вѣка сравнивали науки съ вѣтвящимся деревомъ—сходство чрезвычайно вѣрное; каждая вѣтвь дерева, даже каждая почка имѣетъ свою относительную самобытность; ихъ можно принять за особыя растенія: но совокупность ихъ принадлежитъ одному цѣлому, живому *растенію этихъ растеній*—дереву: отнимите вѣтви—останется мертвый пенъ, отнимите стволъ—вѣтви распадутся. Всѣ отрасли вѣдѣнія имѣютъ самобытность, замкнутость, но въ нихъ непремѣнно вошло нѣчто данное, впередъ-идущее, не ими узаконенное; онѣ собственно органы, принадлежащія одному существу; отдѣлите органъ отъ организма, и онъ перестанетъ быть проводникомъ жизни, сдѣлается мертвою вещью: и организмъ, въ свою очередь лишенный органовъ, сдѣлается искаженнымъ трономъ, кучею частицъ. Жизнь есть сохраняющееся единство много-

¹⁾ Въ исторіи все *относительно* абсолютно: безотносительно-абсолютное—логическое отвлеченіе, которое за предѣлами логики точно такъ дѣлается относительнымъ.

различія, единство цѣлаго и частей; когда нарушена связь между ними, когда единство, связующее и хранящее, нарушено, тогда каждая точка начинаетъ свой процессъ; смерть и гнѣніе трупа— полное освобожденіе частей.

Еще сравненіе. Частныя науки составляютъ планетный міръ, имѣющій средоточіе, къ которому онѣ отнесенъ и отъ котораго получаетъ свѣтъ; но, говоря такъ, мы не забудемъ, что свѣтъ дѣло двухъ моментовъ, а не одного; безъ планетъ не было бы солнца. Вотъ этого-то органическаго соотношенія между фактическими науками и философіей нѣтъ въ сознаніи нѣкоторыхъ эпохъ, и тогда философія погружается въ абстракціяхъ, а положительныя науки теряются въ безднѣ фактовъ. Такая ограниченность рано или поздно должна найти выходъ: эмпірія перестанетъ бояться мысли, мысль, въ свою очередь, не будетъ пятиться отъ неподвижной чуждости міра явленій; тогда только вполне побѣдится внѣ-сущій предметъ, ибо ни отвлеченная метафизика, ни частныя науки не могутъ съ нимъ совладѣть: одна спекулятивная философія, выращенная на эмпіріи, — страшный горнъ, передъ огнемъ котораго ничто не устоитъ. Частныя науки конечны, онѣ ограничены двумя впредь-идущими: предметомъ, твердо стоящимъ внѣ наблюдателя, и личностью наблюдателя, прямо-противоположною предмету. Философія снимаетъ логикой личность и предметъ, но, снимая, она сохраняетъ ихъ. Философія есть единство частныхъ наукъ; онѣ втекаютъ въ нее, онѣ ея питаіе; новому времени принадлежитъ воззрѣніе, считающее философію отдѣльною отъ наукъ; это послѣднее убійственное произведеніе дуализма; это одинъ изъ самыхъ глубокихъ разрѣзовъ его скальпеля. Въ древнемъ мірѣ, беззаконной борьбы между философіей и частными науками вовсе не было; она вышла рука-объ-руку изъ Іоніи и достигла своей апогеозы въ Аристотелѣ ¹⁾. Дуализмъ, составлявшій славу схоластики, носилъ въ себѣ необходимымъ послѣдствіемъ расторженіе на отвлеченный идеализмъ и отвлеченную эмпірію; онъ проводилъ свой безошадный ножъ между самымъ неразрывнѣйшимъ, между родомъ и недѣлимымъ, между жизнію и живымъ, между мышленіемъ и тѣми, которые мыслятъ; и у него по той и другой сторонѣ ничего не оставалось, или, хуже, оставались призраки, принимаемые за дѣйствительность, философія, не опертая на частныхъ наукахъ, на эмпіріи, — призракъ, метафизика, идеализмъ. Эмпірія, довлѣющая себѣ внѣ философій, — сборникъ, лексиконъ, инвентарій — или, если это не такъ, она невѣрна себѣ. Мы сейчасъ увидимъ это.

¹⁾ Сократъ смотрѣлъ на физическія науки какъ-то въ родѣ нашихъ филологовъ; но это была временная размолвка.

Фактъ, бросающійся съ перваго взгляда въ физическихъ наукахъ, состоитъ въ томъ, что естествоиспытатели только говорятъ, что они не выходятъ изъ эмпири; а въ сущности они почти никогда не остаются въ ней; они выходятъ изъ предѣловъ опытнаго вѣдѣнія, не давая себѣ отчета, что дѣлаютъ: безсознательно идти въ дѣлѣ наукъ невозможно, не сбившись съ дороги; для того, чтобъ дѣйствительно перейти предѣлы какого-либо логическаго момента, надобно, по крайней мѣрѣ, понять, въ чемъ именно ограниченность исчерпанной формы: ничто въ свѣтѣ не путаетъ такъ понятій, какъ безсознательный выходъ изъ одного момента въ другой. Пока естествовѣдѣніе въ самомъ дѣлѣ остается въ предѣлахъ эмпири, оно превосходно дагерротипируетъ природу, оно переводитъ сущее, частное, феноменальное на всеобщій языкъ; это подробный и необходимый кадастръ недвижимаго имѣнія науки, это матеріаль, способный на дальнѣйшее развитіе, которое, однако, можетъ очень долго не быть: оставаться въ предѣлахъ такой эмпири въ самомъ дѣлѣ трудно, почти невозможно; на это надобно бездну воздержности, бездну самоотверженія, гениальность Кьюве, или тупость какого-нибудь недалняго спеціалиста. Естествоиспытателямъ, такъ громко и безпрерывно превозносящимъ опытъ, въ сущности описательная часть скоро надобѣдаетъ. Имъ явнымъ образомъ не хочется оставаться при одномъ добросовѣстномъ перечислѣ; они чувствуютъ, что это не наука, стремятся замѣшать мышленіе въ дѣло опыта, освѣтить мыслию то, что въ немъ темно, и тутъ обыкновенно они зацутываются и теряются въ худопонятыхъ категоріяхъ, идутъ зря, не даютъ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, боятся выпустить изъ рукъ предметъ, данный чувственной достовѣрностью, не замѣчая, что онъ давно уже измѣнился; боятся довѣриться мышленію, и, невольнo увлекаемые въ потокъ діалектическаго движенія, разлагаютъ предметъ на его противоположныя опредѣленія, утрачивая возможность соединить разъединенныя начала.

Стремленіе выйти изъ эмпири совершенно-естественно,—исключительность противна духу человѣческому. Чисто-эмпирическое отношеніе къ природѣ имѣетъ животное, но зато животное относится только практически къ окружающему міру; оно не довольствуется страдательнымъ разсматриваніемъ естественныхъ произведеній, и ѣстъ ихъ, или идетъ прочь. Человѣкъ чувствуетъ непреодолимую потребность всходить отъ опыта къ совершенному усвоенію даннаго знаніемъ; иначе это данное его тѣснить, его надобно *переносить* (subir), что несовмѣстно съ свободой духа. Оттого-то законѣльшіе враги логики и философіи не могли уберечь себя отъ теоретическихъ мечтаній, иногда не уступающихъ въ нелѣпости самому трансцендентальному идеализму. Развѣ химики не имѣли своей «quinta essentia», своего «всемірнаго газа», своихъ теорій

происхожденія, своей теоріи металловъ, своей теоріи флогистона и пр.? Дѣло въ томъ, что человекъ больше у себя въ мірѣ теологическихъ мечтаній, нежели въ многообразіи фактовъ. Обращеніе матеріаловъ, разборъ, изученіе ихъ чрезвычайно важны; но масса свѣдѣній, не пережженныхъ мыслію, не удовлетворяетъ разуму. Факты и свѣдѣнія представляютъ необходимые документы производимаго слѣдствія,—но судъ и приговоръ впереди; онъ оснуется на документахъ, но произнесетъ *свое*. Факты—это только скопленіе однороднаго матеріала, а не живой ростъ, какъ бы сумма частей ни была полна. Эмпирики, понимая это инстинктуально, переходятъ къ разсудочнымъ отвлеченіямъ, думая ими уловить цѣлое по частямъ; такимъ образомъ, они теряютъ предметъ, сущій на самомъ дѣлѣ, замѣняя его отвлеченіями, сущими только въ умѣ. Если-бъ они откровенно довѣрялись мышленію, оно ихъ вывело бы изъ односторонности той же діалектической необходимостью, которая заставила ихъ отъ непосредственнаго бытія перейти къ разсудочнымъ посредствамъ; оно привело бы ихъ къ сознанію конечности такого знанія, къ сознанію нелѣпости — остановиться въ безвыходномъ круговоротѣ причинъ и дѣйствій, въ которомъ каждая причина дѣйствіе и каждое дѣйствіе причина, въ странномъ разъединеніи формы и содержанія, силы и проявленія, сущности и бытія. Но они не довѣряются мышленію; еще болѣе: видя неудачныя попытки добратся до истины путемъ разсудочнаго движенія, они сильнѣе предубѣждаются противъ всякаго мышленія; они раскаиваются въ томъ, что потеряли время внѣ эмпирической сферы. Но зачѣмъ же они употребляютъ логическія дѣйствія, не давая себѣ отчета въ ихъ смыслѣ? Они воображаютъ, что если они переходятъ изъ эмпиріи къ объясненіямъ, то весь предметъ у нихъ цѣль и сохраненъ; въ то время, какъ отвлеченныя категоріи не имѣютъ силы зачерпнуть его такъ, какъ онъ есть, разсудокъ, какъ гальваническій снарядъ, или вовсе не дѣйствуетъ, или дѣйствуетъ разлагая на двѣ противоположности,—который бы результатъ его ни взяли. Онъ одностороненъ, онъ — составная часть. Въ эту туманную среду разсудочнаго движенія поднимаются эмпирики и не идутъ дальше,—между тѣмъ эта среда истинна только какъ переходъ, какъ путь, цѣль котораго — быть пройденнымъ; если-бъ поняли смыслъ разсудочной науки, тогда призрачная преграда между опытомъ и умозрѣніемъ уничтожилась бы сама собою; теперь же эмпирія на философію и философія на эмпирію смотрятъ именно сквозь эту среду и видятъ другъ друга съ искаженными чертами: эмпирія, встрѣчая усѣченную, недѣйствительную разсудочную истину, думаетъ, что это вина самаго мышленія; — философія ее же принимаетъ за результатъ опытнаго вѣдѣнія. Остановиться на рефлексіи — хуже, нежели остановиться на эмпиріи: все нелѣ-

ное, все эмпирическое, что вы встретите въ физическихъ наукахъ, происходитъ именно отъ вышнихъ размышленій и объяснительныхъ теорій ¹⁾.

Натуралисты, дошедшіе до разсудочнаго движенія, воображаютъ, что анализъ, аналогія и, наконецъ, паведеніе, какъ дальнѣйшее развитіе обоихъ, — единственные средства узнать предметъ, оставляя его неприкосновеннымъ, какъ онъ былъ; а этого-то именно и не нужно и невозможно. Во-первыхъ, анализъ не оставляетъ камня на камнѣ въ данномъ предметѣ и кончитъ всякій разъ тѣмъ, что сведетъ данное эмпіріей на отвлеченныя всеобщности; онъ правъ: онъ дѣлаетъ свое дѣло; не правы употребляющіе его безъ отчета о его дѣйствіи и останавливающіеся на немъ. Во-вторыхъ, желаніе оставить предметъ, какъ онъ есть, и понять его, не разрѣшая въ мысль, не только иллюлизмъ, но просто нелѣпость: частный предметъ, явленіе, остается неприкосновеннымъ, если человекъ, не думая о немъ, смотритъ на него, когда онъ къ нему равнодушенъ; если онъ его назоветъ, то уже онъ не оставилъ его въ сферѣ частныхъ, а поднялъ во всеобщее. Какъ же понять

¹⁾ Предоставляю себѣ впослѣдствіи показать нѣсколько разительныхъ примѣровъ теоретическихъ нелѣпостей наукъ положительныхъ; теперь укажу вамъ только на всѣ существующіе курсы физики Біо, Ламе, Гей-Люссака, Дебре, Пулье, и пр., и пр. Химія занимается больше дѣломъ; ея предметъ конкретнѣе, эмпиричнѣе; но физика отвлеченнѣе по своимъ вопросамъ, и потому она представляетъ торжество гипотетическихъ объяснительныхъ теорій (т. е. такихъ, о которыхъ знаютъ, что онѣ вздоръ). Съ самаго начала въ физикѣ гибнетъ эмпирическій предметъ; являются одни общія свойства, матерія, силы, потомъ вводятъ какіе-то вышніе агенты: электричество, магнетизмъ и проч., даже бѣдую теплоту попробовали олицетворить—въ теплотворѣ: греческій антропоморфизмъ природы—только сухой, неизящный. А теорія свѣта? Двѣ противоположныя теоріи свѣта, обѣ опровергаемыя, обѣ признанныя, потому что есть явленія, которыя объясняются по одной, а другія по другой! И какъ его не опредѣляютъ: и жидкостью, и силой, и невѣсомымъ! Почему онъ жидкость, когда невѣсомый,—да такая легкая жидкость? Отчего же гранитъ не считать претяжелой жидкостью? И что за жалкое опредѣленіе невѣсомости! Свѣтъ—сверхъ того и не пахучее? *Сила*—тоже не лучше! Почему не сказать: свѣтъ—*дѣйствіе*? На силу все можно свести, какъ на достаточную причину явленія. Отчего звука никто не называетъ ни жидкостью, ни силой (хотя Гассенди и толковалъ объ атомахъ звука)? Отчего никто не называетъ очертанія тѣла невѣсомой формой его? На это возражать, что форма присуща тѣлу, звукъ—сотрясеніе воздуха. А развѣ кто-нибудь видѣлъ все общество *imponderabilium* виѣ тѣлъ, такъ, самихъ по себѣ? Да это все одни временныя опредѣленія для того, чтобъ какъ-нибудь не растеряться; мы сами этимъ теоріямъ не придаемъ важности. Очень хорошо; но, вѣдь, когда-нибудь надобно же и серьезно заняться смысломъ явленій: нельзя же шутить: принимая для практической пользы неосновательныя гипотезы, наконецъ, совершенно собою съ толку. Эта метода дѣлаетъ страшный вредъ учащимся, давая имъ *слова* вмѣсто понятій, убивая въ нихъ вопроеъ ложнымъ удовлетвореніемъ. «Что есть электричество? — Невѣсомая жидкость». Не правда ли, что лучше было бы, если-бъ ученикъ отвѣчалъ: не знаю?...

смысль явленія, не вовлекая его въ логическій процессъ (не прибавляя ничего отъ себя, какъ обыкновенно выражаются)? Логическій процессъ есть единственное всеобщее средство человѣческаго пониманія; природа не заключаетъ въ себѣ всего смысла своего,—въ этомъ ея отличительный характеръ; именно мышленіе и дополняетъ, развиваетъ его; природа только существованіе, и отдѣляется, такъ сказать, отъ себя въ сознаніи человѣческомъ, для того, чтобъ понять свое бытіе: мышленіе дѣлаетъ не чуждую добавку, а продолжаетъ необходимое развитіе, безъ котораго вселенная не полна,—то самое развитіе, которое начинается со стихійной борьбы, съ химическаго сродства, и оканчивается самопознающимъ мозгомъ человѣческой головы. Хотя умъ сдѣлать страдательнымъ пріемникомъ, особаго рода зеркаломъ, которое отражало бы данное, не измѣняя его, то есть, во всей его случайности, не усвоивая тупо, бессмысленно; а данное, сущее во времени и пространствѣ, хотятъ сдѣлать дѣятельнымъ началомъ,—это прямо противоположно естественному порядку. Оттого оно, въ самомъ дѣлѣ, никогда и не удастся: воображая ходить на головѣ, ходить на ногахъ.

Объяснять внѣшнимъ образомъ предметъ — значитъ признаваться, что нельзя его понять; объяснять предметъ подобіемъ — средство иногда полезное, но большей частью бѣдное: никто не прибѣгаетъ къ аналогіи, если можетъ ясно и просто высказать свою мысль. Не даромъ французы говорятъ: *comparaison n'est pas raison*. Въ самомъ дѣлѣ, строго-логически, ни предмету, ни его понятію дѣла нѣтъ, похожи ли они на что-нибудь, или нѣтъ: изъ того, что двѣ вещи похожи другъ на друга извѣстными сторонами, нѣтъ еще достаточнаго права заключать о сходствѣ неизвѣстныхъ сторонъ. Въ какія грубыя ошибки, напримѣръ, впадала геологія, желая обобщать факты, выведенные изученіемъ Альпійскихъ горъ, къ другимъ полосамъ! Когда извѣстенъ общій законъ, то вы ищите его въ частномъ случаѣ не по одной аналогіи съ другими явленіями, но по логической необходимости. Часто аналогія вытѣсняетъ одно эмпирическое представленіе другимъ; это попросту называется отводить глаза. Вы ждете, напримѣръ, объясненія, какимъ образомъ общее чувствилище передаетъ нервъ, нервъ мышцамъ движеніе вашей души, а вамъ вмѣсто понятія подсовываютъ образъ музыканта, натянутыхъ струнъ, передающихъ фантазію художника; простой вопросъ усложняется; это подобное можно опять свести на что-нибудь подобное, и первоначальный предметъ совершенно затеряется въ сходствѣ: это та самая метода, по которой человѣческій портретъ рядомъ подобныхъ копій сводится на изображеніе фрукта.

Сюда же принадлежатъ насильно стѣсняемые представленія, будто бы для вящей понятности: «Если мы представимъ себѣ,

что лучъ свѣта состоитъ изъ бесконечно-малыхъ шариковъ ээпра, касающихся другъ друга».... Зачѣмъ же я стану себѣ представлять, что свѣтъ солнца падаетъ на меня такъ, какъ дѣти яйца катають, когда я увѣренъ, что это не такъ? Въ физическихъ наукахъ принято за обыкновеніе допускать подобнаго рода гипотезы, то есть, условную ложь для объясненія; но ложь не остается внѣ объясненія (иначе она была бы вовсе ненужна), а проникаетъ въ него, и вмѣсто истины получается странная смѣсь изъ эмпирической правды съ логической ложью; эта ложь рано или поздно обличается и по справедливости заставляетъ сомнѣваться въ истинѣ, спаянной съ нею. Химія и физика принимаютъ атомы, — лѣтъ двадцать тому назадъ атомы составляли основаніе всѣхъ химическихъ изслѣдованій. Принимая ихъ, всѣ предупреждаютъ обыкновенно на первой страницѣ, что естествоиспытателямъ собственно дѣла нѣтъ, въ самомъ ли дѣлѣ тѣла состоятъ изъ крупинокъ чрезвычайно — недѣлимыхъ, невидимыхъ, но имѣющихъ свойства, объемъ и вѣсъ, или нѣтъ, — что ихъ принимаютъ такъ для удобства. Такимъ лѣнливымъ приниманіемъ они сами уронили свою теорію; они виноваты въ томъ, что прошедшая философія напала на атомизмъ съ злымъ ожесточеніемъ; она разсматривала его въ томъ бѣдномъ видѣ, въ которомъ атомизмъ излагался въ введеніяхъ къ курсамъ физики и химіи. Древніе атомисты вовсе не шутили атомами; отправляясь отъ точки зрѣнія, хотя односторонней, но необходимой въ общемъ развитіи, стройно и послѣдовательно, дошли до атомизма; атомъ былъ ими противопоставленъ элеатическому воззрѣнію, распускавшему въ отвлеченіяхъ все сущее; въ атомахъ они видѣли повсюдную средоточность вещества, бесконечную индивидуализацію его, *для себя бытіе*, такъ сказать, *каждой точки*. Это одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ, существенныхъ моментовъ пониманія природы: въ ея понятіи необходимо лежить эта разсыпчатость и цѣлость каждой части, такъ же, какъ непрерывность и единство; само собою разумѣется, что атомизмъ не исчерпываетъ понятія природы (и въ этомъ онъ похожъ на динамизмъ); въ немъ пропадаетъ всеобщее единство; въ динамизмѣ части стираются и гибнутъ; задача въ томъ, чтобъ всѣ эти, для себя сущія, искры слить въ одно пламя, не лишая ихъ относительной самобытности. Динамизмъ и атомизмъ явились, при входѣ въ нашу эру, торжественно, громадно, во всепоглощающей сущности Спинозы и въ монадологіи Лейбница. Это двѣ величавыя грани, это два геркулесова столба возродившейся мысли, воздвигнутые не для того, чтобъ дальше нельзя было идти, а для того, чтобъ нельзя было возвратиться назадъ. Мы будемъ имѣть случай поговорить въ слѣдующихъ письмахъ о монадологіи, объ атомахъ Гассенди, — но вы ужъ изъ этого видите, что атомизмъ для мыслителей не былъ

шуткой, что атомы представляли для нихъ мысль, истину; атомизмъ составлялъ убѣжденіе, вѣрованіе Левкиппа, Демокрита и др. Физики же съ перваго слова согласны, что ихъ теорія, можетъ быть, вздоръ, но вздоръ облегчительный. А почему же они предають атомы и соглашаются, что можетъ быть вещество не изъ атомовъ? На томъ же прекрасномъ основаніи лѣни и равнодушія, на которомъ принимаютъ всякаго рода предположенія! Если откровенно выразиться, то это можно назвать цинизмомъ въ наукѣ. Пулье говоритъ: «можетъ быть, вулканы выбросятъ когда-нибудь такія тѣла, у которыхъ атомы будутъ видимы». Какое же понятіе послѣ этого сопрягаетъ Пулье съ словомъ «атомъ»?

А между тѣмъ, рядомъ съ ними покровительница и благотѣтельница физики—математика такъ логически, такъ ясно показываетъ сознательное, раціональное пониманіе подобныхъ отвлеченій. Математика говоритъ, что линія —бесконечное количество точекъ, въ извѣстномъ порядкѣ расположенныхъ; она принимаетъ возможность бесконечной дѣлимости пространства; но она понимаетъ то, что говоритъ, она понимаетъ не *дѣйствительность*, а *отвлеченную возможность* дѣлимости; еще болѣе, она вмѣстѣ съ тѣмъ понимаетъ и непремѣнное протяженіе, и то, что дѣйствительная форма есть форма стереометрическая; она съ мыслью беретъ точку, линію, площадь и въ сознанныхъ ею предѣлахъ. Оттого ни одинъ математикъ не ждетъ аэролита, у котораго точки были бы замѣтны, или у котораго бы поверхность отваливалась отъ тѣла. Оттого математикъ никогда не станетъ дѣлать опытовъ *бесконечнаго дѣленія*, не станетъ ни драть слюды, ни капать чернилъ въ бочку воды и послѣ пугать дѣтей расчетомъ, какая доля чернилъ въ одной этой каплѣ воды. Онъ знаетъ, если-бъ бесконечная дѣлимость была *фактически-возможною*, то она не была бы *бесконечною*. Безъ всякаго сомнѣнія, математика ушла несравненно дальше въ мышленіи противъ физики; одна теорія бесконечно-малыхъ доказываетъ это; она не могла стереть съ себя близость съ логикой, несмотря на всѣ старанія; впрочемъ, не надобно забывать (такъ, какъ это дѣлають математики), что она, отъ Пифагора начиная, была преимущественно развиваема философами; Декартъ, Лейбницъ, даже Кантъ оживили ее, и, конечно, Лейбницъ не случайно дошелъ отъ монадологіи до дифференціаловъ... Но возвратимся къ нашему предмету.

Натуралисты готовы дѣлать опыты, трудиться, путешествовать, подвергать жизнь свою опасности, но не хотятъ дать себѣ труда подумать, поразсудить о своей наукѣ. Мы уже видѣли причину этой мыслелюбви; отвлеченность философій и всегдашняя готовность перейти въ схоластическій мистицизмъ или въ пустую метафизику, ея мнимая замкнутость въ себѣ, ея довольство, не-

пуждающагося ни природою, ни опытомъ, ни исторіей, должно было оттолкнуть людей, посвятившихъ себя естествовѣдѣнію. Но такъ какъ всякая односторонность вмѣстѣ съ плодами производить и плеве́лы, то и естественныя науки должны были поплатиться за узкость своего воззрѣнія, несмотря на то, что оно было втѣснено узкостью противоположной стороны. Боязнь ввѣриться мышленію и невозможность знать безъ мышленія отразилась въ ихъ теоріяхъ: онѣ личны, шатки, неудовлетворительны: каждое новое открытіе грозитъ разрушить ихъ: онѣ не могутъ развиваться, а замѣняются новыми. Принимая всякую теорію за личное дѣло, вышнее предмету, за удобное размѣщеніе частныхъ, натуралисты отворяють дверь убійственному скептицизму, а иногда и поразительнымъ нецѣлостямъ. Явленіе гомеопатіи, напримѣръ, само по себѣ неудивительно: во все́ времена и во все́хъ отрасляхъ вѣдѣнія были страшныя попытки новыхъ ученій, въ которыхъ неперемѣнно гнѣздится маленькая истина въ огромной лжи: еще неудивительно, что дамамъ и парадоксальнымъ умамъ понравилось лечить зернышками: они потому и повѣрили въ гомеопатію, что она совершенно невѣроятна. Но какъ объяснить расколъ, овладѣвшій, лѣтъ десять тому назадъ, учеными врачами? Гомеопатическія лечебницы устраиались, издавались журналы, въ каталогахъ книгъ была особая рубрика *Homeopathische Arzneikunde*? Причина одна: медицина, какъ и все естественныя науки, при всемъ богатствѣ матеріаловъ наблюденій, дойдетъ до того конца развитія, котораго жаждетъ человѣкъ, какъ животворнаго начала истины и которое одно можетъ удовлетворить его. Естествоиспытатели и медики ссылаются всегда на то, что имъ еще не до теорій, что у нихъ еще не все факты собраны, не все опыты сдѣланы, и т. д. Можетъ быть, собранные матеріалы въ самомъ дѣлѣ недостаточны, даже навѣрное такъ; но не говоря о томъ, что фактовъ безконечное множество, и что сколько ихъ ни собирай, до конца все не дойдешь, это не мѣшаетъ поставить надлежащимъ образомъ вопросъ, развитіе дѣйствительныя требованія, истинныя понятія объ отношеніи мышленія къ бытію ¹⁾.

Нароженіе фактовъ и углубленіе въ смыслъ нисколько не противорѣчатъ другъ другу. Все живое, развиваясь, растетъ по двумъ направленіямъ: оно увеличивается въ объемъ и въ то же время сосредоточивается; развитіе наружу есть развитіе внутрь: дитя растетъ тѣломъ и умѣетъ; оба развитія необходимы другъ для

¹⁾ Хотя Александръ Македонскій и посылалъ Аристотелю всякихъ животныхъ, но онъ навѣрное зналъ ихъ меньше, нежели Ламаркъ, что ему не помѣшало раздѣлить животныхъ на *Schizophora* и *Namatophora*, а это совпадаетъ съ *Vertebrata* и *Avertebrata* Ламарка.

друга и подавляютъ другъ друга только при одностороннемъ перевѣсѣ. Наука—живой организмъ, посредствомъ котораго отдѣляющаяся въ человѣкѣ сущность вещей развивается до совершеннаго самопознанія; у нея тѣ же два роста; наращеніе извнѣ наблюденіями, фактами, опытами—это ея питаніе, безъ котораго она не могла бы жить; но внѣшнее пріобрѣтеніе должно *переработаться* внутреннимъ началомъ, которое одно даетъ жизнь и смыслъ кристаллизующейся массѣ свѣдѣній. Приращеніе фактическое, подобно осаждающемуся раствору, непрерывно растеть, тихо по песчинкѣ набираетъ слои, не теряетъ ничего попавшаго прежде, всегда готово принять новое, не дѣлая, впрочемъ, для него ничего болѣе пріема: это развитіе безконечнаго успѣха, движеніе прямолинейное, безпредѣльное, апатическое, утоляющее и усиливающее жажду въ одно и то же время, потому что за рядами подробностей открываются новые ряды, и т. д.; *только* этимъ путемъ нельзя достигнуть полнаго и истиннаго знанія,—а это есть исключительный путь фактическихъ наукъ. Разумъ, дѣйствуя нормально, развиваетъ самопознаніе; обогащаясь свѣдѣніями, онъ открываетъ въ себѣ то идеальное средоточіе, къ которому все отнесено, ту безконечную форму, которая все пріобрѣтенное употребить на пластическое самовыполненіе, ту животворную монаду, которая своей мощью огибаетъ около себя прямолинейный и безконечный путь безцѣльнаго эмпирическаго развитія и даетъ ему мѣту не внѣ, а внутри себя; тамъ, и только тамъ открывается человѣку истина сущаго, и эта истина—онъ самъ, какъ разумъ, какъ развивающееся мышленіе, въ которое со всѣхъ сторонъ втекаютъ эмпирическія свѣдѣнія для того, чтобъ найти свое начало и свое послѣднее слово. Этотъ разумъ, эта сущая истина, это развивающееся самопознаніе,—назовите его философіей, логикой, наукой, или просто человѣческимъ мышленіемъ, спекулятивной эмпиріей, или какъ хотите, непрерывно превращаетъ данное эмпирическое въ ясную, свѣтлую мысль, усваиваетъ себѣ все сущее, раскрывая идею его. У человѣка для пониманія нѣтъ иныхъ категорій, кромѣ категорій разума; частныя науки, враждуя противъ логики, дерутся ея орудіями, даже переносятъ ошибки формальной логики къ себѣ¹⁾.

Странное положеніе естественныхъ наукъ относительно мышленія долго продолжиться не можетъ: онѣ до того богатѣютъ фактами, что нѣхотя взгляды ихъ дѣлаются яснѣе и яснѣе. Онѣ неминуемо должны, наконецъ, будутъ откровенно и не шутя рѣшить вопросъ объ отношеніи мышленія къ бытію, естествовѣдѣнія къ философіи и

¹⁾ Такъ отвлеченныя силы, причины, поляризація, оттолкновеніе и притяженіе,—все это въ физику перешло изъ логики, изъ математики, и, разумѣется, взятое безъ критики, безъ связи, утратило настоящий смыслъ свой.

громко высказать возможность или невозможность вѣдѣнія истины, признать, что голова человѣка такъ устроена, что ей *только мерещится* истина, *кажется* такою, что она не можетъ вполнѣ знать или знаетъ только субъективно, что, слѣдственно, знаніе человѣческое — какое-то родовое безуміе, и тогда съ Секетомъ-эмпирикомъ должно сложить руки и, хладнокровно улыбаясь, сказать: «какой вздоръ все это!» или понять все отталкивающее такого взгляда, понять, что разумѣніе человѣка не внѣ природы, а есть разумѣніе природы о себѣ, что его разумъ есть разумъ въ самомъ дѣлѣ единый, истинный, такъ какъ все въ природѣ истинно и дѣйствительно въ разныхъ степеняхъ, и что, наконецъ, законы мысленія сознаніе законы бытія, что, слѣдственно, мысль несколько не тѣситъ бытія, а освобождаетъ его; что человѣкъ не потому раскрываетъ во всемъ свой разумъ, что онъ уменъ и вноситъ свой умъ всюду, а напротивъ, уменъ оттого, что все умно; сознавъ это, придется отбросить нелѣпый антагонизмъ съ философій. Мы сказали, что фактическія науки имѣли полное право отворачиваться отъ прежней философій; но эта односторонняя фаза, которой историческій смыслъ весьма важенъ, если не совсемъ миновала, то явно «агонизируетъ». Философія, неумѣвшая признать и понять эмпирію, хуже того — умѣвшая обойтись безъ нея, была холодна, какъ ледъ, безчеловѣчно строга; законы, открытые ею, были такъ широки, что все частное выпадало изъ нихъ; она не могла выцутаться изъ дуализма, и, наконецъ, пришла къ своему выходу: сама пошла на встрѣчу эмпиріи, а реализмъ смиренно сходитъ со сцены, въ видѣ романтическаго идеализма — явленія жалкаго, бѣднаго, безжизненнаго, питающагося чужою кровью. Эта школа — послѣдняя представительница реформаціонной схоластики; она тщетно рвется къ чему-то пному, недостижаемому, несуществующему, къ прекраснымъ дѣламъ безъ тѣла, къ горячимъ объятіямъ безъ рукъ, къ чувствамъ безъ груди... и о ней скоро скажутъ, какъ о безумной Козлова:

Ждала, ждала,
Не дождалась и умерла!

Мыслители и натуралисты начинаютъ понимать, что имъ другъ безъ друга нѣтъ выхода. Они часто, не зная того, встрѣчаются въ главныхъ основаніяхъ своихъ, останавливаются на тѣхъ же вопросахъ: что же мѣшаетъ имъ вполнѣ объясниться? Изывъ, готовые понятія, предразсудки, идущіе изъ рода въ родъ и равно сильные съ обѣихъ сторонъ. Предразсудки — великая цѣпь, удерживающая человѣка въ определенномъ, ограниченномъ кружку окостенѣлыхъ понятій; ухо къ нимъ привыкло, глазъ присмотрѣлся, и нелѣпость, пользуясь правами давности, становится обще-при-

нятою истиной. Стоит ли разбирать ее? Покойнѣ безъ думы, безъ обсуживанія, повторять унаслѣдованныя сужденія, можетъ быть, въ свое время относительно справедливыя, но пережившія свою истину. Цеховые ученые и философы приобрѣтаютъ извѣстный кругъ понятій, извѣстную рутину, изъ которой не могутъ выйти. Учениками еще принимаютъ они на вѣру основныя начала и никогда не думаютъ болѣе объ нихъ: они увѣрены, что покончили съ ними, что это азбука, на которую смѣшно и не нужно обращать вниманія. Изъ поколѣнія въ поколѣніе передаются схоластическія опредѣленія, раздѣленія, термины и сбиваютъ чистый и прямой смыслъ начинающаго, закрывая ему надолго, часто навсегда возможность отдѣлаться отъ нихъ.

Не думайте, что одни ограниченные умы платятъ дань предрассудкамъ своей касты, — совсѣмъ нѣтъ! Когда Гёте открылъ, описалъ, нарисовалъ человѣческую междучелюстную кость, знаменитый Камперъ сказалъ ему: «Все это прекрасно, но, вѣдь, *os intermaxillare* не существуетъ въ человѣческой челюсти». Рассказывая это, Гёте не вытерпѣлъ, чтобъ не присовокупить ¹⁾: «Можетъ быть, назовутъ юношеской заносчивостью, когда непосвященный ученикъ осмѣливается противорѣчить записному мастеру своего дѣла и старается доказать, что онъ вопреки ему правъ: многолѣтніе опыты научили меня иначе понимать. Вѣчно повторяемыя фразы костенѣютъ въ умѣ, наконецъ, дѣлаются неподвижными убѣжденіями, и *органы воззрѣнія становятся тупы*.... Бывали примѣры, что отличные люди въ своемъ ремеслѣ (*Handwerk*) иной разъ сворачивали нѣсколько съ торной колеи, но главной дороги они никогда не покидаютъ; они боятся новыхъ путей; имъ все-таки кажется вѣрнѣ держаться стараго». «Свѣжій человѣкъ», говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, «не закупленъ; его здоровый глазъ сразу можетъ увидѣть то, чего приглядѣвшійся не видитъ болѣе». Сверхъ этого подчиненія себя привычкѣ и давнопріятому, натуралистовъ останавливаетъ, задерживаетъ странное понятіе о личномъ правѣ въ наукѣ: они истину изобрѣтаютъ такъ, какъ снаряды. Жоффруа Сентъ-Илеръ, гениальный человѣкъ, безъ всякаго сомнѣнія, чувствовалъ яснѣ другихъ потребность опереть естествовѣдѣніе на болѣе твердыхъ основаніяхъ; онъ добирался до построющей идеи, до всеобщаго типа, до единства въ многообразіи естественныхъ произведеній, и проч. Но, замѣьте, онъ все это хотѣлъ сдѣлать помимо родового мышленія человѣчества; онъ воображалъ, что онъ самъ лично выдумаетъ все это, требовалъ привилегіи на открытіе. Подобно ему, каждый мыслящій естествоиспытатель придумываетъ отъ себя начало, беретъ въ основу нѣсколько

¹⁾ Göthe's Werke. T. xxxvi. zur Osteologie etc.

мыслей, ему особенно правящихся, проводить ихъ черезъ всю книгу, — и теорія готова. Совершенная отрѣзанность естествовѣдѣнія и философін часто заставляетъ цѣлые годы трудиться для того, чтобъ приблизительно открыть законъ, давно извѣстный въ другой сферѣ, разрѣшить сомнѣнїе, давно разрѣшенное: трудъ и усиліе тратятся для того, чтобъ во второй разъ открыть Америку, для того, чтобъ проложить тропинку — тамъ, гдѣ есть желѣзная дорога. Вотъ плодъ раздробленія наукъ, этого феодализма, окапывающаго каждую полосу земли валомъ и чекающаго свою монету за нимъ. Философъ знать не хочетъ факты, кичится невѣдѣніемъ практическихъ интересовъ и какъ только начнетъ изъ своихъ всеобщихъ законовъ спускаться къ частности, т. е. къ дѣйствительности, — теряется; эмпирикъ — наоборотъ.

Однакоже, съ начала нашего вѣка начало раздаваться слово *примиреніе*; оно раздавалось не даромъ: туманъ начинается падать. Разсказъ главныхъ событій этого замиренія будетъ предметомъ будущихъ писемъ; теперь только нѣсколько словъ вообще.

Къ концу XVIII вѣка, въ тиши кабинетовъ, въ головахъ мыслителей готовился такой же грозный и сильный переворотъ, какъ въ мірѣ политическомъ. Состояніе умовъ было страшно; все кругомъ рушилось — общественный бытъ, понятія о добрѣ и злѣ, довѣріе къ природѣ, къ человѣку, къ вѣрѣ, и, вмѣсто утѣшенія, критическая философія и скептическій эмпиризмъ. Два невѣрія, два скептицизма — и развалины кругомъ. Критическая философія нанесла страшный ударъ идеализму; сколько ни боролся противъ него эмпиризмъ, идеализмъ устоялъ; но вышелъ человѣкъ изъ среды его и тяжелымъ ударомъ поставилъ его на краю гроба. Великъ былъ этотъ человѣкъ въ своей безошадной, неподкупной логикѣ; распаденіе его съ догматизмомъ было глубоко, обдуманно: онъ искалъ одной истины и не останавливался ни передъ чѣмъ; онъ поставилъ эти страшные каудипскіе фуркулы, называемые антиноміями, и хладнокровно прогнать подъ нихъ святѣйшія достоянія мысли человѣческой. Вполнѣ воскреснуть идеализму послѣ Канта было невозможно, развѣ въ какихъ-нибудь частныхъ, абнормальныхъ явленіяхъ: все склонилось передъ геніальной мощью его. Но воззрѣніе это тяжело; была сильна стоическая грудь Фихте, но и та не могла его вынести; невозможность безусловнаго знанія клала непереходимую грань между человѣкомъ и истиной. Отъ такого воззрѣнія можно сойти съ ума, впасть въ отчаяніе. Гердереъ, Якоби старались спасти отъ кантовскаго кораблекрушенія идеи имъ милыя и дорогія, но чувство — дурной оплотъ въ логическомъ бою; наконецъ, наплась алмашная грудь, спокойно и безшумно противопоставившая критической философін свой глубокий реализмъ — это былъ Гёте. Онъ былъ одаренъ въ высшей

степенн прямѣмъ взглядѣмъ на вещи; онъ зналъ это и на все *смотрѣлъ самъ*; онъ не былъ школьный философъ, цеховой ученый,—онъ былъ мыслящій художникъ; въ немъ первомъ возстановилось дѣйствительно-истинное отношеніе человѣка къ міру, его окружающему; онъ собою далъ естествоиспытателямъ великій примѣръ. Безъ всякихъ дальнихъ приготовленій, онъ сразу бросается *in medias res*; тутъ онъ эмпирикъ, наблюдатель; но смотрите, какъ растетъ, развивается изъ его наглядки понятіе даннаго предмета, какъ оно развертывается, опертое на свое бытіе, и какъ въ концѣ раскрыта мысль всеобъемлющая, глубокая. Прочитайте его «*Metamorphose der Pflanzen*», прочитайте его остеологическія статьи, и вы разомъ увидите, что такое реальное, истинное пониманіе природы, что такое спекулятивная эмпірія. Для него мысль и природа—aus einem Guss «*Oben die Geister und unten der Stein*», для него природа — жизнь, та же жизнь, которая въ немъ, и потому она ему понятна, и болѣе того: она звучна въ немъ и сама повѣствуетъ намъ свою тайну. Вслѣдъ за нимъ, изъ среды отвлеченной науки раздался голосъ, опредѣлявшій истину единствомъ бытія и мышленія; онъ обращалъ философію къ природѣ, какъ къ необходимому дополненію, какъ къ своему зеркалу. Торжественно было зрѣлище возвращающагося на землю человѣчества въ лицѣ передовыхъ людей своихъ,—въ лицѣ поэта-мыслителя и мыслителя-поэта, склонявшихъ на родную грудь общей матери. Это было разомъ возвращеніе блуднаго сына и спасеніе метафизика изъ ямы.

Шеллингъ, какъ Виргілій Данту, только указать дорогу, но такъ указывать и такимъ перстомъ — одинъ геній. Шеллингъ принадлежитъ къ тѣмъ великимъ и художественнымъ натурамъ, которыя непосредственно, инстинктуально, вдохновенно овладѣваютъ истиной. Въ немъ всегда что-то было родное Платону и Якову Бему. Этотъ процессъ вѣдѣнія—тайна генія, а не науки: тайны этой онъ передать не можетъ, такъ, какъ художникъ не можетъ передать акта творчества; но вдохновенный языкъ его вызываетъ къ истинѣ и къ пониманію, основываясь на предсуществующемъ сочувствіи человѣка къ истинѣ. Шеллингъ — *vates* науки. Гёте сознавалъ себя такимъ, какимъ онъ былъ; онъ въ письмахъ къ Шпллеру говоритъ, что у него нѣтъ никакой способности наукообразно развитъ свои мысли; онъ учитъ на дѣлѣ, онъ до высочайшей степени практиченъ, онъ умѣетъ спускаться въ подробности, не теряя общаго. Шеллингъ, напротивъ, считалъ себя, по превосходству, философскою, спекулятивною натурою, и потому живое свое сочувствіе и предвѣдѣніе старался заморить схоластическою формою; онъ побѣдилъ въ себѣ идеализмъ не на дѣлѣ, а только на словахъ. Его непрактическая, нереальная натура

всего яснѣе видна изъ того, что онъ, занимаясь по преимуществу философiей природы, никогда не занялся положительнымъ изученiемъ какой-либо отрасли естественныхъ наукъ. Его эрудицiя огромна, но онъ знаетъ энциклопедiю естествовѣдѣнiя, — онъ гениальный дилетантъ. Гёте, напримѣръ, специалистъ, когда это нужно; ученикъ въ анатомическомъ театрѣ, наблюдатель, рисовальщикъ: онъ работаетъ, дѣлалъ опыты, изучалъ практически цѣлые годы остеологию: онъ знаетъ, что безъ спеціальности общiя теорiя все будетъ отзываться идеализмомъ; что собственный взглядъ въ естествовѣдѣнiи то же, что чтенiе источниковъ въ исторiи: оттого онъ вдругъ, внезапно открываетъ цѣлый мiръ, совершенно новую сторону своего предмета. Эмпирики никогда не отрекались отъ Гёте: все великiя мысли его приняты ими, оцѣнены ¹⁾; а Шеллинга, протягивавшаго имъ руку философiи, они не поняли и не признали. Натуралисты, послѣдователи Шеллинга, взяли формальную сторону его ученiя: духъ, вѣющiй въ его писанiяхъ, не былъ ими схваченъ: они не умѣли раздуть искры глубокаго созерцанiя, разбѣившаго у него вездѣ, въ свѣтлую струю пламени. Нѣтъ, они соорудили изъ его воззрѣнiя какое-то странное зданiе метафизико-сентиментальное; схоластическая сухость сочеталась у нихъ съ чисто-нѣмецкой гемютлихкейтъ. Не то, чтобъ они научнообразно или систематически изложили по началамъ Шеллинга философiю природы: они взяли двѣ-три общiя формулы, сухiя и отвлеченныя, и на нихъ прикидывали все явленiя, всю вселенную. Эти формулы точно мѣра въ рекрутскихъ присутствiяхъ: кто бы ни взошелъ въ нее, выйдетъ солдатомъ. Даже тѣ изъ натурфилософовъ, которые принесли много пользы фактической части своей науки, не избѣгли ни формализма, ни сентиментальности. Возьмите, напримѣръ, Каруса: онъ сдѣлалъ бездну пользы физиологiи, но что онъ пишетъ въ своихъ общихъ взглядахъ, въ введенiяхъ? Что за разлагательствованiе, что за мысли! Жалѣешь, что дѣльный человѣкъ такъ компрометируется. Выше ихъ всехъ стоитъ Окенъ: но и его нельзя совершенно изъять. Въ природѣ Окена неловко и тѣсно и, сверхъ того, не менѣе догматизма, какъ у другихъ: видна широкая и многообъемлющая мысль; но въ томъ-то и вина Окена, что она видна, какъ мысль: природа какъ будто употреблена имъ для того, чтобъ подтвердить ее. Естествовѣдѣнiе Окена явилось съ нѣмецкимъ притязанiемъ на безусловное значенiе, на оконченную архитекτονикъ. Вспомните замѣчанiе, сдѣланное нами выше, что идеализмъ

¹⁾ Напримѣръ, его мысль о томъ, что черепъ есть развитiе позвоночника; его превращенiе частей растенiя, *os intermaxillare* и согни замѣтокъ остеологическихъ. См. у Жоффруа Сентъ-Илера, Декандолы, и проч.

дѣлается недоступенъ ничему, кромѣ своей *idée fixe*; онъ не уважаетъ настолько фактическій міръ, чтобъ покоряться его возраженіямъ.

Не помню, гдѣ и когда я читалъ какую-то статью Эдгара Кинѣ о нѣмецкой философіи; статья не очень важная, но въ ней было пріятное сравненіе нѣмецкой философіи съ французской революціею. Кантъ—Мирабо, Фихте—Робеспьеръ, а Шеллингъ—Наполеонъ; вообще, это сравненіе не чуждо нѣкоторой вѣрности: я самъ готовъ сравнить Шеллинга съ Наполеономъ, только обратно Эдгару Кинѣ. Ни имперія Наполеона, ни философія Шеллинга устоять не могли—и по одной причинѣ: ни то, ни другое не было вполне организовано и не имѣло въ себѣ твердости ни отрѣзаться отъ прошлыхъ односторонностей, ни идти до крайняго послѣдствія. Наполеонъ и Шеллингъ явились міру, провозглашая примиреніе противоположностей и снятія ихъ новымъ порядкомъ вещей. Во имя этого новаго порядка вещей, признали Бонапарте императоромъ: пущечный дымъ не помѣшалъ, наконецъ, разглядѣть, что Наполеонъ остался въ душѣ человѣкомъ прошедшаго. Историческій маскарадъ à la Charlemagne, въ которомъ Наполеонъ одѣлся очень не къ лицу, окруженный своими герцогами-солдатами,—была *intermedia buffa*, за которой слѣдовало Ватерлоо съ настоящимъ герцогомъ во главѣ. Шеллингъ въ своей области поступалъ такъ, какъ Наполеонъ: онъ обѣщалъ примиреніе мышленія и бытія; но, провозгласивъ примиреніе противоположныхъ направленій въ высшемъ единствѣ, остался идеалистомъ въ то время, какъ Окенъ учреждалъ шеллинговское управленіе надъ всей природою и «Изида»—«Мониторъ» натурфилософіи—громко возвѣщала свои побѣды. Шеллингъ одѣвался въ Якова Бема и начиналъ задумывать реакцію самому себѣ, для того, между прочимъ, чтобъ не сознаться, что онъ обойденъ. Шеллингъ вышелъ вверхъ-ногами поставленный Бемъ, такъ, какъ Наполеонъ вверхъ-ногами поставленный Карлъ Великій. Это худшее, что можетъ быть, потому что чрезвычайно смѣшно. Яковъ Бемъ, полный мистическаго созерцанія, выходитъ во всѣ стороны къ глубокому философскому воззрѣнію, и если его языкъ труденъ и заключенъ въ схоластико-мистической терминологіи, тѣмъ удивительнѣе геніальность его, что онъ умѣлъ этимъ неловкимъ языкомъ высказать великое содержаніе своей мысли; живъ въ началѣ XVI столѣтія, онъ имѣлъ твердость не останавливаться на буквѣ, имѣлъ мужество принимать консеквенціи страшныя для боязливой совѣсти того вѣка; мистицизмъ не только не подавлялъ его мощнаго разума, но окрылялъ его. Шеллингъ, совсѣмъ напротивъ, сдѣлалъ опытъ отъ глубокаго наукообразнаго воззрѣнія спуститься къ мистическому сомнамбулизму, мысль за-

дѣлать въ іероглифѣ. Слѣдствіе этого было очень печальное: люди истинно-религіозные и люди не религіозные отреклись отъ него и уступили ему маленькую Эльзу въ Берлинскомъ университетѣ. Окенъ остался одинъ съ «Изидой». Неудачная борьба съ естествоиспытателями, ихъ непріятная манера возражать фактами, сдѣлала его изпріизымъ, ожесточила. Онъ неохотно говоритъ съ иностранцами о своей системѣ; онъ пережилъ эпоху полной славы ея, и развѣ вѣтши готовить что-нибудь... Надобно надѣяться, по крайней мѣрѣ, что онъ не попыбуетъ писать зоологію стихами, какъ было придумать Шеллингъ для своей теоріи. Всѣ усилія въ естествовѣдѣніи совершались вѣ натурфилософіи. Эмпирики не довѣряли ей, боялись ея труднаго языка, ея общихъ взглядовъ, ея практическаго настроенія, ея восторженной сентиментальности. Кювье предостерегалъ Парижскую академію наукъ отъ зарейнскихъ теорій; Бузень еще радикальнѣе предостерегалъ своими лекціями отъ распространенія во Франціи идеализма. Впрочемъ, французы одарены такимъ вѣрнымъ взглядомъ на вещи, что ихъ нельзя сбить съ толку. Они скоро поймутъ германскую науку. Будьте увѣрены, не тупость французовъ причиною, что германская наука не переплывала Рейна.

Первый примѣръ наукообразнаго изложенія естествовѣдѣнія представляетъ Гегелева энциклопедія. Его строгое, твердо-проведенное воззрѣніе почти-современно Шеллингу (онъ читалъ въ первый разъ философію природы—въ 1804 году, въ Іенѣ); имъ замыкается блестящій рядъ мыслителей, начавшійся Декартомъ и Спинозою. Гегель показалъ предѣлъ, далѣе котораго германская наука не пойдетъ; въ его ученіи явнымъ образомъ содержится выходъ не токмо изъ него, но вообще изъ дуализма и метафизики. Это было послѣднее, самое мощное усиліе чистаго мышленія, до того вѣрное истинѣ и полное реализма, что, вопреки себѣ, оно безпрестанно и вездѣ перегибалось въ дѣйствительное мышленіе. Строгія очертанія, гранитныя ступени энциклопедіи не стѣсняють содержанія, такъ, какъ борть корабля не мѣшаетъ взору погружаться въ безконечность моря. Правда, логика у Гегеля хранитъ свое притязаніе на неприкосновенную власть надъ другими сферами, на единую, всему-довѣющую полноту; онъ какъ-будто забываетъ, что логика потому именно не жизненная полнота, что она ее побѣдила въ себѣ, что она *отвлеклась* отъ временнаго: она отвлеченна, потому что въ нее вошло одно вѣчное, она отвлеченна, потому что абсолютна, она знаніе бытія, но не бытіе: она выше его—и въ этомъ ея односторонность. Если-бъ природѣ достаточно было знать, — какъ подъ-часъ вырывается у Гегеля, — то, дойдя до самопознанія, она сняла бы свое бытіе, пренебрегла бы имъ; но ей бытіе такъ же дорого, какъ знаніе: она

любить жить, а жить можно только въ вакхическомъ круженіи временнаго; въ сферѣ всеобщаго шумъ и плескъ жизни умолкъ; геній человѣчества колеблется между этими противоположностями; онъ, какъ Харонъ, безпрестанно перевозитъ изъ временной юдоли въ вѣчную, эта переправа, это колебаніе—исторія, *въ ней* собственно все дѣло, а совсѣмъ не въ томъ, чтобъ переѣхать на ту сторону и жить въ отвлеченныхъ и всеобщихъ областяхъ чистаго мышленія. Не только самъ Гегель понималъ это, но Лейбницъ, полтора вѣка назадъ, говорилъ, что монада безвременнаго, конечнаго бытія расплывается въ безконечность при полной невозможности опредѣлиться, удержать себя; Гегель всею логикою достигаетъ до раскрытія, что безусловное есть подтвержденіе единства бытія и мышленія. Но какъ доидеть до дѣла, тотъ же Гегель, какъ и Лейбницъ, приноситъ все временное, все сущее на жертву мысли и духу; идеализмъ, въ которомъ онъ былъ воспитанъ, который онъ всосалъ съ молокомъ, срываетъ его въ односторонность, казенную имъ самимъ,—и онъ старается подавить духомъ, логикою—природу; всякое частное произведеніе ея готовъ считать призракомъ, на всякое явленіе смотреть свысока.

Гегель начинаетъ съ отвлеченныхъ сферъ для того, чтобъ дойти до конкретныхъ; но отвлеченныя сферы предполагаютъ конкретное, отъ котораго онѣ отвлечены. Онъ развиваетъ безусловную идею и, разивъ ее до самопознанія, заставляетъ ее раскрыться временнымъ бытіемъ; но оно уже сдѣлалось ненужнымъ, ибо помимо его совершенъ тотъ подвигъ, къ которому временное назначалось. Онъ раскрылъ, что природа, что жизнь развивается по законамъ логики; онъ фаза въ фазу прослѣдилъ этотъ параллелизмъ,—и это ужъ не шеллинговы общія замѣчанія, рапсодическія, несвязанныя, а цѣлая система стройная, глубокомысленная, рѣзанная на мѣди, гдѣ въ каждомъ ударѣ отпечатлѣлась гигантская сила. Но Гегель хотѣлъ природу и исторію, какъ *прикладную логику*,—а не логику, какъ отвлеченную разумность природы и исторіи. Вотъ причины, почему эмпирическая наука осталась такъ же хладнокровно-глуха къ энциклопедіи Гегеля, какъ къ диссертаціямъ Шеллинга. Нельзя отрицать глубокаго смысла и вѣрнаго взгляда этихъ жалкихъ эмпириковъ, надъ которыми такъ заносчиво издѣвался идеализмъ. Эмпирія была открытой протестаціей, громкимъ возраженіемъ противъ идеализма,—такою она и осталась: что ни дѣлалъ идеализмъ,—эмпирія отражала его. Она не уступила шагу ¹⁾. Когда Шеллингъ проповѣдо-

¹⁾ Нужно ли повторять, что эмпиризмъ въ крайностяхъ своихъ нелѣпъ, что его ползанье на-четверенькахъ такъ же смѣшно, какъ нетопыри полеты идеализма: одна крайность вызываетъ всегда такую же крайность съ противоположной стороны.

валъ свою философію, большая часть философовъ думала, что время сочетанія науки мышленія съ положительными науками настало:—эмпирики молчали. Философія Гегеля совершила это примиреніе въ логикѣ, приняла его въ основу и развила черезъ всѣ области духа и природы, покоряя ихъ логикѣ,—эмпиризмъ продолжалъ молчать. Онъ видѣлъ, что прародительскій грѣхъ схоластики не совершенно стертъ еще. Безъ сомнѣнія, Гегель поставилъ мышленіе на той высотѣ, что нѣтъ возможности послѣ него сдѣлать шагъ, не оставивъ совершенно за собою идеализма:—но шагъ этотъ не сдѣланъ, и эмпиризмъ хладнокровно ждетъ его: зато, если дождется, посмотрите, какая новая жизнь разольется по всѣмъ отвлеченнымъ сферамъ чelовѣческаго вѣдѣнія! Эмпиризмъ, какъ слонъ, тихо ступаетъ впередъ, зато уже ступить хорошо.

Смѣшно винить не только Гегеля, но и Шеллинга, что они, сдѣлавъ такъ много, не сдѣлали еще больше; это была бы историческая неблагодарность. Однако нельзя же не сознаться, что какъ Шеллингъ не дошелъ ни до одного вѣрнаго послѣдствія своего воззрѣнія, такъ Гегель не дошелъ до всѣхъ откровенныхъ и прямыхъ результатовъ своихъ началъ; *impliciter* въ немъ всѣ они преисшествуютъ,—все сдѣланное послѣ Гегеля состоитъ только въ развитіи того, что не развито у него. Гегель понималъ дѣйствительное отношеніе мышленія къ бытію: но понимать не значитъ вполне отречься отъ стараго: оно остается въ нравахъ, въ языкѣ, въ привычкѣ. Путями отвлеченій онъ понялъ свою отвлеченность и удовлетворился этимъ пониманіемъ. Никто изъ рожденных въ плѣну египетскомъ не вошелъ въ обитованную землю, потому что въ ихъ крови оставалось нѣчто невольническое: Гегель своимъ гениемъ, мощью своей мысли, подавлялъ египетскій элементъ, и онъ остался у него больше дурною привычкою; Шеллингъ же былъ подавленъ имъ. Гёте не подавлялъ и не былъ подавленъ!

Но пора заключить мое длинное посланіе.

Признаюсь откровенно, что, принимаясь писать къ вамъ, я не сообразилъ всей трудности вопроса, всей бѣдности силъ и знаній, всей отвѣтственности приняться за него. Начавъ, я увидѣлъ ясно, что не въ состояннн исполнить задуманнаго: однако не бросаю пера. Если я не могу сдѣлать то, что хотѣлъ,—буду доволенъ тѣмъ, если сумѣю возбудить любопытство узнать ясно и въ связи то, о чемъ расскажу расcодически и бѣдно. Польза отъ такого рода *Vorstudien*, какъ эти письма, только пріуготовительная; она знакомитъ общимъ образомъ съ главными вопросами современной науки, устраниая ложныя и невѣрныя мнѣнія, обветшалые предразсудки, и дѣлаетъ доступнѣе науку. Наука кажется

трудною не потому, чтобъ она была, въ самомъ дѣлѣ, трудна, а потому, что иначе не дойдешь до ея простоты, какъ пробившись сквозь тьму-темъ готовыхъ понятій, мѣшающихъ прямо видѣть. Пусть входящіе впередъ знаютъ, что весь арсеналъ ржавыхъ и негодныхъ орудій, доставшихся намъ по наслѣдству отъ схоластики, негоденъ, что надобно пожертвовать внѣ науки составленными воззрѣніями, что, не отбросивъ все *полу-лжи*, которыми для понятности облакаютъ *полу-истины*, нельзя войти въ науку, нельзя дойти до цѣлой истины.

Что касается до главныхъ основаній, они не мои: они принадлежатъ современному воззрѣнію на науку и тѣмъ сильнымъ органамъ, которыми оно оглашается. Мое только изложеніе и добрая воля. Одинъ принцъ-эмигрантъ, раздавая, помнится въ Митавѣ, табакерки и перстни, присланные ему императрицей Екатериной, присовокуплялъ: «De ma part ce n'est que le mouvement du bras et la bonne volonté»—я повторяю вамъ его слова ¹⁾.

¹⁾ Можетъ быть, не вовсе излишнимъ будетъ обратить вниманіе читателей, что слова: «идеализмъ», «метафизика», «отвлеченіе», «теорія» принимаемы были въ томъ крайнемъ значеніи, гдѣ они ложны, исключительны. Если эти слова принять въ смыслѣ болѣе общемъ, взятомъ не изъ историческаго опредѣленія, если имъ подсунуть опредѣленія идеальныя, выйдетъ не то; но я прошу тогда вспомнить, что я ихъ не въ томъ смыслѣ принимаю; для меня эти слова—ложныя, знамена односторонняго направленія, указывающія сразу большое мѣсто. Разумѣется, Аристотель не въ этомъ смыслѣ употреблялъ слово «метафизика»; всякаго человѣка, разсматривающаго природу, не какъ съѣстной припасъ, а какъ нѣчто познаваемое, можно назвать метафизикомъ, такъ, какъ всякаго мыслящаго—идеалистомъ. Я счелъ обязанностію сказать, въ какихъ предѣлахъ приняты мною эти слова. Если они не нравятся, пусть читатель замѣнитъ ихъ другими—le fond de la chose остается то же, а мнѣ только въ немъ и дѣло. Еще одно замѣчаніе: Гегелево воззрѣніе не принято и неизвѣстно въ положительныхъ наукахъ; о методѣ его едва знаютъ во Франціи, но тѣмъ не менѣе гегелизмъ имѣлъ большое вліяніе на естествовѣдѣніе.—вліяніе, котораго источникъ натуралисты не могутъ узнать, но которое очевидно и въ Либихѣ, и въ Бурдахѣ, и въ Распайѣ, и во многихъ другихъ, хотя большая часть ихъ отречется навѣрное отъ сказаннаго нами. Они сами не знаютъ, какъ приняли въ себя изъ окружающей среды то направленіе, въ которомъ ведутъ науку. Постараюсь въ одномъ изъ послѣдующихъ писемъ доказать сказанное здѣсь.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Наука и природа — феноменология мышления.

Начнемъ ab ovo. На это есть причины очень достаточныя: позвольте указать ихъ. Для того, чтобъ понять, съ какимъ логическимъ моментомъ развитія науки встрѣчается естественнѣе въ современности, недостаточно упомянуть коротко нѣсколько положеній самыхъ рѣзкихъ, самыхъ крайнихъ, нѣсколько началъ, до которыхъ выработалась современная наука, нѣсколько выводовъ, въ которыхъ она сосредоточилась. Ничто не сдѣлало и не дѣлаетъ болѣе вреда философiи, какъ выкраденные результаты безъ связи, формально принимаемые, лишеныя смысла и повторяемые съ произвольнымъ толкованiемъ. Слова не до такой степени вбiраютъ въ себя все содержанiе мысли, весь ходъ достиженiя, чтобъ въ сжатомъ состоянiи конечнаго вывода навязывать каждому истинный и вѣрный смыслъ свой; до него надобно дойти: процессъ развитiя снять, скрытъ въ конечномъ выводѣ: въ немъ высказывается только, въ чемъ главное дѣло; это своего рода заглавiе, поставленное въ концѣ: оно въ своемъ отчужденiи отъ цѣлаго организма бесполезно или вредно. Что пользы человѣку, не знающему алгебры, въ уравненiи какой-нибудь линiи, несмотря на то, что въ этомъ уравненiи все есть: и ея законъ, и построенiе, и всѣ возможные случаи: но они есть только для того, кто знаетъ, какъ вообще составляются уравненiя, — словомъ, для человѣка, которому скрытый въ формулѣ путь извѣстенъ, которому каждый знакъ напоминаетъ извѣстный порядокъ понятiй: въ общей формулѣ заключена вся истина; но общая формула не есть та органика, въ которой истина свободно развивается; совсѣмъ напротивъ, она сжимается въ ней, сосредоточивается. Зерно представляетъ такого рода сосредоточенiе растенiя; никто зерна не принимаетъ за растенiе, никто не садится подъ тѣнь дубоваго жолудя, хотя онъ содержитъ въ себѣ болѣе, нежели цѣлый дубъ — рядъ прошедшихъ дубовъ, да рядъ будущихъ. Есть случай, въ которомъ можно допустить употребленiе результатовъ безъ поясненiя ихъ смысла, именно, когда предшествуетъ достовѣрность, что подъ одними и тѣми же словами разумѣются одни и тѣ же понятiя, что есть общепринятое, впередъ-идущее, которое связуетъ говорящаго и слушающаго; въ переходныя эпохи такую достовѣрность можно имѣть только говоря съ близкими друзьями. Всего чаще говорящiй во имя науки мечтаетъ, что весь процессъ, ко-

торый для него явно скрывается за формальнымъ выраженіемъ, извѣстенъ слушающему, и идетъ далѣе, въ то время, какъ у каждаго идутъ впередъ или личныя мнѣнія, или повѣрья, и высказанное слово будитъ въ немъ не умственную самостоятельность, а именно эти косые и обветшалые предразсудки. Поэтому прошу не сѣтовать за то, что начинаю съ опредѣленія науки и съ общаго обзора ея развитія.

Дѣло науки — возведеніе всего сущаго въ мысль. Мышленіе стремится понять, усвоить внѣ-сущій предметъ и съ перваго приступа начинается отрицать то, что его дѣлаетъ внѣшнимъ, другимъ, противоположнымъ мысли, то-есть, отрицаетъ непосредственность предмета, обобщаетъ его и имѣетъ уже съ нимъ дѣло, какъ съ всеобщимъ: такимъ оно старается его понять. Понять предметъ — значитъ раскрыть необходимость его содержанія, оправдать его бытіе, его развитіе; понятое необходимымъ и разумнымъ не есть чуждое намъ: оно сдѣлалось ясною мыслью предмета; мысль созданная и понятая принадлежитъ намъ и сознается нами, потому что она разумна и человѣкъ разуменъ, — а разумъ одинъ ¹⁾. Неразумное непонятно для насъ, но его и понимать не стоитъ труда: оно необходимо оказывается несущественнымъ, непстиннымъ; оно обнаруживается такимъ (говоря школьнымъ языкомъ), чего доказать нельзя, ибо доказательство только и состоитъ въ раскрытіи необходимости предмета, указывающей на разумность его; что разумно, то признано человѣкомъ; другого критеріума человѣкъ не ищетъ; оправданіе разумомъ — послѣдняя безапелляціонная инстанція. Само собою разумѣется, что мысль предмета не есть исключительно личное достояніе мыслящаго: не онъ вдумалъ ее въ дѣйствительность, она имъ только сознана; она предсуществовала, какъ скрытый разумъ, въ непосредственномъ бытіи предмета, какъ его во времени и пространствѣ *обличенное* право существованія, какъ на дѣлѣ, фактически исполненный законъ, свидѣтельствующій о своемъ неразрывномъ единствѣ съ бытіемъ. Мышленіе освобождаетъ существующую во времени и пространствѣ мысль въ болѣе соответствующую ей среду сознанія; оно,

¹⁾ *Нѣсколько разумовъ* такое безмысліе, которое человѣческое воображеніе не только понять, но и представить не можетъ. Если мы примемъ, напр., два разума, то истинное для одного будетъ ложью для другого — иначе они не разные; съ тѣмъ вмѣстѣ, оба разума имѣютъ право считать каждый свою истину истиной. и это право признано нами въ признаніи двухъ разумовъ; если мы скажемъ, что одинъ только понимаетъ истину, тогда другой разумъ будетъ безуміе, а не разумъ. Два различные разума, обладающіе различными истинами, напоминаютъ тѣ унижительные случаи, когда двое присягаютъ, одинъ противоположно другому. Разное пониманіе предмета не значитъ, что разумы разные, а, во-первыхъ, что люди разные, и, во-вторыхъ, что въ разныхъ степеняхъ развитія разума истина опредѣляется различно, съ разныхъ сторонъ однимъ и тѣмъ же разумомъ.

такъ сказать, будить ее отъ усыпленія, въ которое она *еще* погружена, облеченная плотью, существуя однимъ бытіемъ; мысль предмета освобождается не въ немъ: она освобождается безтѣлесною, обобщенною, побѣдившею частность своего явленія, въ сферѣ сознанія, разума, всеобщаго. Предметное существованіе мысли, воскреснувшей въ области разума и самопознанія, продолжается по-прежнему во времени и пространствѣ; мысль получила двойную жизнь: одна — ея прежнее существованіе частное, положительное, опредѣленное бытіемъ; другая — всеобщая, опредѣленная сознаніемъ и отрицаніемъ себя какъ частнаго. Сначала, предметъ совершенно внѣ мышленія: личная умственная дѣятельность человѣка приступаетъ къ нему, выискивая, въ чемъ его истина, въ чемъ его разумъ; по мѣрѣ того, какъ мысль отрѣшаетъ его (и себя) отъ всего частнаго, случайнаго, углубляется въ его разумъ, — она находитъ, что это и ея разумъ; отыскивая истину его, она находитъ себя этой истиной; чѣмъ болѣе мысль развивается, тѣмъ независимѣе, самобытнѣе становится она и отъ лица мыслителя и отъ предмета; она связуетъ ихъ, снимаетъ ихъ различіе высшимъ единствомъ, опирается на нихъ и, свободная, самобытная, самозаконная, царитъ надъ ними, сочетая въ себѣ два односторонніе момента свои въ гармоническое цѣлое ¹⁾. Весь процессъ развитія мысли предмета мышленіемъ рода человѣческаго, отъ грубаго и непримиреннаго противорѣчія, въ которомъ встрѣчаются лицо и предметъ, до снятія противорѣчія сознаніемъ высшаго единства, въ которомъ они являются необходимыми другъ для друга сторонами, — весь этотъ рядъ формъ, освобождающихъ истину, заключенную въ двухъ исключительныхъ крайностяхъ (лица и предмета), отъ взаимнаго ограниченія раскрытіемъ и сознаніемъ единства ихъ въ разумѣ, въ идеѣ — составляетъ организмъ науки.

Многіе принимаютъ науку за нѣчто внѣшнее предмету, за дѣло произвола и вымысла людскаго, на чемъ они основываютъ недѣйствительность знанія, даже невозможность его. Конечно, наука не въ вещественномъ бытіи предмета и, конечно, она свободное дѣяніе мысли и именно мысли человѣческой; но изъ этого не слѣдуетъ, что она произвольное созданіе случайныхъ личностей, внѣшнее предмету, въ какомъ случаѣ она была бы, какъ мы сказали, родовымъ безуміемъ. Ограниченная категорія внѣ бытія не прилагивается къ мысли; она ей несущественна, мысль не имѣетъ замкнутой, непреходимой опредѣленности *тамъ или тутъ*, для нея нѣтъ *alibi*: если же хотять употребить эту кате-

¹⁾ То есть существованіе, какъ одно *по себѣ бытіе*, и сознаніе, какъ одно *для себя бытіе*.

горю, то надобно обернуть выраженіе и сказать, что непосредственный предметъ внѣ мысли, внѣ ея, потому что онъ составляетъ собственно ея внѣшность; природа не только внѣшность для насъ,—она сама по себѣ *только* внѣшность; ея мысль сознательная, пришедшая въ себя—не въ ней, а въ *другомъ* (т. е. въ человѣкѣ); напротивъ, родовое значеніе человѣка—быть истинною *себя и другого* (т. е. природы); сознание есть самопознание; оно начинается съ познанія себя, какъ другого, и достигаетъ сознанія себя, какъ себя,—сознание вовсе не постороннее для природы, а высшая степень ея развитія, переходъ отъ положительнаго, нераздѣльнаго существованія во времени и пространствѣ, черезъ отрицательное, расторгенное опредѣленіе человѣка въ противоположность природѣ, къ раскрытію ихъ истиннаго единства. Откуда и какъ могло бы явиться сознание внѣшнее природѣ и, слѣдственно, чуждое предмету? Человѣкъ не внѣ природы и только относительно противоположенъ ей, а не въ самомъ дѣлѣ; если бы природа дѣйствительно противорѣчила разуму, все матеріальное было бы нелѣпо, нецѣлеобразно. Мы привыкли человѣческій міръ отдѣлять каменной стѣною отъ міра природы,—это несправедливо; въ дѣйствительности вообще нѣтъ никакихъ строго проведенныхъ межей и граней, къ великой горести всѣхъ систематиковъ; но въ этомъ случаѣ, сверхъ того, опускаютъ изъ вида, что человѣкъ имѣетъ свое міровое призваніе въ той же самой природѣ, доканчиваетъ ее возведеніемъ въ мысль; они противоположны, такъ, какъ полюсы магнита, или, лучше, какъ цвѣтокъ противоположенъ стеблю, какъ юноша ребенку. Все то, что неразвито, чего не достаесть природѣ, то есть, то развивается въ человѣкѣ: на чемъ же можетъ основаться дѣйствительная противоположность ихъ? Это былъ бы бой неравный и невозможный. Природа не имѣетъ силы надъ мыслию, а мысль есть сила человѣка; природа, какъ греческая статуя: вся внутренняя мощь ея, вся мысль ея—ея наружность; все, что она могла собою выразить, выразила, предоставляя человѣку обнаружить то, чего она не могла; она относится къ нему, какъ необходимое предшествующее, какъ предположеніе (*Voraussetzung*); человѣкъ относится къ ней, какъ необходимое послѣдующее, какъ заключеніе (*Schluss*). Жизнь природы—безпрерывное развитіе, развитіе отвлеченнаго простаго, неполнаго, стихійнаго—въ конкретное полное, сложное, развитіе зародыша расчлененіемъ всего заключающагося въ его понятія, и всегдашнее домогательство вести это развитіе до возможно-полнаго соотвѣтствія формы содержанію,—это діалектика физическаго міра. Всѣ стремленія и усилія природы завершаются человѣкомъ; къ нему они стремятся, въ него впадаютъ они, какъ въ океанъ. Что можетъ быть смѣлѣе предположенія, что послѣдній выводъ,

включаящей все развитіе природы — человѣческое сознаніе — въ разногласіи съ нею? Все въ мірѣ стройно, согласно, цѣлебноразно,—одна мысль наша сама по себѣ, какая-то блуждающая комета, ни къ чему не отнесенная, болѣзнь мозга!

Для того, чтобъ мышленіе представилось чѣмъ-то естественнымъ, совершенно-внѣшнимъ предмету, частнымъ и личнымъ достояніемъ человѣка,—его надобно отторгнуть отъ его родословной. Можно ли понять связь и значеніе чего бы то ни было, когда мы произвольно возьмемъ крайнія звенья? Можно ли понять соотношеніе камня и птицы? Стѣдя шагъ за шагомъ, легко сбиться съ дороги: если же взять на удачу два момента и противопоставить ихъ для раскрытія ихъ связи, выйдетъ трудная, неблагоприятная и почти-неразрѣшимая задача: въ родѣ этого разсматриваютъ природу и ея связь съ человѣкомъ, съ мышленіемъ. Обыкновенно, приступая къ природѣ, ее свинчиваютъ въ ея матеріальности, ей говорятъ, какъ нѣкогда Іисусъ Навинъ сказалъ солнцу: «стой! будь мертвымъ субстратомъ, пока я разберу тебя»; но природу остановить нельзя: она процессъ, она теченіе, переливъ, движеніе, она уйдетъ между пальцами, она въ чревѣ женщины сдѣлается человѣкомъ и прососетъ вашу плоть и кожу прежде, нежели вы успеете найти возможнымъ переходъ отъ нея къ міру человѣческому:

Ewig natürlich bewegende Kraft
 Göttlich gesetzlich entbindet und schafft.
 Trennendes Leben, im Leben Verein.
 Oben die Geister und unten der Stein.

Если вы на одно мгновеніе остановили природу, какъ нѣчто мертвое, вы не токмо не дойдете до возможности мышленія, но не дойдете до возможности напвчатыхъ животныхъ, до возможности поростовъ и мховъ; смотрите на нее, какъ она есть, а она есть въ движеніи: дайте ей просторъ, смотрите на ея біографію, на исторію ея развитія, тогда только раскроется она въ связи. Исторія мышленія — продолженіе исторіи природы: ни человѣчества, ни природы нельзя понять мимо историческаго развитія. Различіе этихъ исторій состоитъ въ томъ, что природа ничего не помнитъ, что для нея былого нѣтъ, а человѣкъ носитъ въ себѣ все бывшее свое: оттого человѣкъ представляетъ не только себя какъ частнаго, но и какъ родового. Исторія связываетъ природу съ логикой: безъ нея они распадаются: разумъ природы только въ ея существованіи, существованіе логики только въ разумѣ: ни природа, ни логика не страдаютъ, не раздраются сомнѣніями: ихъ не волнуетъ никакое противорѣчіе: одна не дошла до нихъ, другая снала ихъ въ себѣ: въ этомъ ихъ противоположная неполнота. Исторія — эпопея восхожденія отъ одной къ другой,

полная страсти, драмы: въ ней непосредственное дѣлается сознательнымъ, и вѣчная мысль низвергается въ временное бытіе: носители ея—не всеобщія категоріи, не отвѣченные нормы, какъ въ логикѣ, и не безотвѣтныя рабы, какъ естественныя произведенія, а личности, воплотившія въ себя эти вѣчныя нормы и борющіяся противъ судьбы, спокойно парящей надъ природой. Историческое мышленіе—родовая дѣятельность человѣка, живая и истинная наука, то всемірное мышленіе, которое само перешло всю морфологію природы и, мало-по-малу, поднялось къ сознанию своей самозаконности: во всякую эпоху осаждается правильными кристаллами знаніе ея, мысль ея въ видѣ отвѣченной теоріи, независимой и безусловной,—это формальная наука. Она всякій разъ считаетъ себя завершеніемъ вѣдѣнія человѣческаго, но она представляетъ отчетъ, выводъ мышленія данной эпохи—она себя только считаетъ абсолютной, а абсолютно то движеніе, которое въ то же время увлекаетъ историческое сознаніе далѣе и далѣе. Логическое развитіе идеи идетъ тѣми же фазами, какъ развитіе природы и исторіи: оно, какъ абберрація звѣздъ на небѣ, повторяетъ движеніе земной планеты.

Изъ этого вы видите, что въ сущности все равно, рассказать ли логическій процессъ самопознанія, или историческій. Мы изберемъ послѣдній. Строгий, свѣтлый, примиренный съ собою шагъ логики менѣе сочувствующъ съ нами; исторія—вдохновенная борьба, торжественное шествіе изъ египетскаго плѣненія въ обѣтованную землю; въ логикѣ побѣда извѣстна, она знаетъ свою власть, свою неотразимость,—въ исторіи нѣтъ, и оттого ликующій гимнъ радости раздается, когда предъ грядущимъ человѣчествомъ разступается Черное море, и оно же топить ветхое и неправое притязаніе фараона. Логика—разумнѣе, исторія—человѣчественнѣе. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе, какъ отбрасывать прошедшее, служившее для достиженія настоящаго, будто это развитіе—вышняя подмостка, лишенная всякаго внутренняго достоинства. Тогда исторія была бы оскорбительна, вѣчное закланіе живого въ пользу будущаго; настоящее духа человѣческаго обнимаетъ и хранитъ все прошедшее, оно не прошло для него, а развилось въ него; бывшее не утратилось въ настоящемъ, не замѣнилось имъ, а исполнилось въ немъ; проходитъ одно ложное, призрачное, несущественное; оно собственно никогда и не имѣло дѣйствительнаго бытія, оно мертворожденное,—для истиннаго смерти нѣтъ. Не даромъ духъ человѣческій поэты сравниваютъ съ моремъ: онъ въ глубинѣ своей бережетъ всѣ богатства, однажды упавшія въ него; одно слабое, не переносящее тяжести соленой волны его, распускается безслѣдно.

Итакъ, для того, чтобы понять современное состояніи мысли,

върѣтѣйшій путь вспомнить, какъ человѣчество дошло до него, вспомнить всю морфологию мышленія: отъ непосредственнаго, безсознательнаго мира съ природой, предшествовавшаго мышленію, до раскрывающейся возможности полнаго и сознательнаго мира съ собою. Съ самаго начала, намъ придется возстановить тѣ шаги, которыхъ слѣдъ почти утратился, ибо человѣчество не умѣетъ беречь того, что дѣлало безъ мысли: инстинктуальное остается у него въ памяти, какъ смутный сонъ дѣтства! Не думайте, что я васъ хочу угостить геснеровскимъ Авелемъ или дикимъ человѣкомъ энциклопедистовъ, — мое намѣреніе гораздо проще: я хочу опредѣлить необходимую точку отравленія историческаго сознанія.

Видъ человѣка существуетъ до безконечности многоразличное множество частныхъ, смутно переплетенныхъ между собою; видѣнія зависимость ихъ, намекающая на внутреннее единство, ихъ опредѣленное взаимодействіе почти терется отъ случайностей разбрасывающихъ, сбрасывающихъ, хранящихъ и уничтожающихъ эту «кучу частей, идущихъ въ безконечность», по превосходному выраженію Лейбница. Онѣ носятъ въ себѣ характеръ независимой самобытности отъ человѣка; онѣ были, когда его не было; имъ нѣтъ до него дѣла, когда онѣ явился; онѣ безъ конца, безъ предѣловъ; онѣ безпрестанно и вездѣ возникаютъ, появляются, пропадаютъ. Съ точки зрѣнія разсудка, этотъ вихрь, круговоротъ, безпорядокъ, эта непокорность окружающей среды, должны бы ужасомъ и уныніемъ исполнить человѣка, подавить его и поселить отчаяніе въ душѣ; но человѣкъ, при первой встрѣчѣ съ природой, смотрѣлъ на нее съ простотою ребенка: онѣ ничего не понималъ отчетливо, онѣ не отступалъ еще отъ міра жизни, въ которомъ очутился, негачія мысли не просыпалась въ немъ, и оттого онѣ чувствовалъ себя дома и взглядъ его поднятаго чела не могъ быть пораженъ ничѣмъ окружающимъ. Животное имѣетъ это эмпирическое довѣріе, но оно на немъ и останавливается; человѣкъ тотчасъ начинаетъ обнаруживать, что ему мало этого довѣрія, что онѣ чувствуетъ себя властью надъ окружающимъ міромъ. Этими частностями, врозь-сущимъ, чего-то не достаетъ: онѣ распадаются, преходящи, безслѣдны; человѣкъ даетъ имъ средоточіе, и это средоточіе онѣ самъ; словомъ своимъ исторгаетъ онѣ ихъ изъ круговорота, въ которомъ онѣ мелькаютъ и гибнутъ; именемъ даетъ онѣ имъ свое признаніе, возрождаетъ въ себѣ, удваиваетъ и сразу вводитъ въ сферу всеобщаго. Мы такъ привыкли къ слову, что забываемъ величіе этого торжественнаго акта вступленія человѣка на царство вселенной. Природа безъ человѣка, именующаго ее, — что-то пѣмое, неконечное, неудачное, *avorté*; человѣкъ благословилъ ее существо-

вать для кого-нибудь, возсоздалъ ее, далъ ей гласность. Не даромъ Платонъ такъ восторженно выразился объ очахъ человѣка, устремленнаго на твердь небесную, и нашелъ ихъ прекраснѣе самой тверди. И звѣрь видитъ, и звѣрь издаетъ звуки, и то и другое—великія побѣды жизни; но человѣкъ смотритъ и говоритъ, и когда онъ смотритъ и говоритъ,—неустроенная куча частныхъ перестаетъ быть громадой случайностей, а обнаруживается гармоническимъ цѣлымъ, организмомъ, имѣющимъ единство. Замѣчательно, что и въ этотъ періодъ естественнаго согласія съ природой, когда еще разсудокъ не отсѣкъ человѣка мечомъ отрицанія отъ почвы, на которой онъ выросъ,—онъ не признавалъ самобытности частныхъ явленій, онъ вездѣ распоряжался, какъ хозяинъ, онъ считалъ возможнымъ усвоить себѣ все окружающее и заставить исполнять свои цѣли, онъ вещь считалъ своимъ рабомъ, органомъ, внѣ его тѣла находящимся, собственностью. Мы можемъ втѣснять нашу волю только тому, что своей воли не имѣетъ, или въ чемъ мы отрицаемъ волю; поставить свою цѣль другому, значить его цѣль не считать существенною, или себя считать его цѣлью.

Человѣкъ такъ мало признавалъ права природы, что безъ малѣйшихъ упрековъ совѣсти уничтожалъ то, что ему мѣшало, пользовался, чѣмъ хотѣлъ; онъ, подобно Геслеру, заставлявшему самихъ швейцарцевъ строить для себя Цвингъ-Ури, обуздывалъ силы природы, противопоставляя одну другой. Природа не только не ужасала человѣка своей величиною и безконечностью, на которыя онъ не обращалъ никакого вниманія, предоставляя вполнѣ риторамъ всѣхъ вѣковъ страшать себя и другихъ міриадами міровъ и всѣми количественными безмѣрностями, — но даже бѣдствіями, которыя она невольно обрушивала на голову людей: мы нигдѣ не видимъ, чтобъ онъ склонился передъ тупою и внѣшней силою міра; совсѣмъ напротивъ, онъ отворачивается отъ его стихійнаго неустройства и съ молитвою, колѣнопреклоненный, одушевленный горячею вѣрою, обращается къ Божеству. Какъ бы грубо человѣкъ ни представлялъ себѣ верховное начало, божественный духъ,—онъ непремѣнно видитъ въ немъ истину, премудрость, разумъ, справедливость, царящіе и побѣждающіе матеріальную сторону существованія. Вѣра въ міродержавство Провидѣнія устраняетъ возможность вѣрить въ неустройство и случайность.

Долго остаться въ начальномъ согласіи съ природою, съ міромъ феноменальнымъ человѣкъ не могъ; онъ носилъ въ себѣ зародышъ, который, развиваясь, долженъ былъ, какъ химическая реакція, разложить его дѣтски-гармоническое существованіе съ природой; природа, какъ внѣшній міръ, не могла быть для него

цѣлѣю: въ каждомъ религіозномъ порывѣ, человѣкъ стремится выйти отъ феноменальнаго міра къ міру, царящему надъ всеміи явленіями. Животное никогда не распадается съ природой: это послѣднее невозмущаемое сочетаніе развитія жизни индивидуальной съ общей жизнью природы; двойственная натура человѣка именно въ томъ, что онъ, сверхъ своего положительнаго бытія, не можетъ не стать отрицательно къ бытію: онъ распадается не только съ внѣшней природой, но даже съ самимъ собою; эта растороженность мучить его; это мученіе гонить его впередъ. Бываютъ минуты слабости и изнуренія, когда тоска и что-то странное въ этомъ противорѣчій съ природой подавляютъ человѣка, и онъ, вмѣсто того, чтобъ идти по святымъ указаніямъ перста истины, садится усталый на подорогѣ, отираетъ кровавый потъ и ставитъ золотого тельца — близкую мѣту, но ложную. Онъ обманываетъ себя, — темно самъ чувствуетъ это; но, какъ бѣшеный Отелло, онъ, снѣдаемый жаждой истины, умоляетъ солгать ему. Чтобъ убѣжать отъ чего-то непокойнаго, страшнаго въ разбѣденіи съ физическимъ міромъ, человѣкъ готовъ погрузиться въ грубѣйшій фетишизмъ, лишь — бы найти всеобщую сферу, съ которою сочетать свою индивидуальную жизнь, только не быть чуждымъ въ мірѣ и оставленнымъ на себя. Такъ всякаго рода отдѣльность и эгоизмъ противны всемірному порядку.

Какъ только человѣкъ распался съ природою, у него должна была явиться потребность *знанія*, потребность второго усвоенія и покоренія внѣшности. Разумѣется, нельзя себѣ представить, чтобъ теоретическая потребность вѣдѣнія отчетливо явилась уму людей: нѣтъ, они и до нея дошли естественнымъ *тактомъ*. Темное сочувствіе и чисто-практическое отношеніе — недостаточны мыслящей натурѣ человѣка; онъ, какъ растеніе, куда его ни посади, все обернется къ свѣту и потянется къ нему; но онъ тѣмъ не похожъ на растеніе, что оно тянется и никогда не можетъ достигнуть до желанной цѣли, потому что солнце вѣкъ его, а разумъ человѣка, освѣщающій его, — внутри, и ему собственно не тянуться надобно, а сосредоточиться. Сначала человѣкъ не подозреваетъ этого, и если разумность его провидитъ возможность истины, то онъ далекъ отъ сознанія путей: онъ не свободенъ для пониманія: густыя тучи животной непосредственности еще не разбѣлились, фантастическіе образы сверкаютъ въ нихъ, но не свѣтомъ: путь до сознанія длиннее: чтобъ дойти до него, человѣкъ долженъ отречься отъ себя, какъ частности, и понять себя родомъ. Ему надобно сдѣлать съ собою то, что онъ словомъ своимъ совершилъ надъ природою, т. е. обобщить себя. Мало того, что человѣкъ идетъ дѣлѣ животныхъ, понимая самообытную замкнутость своего *я*: *я* есть подтвержденіе, сознаніе своего тождества

съ собою, снятіе души и тѣла, какъ противоположныхъ, единствомъ личности,—на этомъ остановиться нельзя: надобно понять высшее единство рода съ собою. Это единство начинается поглощеніемъ лица, какъ частности, и испуганный человѣкъ стремится, нацутствуемый ложнымъ чувствомъ самоохраненія, удержатъ себя, и истинною ставитъ свое лицо; подтверждая только свое тождество съ собою, человѣкъ непременно распадается со всей вселенной, со всѣмъ тѣмъ, что онъ чувствуетъ непринадлежащимъ своему я. Это неминуемое, мучительное послѣдствіе логическаго эгоизма. И съ него собственно начинается логическое движеніе, стремящееся выйти изъ скорбнаго распадѣнія; оно возвращаетъ человѣка изъ этой антиноміи къ гармоніи, но уже не тѣмъ, какимъ онъ вышелъ. Человѣкъ начинаетъ съ непосредственнаго признанія единства бытія съ *воззрѣніемъ* и оканчиваетъ вѣдѣніемъ единства бытія и мышленіемъ. Распадѣніе человѣка съ природой, какъ вбиваемый кливъ, разбиваетъ мало-по-малу все на противоположныя части, даже самую душу человѣка,—это *divida et impere* логики, путь къ истинному и вѣчному сочетанію раздвоеннаго.

Мы видѣли, что человѣкъ все, встрѣченное имъ, все, данное чувственной достовѣрностью, опытомъ, отвлекъ отъ переходимости, отъ ускользающей односторонности своимъ словомъ. Человѣкъ называетъ только всеобщее,—частность единичную, случайную, *эту* онъ не можетъ назвать: для нея онъ долженъ употребить нисшее средство указать пальцемъ. Предметъ знанія съ самаго начала, такимъ образомъ, отрѣшенъ отъ непосредственнаго бытія и сохраняетъ свою вѣсущность относительно мышленія уже какъ обобщенный. Этотъ обобщенный предметъ составляетъ непосредственность *второго порядка*; человѣкъ понимаетъ чуждость его и стремится распутить возродившійся предметъ, вѣсненный ему опытомъ; онъ хочетъ узнать его, совлечь съ него вторую непосредственность и равно не сомнѣвается ни въ его чуждости, ни въ своей возможности понять его, какъ онъ есть. Когда явилась потребность *узнать* предметъ, то очевидно, что разумѣніе уже считало его чуждымъ себѣ: это предположеніе незнанія; на чемъ же основывается достовѣрность знанія, возможность его, когда предметъ совершенно намъ чуждъ? Это два предположенія несовмѣстныя, но крайней мѣрѣ, не обуславливающія другъ друга. Вы можете назвать даже иллогизмомъ эту врожденную вѣру въ возможность истиннаго вѣдѣнія, идущаго рядомъ съ вѣрою въ чуждость природы; но не забудьте, что въ этомъ иллогизмѣ лежалъ протестъ противъ отчужденія природы, свидѣтельство, что оно не въ самомъ дѣлѣ такъ, залогъ будущаго примиренія. Исторія философіи—повѣсть, какъ этотъ иллогизмъ разрѣшился въ высшей истинѣ. При началѣ логическаго процесса,

предметъ остается страдательнымъ и выступаетъ лицо, трудящееся надъ нимъ, посредствующее его бытіе съ своимъ умомъ, озабоченное удержать предметъ, какимъ онъ есть, не вовлекая его въ процессъ знанія; но конкретный, живой предметъ его уже оставить, у него передъ глазами отвлеченія, тѣла, а не живыя существа, онъ старается мало-по-малу придать все недостающее абстракціями, но онѣ долго остаются такими, безпрерывно указывая ему своими недостатками дальнѣйшій путь. Этотъ путь намъ легко уже прослѣдить въ исторіи философіи.

Стоитъ ли говорить что-нибудь въ опроверженіе плоскаго и нелѣпнаго мнѣнія о безсвязности и шаткости философскихъ системъ, изъ которыхъ одна вытѣсняетъ другую, всѣ всѣмъ противорѣчатъ, и каждая зависитъ отъ личнаго произвола? — Нѣтъ. У кого глаза такъ слабы, что за наружной формой явленія они не могутъ разглядѣть просвѣчивающее внутреннее содержаніе, не могутъ разглядѣть за видимымъ многообразіемъ — невидимое единство, тому, что ни говори, исторія науки будетъ казаться сбродомъ мнѣній разныхъ мудрецовъ, разсуждающихъ каждый на свой салтыкъ о разныхъ поучительныхъ и наставительныхъ предметахъ и имѣвшихъ скверную привычку непремѣнно противорѣчить учителю и браниться съ предшественниками: это атомизмъ, матеріализмъ въ исторіи. Съ этой точки зрѣнія не одно развитіе науки, а вся всемірная исторія кажется дѣломъ личныхъ выдумокъ и страннаго сплетенія случайностей, — взгляды анти-религіозный, принадлежавшій нѣкоторымъ изъ скептиковъ и недоученой толпѣ. Все сущее во времени имѣетъ случайную, произвольную закраину, выпадающую за предѣлы необходимаго развитія, не вытекающую изъ понятія предмета, а изъ обстоятельствъ, при которыхъ оно одѣйстворяется: только эту закраину, эту перехватывающую случайность и умѣютъ разглядѣть нѣкоторые люди, и рады, что во вселенной такой же безпорядокъ, какъ въ ихъ головѣ. Ни одинъ маятникъ не удовлетворяетъ общей формулѣ, которая выражаетъ законъ его размаховъ, ибо въ формулу не вводится случайный вѣсъ пластинки, на которой онъ виситъ, ни случайное треніе: ни одинъ механикъ, однако, не усомнился въ истинѣ общаго закона, снявшаго въ себѣ случайныя возмущенія и представляющаго вѣчную норму размаховъ. Развитіе науки во времени сходно съ практическимъ маятникомъ: оптомъ оно совершаетъ нормальный законъ (который здѣсь во всей алгебраической всеобщности дается логикой), но въ частности вездѣ видны видоизмѣненія временныя и случайныя. Часовщикъ-механикъ можетъ, съ своей точки зрѣнія, не забывая о треніи, имѣть въ виду общій законъ, а часовщикъ-работникъ только и видитъ беззаконное отступленіе частныхъ маятниковъ.

Разумѣется, что историческое развитіе философіи не могло имѣть ни строгой хронологической послѣдовательности, ни сознанія, что каждое вновь являющееся воззрѣніе—дальнѣйшее развитіе прежняго. Нѣтъ, тутъ было широкое мѣсто свободѣ духа, даже свободѣ личностей, увлеченныхъ страстями; каждое воззрѣніе являлось съ притязаніемъ на безусловную, конечную истину, — оно отчасти и было такъ въ отношеніи къ данному времени; для него не было высшей истины, какъ та, до которой онъ достигъ; если-бъ мыслители не считали своего понятія безусловнымъ, они не могли бы остановиться на немъ, а искали бы иное; наконецъ, не надобно забывать, что всѣ системы подразумѣвали, провидѣли гораздо болѣе, нежели высказали; неловкій языкъ ихъ измѣнялъ имъ. Сверхъ сказаннаго, каждый дѣйствительный шагъ въ развитіи окруженъ частными отклоненіями; богатство силъ, броженіе ихъ, индивидуальности, многообразіе стремленій проростають, такъ сказать, во всѣ стороны; одинъ избранный стебель влечетъ соки далѣе и выше, — но современное сосуществованіе другихъ бросается въ глаза. Искать въ исторіи и въ природѣ того внѣшняго и внутренняго порядка, который вырабатываетъ себѣ чистое мышленіе въ своемъ собственномъ элементѣ, гдѣ внѣшность не препятствуетъ, куда случайность не восходитъ, куда самая личность не принята, гдѣ нѣчему возмутить стройнаго развитія,—значить вовсе не знать характера исторіи и природы. Съ такой точки зрѣнія, разные возрасты одного лица могутъ быть приняты за разныхъ людей. Посмотрите, съ какимъ разнообразіемъ, съ какою разметанностью во всѣ стороны животное царство восходитъ по единому первообразу, въ которомъ исчезаетъ его многообразіе; посмотрите, какъ каждый разъ, едва достигнувъ какой-нибудь формы, родъ разсыпается во всѣ стороны едва-исчислимыми варіаціями на основную тему, иные виды забѣгаютъ, другіе отлетаютъ, третьи составляютъ переходы и промежуточные звенья, и весь этотъ беспорядокъ не скрываетъ внутренняго своего единства для Гёте, для Жоффруа Сентъ-Илера: онъ только непонятенъ для неопытнаго и поверхностнаго взгляда.

Впрочемъ, даже и поверхностный взглядъ въ развитіи мышленія найдетъ собственно одинъ рѣзкій и трудно понятный переломъ: мы говоримъ о переходѣ древней философіи въ новую: ихъ сочлененіе схоластикой, ихъ необходимое соотношеніе не бросается въ глаза,—въ этомъ сознаться надобно; но если мы допустимъ (чего вовсе не было), что тутъ было обратное шествіе, можно ли отрицать, что вся древняя философія — одно замкнутое, художественное произведеніе цѣлости и стройности поразительной? можно ли отрицать, что, въ своемъ отношеніи, философія новѣйшихъ временъ, рожденная изъ расторженной и двуна-

чальной жизни среднихъ вѣковъ и повторившая въ себѣ эту расторженность при самомъ появленіи своемъ (Декартъ и Бэконъ), правильно устремилась на развитіе до послѣдней крайности обоихъ началъ, и, дойдя до конечнаго слова ихъ, до грубѣйшаго матеріализма и отвлеченнѣйшаго идеализма,—прямо и величественно пошла на снятіе двуначалія высшимъ единствомъ? Древняя философія пала оттого, что рѣзко и глубоко она никогда не распадалась съ міромъ, оттого, что она не извѣдала всей сладости и всей горечи отрицанія, не знала всей мощи духа человеческого, сосредоточеннаго въ себѣ, въ одномъ себѣ. Новая философія, съ своей стороны, была лишена того реального, жизненнаго, слитно-обнимающаго форму и содержаніе античнаго характера: она теперь начинаетъ пріобрѣтать его,—и въ этомъ сближеніи ихъ раскрывается на самомъ дѣлѣ ихъ единство, оно отличается въ самой недостаточности ихъ другъ безъ друга. *Одна* истина занимала всѣ философіи, во всѣ времена; ее видѣли съ разныхъ сторонъ, выражали разнo, и каждое созерцаніе сдѣлалось школой, системой. Истина, проходя рядомъ одностороннихъ опредѣленій, многосторонно опредѣляется, выражается яснѣе и яснѣе; при каждомъ столкновеніи двухъ воззрѣній, отпадаетъ плева за плевою, скрывающія ее. Фантазіи, образы, представленія, которыми старается человекъ выразить свою заповѣдную мысль, улетучиваются, и мысль мало-по-малу находитъ тотъ глаголъ, который ей принадлежитъ. Нѣтъ философской системы, которая имѣла бы началомъ чистую ложь или нелѣпость; начало каждой — дѣйствительный моментъ истины, сама безусловная истина, но обусловленная, ограниченная одностороннимъ опредѣленіемъ, не исчерпывающимъ ея. Когда вамъ представляется система, имѣвшая корни и развитіе, имѣвшая свою школу съ нелѣпостью въ основаніи, —будьте настолько полны благочестія и уваженія къ разуму, чтобъ, прежде осужденія, посмотреть не на формальное выраженіе, а на смыслъ, въ которомъ сама школа принимаетъ свое начало, и вы непременно найдете—одностороннюю истину, а не совершенную ложь. Оттого каждый моментъ развитія науки, проходя, какъ односторонній и временной, непременно оставляетъ и вѣчное наслѣдіе. Частное, одностороннее волнуется и умираетъ у подножія науки, непуская въ нее вѣчный духъ свой, вдыхая въ нее свою истину. Призваніе мысленія въ томъ и состоитъ, чтобъ развивать вѣчное изъ временнаго!

Въ слѣдующемъ письмѣ поговоримъ о Греціи. Эпиграфомъ къ греческому мысленію прекрасно служить извѣстное изреченіе Протагора: «Человѣкъ — мѣрило всѣмъ вѣщамъ: въ немъ опредѣленіе, почему сущее существуетъ и несущее не существуетъ».

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Греческая философія.

Востокъ не имѣлъ науки; онъ жилъ фантазіей и никогда не устанавливался настолько, чтобъ привести въ ясность свою мысль, тѣмъ менѣе развилъ ее наукообразно; онъ такъ расплылся въ безконечную ширь, что не могъ дойти до какого-нибудь самоопредѣленія. Востокъ блеститъ ярко, особенно издали; но человѣкъ тонетъ и пропадаетъ въ этомъ блескѣ. Азія—страна дисгармоніи, противорѣчій; она нигдѣ, ни въ чемъ не знаетъ мѣры,—а мѣра есть главное условіе согласнаго развитія. Жизнь восточныхъ народовъ проходила или въ броженіи страшныхъ переворотовъ, или въ косномъ покоѣ однообразнаго повторенія. Восточный человѣкъ не понималъ своего достоинства; оттого онъ былъ или въ прахѣ валяющійся рабъ, или необузданный деспотъ; такъ и мысль его была или слишкомъ скромна, или слишкомъ высокомѣрна; она—то перехватывала за предѣлы себя и природы, то, отрекаясь отъ человѣческаго достоинства, погружалась въ животность. Религіозная и гностическая жизнь азіатцевъ полна безпкойнымъ метаньемъ и мертвою тишиной; она колоссальна и ничтожна, бросаетъ взгляды поразительной глубины и ребяческой тупости. Отношеніе личности къ предмету провидится, но неопредѣленно; содержаніе восточной мысли состоитъ изъ представленій, образовъ, аллегорій, изъ самаго щепетильнаго раціонализма (какъ у китайцевъ) и самой громадной поэзіи, въ которой фантазія не знаетъ никакихъ предѣловъ (какъ у индійцевъ). Истинной формы Востокъ никогда не умѣлъ дать своей мысли и не могъ, потому что онъ никогда не уразумѣвалъ содержанія, а только различными образами мечталъ о немъ. Объ естествовѣдѣніи и думать нечего: его взглядъ на природу приводилъ къ грубѣйшему пантеизму, или къ совершеннѣйшему презрѣнію природы. Среди хаоса иносказаній, мѣтовъ, чудовищныхъ фантазій, блестятъ по временамъ яркія мысли, захватывающія душу, и образы чуднаго изящества; они искупаютъ многое и надолго держатъ душу подъ своимъ чарамъ. Къ числу ихъ принадлежитъ превосходное мѣсто, избранное нами эпиграфомъ ¹⁾. Его приводитъ Колебрукъ изъ индусскихъ философскихъ книгъ. Что можетъ быть граціознѣе этого образа пестрой, страстной баядеры,

¹⁾ Въ началѣ всѣхъ писемъ.

отдающейсѣ очамъ зрителя? Она певольно напоминаетъ иную баядеру, пляшущую и увлекающую Магадеви. Стихи, выписанные нами изъ Гёте, будто замыкають первый образъ: по индійское возрѣніе до этого не дошло бы: оно остановилось въ своемъ мнѣніи на томъ, что опредѣленное, сущее только назначено *минувать*; оно не увлекло ни Магадеви, ни брамина какого-нибудь, — баядера показалась и ушла; у Гёте она исторгнута во всей блестящей красотѣ своей отъ гибели: въ вѣчной мысли есть мѣсто и временному—

Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor!

Первый свободный шагъ въ элементъ мышленія совершился, когда человѣкъ сталъ на благородную европейскую почву, когда онъ выдвинулся изъ Азии: Іонія — начало Греціи и конецъ Азии. Лишь только люди устроились на этой новой землѣ, какъ начали порывать пеленки, связывавшія ихъ на Востокъ; мысль стала сосредоточиваться изъ фантастической распушенности, искать выхода изъ смутнаго стремленія самоопредѣленіемъ, самообузданіемъ. Въ Греціи человѣкъ ограничивается для того, чтобъ развить всю безграничность своего духа, дѣлается опредѣленнымъ для того, чтобъ выйти изъ неопредѣленного состоянія дремоты, въ которое повергаетъ человѣка безхарактерная многосторонность. Вступая въ міръ Греціи, мы чувствуемъ, что на насъ вѣетъ роднымъ воздухомъ,—это Западъ, это Европа. Греки первые начали протрезвляться отъ азіатскаго опьяненія и первые ясно посмотрѣли на жизнь, нашлись въ ней; они совершенно дома на землѣ—покойны, свѣтлы, люди. Въ «Иліадѣ», въ «Одиссее» мы можемъ узнать знакомое, родственное, а не въ «Магабгаратѣ», не въ «Саконтаѣ». Мнѣ всякій разъ становится тяжело и неловко, когда читаю восточныя поэмы: это не та среда, въ которой свободно дышетъ человѣкъ; она слишкомъ просторна и въ то же время слишкомъ узка; ихъ поэмы — давящія сновидѣнія, послѣ которыхъ человѣкъ просыпается, задыхаясь въ лихорадочномъ состояніи, и все еще ему кажется, что онъ ходитъ по косому полу, около котораго вертятся стѣны и мелькають чудовищные образы, не несущіе ничего утѣшительнаго, ничего родного. Чудовищныя фантазіи восточныхъ произведеній были такъ же противны грекамъ, какъ чудовищные размѣры какихъ-нибудь мемноновъ въ семьдесятъ метровъ ростомъ: греки никогда не смѣшивали высокаго съ огромнымъ, изящнаго съ подавляющимъ; греки вездѣ побѣждали отвлеченную категорію количества — на поляхъ марафонскихъ, въ статуяхъ Праксителя, въ герояхъ поэмъ и въ свѣтлыхъ образахъ Олимпійцевъ. Они постигли, что тайна изящнаго — въ вы-

сокой соразмѣрности формы и содержанія внутренняго и внѣшняго; они поняли, что въ природѣ все развитое блещитъ не огромностью чрева, а, совсѣмъ напротивъ, сосредоточивается до крайне-необходимаго соотвѣтствія наружнаго внутреннему; гдѣ наружное слишкомъ велико—внутреннее бѣдно: моря, горы, степи велики, а конь, олень, голубь, райская птичка малы. Мысль высокой, музыкальной, ограниченной, и именно потому безконечной, соразмѣрности—чуть ли не главная мысль Греціи, руководившая ее во всемъ; она-то проявилась въ томъ изящномъ созвучіи всѣхъ сторонъ афинской жизни, которое поражаетъ насъ своею художественною прелестью. Идея красоты была для грековъ безусловною идеею; она снимала въ самомъ дѣлѣ противоположность духа и тѣла, формы и содержанія; изсѣкая свои статуи, грекъ всякій разъ изсѣкалъ примирительное сочетаніе тѣхъ началъ, которыя необузданно подавались разпаленной фантазіи на Востокъ.

Міръ греческій, въ извѣстномъ очертаніи, изъ котораго онъ не могъ выйти, не перейдя себя, былъ чрезвычайно полонъ; у него въ жизни была какая-то *слитность*, то неумовимое сочетаніе частей, та гармонія ихъ, предъ которыми мы склоняемся, созерцая прекрасную женщину; до этой слитности, до этой виртуозности въ жизни, наукъ, учрежденіяхъ новый міръ не дошелъ: это тайна, которую онъ не умѣлъ похитить изъ греческихъ саркофаговъ. Есть люди, которымъ греческая жизнь кажется, именно по соразмѣрности своей, по родству съ природой, по юношеской ясности, плоскою и неудовлетворительною; они пожимаютъ плечами, говоря о веселомъ Олимпѣ и его разгульныхъ жителяхъ; они презираютъ грековъ за то, что греки наслаждались жизнью въ то время, когда надобно было мѣтть и мучить себя мнимыми страданіями; они не могутъ забыть, что греки равно поклонялись свѣтлому челу красавицы и циническому поступку гражданина, тѣлесной ловкости атлета и діалектикѣ софиста: они ставятъ гораздо выше ихъ мрачныхъ египтянъ, даже персовъ; объ Индіи и говорить нечего: съ Шлегелевой легкой руки, лѣтъ двадцать не знали границъ пидопчитанію. Это ничего не доказываетъ; вы можете еще такихъ людей найти, которымъ вообще все здоровое противно,—такія искаженныя организациі, которыя только неестественное наслажденіе считаютъ за истинное; это дѣло психической патологии. Для насъ, напротивъ, все величіе греческой жизни—въ ея простотѣ, скрывающей глубокое пониманіе жизни; она спокойно у нихъ течетъ между двумя крайностями—между погруженіемъ въ чувственную непосредственность, въ которой теряется личность, и потерей дѣйствительности во всеобщихъ отвлеченіяхъ. Возрѣніе грековъ намъ кажется матеріальнымъ въ сравненіи съ

схоластическимъ дуализмомъ и съ трансцендентальнымъ идеализмомъ нѣмцевъ: въ сущности его скорѣе должно назвать реализмомъ (въ широкомъ смыслѣ слова), и этотъ реализмъ у нихъ является прежде всѣхъ мудрецовъ и учений. Вѣра въ предопредѣленіе, въ судьбу есть вѣра эмпирич., реализма; она основана на безусловномъ признаніи дѣйствительности міра, природы, жизни: «то, что есть, не случайно; оно предопредѣлено, оно неминуемо, оно должно быть». Такая вѣра въ судьбу есть, съ тѣмъ вмѣстѣ, вѣра въ событіе, въ *разумъ внѣшняго*. Мысль (легко освободившаяся отъ мнѳовъ политеизма) съ первыхъ шаговъ должна была дойти до созерцанія судьбы закономъ животворящимъ, началомъ (нусъ) всего сущаго: а на этомъ началѣ легко воздвигалась вся великая наука ихъ.

Мышленіе грековъ, никогда недоходившее до послѣдней крайности распадѣнія съ природой или существующимъ, до непримиримаго противорѣчія безусловнаго съ условнымъ, не имѣло зато въ себѣ ничего судорожнаго: оно не считало своего дѣла святотатственнымъ обличеніемъ тайны, преступнымъ питаніемъ заповѣднаго, чернокнижіемъ, нечистой связью съ темной силою: напротивъ, оно походило на ясный взглядъ проснувшагося человѣка, который радостно приводитъ въ сознаніе окружающій міръ и съ перваго шага понимаетъ, что онъ для того и призванъ, чтобъ понять и возвести въ мысль: интересъ его безкорыстенъ, чистъ, и потому онъ смѣлъ, гордъ: онъ не трепещетъ, какъ адептъ среднихъ вѣковъ,—этотъ тать, подсматривающій тайну природы; самыя цѣли ихъ розны: одинъ хочетъ знать, хочетъ истины; другой власти надъ естествомъ: для одного, природа имѣетъ объективное значеніе, а другой только того и добивается, чтобъ передѣлать ее, чтобъ изъ камня было золото, чтобъ земля была прозрачна. Разумѣется, въ этомъ себялюбивомъ притязаніи видно свое величіе эпохи, и въ уродливой формѣ средне-вѣковой алхиміи есть сторона, по которой адептъ выше грека. Духъ не сталъ еще самъ предметомъ для грека; онъ еще не довѣлъ себѣ безъ природы и, стало-быть, онъ ее не ставилъ, а принималъ ее, какъ роковое событіе: ключъ къ истинѣ не лежалъ внутри человѣка: этимъ-то ключомъ и считалъ себя алхимикъ. Грекъ не могъ отдѣлаться отъ внѣшней необходимости: онъ нашелъ средство быть нравственно-свободнымъ, признавая ее; этого мало: надобно было самую судьбу превратить въ свободу, надобно было все побѣдить разуму; надобно было выстрадать эту побѣду: но греки не умѣли страдать; они принимали легко самыя тяжелыя вопросы. Неоплатоники поняли это и пошли по иному пути; то, чего не доставало греческому воззрѣнію, сдѣлалось началомъ и точкою отправления,—но ужъ было поздно. Съ неоплато-

никовъ начался идеализмъ, какъ господствующее направленіе, какъ единое истинное мышленіе; мысль стала иначе, утратила дѣйствительность и реализмъ истинно-греческой философіи. Соединеніе этихъ сторонъ, быть можетъ, важнѣйшая задача грядущей науки ¹⁾.

Начало знанія есть сознательное противоположеніе себя предмету и стремленіе снять эту противоположность мыслью. Іонійская философія представляетъ намъ въ богатомъ и широкомъ развитіи этотъ моментъ. Пробужденное сознаніе останавливается предъ природой и ищетъ подчинить ея многообразіе единству, чему-нибудь всеобщему, царящему надъ частнымъ. Это первая потребность человѣка, когда онъ просыпается отъ неопредѣленныхъ сновидѣній чувственно-непосредственнаго возрѣнія, когда онъ перестаетъ удовлетворяться фантазіями и, недовольный, жаждетъ не образовъ, а пониманія: но этого всеобщаго единства человѣкъ не ищетъ сначала ни въ себѣ, ни въ духовномъ элементѣ вообще, а въ самомъ предметѣ, и притомъ какъ сущаго, — онъ еще такъ привыкъ къ непосредственности, что не можетъ разомъ оторваться отъ нея. Предметъ его знанія также непосредственный, данный эмпиріей — природа. Для того, чтобъ себя поставить предметомъ, надобно много прожить мыслью, надобно, между прочимъ, усомниться въ полной дѣйствительности природы. Практически, безсознательно человѣкъ поступалъ, какъ власть имущій надъ окружающимъ міромъ или, лучше, надъ окружающими его частностями, — отрицалъ ихъ самобытность; но теоретически, общимъ образомъ, сознательно онъ не совершилъ еще этого шага. Напротивъ, у человѣка есть врожденная вѣра въ эмпиризмъ и въ природу, такъ, какъ врожденная вѣра въ мысль; отдаваясь этой вѣрѣ въ физическій міръ, человѣкъ въ немъ ищетъ «начала всѣхъ вещей», т. е. единства, изъ котораго все происходитъ, къ которому все стремится, — всеобщее, обнимающее всѣ частности. Откуда было іонійцамъ взять такую дерзость, чтобъ обратиться къ груди своей и въ ней искать этого начала? Вспомните, что едва Гёте чрезъ тысячелѣтіе осмѣлился

¹⁾ Излагая главные моменты греческой философіи, я слѣдовалъ «Лекціямъ Гегеля объ исторіи древней философіи». Всѣ мѣста, цитованныя мною изъ Платона, Аристотеля, взяты оттуда. Исторія древней философіи у него отдѣлана до высокаго художественнаго совершенства; кажется, нельзя того же сказать объ его исторіи новой философіи: она бѣдна и мѣстами односторонняя, даже пристрастная (напр., какъ мало оцѣненъ подвигъ Канта!) Знакомые съ германской философіей увидятъ въ самомъ изложеніи древней философіи нѣкоторыя довольно важныя отступленія отъ «Лекцій объ исторіи философіи». Я во многихъ случаяхъ не хотѣлъ повторять чисто абстрактныхъ и пропитанныхъ идеализмомъ мнѣній германскаго философа, тѣмъ болѣе, что въ этихъ случаяхъ онъ былъ невѣренъ себѣ и платилъ дань своему вѣку.

сдѣлать вопросъ: «зерно природы не лежитъ ли въ сердцѣ чело-
вѣка»? — и его не поняли современники! Іонійцы съ отроческою
простотою въ самой природѣ искали *начала*; они его искали, какъ
сущее между существующимъ, какъ высшую вещественность,
составляющую основу прочихъ вещей; ихъ непривыкнувшій къ
отвлеченіямъ умъ не могъ иначе удовлетворяться, какъ естест-
венною видимостью начала. Ни знаніе, ни мышленіе никогда не
начинаются съ полной истины,—она ихъ цѣль; мышленіе было
бы нецужно, если-бъ были готовы истины,—ихъ нѣтъ; но раз-
витіе истины составляетъ ея организмъ, безъ котораго она не-
дѣйствительна. Мышленіемъ истина развивается изъ бѣднаго,
отвлеченнаго, односторонняго опредѣленія до самаго полнаго, кон-
кретнаго, многосторонняго, достигая этой полноты рядомъ само-
опредѣленій, непрерывно углубляющихся въ разумъ предмета.
Первое, начальное опредѣленіе, самое внѣшнее, самое неразвитое—
зерно, возможность, тѣсная сосредоточенность, въ которой потеряны
различія; но съ каждымъ шагомъ дальнѣйшаго самоопредѣленія,
истина находитъ болѣе и болѣе органовъ для своего идеальнаго
бытія: такъ, разумъ въ новорожденномъ становится дѣйствитель-
ностью только тогда, когда органы младенца достаточно разовь-
ются, окрѣпнутъ, возмужаютъ, когда его мозгъ сдѣлается спо-
собенъ вынести разумъ. Но гдѣ же въ природѣ, въ этомъ непре-
рывномъ круговоротѣ измѣненій, въ которомъ двухъ разъ не
встрѣтимъ однѣхъ и тѣхъ же черты, гдѣ въ ней найти всеобщее на-
чало, по крайней мѣрѣ такую сторону ея, которая всего ближе
выражала бы мысль единства и покоя въ безпокойномъ много-
различіи физическаго міра? Ничего не могло быть естественнѣе,
какъ принятіе *воды* за это начало: она не имѣетъ опредѣлен-
ной, стоячей формы; она вездѣ, гдѣ есть жизнь, она вѣчное дви-
женіе и вѣчное спокойствіе—

Wasser umfasst
Ruhig das All!

Безъ сомнѣнія, Фалесъ, признавая началомъ всему воду, ви-
дѣлъ въ ней болѣе, нежели *эту* воду, текущую въ ручьяхъ. Для
него, вода не только вещество, отличное отъ другихъ веществъ
земли, воздуха, но вообще текучій растворъ, въ которомъ все
распускается, изъ котораго все образуется: въ водѣ оседаетъ
твердое; изъ нея испаряется легкое; для Фалеса она, вѣроятно,
была и образъ мысли, въ которой снято и хранится все сущее:
только въ этомъ значеніи—широкомъ, полномъ мысли—эмпири-
ческая вода, какъ начало, получаетъ истинно-философскій смыслъ.
Вода Фалеса—существующая стихія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мысль—
представляетъ первое мерцаніе и просвѣчиваніе идеи сквозь гру-

бую физическую кору, отъ которой она еще не освободилась. Это дѣтское провидѣніе единства бытія и мышленія, это фетишизмъ въ сферѣ логики и фетишизмъ превосходный. Вода—спокойная, глубокая среда, вѣчно дѣятельная раздвоеніемъ (сгущаясь, испаряясь),—вѣрнѣйшій образъ понятія, расторгающагося на противоположныя опредѣленія и служащаго связью имъ. Само собою разумѣется, что вода не соответствуетъ тому понятію всеобщей сущности, которое съ нею сопрягалъ Фалесъ; но здѣсь не такъ важно истинное понятіе воды, какъ именно *его* понятіе о водѣ: изъ *его* понятія о водѣ мы узнаемъ *его* понятіе о началѣ.

Во время неразвитости мышленія, методы, языка, подъ односторонними опредѣленіями кроется несравненно болѣе, нежели сколько лежитъ въ строгомъ прозаическомъ смыслѣ высказанныхъ словъ. Мы часто будемъ видѣть, какъ изъ-за неловкаго выраженія проглядываетъ глубокое созерцаніе, и потому весьма важно усвоить себѣ смыслъ, въ которомъ сама система понимала свои начала. Сказать просто: Фалесъ считаетъ всему началомъ воду, а Пифагоръ число, не заботясь о томъ, что для одного представляла вода, а для другого число, значить выдать ихъ за полусумасшедшихъ или за тупоумныхъ. Выраженіе «глоссологія» измѣняетъ имъ; они *болѣе* мысли хотятъ втѣснить въ образъ, ими избранный, нежели онъ можетъ впитать въ себя; но отъ этого нельзя отрицать или пренебрегать тою стороною ихъ мысли, которая, если не нашла достодолжнаго выраженія, то навѣрное оставила мощный слѣдъ. Такъ, въ животныхъ низшей организаціи замѣчаемъ мы указанія, намеки, такъ сказать, на тѣ части и органы, которые вполне развиваются только въ высшихъ животныхъ; ненужная, повидимому, неразвитость есть непреложное условіе будущаго совершенства. Каждая школа подъ своимъ началомъ разумѣла болѣе формально-высказаннаго, и потому считала свое начало безусловнымъ, себя въ обладаніи всею истиною,—и была отчасти права; напротивъ, слѣдующее за ней возрѣніе видитъ обыкновенно только-формально-высказанное и стремится снять односторонность, пзъявляющую притязаніе на всеобщность, какой-нибудь новой односторонностью съ тѣмъ же притязаніемъ; завязывается безпощадная борьба, и нападающій тупо не догадывается, что въ самомъ дѣлѣ проходящій моментъ обладалъ истиною, но въ несоответственной формѣ; недостатки же формы замѣняли живымъ духомъ своимъ. Съ своей стороны, проходящій моментъ также мало понимаетъ, что выталикивающій его имѣетъ права на то во имя той стороны истины, которою онъ обладаетъ. Эмпирическимъ носителемъ іонійской мысли о единствѣ не была одна вода; она такъ рѣзко индивидуальна, что не можетъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ все-

общаго начала. Воздухъ, какъ по превосходству безвидный, разрѣженный, былъ также принимаемъ нѣкоторыми изъ іонійцевъ за начало. Наконецъ, они сдѣлали попытку совѣсть оторваться отъ естественной сущности и перейти въ сферу тѣхъ отвлеченій, которыя составляютъ пропилеи логики: они отрицали прямо конечное въ пользу безконечной основы въ родѣ матеріи, вещества пынѣшнихъ физиковъ: безконечное Анаксимандра было именно вещество, лишенное всякаго качественного опредѣленія: таковъ былъ первый, полудѣтскій, но твердый шагъ науки. Расходящіеся гометрическія представленія приводятся къ единству, единство это ищется въ природѣ, самобытность частнаго не признается состоятельной предъ всеобщимъ началомъ, какъ бы это начало ни было опредѣлено: такое подчиненіе единству и всеобщему—настоящій элементъ мышленія. Немного дальновидности надобно было имѣть, чтобъ понять, что противъ этого единства политеизмъ не устоитъ. Судьба Олимпа была рѣшена въ ту минуту, какъ Фалесъ обратился къ природѣ: отыскивая въ ней истину, онъ, какъ и другіе іонійцы, выразилъ свое воззрѣніе независимо отъ языческихъ представленій. Жрецы поздно выдумали наказывать Анаксагора и Сократа: въ элементъ, въ которомъ двигались іонійцы, лежалъ зародышъ смерти элевзинскихъ и всѣхъ языческихъ таинствъ. Кто упрекнетъ іонійцевъ въ томъ, что они, принимая за начало эмпирическую стихію, показали недостаточное понятіе объ элементѣ мысли,—будетъ правъ; но, съ другой стороны, пусть онъ оцѣнитъ чисто реальный греческій тактъ, заставившій ихъ искать свое начало въ самой природѣ, а не внѣ ея, искать безконечное въ конечномъ, мысль въ бытіи, вѣчное во временномъ. Почва наукообразная была приобретена ими, *сущее начало* не могло на ней удержаться: но она была способна къ развитію: это была начальная ступень: ступившему на нее раскрывалась цѣлая лѣстница.

Прежде, нежели мышленіе перешло отъ чувственныхъ и сущихъ опредѣленій безусловнаго къ опредѣленіямъ отвлеченно-логическимъ, оно естественнымъ образомъ должно было попытаться выразить безусловное промежуточнымъ моментомъ, найти истину между крайностями сущаго и отвлеченнаго. Эта готовность осуществить всякую возможность принадлежить безпокойному и вѣчно дѣлательному характеру жизни, какъ въ историческомъ мірѣ, такъ и въ физическомъ: органическое развитіе вещества не оставляетъ втуне ни одной возможности, не призвавъ ее къ жизни. Между чувственными опредѣленіями и опредѣленіями чисто логическими, Пифагоръ нашелъ нѣчто постоянное, связующее ихъ, принадлежащее имъ обомъ, не чувственное и не мысль, число. Смыслъ и, слѣдственно, крѣпость мысли пифагорейской очевидна: все

сущее, принимаемое обыкновенно за дѣйствительность, опрокинуто, и на мѣсто эмпирическаго существованія поднято и признано за истину нѣчто невещественное, мыслимое, но притомъ далеко не субъективное, а, такъ сказать, мыслимое, снимаемое съ вещественнаго. «Пифагорейцы, говоритъ Аристотель, принимали устройство вселенной за согласную систему чиселъ и ихъ отношеній». Они исторгли *постоянное отношеніе* изъ вѣчной переменяемости феноменальнаго бытія, и оно въ самомъ дѣлѣ царить надъ всѣмъ сущимъ. Математическое міросозерцаніе, основанное пифагорейцами и получившее богатое развитіе въ новѣйшія времена, потому и сохранилось черезъ всѣ вѣка, что въ немъ есть сторона глубоко-истинная; математика стоитъ между логикой и эмпиріей, въ ней уже признана объективность мысли и логичность событія; ея враждебное отношеніе къ философіи формально не имѣетъ никакого основанія. Само собою разумѣется, что отношеніе предметовъ, моментовъ, фазъ, гармоническіе законы, ихъ связующіе, ряды, которыми они развиваются, не исчерпываютъ *всего* содержанія ни природы, ни мысли. Пифагорейцы не замѣчали, что подъ числомъ разумѣли несравненно болѣе, нежели сколько лежало въ понятіи числа; они не замѣчали, что въ числѣ остается нѣчто мертвое, безстрастное, пренебрегающее конкретнымъ содержаніемъ, равнодушная мѣра. Для нихъ порядокъ, согласіе, гармоническое числовое сочетаніе удовлетворяли всѣмъ требованіямъ, но удовлетворяли потому, что они собственно не останавливались на чисто-математическихъ опредѣленіяхъ; геніальность учителя и пламенная фантазія учениковъ приносили всю полноту содержанія, недостававшего началамъ. Это иллогическое дополненіе мы постоянно будемъ встрѣчать во всей греческой философіи; это, такъ сказать, перехватывающая субъективность генія грековъ, а съ другой стороны—неспособность ихъ къ чистымъ отвлеченіямъ. На этой неотрѣшимости грековъ отъ реализма и на провидѣніи истины болѣе, нежели на сознаніи, основана полнота распадѣнія личности съ природой въ древнемъ мірѣ. Число, оставленное само на себя, не могло удержаться на той высотѣ, на которую его поставили пифагорейцы: «оно не носило въ себѣ начала самодвиженія», какъ замѣтилъ Аристотель. Но для нихъ единица была не только ариѳметическая единица, первый членъ, ключъ, рядъ, мѣра,—для нихъ она была, вмѣстѣ съ тѣмъ, безусловнымъ единствомъ, могуществомъ и возможностью самораздвоенія, животворящей монадой, гермафродитомъ, въ себѣ хранящимъ свое раздвоеніе и не теряющимъ своего единства при развитіи въ многообразіе. Они были такъ проникнуты порядкомъ, согласіемъ, гармоніею, числовымъ сочетаніемъ, вездѣсущимъ ритмомъ, что для нихъ вселенная представлялась статико-музыкальнымъ цѣ-

лымъ. И кто откажетъ въ величїи ихъ представленію десяти небесныхъ сферъ, расположенныхъ по строгому порядку, не только въ извѣстномъ отношеніи къ величинѣ и скорости, но и въ музыкальномъ отношеніи; ринутыя въ свое вѣчное движеніе, обтекающія орбиты свои, онѣ издають согласные звуки, сливающіеся въ одинъ величественный, вселенскій хоралъ. Повидимому, удаленное отъ всего поэтическаго, воззрѣніе математики очень близко ко всему фантастическому и мистическому. Безумнѣйшіе мистики всѣхъ вѣковъ опирались на Пифагора и создавали свою науку чиселъ; въ математическомъ воззрѣніи есть что-то сумрачно-величавое, аскетическое, плотоумерщвляющее: оно-то, вмѣсто реальныхъ страстей, и располагаетъ фантазію къ астрологїи, кабалистикѣ, и проч.

Еще шагъ мысли по этому пути обобщенія,—и она должна была порвать послѣднія путы и явиться въ своей области, то есть оторваться не только отъ чувственнаго, отъ числового, но и вообще отъ всякаго дѣйствительнаго опредѣленія,—пожертвовать полнотою многообразія отвлеченному единству всеобщаго. Такой шагъ, съ одной стороны, освобождаетъ мысль отъ всего, ограничивающаго ее, съ другой—ведетъ къ величайшимъ отвлеченностямъ, въ которыхъ все пропадаетъ, въ которыхъ потому и свободно, что пусто. Отрѣзать предметъ отъ односторонности реальныхъ опредѣленій значитъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, дѣлать его неопредѣленнымъ: тѣмъ общѣе сфера, тѣмъ она кажется ближе къ истинѣ, тѣмъ болѣе устранено усложняющихъ односторонностей. На самомъ дѣлѣ не такъ; сдирая плеву за плевой, человѣкъ думаетъ дойти до зерна, а между тѣмъ, снявъ послѣднюю, онъ видитъ, что предметъ совсѣмъ исчезъ; у него ничего не остается, кромѣ сознанія, что это не ничего, а результатъ снятія опредѣленій. Очевидно, что такимъ путемъ до истины не дойдешь. По несчастію, этой очевидности не хотѣли видѣть; напротивъ, обобщая категоріи, очищая предметъ отъ всѣхъ его опредѣленій, качественныхъ и количественныхъ, съ торжествомъ останавливаются на отвлеченнѣйшемъ признаніи тождества его съ собою, и *призракъ* чистаго бытія принимаютъ за истину дѣйствительносущаго: чистое бытіе становится въ родѣ духа, улѣтѣвшаго изъ усопшаго и витающаго надъ трупомъ, безъ силы его оживить. Для логическаго процесса, для феноменологическаго движенія мысли не можетъ быть лучшаго предположенія, лучшей точки отправления, какъ чистое бытіе,—начало не можетъ быть ни опредѣленнымъ, ни имѣющимъ посредства: чистое бытіе именно неопредѣленная непосредственность,—наконецъ, въ началѣ не можетъ быть дѣйствительной истины, а одна возможность ея. Дайте, какое хотите, опредѣленіе, какое хотите, развитіе чистому бытію, оно сдѣлается бытіемъ опредѣленнымъ, дѣйствительнымъ, и измѣнитъ

характеру начала, возможности. Чистое бытіе—пропасть, въ которой потонули всѣ опредѣленія дѣйствительнаго бытія (а между тѣмъ они-то одни и существуютъ), не что иное, какъ логическая абстракція, такъ, какъ точка, линія—математическія абстракціи; въ началѣ логическаго процесса, оно столько же бытіе, сколько небытіе. Но не надобно думать, что бытіе опредѣленное возникаетъ въ самомъ дѣлѣ изъ чистаго бытія,—развѣ изъ понятія рода возникаетъ существующій индивидъ? Мысль начинается съ этихъ абстракцій, и движеніе ея необходимо обличаетъ отвлеченность ихъ и отказывается отъ нихъ всѣмъ дальнѣйшимъ движеніемъ. Мысль въ началѣ логическаго процесса—именно способность отвлеченнаго обобщенія; конечное и опредѣленное достигаетъ въ мысли безконечности, неопредѣленной сначала, но опредѣляющейся цѣлымъ рядомъ формъ, которыя, наконецъ, получаютъ полную опредѣлительность и такимъ образомъ замыкаютъ безконечное и конечное сознательнымъ единствомъ.

Чистое бытіе было принято за истину, за безусловное элеатики: они абстракцію чистаго бытія приняли за дѣйствительность *болѣе дѣйствительную*, нежели *бытіе опредѣленное*, за верховное единство, царящее надъ многообразіемъ. Такое логическое, холодное, отвлеченное единство безотрадно; въ немъ гибнетъ всякое различіе, всякое движеніе; это вѣчный покой, нѣмая безграничность, штиль на морѣ, летаргическій сонъ, наконецъ смерть, небытіе. Въ самомъ дѣлѣ, элеатики отрицали всякое движеніе, не признавали истины многообразія,—это индійскій квіетизмъ въ философіи. Бытіе свидѣтельствуетъ только о томъ, что *оно есть*; меньше, бѣднѣе ничего нельзя сказать о предметѣ, какъ то, что онъ есть,—это повтореніе слова «омъ! омъ!» браминомъ, достигшимъ желанной близости къ Вишну, ставшимъ на краю пропасти, къ которой онъ стремился, чтобъ освободиться отъ своей индивидуальности. Бытію, для того только, чтобъ быть, нѣтъ нужды въ движеніи: для дѣятельности надобно, чтобъ бытію чего-нибудь не доставало, чтобъ оно стремилось къ чему-нибудь, боролось съ чѣмъ-нибудь, чего-нибудь достигало бы. Но то, къ чему можетъ бытіе стремиться, было бы внѣ его,—стало-быть, его не было бы. Элеатики очень послѣдовательно отрицали движеніе и небытіе. «Бытіе, говорилъ Парменидъ, есть, а небытія вовсе нѣтъ». Вѣрные реальному такту грековъ, элеатики не смѣли идти до послѣдняго логическаго вывода; ихъ языкъ не повернулся бы признаться, что чистое бытіе тождественно небытію; какой-то инстинктъ шепталъ имъ, что, какъ хочешь, абстрагируй, но субстрата, но вещества не уничтожишь, что бытіе самобѣднѣйшее его свойство, но зато и самонеотъемлемѣйшее, что его на самомъ дѣлѣ уничтожить нельзя, *некуда дѣтъ*: отвергнуться только можно отъ него, или не узнать его въ видоизмѣненіяхъ.

Въ XVIII столѣтіи, на эту мысль неизмѣнимости вещественнаго бытія попалъ знаменитый Лавуазье. «Всѣхъ вещества, сказали онъ, не можетъ никогда утратиться, количество матеріи постоянно; отвлекаясь отъ качественныхъ измѣненій, мы остаемся при неизмѣнномъ вѣсѣ». На этой эдеатико-левикипповской мысли основываясь, онъ взялъ химическіе вѣсы въ руки,—и вы знаете великіе результаты, до которыхъ онъ и его послѣдователи достигли. Долго удержаться на странной всеобщности чистаго бытія мысль человѣческая не могла. Успокоившись въ отвлеченномъ просторѣ чистаго бытія, нельзя не понять, наконецъ, что этотъ просторъ—совершеннѣйшее безразличіе, безразличіе сходное съ предположеніемъ силы расширительной, дѣйствующей на свободѣ въ шеллинговомъ построеніи физическаго міра: она до того расширяется, не встрѣчая препятствій, что ей нѣтъ: тутъ ужъ поздно ее спасать силой сжимательной. Но дѣло въ томъ, что чистое бытіе, такъ же, какъ и безусловное расширение, вовсе недѣйствительны; это координаты, употребляемыя геометромъ для опредѣленія точки,—координаты, нужныя ему, а не точки: проще: чистое бытіе—подмостка, по которой отвлеченное мышленіе поднимается къ конкретному. Не только небытія вовсе нѣтъ, но и чистаго бытія вовсе нѣтъ,—а есть бытіе, опредѣляющееся, совершающееся въ вѣчно дѣятельномъ процессѣ, котораго отвлеченные и противоположные моменты (бытіе и небытіе), врознь, другъ безъ друга, существуютъ только въ феноменологіи сознанія, а не въ мірѣ эмпирико-дѣйствительномъ: эти моменты, отвлеченные отъ процесса, связующаго ихъ, разбитые,—призрачны, невозможны и истинны, только какъ переходныя ступени логическаго движенія; въ существованіи своемъ, напротивъ, они дѣйствительны, и потому нерасторгаемо-присущи другъ другу. Бытіе дѣйствительное не есть мертвая косность, а безпрерывное возникновеніе, борьба бытія и небытія, безпрерывное стремленіе къ опредѣленности, съ одной стороны, и такое же стремленіе отречься отъ всякой задерживающей положительности.

Геніальное: «все течетъ!» произнеслось Гераклитомъ,—и расплавленный кристаллъ эдеатическаго бытія устремился вѣчнымъ потокомъ. Гераклитъ подчинилъ и бытіе и небытіе —перемѣнѣ, движенію: *все течетъ!* ничто не остается неподвижно, одинаково: все—быстро ли, тихо ли—движется, видоизмѣняясь, превращаясь, колеблясь между бытіемъ и небытіемъ. «Предметы, говоритъ Гераклитъ, похожи на стремящійся потокъ: два раза нельзя наступить въ одну и ту же воду» ¹⁾. Для

¹⁾ Тѣла, говоритъ Лейбницъ, только кажутся постоянными: они похожи на потокъ, ежеминутно приносящій новую воду. На телевъ корабль, который аоніане безпрестанно чинили.

него безусловное—самый процессъ восхожденія естественнаго многообразія къ единству; для него дѣйствительное—не страдательная покорность отвлеченной вещественности, не субстратъ движенія, не бытіе движимаго, а то, что *необходимо* двлжетъ его, то, что его измѣняетъ. Бытіе у Гераклита имѣетъ само въ себѣ свое отрицаніе, оно неотъемлемо, присуще ему; это его демоническое начало, сопровождающее его всегда и вездѣ, непрерывно противодѣйствующее ему, снимающее сотворенное имъ, мѣшающее уснуть, окрѣпить въ неподвижности. Бытіе живо движеніемъ съ одной стороны, жизнь есть не что иное, какъ движеніе непрерывное, не останавливающееся, дѣятельная борьба и, если хотите, дѣятельное примиреніе бытія съ небытіемъ, и чѣмъ упорнѣе, злѣе эта борьба, тѣмъ ближе они другъ къ другу, тѣмъ выше жизнь, развиваемая ими; борьба эта вѣчно у конца и вѣчно у начала,—непрерывное взаимодействіе, изъ котораго они выйти не могутъ. Это—блѣднѣе колесо жизни. Животный организмъ представляетъ постоянную борьбу съ смертію, которая всякій разъ восторжествуетъ; но торжество это опять въ пользу опредѣленнаго бытія, а не небытія. Многоначальныя ткани, изъ которыхъ составлено живое тѣло, безпрестанно разлагаются на двуначальныя (т. е. на неорудныя, минеральныя) и безпрестанно вновь образуются; голодъ возобновляетъ требованія свои, потому что непрерывно утрачивается матеріалъ; дыханіе поддерживаетъ жизнь и сжигаетъ организмъ; организмъ непрерывно вырабатываетъ сжигаемое. Не кормите животнаго,—у него кровь и мозгъ сторгать... Чѣмъ болѣе развита жизнь, чѣмъ въ высшую сферу перешла она, тѣмъ отчаяннѣе борьба бытія и небытія, тѣмъ ближе они другъ къ другу. Камень гораздо прочнѣе звѣря; въ немъ бытіе преобладаетъ надъ небытіемъ, онъ мало нуждается въ средѣ, его окружающей, онъ безъ большихъ усилій, извнѣ на него дѣйствующихъ, не измѣнить ни формы, ни состава, онъ почти не носитъ въ себѣ самомъ причину своего разложенія,—и оттого онъ упоренъ. Малѣйшее прикосновеніе къ мозгу животнаго въ этой сложной, рыхлой, нетвердѣющей массѣ повергаетъ его мертвымъ; малѣйшее неравновѣсіе въ сложномъ химизмѣ крови—и животное страдаетъ по своему нормальному состоянію, мучится и умираетъ, если не можетъ побѣдить, то есть возстановить норму. Страдательное, тяжелое бытіе тѣснитъ своей грубой опредѣленностью жизнь: жизнь камня—постоянный обморокъ; она тамъ свободнѣе, гдѣ ближе къ небытію; она слаба въ высшихъ проявленіяхъ, она тратитъ, такъ сказать, вещественность на достиженіе той высоты, на которой бытіе и небытіе примиряются, подчиняются высшему единству. Все прекрасное нѣжно, едва существуетъ; это цвѣты, умирающіе отъ холоднаго вѣтра въ то время, какъ суровый стебель крѣпнеть

отъ него, но зато онъ и не благоухаетъ и не имѣетъ нестрыхъ лепестковъ: мгновенія блаженства едва мелькають, но въ нихъ заключается цѣлая вѣчность... Возникновеніе, дѣятельный процессъ себяопредѣленія, его противоположные моменты (бытіе и небытіе) утрачивають въ немъ свою мертвую косность, принадлежащую отвлеченному мышленію, а не дѣйствительному; какъ смерть не ведетъ къ чистому небытію, такъ и возникновеніе не берется изъ чистаго небытія, — возникаетъ бытіе опредѣленное изъ бытія опредѣленнаго, которое становится субстратомъ въ отношеніи къ высшему моменту. Возникнувшее не кичится тѣмъ, что *оно есть*: это слишкомъ бѣдно, это подразумѣвается; оно не представляетъ истиной своей своего тождества съ собою, свое бытіе, а напротивъ, раскрываетъ себя процессомъ, низводящимъ свое бытіе на значеніе момента.

Гераклитъ понялъ, что истина есть именно существованіе двухъ противоположныхъ моментовъ: онъ понялъ, что они сами по себѣ не истинны и невозможны, что въ нихъ истинно одно стремленіе тотчасъ перейти въ противоположное. Для него, жившаго за 500 лѣтъ до Р. Х., мысль эта была такъ ясна, что онъ не могъ въ существованіи, въ бытіи видѣть что-нибудь постоянное, кромѣ того начала, которое переходитъ въ многообразіе и, съ другой стороны, стремится изъ многообразія къ единству; онъ понялъ это, несмотря на то, что движеніе собственно было для него событіе неотразимое, событіе роковое: признавая его, онъ покорялся необходимости, отъ которой ключа у него не было. Отчего же *ученые* мужи нашего времени такъ удивились, такъ туго не поняли, когда мысль Гераклита явилась не какъ гениальная догадка, а какъ послѣднее слово методы, проведенной строго, отчетливо, наукообразно? Выраженіе, что ли, крутое и отвлеченное: «бытіе есть небытіе» — поразило? Или, можетъ быть, ихъ близость въ возникновеніи напугала? Но выраженіе, вырѣзанное изъ живого развитія, понять нельзя, особенно когда не хотять ни знать путей, ни сосредоточить на немъ всего вниманія. Безъ вниманія все неясно, — ни логики не поймешь, ни въ вистъ не выучишься играть. Практически мы именно гераклитовски смотримъ на вещи: только во всеобщей сферѣ мышленія не можемъ понять того, что дѣлаемъ. Не споконъ ли вѣка сознавали люди, что не мертвая косность сущаго предмета, не его тождество съ собою — полная истина его? Во всемъ живомъ, наприм., развѣ мы видимъ что-нибудь, кромѣ процесса вѣчнаго преобразженія, живущаго, повидимому, въ одной перемѣтѣ? Кости — самое твердое бытіе организма, а мы ихъ даже живыми не считаемъ.

Мы замѣтили, что эллитики, принявъ за основаніе чистое бытіе, не имѣли смѣлости признаться, что оно тождественно небы-

тію. Такъ и Гераклитъ, поставившій истинною сущаго начало движущее (сущность), не дошелъ до уничтоженія бытія въ силѣ, въ причинѣ движенія, въ субстанціи. Греки не распадались такъ глубоко съ эмпирическимъ воззрѣніемъ: когда ихъ мысль приходитъ къ крайнимъ абстракціямъ, тотчасъ являются у нихъ изысканные образы, фантастическія представленія, поддерживающія ихъ на берегу пропасти. Такъ у Гераклита, вмѣсто послѣднихъ безжалостныхъ выводовъ субстанціального отношенія, вы встрѣчаете *время* и *огонь* наглядными представителями процесса движенія. Въ самомъ дѣлѣ, время—образъ безусловнаго возникновенія; сущность его состоитъ только въ томъ, чтобъ быть и вмѣстѣ съ тѣмъ не быть; во времени не прошедшее и будущее, а настоящее дѣйствительно; но оно существуетъ только для того, чтобъ не существовать, оно тотчасъ прошло, оно сейчасъ наступить,—оно есть въ этомъ движеніи, какъ единство двухъ противоположныхъ моментовъ. Огонь въ природѣ соотвѣтствуетъ также превосходно его мысли: огонь сожигаетъ противоположное собою, безусловное безпокойство, безусловное распушеніе существующаго, переходимость другого и самого себя. Гераклитъ вездѣ видитъ огонь; для него вода—потухшій огонь, земля—окрѣпнувшая вода: но земля снова распускается въ моряхъ, испаряется имъ въ воздухъ, гдѣ воспламеняется и творитъ воду. Итакъ, вся природа—метаморфоза огня. Самыя звѣзды для Гераклита не однажды-конченныя мертвыя массы: «вода испаряется и осаждается темнымъ процессомъ и свѣтлымъ; темный даетъ землю, свѣтлый поднимается въ воздухъ, загорается въ солнечной атмосферѣ и производитъ метеоры, планеты и звѣзды»; итакъ, онѣ возникаютъ слѣдствіемъ того же живого взаимодѣйствія, движенія, «все расторгается внутреннею враждою и стремленіемъ къ высшему единству дружбы и гармоніи». «Вселенная—вѣчно живой огонь, душа ея—пламень, загорающійся и тухнущій по своему закону». Итакъ, мало того, что онъ понялъ природу процессомъ: онъ понялъ ее самодѣятельнымъ процессомъ. Однако, изъ этого движенія ничего не исторгается, нѣтъ единства, которое ставилось бы временнымъ круженіемъ и обличалось бы результатомъ его и его началомъ. Начало движенія у Гераклита—роковая, тягостная необходимость, выдерживающая себя въ многообразіи, неизвѣстно для чего втѣсняющая себя, какъ неотразимая сила, какъ событіе, но не какъ свободная, сознательная цѣль. Цѣли движенію вообще Гераклитъ не далъ; его движеніе конкретнѣе элеатическаго бытія, но оно абстрактно; оно громко требуетъ цѣли, постоянного.

Прежде нежели мы скажемъ, какое начало и какую цѣль движенію далъ Анаксагоръ, мы должны показать другой выходъ изъ чистаго бытія, прямо противоположный Геракли-

ту, по крайней мѣрѣ по формальному выраженію; ибо, съ общей точки зрѣнія, атомизмъ, о которомъ мы говоримъ, представляетъ только дополняющій моментъ, необходимый и неминуемый динамизму. Атомизмъ и динамизмъ повторяютъ полирную борьбу бытія и небытія на болѣе опредѣленномъ и сжатомъ полѣ. Главная мысль атомизма состоитъ въ отрицаніи чистаго бытія въ пользу бытія опредѣленнаго; здѣсь не отвлеченное бытіе принимается за истину частныхъ, а частное, сама въ себѣ замкнутая, за истину бытія: это возвращеніе изъ сферы отвлеченной въ сферу конкретную, возвращеніе къ дѣйствительному, эмпирическому, существующему. Дѣйствительнымъ признается единичность, не отдающаяся на распушеніе въ абстрактныхъ категоріяхъ, протестующая противъ элеатическаго чистаго бытія во имя автономіи опредѣленнаго бытія; частное существуетъ для себя и само есть подтвержденіе своей качественной и количественной дѣйствительности. Левкинъ и Демокритъ положили начало этому ученію; съ тѣхъ поръ оно шло постоянно по параллельной линіи съ главнымъ потокомъ науки, никогда не сближаясь съ нимъ ¹⁾; оно твердо оперлось на вѣрное, хотя одностороннее пониманіе природы, и принесло большую пользу естествовѣдѣнію. Атомизмъ, основанный на признаніи частности, противопоставляетъ неоспоримую недѣлимость, личность, такъ сказать, каждой сущей точки единству бытія и движенія, объемлющему ихъ. Въ мысли все обобщается, въ природѣ все молекулярно, даже то, что намъ кажется совершенно не имѣющимъ частей и различія. Движеніе Гераклита покорено необходимости, т. е. фатализму; атомъ имѣетъ цѣль самъ въ себѣ, въ своемъ существованіи; онъ существуетъ для себя и достигаетъ своей сосредоточенности; атомизмъ выражаетъ повсюдный эгоизмъ природы: для него одно стремленіе существуетъ и истинно — это стремленіе природы къ индивидуализаціи; она представляется ему безусловной разсыпчатостью, какъ она и есть; но онъ не видитъ, что высшая, сосредоточеннѣйшая личность (человѣкъ) и есть, несмотря на атомизмъ свой, всеобщая, родовая личность, что ея эгоизмъ, ея сосредоточенность есть вмѣстѣ съ тѣмъ и лучезарная любовь. Идеализмъ, съ своей стороны, не видитъ, что родъ, всеобщее, идея, дѣйствительно не могутъ быть безъ индивидуа, атома; пока идеализмъ не пойметъ этого, атомизмъ не сдастся ему; пока тотъ или другой будутъ хотѣть исключительнаго признанія, до тѣхъ поръ они останутся въ борьбѣ. Динамизмъ и атомизмъ принадлежать къ тѣмъ безвыходнымъ антиноміямъ не вполне развитой науки, которыя намъ встрѣчаются на

¹⁾ Развѣ только въ монадологіи Лейбница?

каждомъ шагѣ. Очевидно, что истина съ той и съ другой стороны; очевидно даже, что противоположныя воззрѣнія почти одно и то же говорятъ,—у однихъ только истина поставлена на головѣ, а у другихъ на ногахъ; противорѣчіе выходитъ видимо непримиримое, а между тѣмъ такъ и тянетъ изъ одного момента въ другую; но истину, какъ единство односторонностей, какъ снятіе противорѣчія, не любятъ умы, хвастающіеся ясностью. Конечно, односторонность проще: чѣмъ бѣднѣйшую сторону предмета мы возьмемъ, тѣмъ она очевиднѣе, яснѣе, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ненужнѣе и бесполезнѣе: что можетъ быть очевиднѣе формулы $A=A$, и что можетъ быть пошлѣе? Возьмите простѣйшую формулу уравненія первой степени съ однимъ неизвѣстнымъ, — она будетъ гораздо сложнѣе, но зато въ ней заключается мысль, средство опредѣленія искомаго. Принимать ту или другую сторону въ антиноміяхъ совершенно ни на чемъ не основано; природа на каждомъ шагѣ учитъ насъ понимать противоположное въ сочетаніи; развѣ у ней безконечное отдѣлено отъ конечнаго, вѣчное отъ временнаго, единство отъ разнообразія? Строгое требованіе «того или другого» очень похоже на требованіе: «кошелекъ или жизнь»? Храбрый человѣкъ смѣло отвѣтитъ: «ни того, ни другого, потому что нѣтъ необходимости для вашего каприза жертвовать тѣмъ или другимъ». Возвращаясь къ Левкиппу, замѣтимъ, что для него атомъ не былъ безразличною, мертвою точкой: онъ принималъ полярность недѣлимаго и пустоты (опять бытіе и небытіе) и взаимодействіе атомовъ; тутъ онъ и его послѣдователи теряются во внѣшнихъ объясненіяхъ, принимаютъ случайность, соединявшую и расторгавшую атомы,—случайность дѣлается какой-то сокроуенной силой, неудовлетворяющей требованіямъ ума.

Анаксагоръ поставилъ началомъ мысль. Разумъ, всеобщее дѣлается сущностью, дѣятельнымъ двигателемъ; *нусъ*—та дѣятельность, которая въ несовершенствѣ и безсознательно является природоу, и которая во всей чистотѣ раскрывается въ сознаніи, въ мышленіи. Въ природѣ *нусъ* воплощается частностями, сущими во времени и пространствѣ; въ сознаніи онъ достигаетъ своей всеобщности и вѣчности. Анаксагоръ — «первый трезвый мыслитель» по выраженію Аристотеля — если не прямо высказалъ, что вселенная есть умъ, одѣйствующійся вѣчнымъ процессомъ, то онъ понялъ его самодвижущейся душоу. Цѣль движенія: «исполнить все благое, заключенное въ душѣ». Замѣтимъ, такая цѣль не есть что-либо постороннее мысли; мы привыкли обыкновенно ставить цѣль съ одной стороны, а достигающаго съ другой; но цѣль, взятая во всеобщности, сама заключена въ достигающемъ, имъ одѣйствуется, — существованіе предмета находится подъ вліяніемъ его цѣлесообразности: то ис-

полнилось, что было; то развивается, что содержится. Живое сохраняется потому, что оно само по себѣ цѣль; оно и не знаетъ о своихъ цѣляхъ, оно имѣетъ земныя стремленія и желанія; эти желанія его — твердыя цѣлесообразныя опредѣленія; какъ бы животное ни относилось къ окружающей средѣ,—результатомъ ихъ столкновенія и взаимодействія будетъ животный организмъ: оно только себя производитъ. Въ цѣлесообразномъ движеніи результатъ есть начало, исполненіе предшествующаго. Такимъ началомъ приять Анаксагоръ разумъ, законъ, и его положилъ въ основу бытію и движенію. Хотя онъ и не развилъ всего спекулятивнаго содержанія своего начала, но тѣмъ не менѣе шагъ, сдѣланный имъ для развитія мысленія, необъятенъ; его нусъ, заключающій въ возможности все благое, умъ, самосохраняющійся въ своемъ развитіи, имѣющій *въ себѣ міру* (опредѣленіе), торжественно воцаряется надъ бытіемъ и управляетъ движеніемъ. У іонійцевъ мы видѣли безусловнымъ началомъ сущее—эмпирическое бытіе, поставленное абсолютнымъ; потомъ оно опредѣлилось, какъ чистое бытіе, отвлеченное отъ сущаго, не эмпирическое, не реальное, а логическое, отвлеченное; далѣе, оно представляется, какъ движеніе, какъ полярный процессъ. Но такое движеніе могло быть безвыходнымъ круговоротомъ, безцѣльнымъ движеніемъ и болѣе ничего, безотраднымъ рядомъ возникновеній, перемѣнъ, перемѣнъ этихъ перемѣнъ,—и такъ въ безконечность. Анаксагоръ, ставя началомъ всеобщее, умъ внутри самаго существованія, бытія, движенія, находитъ міродержавную цѣль, какъ скрытую мысль всемірнаго процесса. Эта скрытая мысль бытія — та закваска, то начало броженія, движенія, безпокойства, возмущающаго и волнующаго бытіе для того, чтобъ сдѣлаться *открытою* мыслью. Въ сознаніи, мы опять встрѣчаемъ демоническое начало, присущее косной вещественности, которое дѣлается уже не демоническимъ, а разумнымъ, и это разумное обличается истинною, совершеніемъ бытія, небытія, движенія, возникновенія. Не надобно думать, что чрезъ это пожертвовано бытіе, и что наука перешла въ сознаніе, какъ въ противоположный ему элементъ, — тогда всеобщее потеряло бы свое спекулятивное значеніе, сдѣлалось бы сухою абстракціею; такого рода идеалистическая односторонность принадлежитъ болѣе новой философіи, нежели древней. Гераклитъ и Анаксагоръ коснулись того предѣла, далѣе котораго греческая мысль не шла; они бѣдно и неполно усвоили мысли ту почву, тѣ основанія, на которыхъ гиганты греческой науки возростили свое воззрѣніе. Почва осталась; движеніе Гераклита и нусъ Анаксагора не исчерпали всего содержанія; но отъ нихъ не отречется Аристотель; совѣмъ напротивъ, они у него пойдутъ краеугольными камнями колоссальнаго зданія, воз-

двинутого имъ. Нельзя не замѣтить строго-логической стройности историческаго мышленія у грековъ, у этихъ избранныхъ дѣтей человѣчества. Элеатическое воззрѣніе неминуемо вело къ гераклитову движенію; его движеніе также неминуемо вело къ разумной субстанціи, къ цѣли; оно ставило вопросъ,—и Анаксагоръ не замедлилъ дать отвѣтъ; вотъ это-то преемственное развитіе, идущее отъ одного самоопредѣленія истины къ другому въ органической связи и живомъ сочлененіи, называютъ безпорядочнымъ и произвольнымъ замѣненіемъ одного философскаго воззрѣнія другимъ!

Когда мысль человѣческая достигла до этой степени сознанія и силы, когда она окрѣпла въ ней, узнала свою несокрушимую мощь, открылось въ греческомъ мірѣ зрѣлище блестящее, увлекательное, торжество юношескаго упоенія въ наукѣ. Я говорю объ оклеветанныхъ и непонятыхъ софистахъ. Софисты — пышные, великолѣпные цвѣты богатаго греческаго духа, выразили собою періодъ юношеской самонадѣянности и удалства; вы въ нихъ видите человѣка, только что освободившагося изъ — подъ опеки и не получившаго еще опредѣленнаго назначенія; онъ предается всѣмъ сердцемъ чувству своей воли, своего совершеннолѣтія, и въ этомъ увлеченіи свидѣтельствуетъ, что онъ еще несовершеннолѣтній; юноша созналъ ужасную власть, находящуюся въ его распоряженіяхъ, ничто не связываетъ его гордаго сознанія, онъ играетъ своимъ достояніемъ, всѣмъ на свѣтѣ, т. е. всѣмъ важнымъ для обыкновеннаго собственника, и въ то время, какъ тотъ печально качаетъ головой, глядя на его расточительность, юноша презрительно смотритъ на него, держащагося за свои точимыя молью богатства; онъ понялъ шаткость и несостоятельность всего окружающаго; онъ опирается на одно — на свою мысль; это его копье, его щитъ: таковы софисты. Что за роскошь въ ихъ діалектикѣ! что за безпощадность! что за развязность! какая симпатія со всѣмъ человѣческимъ! Что за мастерское владѣніе мыслью и формальной логикой! Ихъ безконечные споры — эти безкровные турниры, гдѣ столько же граціи, сколько силы — были молодецкимъ гарцованьемъ на строгой аренѣ философій; это удалая юность науки, ея майское утро. Сократъ и Платонъ были врагами софистовъ по праву; они, *съ ихъ точки зрѣнія*, отреклись отъ нихъ и повели мысль къ болѣе глубокому сознанію. Но порицатели софистовъ, изъ вѣка въ вѣкъ повторяющіе плоскія обвиненія, свидѣлствуютъ только свою ограниченность и сухой прозаизмъ своего разсудка; они стоятъ на той узенькой точкѣ зрѣнія жанлисовской, не очень *нравственной* морали, которую такъ любили добрые аббаты-деисты начала прошлаго вѣка, — тѣ самые, которые безпощадно журили Александра Вели-

каго за пристрастіе къ горячительнымъ напиткамъ и Юлія Цезаря за пристрастіе къ властолюбивымъ мечтамъ. Съ этой точки зрѣнія, ни софистовъ, ни Александра Македонскаго оправдать нельзя, — но зачѣмъ же не предоставить ей исключительно исправительнымъ судамъ, занимающимся мелкими проступками и уличными безпорядками? зачѣмъ ее употреблять при обсуживаніи всемірно-историческихъ событій?.. Въмѣсто того, чтобъ останавливаться на опроверженіи обветшалыхъ и жалкихъ мифовъ, представимъ себѣ лучше эпоху появленія софистовъ въ Греціи.

Сущее оказалось нестрашнымъ для мысли: оно уже двинулось и потекло по волѣ какой-то необъяснимой необходимости; раскрывается, что эта необходимость (цѣль ли, причина ли — все равно) — разумъ. Яркая мысль эта брошена отвлеченно, безъ содержанія, какъ безконечная форма, какъ личная догадка; но между тѣмъ за разумомъ признана власть безмѣрная. Все сущее, отдѣльное, частное для Анаксагора — моментъ: въ его нусѣ теряется все опредѣленное, его сущность — сама негация, какъ и быть должно; бытіе отразилось въ себѣ, отреклось отъ видоизмѣняющейся внѣшности и остановилось на сущности, какъ на истинѣ: сущность же опредѣлялась мыслью, и, слѣдственно, ей принадлежитъ безусловная власть отрицанія, власть развѣдающей кислоты, которая все разложитъ, со всѣмъ соединится, чтобъ все улетучить: словомъ, мысль сознала себя могуществомъ, предъ которымъ исчезаетъ всякая состоятельность, не ею поставленная. Все твердое въ бытіи, въ понятіяхъ, въ правахъ, въ законахъ, въ повѣрхьяхъ — все начинаетъ колебаться и измѣнять себѣ; все, до чего касается горячая струя вѣющей мысли, обличается шаткимъ и несамобытнымъ, и мысль, какъ геній смерти, какъ ангелъ истребленія, весело губить и ликуетъ на развалинахъ, не давъ себѣ времени подумать, чѣмъ ихъ замѣнить. Это то раздолье негации, эту-то мысль, сокрушающую твердое, казнящую мнимое, выразили собою софисты. У нихъ была страшная откровенность и страшная многосторонность: они популярны, ринуты въ жизнь, не чужды всѣхъ вопросовъ площади и науки: они ораторы, политическіе люди, народные учителя, метафизики: ихъ умъ былъ глубокъ и ловокъ, ихъ языкъ неустрашимъ и дерзокъ. Оттого смѣло и открыто высказали они то, что греки тайкомъ дѣлали въ практической жизни, тайкомъ даже отъ себя, боясь изслѣдовать, хорошо или нѣтъ такъ поступать, и не имѣя силы не поступать противно положительному закону. Софистовъ обвинили въ безправственности, потому что они дали гласность сокрытому во тьмѣ, потому что они высказали семейную тайну греческой жизни. Въ практическихъ сферахъ, въ своихъ дѣйствіяхъ, человѣкъ рѣдко такъ отвлечененъ, какъ въ образѣ мы-

слей, — тутъ онъ безсознательно многостороненъ, ибо онъ весь тутъ.

Грекъ временъ Перикла не могъ привольно жить въ тѣхъ нормахъ жизни, которыя ему были завѣщаны, какъ святое преданіе предковъ, какъ неизмѣнный бытъ для него; завѣщанная жизнь эта была, въ самомъ дѣлѣ, прелестна въ «Иліадѣ», въ софокловыхъ трагедіяхъ,—но они ее переросли и головой и грудью: они чувствовали это, но по какому-то тайному соглашенію не признавались въ этомъ: нарушая всякій день завѣщанный бытъ, они готовы были камнями побить того дерзновеннаго, который сказалъ бы слово противъ него, который назвалъ бы ихъ поступокъ и призналъ бы его не преступленіемъ. Это одна изъ тѣхъ притворныхъ двуличностей, которыя человѣкъ дѣлаетъ безпрестанно, воображая, что это очень нравственно. Грекъ, признавая святость преданія на словахъ, освобождался отъ исполненія обязанностей на каждомъ шагѣ, но онъ дѣлалъ это какъ преступникъ, какъ возмущившійся рабъ, украдкой. Вся вина софистовъ, и въ послѣдствіи Сократа, состояла въ томъ, что они подняли въ сферу всеобщаго сознанія то, что каждый представлялъ себѣ, какъ частный случай и отступленіе, что они мыслью подтвердили фактъ нравственной свободы, что они трусость передъ гомерическимъ преданіемъ признали трусостью; они смѣло направили свою мысль противъ всего существовавшего и все подвергли разбору; ими наука, съ той высоты, на которую достигла, оборотилась вдругъ назадъ ко всей ходячей суммѣ истинъ, принимаемыхъ и передаваемыхъ общественнымъ мнѣніемъ. Случилось то, чего можно было ожидать; язычество и все древне-эллинское воззрѣніе не вынесли ея медузина взгляда: они сгорѣли отъ него; не громкій олимпійскій смѣхъ раздался тогда, а звонкій смѣхъ человѣка, упоеннаго побѣдой. На первую минуту, софисты, можетъ быть, и увлеклись суетно сознаніемъ этой страшной мощи разума; они забылись за своей веселой сатурналіей, они тѣшились своей мощью,—это былъ моментъ поэтическаго наслажденія мышленіемъ; въ избыткѣ силъ они метали искры во всѣ стороны и радостно видѣли всю несостоятельность положительнаго, и не было препонъ ихъ игрѣ. Не будемъ сѣтовать на нихъ; скоро явится трагическое лицо въ исторіи разума и иное призванье мысли: онъ ¹⁾ обуздаетъ нравственнымъ началомъ разгульную мысль и обрекаетъ себя на великую жертву для великой побѣды... Софисты приготовили къ этому моменту своихъ согражданъ; они бросили свѣтъ мысли на всѣ отношенія людскія; ими наука открыто перешла въ жизнь, они научили человѣка во всемъ опираться на

1) Сократъ.

одного себя, все относить къ себѣ, себя понимать самобытною точкою, около которой крутится, въ вихрь видоизмѣненій, все на свѣтъ. Но во имя чего считать себя этимъ средоточіемъ? Вопросъ существенный и неминуемый; этого вопроса, прямо текущаго изъ ихъ началъ, софисты не рѣшили, т. е. не рѣшили тѣ софисты, которыхъ угодно исторіи такъ называть; ибо его-то и задать себѣ великій софистъ—Сократъ, стоявшій на одной точкѣ съ ними, но ушедшій далѣе, нежели всѣ они, объемомъ мысли и величіемъ характера. Это не юноша въ разгулѣ: это мужъ, остановившійся и ищущій опоры на всю жизнь,—мужъ твердаго шага и удивительной мощи. Сократъ нанесъ существующему порядку въ Греціи тяжелейшій ударъ, нежели всѣ софисты; онъ далѣе пошелъ, нежели они, и потому-то онъ и былъ ихъ врагомъ. Софисты—блестящая жиронда, а Сократъ—монтаньяръ, но монтаньяръ нравственный и чистый; софисты имѣли бездну личнаго, разсудочнаго въ своемъ воззрѣніи; у нихъ мысль не нашла еще себѣ твердой опоры (какъ всегда въ рефлексіи); они испытывали, такъ сказать, формальную власть мысли, они брались все доказывать, все оправдывать. Это ничего не значитъ: въ самомъ дурномъ поступкѣ есть возможность найти одну хорошую сторону, — но это недостаточно для оправданія и наводитъ только на то, что чисто-отвлеченныхъ поступковъ такъ же не бываетъ, какъ чисто-одностороннихъ событий. Истинно-твердая основа лежитъ въ томъ объективномъ началѣ мышленія, которое софистамъ до Сократа не раскрывалось. Сократъ засталъ логическое развитіе на сознаніи несостоятельности внѣшняго противъ мысли и на признаніи человѣка (какъ мыслящей личности) истинною. Но человѣкъ, какъ частная индивидуальность, гибнетъ, увлекая съ собою мысль; Сократъ спасъ мысль и ея объективное значеніе отъ личнаго и, слѣдственно, случайнаго элемента. Онъ высказалъ сущностью не частное я, а всеобщее, какъ благое, въ себѣ почившее сознаніе, независимое отъ сущей дѣйствительности. Мысль Сократа точно такъ же ѣдка и точно такъ же разлагаетъ, какъ мысль Протагора, сказавшаго, что человѣкъ есть мѣрило всему, что въ немъ опредѣленіе, почему сущее существуетъ и несущее не существуетъ; но Сократъ сознаетъ въ общемъ движеніи и покойное начало; это начало, сущность вѣчно хранящаяся и опредѣляющаяся цѣлію, есть *истинное* и *благое*. Это благое, эта существенная цѣль не существуетъ, какъ нѣчто готовое; человѣкъ долженъ создать себѣ свое вѣчное и непреходящее содержаніе, долженъ развить его сознаніемъ, для того, чтобы быть свободному въ немъ. Итакъ, истина объективнаго развивается у Сократа мышленіемъ. Это чиноположеніе безконечной субъективности человѣка и совершенной свободы самопознанія—тотъ великій камень, который Со-

кратъ положили при закладѣ великаго зданія, доселѣ недостроеннаго; камень этотъ вмѣстѣ съ тѣмъ пограничный столбъ: одна половина его уже лежитъ не на эллинской почвѣ, принадлежитъ уже не древнему міру.

У Сократа нѣтъ системы, а есть метода; это какой-то живой, вѣчно дѣятельный органъ мышленія человѣческаго; его метода состоитъ въ развитіи самомышленія; съ какой стороны ни попался бы ему предметъ, онъ, начиная со всей односторонности общаго мѣста, дойдетъ до многостороннѣйшей истины и нигдѣ не теряетъ своихъ основныхъ мыслей, которыя проводитъ по вѣсѣмъ областямъ, практическимъ и теоретическимъ. Человѣкъ долженъ изъ себя развить, въ себѣ найти, понять то, что составляетъ его назначеніе, его цѣль, конечную цѣль міра, онъ долженъ собою дойти до истины—вотъ мѣта, къ которой Сократъ достигаетъ во всемъ. При этомъ по дорогѣ само собою обличается, что по мѣрѣ того, какъ мышленіе достигаетъ внутренней объективности, случайное, личное гибнетъ и теряется; истина дѣлается вѣчно-числополагаемымъ мышленіемъ. Всѣ его разговоры — непрерывная борьба съ существующимъ; онъ возсталъ противъ святохранимыхъ аѳинскихъ преданій во имя другаго святого права—права вѣчной нравственности, автономіи мышленія; онъ научилъ опасаться готовыхъ мнѣній, истинъ, полагаемыхъ за извѣстное, о которыхъ и не говорятъ, какъ о давнознаемомъ, и на которыя каждый смотритъ по-своему, воображая, что его мнѣніе и есть всеобщее; онъ осмѣлился поставить истину выше Аѳинъ, разумъ выше узкой національности; онъ относительно Аѳинъ сталъ такъ, какъ Петръ I относительно Руси. Торжественнѣйшая сторона Сократа—онъ самъ, его величавое, трагическое лицо, его практическая дѣятельность, его смерть; онъ типъ и представитель той слитности въ древней жизни, о которой мы упоминали нѣсколько разъ,—человѣкъ, живущій непрестанно въ общественномъ разговорѣ, художникъ, воинъ, судья, участникъ во всѣхъ теоретическихъ и практическихъ вопросахъ своего вѣка и вездѣ ясный, равный себѣ, вездѣ жаждущій блага и все покоряющій разуму, т. е. все освобождающій въ нравственномъ сознаніи

. Тогда наука черпалась изъ жизни и тотчасъ погружалась въ нее. Дѣятельность философа въ Греціи не ограничивалась школой, въ стѣнахъ которой могутъ цѣлые вѣка длиться споры, прежде нежели кто-нибудь услышитъ ихъ за стѣною,—тамъ философъ былъ, по превосходству, учитель народа, совѣтодатель его. Эмпедоклу и Гераклиту предлагали корону; Зенонъ погибъ въ геройской борьбѣ; уваженіе къ Пифагору доходило до поклоненія; Периклъ ходилъ по площади аѳинской съ своей же-

пою, вымаливая прощенье Анаксагору; Филиппъ Македонскій благословлялъ судьбу, что сынъ его родился во время Аристотеля: Платона аѳиняне называли божественнымъ. Философы древняго міра тогда стали отходить отъ дѣлъ площади, когда съ скорбнымъ взглядомъ разглядѣли смертельную болѣзнь, пожиравшую древній порядокъ вещей. И потому Сократъ былъ столько же государственное лицо, сколько мыслитель, и судился какъ гражданинъ, имѣвшій огромное вліяніе и отрицавшій неприкосновенную основу аѳинской жизни, на основаніи права изслѣдованія: въ этомъ вся трагическая судьба Сократа (и онъ самъ ее понималъ превосходно, какъ доказываютъ его разговоры въ тюрьмѣ, изъ которой онъ *не хотѣлъ* бѣжать), что онъ вмѣстѣ праведникъ въ глазахъ человѣчества и преступникъ въ глазахъ Аѳинъ. Изъ этого противорѣчія, столь рѣзкаго и громкаго, ясно видѣется, что греческая жизнь начинала тогда разлагаться подъ бременемъ своей односторонности, національное не было уже современно, если судъ народный могъ быть прямо противоположенъ суду разума. Оттого-то Сократъ и вышелъ противъ Аѳинъ, оттого-то и спасти нельзя было ихъ казнью его; напротивъ, ею признали его побѣду. Аѳиняне вскорѣ сами увидѣли это; слѣпые гонители всегда догадываются на другой день казни, что она вредна.

Переворотъ, сдѣланный Сократомъ въ мышленіи, состоялъ именно въ томъ, что мысль стала сама по себѣ предметомъ; съ него начинается сознаніе, что истина не есть сущность *такъ, какъ она есть сама по себѣ, а такъ, какъ она въ сознаніи; истина есть узнанная сущность*. Обратите все вниманіе ваше на это: c'est le mot de l'enigme всей философіи. Мысль послѣ Сократа болѣе сосредоточивается, углубляется въ себя для того, чтобъ сознательно развить единство себя и своего предмета, природа перестаетъ быть *независимою* отъ мысли. Такъ далеко, впрочемъ, взглядъ самого Сократа не простирался: одна изъ односторонностей его, особенно бросающихся въ глаза въ эллинскомъ мірѣ, состояла въ пренебреженіи ко всему внѣ философіи и особенно къ естествовѣдѣнію. Сократъ повторялъ часто, а за нимъ выраженіе это обратилось въ пословицу, что все его знаніе состоитъ въ томъ, что онъ ничего не знаетъ, — и быть правъ: мощной діалектикой онъ распустилъ все достояніе преемственно-образовавшихся мифній, слывшихъ за знаніе, — это отрицательное освобожденіе мысли отъ сущаго содержанія, а еще не истинное содержаніе ея; онъ узналъ въ сознаніи и мысли живую форму истины, но она не имѣла еще у него дѣйствительнаго наполненія. Прошедшее было имъ побѣждено, но на свѣтлой могилѣ его не успѣло развиться новое, хотя колыбель его и была готова. Отъ этого-то и непонятное появленіе *демона*

у Сократа; онъ является, вызываемый неполнотою его воззрѣнія; при дѣйствительной полнотѣ содержанія, демона было бы ненужно,—ему не было бы мѣста ¹⁾).

Односторонность Сократа не восполнилась его первыми послѣдователями: не мегарскую школу, не киренаиковъ звала его великая тѣнь: она вызывала изящный, свѣтлый образъ Платона,—и онъ явился, наконецъ, совершителемъ сократовыхъ начинаній.

Сократъ, провозглашая право самосознательнаго разума, понималъ его сущностью и дѣлюю самосознающей воли: Платонъ съ самаго начала полагаетъ мысль сущностью вселенной и стремится покорить ей все сущее, можетъ быть, болѣе, чѣмъ нужно... Я сказалъ выше, что камень, положенный Сократомъ, выходилъ одной стороною изъ древняго міра; еще болѣе должно разумѣть это о Платоновомъ воззрѣніи: въ немъ является впервые то, что мы называемъ *романтическимъ* элементомъ; онъ былъ поэтъ-идеалистъ, въ немъ видна та струя, которая, при извѣстныхъ условіяхъ, неминуемо должна была развиться въ неоплатонизмъ александрійскій. Платонъ считалъ духовный міръ науки единственно истиннымъ, въ противоположность призрачному міру сущаго; міръ этотъ раскрывается человѣку мышленіемъ, которое рядомъ *воспоминаній* будитъ и развиваетъ истину, уснувшую и забытую въ душѣ, преданной тѣлесному бытію. Однажды приведенный въ сознаніе, проснувшійся идеальный міръ оказывается истинною міра реальнаго, его совершеніемъ, и пребываетъ въ величавомъ покоѣ, отрѣшившись отъ суея временнаго бытія и сохраняя его въ себѣ снятымъ; такъ, родъ — истина недѣлимыхъ, всеобщее — истина частнаго, такъ, идея — истина вселенной. Платонъ находитъ временное, тѣлесное бытіе *преградю* безусловному знанію; говоря это, онъ, кажется, забываетъ, что, съ тѣмъ вмѣстѣ, оно есть и неминуемое условіе бытія и знанія. Но не подумайте, что этотъ романтическій элементъ или, лучше выразиться, элементъ, имѣющій въ себѣ нѣчто романтическое, есть исчерпывающее опредѣленіе Платоновой мысли,—далеко нѣтъ! Вспомните лучше, что древніе называли его творцомъ діалектики: вотъ гдѣ его сила и мощь,

¹⁾ Аристотель съ удивительною проницательностью указалъ на абстрактность Сократа: «Сократъ лучше Пифагора говорить о добродѣтели, но не правъ: онъ считаетъ добродѣтель знаніемъ. Всякое знаніе имѣетъ логосъ (разумное основаніе), логосъ же только въ мышленіи; онъ всѣ добродѣтели полагаетъ въ вѣдѣніи и снимаетъ *алогическую сторону души*: именно—страстность, чувствительность; добродѣтель не есть наука; Сократъ сдѣлалъ изъ добродѣтели логосъ. мы же говоримъ: она съ логосомъ! Она не вѣдѣніе, но и не можетъ быть безъ вѣдѣнія». Аристотель опредѣлилъ добродѣтель «единствомъ разума съ неразумностью».

вотъ чѣмъ дошелъ онъ до глубокомысленной спекуляціи своей, которая во всемъ сохранила долю идеализма, какъ печать его личности и личности возникавшей эпохи, но не стѣснила имъ мощной, свободной мысли. Платона многіе сравниваютъ съ Шеллингомъ: мы сами это сдѣлали въ первомъ письмѣ,—и точно, поэтическая мысль Платона, любившая облекаться въ роскошныя ризы аллегорій и мифовъ, имѣетъ наибольшее сродства въ новомъ мірѣ съ шеллинговымъ поэтическимъ провидѣніемъ истины и его страстнымъ придыханіемъ къ ней; но у Платона передъ нимъ необъятный шагъ: это его изумительная, всепокоряющая діалектика, еще болѣе, сознаніе полное, отчетливое діалектической методы и вообще логическаго движенія. Шеллингъ готовое содержаніе своей мысли излагаетъ въ схоластической формѣ,—Платонъ въ разговорахъ своихъ діалектикой достигаетъ до истины: у него истина неотъемлема отъ методы.

Онъ самъ превосходно изложилъ въ своей книгѣ «О Республикѣ» развитіе знанія. Начальная степень, или точка отправленія логическаго движенія, составляетъ у него непосредственное воззрѣніе, чувственная сознательность, переходящая въ чувственное представленіе, въ то, что называется *мнѣніемъ*: вторая степень знанія между мнѣніемъ и наукой—это сфера разсуждающаго познаванія, разсудка, рефлексіи, достиженіе общихъ и отвлеченныхъ началъ, принятіе гипотезъ, произвольныхъ объясненій (въ этомъ моментѣ приходится всѣ физическія и вообще положительныя науки въ наше время). Отсюда начинается собственно наукообразное знаніе; но тутъ оно еще не можетъ быть достигнуто: разсудочныя науки *никогда не достигаютъ* діалектической ясности, ибо—говоритъ Платонъ—онѣ идутъ отъ гипотезъ и не восходятъ въ своемъ разсматриваніи до безусловнаго начала, но разсуждаютъ, основываясь на предположеніяхъ: у нихъ, кажется, мысль не въ предметъ ихъ, а то бы ихъ предметы сами были мысли. Способъ геометріи и близкихъ ей наукъ называетъ онъ разсудочнымъ и полагаетъ, что разсужденіе находится между разумнымъ и чувственнымъ созерцаніемъ. Наконецъ, третья степень у него—мысленіе само въ себѣ, понимающее мысленіе; оно принимаетъ предположенія не за начало, а за точку отправленія, отъ которыхъ идутъ пути къ началу, не имѣющему никакихъ предположеній. Платонъ эту степень называетъ діалектикой. Въ обыкновенномъ сознаніи нашемъ, непосредственно дѣйствительнымъ считается данное чувственнымъ созерцаніемъ и разсудочныя опредѣленія этого даннаго; Платонъ воздѣ, во всѣхъ разговорахъ стремится раскрыть недѣйствительность и несуществованность одного чувственнаго и разсудочнаго, несостоятельность ихъ противъ умоизрительнаго и идеальнаго. Въ этихъ борьбахъ вы видите,

что огонь негачіи обращался и въ его жилахъ, что наслѣдіе софистовъ оставалось и въ его душѣ, и не только оставалось, а выросло въ гигантскую силу; но характеръ его генія не былъ отвлеченно - разрушающій, — совсѣмъ напротивъ, примиряющій. Онъ исторгаетъ изъ преходящаго—непреходящее, изъ частнаго—всеобщее, изъ недѣлимыхъ—родъ, не для того только, чтобъ. указавъ дѣйствительность и истину всеобщаго надъ частнымъ, разбить его ими и уничтожить индивидуальное, сущее, частное: нѣтъ, онъ исторгаетъ родовое для того, чтобъ спасти его отъ круговорота временнаго существованія, еще болѣе, сдѣлать то, чего природа не можетъ сдѣлать безъ мысли человѣческой,—примирить ихъ. Здѣсь Платонъ—спекулятивный философъ, а не романтикъ. Всеобщее, родовое, схваченное въ мысли, Платонъ называетъ идеей: достигая до нея, онъ стремится ей дать опредѣленіе, и здѣсь его діалектика дѣлается примирительницей, въ самой себѣ снимаетъ противорѣчія, указанные ею. Опредѣленность идеи состоитъ въ томъ, что единое остается самимъ собою въ много-различіи; чувственное, многообразное, конечное, относительно-существующее для другихъ не есть истинное: оно—неразрѣшенное противорѣчіе, разрѣшающееся только въ идеѣ; но идея не въ предметѣ: она—то, что стремится къ себя-опредѣленію различіями, и то, что пребываетъ свободнымъ и единымъ въ этомъ различіи. «Трудное и истинное, говоритъ Платонъ, состоитъ въ томъ, чтобъ показать въ другомъ то же самое и въ томъ же самомъ—другое, и при томъ такъ, чтобъ оно въ отношеніи къ другому было то же самое». Великая мысль! А подумайте, какими свистками толпа приняла бы мыслителя, который явился бы въ наше время съ такою странною рѣчью для обыкновеннаго сознанія....

Уваженіе, хранящееся изъ вѣка въ вѣкъ къ древнимъ философамъ, основано на томъ, что ихъ ни-кто не читаетъ; если-бъ добрые люди когда-нибудь ихъ развернули, они убѣдились бы, что Платонъ и Аристотель точно такіе же были поврежденные, какъ Спиноза и Гегель, говорили темнымъ языкомъ и притомъ нелѣпости. Большинство нашего времени (я разумѣю сознающихъ себя грамотѣями) такъ отвыкло или такъ не привыкло къ опредѣленіямъ мысли, что оно, только безсознательно употребляя ихъ,—не возмущается. Намъ не удивляетъ, напримѣръ, что человекъ въ фізіологическомъ отношеніи недѣлимое, цѣлостъ, атомъ, а въ анатомическомъ—многочисленная куча самыхъ разнообразныхъ частей; что тѣло наше—вмѣстѣ и наше «я» и наше другое; никого не удивляетъ процессъ возникновенія, непрерывно совершающійся около насъ, эта глухая борьба бытія съ небытіемъ, безъ которой было бы одно безразличіе; никого не удивляетъ эта вѣчность мимолетнаго, которою мы окружены. Назовите то, что

добрые люди видятъ и чувствуютъ ежедневно, словами,—они не поймутъ васъ и никогда не узнаютъ въ вашихъ словахъ близкихъ знакомыхъ. И увѣренъ, что многіе были бы глубоко скандализированы, узнавъ послѣдніе выводы, до которыхъ Платонъ вездѣ пробивается, вооруженный своей безошибочной діалектикой и своимъ гениемъ, глубоко-раскрывающимъ сокровенную истину. Для Платона безусловное то, что разомъ конечно и безконечно, мощное, полное силы и духа, то, что *можетъ вынести въ себѣ* противоположное: тѣло (само по себѣ) гибнетъ, встрѣчая противодѣйствіе, но духъ можетъ сдерживать всякое противорѣчіе; онъ живетъ въ немъ, онъ безъ него отвлечененъ; одно безконечное, само по себѣ, (п это прямо высказалъ Платонъ) ниже ограниченного и конечнаго, потому что оно неопредѣленно. Конечное имѣетъ цѣль и мѣру, а безконечно-отвлеченное бытіе, опредѣленное—не есть *только* внѣшнее, но именно единое въ многообразіи; оно одно дѣйствительно, и, приходя въ сознаніе, оно возвышается надъ конечнымъ и даетъ средѣ вѣчнаго успокоенія и созерцанія, далѣе котораго Платонова мысль не идетъ, или изъ котораго она не хочетъ выйти. Въ этомъ послѣднемъ словѣ Платона, въ этомъ царствѣ почившей и себя созерцающей идеи—все прекрасное и все одностороннее его воззрѣнія. Онъ и въ историческомъ отношеніи къ своимъ предшественникамъ представляетъ свѣтлое и покойное море, въ которое всѣ они влекутъ воды свои; онъ исполняетъ, такъ сказать, ихъ судьбу, успокоиваетъ ихъ въ обширныхъ объятіяхъ своихъ. Парменидъ, Гераклитъ, Пифагоръ, Анаксагоръ, софлисты, Сократъ равно нашли мѣсто въ Платоновой мысли, и между тѣмъ его мысль была *его* мысль. Рѣки потерялись въ морѣ, хотя онѣ въ немъ и хотя его не было бы безъ нихъ. Но, продолжимъ сравненіе, море это безконечно широко, берега исчезаютъ,—въ этомъ-то вся бѣда; вода и воздухъ—такія стихіи, въ которыхъ для человѣка чего-то не достаетъ: онъ любитъ землю, разнообразіе жизни, а не стихійную безконечность, которая поражаетъ, долго поражаетъ,—но при которой остаться нельзя. Въ этой ширинѣ, теряющей берега, сила Платона, но онъ успокоился въ блаженствѣ созерцанія и думалъ забыть ихъ... Думалъ! А фантастическіе образы и представленія, втѣсняющіеся въ душу его, врывающіеся въ его діалектику, выказывающіе страстныя черты свои въ покойныхъ волнахъ чистаго мышленія—зачѣмъ они? Какая діалектическая необходимость въ нихъ? Не по логической необходимости всплывали они въ душѣ Платона, такъ, какъ не по ней явился демонъ Сократа; они явились въ замѣну утраченнаго временнаго, они носили тотъ ликъ красоты, котораго не имѣетъ отвлеченная мысль и который дорогъ человѣку; они ими нарушили величавое спокойствіе чистаго мышленія, и Платонъ

радовался этому нарушенію—такъ, какъ облака веселятъ мореходца, прерывая спокойную и вѣчно нѣмую лазурь.

Воззрѣніе Платона на природу было больше поэтико-созерцательное, нежели спекулятивно-научнообразное. Онъ начинается съ представленій (въ «Тимей»); деміургъ приводитъ въ порядокъ и устройство хаотическое вещество, онъ оживляетъ его, даетъ ему міровую душу: «желая сдѣлать міръ подобнымъ себѣ, деміургъ въ средоточіи міра постановилъ душу міра, проникнувшую всюду»¹⁾. Вселенная для Платона—единое, одушевленное и умное животное: «животное это одно; если-бъ ихъ было два или нѣсколько, то они имѣли бы между собою соотношеніе, были бы части и составили бы опять одно». Первоначальными стихіями Платонъ принимаетъ огонь и землю: «между ними (какъ совершенными противоположностями) должна быть связь, ихъ соединяющая, но изящнѣйшая изъ всѣхъ связей,—та, которая себя и то, что ею соединяется, связуетъ въ одно высшее единство (какъ напри-мѣръ, умозаключеніе)». Вы видите, что эта высокая мысль о связи заключаетъ въ себѣ уже возможность развиться въ понятіе, въ идею, въ субъективность. Эта мысль Платона (какъ и многія другія его мысли и мысли его сподвижниковъ) до нашего времени повторялась бесплодно и не была, кажется, никѣмъ оцѣнена. Физическій міръ имѣетъ своими крайними опредѣленіями твердое и живое (землю и огонь): «твердому нужны двѣ среды, ибо оно имѣетъ не только ширину, но и глубину; потому

1) Кстати упомянуть здѣсь о богопознаніи древняго міра: это слабѣйшая сторона его философіи; недаромъ нео-платонники бросили всѣ прежніе вопросы и занялись преимущественно теодицеей. Языческій міръ былъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно непослѣдователенъ; при представленіяхъ политеизма мыслящему человѣку остановиться было невозможно; нельзя было, въ самомъ дѣлѣ, удовлетвориться Олимпомъ и добрыми греками, жившими на немъ. Ксенофанъ элеатикъ говоритъ: «еслибы быки и лвы имѣли руки, они непременно ваяли бы своихъ боговъ такъ, какъ мы, бравъ образецъ съ себя». Но отставъ отъ традиціонныхъ представленій, греки не могли сладить философскаго пониманія съ религіознымъ, ни разомъ пожертвовать язычествомъ; они могли жить, оставаясь при неопредѣленномъ, шаткомъ, колеблющемся принианіи язычества суррогатомъ мысли; оттого ни нусъ, ни душа міра, ни деміургъ, ни самая энтелехія Аристотеля не удовлетворяютъ ихъ вполне. У нихъ религія является всякій разъ случайно, *deus ex machina*; они вдругъ дѣлаютъ скачекъ отъ чистаго мышленія въ религіозное представленіе, оставляя ихъ во всемъ непримиримомъ противорѣчіи. Тутъ одинъ изъ предѣловъ греческаго воззрѣнія; не ждите полного отвѣта о божественномъ отъ язычника: признаетъ ли онъ, отвергаетъ ли,—онъ въ обоихъ случаяхъ неправъ. Цицерону приходила въ голову мысль формально примирить древнюю религію съ философіей; интересы его были и не религіозные и не философскіе,—онъ былъ государственныи человѣкъ, и для общественной пользы писалъ прозаическіе трактаты *de natura deorum*, и безъ всякой пользы излагалъ въ дюсисовскомъ переводѣ великую науку грековъ.

деміургъ постановилъ между землею и огнемъ воздухъ и воду, и притомъ такъ, что огонь относится къ воздуху такъ, какъ воздухъ къ водѣ, а вода къ землѣ». Эта двойственность среды даетъ Платону основнымъ числомъ всего естественнаго *четыре*,—то самое число, которое у пифагорейцевъ считалось дѣйствительно-полнымъ. Разумное заключеніе, силлогизмъ, имѣетъ въ себѣ три момента, именно потому, что среда, расходящаяся въ природѣ, сливается въ разумномъ единствѣ; примирительная среда въ природѣ двойственна: она представляетъ противорѣчіе такъ, какъ оно есть въ природѣ, непримиреннымъ. «Вселенная шарообразна: элементы, ее составляющіе, даны ей богами въ такой соразмѣрности, что она никогда не можетъ выйти изъ своего равновѣсія. Сферондальность ея заключаетъ въ себѣ все формы; она гладка, ибо ничѣмъ не выходитъ изъ себя, не имѣетъ *отличія отъ другого*». Имѣтъ внѣшнее различіе—характеръ конечнаго: внѣшность не для себя, а для другого предмета; вселенная же—все предметы; такъ въ идеѣ есть опредѣлительность, разчлененіе, ограниченіе и инобытіе: но вмѣстѣ съ тѣмъ, все это въ ней распушено, снято единствомъ, и потому остается такимъ различіемъ, которое не выходитъ изъ себя. «Богъ сочеталъ взятое отъ сущности вѣчно-тождественной съ собою, недѣлимой, со взятымъ отъ сущности тѣлесной и дѣлимой: въ этомъ сочетаніи соединилась природа себѣ тождественная съ *другимъ*, съ природой себя-различной, и это сочетаніе—живую душу—поставилъ онъ соединяющей средою между расторгеннымъ». Обратите вниманіе на выраженіе Платона: съ *другимъ*; онъ не называетъ, чему оно другое, и въ этомъ-то глубокій спекулятивный смыслъ его выраженія: это другое не по сравненію, а *само по себѣ*. Эти три сущности обнялъ онъ еще высшимъ единствомъ, въ которомъ онѣ сохранили свое различіе, пребывая тождественными въ идеѣ. Царство идеи стоитъ въ своей вѣчности недосыгаемымъ идеаломъ стремящемуся міру: оно имѣетъ образъ или отпечатокъ свой въ мірѣ конечномъ и отданномъ времени; но этотъ исторгающійся чрезъ временное къ вѣчности міръ въ свою очередь имѣетъ, въ противоположность себѣ, еще другой, которому переходимость и измѣняемость—сущность. Итакъ, вѣчный міръ, постановленный во времени, осуществляется двумя формами въ мірѣ примиренія съ собою и въ мірѣ блуждающаго себя-различія.

Мы имѣемъ изъ всего этого три опредѣленные момента: во-первыхъ, аморфизмъ, безвидность, готовая принять всякій видъ, вещество, матерія, среда воспринимающая, питающая, всеобщая кормилица, собою выкармливающая питомца для самобытнаго бытія; ею одѣйствовворяется форма, она сама переходитъ въ нее,—это страдательная матерія, всему дающая

состоятельность. При ея помощи возникаютъ явленія внѣшняго бытія, единичности, въ которыхъ двойство непримиримо; но то, что проявляется, не есть уже чисто-матеріальное, а всеобщее, идеальное... Разсматривая природу, Платонъ не смѣшиваетъ въ ней двухъ началъ: «необходимаго и божественнаго», соподчиненнаго и царящаго, основаннаго на взаимодѣйствіи и на себѣ самомъ; безъ необходимаго нельзя подняться къ божественному—въ этомъ его видимое значеніе,—но автономія божественнаго въ немъ самомъ. Такъ, онъ и въ человѣкѣ различаетъ принадлежащее (божественное) его безсмертной душѣ отъ принадлежащаго его смертной душѣ (необходимое); всѣ страсти принадлежатъ душѣ смертной, и для того, «чтобъ она не возмутила ими душу божественную, Богъ отдѣлилъ ее выей отъ безсмертной души, этимъ дѣлителемъ груди и головы. Сердцу онъ приобщилъ легкія, безкровныя, мягкія, чтобъ облегчить его, когда оно обнимается пламенемъ ярости; легкія ноздреваты какъ губка, такъ устроены, чтобъ вбирать въ себя воздухъ и влагу и охлаждать ими жгучій зной сердца. Распространяясь далѣе объ устройствѣ тѣла, Платонъ говоритъ о печени ¹⁾: «Неразумная сторона души—разума не слушаетъ, для того создана печень, воспринимающая нисходящую силу разума и отражающая, подобно зеркалу, вмѣсто первообразовъ призраки и страшныя тѣни; цѣль этихъ видѣній та, чтобъ неразумную сторону человѣка сдѣлать чрезъ посредство сна соучастницей вѣдѣнія. Подобно сему боги дали душѣ возможность волхованія и прорицаній; что волхованіе и предсказываніе дано именно неразумной сторонѣ души, ясно видно изъ того, что ни одинъ человѣкъ, обладающій совершенно умомъ, не предсказываетъ, а дѣлаютъ это люди или въ состояніи сна, или когда болѣзнями и восторженностію человѣкъ выводится изъ обыкновеннаго состоянія. При прорицаніяхъ надобенъ сознательный умъ другого, чтобъ понять высказанное; ибо бредящій не понимаетъ своего бреда. Прегніе мыслители справедливо говорили, что дѣяніе и сознаніе принадлежатъ только разсуждающему человѣку». Я не могъ удержаться, чтобъ не выписать этого мѣста. Какой глубокій тактъ истины руководилъ мысль древнихъ философовъ! Вы видите здѣсь, что Платонъ ясно и отчетливо понималъ, что нормальное состояніе тѣлесно и духовно здороваго человѣка несравненно выше, нежели всякое аномальное, каталептическое, магнетическое сознаніе. Въ наше время вы встрѣтите множество людей, придающихъ себѣ видъ глубокомыслія и притомъ убѣж-

¹⁾ Древніе придавали печени довольно-странное фізіологическое значеніе: они ее считали источникомъ сновъ, вѣроятно основываясь на изобиліи крови въ этомъ органѣ. Здѣсь дѣло идетъ вовсе не о мнѣніи Платона о печени, а о томъ, что онъ говорилъ по ея поводу.

денныхъ, что ясновидѣніе выше, чище, духовнѣе простаго и обыкновеннаго обладанія своими умственными способностями, такъ, какъ найдете мудрецовъ, считающихъ высшей истиной то, чего словами выразить нельзя, что, слѣдовательно, до того лично, случайно, что утрачивается при обобщеніи словомъ.

Возрѣніе Платона на природу не можетъ, впрочемъ, быть общимъ представителемъ древняго возрѣнія на естествовѣдѣніе; его стремленіе къ покоящейся идеѣ, въ которой временное потухло, романтическая струна, звучавшая въ его душѣ, его близость къ Сократу,—все это вмѣстѣ препятствовало ему остановиться долго на природѣ. Поэтому, опредѣливъ самымъ общимъ образомъ моментъ, выраженный Платономъ, мы перейдемъ къ послѣднему и полнѣйшему представителю эллинской науки.

Аристотель — въ высшемъ смыслѣ слова эмпирикъ; онъ все беретъ изъ лежащей, окружающей его среды, беретъ какъ частное, беретъ такъ, какъ оно есть; но однажды взятое изъ опыта не ускользаетъ изъ мощной десницы его, взятое имъ не сохраняетъ своей самобытности, какъ противорѣчіе мысли; онъ не оставляетъ предмета до тѣхъ поръ, пока не выпытаетъ всѣ его опредѣленія, пока сокровенная сущность его не раскроется свѣтлой, ясной мыслью, а посему эмпирикъ Аристотель съ тѣмъ вмѣстѣ въ высочайшей степени спекулятивный мыслитель. Гегель замѣтилъ, что *эмпирическое, взятое въ своемъ синтезѣ, есть само спекулятивное понятіе*: вотъ до этого пониманія и добивается современная наука. Но понятіе не прежде раскрывается, какъ перейдя весь путь мысли, и Аристотель всѣ предметы, подвергавшіеся страшной разлагательной силѣ его, прогнавъ по немъ, или, говоря языкомъ старой химіи, сублимировалъ ихъ въ мысль. Аристотель начинаетъ съ эмпирическаго даннаго, съ неотразимаго фактическаго событія,—это его точка отправленія; не причина, а начало (initium), первое, предшествующее, и, какъ первое,—оно у него необходимо, неминуемо; это эмпирическое онъ увлекаетъ въ процессъ мышленія, расплавляетъ его огнемъ своего анализа и возводитъ съ собою на вершину самосознанія; для него нѣтъ косныхъ опредѣленій, нѣтъ ничего неподвижнаго, твердаго, почившаго, нѣтъ мертвыхъ философовъ; онъ бѣжитъ покоя, а не жаждетъ его,—въ этомъ-то и состоитъ его шагъ впередъ отъ Платона. Идея не могла навсегда остаться лазурью, успокоившейся отъ тревоженій временнаго, созерцаніемъ, находящимъ свое блаженство въ отсутствіи или нѣмотѣ всего частнаго. Несмотря на свой квіетическій характеръ у Платона, она въ сущности готова была раскрыться дальнѣйшими самоопредѣленіями, но еще покоилась; Аристотель ринулъ ее въ дѣятельный процессъ, и все твердое, или казавшееся твердымъ, увле-

клось міровымъ движеніемъ, ожило, снова возвратилось къ временному, не утративъ вѣчнаго. Идея *по себѣ*, въ своей всеобщности, еще недѣйствительна, она *только* всеобщность, предположеніе дѣйствительности, заключеніе ея, если хотите,—но не сама дѣйствительность. Идея, исторгнувшаяся изъ круговорота дѣятельности, помимо его, представляетъ нѣчто недостаточное, косное и лѣнивое: одна дѣятельность даетъ полную жизнь; но она не легко уловима; понимать всеобщее отвлеченнымъ несравненно легче; движеніе сложно само по себѣ, оно раздвоено, распадается на два противоположные момента, оно понятно одному сильному, быстрому вниманію, его надобно ловить на-лету; отвлеченное покойно, покорно разсудку, оно не торопитъ, какъ все мертвое. Гамлетъ справедливо увѣрялъ короля, что нѣкуда торопиться къ трупу Полонія, что онъ подождетъ; мертвая абстракція существуетъ только въ умѣ человѣка; самодвиженія въ ней нѣтъ (если мы отдѣлимъ отъ нея неумолкаемую діалектическую потребность ума выйти изъ абстракціи).

Аристотель ищетъ истину предмета въ его цѣли; но цѣли стремится онъ опредѣлить причину; цѣль предполагаетъ движеніе; цѣлеобразное движеніе—развитіе, развитіе—осуществленіе себя найсовершеннѣйшимъ образомъ, «одѣйствованіе благого, насколько можно». «Всякая вещь и вся природа имѣетъ цѣлью благое». Эта цѣль—дѣятельное начало, логосъ, безпокоящій всеобщую почву (субстанціальность); оно пробуждаетъ ее къ стремленію, оно достигаетъ ея и въ ней совершенія себя, оно ринулось съ ней вмѣстѣ въ движеніе, но владѣетъ имъ для того, чтобъ спасти всеобщее въ потокѣ перемѣнъ; такое движеніе—не просто видоизмѣненіе, а дѣятельность; дѣятельность — тоже непрерывная перемѣна, но сохраняющаяся въ ней; въ простой перемѣнѣ ничего не сохраняется; тамъ нечего беречь. Движеніе, перемѣна, дѣятельность предполагаютъ поприще, страдательность, на которой онѣ совершаются; этотъ субстратъ—косное, отвлеченное вещество; все сущее непременно одною стороною вещественно; но вещество само по себѣ — только возможность, расположеніе, страдательная, отвлеченная, всеобщая готовность; оно даетъ дѣятельности опредѣленную возможность, практическую состоятельность; вещество—условіе, *conditio sine qua non* развитія. Отсюда два аристотелевскіе момента: *динамія* и *энергія*, возможность и дѣйствительность, субстратъ и форма, сливающіяся въ томъ высшемъ единствѣ, гдѣ цѣль есть съ тѣмъ вмѣстѣ и осуществленіе (энтелехія). Динамія и энергія — тезисъ и антитезисъ процесса дѣйствительности; онѣ неразрывны, онѣ только истинны въ своемъ существованіи; другъ безъ друга онѣ абстрактны (нельзя довольно часто повторять этого; грубѣйшія ошибки проистекаютъ

именно отъ удерживанія въ несвойственномъ разъединеніи матеріи и формы: вещество безъ формы, косное, отвлеченное отъ дѣятельности — не истина, а логическій моментъ, одна сторона истины; форма, съ своей стороны, невозможна безъ вещества: нѣтъ дѣйствительности безъ возможности, — иначе она была бы чистѣйшій *non sens*. Въ дѣйствительности они всегда неразрывны, ихъ нѣтъ врознь, процессъ жизни состоитъ изъ взаимодѣйствія ихъ и изъ ихъ присущности: — вотъ въ этомъ-то дѣятельномъ, стремящемся къ самосовершенію процессѣ и старается Аристотель уловить идею во всемъ ея разгарѣ. Идея Платона, какъ-бы совершившаяся, окончившая въ себѣ отрицаніе, примиренная, пребываетъ въ величавомъ покоѣ: Платонъ собственно держится сущности, но сущность сама по себѣ, отвлеченная отъ бытія, не есть еще ни дѣйствительность, ни дѣятельность; она точно такъ же влечетъ къ проявленію, какъ проявленіе къ сущности. У Аристотеля сущность неразрывна съ бытіемъ: оттого она и не покойна: у него идея, не совершившаяся въ отвлеченной безусловности, а такъ, какъ она совершается въ природѣ, въ исторіи, т. е. въ дѣйствительности. Послѣдуемъ за его развитіемъ.

Полное и истинное единство дѣятельности и возможности — въ идеѣ; въ низшихъ сферахъ онѣ разъединены, противоположны и только стремятся къ своему примиренію. Все осязаемое представляетъ конечную сущность, въ которой вещество и образъ раздѣлены, вѣдѣши другъ другу, — въ этомъ весь смыслъ конечнаго и вся ограниченность его: здѣсь сущность подавлена дѣятельностью, сносить ее, но не становится ею: она переходитъ изъ одной формы въ другую и постояннымъ остается одно вещество — почва перемѣнъ, страдательное долготерпѣніе: опредѣленность и форма находятся въ отрицательномъ отношеніи къ веществу, моменты распадаются, и нѣтъ мѣста полной гармоніи въ этомъ чувственномъ сочетаніи. Когда же дѣятельность содержитъ въ себѣ то, что должно быть, имѣетъ *въ себѣ* цѣль стремленія, тогда движеніе становится дѣяніемъ — энергія является какъ умъ: вещество дѣлается субъектомъ, живымъ носителемъ перемѣны; форма становится сочетаніемъ и единствомъ двухъ крайностей: матеріи и мысли, всеобщаго страдательнаго и всеобщаго дѣятельнаго. Въ чувственной сущности дѣятельное начало еще отдѣлено отъ вещества, нусъ побуждаетъ эту отдѣльность, но ему (уму) нужно вещество, онъ предполагаетъ его, иначе у него нѣтъ земли подъ ногами: умъ, или нусъ, здѣсь — понятіе животворящее и разчленяющееся въ своемъ воплощеніи. (Аристотель называетъ нусъ въ этомъ моментѣ душою, логосомъ, самодвижущимся и самостоящимся). Наконецъ, полное, совершеннѣйшее развитіе — слитіе динаміи, энергіи и энтелехіи: въ немъ все примирено, возмож-

ность вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствительность, неподвижность—вѣчное движеніе, вѣчная непереходимость временнаго, разумъ само-сознающій, *actus purus*! Можетъ быть, замѣтите вы, Аристотель ставить всему началомъ *страдательное* вещество. Нѣтъ! Ибо страдательное вещество призракъ, отвлеченіе, имѣющее только маску дѣйствительнаго, матеріальнаго; могъ ли взять началомъ такой спекулятивный геній, какъ Аристотель, неисполненную возможность, школьную абстракцію. Вотъ что онъ говоритъ: «многое возможное не достигаетъ дѣйствительности, стало быть, возможное—начало (*протерон*); но если принять началомъ одну возможность, то надобно допустить случай не одѣйствованія ея, вслѣдствіе котораго могло ничего не быть». Такая спекулятивная нелѣпость опровергала вполне, въ глазахъ его реализма, нелѣпое предположеніе. Далѣе онъ говоритъ: «Нѣтъ, не съ одного хаоса, не съ ночи, продолжавшейся безконечное время, какъ объясняютъ наши жрецы-теологи, начало всего; откуда взялось бы что-нибудь, если-бъ въ самой дѣйствительности не было причины? Энергія есть высшее и первое (вспомните, какъ прекрасно Августинъ дѣлитъ хронологическое первенство и первенство достоинства, *prioritas dignitatis*). Вещественность страдательна; чистая дѣятельность предупреждаетъ возможность не по времени, а по сущности». Цѣлесообразность выставляетъ, обличаетъ это первенство.

Вѣрный себѣ, Аристотель начинаетъ физику съ движенія и его моментовъ (пространство и время) и переходитъ отъ всеобщаго къ обособленіямъ и частностямъ вещественнаго міра, не теряя нигдѣ изъ вида главную мысль—живого теченія, процесса. Мало того, что онъ природу схватываетъ, какъ жизнь—въ этомъ основа его естествовѣдѣнія, —но эту жизнь принимаетъ за единую, имѣющую цѣль въ себѣ, тождественную съ собою; движеніемъ она *не въ другое переходитъ*, но развиваетъ перемѣны изъ своего содержанія, пребывая въ нихъ и сохраняя себя. «Все находится во взаимномъ соотношеніи; плавающее, летающее, прозябающее,—все это не чуждо другъ другу; они сами представляютъ свои отношенія, сводящіяся къ одному единству». Систематическаго порядка въ аристотелевой физикѣ нѣтъ: онъ выводитъ одну сторону предмета за другою, одно опредѣленіе за другимъ, безъ внутренней необходимости, развивая каждое до спекулятивнаго понятія, но не связуя ихъ. У него одна связь—та, которая въ самой природѣ—жизнь и движеніе; но для науки этого мало: жизнь еще не вся полнота самосознательной идеи.

Приступая къ идеѣ природы, Аристотель сначала рассматриваетъ природу, какъ причину, для чего-нибудь дѣйствующую, имѣющую цѣлесообразное стремленіе, потомъ уже переходитъ

къ необходимости и ея отношеніямъ. Обыкновенно дѣлають наоборотъ: обращаются сначала къ необходимому и существеннымъ считаютъ не то, что опредѣлено цѣлью, а что вышло изъ вѣншей необходимости: долгое время все пониманіе природы сводили на одно раскрытіе необходимости. Аристотель начинаетъ съ идеальнаго момента природы: для него цѣль—«внутренняя опредѣленность самаго предмета». «Въ ней заключена дѣятельность природы, ея самосохраненіе, постоянное, непрерывное, и, слѣдовательно, зависящее не отъ случая и удачи». Цѣль равно становится предъидущее и послѣдующее, причину и произведеніе; сообразно ей всѣ частныя дѣйствія отнесены къ единству, такъ что производимое есть именно природа вещи. «Нѣчто становится, какимъ оно предсуществовало». «Кто принимаетъ случайное образование, тотъ снимаетъ природу, ибо начало ея состоитъ въ томъ, что она себя приводитъ въ движеніе; природа есть то, что достигаетъ своей цѣли». Природа вещи — всеобщее, само съ собою тождественное, которое само себя, такъ сказать, отталкиваетъ, т. е. осуществляетъ: но то, что осуществляется, что возникаетъ,—то было въ основѣ: это цѣль, родъ, предсуществовавшіе, какъ возможность. Отъ цѣли переходитъ Аристотель къ средѣ, къ средству. «Пасточка, говоритъ онъ, вѣсть гнѣздо, паукъ плететь паутину, дерево вращается въ землю,—въ нихъ самихъ находится причина такого дѣйствованія». Инстинктъ заставляетъ ихъ искать сочетанія среды съ самосохраненіемъ; средство—не что иное, какъ особенное представленіе цѣли. жизнь—цѣль самой себѣ, она достигаетъ, воспроизводитъ и хранитъ вызванный организмъ свой. Растеніе, животное становится *такимъ*, потому что оно въ водѣ или на воздухѣ,—тутъ кругъ. Эта способность видоизмѣняться, принадлежащая живому,—не просто случайность и слѣдствіе одной вѣншей среды: она возбуждается вѣншимъ условіемъ, но одѣйствовворяется настолько, насколько соответствуетъ внутреннему понятію животнаго. «Иногда природа не достигаетъ того, чего хочетъ: ея ошибки—уроды; но ошибаться можетъ тотъ, кто дѣлаетъ съ цѣлью». Природа имѣетъ при себѣ свои средства и эти средства—сама цѣль; она похожа на человѣка, который самъ себя лечитъ. Говоря о необходимости, Аристотель превосходно побѣждаетъ мысль вѣншей необходимости въ развитіи природы слѣдующимъ примѣромъ: «Можно предположить, что домъ необходимо возникъ, потому что тяжелѣйшія части его внизъ, а легкія вверхъ, такъ что, слѣдуя своей природѣ, фундаментъ опустился ниже земли, а сверхъ земли улеглись бревна... Конечно, и это отношеніе было въ расчетъ, однако не вѣдствіе его воздвигнули домъ. Такъ и во всемъ, для чего-нибудь существующемъ: оно, т. е. существующее, не безъ того, что необходимо его природѣ,

но и не потому. Такая необходимость относится къ предмету, какъ вещественность вообще; въ матеріи необходимость, а въ основѣ—цѣль, и то и другое начало, но цѣль—высшее». Она двигающее, которому необходимое—необходимо, но она не покоряется ему, а совсѣмъ напротивъ, держать его въ своей власти, не даетъ ему вырваться изъ цѣлесообразности и удерживаетъ внѣшнюю силу необходимости.

Я оставляю прекрасные выводы Аристотеля пространства и времени единственно изъ боязни, что они вамъ покажутся слишкомъ абстрактными, и перейду къ его психологіи (которую, впрочемъ, можно назвать и физиологіей). Не думайте, что тутъ пойдетъ собственно метафизика души, что онъ, какъ схоластики, поставитъ передъ собою душу и пресерьезно начнетъ разбирать, что она за вещь такая, простая или сложная, духовная или вещественная,—нѣтъ, такимъ абстрактными игрушками спекулятивный духъ Аристотеля не могъ заниматься: его психологія разсматриваетъ дѣятельность въ живомъ организмѣ—не болѣе. Съ самаго приступа онъ проводитъ яркую черту между своимъ воззрѣніемъ и дуализмомъ метафизики; онъ говоритъ, что душу разсматриваютъ, какъ отдѣляемое отъ тѣла въ мышленіи съ логической стороны ея, и какъ нераздѣльное съ тѣломъ въ чувствахъ—физиологически, и тотчасъ присовокупляетъ, въ видѣ объясненія: «Съ одной стороны, гнѣвъ, наиримѣрь, разсматривается, какъ порывъ и кипѣніе крови, съ другой стороны—какъ желаніе справедливаго вознагражденія: это похоже на то, если-бъ одинъ домъ разсматривать со стороны представляемой имъ защиты отъ дождя и вѣтра, другой, со стороны матеріала, изъ котораго онъ построенъ, одинъ со стороны формы, другой—со стороны вещества и необходимости». Душа есть энергія перехода изъ возможности въ дѣйствительность, сущность органическаго тѣла, его *εἶδος* чрезъ посредство котораго она по возможности становится тѣломъ одушевленнымъ; душа достигаетъ формы, наиболѣе соотвѣтствующей себѣ: для того она и дѣятельна. «Нельзя спрашивать», говоритъ Аристотель, «тѣло и душа одно ли, или разное, такъ какъ нельзя спросить: воскъ и его форма одно ли». Совсѣмъ не въ томъ интересъ отношенія души къ тѣлу, что они тождественны или нѣтъ; главный вопросъ, по Аристотелю, состоитъ въ томъ, *тождественна ли дѣятельность съ органомъ*. Вещественная сторона представляетъ только возможность, не реальность души; субстанція глаза—видѣніе: лишите его способности зрѣнія,—вещество можетъ остаться то же, по смыслъ утраченъ; глазъ, его составныя части, актъ видѣнія принадлежатъ единой цѣлости, и въ ней полная истина ихъ, а не врознь: такъ, душа и тѣло составляютъ живую неразрывность. Душу Аристо-

тель опредѣляетъ тройко: какъ питающуюся, какъ чувствующую и какъ разумную, соответственно тремъ главнѣйшимъ функциямъ души и имъ соответствующимъ царствамъ жизни: растительному, животному и человѣческому: въ человѣкѣ соединяется растительная и животная натура въ высшемъ единствѣ. Переходя къ взаимному отношенію трехъ душъ, Аристотель говоритъ: «растительная и чувственная душа находятся въ мыслящей, питающаяся душа составляетъ природу растений: растительная душа—первая степенъ дѣятельности, находится и въ чувствующей душѣ, но такъ, какъ возможность ея». Она въ ней непосредственное по себѣ бытіе: всеобщее, существенное не ей принадлежитъ, но безъ нея быть не можетъ: она изъ подлежащаго дѣлается сказуемымъ, изъ высшей дѣятельности нисходитъ на значеніе субстрата, носителя. То же отношеніе животно-растительной души къ мыслящей: высшее бытіе животного нисходитъ въ мыслящемъ существѣ *въ одно изъ его естественныхъ опредѣленій*, въ его всеобщую возможность, но то и другое покорено ею для себя бытіемъ (т. е. *интелехией*). Какая изумительная вѣрность и какая глубина въ этомъ взглядѣ на природу! Аристотель не только далеко оставилъ за собою грековъ, но и почти всѣхъ новыхъ философовъ. Послѣдующимъ за нимъ далѣе въ разборѣ функций души.

«Чувствованіе—вообще возможность, но эта возможность съ тѣмъ вмѣстѣ дѣятельность. Первая переменна чувствующаго происходитъ отъ производящаго впечатлѣніе; но когда оно произведено, тогда мы обладаемъ впечатлѣніемъ, какъ знаніемъ», и въ этой страдательной сторонѣ чувствованія, возбуждаемой внѣшнимъ, находитъ Аристотель его различіе съ сознаніемъ. Причина этого различія состоитъ въ томъ, что чувствующая дѣятельность имѣетъ предметомъ частное, а знаніе—всеобщее, которое само нѣкоторымъ образомъ составляетъ сущность души. Оттого всякій можетъ думать, когда хочетъ, и мышленіе свободно; чувствовать же—не въ волѣ человѣка: для чувствованія необходимъ производитель. Чувство въ возможности—то, что ощущаемое въ дѣйствительности: оно страдательно, пока не приведетъ себя въ уровень съ впечатлѣніемъ; но, выстрадавъ, оно готово и дѣлается тождественно по ощущаемому. «*Какъ сущіе*, звукъ и слухъ разны, но въ основѣ своей они одинаковы»; дѣятельность слуха—ихъ единство, чувствованіе есть форма ихъ тождественности, снятіе противоположности предмета и органа: чувство воспринимаетъ ощущаемыя формы безъ матеріи: такъ, воскъ принимаетъ печать, захватывая не металлъ, а только его форму. Это сравненіе Аристотеля подало поводъ къ безконечнымъ толкамъ о душѣ, какъ о пустомъ пространствѣ (*tabula rasa*), наполняемомъ одними внѣшними впечатлѣніями; но такъ далеко сказанное сравненіе нейдетъ: воскъ въ самомъ дѣлѣ отъ печати

ничего не принимаетъ; выдвленная форма, какъ внѣшнее очертаніе его, нисколько ему не существенно; въ душѣ, напротивъ, форма принимается самой сущностью ея, претворяется ею, такъ что душа представляетъ живую и усвоенную себѣ совокупность всего ощущаемаго. Приниманіе души дѣятельно; принявъ, она снимаетъ страдательность, освобождается отъ нея¹⁾; рефлексія сознанія снова поставляетъ различіе; но различіе, имѣющее оба момента внутри сознанія, ощущаемое въ отношеніи къ мышленію, представляетъ его непосредственность, его вещественную, матеріальную часть, безъ которой оно невозможно, внѣшнюю искру, зажигающую мышленіе. Однажды вызванная мысль остановиться не можетъ, она не можетъ относиться къ своему предмету бездѣятельно, ибо она только и есть дѣятельность; предметъ мысли самъ является въ формѣ мысли, лишенной объективности ощущаемаго, и оба термина движенія въ ней самой. Для мысли нѣтъ другого бытія, какъ дѣятельное для себя бытіе, *она вовсе не имѣетъ по себѣ бытія*, ея по себѣ бытіе, матеріальное существованіе, есть именно *ея другое*. «Разумъ во всемъ у себя, онъ все мыслить; но онъ не имѣетъ дѣйствительности безъ мышленія; онъ ничего прежде, нежели мыслить», онъ живъ въ дѣятельности. «Разумъ—книга съ бѣлыми листами, *на которыхъ, въ самомъ*

¹⁾ Здѣсь, по неволѣ, вспоминается споръ, долго тянувшійся между идеалистами и эмпириками о началѣ вѣдѣнія. Одни началомъ ставили сознаніе, другіе—опытъ. Спорили, писали томы и были очевидно неправы, потому что обѣ стороны причмали отвлеченіе за истину. Лейбницъ, своими гениальными «*nisi intellectus*», указалъ на разрѣшеніе спора; но его не поняли, находили, что это діалектическая уловка, искаженіе вопроса, и требовали законически ли или другое: первенство опыта или сознанія, *la bourse ou la vie!* Теперь этотъ вопросъ никого не занимаетъ; очевидность истины съ той и другой стороны и невозможность удержаться въ одномъ опредѣленіи, не перейдя въ другое, прямо ведетъ къ заключенію, что истина состоитъ въ единствѣ односторонностей, не исчерпывающихъ ея вразъ, необходимыхъ другъ для друга. И чего добивались спорившіе? для чего имъ хотѣлось утвердить ничтожное хронологическое первенство за опытомъ, или за сознаніемъ? Вѣроятно, они думали на этомъ первенствѣ основать майоратъ, не замѣчая, что въ чью бы пользу ни разрѣшили вопроса, — побѣда досталась бы противникамъ. Если начало знанія—опытъ, то знаніе дѣйствительное должно доказать, что предположеніе, предупреждающее его, не есть знаніе, что отъ него должно отречься, потому что оно незнаніе; начало, въ самомъ дѣлѣ, тотъ моментъ знанія, въ которомъ оно равно незнанію, — одна возможность знанія, снимаемая развитіемъ. Знаніе равно невозможно безъ опыта и безъ смысла. Если феноменально опытъ предшествуетъ сознанію, то это не больше значитъ, какъ то, что онъ служитъ внѣшнимъ условіемъ для обличенія предсущающаго ему разумѣнія, которое осталось бы одною возможностью, не возбужденное опытомъ. Подобныя абстракціи, удерживаемыя въ противорѣчащей полярности, ведутъ къ антиноміямъ, въ которыхъ безконечно повторяется противорѣчіе, съ монотонностью, приводящей въ отчаяніе и указующей на какую-то неладность въ самомъ вопросѣ. Въ этихъ антиноміяхъ непрерывно вращается разсудочная наука. Мы съ ними еще разъ встрѣтимся.

дѣль, ничего не написано. Этого примѣра такъ же не поняли, какъ примѣра о воскѣ: дѣтельность тутъ принадлежитъ самой книгѣ, а внѣшнее только поводъ; разумѣется, разумъ—бѣлый листъ прежде мышленія; разумъ—динамія всего мыслимаго, но онъ ничего безъ мышленія; мыслить же опять онъ самъ,—внѣшность не умѣетъ писать на бѣломъ листѣ, она будитъ только писари. «Разумъ страдателенъ, говоритъ Аристотель, въ чувствѣ и въ представленіи, но въ этомъ по себѣ бытія его онъ еще не развитъ; нусъ себя думаетъ чрезъ воспріятіе мыслимаго, это мыслимое становится, съ тѣмъ вмѣстѣ, возбуждающее (касающееся), оно создается въ то время, *какъ касается*. Разумъ—дѣтельность: то движется, то дѣтельно, что ищетъ, что проситъ; цѣль, искомое, напротивъ, пребываютъ въ покоѣ, но въ мышленіи предметъ самъ мыслимый, самъ произведеніе мышленія, къ себѣ стремится, оттого онъ безконеченъ и свободенъ и тождественъ съ своею дѣтельностью, оттого онъ не имѣетъ другой дѣйствительности, кромѣ для себя бытія». Если мы нусъ возьмемъ за способность внѣшняго знанія, а не за дѣтельность, и мышленіе подчинимъ результатамъ такого знанія, то мышленіе будетъ хуже того, чего достигаетъ,—бѣдною и скучною воспроизводящею способностью. Свой разборъ мышленія Аристотель заключаетъ слѣдующими чисто эллинскими словами: «Въ системѣ міра намъ данъ короткій срокъ пребыванія—жизнь, даръ этотъ прекрасенъ и высокъ. Бодрствованіе, чувствованіе, мышленіе—вышія блага, исполненныя наслажденія. Мышленіе, имѣющее предметомъ себя, претворило предметъ въ себя, такъ что мышленіе и мыслимое сливаются, и предметъ становится ея дѣтельностью и энергіей. Такое мышленіе—верхъ блаженства и радость въ жизни доблестнѣйшее занятіе человѣка». Энергію мышленія онъ ставитъ выше мыслимаго; для него живое мышленіе—высшее состояніе великаго процесса всемірной жизни. Вотъ вамъ грекъ во всей мощи и красѣ своего развитія! Это послѣднее торжественное слово *пластическаго* мышленія древнихъ; это рубежъ, далѣе котораго эллинскій міръ не могъ идти, оставаясь самимъ собою.

Осень, 1844 г.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Послѣдняя эпоха древней науки.

Возрѣніе Аристотеля не достигло такой наукообразной формы, которая бы, находя все въ себѣ и въ методѣ, поставила бы его независимо отъ самого Аристотеля; оно не достигло той зрѣлой самобытности, чтобъ совсѣмъ оторваться отъ лица, и, слѣдственно, не могло перейти во всей полнотѣ къ его преемникамъ,—перейти, какъ такое наслѣдіе, которое стоило бы только развивать и вести стройно впередъ. Въ наукѣ Аристотеля, какъ въ царствѣ ученика его, Александра Македонскаго, единство животворящее, средоточіе, къ которому все относилось, не было полной принадлежностью ни науки, ни царства; имъ не доставало всего того, что въ нихъ привносила гениальность исполина мысли и исполина воли. Возможность имперіи Александра лежала въ современныхъ ему обстоятельствахъ, но дѣйствительность ея была въ немъ; со смертью его она распалась; послѣдствія ея были вѣрны и обстоятельствамъ и лицу, но царство, какъ органическое цѣлое, какъ социальная индивидуальность, не могло удержаться. Также точно ученіе Платона и его предшественниковъ представляло Аристотелю возможность подняться на ту высоту, на которую его возвелъ его гений; но гениальность дѣло личное; нельзя требовать, чтобъ каждый перипатетикъ, наприм., имѣлъ бы такой талантъ, который поднялъ бы его на тотъ пьедесталъ, на которомъ стоялъ Аристотель, потому что онъ былъ гений. Слѣдствіемъ всего этого было формальное, подѣавторитетное изученіе самого Аристотеля, вмѣсто усвоенія духа, животворящаго его науку. Ученики его тогда только могли бы понять, усвоить себѣ возрѣніе Аристотеля, когда бы они такъ стали на его почвѣ, чтобъ вовсе не заботились о его словахъ, а вели бы далѣе самое дѣло; но для этого надобно было, чтобъ доля, принадлежавшая гениальной личности, перешла въ безличность методы, т. е. людямъ надобно было прожить еще двѣ тысячи лѣтъ. Въ наше время, подвигъ Гегеля состоитъ именно въ томъ, что онъ науку такъ воплотилъ въ методу, что стоитъ понять его методу, чтобъ почти вовсе забыть его личность, которая часто безъ всякой нужды выказываетъ свою германскую физиономію и профессорскій мундиръ Берлинскаго университета, не замѣчая противорѣчія такого рода личныхъ выходовъ съ средою, въ которой это дѣлается. Но это появленіе личныхъ мнѣній у Гегеля до такой степени неважно и неумѣстно, что никто (изъ

порядочныхъ людей) не останавливается передъ ними, а его же методою бьютъ на голову тѣ выводы, въ которыхъ онъ является не органомъ науки, а человѣкомъ, не умѣющимъ освободиться отъ паутины ничтожныхъ и временныхъ отношеній; изъ его началъ смѣло идутъ противъ его непослѣдовательности—съ твердымъ сознаніемъ, что идутъ *за него*, а не *противъ него*. Чѣмъ болѣе влияние лица, чѣмъ болѣе вырѣзывается печать индивидуальности частной, тѣмъ труднѣе разобрать въ ней черты родовой индивидуальности, а наука-то и есть родовое мышленіе; потому она и принадлежитъ каждому, что она не принадлежитъ никому.

Эфирное начало, тонкое вѣяніе духа глубокаго и полного живымъ пониманьемъ, носившееся надъ твореніями Аристотеля, тотчасъ низверглось, попавшій въ холодильникъ разсудочнаго пониманія его послѣдователей. Слова его повторялись съ грамматическою вѣрностью,—но это была маска, снятая съ мертваго, представившая каждую черту, каждую морщину трупa и утратившая теплыя, колеблющіяся формы жизни. Аристотель не могъ привить свою философію такъ въ кровь своихъ современниковъ, чтобъ сдѣлать ее ихъ плотью и кровью; ни его послѣдователи не были готовы на это, ни его метода: онъ изъ простой эмпиріи поднимаетъ предметъ свой до многосторонней спекуляціи и, истощивъ его, идетъ за другимъ; онъ, какъ рыболовъ, безпрестанно погружаетъ голову въ воду, чтобъ исторгнуть оттуда что-нибудь, вывести на свѣжій воздухъ и усвоить себѣ; совокупность этихъ усвоеній даетъ тѣло его наукъ, но средство этого претворенія—опять его личность, добавляющая своей мощью недостатокъ методы, ибо *открытая* метода его просто формальная логика; скрытое начало, связующее всѣ творенія Аристотеля, если и просвѣчиваетъ, то, навѣрное можно сказать, нигдѣ не выражено въ наукообразной формѣ;—оттого-то ближайшіе послѣдователи, усвоивъ себѣ то, что передавалось наукообразно, утратили все, что принадлежало орлиному взгляду генія. Неполнота или недостатокъ великаго мыслителя обличаются не въ немъ, а въ послѣдователяхъ, потому что они держатся въ неотступной и строгой вѣрности буквальному смыслу словъ, тогда какъ геніальная натура, по внутреннему устройству души своей, переходитъ во всѣ стороны за формальные предѣлы, хотя бы они были поставлены ея собственной рукой; это перехватываніе за предѣлы односторонности, даже современности, и составляетъ яркое величіе генія. Аристотель такъ же, какъ и Платонъ, потускли въ философскихъ школахъ, слѣдовавшихъ за ними; они остаются какими-то осѣняющими свѣше тѣнями, недосягаемыми, высокими, отъ которыхъ всѣ ведутъ свое начало, къ которымъ всѣ хотятъ прикрѣпиться, но которыхъ никто не понимаетъ въ самомъ дѣлѣ. Послѣ многихъ вѣтвящихся школъ ака-

демических и перипатетических, не сдѣлавшихъ ничего важнаго, является неоплатонизмъ наслѣдникомъ всей древней мысли, исполненіемъ Платона и Аристотеля. Неоплатонизмомъ перешла древняя мысль въ новый міръ,—но это было болѣе переселеніе душъ, нежели развитіе: мы увидимъ это сейчасъ. Какъ лицо, какъ самъ онъ, Аристотель былъ схороненъ подъ развалинами древняго міра до тѣхъ поръ, пока аравитянинъ не воскресилъ его и не привелъ въ Европу, погрязавшую во мракѣ навѣжества,—средневѣковой міръ, съ какой-то любовью накладывавшій на себя всякія цѣпи, съ подобострастіемъ склонился подъ авторитетъ рѣшительно непонятаго Аристотеля. При всемъ этомъ, *doctores seraphici et angelici*, унижаясь передъ Аристотелемъ, сдѣлали изъ него схоластическаго, скучнаго, іезуитическаго патера-формалиста. И бѣдный стагиритъ долженъ былъ раздѣлить всю ненависть воскреснувшей мысли, съ лютеровскимъ яримъ гнѣвомъ возставшей противъ схоластики и романтическихъ оковъ ¹⁾. Собственно отъ Аристотеля до «великаго возстановленія» наукъ въ XVI столѣтіи (*instauratio magna*), наукообразнаго движенія не было, несмотря на то, что человѣчество въ этотъ промежутокъ сдѣлало колоссальные шаги, которые привели его къ новому міру мышленія и дѣянія. Для нашей цѣли, мы, ничего не теряя, могли бы перешагнуть отъ Аристотеля къ Бэкону,—но позвольте самымъ сжатымъ образомъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ времени, промежуточномъ между эллинской наукой, окончившейся Аристотелемъ, и новой, начавшейся съ Бэкона и Декарта и возмужавшей въ лицѣ Спинозы.

Наука грековъ, вступая въ послѣднюю фазу свою, ищетъ

¹⁾ Предупреждая возраженіе какого-нибудь филолога, считаемъ нужнымъ замѣтить, что мы разумѣемъ судьбы Аристотеля на Западѣ. Въ Восточной имперіи, вѣроятно, до самыхъ турковъ, водились люди, читавшіе древнихъ философовъ, въ томъ числѣ Аристотеля, и смотрѣвшіе на него съ своей точки зрѣнія,—исторіи науки, собственно, до этого дѣла нѣтъ; исторія вообще не обязана заниматься всѣмъ, что дѣлаютъ люди и что они вездѣ дѣлаютъ. Все, что выпадаетъ изъ общаго русла или не втекаетъ въ него, что замираетъ въ стоячести, или, усталое, падаетъ на полдорогѣ, что случайно, частно,—тогда только имѣетъ право на историческое значеніе, когда оно не безслѣдно; въ противномъ случаѣ, исторія забываетъ—и въ этомъ великое милосердіе ея! Исторія Китая обыкновенно преподается короче, нежели исторія каждаго города Италіи: неужели вы думаете, причина этому пристрастіе, даль или близость? Въ такомъ случаѣ, Плутархъ до высочайшей степени пристрастный человѣкъ: почему онъ писалъ біографіи Перикла, Алкивіада и проч., а не каждаго аѳинскаго гражданина? или почему въ своихъ біографіяхъ онъ не рассказываетъ, какъ у его героевъ рѣзались зубы, какъ ихъ отнимали отъ груди, или какъ въ болѣзненномъ и старческомъ бреду они капризничали, охали и проч.? Исторія, какъ Французская академія, никому сама не предлагаетъ мѣста въ себѣ, а разбираетъ права тѣхъ, которые сами стучались въ дверь ея.

очевиднаго, одно очевидное принимаетъ за истину. Требованія ея становятся ясны и, съ тѣмъ вмѣстѣ, плоче; она цѣлью своихъ изысканій ставитъ вышній критеріумъ истины, ищетъ его въ личномъ мышленіи:—конечно, критеріумъ только и можно найти въ мышленіи, но въ мышленіи, освобожденномъ отъ личнаго характера. Отысканіе критеріума, т. е. повѣрки, съ разсудочной точки зрѣнія, неразрѣшимая задача; умъ, отрѣшившійся отъ предмета и опредѣлившій себя отрицательно, можетъ понять истину, какъ свой законъ, но никогда не пойметъ этого закона истинною предмета. И именно, въ этомъ отчужденномъ, сосредоточенномъ въ себѣ состояніи мысли, когда у ней теряется земля подъ ногами и чувствуется какая-то пустота внутри, возникаетъ потребность строгаго догматизма, мышленіе хочетъ въ немъ окопаться, укрѣпиться противъ всякаго нападенія, не зная, что худшій врагъ уже въ груди ея. Да и какъ было не искать людямъ неприкосновенной твердыни внутри себя и въ теоретическомъ мірѣ, когда все окружающее начало ломится и оказываться ложнымъ или дряхлымъ. Свѣтлая эпоха греческой жизни приходила тогда къ концу: година, исполненная тяжкихъ страданій и униженій, наставала для Греціи: побѣдители Востока не имѣли силы защищаться противъ суроваго Запада. Въ жизни греческой такъ тѣсно соединялись всѣ элементы, что ни искусство, ни наука не могли, не измѣнившись, пережить гражданское устройство; для ихъ науки нужны были Аѣины, Аѣины, вѣрующія въ себя... Ну, просто, нужна была юношеская беззаботность, позволяющая предаваться мысли,—а могла ли она остаться около того времени, какъ послѣдній царь македонскій съ поникнувшимъ челомъ шелъ по римскимъ улицамъ, прикованный къ торжественной колесницѣ побѣдителя? Когда это случилось, разлагающій ядъ давно разѣдалъ Элладу; ни въ науку, ни въ государство, ни въ людей не было вѣры; объ Олимпѣ и говорить нечего—его не отвергали изъ какой-то учтивости, да страшали имъ толпу. Вотъ въ это время, а не во время софистовъ, въ самомъ дѣлѣ, явилось безобразное зрѣлище риторовъ-діалектиковъ, говорившихъ и проповѣдовавшихъ безъ всякихъ убѣжденій: это было какое-то холодное адвокатство въ наукѣ, двуличное и коварное, мгновенное и пустое; едва изрѣдка появлялись искры, напоминавшія острый, поэтическій, легкій и глубокий аѣинскій умъ. Явленіе это болѣе принадлежитъ общественной жизни, нежели наукѣ, оно было—отраженіемъ гражданского растлѣнія въ сферѣ мышленія. Но въ той же самой сферѣ явилось и самое энергическое противодѣйствіе общественной безнравственности—стоицизмъ.

Ученіе стоиковъ, по преимуществу, нравственное; оно прямо идетъ къ вопросамъ жизненнымъ, стремится дать совѣтъ,

укрѣпить грудь противъ ударовъ судьбы, возбудить гордое сознаніе долга и заставить всѣмъ жертвовать ему. Что другое могли проповѣдывать люди мысли, передъ глазами которыхъ разыгрывался послѣдній замыкающій актъ трагедіи, гдѣ гибнулъ цѣлый міръ и изъ-за видимыхъ развалинъ этого міра трудно было разсмотрѣть будущее, тихо и незамѣтно водворявшееся, передъ этимъ страшнымъ зрѣлищемъ агоніи, исполненной старческаго, безсильнаго разврата, истощенія, гадкой въ своемъ циническомъ раболѣпніи?—Философу оставалось скрестить руки на груди и мужественно [стать протестомъ, своимъ неучастіемъ заклеить общество, громко обличить его позоръ, и, когда нѣтъ надежды спасти его, употребить всѣ силы, чтобъ спасти *нѣсколько лицъ*, оторвать ихъ отъ зараженной среды и пробудить нравственное чувство въ ихъ груди. Стоики обрекли себя на это. Но такое ученіе печально, угрюмо, «не жертвуетъ граціямъ»,—оно учитъ умирать, учитъ цѣною головы подтверждать истину, быть непреклонно-твердымъ въ несчастіяхъ, побуждать страданія, пренебрегать наслажденіями:—все это добродѣтели, но добродѣтели человѣка въ несчастномъ положеніи; все это слишкомъ мрачно, чтобъ быть нормальнымъ. Рука стойка, всегда готовая прервать нить собственной жизни, была безстрашно-жестка: она до всего касалась перстами грубыми,—и нѣжное, едва уловимое благоуханіе, въ которомъ, какъ въ своей атмосферѣ, является все аѳинское, исчезаетъ отъ ихъ прикосновенія, или не существуетъ для него. Римскій духъ, практический, опредѣленный, рѣзкій и холодный, началъ тогда проникать всюду, началъ становиться всемірнымъ, господствующимъ дыханіемъ; на римской почвѣ стоики развились вполне; въ Греціи они были болѣе теоретики; здѣсь они отворяли себѣ жилы и приготавливали въ собственномъ саду костры; въ нихъ именно преобладалъ римскій элементъ: умы сухо-энергическіе и озлобленные, груди твердыя, но наболѣвшія, люди практическіе, но чрезвычайно односторонніе и формальные; правила ихъ просты, чисты,—но въ своей абстрактной чистотѣ онѣ, какъ кислородъ, не составляютъ здоровой среды дыханія именно потому, что нѣтъ примѣси, которая бы смягчала рѣзкую чистоту. Нравоученія стойковъ имѣли цѣлью образовать *мудраго*; они вѣрили только въ возможность добродѣтели частнаго лица; они искали развитіе нравственное только въ лицѣ мудраго, а не въ республикѣ, какъ Платонъ; они первые высказали колоссальную мысль, что мудрый не связанъ внѣшнимъ закономъ, ибо онъ въ себѣ носитъ живой источникъ закона и не повиненъ давать отчетъ кому-либо, кромѣ своей совѣсти,—мысль глубокая и многозначительная, но такая, которая высказывается только въ тѣ эпохи, когда мыслящіе люди разгля-

дываютъ обличившуюся во всемъ безобразіи лжи несоотвѣтственность существующаго порядка съ сознаніемъ; такая мысль есть полнѣйшее отрицаніе положительнаго права; между тѣмъ, освобождая такимъ образомъ мудраго, стойки излагали свою нравственность сентенціями, т. е. готовыми статьями своего кодекса. Сентенціи въ философіи нравственности безобразны; онѣ унижаютъ человѣка, выражая верховное недовѣріе къ нему, считая его несовершеннѣйшимъ, или глупымъ: сверхъ того, онѣ бесполезны, потому что всегда слишкомъ общи, никогда не могутъ обнять всѣхъ обстоятельствъ, видоизмѣняющихся въ данномъ случаѣ, а въ тѣхъ данныхъ случаяхъ—онѣ не нужны; наконецъ, сентенція—мертвая буква; она не даетъ выхода изъ себя для исключительныхъ обстоятельствъ, и, когда являются эти обстоятельства, сила вещей отбрасываетъ отвлеченное правило, ломаетъ его, какъ раму, не имѣющую мощи сдержать содержаніе. Человѣкъ нравственный долженъ носить въ себѣ глубокое сознаніе, какъ слѣдуетъ поступить во всякомъ случаѣ, и вовсе не какъ рядъ сентенцій, а какъ всеобщую идею, изъ которой всегда можно вывести данный случай; онъ импровизируетъ свое поведеніе. Но стойки—формалисты и недовѣрчивые, съ юридической точки зрѣнія смотрѣли на нравственный вопросъ и составляли моральныя сентенціи; ихъ ученіе стремилось явнымъ образомъ окрѣпить, оцѣнить въ оконченной догматикѣ.

И въ то же самое время, какъ мрачный, аскетическій стоицизмъ съ своими самоубійствами и суровыми правилами овладѣлъ умами, распространялось съ такой же быстротою другое ученіе, явно противоположное стоицизму (по выраженію): эпикуреизмъ—последняя попытка, чисто греческая, свѣтло и отчасти дешево примирить мысль съ жизнью, себя съ окружающимъ. «Цѣль жизни, ея истина—сознательное, проникнутое мыслью наслажденіе собою, блаженство; въ немъ добро, въ немъ прекрасное, къ нему должно стремиться, снимая все мѣшающее, какъ зло». Итакъ, блаженство—вотъ критеріумъ Эпикура. Ничто не можетъ быть нелѣпѣе, какъ вѣчные рассказы добрыхъ людей о томъ, что Эпикуръ проповѣдывалъ цѣлью жизни грубое и животное удовлетвореніе страстей: это такъ же ограничено и плоско, какъ воображать, что Гераклитъ только плакалъ, а Демокритъ—только хохоталъ, что софисты были шарлатаны и мошенники... Все это принадлежитъ особому воззрѣнію на философію, очень похожему на то воззрѣніе, которымъ изъ передней разсматриваютъ баты. Блаженство, безъ всякаго сомнѣнія, цѣль жизни: все живое и сознающее имѣетъ неотъемлемое право на наслажденіе жизнью; но вопросъ: въ чемъ состоятъ блаженство человѣка? Для звѣря оно—въ сытости и въ сѣдованіи естественнымъ побужденіямъ; для звѣря-человѣка точно

также; но не надобно забывать, что человѣкъ-звѣрь не въ нормальномъ состояніи: это такое же уродство, какъ человѣкъ, который бы отрекся отъ всего физическаго, какъ отъ недостойнаго себя; для человѣка нѣтъ блаженства въ безнравственности: въ нравственности и добродѣтели только и достигаетъ онъ высшаго блаженства; потому-то человѣку и совершенно естественно любить добродѣтель, любить нравственность. Моралистамъ хочется непременно понуждать человѣка къ добру, заставляя его поступать нравственно, такъ, какъ врачъ заставляеть принимать отвратительную горечь; они въ томъ-то и находятъ достоинство, чтобъ человѣкъ *нехотя* исполнялъ обязанности; имъ не приходитъ въ голову, что если эти обязанности истинны и нравственны, то каковъ же тотъ человѣкъ, которому исполненіе ихъ противно? не приходитъ въ голову требованіе—примирить сердце и разумъ такъ, чтобъ человѣкъ исполненіе дѣйствительнаго долга не считалъ за тяжкую ношу, а находилъ въ немъ наслажденіе, какъ въ образѣ дѣйствія, наиболѣе естественномъ ему и признанномъ его разумомъ. Если добродѣтель только понудительная обязанность, внѣшнее велѣніе, то ее нельзя любить; можно ей жертвовать, можно покориться ей, но не болѣе; можно, наконецъ, быть по расчету добродѣтельнымъ, ожидая возмездія: здѣсь опять цѣль—блаженство, но ниже, корыстнѣе понятое; возмездіе соприисущно самой добродѣтели, нравственное дѣяніе есть уже награда совершившаяся, блаженство само по себѣ. Иначе мы впадемъ въ то сомнѣніе, которое такъ мило выражено Шиллеромъ:

Gewissensscrupel.

Gerne dien'ich den Freunden, doch thu'ich es leider mit Neigung.
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin.

Entscheidung.

Da ist kein anderer Rath, du musst suchen, sie zu verachten.
Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut ¹⁾.

Тотъ, кто находитъ въ добродѣтели наслажденіе, можетъ сказать, какъ Эпикуръ: «должно предпочитать разумное несчастіе безумному счастью»,—и это очень просто, потому что безумное счастье—нелѣпость для человѣка: для того, чтобъ имъ наслаждаться, онъ долженъ отречься отъ верховной сущности своей—

¹⁾ Сомнѣніе.

Охотно служу я друзьямъ моимъ, но по несчастію мнѣ это пріятно: меня часто упрекаетъ совѣсть въ безнравственности за это.

Рѣшеніе.

Дѣлать тутъ нѣчего, старайся ихъ ненавидѣть, и дѣлай съ отвращеніемъ то, что тебѣ повелѣваетъ долгъ.

разума. Всякій безнравственный поступокъ, сдѣланный сознательно, отрицаетъ разумъ, оскорбляетъ его, угрызеніе совѣсти напоминаетъ человѣку, что онъ поступилъ какъ рабъ, какъ животное, и ищетъ блаженства при этомъ укоряющемъ голосѣ. Стоицизмъ больше формально противоположенъ эпикуреизму, нежели въ самомъ дѣлѣ; развѣ онъ не потому хотѣлъ быть самоотверженнымъ, что въ самоотверженіи видѣлъ болѣе человѣческое удовлетвореніе, нежели въ слабодушномъ потворствѣ и распушенности характера; стоицизмъ выразилъ только свое воззрѣніе иначе, освѣтилъ его съ противоположной стороны; вызванный, какъ реакція, какъ протестъ, онъ круто и аскетически принялся исправлять нравы, онъ былъ похожъ на строгій и суровый католицизмъ, явившійся послѣ Лютера. Эпикуреизмъ, совсѣмъ на-противъ, вѣрный греческому генію, понималъ роскошно, человѣчественно-просто вопросъ стоицизма и не разсѣкъ души человѣческой на страшную противоположность долга и влеченія, натравливая ихъ другъ на друга, а стремился ихъ примирить въ блаженствѣ, удовлетворяющемъ и долгу и страстямъ; для него исполненіе долга неразрывно съ наслажденіемъ, то есть, естественно и разумно. Состояніе нравственного дуализма противорѣчитъ значенію самопознающаго существа,—нелѣпость, похожая на то, если-бъ звѣрь, чувствуя потребность насыщенія, раздиралъ собственную грудь; простая, органическая цѣлесообразность громко вопіетъ противъ стоическаго унынія, скрежета зубовъ; такой аскетизмъ и говеніе всего естественнаго ведетъ прямо къ оригеновскимъ поправкамъ физическаго. Замѣтите, что чистота нравовъ эпикуровыхъ учениковъ вошла въ пословицу, и она очень понятна: человѣку, признающему свои права на наслажденіе, легко понимать права наслажденій надъ собою; ему не страшны страсти; онѣ не врагамъ, не ночными татями пробираются въ его сердце; онъ знакомъ съ ними и знаетъ ихъ мѣсто. Тотъ, кто дѣлаетъ цѣлью одно обузданіе страстей, тотъ даетъ страстямъ силу и высоту, которыхъ онѣ не имѣютъ вовсе,—онъ ихъ ставитъ соперникомъ разуму. Страсти крѣпнуть и растутъ именно оттого, что имъ придаютъ огромную важность. Лукрецій говоритъ, что иногда надобно уступать потребности наслажденія для того, чтобъ она не безпрестанно насъ занимала. Эпикуръ, столь противоположный стоикамъ, послѣдними словами своего ученія сталъ рядомъ съ ними: «свобода отъ боязни и желаній, говоритъ онъ, есть высшее блаженство». При этомъ, замѣтите, обѣ школы даютъ личности человѣка несравненно важнѣйшее значеніе, нежели всѣ предшествовавшія имъ философскія ученія,—это преддверіе признанія безконечности человѣческаго духа, которое должно было развиться въ новомъ мірѣ. Вы можете мнѣ возразить, что эпи-

куреизмъ, однако, способствовалъ къ распространенію чувственности и матеріализма въ Римѣ. Да. Но въ какую эпоху? Въ ту, въ которую Римъ былъ развращенъ до обоготворенія Клавдіевъ, Калигулы, и проч. Люди искали забыться, отвернуться отъ гражданскаго міра, отъ предчувствій и воспоминаній и толковали эпикуреизмъ по своему.

Эпикуреизмъ имѣлъ большое вліяніе на естествовѣдѣніе; Эпикуръ былъ атомистъ и эмпирикъ—почти такъ же, какъ естествоиспытатели прошлаго вѣка и отчасти нашего. Несмотря на большую смѣлость его, онъ такъ же не выдержалъ своего возрѣнія до конца, какъ всѣ греки, какъ самые стойки, которые, ставъ въ противоположность съ вѣрованіями языческаго міра, принимали какой-то фатализмъ и какія-то мистическія вліянія. Эпикуръ принимаетъ нелѣпость случайнаго соединенія атомовъ, какъ причину возникновенія сущаго, и прекрасно говоритъ о высшемъ существѣ, «которому ничего не недостаетъ, неразрушимомъ, непреходящемъ, и котораго надобно чтить не по внѣшнимъ причинамъ, а потому, что оно по сущности своей достойно», и проч. Это свидѣтельствоваало бы только, что онъ чувствовалъ предѣлы своего возрѣнія, онъ провидѣлъ верховное начало, царящее надъ физическимъ многообразіемъ; но, сверхъ этого, онъ толкуетъ о какихъ-то соподчиненныхъ богахъ, типахъ, служащихъ вѣчными идеалами людямъ. Какъ онъ мирилъ съ этимъ сонмомъ боговъ случайность возникновенія—непонятно, да, вѣроятно, онъ и самъ не понималъ какъ. Философы-деисты XVIII вѣка, вообще натуралисты, на всякомъ шагѣ представляютъ примѣры всеовершеннѣйшей противоположности своихъ физическихъ теорій съ какими-то попытками *d'une religion raisonnée, naturelle, philosophique*. Несмотря на эту непоследовательность, вліяніе эпикуреизма было значительно. Эпикурейцы принимали фактъ и опытъ не только за точку отправленія, но и за непреложный критеріумъ. Они были эмпирики и шли къ истинѣ инымъ путемъ: обыкновенно мыслители только одной ногой упирались въ фактъ и тотчасъ переходили къ всеобщему и отвлеченному, низводя потомъ логическое многообразіе, — эпикурейцы оставались при эмпирическомъ; этотъ путь въ односторонности своей не можетъ выпутаться изъ эмпиріи и дойти до всеобъемлющихъ синтетическихъ мыслей, но онъ имѣетъ въ себѣ такую неотразимость, такую непреложную очевидность и осязаемость, что тотчасъ дѣлается доступенъ, популяренъ, практиченъ. Несмотря на типы и идеалы, эпикуреизмъ былъ послѣдній ударъ на смерть язычеству. Стоицизмъ могъ перейти въ мистицизмъ, — платонизмъ въ самомъ дѣлѣ перешелъ въ него. Аристотеля можно было перетолковать, — эпикуреизма ни подъ какимъ видомъ: онъ простъ, положителенъ.

Вотъ за что и бранили его такъ злобно; онъ вовсе не былъ ни развратнѣе, ни богоотступнѣе всѣхъ прочихъ философскихъ учений въ Греціи; да и что намъ за дѣло заступаться за языческую правотворность? Всѣ философы очень подозрительны со стороны политеизма, хотя въ нихъ во всѣхъ, и въ Эпикурѣ точно также, есть остатки его. Проклятая положительность и опытный путь—вотъ что озлобило людей въ родѣ Цицерона.

Противъ догматизма эпикурейскаго и стоическаго вскорѣ повѣялъ ѣдкій воздухъ скептицизма,—и послѣднія мысли древней философіи, становившіяся старчески упрямыми въ своей догматикѣ, рушились передъ его мощью и разсѣялись въ вечернемъ туманѣ, павшемъ на греко-римскій міръ. Скептицизмъ—естественное послѣдствіе догматизма: догматизмъ вызываетъ его на себя; скептицизмъ—реакція. Философскій догматизмъ, какъ все косное, твердое, успокоившееся въ довольствѣ собою, противенъ вѣчнодѣятельной, стремящейся натурѣ челоуѣка; догматизмъ въ наукѣ не прогрессивенъ; совсѣмъ напротивъ, онъ заставляетъ живое мышленіе осѣсть каменной корою около своихъ началъ; онъ похожъ на твердое тѣло, бросаемое въ растворъ для того, чтобъ заставить кристаллы низвергнуться на него;—но мышленіе челоуѣческое вовсе не хочетъ кристаллизоваться, оно бѣжитъ косности и покоя, оно видитъ въ догматическомъ успокоеніи отдыхъ, усталъ, наконецъ ограниченность. Въ самомъ дѣлѣ, догматизмъ необходимо имѣетъ *готовое абсолютное*, впередъ идущее и удерживаемое въ односторонности какого-нибудь логическаго опредѣленія; онъ удовлетворяется своимъ достояніемъ, онъ не вовлекаетъ началъ своихъ въ движеніе, напротивъ, это неподвижный центръ, около котораго онъ ходитъ по цѣпи. Какъ только мысль начинаетъ разглядывать эту гранитную неподвижность, — духъ челоуѣческій, этотъ *actus purus*, это движеніе по превосходству, возмущается и устремляетъ всѣ усилія свои, чтобъ смыть, разбить этотъ подводный камень, оскорбляющій ее,—и не было еще примѣра, чтобъ упорно стоящій въ наукѣ догматизмъ вынесъ такой напоръ. Скептицизмъ, какъ мы сказали,—противодѣйствіе, вызываемое полузаконной догматикой философіи; онъ самъ по себѣ невозможенъ тамъ, гдѣ невозможны твердыя мысли, принятіе на авторитетъ, стремленіе сдѣлать изъ науки, вмѣсто текущаго живого мышленія, сухія нормы въ родѣ XII таблицъ. Но до тѣхъ поръ, пока наука не пойметъ себя именно этимъ живымъ, текучимъ сознаніемъ и мышленіемъ рода челоуѣческаго, которое, какъ Протей, облекается во всѣ формы, но не остается ни при одной, до тѣхъ поръ, пока въ науку будутъ врываться готовые истины, которыхъ принятіе ничѣмъ не оправдано, которыя взяты съ улицы, а не изъ разума, не только врываться, но

и находить мѣсто и право гражданства въ ней, — до тѣхъ поръ, время отъ времени, злой и рѣзкій скептицизмъ будетъ поднимать свою голову Секста-эмпирика или Юма и убивать своейironией, своей негацией *всю науку*, за то, что она *не вся наука*. Сомнѣніе — вѣчно припаянный элементъ ко всѣмъ моментамъ развивающагося наукообразнаго мышленія; мы его встрѣчаемъ вмѣстѣ съ наукой въ Греціи и, послѣдовательно, будемъ встрѣчаться съ нимъ при всякой попыткѣ философскаго догматизма; онъ провозжааетъ науку черезъ всѣ вѣка.

Характеръ скептицизма, которымъ заключилось мышленіе древняго міра, весьма замѣчателенъ; направленный противъ догматизма въ его двухъ формахъ, онъ совершилъ *de facto* то, чего домогался догматизмъ: онъ отрѣшилъ личность отъ всего сущаго, освободилъ ее отъ всего положительнаго и такимъ образомъ отрицательно призналъ безконечное ея достоинство. Скептицизмъ освободилъ разумъ отъ древней науки, которая воспитала его; но это освобожденіе отнюдь не было гармоническое, сознательное провозглашеніе его правъ, его автономіи: это было освобожденіе реакціонное, освобожденіе 93 года, освобожденіе отъ древняго міра, расчищавшее мѣсто міру грядущему. Скептицизмъ отправился отъ самаго страшнаго сознанія, какое только можетъ посѣтить человѣческую душу; онъ не только сомнѣвался въ возможности знать истину, но просто и не сомнѣвался въ невозможности знать ее; онъ былъ увѣренъ, что бытіе и мышленіе равно не имѣютъ повѣрки, что это несоизмѣримыя данныя, можетъ быть, даже мнимыя. Вмѣсто критериума онъ поставилъ *кажется* и, горько улыбаясь, успокоился на немъ; однажды убѣдившись въ неспособности разума подняться до истины, скептики не хотѣли и пытаться, а только доказывали, что попытки другихъ нелѣпы. Но не вѣрьте этому равнодушію: это — то отчаянное равнодушіе безпомощности, съ которымъ вы смотрите на тѣло усопшаго друга; вы должны примириться съ тѣмъ, что его нѣтъ; что хочешь дѣлай — не поможешь; скрѣпивъ сердце, вы идете къ своимъ дѣламъ. Какъ ни храбрись Секстъ-эмпирикъ ¹⁾, человѣку не легко

¹⁾ Секстъ-эмпирикъ жилъ во II вѣкѣ послѣ Р. Х. Человѣкъ ума необъятаго, но чисто-отрицательнаго, онъ не только все отрицалъ, но еще хуже, онъ принималъ все; въ его діалектикѣ есть какая-то pronia, повергающая въ отчаяніе; онъ отвергаетъ каузальность, напр., но потомъ говоритъ: стало-быть, есть достаточная причина отвергать причину какъ причину. — но если такъ, то и причина отвергать каузальность несостоятельна. Онъ, какъ Кантъ, выставилъ ряды антиномій — и всѣ ихъ оставилъ антиноміями. Послѣднимъ словомъ своимъ онъ сказалъ: «Тогда только тревожность духа успокоится и водворится счастливая жизнь, когда бѣгущему отъ зла или стремящемуся къ добру укажутъ, что нѣтъ ни добра, ни зла». Послѣ такихъ словъ, міръ, который привелъ къ нимъ, долженъ пересоздаться.

примириться съ невѣріемъ въ себя, съ достовѣрностью неабсолютности своего разума; самый смѣхъ скептиковъ, иронія ихъ показываютъ, что на душѣ ихъ не такъ-то было легко. Не все смѣются отъ веселья.

Противъ скептицизма древній міръ рѣшительно не имѣлъ орудія, потому что скептицизмъ былъ вѣрнѣ себя, нежели всѣ философскія системы древняго міра. Одинъ скептицизмъ не занялся въ древнемъ мірѣ безхарактернымъ и легкомысленнымъ потворствомъ язычеству; онъ не отворялъ съ такою легкостью дверей своихъ всякаго рода представленіямъ, которыя на время облегчаютъ неразрѣшимый вопросъ и пускаютъ нездоровые соки во весь организмъ. Дѣйствительная наука могла бы снять скептицизмъ, отречься отъ самаго отрицанія; для нея скептицизмъ—моментъ: но древняя наука не имѣла этой силы; она чувствовала грѣхи свои и не смѣла прямо выступить противъ скептицизма, уличавшаго ее въ несостоятельности. Онъ освободилъ разумъ отъ нея и повергъ его въ какую-то пустоту, въ которой вовсе не было содержанія: все поглотилось разверзшеюся пропастью отрицательнаго мышленія. Скептицизмъ раскрывалъ безконечную субъективность безъ всякой объективности. Вѣрный себѣ, онъ не высказалъ своего послѣдняго слова—и хорошо сдѣлалъ: его бы не поняли. Скептики искали успокоенія въ своей собственной личности; сомнѣваясь во вселенной, сомнѣваясь въ разумѣ, въ истинѣ, они указывали каждому, какъ на послѣднее убѣжище, какъ на якорь спасенія—на свою личность; но не прямо ли это вело къ положенію самопознанія, какъ сущности? не показываетъ ли это, что въ концѣ древняго міра духъ человѣческій, утративъ довѣріе къ міру, къ праву, къ политеизму, къ наукѣ, провидѣлъ, что въ одномъ углубленіи въ себя можно найти замѣну всѣмъ утратамъ? Это пророческое предсознаніе безконечнаго достоинства человѣка, едва мерцающее въ скептицизмѣ, явившемся убить пластическую, художественную науку Греціи, далеко перехватывало за предѣлы тогдашняго состоянія мысли. Человѣку надобно было почти двумя тысячелѣтіями приготовиться, чтобъ вынести сознаніе своего величія и достоинства.

Послѣ горячешаго и безумнаго времени первыхъ цезарей, настало для Рима время нѣсколько спокойное; старикъ, вставшій съ одра смерти, почувствовалъ, что онъ въ болѣзни не только не утратилъ всѣхъ силъ, а приобрѣлъ новыя: онъ не замѣчалъ, что это послѣднее упрямство жизни, напряженіе, за которымъ неминуемо слѣдуетъ гробъ. Все пришло въ пору, и жизнь имперіи развертывалась величаво, могущественно; прокладывая свои каменныя дороги и воздвигая вѣчные дворцы, она могла

еще плѣнить поддѣльной красотой своей Гиббона. Правда, что-то предчувствовалось, какой-то лихорадочный трепетъ время отъ времени пробѣгалъ по членамъ всей имперіи; на границахъ собирались какія-то дикія, долговолосыя и бѣлокурыя толпы; рабы смотрѣли на своихъ господъ съ большей ненавистью, нежели на этихъ варваровъ; люди, одаренные зоркими глазами, видѣли не-отразимость грозы,—но такихъ людей бываетъ немного. Официально, Римъ стоялъ сильно и тяготѣлъ надъ всѣмъ древнимъ міромъ; официально, онъ былъ еще *вѣчный городъ*; тупое довѣріе къ незыблемости существующаго порядка еще владѣло большинствомъ умовъ. Весь древній міръ собрался въ Римъ, какъ въ одинъ узелъ, въ одинъ царящій органъ; оттого именно Римъ и утрачиваетъ свою особность и дѣлается представителемъ не себя, а цѣлой вселенной; всѣ жизненные силы покоренныхъ имъ народовъ текли въ него; онъ какъ бы для того совлекалъ ихъ, чтобъ можно было, по извѣстному поэтическому выраженію Калигулы, однимъ ударомъ снести голову древнему міру. Суровый Римъ могъ покорить вселенную, приладить свой умъ къ чужой мысли, свою душу къ чужому искусству,—но продолжать греческой жизни не могъ; въ его душѣ какъ-то печально сочеталась отвлеченность и практическій смыслъ, въ его душѣ была безконечная мощь и вмѣстѣ съ нею пустота, ничѣмъ ненаполняемая: ни побѣдами, ни юридической казуистикой, ни утонченной нѣгой, ни развратомъ тираніи и кровавыхъ зрѣлищъ. Жизнь Греціи не перешла въ Италію. *Des Lebens May blüht einmal und nicht wider!*

Въ противоположность граждански политическому центру въ Римѣ, въ Александріи сосредоточились полнѣйшіе и послѣдніе представители древней мысли; тамъ матеріально, здѣсь интеллектуально собирались дружины древняго міра подъ ветхія свои знамена—не для того, чтобъ побѣдить, а для того, чтобъ склонить ихъ, наконецъ, передъ новымъ знаменіемъ. Вопросъ, поглотившій всѣ вопросы въ неоплатонизмѣ, состоялъ въ опредѣленіи отношеній частнаго къ всеобщему, міра явленій къ началу являющемуся, человѣка къ Богу.

Вы видѣли изъ прошлаго письма, что греческая мысль, какъ только становилась лицомъ къ лицу съ этимъ вопросомъ, оказывалась несостоятельною; какъ только она поднималась на эту высоту, у ней всякій разъ кружилось въ головѣ, и она начинала бредить и поддаваться языческимъ представленіямъ. Неоплатонизмъ серьезно и шире взялся за эти вопросы: онъ принялъ въ себя много юдаическаго, вообще восточнаго, и сочеталъ эти элементы, неизвѣстные греческой наукѣ, съ глубокимъ изученіемъ Пифагора, Платона и Аристотеля; онъ съ самаго начала

почти не стоит на языческой почвѣ, несмотря на то, что высшій представитель его, Проклъ, съ упрямствомъ удерживаетъ греческое многобожіе. Политеизмъ обоготворялъ, оличалъ разныя силы природы, давалъ имъ образъ человѣческій, и этимъ образомъ давалъ характеръ той естественной силы, которой живымъ представителемъ являлся образъ. Неоплатоники отвлеченные моменты логическаго процесса, моменты мірового развитія представляли фазами безусловнаго духа, безтѣлеснаго, соприисносущаго міру, замкнутаго въ себѣ; они понимали его «живымъ въ движеніи вещества», по превосходному державинскому выраженію; грубо понятый неоплатонизмъ—своего рода язычество, своего рода антропоморфизмъ, но не художественный, а мистическій. Они собственно не хотятъ кумира, но, принявъ іероглифическій языкъ, они такъ затемняютъ смыслъ своей рѣчи, что трудно догадаться, что у нихъ символъ, и что представляемое,—тѣмъ болѣе трудно, что они всѣми силами стараются показать свою преданность язычеству и, понимая разныя отвлеченныя истины подъ именами боговъ и богинь, сбиваютъ съ толку ¹⁾. Неоплатоники дѣлали опыты рacionales оправдать язычество, наукой доказать абсолютность его—и, разумѣется, только нанесли новый ударъ древней религіи; если ужъ однажды замѣшаны были разумъ и наука въ дѣло фантастическихъ представлений, то можно было ждать, что они обличатъ ихъ недѣйствительность. Философія, что бы ни принялась оправдывать, оправдываетъ только разумъ, т. е. себя. Точка отправленія Прокла—восторженная созерцательность; человѣкъ жизнью, настроеніемъ духа долженъ готовить себя къ восторженности, возводящей его на высоту созерцательности, которой только возможно вѣдѣніе безусловнаго. Безусловное, какъ оно есть само по себѣ, отвлеченное отъ условнаго, знать нельзя; оно въ себѣ остающееся, отвлеченное единство,—но оно дѣлается понятнымъ, обнаруживаясь, происходя, развиваясь. Но развитіе единаго не есть необузданное себяистрачиваніе, теряющееся въ арифметической безконечности, нѣтъ—оно, развиваясь, остается самимъ собою. Взаимодѣйствіе этой полярности, предѣлъ, мѣра—перегибъ къ средоточію. Отсюда Проклъ выводитъ свои три момента: *Единство, Безконечность, Мѣра*. Нельзя не замѣтить, что при всей силѣ и высотѣ этого воззрѣнія, оно отправляется не отъ логическаго предшествующаго, а отъ непосредственнаго вѣдѣнія, даннаго восторженностью; его мысль вѣрна, но метода не наукообразна, не оправдана. Религія идетъ отъ безусловной истины: ей не нужно такого оправданія; но

¹⁾ У Прокла это всего яснѣе; онъ былъ посвященъ во всѣ таинства и удивлялъ жрецовъ своими теологическими тонкостями.

неоплатоники хотѣли науки—и, какъ наука, ихъ воззрѣніе, при всей высотѣ своей, не совсѣмъ состоятельно.

Неоплатонизмъ всѣми сторонами души своей, всѣми симпатіями, положеніемъ мысли относительно временнаго, выходитъ изъ древней мысли и вступаетъ въ міръ христіанскій; но, несмотря на это, неоплатоники не хотѣли принять христіанства: они мечтали новое вино налить въ старые мѣха. Неоплатонизмъ—отчаянный опытъ древняго разума спастись своими средствами, опытъ величественный, но неудачный. Неужели неоплатоническимъ отвлеченнымъ, труднымъ, запутаннымъ языкомъ, ихъ философскимъ эклектизмомъ, ихъ теургической гностикой и любовью къ сверхъестественному можно было остановить паденіе Рима, остановить эпикуреизмъ, остановить скептицизмъ, и, наконецъ, неужели ихъ языкомъ можно было говорить съ народомъ? Неоплатонизмъ блѣднѣетъ передъ христіанствомъ, какъ все отвлеченное блѣднѣетъ передъ полнымъ жизни. Во всѣхъ этихъ ученіяхъ вѣетъ грядущее, но во всѣхъ *чего-то* не достаётъ,—того властнаго глагола, той молніи, которая сплавляетъ изъ отрывчатыхъ и полувывесказанныхъ начинаній единое цѣлое. У неоплатониковъ—почти какъ у нынѣшнихъ мечтателей социалистовъ—пробиваются великія слова: примиреніе, обновленіе, *παληγένης ἀποκαταστάσις παντων*, но они остаются отвлеченными, неудобопонятными—такъ, какъ ихъ теодицея; неоплатонизмъ былъ для ученыхъ, для немногихъ. «У насъ (т. е. у христіанъ) дѣти теперь, говорить Тертуллианъ, больше знаютъ о Богѣ, нежели ваши мудрецы». Бороться съ христіанствомъ было безумно; но гордая философія, точно такъ же, какъ гордый Римъ, не обратила сначала вниманія на это. Странное дѣло: Римъ какъ будто утратилъ, въ гнусную эпоху лихихъ цезарей, весь свой умъ и впадалъ въ жалкое старчество людей, которые дѣлаются ничтожными и суетными на краю могилы; проповѣдываніе Евангелія уже раздавалось на площадяхъ его, а римская аристократія и умники съ улыбкой смотрѣли на бѣдную ересь назарейскую и писали подлые пантегирики, пошлые мадригалы, не замѣчая, что рабы, бѣдняки, всѣ труждающіеся и обремененные, слушали новую вѣсть искупленія. Тацитъ не понималъ сначала и Плиній не понималъ потомъ, что совершалось передъ ихъ глазами. Неоплатоники видѣли такъ же, какъ стойки и скептики, странное состояніе гражданскаго порядка и нравственнаго быта, но увлеченные созерцательностью, они не могли съ отчаянія удариться въ невѣріе, въ чувственность; несостоятельность міра положительнаго привела ихъ къ презрѣнію всего временнаго, естественнаго, къ отысканію другого міра внутри себя—независимаго и безусловнаго. Этотъ міръ, при глубокомъ и страстномъ вниканіи въ него,

вести къ признанію одного отвлеченнаго и духовнаго за истину¹⁾; но это духовное было и шире и выше понято ими, нежели всей предшествующей мыслью: одно оно исполняло то, къ чему они стремились, одно христіанство соотвѣтствовало неоплатонизму; а между тѣмъ, неоплатоники не только были язычниками по привычкѣ, или потому что, родившись язычниками, изъ *ложнаго стыда* хотѣли остаться ими,—нѣтъ, они въ самомъ дѣлѣ воображали, что міръ язычества лучшая плоть для истины. Люди, склонные все матеріальное считать призракомъ, въ самомъ началѣ сдѣлали такую грубую ошибку, что потомъ имъ легко было принимать послѣдствія, вовсе не идущія изъ ихъ началъ, и мириться со всѣмъ тѣмъ, съ чѣмъ не хотѣли мириться. Но что же мѣшало имъ отречься отъ стараго, умершаго воззрѣнія? То, что это вовсе не такъ легко, какъ кажется.

Побужденное и старое не тотчасъ сходить въ могилу; долговѣчность и упорность отходящаго основаны на внутренней хранительной силѣ всего сущаго: ею защищается до-нельзя все однажды призванное къ жизни: всемірная экономія не позволяетъ ничему сущему сойти въ могилу прежде истощенія всѣхъ силъ. Консервативность въ историческомъ мірѣ такъ же вѣрна жизни, какъ вѣчное движеніе и обновленіе; въ ней громко высказывается мощное одобреніе существующаго, признаніе его правъ; стремленіе впередъ, напротивъ, выражаетъ неудовлетворительность существующаго, исканіе формы, болѣе соотвѣтствующей новой степенн развитія разума; оно ничѣмъ не довольно, негодуетъ: ему тѣсно въ существующемъ порядкѣ; а историческое движеніе тѣмъ временемъ идетъ діагонально, повинувъсь обѣимъ силамъ, противопоставляя ихъ другъ другу, и тѣмъ самымъ спасаясь отъ односторонности. Воспоминаніе и надежда, *status quo* и прогрессъ—антиномія исторіи, два ея берега: *status quo* основанъ на фактическомъ признаніи, что каждая осуществившаяся форма—дѣйствительный сосудъ жизни, побѣда одержанная, истина, доказанная непреложно бытіемъ; онъ основанъ на вѣрной мысли, что человѣчество въ каждый историческій моментъ обладаетъ всею полнотою жизни, что ему нѣчего ждать будущаго, чтобы пользоваться своими правами. Консервативное направленіе будить въ

¹⁾ Вотъ что говоритъ Порфирій о своемъ учителѣ: „Плотинъ намъ казался существомъ высшимъ, онъ стыдился своего тѣла, не любилъ говорить ни о своей семьѣ, ни о родителяхъ, ни объ отчизнѣ. Никогда не дозволялъ онъ, чтобы его тѣло было повторено живописцемъ или вытѣлемъ; когда Аврелій просилъ его позволенія срисовать его, онъ отвѣтилъ ему: Не довольно ли, что мы принуждены таскать съ собою тѣло, въ которомъ заключены природа, неужели намъ еще оставлять изображеніе тюрьмы, какъ будто видъ ея имѣетъ въ себѣ что-либо величественное“? Это чисто-романтическое направленіе!

душѣ святыхъ воспоминанія, близкія и родныя, зоветъ возвратиться въ родительскій домъ, гдѣ такъ юно, такъ беззаботно текла жизнь, забывая, что домъ этотъ сдѣлался тѣсенъ и полуразвалился; оно отправляется отъ золотого вѣка. Совершенство идетъ къ золотому вѣку, протестуетъ противъ признанія опредѣленнаго за безусловное; видитъ въ истинѣ благо и сущаго истину относительную, не имѣющую права на вѣчное существованіе, и свидѣтельствующую о своей ограниченности именно своей переходимостью; оно хранитъ также въ себѣ бывшее, но не хочетъ его сдѣлать мѣтой его мечты—въ будущемъ, въ святомъ упованіи. Міръ языческій, исключительно національный, непосредственный, былъ всегда подъ обаятельной властью воспоминанія; христіанство поставило надежду въ число краеугольныхъ добродѣтелей. Хотя надежда всякій разъ побѣдитъ воспоминаніе, тѣмъ не менѣе борьба ихъ бываетъ зла и продолжительна. Старое страшно защищается, и это понятно: какъ жизни не держаться ревниво за достигнутыя формы? Она новыхъ еще не знаетъ, она сама эти формы: сознать себя прошедшимъ—самоотверженіе, почти невозможное живому: это самоубійство Катона. Отходящій порядокъ вещей обладаетъ полнымъ развитіемъ, всестороннимъ приложеніемъ, прочными корнями въ сердцѣ; юное, напротивъ, только возникаетъ; оно сначала является всеобщимъ и отвлеченнымъ, оно бѣдно и наго; а старое богато и сильно. Новое надобно соиздать въ потѣ лица, а старое само продолжаетъ существовать и твердо держится на костыляхъ привычки. Новое надобно изслѣдовать; оно требуетъ внутренней работы, пожертвованій; старое принимается безъ анализа, оно готово—великое право въ глазахъ людей: на новое смотрятъ съ недоумѣемъ, потому что черты его юны; а къ дряхлымъ чертамъ стараго такъ привыкли, что онѣ кажутся вѣчными. Сила, чары воспоминанія могутъ иногда пересилить увлеченія манящей надежды; хотя въ прошедшаго во что бы то ни стало, въ немъ видятъ будущее.

Таковъ, напримѣръ, Юліанъ-Отступникъ. Въ его время вопросъ о бытіи и небытіи древняго міра уже страшно постановился; не знать его было нельзя. Три возможныхъ рѣшенія представлялись: язычество, т. е. бывшее, воспоминаніе; отчаяніе, т. е. скептицизмъ—ни бываго, ни будущаго, и, наконецъ, принятіе христіанства и съ тѣмъ вмѣстѣ выходъ въ новый грядущій міръ, съ оставленіемъ мертвымъ хоронить мертвыхъ. Юліанъ былъ горячій мечтатель, человѣкъ съ энергической душой, сначала безъ дѣла, весь отданный греческой наукѣ, потомъ въ дальней Лютеціи занятый рѣшеніемъ тяжкаго вопроса о современности,—онъ рѣшилъ его въ пользу прошедшаго. Замѣтимъ, между прочимъ, что ни средоточіе неоплатизма, ни Юліанъ, не жили въ Византіи: они могли мечтать о мино-

вавшихъ правахъ, о возстановленіи древняго порядка дѣлъ внѣ новой столицы, внѣ города, которымъ Константинъ отрекся отъ язычества и отъ неразрывнаго съ язычествомъ быта древней столицы. Теоретически казалось возможнымъ не токмо воскресить былое, но, воскрешая, просвѣтлить его. Юліанъ былъ человѣкъ нравовъ строгихъ и высокихъ доблестей. Въ лицѣ его древній міръ очистился, просіялъ, какъ будто сознательно приготовляясь къ честной и безпостыдной кончинѣ. Воля его была тверда, благородна, умъ гениальный. Все тщетно! Воскресить прошедшее было просто невозможно. Мало зрѣлищъ болѣе торжественныхъ и успокоительныхъ, какъ безсиліе такихъ гигантовъ, какъ Юліанъ, противъ духа времени; по ихъ силѣ и по безсилію дѣйствія, можно легко измѣрить всю несостоятельность несхороненнаго прошедшаго противъ нарождающагося будущаго. Конечно, воспоминанія Аѳинъ и Рима, грустныя и упрекающія, являлись на опустѣвшихъ стѣнахъ и мощно звали къ себѣ; конечно, жаль было прекрасный міръ, уходившій въ гробъ,—намъ вчуже жаль его до слезъ, но что же дѣлать противъ совершившагося событія? Его смерть была трагическій фактъ, котораго не принять нельзя было людямъ, присутствовавшимъ при похоронахъ. Не споримъ, своего рода мрачная поэзія окружаетъ людей прошедшаго; есть что-то трогательное въ ихъ погребальной процессіи, идущей вспять, въ ихъ вѣчно неудачныхъ опытахъ воскресить покойника. Вспомните о евреяхъ, ожидающихъ до сего дня возстановленія царства израильскаго, борящихся до сихъ поръ противъ христіанства... Что можетъ быть печальнѣе положенія еврея въ Европѣ,—этого человѣка, отрицающаго всю широкую жизнь около себя на основаніи неподвижныхъ преданій! Грудь его некому распахнуться, потому что все сочувствовавшее съ нимъ умерло, вѣка тому назадъ; онъ съ ненавистью и съ завистью смотритъ на все европейское, зная, что не имѣетъ законнаго права ни на какой плодъ этой жизни и въ то же время не умѣетъ обойтись безъ удобства европеизма...

Всякій рѣзкій переворотъ долго послѣ себя оставляетъ представителей враждующихъ сторонъ. Вы найдете жидовскую неподвижность и въ Сень-Жерменскомъ предмѣстьи, въ нашихъ старыхъ и новыхъ раскольникахъ... Неоплатонники были въ томъ же самомъ положеніи; они, какъ мы сказали, всѣмъ слоємъ своего ума, всѣмъ ученіемъ своимъ вышли изъ древняго міра и натягивали какое-то близкое средство съ нимъ, котораго вовсе не было въ ихъ душѣ; они своего рода націонализмомъ дошли до аллегорическаго оправданія язычества, и вообразили, что они вѣрятъ въ него. Они хотѣли какимъ-то философски-литературнымъ образомъ воскресить умершій порядокъ вещей. Они об-

манывали себя болѣе, нежели другихъ. Они въ прошедшемъ видѣли собственно будущій идеаль, но облеченный въ ризы прошедшаго. Если-бъ, въ самомъ дѣлѣ, давно прошедшій быть могъ воскреснуть на мигъ, во время полного разгара неоплатонизма, поклонники его содрогнулись бы передъ нимъ, не потому, что онъ былъ дурень въ *свое* время, а потому, что *его* время уже миновало; потому что онъ представлялъ вовсе не ту среду, которая была нужна для современнаго человѣка,—что сдѣлали бы Прокль и Плотинъ въ суровомъ времени пуническихъ войнъ? Но тѣмъ не менѣе люди, предавшіеся быломu, глубоко страдаютъ; они столько же вышли изъ окружающаго, какъ и тѣ, которые живутъ въ одномъ будущемъ. Страданія эти необходимо сопровождаютъ всякій переворотъ: послѣднее время передъ вступленіемъ въ новую фазу жизни тягостно, невыносимо для всякаго мыслящаго; все вопросы становятся скорбны, люди готовы принять самыя нелѣпыя разрѣшенія, лишь бы успокоиться; фанатическія вѣрованія идутъ рядомъ съ холоднымъ невѣріемъ, безумныя надежды объ-руку съ отчаяніемъ, предчувствіе томить, хочется событій, а, повидимому, ничего не совершается ¹⁾...

Это—глухая, подземная работа, пробивающаяся на свѣтъ, мучительная беременность, время тягости и страданій; оно похоже на переходъ по степи, безотрадный, изнуряющій—ни тѣни для отдыха, ни источника для оживленія; плоды, взятые съ собою, гнилы, плоды встрѣчающіеся кислы. Бѣдныя промежуточныя поколѣнія—они погибаютъ на полу-дорогѣ обыкновенно, изнуряясь лихорадочнымъ состояніемъ; поколѣнія выморочныя, не принадлежащія ни къ тому, ни къ другому міру—они несутъ всю тягость зла прошедшаго и отлучены отъ всехъ благъ будущаго. Новый міръ забудетъ ихъ, какъ забываетъ радостный путникъ, пріѣхавшій въ свою семью, верблюда, который несъ все достояніе его и палъ на пути. Счастливы тѣ, которые закрыли глаза, видя хоть издали деревья обѣтованнаго края; большая часть умираетъ или въ безумномъ бреду, или устремляя глаза на давящее небо и лежа на жесткомъ, каленомъ пескѣ... Древній міръ, въ послѣдніе вѣка своей жизни, испыталъ всю горечь этой чаши; круче и сильнѣе переворота въ исторіи не было; спасти могло одно христіанство; а оно такъ рѣзко становилось въ противоположность съ міромъ

¹⁾ Посмотрите, какія страшныя слова вырываются иногда у Плинія, у Лукана, у Сенеки. Вы въ нихъ найдете и апотеозу самоубійству, и горькіе упреки жизни, и желаніе смерти, да какой смерти—„смерти съ упованіемъ уничтоженія“!—„Смерть единственное вознагражденіе за несчастіе рожденія, и что намъ въ ней, если она ведетъ къ безсмертію? Лишенные счастья не родиться, неужели мы лишены счастья уничтожиться?“ (Hist. Nat.). Это говоритъ Плиній. Какая усталъ пала на душу людей этихъ, какое отчаяніе придавило ихъ!

языческимъ, испровергая всѣ прежнія вѣрованія, убѣжденія его, что трудно было людямъ разомъ оторваться отъ прошедшаго. Надобно было переродиться, по словамъ Евангелія, отказаться отъ всей суммы нажитыхъ истинъ и правилъ, — это чрезвычайно трудно; практическая, обыденная мудрость несравненно глубже пускаетъ корни, нежели само положительное законодательство. А между тѣмъ новый міръ только и могъ начаться съ такого разрыва: неоплатоники были реформаторы, они хотѣли побѣдить да подновить новое зданіе: они хотѣли, не жертвуя старымъ, воспользоваться новымъ,—и имъ не удалось. «Кто отца своего любитъ болѣе меня, тотъ недостоинъ меня». Древняя мысль сначала аристократически не знала христіанства; когда же она поняла его,—испуганная, вступила съ нимъ въ борьбу; она истощала всѣ средства, чтобъ безуспѣшно противоудѣйствовать ему: она была умна, но безспѣльна и несовременна. Пять столѣтій выдержала она себя: наконецъ въ 529 году, Юстиніанъ изгналъ всѣхъ языческихъ философовъ изъ предѣловъ имперіи и закрылъ послѣднюю неоплатоническую школу; *семь* послѣднихъ представителей древней науки бѣжали въ Персію; Персъ Хозрой выпросилъ имъ позволеніе возвратиться на родину, и они потерялись безвѣстными скитальцами, они не нашли уже аудиторій своихъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, распространился страшный моръ; казалось, физическіе элементы, самъ шаръ земной участвуютъ въ послѣднемъ актѣ этой трагедіи: люди умирали сотнями, города пустыли, судорожно и болѣзненно сжималось сердце оставшихся,—въ этихъ судорогахъ умиралъ древній міръ. Императоръ Левъ Исавръ попробовалъ уничтожить его духовное завѣщаніе: онъ сжегъ огромную бібліотеку въ Византіи и запретилъ преподавать въ школахъ что-либо, кромѣ религіи.

Новый міръ, торжественно и глубокознаменательно встрѣтившійся съ старымъ Римомъ въ лицѣ апостола Павла, представшаго передъ цезаремъ Нерономъ,—побѣдилъ.

Вы можете меня упрекнуть, что, обѣщая писать объ изученіи природы, я доселѣ всего менѣе говорилъ о естествовѣдѣніи,—но упрекъ вашъ врядъ ли будетъ справедливымъ. Цѣль моихъ писемъ вовсе не та, чтобъ знакомить васъ съ фактической частью естественныхъ наукъ; мнѣ хотѣлось одного: по мѣрѣ возможности показать, что антагонизмъ между философіей и естествовѣдѣніемъ становится со всякимъ днемъ негнѣбе и невозможнѣе; что онъ держится на взаимномъ непониманіи, что эмпирія такъ же истинна и дѣйствительна, какъ идеализмъ, что спекуляція есть ихъ единство, ихъ соединеніе. Для достиженія предположенной цѣли мнѣ

казалось ¹⁾ необходимымъ раскрыть, откуда развился антагонизмъ естествовѣдѣнія съ философией, а это само собою вело къ опредѣленію науки вообще и къ историческому очерку ея. Въ логикѣ, наука выходитъ готовой, какъ вооруженная Паллада изъ головы Юпитера; ей не достаетъ рожденія и ребячества; въ исторіи, она вырастаетъ изъ едва замѣтнаго зародыша. Не зная эмбриологіи науки, не зная судебъ ея, трудно понять ея современное состояніе; логическое развитіе не передаетъ съ тою жизненностью и очевидностью положенія науки, какъ исторія. Логика на все смотритъ съ точки зрѣнія вѣчности,—оттого все относительное и историческое теряется въ ней. Логика, раскрывая нелѣпость, думаетъ, что она сняла ее; исторія знаетъ, какими крѣпкими корнями нелѣпость приростаетъ къ землѣ, и она одна можетъ ясно раскрыть состояніе современной борьбы.

Но упрекъ былъ бы и съ другой стороны несправедливъ; мы говорили только о древнемъ мірѣ, а въ древнемъ мірѣ все наукообразное развитіе сосредоточивалось въ философій. Въ строгомъ смыслѣ слова, древній міръ не имѣлъ науки о природѣ; въ немъ было благородное стремленіе все узнать, объяснить явленія, понять окружающее; Плиній говоритъ, что незнаніе природы—гнусная неблагодарность; но древніе естествоиспытатели чаще всего ограничивались этимъ благороднымъ стремленіемъ и поверхностными теоріями. Древній міръ не умѣлъ наблюдать, не умѣлъ пытаться явленія и ихъ допрашивать; оттого естествовѣдѣніе его состояло изъ общихъ взглядовъ вѣрности поразительной и изъ частныхъ фактовъ, большею частью, отрывочныхъ и худо обслѣдованныхъ ²⁾; для него наука была дилетантизмомъ, художественной потребностью, а не жгучей жаждой истины; оттого Плинію, какъ и Лукрецію, довлѣетъ сочувствіе съ природой и поэтическое созерцаніе ея. *Historia Naturalis* Плинія даетъ примѣры на каждомъ шагу: начнетъ ли онъ описывать небо,—онъ останавливается съ итальянскимъ пристрастіемъ къ солнцу и называетъ его божествомъ *всевидящимъ и всеслышающимъ*, божествомъ всеоживляющимъ, божествомъ, удаляющимъ грустные помыслы; обратится ли онъ къ землѣ,—опять вдохновеніе (и нѣсколько риторики): онъ ее называетъ матерью кроткой, милосердой, которая кормитъ насъ, даетъ защиту, опору, и послѣ смерти скрываетъ въ своихъ нѣдрахъ бранные остатки. «Воздухъ реветъ бурей и сгущается въ тучи, вода льется дождями, цѣненѣетъ градомъ,

¹⁾ См. начало второго письма.

²⁾ Одна отрасль естествовѣдѣнія, тѣсно связанная съ математикой и заставлявшая по неволѣ наблюдать, астрономія, развилась въ наиболѣе наукообразную форму при Ипсахѣ и Птоломеехъ: оттого „Алмагеста“ и устояла до самого Коперника.

несется потоками, а земля—*at hæc beninga mitis, indulgens usuique mortalium semper ancilla, quæ coacta generat!* Она на всѣ наши нужды имѣетъ отвѣтъ; она произвела даже ядовитыя растенія для того, чтобъ человѣкъ, наскучившій жизнью, могъ легко прекратить ее, не бросаясь со скаль» (*Historia Naturalis, lib. II, LXIII*).

Не изучать природу, а наслаждаться поэтическимъ пониманіемъ ея,—вотъ чего хотѣлось древнимъ. Впрочемъ, обращаясь назадъ, мы встрѣчаемъ, какъ великое исключеніе, того же колоссальнаго человѣка, который по всему великій представитель древняго міра—Аристотеля. Его общій взглядъ на природу мы знаемъ; но онъ великъ и какъ наблюдатель,—онъ оставилъ превосходныя монографіи. Извѣстно, что Александръ Македонскій на походахъ своихъ не забывалъ высылать цѣлые отряды воиновъ на ловлю звѣрей и отправлялъ ихъ къ Аристотелю: такимъ образомъ онъ первый занимался сравнительной анатоміей: онъ помышлялъ уже о стройномъ рядѣ развитія животнаго царства: его раздѣленіе, какъ мы имѣли случай замѣтить, осталось до сихъ поръ. Взглядъ Аристотеля въ естествовѣдѣніи, какъ и вездѣ, спекулятивенъ и до чрезвычайности реаленъ; принимая природу за процессъ, за дѣятельность, одѣйствующую возможность, заключенную въ ней, Аристотель равно далекъ отъ идеальности Платона и отъ матеріализма Эпикура, хотя въ немъ есть оба эти элемента. Въ послѣдователяхъ его, особенно занимавшихся естествовѣдѣніемъ, начинаетъ замѣтно преобладать матеріализмъ; такъ, напримѣръ, Стратонъ стремился все сущее объяснить одними физическими средствами: онъ отвергалъ всякую за-природную причину; цѣлесообразность мірозданія казалась ему вымысломъ или, по крайней мѣрѣ, предположеніемъ, не имѣющимъ доказательствъ. Всѣ явленія и ихъ связь принималъ онъ за слѣдствіе случайнаго взаимодействія основныхъ свойствъ природы, заключенныхъ въ вѣчной матеріи. Міръ чувствованій — точно также проявленіе естественной силы, особымъ образомъ опредѣленной въ организмъ, котораго вещественные элементы сочетались первоначально безъ цѣли, а потомъ воспользовались представившимися условіями, чтобъ развиться до возможнаго предѣла; достигнувъ его, организмъ не развивается, а повторяетъ себя для сохраненія рода ¹⁾.

Самыми полными представителями этого воззрѣнія, сдѣлавшагося подъ конецъ общимъ воззрѣніемъ древнихъ натуралистовъ, могутъ быть Лукрецій и Плиній-Младшій. Греческая мысль

¹⁾ Buhle. Geschichte der Phil. seit der Wiederherstellung der Wissenschaften. 1800. T. I.

сдѣлалась въ нѣкоторыхъ областяхъ общѣе и яснѣе, перейдя на римскую почву. Лукрецій, въ началѣ своей знаменитой поэмы «De rerum natura», говоритъ съ той же прозіей о темнотѣ греческихъ философовъ, съ какой нынѣ говорятъ французы о германской наукѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Лукрецій ясенъ и увлекателенъ; въ немъ эпикурейское воззрѣніе созрѣло, согрѣтое огненной кровью поэта, и пышно расцвѣло. Съ перваго взгляда кажется страннымъ сочетаніе поэзіи съ эпикурейскимъ матеріализмомъ; но вспомнимъ, что этому человѣку съ горячимъ сердцемъ и съ реальными страстями предстоялъ выборъ между падающимъ язычествомъ, темнымъ аскетизмомъ неоплатониковъ и свободнымъ взглядомъ тогдашняго матеріализма. Сказки міеологіи граціозны и милы, особенно для насъ, знающихъ, что это сказки; во время Лукреція онѣ становились противны; противодѣйствіе язычеству было въ модѣ, въ хорошемъ тонѣ; напрасно Цицеронъ краснорѣчиво хотѣлъ талейрановски пройти между философіей и язычествомъ, примирить ихъ внѣшнимъ образомъ и сочетать въ насильственный и невозможный бракъ; Юлій Цезарь въ засѣданіи сената открыто сказалъ, что не вѣритъ въ безсмертіе души, а потомъ Сенека повторялъ это со сцены. Извѣстно, какъ строгъ былъ въ отношеніи къ мнѣніямъ древній греко-римскій міръ, особенно во время Лукреція; спустя полвѣка послѣ него, цезари догадались, что имъ надобно поддерживать всею властью своей язычество. Калигула въ томъ же сенатѣ разсказывалъ о таинственныхъ видѣніяхъ и былъ горячій поклонникъ кумировъ, о rendez-vous, назначенныхъ ему луною, и проч.; Геліогабалъ еще болѣе.

Лукрецій начинаетъ à la Hegel съ бытія и небытія, какъ съ дѣятельныхъ началъ взаимодействующихъ и сосуществующихъ; эти логическія абстракціи выражены у него языкомъ атомистовъ: атомы и пустота—вотъ полюсы, вотъ крайности, стремящіяся къ равновѣсію. Атомы несутся въ безконечной пустотѣ, встрѣчаются, летятъ вмѣстѣ, проникаютъ другъ въ друга, сочетаваются въ тѣла въ то время, какъ другіе теряются въ неизмѣримой пустотѣ ¹⁾. Возникаютъ цѣлые міры тамъ, гдѣ встрѣчаются условія возникновенія, и гибнутъ міры тамъ, гдѣ эти условія нарушены; но эта гибель и это возникновеніе относятся только къ частямъ; совокупность же всего сущаго, все обнимаемая въ себѣ, вѣчна и безконечна: «стрѣла пущенная можетъ

¹⁾ Кстати замѣтить здѣсь, что древніе были самые плохіе химики (въ теоретическомъ смыслѣ); однако они предвидѣли и догадывались о химическомъ родствѣ; они понимали, что извѣстныя вещества съ одними соединяются, имѣютъ къ нимъ симпатію, съ другими нѣтъ (гомеомеріи).

летѣть цѣлые вѣка и все такъ же быть далекою отъ конца все-ленной, какъ въ первую минуту, когда она пущена»; вселенная живетъ въ этихъ видоизмѣненіяхъ, это ея жизнь, ея развитіе, которыя и составляютъ ея цѣль. Милое физическое невѣжество иногда невольно срываетъ улыбку, когда читаешь Лукреція, котораго доля лжи и истины уже очевидна изъ сказаннаго; но чаще онъ увлекаетъ пламенемъ, струящимся черезъ всю поэму; такого сочувствія съ жизнію отъ Лукреція до Гёте вы не встрѣтите. Да и только въ древнемъ мірѣ могла прійти въ голову и такъ исполниться мысль—изложить космологію и физику въ поэмѣ, стихами! Это потому, что они именно съ пластической стороны смотрѣли на все, тѣмъ болѣе на природу. Любовь къ жизни, любовь къ наслажденію и мудрая мѣра въ нихъ, пренебреженіе смерти ¹⁾ и какой-то братски-родственной взглядъ на все живое,—вотъ философія Лукреція. Онъ бросился въ физику, потому что язычество съ своимъ фатумомъ и съ своими олимпійцами подозрительнаго поведенія не удовлетворяли; онъ торжественно въ каждой пѣснѣ провозглашаетъ, что Эпикуръ величайшій изъ грековъ, что съ него началась нравственность, нравственность сознательная, человѣческая, которой мѣшали всякія привидѣнія языческой религіи ²⁾; что съ тѣхъ поръ нравственность имѣетъ мѣрило въ самомъ человѣкѣ, и проч. Ставъ на эту точку, гонимый своимъ огненнымъ сердцемъ, разумѣется, онъ пошелъ до всякихъ крайностей, но по дорогѣ встрѣтилъ и высказалъ бездну прекраснаго. Одно изъ лучшихъ мѣстъ въ его поэмѣ—это его геогонія; онъ рассказываетъ развитіе планеты отъ стихійной борьбы до того уравновѣшеннаго состоянія, когда показались растенія: потомъ заставляетъ *особенно* разившіяся растенія скучать своей привязанностью къ землѣ и оторваться отъ стебля,—это животное; и, наконецъ, человѣкъ, родившійся прямо изъ земли на стеблѣ. Хотя все это нѣсколько смѣшно, но поэтичнѣе мудро себѣ представить переходъ отъ растений къ животнымъ, какъ представляя цвѣтокъ, оторвавшійся отъ стебля и полетѣвшій бабочкой: замѣтите, что Лукреціей при этомъ упоминается, что необходимыя условія возникновенія органической жизни—теплота и влага. Отвергая безсмертіе души, онъ принимаетъ какую-то эфирную душу, которая такъ легка и жидка, что какъ вылетитъ, такъ и пропадетъ въ безконечной пустотѣ: составныя части ея бываютъ разными; такъ, у льва душа захватила въ себя огонь, а у оленя холоднаго

¹⁾ Лукреціей, между прочимъ, въ утѣшеніе умирающихъ, говорятъ, что все мертвые—ровесники, ибо для нихъ нѣтъ времени.

²⁾ Вспомните краснорѣчивыя страницы августиновой *de Civitate Dei* и его обвиненія всей суетности и непродуктивности языческой религіи, всей уродливости ея нравственности.

вѣтра! Теперь земной шаръ старѣется, и оттого онъ утратилъ способность производить новые роды, а только поддерживаетъ прежніе. Онъ произвелъ ихъ въ свою юность, когда внутри его кипѣли въ преизбыткѣ силы; тогда даже являлись уродливыя существа, которымъ въ послѣдствіи природа отказала въ правѣ на жизнь (итакъ, Лукрецій предполагалъ ископаемыя животныя?).

Historia Naturalis Плинія—энциклопедія, задуманная и выполненная колоссально—представляетъ общій сводъ знаній космологическихъ, физическихъ, географическихъ и проч. Это сочиненіе показало бы рубежъ, далѣе котораго знаніе природы не шло въ римскомъ мірѣ, если-бъ слѣдомъ за нимъ не явился Галенъ; но Галенъ занимался исключительно медициной, и потому его открытія, сверхъ собственно-патологическихъ, все относятся къ физиологіи и анатоміи; о нервной системѣ до Галена имѣли очень сбивчивое понятіе, называли часто нервами связки, сухія жилы; наконецъ, и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ узнавали ихъ, имъ приписывали невѣрно и смутно ихъ отправленія. Галенъ первый показалъ, что нервы идутъ изъ мозга, что въ нихъ и въ мозгу вся причина сочувствованія, что нервъ заставляетъ по волѣ сжиматься мышцы и, слѣдовательно, есть органъ, управляющій движеніемъ. Онъ доказалъ это тѣмъ, что мышцы лишаются свойствъ движенія, если перерѣзать управляющій нервъ, и именно лишаются ниже перерѣза, т. е. въ части, разобщенной съ мозгомъ. Съ тѣхъ поръ стали душу, т. е. ея мѣсто, искать исключительно въ головномъ мозгу ¹⁾).

Возрѣніе Плинія вообще идетъ изъ тѣхъ же началъ, какъ возрѣніе Лукреція, но онъ богаче свѣдѣніями и болѣе послѣдователенъ своему взгляду; его взглядъ опредѣленъ исчерпывающимъ образомъ имъ самимъ. «Вселенная, говоритъ онъ, вмѣстѣ съ небомъ, покрывающимъ ее со всехъ сторонъ, представляется вѣчнымъ, безпредѣльнымъ существомъ, непроизшедшимъ, непреходящимъ. Изслѣдованіе того, что внѣ вселенной, людямъ бесполезно, да и, сверхъ того, оно неудобопонятно для ума человѣческаго; вселенная свята, вѣчна, неизмѣрима, вся во всемъ, сама все. Она конечна и похожа на безконечное, правильна во всехъ явленіяхъ своихъ и похожа на лишенную пра-

¹⁾ Галенъ первый замѣтилъ, что артеріи наполнены кровью, а не воздухомъ; при разсѣченіи труповъ, разумѣется, артеріи всякой разъ представлялись пустыми. и до Галена полагали, что въ нихъ обращается воздухъ. Между прочимъ, Галенъ говоритъ: если-бъ людямъ удалось узнать составъ воздуха, объяснилась бы животная теплота: *„горніе поддерживается тѣмъ же, чѣмъ жизнь“*. Это предвѣдѣніе кислорода! Въ XVI вѣкѣ Цизалпинъ вздумалъ доказывать, что центръ нервной системы въ сердцѣ, а Цизалпинъ былъ очень и очень ученый докторъ. Вотъ каковы были средніе вѣка для естествовѣдѣнія!

вильности (необходима и, повидимому, случайна); она все обнимаетъ видимое на свѣтѣ и во тьмѣ спрятанное; она произведеніе сущности вещей и въ то же время сама сущность вещей». Не надобно однако думать, что Плиній очень глубокомысленно понималъ то, что высказалось такъ поэтически. Онъ далеко отстаетъ отъ Аристотеля,—мысль потеряла свою свѣжесть и ясность, она слишкомъ облеклась въ риторическія формы, была слишкомъ витѣшня. Плиній, напр., не могъ уразумѣть намека пифагорейцевъ и Аристотеля о тяготѣніи, а говорить, что легкія тѣла стремятся вверхъ, тяжелыя внизъ, мѣшаютъ другъ другу и на взаимномъ противодѣйствіи остаются въ равновѣсіи: такъ, земной шаръ не падаетъ оттого, что атмосфера его поддерживаетъ. Какъ могъ обширный умъ его удовлетвориться такими жалкими объясненіями,—это столько же непонятно, какъ разные анекдоты, приводимые имъ среди дѣльныхъ зоологическихъ описаній, наприм., о рыбѣ *chineis*, которая останавливаетъ корабли дѣйствіемъ своихъ мышцъ, объ андрогинахъ, переходящихъ изъ пола въ полъ, о женщинахъ, родившихъ слона, объ астомахъ, питающихся воздухомъ. Древніе съ дѣтской довѣрчивостью вѣрили и опыту и преданію, принимая фактическій міръ за такую же дѣйствительность, какъ міръ мысли, какъ міръ традиціонный, и ставя легенды въ число фактовъ. Въ самомъ дѣлѣ, единство бытія и мышленія, факта и понятія, составляло непосредственное вѣрованіе ихъ, мѣшавшее рефлексіи и анализу, не позволявшее возникнуть истинной наукѣ и совершенно свойственное артистическому дилетантизму; оттого-то они такъ часто путаютъ эмпирію съ діалектикой, опытъ съ преданіемъ, ставя ихъ на одну доску, переходя произвольно отъ одного къ другому.

Декабрь, 1844 г.

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

С х о л а с т и к а.

Греко-римская жизнь, дряхлѣя, отрицала, мало по малу, то тотъ основной элементъ свой, то другой; но все это были полумѣры, событія болѣе, нежели убѣжденія, или убѣжденія, не переходившія въ событія. Философія съ Сократа, и даже до него, стремилась снять односторонность эллинскаго воззрѣнія и во многомъ отрицала его, — но отрицала внутри извѣстнаго круга, за предѣлы котораго, несмотря на всю жизненность свою, она рѣдко переходила. Историческія событія вводили обычай, прямо противоположные религіознымъ нормамъ древней жизни; но они приписывались тайкомъ и безсознательно; напр., обоготвореніе цезарей фактически снимало язычество, переносъ боговъ совсѣмъ на иную почву; статуя представляла мистическое сочетаніе камня съ самой всеобщей человѣческой или божественной сущностью; поклоненіе Клавдію или Нерону смѣшивало божественное съ существующимъ человѣкомъ,—это своего рода атеизмъ. Основы гражданскаго устройства древнихъ республикъ считались едиными истинными, и были поруганы какой-то нелѣпой пародіей на нихъ во время имперіи. Всѣ эти отрицанія, вы видите, недобросовѣстны, лукавы, отрывочны. Образованные люди видѣли нелѣпость язычества, были вольнодумцы и кощуны, но язычество оставалось, какъ офиціальная религія, и на улицѣ они поклонялись тому, надъ чѣмъ ругались дома, потому что чернь стояла за него; иначе и быть не могло: у ней только и оставалось. Ни у кого не было храбрости открыто, громогласно отрицать основанія древней жизни,—да и во имя чего могла возникнуть такая высокая дерзость? Внутри римской жизни могло явиться мрачное, печальное отрицаніе Секста-эмпирика, глумливое, злое Лукіана, холодно-образованное Плинія, или, наконецъ, отрицаніе разврата и безучастія, того душевнаго холода и чувственнаго огня, которому нѣтъ дѣла до религіознаго и гражданскаго порядка, но который плачетъ объ умершей Муренѣ и рукоплещетъ умирающему гладіатору, поднося къ губамъ изображеніе *божественнаго*, т. е. царствующаго на сію минуту цезаря. Отрицанія обновляющаго, создающаго не было въ римской жизни, или оно было только въ возможности принять христіанство.

Христіанство является совершенно противоположнымъ древнему порядку вещей; это не то половинное и безсильное отрицаніе, о

которомъ мы говорили ¹⁾, а отрицаніе, полное мощи, надежды, откровенное, безпощадное и увѣренное въ себѣ. Возьмите «De Civitate Dei» Августина и полемическія сочиненія первыхъ христіанскихъ писателей,—вотъ какъ подобно отрекаться отъ стараго и ветхаго; но такъ можно отрекаться, имѣя новое, имѣя святую вѣру. Добродѣтели языческаго міра—блестящіе пороки въ глазахъ христіанина; въ статуѣ, передъ красотой которой склонялся грекъ, онъ видитъ чувственную наготу; онъ отказывается отъ прекраснаго греческаго храма и помѣщаетъ алтарь свой въ базиликѣ, лишь бы не служить Богу истинному въ тѣхъ стѣнахъ, въ которыхъ служили богамъ ложнымъ. вмѣсто гордости—христіанинъ смиряется; вмѣсто стяжанія, онъ обрекаетъ себя добровольной нищетѣ; вмѣсто упоеній чувственностью—онъ наслаждается лишеніями ²⁾. Христіанство было прямымъ, рѣзкимъ антитезисомъ тезису древняго міра. Многіе воображаютъ, что послѣднія три столѣтія такъ же отдѣлены отъ среднихъ вѣковъ, какъ средніе вѣка отъ древняго міра,—это несправедливо: вѣка реформации и образованности представляютъ послѣднюю фазу развитія католи-

1) Сравните *созидающее* разрушеніе блаженнаго Августина съ *esprits forts* древняго міра, или съ ихъ отчаяннымъ скрежетомъ зубовъ. Плиніи, наприм., говоритъ, что единственное утѣшеніе людямъ состоитъ въ томъ, что боги также не всемогущи, не могутъ себя сдѣлать смертными, людей безсмертными, ни того, чтобъ прошедшее не было, или, чтобъ два раза десять не было двадцать. Онъ съ горькимъ упрекомъ замѣчаетъ, что люди, не довольствуясь Олимпомъ и не имѣя силъ отречься отъ него, выдумали себѣ новыя цѣпи, склонились передъ отвлеченными страшилищами—передъ *случаемъ* и *счастьемъ*, и трепещутъ безумно передъ собственными вымыслами. Лукіанъ—Вольтеръ той эпохи. Возьмите, напримѣръ, его *трагическаго Юпитера*, это—комедія-бифа на Олимпѣ. Онъ представляетъ Юпитера, растерявшагося отъ спора эпикурейца, отвергающаго боговъ, съ стоикомъ; не зная, что дѣлать, Юпитеръ собираетъ совѣтъ. Начинается споръ, кому гдѣ сидѣть. Юпитеръ приказываетъ сперва усадить золотыхъ боговъ, потомъ мраморныхъ, и притомъ сперва праекителевой работы, потомъ другихъ мастеровъ. Центунъ тутъ же объявляетъ, что онъ не сядетъ ниже какаго-нибудь стипетскаго урода изъ золота съ собачьей мордой. Вѣрно быть безъ чиновъ. Вдругъ съ топотомъ и трескомъ переваливается Колосъ родосскій и говоритъ, что онъ хотя и мѣдный, но мѣди въ него пошло больше, нежели золота въ иного золотого бога. Пока они вздорятъ и пока Юпитеръ собираетъ нелѣпыя мнѣнія, между которыми отличается мнѣніе олимпійскаго Скалозуба—Геркулеса, который проситъ позволенія покачать колонны портика, подъ которыми идетъ споръ, эпикуреецъ побѣждаетъ стоика, и Олимпъ въ дуракахъ. Можно было потрясти язычество, особенно въ извѣстномъ кругу людей, такими ѣдкими насмѣшками, но такое отрицаніе оставляло пустоту въ душѣ. И потомъ, порицая язычество, тѣ же люди видѣли въ социализмѣ древняго міра идеаль; они хотѣли сохранить Римъ и Грецію съ ихъ гражданскимъ устройствомъ, одностороннимъ и тѣсно связаннымъ съ религіей.

2) Выраженіе, принадлежащее Григорію-Назіанзину въ письмѣ къ Василію Великому: «Помнишь ли, говоритъ онъ, какъ мы наслаждались лишеніями и потомъ?»

цизма и феодальности: можетъ быть, они во многомъ перешли кругъ, котораго очертаніе сдѣлано было изъ Ватикана,—но тѣмъ не менѣе они представляютъ органическое продолженіе предъидущаго; всѣ основы социализма западно-европейскаго остались неприкосновенными, христіанство осталось нравственной основой жизни: новое понятіе о правѣ выросло на той же почвѣ римскаго, каноническаго и варварскаго права; различіе его состояло не въ различіи основаній, а въ иномъ (часто произвольномъ) толкованіи ихъ, болѣе сообразномъ съ новой степенью образованности. Ни Лютеръ, ни Вольтеръ не провели огненной черты между былымъ и новымъ, какъ Августинъ; у нихъ такая черта не имѣла бы смысла, точно такъ, какъ у Сократа, у Платона, переходившихъ во многомъ циклъ аѳинской жизни, но принадлежавшихъ къ ней.

Противоположность христіанскаго воззрѣнія съ древнимъ требовала не *передѣлки*, а пересозданія. Древній міръ—чувственный, художественный, все принимавшій съ легкостью и съ юношескою улыбкою, вездѣ пробивался къ мысли, и нигдѣ не могъ отрѣшиться отъ непосредственности, нигдѣ не умѣлъ идти до крайнихъ выводовъ. Его наука была поэма, его искусство было религіей, его понятіе о человѣкѣ не раздѣлялось съ понятіемъ гражданина, его республика поддерживалась страшно давленной каріатидой невольничества, его нравственность состояла изъ юридическихъ обязанностей ¹⁾, онъ уважалъ въ согражданинѣ монополію, привилегію, а не человѣческую личность его. Юношескій міръ этотъ былъ увлекательно прекрасенъ и съ тѣмъ вмѣстѣ непростительно легкомысленъ; философствуя, онъ отталкивалъ важнѣйшіе вопросы, потому что они не такъ легко разрѣшались, или удовлетворялся легкими рѣшеніями ихъ; утопая въ роскоши и наслажденіяхъ, онъ не думалъ о темномъ подвалѣ, въ которомъ стонутъ въ колодкахъ рабы, возвратившіеся съ поля. Вдругъ прелестныя декораціи, ограничивавшія горизонтъ древняго міра, исчезли,—открылась безконечная даль, которой и не подозревалъ міръ гармонической соразмѣрности; основы его показались мелки въ этомъ безбрежіи, а лицо человѣка, потерянное въ гражданскихъ отношеніяхъ древняго міра, выросло до какой-то недосыгаемой высоты, искупленное Словомъ Божиимъ. Непосредственныя и гражданскія опредѣленія оказались второстепенными; личность христіанина стала выше сборной личности го-

¹⁾ Если нѣкоторые мыслители стояли выше общественнаго мнѣнія о нравственности, то это только значитъ, что они уже перешли предѣлы древняго воззрѣнія. Въ этомъ отношеніи, можетъ быть, Сенека всехъ выше: потому-то онъ и стоитъ на самомъ краю древняго міра.

рода; ей раскрылось все безконечное достоинство ея,—Евангеліе торжественно огласило права человѣка, и люди впервые услышали, *что они такое*. Какъ было не перемѣниться всему! Древняя любовь къ отечеству, высокая и прекрасная, но ограниченная и несправедливая, замѣняется любовью къ ближнему, узкая національность единствомъ въ вѣрѣ; Римъ съ гордостью удостоивалъ избранныхъ правомъ своего гражданства,—христіанство предлагало всѣмъ крещеніе водою. Древній міръ вѣрилъ безотчетно въ природу, въ ея дѣйствительность, принималъ ее какъ фактъ, принималъ потому, что видѣлъ своими глазами; для него природа была все, за ея предѣлами ничего; онъ видѣлъ во временномъ естественномъ вѣчное и духовное, онъ видѣлъ въ красотѣ высшее выраженіе вышняго, никогда не могъ оторваться отъ природы,—и оттого никогда не зналъ ея. Новый міръ именно въ матеріальную природу, въ явленія и не вѣрилъ; онъ отвергалъ дѣйствительность преходящаго, вѣрилъ событію духовному, принималъ красоту за низшее выраженіе высшаго, не былъ пластиченъ, чувствовалъ свой разрывъ съ природой и стремился къ духовному примиренію съ ней въ мысленіи, къ искупленію природы въ себѣ. Древній міръ жилъ въ настоящемъ, вспоминалъ часто бывшее, но о будущемъ не думалъ; а если и являлась страшная мысль рока, преслѣдовавшая его безпрестанно, то это для того, чтобъ толкнуть человѣка къ наслажденіямъ, совѣтомъ въ родѣ *non curiamo l'incerto domani* застольной пѣсни изъ «Тукреціи»: оттого—этотъ упоительный, чувственный *bien être* въ жизни, эта роскошь въ наслажденіяхъ, эта страстная нѣга, доходящая до поэтической увлекательности и до отвратительной животности, въ сравненіи съ которой нашъ комфортъ жалокъ и нашъ развратъ смѣшонъ. Для древняго міра, какъ будто, не было жизни за гробомъ; Ахиллъ сказалъ Улиссу въ преисподней, что онъ пошелъ бы въ рабы, лишь бы на землю; мысль о смерти иногда страшила ихъ, мысль о будущей жизни почти вовсе не занимала никого. Вѣра въ безсмертіе сдѣлалась, напротивъ, одной изъ краеугольных основъ христіанства; признавая вѣчность свою и преходимость естественнаго, человѣкъ совсѣмъ иначе взглянулъ на все окружающее его. «Два града сдѣлали двѣ любви: земной градъ любовь къ себѣ до пренебреженія Богомъ; градъ небесный—любовь къ Богу до пренебреженія собою» (*De Civ. Dei*).

Въ то время, какъ проповѣдованіе Евангелія измѣняло внутренняго человѣка, дряхлое устройство государственное оставалось въ явномъ противорѣчіи съ догматами религіи. Христіане приняли римское государство и римское право; побѣжденный и отходящій міръ нашелъ средство проникнуть въ станъ побѣдителей. Восточная имперія, принявъ во всей чистотѣ евангельское

ученіе, осталась при той формѣ цезарскаго управленія, которое Діоклетіанъ—злѣйшій гонитель христіанства—развилъ до нелѣпости. Въ Западной имперіи, съ своей стороны, явился новый элементъ, также не христіанскій, элементъ тевтонизма, народнаго духа дикихъ полчищъ, страшныхъ въ невинной кровожадности своей, въ своей скитающейся неутомимости, въ своемъ дружинномъ братствѣ и любви къ необузданной волѣ. Надобно было усмирить, укротить дикарей; надобно было сломить ихъ желѣзную и задорную волю волей еще болѣе желѣзной и настойчивой. Эту великую задачу задали себѣ первосвященники римскіе; разрѣшая ее, они утратили свой характеръ чуждости всему мірскому; католицизмъ сорвалъ германца съ его почвы и пересади́лъ на другую, но самъ, между тѣмъ, пустилъ корни въ землю, которую стремился вытолкнуть изъ-подъ ногъ мірянъ; желая управлять жизнію, онъ долженъ былъ сдѣлаться практическимъ, печясь о мнозѣ; отвергая эти заботы, онъ принялъ ихъ. Началась непрерывная борьба духовнаго порядка со свѣтскимъ; католицизмъ мало-по-малу побѣждалъ, побѣждалъ для того, чтобъ, наконецъ, спокойно насладиться плодомъ своихъ трудовъ въ лицѣ, наприм., Льва X, который больше похожъ на доблестнаго цезаря, нежели на намѣстника св. Петра. Въ эту борьбу послѣдовательно вовлеклись всѣ стороны тогдашней жизни; самыя странныя противорѣчія безпрестанно встрѣчаются въ одной и той же груди. Эта борьба Гвельфовъ и Гибелиновъ, повторявшаяся въ разныхъ видахъ, похожа на бой змѣи съ человѣкомъ, представленный Дантомъ,—бой, въ которомъ то человѣкъ дѣлается змѣей, то змѣя человѣкомъ; въ этой борьбѣ одного нѣтъ—эгоизма и холода, все увлечено, несется, крутится, и во всемъ элементъ безконечности и элементъ безумія.

Научный интересъ того времени сосредоточивался въ схоластикѣ. Схоластика — неловкій, жесткій и сухой амфибій — замѣняла истинную науку до самыхъ временъ негодующаго безпокойства и освобожденія теоретической дѣятельности въ XVI вѣкѣ. Отношеніе свое къ истинѣ и къ предмету схоластика опредѣляла странно, чисто формально и совершенно несамостоятельно. Не думайте, чтобъ схоластика была вообще христіанской мудростью,—нѣтъ, ее ищите въ отцахъ церкви первыхъ вѣковъ, особенно восточныхъ. Схоластика была и не вполне религіозна и не вполне наукообразна; отъ шаткости въ вѣрѣ, она искала силлогизмы, отъ шаткости въ логикѣ—она искала вѣрованія; она предавала свой догматъ самому щепетильному умствованію, и предавала умствованіе самому буквальному приниманію догмата. Она одного боялась, какъ огня: самобытности мысли; ей лишь бы чувствовать помочи Аристотеля или другаго признаннаго ру-

ководителя. О естествовѣдѣніи не можетъ быть и рѣчи: схоластика такъ презирала природу, что не могла заниматься ею: природа странно противорѣчила ихъ дуализму; природа не брала участія въ безконечныхъ спорахъ схоластиковъ: какого же она могла ожидать участія отъ нихъ, убѣжденныхъ, что высшая мудрость только и существуетъ въ ихъ опредѣленіяхъ, раздѣленіяхъ и проч.? Вообще они считали природу подлой рабой, готовой исполнять своевольную прихоть человека, потворствовать всѣмъ нечистымъ побужденіямъ, отрывать отъ высшей жизни, и въ то же время они боялись ея тайнаго, демоническаго вліянія, увѣренные, что вся вселенная находится въ личныхъ отношеніяхъ съ каждымъ человекомъ—непріязненныхъ или мирволящихъ. Ясно, что, вмѣсто естествовѣдѣнія, явились астрологія, алхимія, чародѣйство. Съ ограниченной точки зрѣнія схоластическаго дуализма, значеніе всего естественнаго опредѣлялось превратно; все хорошее отнимали у природы и ставили вѣдь ея, хотя никто и не спрашивалъ, гдѣ собственно ея предѣлы; все естественное, физическое покрывали завѣсой, стыдились тѣла,—въ немъ видѣли распутную наложницу духа и скорбѣли объ этой связи. Люди того времени представляли себѣ внутри земнаго шара Люцифера, жующаго Іуду и Брута, къ которымъ тяготитъ все тяжелое міра вещественнаго и все злое міра нравственнаго. Они хотѣли поспать ногами, уничтожить временное, хотѣли не знать его; дуализмъ схоластики не имѣетъ въ себѣ ничего всѣхскорбящаго, примиряющаго, исполненнаго любви, хотя говорить объ ней очень много; это апотеоза отвлеченнаго, формальнаго мышленія, апотеоза личности эгоистической, сознавшей достоинство свое, но недостойной еще понять его, не правомъ пренебреженія природою, а правомъ освобожденія себя и природы въ дѣйствительномъ, вселюбящемъ мышленіи. Схоластики не уразумѣли настолько христіанства, чтобъ понять искупленіе *не отрицаніемъ конечнаго, а спасеніемъ его*. Христіанство снимаетъ собственно дуализмъ,—суровое воззрѣніе католическихъ теологовъ не могло постигнуть этого ¹⁾. Замѣьте, это одна изъ существенѣйшихъ ошибокъ западнаго воззрѣнія, вызвавшая впослѣдствіи только сильное противодѣйствіе. Оно придало среднимъ вѣкамъ ихъ угрюмый, натянутый, темный характеръ. Міръ схоластическій печаленъ: это міръ искуса, міръ уничтоженія всего непосредственнаго, міръ скучнаго формализма и мертвеннаго взгляда на жизнь: мысль перестала быть «доблестною потребностью», какъ называлъ ее Аристотель: она мучитъ, терзаетъ средневѣковаго человека: она

¹⁾ Апостолъ Павелъ къ коринѳянамъ говоритъ: „Вся тварь ждетъ искупленія“. Этого не хотѣли понять схоластики.

сознала всю мощь раздвоенія и прошла между сердцемъ и умомъ, между подлежащимъ и сказуемымъ, между духомъ и матеріей, желая все торжество предоставить внутреннему и имъ посрамить все внѣшнее. Единство бытія и мышленія шло такъ же впередъ у древнихъ, какъ ихъ противорѣчіе у схоластиковъ; иначе не возникли бы и знаменитые споры номпналистовъ и реалистовъ. Примѣръ какого-нибудь Рожера Бэкона, не презирающаго опыта, какого-нибудь Раймунда Туллія, бросающагося между тысячами фантастическими и поэтическими затѣями на химию, ничего не доказываетъ: такіа отрывочныя явленія не имѣютъ связи со всѣмъ окружающимъ; разсудочный, сухой спиритуализмъ, буквальный толкованія, логическія уловки, діалектическія дерзости и раболѣпіе передъ авторитетомъ—таковъ характеръ схоластики до реформации, до XVI вѣка. Въ концѣ этого вѣка погибъ Петръ Рамусъ за то, что смѣлъ возстать противъ Аристотеля: Джордано Бруно и Ванини были казнены за ихъ ученныя убѣжденія, — одинъ въ 1600, другой въ 1619 году. Какая же дѣйствительная наука могла развиваться въ этой душной и узкой атмосферѣ? Одна формалистика—блѣдный плющъ, выросшій на тюремной оградѣ,—прозябала въ ней: ея томный, лунный свѣтъ былъ безъ теплоты и самобытности: ея вопросы ¹⁾ были такъ далеки отъ жизни и такъ мелочны, что ревнивая цензура папская выносила ее. Ученныя занятія въ это время получили характеръ чисто книжный, котораго они въ древнемъ мірѣ не имѣли; кто хотѣлъ знать, развертывалъ книгу, отъ жизни же и отъ природы отворачивался. Схоластики искали истину позади себя, они хотѣли ей *выучиться*, они думали, что она цѣликомъ написана, и, разумѣется, не двигались впередъ. Характеръ этотъ частію перешелъ въ кровь нѣмецкихъ ученыхъ.

Наконецъ, послѣ тысячелѣтняго безпокойнаго сна, человечество собрало новыя силы на новый подвигъ мысли; въ XV вѣкѣ пробуждаются нныя требованія, тянетъ утреннимъ воздухомъ. Настала эпоха передѣлыванія. Вниманіе людей обращалось болѣе и болѣе на реальные предметы, на морскія путешествія, совершенныя тогда, на новую часть земного шара, на странную и отчасти обидную для схоластиковъ мысль Коперника, на то тихое, незамѣтное открытіе, сдѣланное въ душной мастерской, передъ горномъ, за станкомъ литейщика, о которомъ алхимикъ Клодъ Фролло сказалъ смиренному аббату beati Martini: «ceci tuera cela»: но оно убило не зодчество, а темноту. Въ Италіи всего ранѣе раз-

¹⁾ Предметы споровъ у схоластиковъ иногда поразительны; напр.: „Адамъ въ первобытномъ состояніи зналъ ли Liber sententiarum Петра Ломбардскаго, или нѣтъ?“

дались новыя требованія: мечтатель Ріенци вспомнилъ древній Римъ и хотѣлъ возстановить его; ему рукоплескалъ Петрарка, возстановитель классическаго искусства и поэтъ на *вулгарномъ* нарѣчій. Греки набѣжали изъ Византіи и привозили съ собою руно, схищенное у нихъ въ продолженіи десяти вѣковъ. Другъ Козьмы Медичи, Марзілій Фичинъ, превосходно переводилъ Платона, Прокла и Плотина. Самое изученіе Аристотеля получило новый характеръ; доселѣ Аристотель былъ какимъ-то подавляющимъ гнетомъ, его изучали формально, механически, по уродливымъ переводамъ; теперь взяли подлинникъ. Правда, умы были до того развращены схоластикой, что ничего не умѣли понимать просто: чувственное воззрѣніе на предметы было притуплено, ясное сознаніе казалось пошлымъ, а пошлая логомахія безъ содержанія, опертая на авторитеты, была принимаема за истину; чѣмъ узорчатѣе, щеголеватѣе, непонятнѣе были формы, тѣмъ выше ставили писателя. Томы вздорныхъ комментаріевъ писались объ Аристотелѣ; таланты, энергіи, цѣлыя жизни тратились на самую бесполезнѣйшую логомахію; но, между тѣмъ, горизонтъ расширялся; собственное изученіе древнихъ писателей поневолѣ заносило мысли свѣжія и живыя; вліяніе ихъ было неизмѣримо. Слабая, непривычная къ самомышленію, лѣнивая и формальная способность средневѣковыхъ умовъ не могла сама собою отрѣшиться отъ безжизненной формалистики своей; у нея не было человѣческаго языка, на которомъ можно было бы говорить дѣло; наконецъ, ей было стыдно говорить *о дѣлѣ*, потому что она считала его вздоромъ.

Вдругъ найдена чужая рѣчь, готовая, стройная, выражавшая превосходно то, чего схоластическіе доктора и не умѣли и не смѣли высказать; мало этого — чужая рѣчь опиралась на славныя имена. Чувствующие свое несовершеннѣе нашли новые авторитеты и возстали противъ старыхъ. Все заговорило цитатами изъ Виргилія, Цицерона, а отъ Аристотеля, напротивъ, стали отрекаться. Патрицій представилъ, въ половинѣ XVI вѣка, папѣ Григорію XIV сочиненіе, въ которомъ обращалъ его вниманіе на противорѣчіе аристотелевскаго ученія съ церковью; этого противорѣчія не замѣтили дѣтъ пятьсотъ къ ряду добрые схоластики и доказывали догматы Аристотелемъ, Аристотеля — догматами. Наконецъ, въ одномъ изъ древнѣйшихъ средоточій схоластики и чуть ли не въ самомъ главномъ, въ Парижѣ, явился Гуссъ перипатетизма — Шьеръ la Ramée, и объявилъ, что онъ противъ всѣхъ готовъ защищать тезисъ: «Все ученіе Аристотеля ложно». Крикъ негодованія раздался между учеными, онъ дошелъ до дворца Франциска I; король назначилъ надъ нимъ судъ, для того, чтобъ *осудить* его. Рамусъ

защищался, какъ левъ, но пощады не было; его прогнали, обвинили, и онъ послѣ этого пошелъ скитаться по всей Европѣ, изгоняемый и преслѣдуемый, бранясь, переѣзжая съ мѣста на мѣсто. Пятьдесятъ лѣтъ боролся этотъ человѣкъ съ Аристотелемъ и, наконецъ, погибъ въ борьбѣ. Онъ проповѣдовалъ противъ стагирита, точно такъ же, какъ гугеноты проповѣдовали противъ папы. Сходство его съ протестантами очень велико; онъ былъ прозаичнѣе, можетъ быть, пошлѣе, плоче своихъ враговъ, плоче многихъ комментаторовъ Аристотеля (Помпонація, наприм.), но у него были практическія и своевременныя требованія; онъ гнушался формализмомъ и словопреніемъ; ему хотѣлось приложенія, пользы; онъ былъ ниже Аристотеля, такъ, какъ многіе протестанты ниже католическаго воззрѣнія; но онъ боролся съ Аристотелемъ схоластики такъ, какъ протестанты съ католицизмомъ XVI вѣка. Около того же времени является торжественная и непрерывающаяся процессія людей мощныхъ и сильныхъ, приготовившихъ пропилеи новой наукѣ; во главѣ ихъ (не по времени, а по мощи) Джордано Бруно, потомъ Ванини, Карданъ, Кампанелла, Тилезій, Парацельсъ ¹⁾ и др. Главный характеръ этихъ великихъ дѣятелей состоитъ въ живомъ, вѣрномъ чувствѣ тѣсноты, неудовлетворительности въ замкнутомъ кругѣ современной имъ науки, во всепоглощающемъ стремленіи къ истинѣ, въ какомъ-то дарѣ провидѣнія ея.

Время возстанія противъ схоластики исполнено драматическаго интереса. Читая біографіи, развертывая писанія энергическихъ людей, рвавшихъ цѣпи, которыя опутывали науку, вы увидите разомъ двойную борьбу, въ которую они были вовлечены. Одна совершается въ ихъ душѣ—борьба психическая, трудная, волнующаяся ихъ безпрерывно, придающая многимъ изъ нихъ эксцентрическій, почти судорожный видъ. Другая борьба наружная, оканчивающаяся на кострѣ, въ темницѣ; ибо схоластика, уstraшенная нападкаи, спряталась за инквизицію, смертными приговорами возражала на смѣлые тезисы противниковъ и, вырывая ихъ языкъ клещами палача, заставляла умолкать. Многихъ удивляетъ шаткая непослѣдовательность ихъ и мужественная воля, неполнота, такъ сказать, ихъ мысли, и полнота самоотверженія; но развѣ можно сразу отдѣлаться отъ историческихъ предразсудковъ? Не отъ непониманія зависитъ эта шаткость. Истина всегда бываетъ проще нелѣпости, но умъ человѣка вовсе не одна возможность пониманія, не *tabula rasa*: онъ засоренъ со дня рожденія историческими предразсудками, повѣрьями и проч.; ему трудно возстановить нормальное отношеніе свое къ простому пониманію,

¹⁾ Первый профессоръ химіи отъ сотворенія міра.

особенно въ то время, о которомъ идетъ рѣчь. Что удивительнаго, что Парацельсъ вѣрилъ въ алхімію, Карданъ называлъ себя магомъ¹⁾? Имъ трудно было вырвать изъ груди мифія, освященныя вѣками, трудно было примирить ихъ съ восходящимъ свѣтомъ сознанія. Они, впрочемъ, и не сдѣлали этого. Они были такъ восторжены, что не могли порядкомъ установиться; это эпоха первой любви, упоенія, не знающаго мѣры, эпоха новости поражающей: не ищите у нихъ строгой, наукообразной формы; ими только открыта почва науки, ими только освобождена мысль, содержаніе ея понято больше сердцемъ и фантазіей, нежели разумомъ.

Вѣка должны были пройти прежде, нежели наука могла развить методой тѣ истины, которыя Джордано Бруно высказалъ восторженно, пророчески, вдохновенно. Это принятіе въ кровь и плоть своихъ убѣжденій придало имъ ихъ личную мощь, поддерживало ихъ въ борьбѣ внѣшней: гонимые, скитальцы изъ страны въ страну, окруженные опасностями, они не зарыли изъ благо-разумнаго страха истины, о которой были призваны свидѣтельствовать; они высказывали ее вездѣ: гдѣ не могли высказывать прямо,—одѣвали ее въ маскарадное платье, облекали аллегоріями, прятали подъ условными знаками, прикрывали тонкимъ флѣромъ, который для зоркаго, для желающаго, ничего не скрывалъ, но скрывать отъ врага: любовь догадливъѣе и проникательнѣе ненависти. Иногда они это дѣлали, чтобъ не испугать робкія души современниковъ; иногда, чтобъ не тотчасъ попасть на костеръ. Легко въ наше время человѣку развивать свое убѣжденіе, когда онъ только и думаетъ о болѣе ясной формѣ изложенія: въ ту эпоху это было невозможно. Коперникъ скрывалъ свое открытіе авторитетами, взятыми изъ древнихъ философовъ, и, можетъ быть, одно это спасло его лично отъ гоненій, впоследствии обрушившихся на Галилея и на всѣхъ послѣдователей его. Надобно было хитрить... «Хитрость, говоритъ одинъ мыслитель, женственность воли, пронія дикой силы». Макиавелли знали кой-что объ этой хитрости. Все вмѣстѣ придавало тогдашнимъ дѣятелямъ характеръ трепетнаго безпокойства и волненія. Они не были въ полномъ міру ни съ собою, ни съ окружающимъ. Истинно спокоенъ или человѣкъ, принадлежащій зоологін, или тотъ, кто, однажды кончивъ съ собою, видитъ согласіе своихъ внутреннихъ убѣжденій съ наружнымъ міромъ. Они были безпокойны, потому что окружающій ихъ порядокъ становился пошлымъ и нелѣпымъ, а внутренній былъ потрясенъ; разглядѣвъ то и другое, они не могли

¹⁾ Даже Воконъ Веруламскій не могъ совершенно отдѣлаться отъ астрологін и магін.

скрыть своего распадёнія, не могли не быть безпокойными. Такихъ людямъ, какъ Бруно, не дается великій талантъ счастливо и спокойно жить въ средѣ, прямо противоположной ихъ убѣжденіямъ.

Для живого примѣра одушевленнаго, юношескаго мышленія этой эпохи, передамъ вамъ нѣсколько главныхъ мыслей Джордано Бруно, который, безъ сомнѣнія, оставляетъ далеко за собою всѣхъ товарищей своихъ ¹⁾. Главная цѣль Бруно—развить и понять жизнь, какъ единое, всемірное, безконечное начало и исполненіе всего сущаго, понять вселенную, какъ эту единую жизнь, понять самое единство это безконечнымъ единствомъ разума и бытія, единствомъ, побѣдоносно проторгающимся черезъ ряды многообразія. Вотъ краеугольные камни всего ученія Бруно, прямо противоположнаго дуализму схоластики. Такъ какъ жизнь одна, умъ одинъ и одно единство ихъ связуетъ, слѣдовательно, заключаетъ Бруно, если мы возьмемъ умъ въ цѣлости всѣхъ его моментовъ, мы все сущее подведемъ подъ него; не есть ли это прямое предвѣдѣніе логической философіи нашего времени? «Природа, говоритъ онъ, внутри своихъ предѣловъ можетъ все сдѣлать изъ всего, а умъ можетъ все узнать изъ всего»; природу и умъ онъ понимаетъ двумя моментами одного развитія. «Одна и та же матерія проходитъ всѣми формами: то, что было зерномъ, дѣлается травой, колосомъ, хлѣбомъ, питательнымъ сокомъ, зародышемъ, человѣкомъ, трупомъ, землею... Но есть нѣчто, остающееся самимъ собою отъ этого развитія,—матерія; *она безусловна*, ея проявленія условны; матерія *все*, потому что она ничего въ особенности; дѣятельная возможность формы присуща ей; она развивается жизнью до своего перегиба въ умъ; въ природѣ слѣдъ идеи (*vestigium*); за ея физическимъ бытіемъ (*postnaturalia*) начинается понятіе, тѣнь идеи (*umbra*). Ни произведенія природы, отдѣльно взятыя, ни понятія никогда не достигаютъ полноты. Такъ, на прим., каждый человѣкъ въ каждую минуту все то, что онъ можетъ быть въ эту минуту, но не все то, что онъ вообще можетъ быть по своей сущности... Вселенная же, напротивъ, дѣйствительно все, что можетъ быть на самомъ дѣлѣ и разомъ, ибо она обнимаетъ всю вещественность вмѣстѣ съ вѣчными и неизмѣнными формами ея измѣняющихся произведеній; въ этомъ состоитъ ея великое единство, себѣ равенство. Во вселенной вездѣ средоточіе; въ ней средоточіе и окружность не раздѣлены, такъ, какъ наибольшее не отдѣлено отъ наименьшаго,—на всякомъ мѣстѣ владыче-

¹⁾ Самое подробное изложеніе Бруно, со множествомъ выписокъ, у Буле въ «Gesch. der neuern Philosophie», II Band. отъ 703 до 856. Въ геттингенской бібліотекѣ Буле нашелъ много неизвѣстныхъ сочиненій Бруно и ими пользовался.

ство Божіе. «Но, прибавляетъ Бруно, недостаточно для истины понять единство только какъ точку соединенія различій: надобно такъ понять его, чтобъ умѣть снова вывести и все противорѣчія». Представьте себѣ, какъ должны были раскрыться рты докторовъ *sublissimorum, dialecticorum*, когда они слышали эту глубокую, вдохновенную рѣчь! Прибавлю еще выписку, чтобъ показать, какой поразительно вѣрный взглядъ имѣлъ онъ о злѣ. «Между *тѣнями идеи* нѣтъ дѣйствительнаго противорѣчія; одно понятіе соединяетъ прекрасное и уродливое, доброе и злое. Несовершенное, злое не имѣютъ собственной идеи, на которой бы они покоились, по которой бы опредѣлялись (какъ по своему идеалу); между тѣмъ, все дѣйствительное предполагаетъ идею и понятіе; но въ томъ и дѣло, что понятіе злого въ другомъ (въ противоположномъ); своего понятія у зла нѣтъ; напротивъ, понятіе, отъ котораго оно зависитъ, отрицаетъ дѣйствительность его, такъ какъ и въ самомъ дѣлѣ зло представляетъ какое-то существующее небытіе, нѣчто отрицательное (*non ens in ente, vel, ut apertius dicam, defectus in effecto*)». Гегель, мнѣ кажется, не отдалъ всей справедливости Бруно, не потому ли уже, что Шеллингъ поставилъ его такъ высоко? Последнее очень понятно. Бруно — живая, прекрасная связь между неоплатонизмомъ, котораго вліяніе на немъ весьма замѣтно, и натурфилософіей Шеллинга, на которую онъ, въ свою очередь, имѣлъ большое вліяніе. Гегель не хотѣлъ узнать въ Бруно человѣка новаго міра такъ, какъ не хотѣлъ видѣть въ Бемѣ человѣка средневѣковаго; или, можетъ быть, въ груди величайшаго германскаго мыслителя лежала породная связь съ *theosopho teutonico*, а романская горячая и реальная кровь итальянца не была ему такъ родственна. Бемъ — великій человѣкъ; но это не мѣшаетъ Джордано Бруно стоять подлѣ него, потому что и онъ великій человѣкъ ¹⁾. Оставляя Италію, замѣтимъ, что романскому племени былъ предоставленъ блестящій починъ новой науки. Но собственно въ *новой* философіи оно мало участвовало, какъ будто оно истощило всю умозрительную способность свою на это начало, — оно, такъ богатое способностями на все другое! Какъ будто *новая* философія, философія реформациі, дуализмъ выше схоластическаго, но все же дуализма, обманула ожиданія живой и реальной мысли романской, которая уже въ концѣ XVI столѣтія стояла выше дуализма. Если это такъ, мысль романская можетъ явиться завершительницею начатаго?

Въ это время возбужденности, энергіи, люди со всехъ сторонъ протестовали противъ средневѣковой жизни, вездѣ отрекались

¹⁾ Мы не минуемъ Бема, хотя, надобно сказать, въ исторіи науки онъ мало имѣлъ вліянія; его наукообразно почили только въ нашемъ вѣкѣ.

отъ нея, во всемъ требовали перемѣны: церковь римская оканчивала борьбу съ лютеранизмомъ страдательнымъ принятіемъ протестантовъ за совершенное событіе; схоластика рѣшительно видѣла несостоятельность свою противъ напора новыхъ идей, т. е. идей древняго міра. Наука, искусство, литература—все перемѣнилось на античный ладъ, такъ, какъ готическая церковь снова уступила мѣсто греческому периптеру и римской ротондѣ. Классическое воззрѣніе заставило людей ясно смотрѣть на вещи; латинскій языкъ Рима приучилъ къ мужественной рѣчи, къ энергическому обороту; до этого времени употреблялась латынь школы, блѣдная, искаженная, неловкая и потерявшая свою душу, такъ сказать; древніе писатели очеловѣчили неестественныхъ людей средневѣковыхъ, разбудили ихъ отъ эгоизма романтической сосредоточенности и психическихъ раздраженій. Помните, какъ Гёте рассказываетъ въ «Римскихъ Элегіяхъ» вліяніе итальянскаго неба на него, выросшаго въ сѣренькомъ климатѣ Германіи,—таково было дѣйствіе классической литературы на ученыхъ XVI столѣтія. Въ сторону пошлые споры схоластическіе! воскликнулъ средневѣковый челоѣкъ: дайте упиться одами Горация, дайте подышать подъ этимъ свѣтлымъ лазоревымъ небомъ, насмотрѣться на роскошныя деревья, подъ тѣнью которыхъ и кубки съ сокомъ виноградныхъ гроздій дозволены, и страстные объятія любви перестаютъ быть преступленіемъ! Humanitas, humaniora ¹⁾ раздавалось со всѣхъ сторонъ, и челоѣкъ чувствовалъ, что въ этихъ словахъ, взятыхъ отъ *земли*, звучитъ vivere memento, идущее на замѣну memento mori, что ими онъ новыми узами соединяется съ природой; humanitas напоминало не то, что люди сдѣлаются землей, а то, что они вышли изъ земли, и имъ было радостно найти ее подъ ногами, стоять на ней; католическая строгость и германская народная наклонность къ грустной мечтѣ приготовили къ этому крутому перегибу! Конечно, если мы пристально всмотримся въ дѣйствительную жизнь среднихъ вѣковъ, то увидимъ, что она болѣе наружно покорялась велѣніямъ Ватикана и романтическому настроенію; жизнь вездѣ восполняла полутайкомъ недостаточныя и узкія основанія средневѣковаго быта, довольствуясь періодическими раскаяніями, наружными формами, и потомъ, для большаго удобства, покупкою индульгенцій. Тѣмъ не менѣе тогдашняя жизнь была сумрачна, натянута; сосѣдъ скрывалъ отъ сосѣда подъ условными формами и простую мысль и мелькнувшее чувство; онъ стыдился ихъ, онъ боялся ихъ. Романтизмъ имѣлъ въ себѣ много задушевнаго, трогательнаго, но мало свѣтлаго, простаго, откровеннаго; конечно, челоѣкъ

¹⁾ Homo отъ humus.

и тогда предавался радости, наслажденіямъ,—но онъ это дѣлалъ съ тѣмъ чувствомъ, съ которымъ мусульманинъ пьетъ вино; онъ дѣлалъ уступку, отъ которой самъ отрекался; уступая сердцу, онъ былъ униженъ, потому что не могъ противостоять влеченію, котораго не признавалъ справедливымъ. Грудь человѣческая, изъ которой невозможно было изгнать реальныхъ потребностей, тяжело подымалась, рвалась къ жизни болѣе ровной: всегдашняя натянутость такъ же надобла человѣку, какъ всегдашнее вооруженіе рыцарю; хотѣлось мира внутренняго,—этого романтизмъ дать не могъ: онъ весь основанъ на не согласіи, на противорѣчіяхъ; его любовь—платонизмъ и ревность; его надежда въ могилѣ; безвыходная тоска—основа его внутренней жизни: вся его поэзія—въ этой роющей тоскѣ, вѣчно сосредоточенной на своей личности, вѣчно растрavляющей мнимыя раны, изъ которыхъ текутъ слезы, а не кровь; въ этихъ мученіяхъ вся нѣга эгоистическаго романтика, добродушно считающаго себя самоотверженнымъ мученикомъ: искомый *миръ*, искомый покой представляли на первый случай искусство древняго міра, его философія. Къ суровому готическому воззрѣнію начали прививаться мягкіе, человѣческіе элементы древней цивилизаціи: романтикъ сталъ догадываться, что первое условіе наслажденія—забыть себя; онъ сталъ на колѣни передъ художественными произведеніями древняго міра; онъ научился поклоняться изящному безкорыстно; мысль греко-римская воскресла для него въ блестящихъ ризахъ; въ тысячелѣтнемъ гробѣ успѣло предаться тлѣнію то, что должно было истлѣть: очищенная, вѣчно юная, какъ Ахиллъ, вѣчно страстная, какъ Афродита, явилась она людямъ,—и люди, всегда готовые увлечься, оскорбительно забыли романтическое искусство, отворачивались отъ его дѣвственныхъ красотъ и стыдливой закутанности. Поклоненіе древнему искусству—не временная прихоть: оно ему подобаешь; это единственное право, оставшееся за нимъ на вѣчную жизнь; это его истина, которая преіидти не можетъ: это безсмертіе Греціи и Рима;—но и готическое искусство имѣло свою истину, которую уничтожить нельзя было; въ эпоху противодѣйствія нѣкогда дѣлать такой разборъ.

Европа приняла древнюю образованность такъ, какъ Россія, во время Петра I, приняла въ свою очередь образованность европейскую. Нельзя не замѣтить, впрочемъ, что классическое образованіе, распространившееся по всей Европѣ, было образованіемъ аристократическимъ; оно принадлежало *неопредѣленному*, но тѣмъ не менѣе дѣйствительному сословію *образованныхъ* людей *propre sic dictum*, легистамъ, духовнымъ, ученымъ, рыцарямъ,—но мѣрѣ того, какъ они изъ вооруженной аристократіи переходили въ придворную: наконецъ, всѣмъ матеріально обезне-

ченнымъ и празднымъ. Крестьяне, городская *чернь*, т. е. бѣдные мѣщане, работники, пролетаріи, не только не участвовали въ этой переменѣ, но рѣзче и глубже распались съ искусственно-образованною средою, нежели прежде. Новые языки, вошедшіе около того же времени въ употребленіе, не сблизили ихъ: на *вульгарныхъ* нарѣчіяхъ писались и говорились латинскія и греческія мысли, такъ, какъ въ среднихъ вѣкахъ по-латынѣ говорились, конечно, вовсе не римскія вещи. Массы отъ этого переворота пали въ грубѣйшее невѣжество: прежде для нихъ были трубадуры, легенды; проповѣдники говорили для нихъ, монахи посѣщали ихъ, была между высшимъ образованіемъ и ими связь; теперь все талантливое, образованное захватило элементы, чуждые народу, ничего не говорящіе его сердцу; и замѣьте при этомъ, что новая цивилизація не успѣла такъ переработаться въ сущность принявшихъ ее, чтобъ позволить имъ свободно, т. е. по своему, выражаться. Поэты, воспѣвая греческихъ боговъ и римскихъ героевъ, цѣликомъ брали свои восторги у Виргилія; прозаики писали и говорили цicerоновски,—печальная и безучастная толпа не слушала ихъ: она лишилась своихъ цѣнцовъ съ сказками и сагами, потрясавшими такъ сильно сердца ея знакомыми звуками и родными образами. Это распаденіе съ массами, вырощенное не на феодальныхъ предразсудкахъ, а вышедшее полусознательно изъ самой образованности, усложнило, запутало развитіе истинной гражданственности въ Европѣ. Аристократія образованности, знанія несравненно оскорбительнѣе аристократіи крови: она не основана на непосредственности, на темной вѣрѣ, а на сознательномъ превосходствѣ, на гордомъ пренебреженіи массъ; искусственная образованность, которая шла на замѣну феодальному готизму, была надменна и смотрѣла свысока; вы можете найти эту надменность во всѣхъ ея представителяхъ, въ Вольтерѣ и Боленброкѣ, точно такъ, какъ въ доктринахъ революціи 30 года и въ берлинскихъ катедральныхъ философахъ. Но гений Европы не потерялся отъ этого раздвоенія, не сталъ ходить съ понурой головой, оплакивая былое и приходя въ отчаяніе, что не умѣетъ переварить въ себѣ совершившагося событія. Мало ли временнаго зла проходить рядомъ съ вѣчнымъ благомъ, даже въ частной жизни одного семейства, не только въ сложной многоначальной жизни цѣлаго народа; зло—несчастное, но иногда необходимое условіе добра—проходитъ; добро остается; сильная натура перерабатываетъ въ себѣ зло, борется съ нимъ, побѣждаетъ; сильная натура умѣетъ выпутаться изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, умѣетъ похоронить милое себѣ и, оставаясь вѣрно ему, идти на новое дѣйствованіе и на новые труды; а слабыя натуры теряются въ своемъ плачѣ объ утратѣ, хотятъ невозможнаго, хотятъ прошед-

наго, не умѣють найтись въ дѣйствительности и, какъ этрурійскіе жрецы, поютъ одиѣ похоронныя пѣсни, не имѣя смысла разглядѣть новой жизни и брачныхъ гимновъ ея.

Если классическое образованіе миновало массы и отрѣзало отъ нихъ высшія сословія, то, напротивъ, реформація съ своими расколами не миновала ихъ. Мистицизмъ и ученія, возбужденныя протестантизмомъ, его таинственная простота, явившаяся замѣнить величественный ритуалъ католицизма, его догматическіе вопросы дотронулись до совѣсти каждаго человѣка. Даже британская натура забыла свое практическое настроеніе и бросилась въ лабиринтъ теологическихъ тонкостей; про Германію и говорить нечего. Слѣдствія этихъ споровъ, распрей, были сообразны духу народному: для Англіи—Кромвель, Пенсильванія; для Германіи—Яковъ Бемъ; скажемъ о немъ нѣсколько словъ.

Самопознаніе раскрывается не въ одной наукѣ; логическая форма—послѣдняя, завершающая, далѣе которой собственно вѣдѣніе не идетъ. Наука не только не исключительный органъ самопознанія, но она весьма долго неудобный, неготовый органъ для него; конечно, наука, въ абсолютномъ смыслѣ, вѣчная органика истины; но пора согласиться, что въ дѣйствительности, т. е. во времени, въ исторіи все обусловлено, и что только объ исторической наукѣ и можетъ идти рѣчь, когда говорится о дѣйствительномъ развитіи. Въ логикѣ все совершенно *sub specie aeternitatis*; потому-то временное и не нашло еще въ ней своего тождества съ вѣчнымъ. Пока разумъ и истина раздвоены, пока форма и содержаніе противопоставлены другъ другу, до тѣхъ поръ наука не въ состояніи вывести полную истину самопознанія или полное самопознаніе истины,—что все равно. Человѣкъ сознаетъ себя, пока разрабатывается высшая форма, болѣе и болѣе въ другихъ сферахъ дѣятельности, путями опытности, событій и своего взаимодѣйствія съ внѣшнимъ міромъ, путями восторженнаго поэтическаго предвѣдѣнія. Сначала, самопознаніе человѣка—его *инстинктъ*, несознательная разумность животнаго, темныя, непреодолимыя влеченія, удовлетвореніе которыхъ, успокоивая животную сторону, возбуждаетъ сторону человѣческую; возникающій разумъ развертываетъ свое содержаніе въ два направленія. Въ практической области онъ является какъ слагающееся общинное житіе, какъ житейская мудрость поведенія, дѣйствованія, какъ многосторонняя связь трудовъ, работъ съ окружающей средою, какъ развитіе нравственной воли; мысль, вырабатывающаяся въ этихъ сферахъ, имѣетъ всю полноту и жизненность конкретнаго и всю неуволнимость его въ отвлеченную форму; все практическое является частнымъ, условнымъ, единовременнымъ удовлетвореніемъ физической или нравственной потребности; вы-

сокій смыслъ ея творческой совокупности теряется отъ стука молотовъ, отъ пыли, отъ раздробленности. Между тѣмъ, какъ только человѣкъ отеръ потъ послѣ тяжкаго труда устройства, у него явилось уже требованіе на иное удовлетвореніе, его ужъ что-то беспокоитъ, и дѣтскій разумъ его, нераздѣльный съ чувствами, не понимающій всѣхъ средствъ своихъ, начинаетъ облекать природу и мысли въ пеструю, яркую одежду дѣтскаго воображенія. Необузданныя сначала фантазіи, уравнившись, принимаютъ стройный и изящный видъ художественнаго произведенія; въ художественномъ произведеніи дѣйствительно сочеталось содержаніе съ содержимымъ; въ немъ мысль непосредственна и непосредственность одухотворена; въ статуѣ человѣкъ видитъ внѣ себя примиреніе, которое онъ ищетъ, поклоняется ему и называетъ его Аполлономъ или Палладой. Но это ненадолго; безпокойная мысль раздѣдаетъ художественное произведеніе, подчиняетъ себѣ форму, низводитъ ее на степень символики, а сама восходитъ на высоту вдохновеннаго, таинственнаго созерцанія. Самопознаніе находитъ въ этой символикѣ образъ; глаголь, облегчающій ему уразумѣніе невыразимой, но носящейся въ сознаніи истины; здѣсь образъ не есть уже живое и единственное тѣло идеи, какъ въ художественномъ произведеніи; символическій образъ готовъ, передавъ вамъ смыслъ свой, послуживъ сосудомъ истины, исчезнуть, распусться въ свѣтѣ самосознающей мысли; этотъ мерцающій полупрозрачный образъ отражаетъ человѣку его черты, но черты преображенныя, просвѣтленныя; человѣкъ узнаетъ себя въ нихъ, и боится узнать себя. Символика—языкъ, вдохновенный іероглифъ мистическаго самопознанія. Языкъ Пифагора и Прокла, языкъ Якова Бема, принимаемые ими образы всегда могутъ быть понимаемы разнo: они, какъ зеркало, разуму отражаютъ разумъ, а чувственности—чувственность. Легкіе и одухотворенные іероглифы въ грубыхъ рукахъ чувственныхъ мистиковъ, возвращающихся къ матеріализму изувѣрствомъ, дѣлаются дивящими призраками; духъ, ихъ одушевлявшій, религіозная мысль ихъ отлетаетъ, кружевное покрывало, едва колебавшееся между человѣкомъ и истинной, превращается въ сырой, могильный саванъ, и яркая мысль, свѣтившаяся въ очахъ вдохновеннаго созерцанія, замѣняется мрачно безумнымъ взглядомъ мага и кабаллиста. Я считалъ необходимымъ напомнить вамъ все это, приближаясь къ странному лицу Якова Бема. Его вдохновенное, мистическое созерцаніе, истекавшее изъ святаго источника, привело его къ возрѣнію такой необъятной ширины, о которой наука его времени не смѣла мечтать,—къ такимъ истинамъ, которыя человѣчество узнало вчера, а Бемъ жилъ слишкомъ двѣсти лѣтъ тому назадъ. И то же высокое ученіе Бема, облекаясь въ странныя мистическія и алхи-

мическія одежды, дало основу самымъ эксцентрическимъ, самымъ безумнымъ отклоненіямъ отъ простосердечнаго принятія истины: сведенборгіанцы, Окарстаузенъ, Штиллингъ и ихъ послѣдователи, Гоэло и нѣнѣшніе германскіе духовидцы, заклинатели, прокаженные, испорченные, все эти кликуши разныхъ нечитаемыхъ журналовъ и разныхъ сумасшедшихъ домовъ большую долю своего мракобѣсія почерпнули изъ Якова Бема.

Полнаго очерка Бемова ученія я не имѣю возможности передать вамъ: мы ограничимся нѣсколькими чертами; впрочемъ, *ex ungue leonem!*

Языкъ Бема теменъ, безграмотенъ; но его рѣзкая и оригинальная рѣчь—полна сильной, огненной поэзіи. Вотъ основныя мысли его философіи природы. «Все возникаетъ отъ *да* и *нѣтъ*. *Да*, взятое помимо отрицанія, помимо *нѣтъ*,—вѣчный покой, все и ничего, вѣчное молчаніе, свобода отъ всякаго мученія и, слѣдственно, отъ всякой радости, безразличіе, невозмущаемая тишина. Но *да* и не можетъ существовать безъ *нѣтъ*; оно необходимо присуще его выходу изъ безразличія. *Нѣтъ*, само по себѣ, ничего, а ничего—стремленіе къ чему-нибудь (*eine Sucht nach Etwas*). *Да* и *нѣтъ*—не разное, но различенное; безъ различенія не было бы ни образа, ни сознанія, жизнь была бы вѣчнымъ безстрастнымъ, равнодушнымъ истеченіемъ: желаніе предполагаетъ, что чего-либо *нѣтъ*, къ чему мы стремимся. *Нѣтъ* останавливаетъ безконечную лучезарность положительнаго и на точкѣ ихъ встрѣчи закипаетъ жизнь: это перегибъ, удерживающій безконечное развитіе для конечной опредѣленности. Единство, выступая въ многообразіе, непременно расчленяется и, развиваясь въ этомъ расчлененіи, возвращается сознаніемъ къ новому духовному единству... Свѣта не было бы, если-бъ не было тьмы, или если-бъ онъ и былъ, то, безпрепятственно расцвѣтаясь, что освѣщала бы онъ? Но свѣтъ самъ собою ставитъ тьму, тоска безразличности стремится къ различію; на этомъ основана вѣчная потребность *быть чѣмъ-нибудь* (*Etwasseinwollen*); въ этой потребности раздвоенія проявляется *я* (т. е. субъективность) природы... Открывая собою божественную и вѣчную волю, природа—произведеніе тихой вѣчности: она образуетъ, производитъ и расчленяетъ для того, чтобъ радостно сознать себя:... что сознаніе выражаетъ словомъ, то образуетъ природа въ свойства. Первое свойство вѣчной природы (Бемъ отдѣляетъ вѣчныя свойства отъ временнаго проявленія ихъ: первыя онъ называетъ вѣчной природою, вторыя физической природой)—безусловное *желаніе* сдѣлаться чѣмъ-нибудь; второе—*противовѣстіе*, останавливающее желаніе, перегибъ, причина страданій и жизни; третье—*чувствительность*, самосознаніе свойствъ; четвертое—*огонь*, блескъ, до котораго поднялось есте-

ственное и мучительное разрушеніе предыдущихъ свойствъ: пятое—*любовь*; шестое—*звукъ*, гласность и пониманіе свойствъ между собою; седьмое—*сущность*, какъ носящая личность, какъ субъектъ шести предыдущихъ свойствъ, какъ ихъ душа... Все въ природѣ открываетъ себя: природа всему даетъ языкъ; самоочертаніе— глаголь, которымъ вещь проявляетъ свое внутреннее. Быть только внутреннимъ невыносимо; внутреннее стремится быть наружнымъ. Вся природа звучитъ о своихъ свойствахъ и показываетъ себя... Въ сосредоточенной жизни природы открывается *сущность* (какъ мысль человѣка), а въ желаніи (человѣка) лежитъ стремленіе одѣйствоваться (по Бему, обнаружиться природой). Наружная природа образуется изъ шести вѣчныхъ свойствъ; въ седьмомъ она успокоивается, какъ въ субботѣ своей... Вода, воздухъ ближе къ безразличному единству, какъ все мягкое, лишенное рѣзкости: напротивъ, твердыя тѣла выше своею сложностью расчлененіями, снятыми уже въ нихъ. По видимому міру, по солнцу, звѣздамъ, элементамъ, тварямъ можно опредѣлить ихъ причину; ибо ни одна вещь не имѣетъ основы пндѣ, а основа и причина ея необходимо тамъ, гдѣ она возникла. Истинная причина всему, послѣдняя основа—божественный духъ вездѣ сущій... Онъ не далекъ, онъ близокъ, умѣй только видѣть его», говоритъ восторженный Бемъ: «человѣкъ тупой, скажу я невѣрующему,—если ты думаешь, что нѣтъ въ тебѣ самомъ божественнаго, то ты не образъ и не подобіе Божіе; если ты разрознень съ Нимъ, то какъ ты сдѣлаешься однимъ изъ сыновъ Его?»

Изъ того же начала необходимаго расчлененія стремится Бемъ вывести зло и все дурное. Зло онъ принимаетъ за одно изъ условій феноменальнаго бытія; начало его общее съ добромъ, качество есть уже зло, какъ ограниченность, какъ эгоистическое отторженіе отъ единства, какъ обособленіе и исключеніе всѣхъ другихъ свойствъ. Латинское слово *qualitas* Бемъ поэтически (хотя нельзя сказать, что тутъ поэзія заодно съ грамматикой) производитъ отъ нѣмецкихъ словъ *Qual*—мученіе и *Quellen*—истекать, качество мучиться (*die Qualitât quält sich ab*); чтобъ освободиться во всеобщемъ единствѣ, оно чувствуетъ недостатокъ, потому что оно *ничто* физическое, алчное все усвоить себѣ, себялюбивое; но это отчужденіе побѣждается просвѣтленіемъ, и то, что было страданіемъ во тьмѣ, расцвѣтаетъ наслажденіемъ въ свѣтѣ; все, что было страхомъ, ужасомъ, трепетомъ, станетъ крикомъ радости, звономъ и пѣніемъ... Зло—необходимый моментъ въ жизни и необходимо переходимый... Безъ зла все было бы такъ же безцвѣтно, какъ безцвѣтенъ былъ бы человѣкъ, лишенный страстей; страсть, становясь самобытною,—зло, но она же источникъ энергіи, огненный двигатель... Доброта, не имѣющая въ себѣ зла, эгоистиче-

скаго начала,— пустая сонная доброта. Зло врагъ самого себя, начало безпокойства, безпрерывно стремящееся къ успокоенію, т. е. къ снятію самого себя...

Довольно съ васъ. Если вы желаете подъ этими странными словами понять широкія мысли, отвсюду просвѣчивающія у Бема, вы ихъ увидите даже въ бѣдныхъ выпискахъ, сдѣланныхъ мною. Если же его слова вамъ (какъ прежде васъ многимъ) покажутся бредомъ,—я не берусь васъ разувѣрить...

Основанія реформаціоннаго воззрѣнія столько же способствовали наукообразному развитію мышленія, сколько феодализмъ мѣшалъ ему; пытлиное изслѣдованіе получило законное право; вглядываясь прпетально въ споры того времени и манеру ихъ, чувствуешь отраду и грусть; вы видите, что мысль побѣждаетъ, что ей даютъ вездѣ мѣсто, что она признана, но съ тѣмъ вмѣстѣ видите, что она суха, холодна, формальна, что она убила бы жизнь, если-бъ жизнь можно было убить. Въ наукѣ, побѣда надъ средне-вѣковымъ воззрѣніемъ не была такъ торжественна, такъ полна, какъ въ области искусства: Рафаэль, Тиціанъ, Корреджіо сдѣлали невозможнымъ дуализмъ въ эстетикѣ; въ наукѣ, католическій идеализмъ, называвшійся схоластикой, былъ побѣжденъ протестантской схоластикой, называемой идеализмомъ. Какъ художественность составляетъ управляющій характеръ греческой эпохи, такъ точно отвлеченное мышленіе является главной чертой эпохи реформаціонной, дуализмъ школьный и до чрезвычайности прозаическій: съ развитіемъ его жизнь мелѣетъ, становится безцвѣтной¹⁾. Въ лѣтописяхъ этой науки, мы не будемъ болѣе встрѣчать ни величественно пластическія личности гражданъ-мудрецовъ древняго міра, ни строгія, мрачныя лица средневѣковыхъ докторовъ, ни энергическія, огненные черты людей переворота въ XVI столѣтіи. Философы, какъ люди, стѣсняются болѣе и болѣе; ихъ отвлеченныя занятія, ихъ ученые интересы дѣлаютъ ихъ чуждыми жизни; послѣ Бруно философія имѣетъ одну великую біографію *del gran Ebreo науки* (Спинозы)²⁾. Гегель довольно странно объясняетъ это; онъ говоритъ, что въ новое время гражданское достигло того разумнаго совершенства, при которомъ индивидуальностямъ нѣчего болѣе заботиться о внѣшнемъ, и каждому указано свое мѣсто. Внутреннее и внѣшнее, думаетъ онъ, стоятъ самобытно и такъ, что внѣшній порядокъ идетъ самъ собою и че-

1) Странное дѣло: въ протестантизмѣ, какъ и въ дѣлѣ науки, романскіе народы являютъ только на заглавномъ листѣ съ своимъ Брешианскимъ Ариольдомъ и Жироламомъ Саванаролой, съ своими гугенотами; потому они представляютъ міру германическому собрать первые плоды, какъ будто выкидывая что-либо.

2) Развѣ прибавить Лейбница и Фихте?

ловѣкъ можетъ, не думая о немъ, учредить свой внутренній міръ самъ собой. Я думаю, несовсѣмъ легко доказать это германской исторіей отъ Вестфальскаго мира до нашего вѣка; но какъ бы то ни было, Гегель высказалъ совершенно нѣмецкую мысль—*non vitia hominis* ¹⁾!..

¹⁾ Gesch. der Phil., Th. III, p., 276 и 277. Всего лучше доказываетъ эту мысль длинная біографія Гегеля, написанная Розенкранцомъ и вышедшая съ годъ тому назадъ; въ ней есть высокаго интереса отрывки изъ гегелевыхъ бумагъ и почти безъ всякаго интереса жизнеописаніе: нѣмецкая жизнь безъ событий. съ перемѣною каедръ, mit Spaarbüchsen für die Kinder, Geburts-Feiertagen, etc.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.

Декартъ и Бэконъ.

Hier können wir sagen sind wir zu Hause, und können wie die Schiffer nach langer Umherfahrt auf der ungestümen See «Land!» rufen ¹⁾. Такъ привѣтствуетъ Гегель Декарта. «Съ Декарта, продолжается онъ, начинается *настоящее отвлеченное мышленіе*: вотъ начала, изъ которыхъ разовьется *чистое умозрѣніе*, новая наука—наша наука».

И мы скажемъ: берегъ,—но въ противоположномъ смыслѣ; для Гегеля это берегъ, къ которому приплываетъ мысль, какъ къ спокойной гавани своей, къ гавани, съ которой начинается ея царство. Мы, напротивъ, видимъ въ *новой* философіи берегъ, на которомъ мы стоимъ, готовые покинуть его при первомъ попутномъ вѣтрѣ, готовые сказать спасибо за гостепріимство и, оттолкнувъ его, плыть къ инымъ пристанямъ. Судьба новой философіи совершенно сходна съ судьбою всего реформаціоннаго: ничего стараго не оставлено въ покоѣ, ничего новаго съ основанія не воздвигнуто; на сооруженіе новыхъ зданій шелъ старый кирпичъ, и они вышли не новыя и не старыя; все реформаціонное сдѣлало огромные шаги впередъ; все было необходимо и все оставилось на полдорогѣ. Странно было бы, если бы наука этой эпохи начинаній совершила одна свое дѣло. Наука не имѣетъ силы отрѣшиться отъ прочихъ элементовъ исторической эпохи: напротивъ, она есть сознательная, развитая мысль своего времени: она дѣлитъ судьбы всего окружающаго. Она, съ своей стороны, громко протестуя противъ схоластики, всосала въ свои жилы схоластику. Чистое мышленіе—схоластика новой науки, такъ, какъ чистый протестантизмъ есть возрожденный католицизмъ. Феодализмъ пережилъ реформацію; онъ проникъ во всѣ явленія новой жизни европейской: духъ его витѣрился въ ополчавшихся противъ него: правда, онъ измѣнился, еще болѣе правда, что рядомъ съ нимъ возрастаетъ нѣчто дѣйствительно новое и мощное; но это новое, въ ожиданіи совершенполнѣтія, находится подъ опекой феодализма, живого, несмотря ни на реформацію Лютера, ни на реформацію послѣднихъ годовъ прошлаго вѣка.

¹⁾ Теперь мы можемъ сказать, что мы дома; подобно мореплавателямъ, долго носившимся по бурному морю, мы можемъ воскликнуть—земля! (Gesch. der Phil., Т. III., стр. 328, и еще тамъ же, стр. 275).

Да и какъ ему быть не живымъ? Съ чѣмъ онъ боролся до сихъ поръ? Вспомните,—съ незрѣлыми начинаніями, съ неразвитыми всеобщностями, съ частными нападками, съ поправками, дѣлаемыми внутри его собственныхъ предѣловъ. Феодализмъ грубый, прямой, замѣнился феодализмомъ раціональнымъ, смягченнымъ; феодализмъ, вѣровавшій въ себя,—феодализмомъ, защищающимъ себя, феодализмъ крови—феодализмомъ денегъ. Схоластика занимаетъ мѣсто феодализма науки: могла ли она послѣ этого быть вполне наукой, берегомъ? можно ли ждать, что человѣкъ въ ней будетъ дома?—Нѣтъ!

Дуализмъ схоластическій не погибъ, а только оставилъ обветшалый мистико-кабалистическій нарядъ и явился чистымъ мышленіемъ, идеализмомъ, логическими абстракціями; тутъ великій прогрессъ, этимъ путемъ, т. е. возводя дуализмъ во всеобщую сферу мысли, философія поставила его на лезвіе ножа, привела прямо къ выходу изъ него. Новая наука начинается съ той задачи, на которой остановилась древняя наука, съ той точки, такъ сказать, на которую древній міръ возвелъ мышленіе. Она подняла задачу древняго міра, но не рѣшила ея; она привела только къ рѣшенію ея—и остановилась, чувствуя, можетъ быть, что рѣшеніе это будетъ съ тѣмъ вмѣстѣ ея смертный приговоръ, т. е., что она изъ существующихъ дѣятельныхъ властей перейдетъ въ исторію. Гегель поступилъ, можетъ быть, откровеннѣе, нежели хотѣлъ; можетъ быть, радостныя слова «берегъ», «дома» у него вырвались невольно; этимъ восклицаніемъ онъ неразрывно сочеталъ свою судьбу съ реформаціонной наукой. Впрочемъ, стоять на одномъ берегу съ Спинозой не стыдно!

Все сказанное нами никакъ не должно закрыть всю величину переворота въ мышленіи и весь прогрессъ, пріобрѣтенный наукой чрезъ него. Со времени Декарта, наука не теряетъ своей почвы: она твердо стоитъ на самопознающемъ мышленіи, на самозаконности разума.

Философія древняя и новая философія составляютъ два великія основанія будущей науки; обѣ онѣ неполны, обѣ носили въ себѣ элементы не научные, обѣ были великими пріуготовительными моментами, безъ которыхъ, дѣйствительно, полная наука не могла бы развиться,—обѣ прошли. Вы помните, древняя философія всегда имѣла въ себѣ одинъ элементъ непосредственности, фактъ, событіе, упавшее, какъ аэролитъ, и принимаемое за истину по чувству, по довѣрію къ жизни, къ міру. Такъ она принимала самое единство бытія и мышленія; она была права въ сущности дѣла, но не права въ образѣ принятія: это было вѣрованіе, инстинктъ, тактъ истины, если хотите, но не сознательная мысль. Такой непосредственный элементъ прямо проти-

воположенъ понятію науки. Средневѣковое воззрѣніе было противодѣйствіемъ противъ непосредственности; но это его не спасло отъ того же недостатка: оно отрѣзало послѣднюю нить пуговины, прикрѣплявшей человѣка къ природѣ, и человѣкъ, совершенно обращенный внутрь міра рефлексіи, въ немъ одномъ искалъ рѣшенія вопросовъ; но этотъ міръ духовный былъ чисто личный, онъ не имѣлъ предмета. «Дѣйствительность существа, превосходно замѣтилъ Джордано Бруно, обусловлена дѣйствительнымъ предметомъ». Предметъ средневѣковаго человѣка былъ онъ самъ, какъ отвлеченная сущность; отрицать непосредственность такъ же мало наукообразно, какъ принимать ее безъ мысли. Умъ, сосредоточенный въ себѣ, занимаясь только собою, «впалъ въ сухую, жалкую схоластику и плелъ изъ себя паутину очень тонкую и узорчатую, но совершенно ненужную», какъ говоритъ Бэконъ. Довѣріе человѣка къ уму привело схоластику къ признанію дѣйствительнымъ всякой логически построенной нелѣпости, и такъ какъ у нихъ содержанія не было, то они его брали изъ фантазій, изъ психологической непосредственности, опираясь на него точно такъ, какъ эмпирикъ опирается на опытъ. Итакъ, съ одной стороны, тяжелый камень, съ другой — ужасная пустота, населенная призраками. Люди переворота увидѣли невозможность дойти до чего-либо схоластикой и возненавидѣли ее; но отрицаніе схоластики не есть еще чиноположеніе новой науки; поэтическое провидѣніе Джордано Бруно — такъ же мало наука, какъ дерзкія отрицанія Ванини. Первая необходимая задача, вопросъ, отъ котораго мыслящей головѣ нельзя было отвернуться, состоялъ въ разрѣшеніи мысленіемъ отношенія самого мышленія къ бытію, къ предмету, къ истинѣ вообще. И дѣйствительно, съ этимъ вопросомъ на устахъ является новая наука въ міръ. Отецъ ея, безъ сомнѣнія, Декартъ. Значеніе Бэкона совсѣмъ иное: о немъ послѣ.

Декартъ долго занимался науками такъ, какъ онѣ преподавались въ его время; потомъ бросилъ книги: онѣ ему не разрѣшили ни одного сомнѣнія, не удовлетворили его ни въ чемъ. Онъ такъ же ясно, какъ Бэконъ, увидѣлъ, что старый корабль средневѣковой жизни тонетъ и разрушается, не спорилъ съ его лоцманами, какъ дѣлали его предшественники, а бросался въ море, чтобъ достигнуть новаго берега. И такъ же, какъ Бэконъ, онъ рѣшился *начать съ начала*, начать совершенно свободно въ средѣ мышленія. Много надобно было твердости, чтобъ дерзнуть и на этотъ разрывъ съ былымъ, и на это воздвиженіе новаго. Декартъ, мучимый неувѣренностью, а, можетъ быть, и совѣстью, съ посохомъ паломника въ рукѣ, ходилъ къ лоретской Богіей Матери просить ея помощи въ началомъ трудѣ, и тамъ, распростертый

передъ нею, молился примирить его сомнѣнія. Приступъ Декарта къ дѣлу—величайшая заслуга его; дѣйствительное и вѣчное начало наукообразнаго развитія онъ начинаетъ съ безусловнаго сомнѣнія—вовсе не для того, чтобъ все истинное отвергнуть, а для того, чтобъ все истинное оправдать, но оправдать, освободивъ себя. Когда онъ поднялся въ страшно изрѣженную среду, въ которую не впустилъ ничего впередъ идущаго, когда въ этомъ мракѣ, въ которомъ все исчезло, кромѣ его самого, онъ сосредоточился въ глубинѣ духа своего, сошелъ внутрь своего мышленія, повѣрялъ свое сознаніе,—у него вырвалось изъ груди знаменитое подтвержденіе своего бытія: *cogito, ergo sum* (я мышлю, слѣдовательно существую). Отсюда неминуемо должно развиваться единство бытія и мышленія; мышленіе дѣлается аподиктическимъ доказательствомъ бытія; сознаніе сознаетъ себя неразрывнымъ съ бытіемъ,—оно невозможно безъ бытія. Вотъ программа всей будущей науки; вотъ первое слово возрѣнія, котораго послѣднее слово скажетъ Спиноза; вотъ тема, которую наукообразно разовьетъ Гегель. *Nosce te ipsum* и *Cogito, ergo sum*—два знаменитые лозунга двухъ наукъ, древней и новой. Новая исполнила совѣтъ древней, и *Cogito, ergo sum* отвѣтъ на *Nosce te ipsum*. Мышленіе—дѣйствительное опредѣленіе моего я. Но всѣ силы Декарта были потрачены на этотъ силлогизмъ, кажется, такъ простой, и который даже совѣтъ не силлогизмъ. Устрашенный величіемъ своего начала, глубиной своего разрыва съ былымъ и настоящимъ, онъ качается, хватается за клочья стараго; прошедшее проникаетъ въ его душу; въ немъ схоластика, уже ослабѣвающая, падающая, снова воскресаетъ сильною и преображенною. Онъ подобенъ квакерамъ, пріѣхавшимъ въ Пенсильванію и перевезшимъ въ груди своей чрезъ океанъ старый бытъ, который и развился въ новомъ государствѣ. Признавъ сущностью своей одно мышленіе, неразрывно связанное имъ съ бытіемъ, Декартъ растолкнулъ мышленіе и бытіе, онъ принялъ ихъ за двѣ разныя сущности (мышленіе и протяженіе). Вотъ и дуализмъ, вотъ и схоластика, возведенная въ логическую форму. Чувствуя неловкость, онъ бросается въ формальную логику. Для него доказательство рациональное (въ мышленіи)—полное право на дѣйствительность, на истину; а истина должна доказываться не однимъ мышленіемъ, а мышленіемъ и бытіемъ. Эрдманъ ¹⁾, добросовѣстный нѣмецкій ученый, совершенно справедливо замѣтилъ, что Декартъ не могъ миновать такого развитія, иначе онъ не жилъ бы въ то время, въ которое жилъ. Его дѣло было—поднять знамя протестантизма въ наукѣ, провозгласить новый путь, провозгласить мышленіе исчер-

¹⁾ *Erdmann. Versuch einer Geschichte der neuern Philosophie. 1840 — 42. 1 Th. Descartes.*

пывающимъ опредѣленіемъ человѣка. Подвигъ, достаточный для одной личности! Отъ проницательности Декарта не ускользнуло, что мышленіе и бытіе совершенно распадаются у него, что нѣтъ моста отъ одного къ другому, что это—равнодушныя, самодовольнощія два: онъ понялъ и то, что, доколѣ они останутся сущностями, помочь нѣтъ, ибо сущность потому и сущность, что она сама себя довольтъ. Декартъ принимаетъ (но не выводитъ) высшее единство, связующее противопоставленные моменты; мышленіе и протяженіе въ отношеніи къ верховному существу представляютъ атрибуты его, его разныя проявленія. Какъ дошелъ онъ до этого единства? *Врожденными идеями*. Стало-быть, его протестація противъ всякаго содержанія была неглубока! Психическая, неподлежащая логикѣ непосредственность проторгается, съ принятіемъ врожденныхъ идей, въ его науку. Декартъ, такимъ образомъ, сдѣлался въ одно и то же время величайшимъ и послѣднимъ оплотомъ схоластики; въ немъ схоластика преобразилась въ идеализмъ, въ трансцендентный дуализмъ, отъ котораго гораздо труднѣе было отдѣлаться, нежели отъ католической схоластики. Мы увидимъ живучесть схоластическаго элемента во всю эпоху новой философіи до сегодняшняго дня. Наука протестантизма могла только быть такая; если были нныя требованія, нныя симпатіи, болѣе дѣйствительныя — они не были наукообразны; она, начиная отъ Декарта, выработала методу, проложила дорогу, по которой изъ нея выйдуть, дорогу, по которой она сама потому не проѣхала, что ей нѣчего было везти.

Декартъ, умъ чисто математическій и отвлеченный, исключительно механически разсматривалъ природу; что-то суровое и аскетическое мѣшало ему понимать все живое. Строгая, геометрическая діалектика его беспощадна; онъ былъ идеалистъ по внутреннему строенію души. Бытіе, матерію онъ понималъ какъ *протяженіе*. «Отъ всѣхъ другихъ свойствъ, говоритъ онъ, матерію можно отвлечь, но не отъ протяженія: оно одно ей существенно». Качество уступило мѣсто болѣе вышнему опредѣленію предмета—количеству; для математики растворились всѣ двери въ естествовѣдѣніе, все подчинилось механическимъ законамъ, и вселенная сдѣлалась снарядомъ движущагося протяженія ¹⁾. Надобно замѣтить, впрочемъ, что, въ началѣ XVII вѣка, интересъ естествовѣдательнаго мышленія былъ вообще поглощенъ астрономіей и механикой; величайшія открытія совершались тогда въ обѣихъ отрасляхъ; это механическое воззрѣніе, начинающееся съ Галилея и достигнувшее полноты своей въ Ньютоу, почти ничего не при-

¹⁾ Объ этомъ болѣе въ слѣдующемъ письмѣ.

несло конкретнымъ отраслямъ естествовѣдѣнія; вліяніе его было благотворно (разумѣется, сверхъ астрономіи и механики)—только въ физикѣ. Декартовы понятія о природѣ, которыя, по закону возмездія, до того были идеалистически спиритуальны, что перегибались въ грубѣйшій механизмъ и матеріализмъ (что тогда же замѣтили особенно англійскіе и итальянскіе физики), почти не имѣли никакого вліянія на естественныя науки.

«Внимательно разсматривая, говоритъ Декартъ, мы увидимъ, что сущность вещества и тѣла состоитъ только въ томъ, что они имѣютъ протяженіе въ длину, ширину и глубину. Можетъ быть, тѣла не таковы, какъ намъ кажутся, можетъ, они обманываютъ наши чувства; но въ нихъ несомнѣнно истинно то, что я ясно, отчетливо понимаю и могу вывести умомъ; потому-то я признаюсь, что другой сущности тѣлесныхъ вещей, кромѣ геометрической величины, всячески дѣлимой, движимой и способной имѣть форму, я не принимаю, и ничего не разсматриваю въ матеріи, кромѣ дѣлимости, очертанія и движенія. Изъ математическихъ законовъ, опредѣляющихъ неотъемлемыя свойства бытія, все физическое объясняется и выводится съ величайшей строгостію; не думаю, чтобъ физикѣ нужны были иныя основанія». Въ матеріи, лишенной качествъ своихъ, понимаемой такимъ образомъ, нѣтъ внутренней силы; матерія Декарта — виртуальная пустота, нѣчто мертво-косное,—ему всегда надобно будетъ прибѣгать къ вѣншей силѣ. «Матерія во всей вселенной одна; всѣ перемѣны формъ имѣютъ свое основаніе въ движеніи. Движеніе есть дѣятельность, вслѣдствіе которой вещество изъ одного мѣста переходитъ въ другое,—перемѣщеніе частей тѣла относительно близъ лежащихъ. Движеніе и покой представляютъ разныя состоянія вещества: для движенія не болѣе силы надобно, какъ и для покоя. Надобно равно усиліе, чтобъ двинуть тѣло и чтобъ остановить его. Надобно усиліе для того, чтобъ остаться въ покоѣ. Отдаленіе тѣла есть обоюдное дѣйствіе; оба тѣла дѣятельны—одно, оставаясь на своемъ мѣстѣ, другое, отдаляясь (сила инерціи). Движеніе зависитъ отъ двигаемаго, а не отъ движущаго; нельзя сообщить движеніе одному тѣлу, не разрушивъ равновѣсія другихъ тѣлъ; отсюда дѣльныя системы движенія и сложность ихъ. Причина движенія—Богъ. За симъ идутъ общія механическія основанія динамики. Все сущее состоитъ изъ маленькихъ тѣлъ (*corpuscula*) и ихъ измѣненій въ величинѣ, мѣстѣ, сочетаніяхъ и переложеніяхъ. Жизнь органическая — одинъ ростъ, т. е. приращеніе чрезъ полученіе постороннихъ частицъ. Декартъ далъ физикамъ опасный примѣръ прибѣгать къ личнымъ гипотезамъ тамъ, гдѣ не достаетъ пониманья; такъ напримѣръ, движеніе небесныхъ тѣлъ онъ объяснялъ вихремъ, крутящимъ ихъ около солнца; стараясь математически

вывести всѣ явленія планетной жизни, онъ дѣлаетъ гипотезы, въ которыхъ самъ не увѣренъ *quamvis ipsa nunquam sic orta esse* ¹⁾; принимая тѣло совершенно постороннимъ духу, Декартъ никогда не могъ возвыситься до понятія жизни: свои фізіологическія изысканія начинаетъ разсматриваніемъ тѣла, «какъ будто духа въ немъ нѣтъ». Но что же это за живое тѣло? кто ему далъ право такъ разсматривать его? Отсюда совершенно естественно предположеніе его, что тѣло—статуя или машина, сдѣланная изъ земли. «Если часы имѣютъ способность идти, то нѣтъ ничего труднаго понять, что и человѣкъ двигается, будучи такъ устроенъ». За симъ анатомическій и фізіологическій разборъ тѣла, натянутый и наводящій какое-то уныніе. Декартъ, должно быть, самъ чувствовалъ, что всего не выведешь механически въ животномъ тѣлѣ, усердно занимался зоотоміей, но, какъ всѣ систематики, былъ глухъ къ голосу истины и гнулъ факты, какъ хотѣлъ; наприм., онъ объясняетъ крикъ собаки, какъ простую реакцію *этой машины* противъ дѣйствія палки. Если-бъ была машина, говорить онъ, устроенная внутри и снаружи, какъ обезьяна или другой звѣрь, то не было бы возможности понять различіе между ними. Одинъ человѣкъ не машина, потому что онъ имѣетъ языкъ, разумъ—душу. Разумная душа хотя и тѣсно связана съ тѣломъ, но насильственно, ибо она совершенно ему противоположна. Хотя душа собственно соединена со всѣмъ тѣломъ, однако главное жилище ея въ мозгу, и именно въ *одной железнѣ* (Glandula Conarion), въ срединѣ большого мозга (между прочимъ потому, что остальныхъ частей въ мозгу по парѣ; слѣдовательно, недѣлимая душа въ нихъ не иначе могла бы быть, какъ преимущественно въ одной части предъ другою). Могъ ли бы этотъ пустой вопросъ возникнуть, если-бъ Декартъ сколько-нибудь понималъ жизнь организма? Онъ органы животного считаетъ *только* механическимъ снарядомъ, приводимымъ въ движеніе непонятной силой. Движеніе невозможно, если вещественность только нѣмое, недѣятельное, страдательное наполненіе пространства; но это совершенно ложно: вещество носитъ само въ себѣ отвращеніе отъ тупого, безсмысленнаго, страдательнаго покоя; оно раздѣдаетъ себя, такъ сказать, *бродитъ* ²⁾, и это броженіе, развиваясь изъ формы въ форму, само отрицаетъ свое протяженіе, стремится освободиться отъ него,—освобождается, наконецъ, въ сознаніи, сохраняя бытіе.

1) Впрочемъ, можетъ быть, такіа фразы официальная оговорка въ родѣ тѣхъ, которыя употреблялись Коперникомъ и даже Ньютономъ.

2) Современники Декарта замѣтили мертвенность его вещества. Генрихъ Морусъ писалъ ему письмо, въ которомъ называетъ вещество *темной жидкостью*, *materia utique vitam esse quandam obscuram, nec in sola extensione partium consistere, sed in aliquanti semper actione*. R. Des. Epist. I. Ep. 4. XX.

Понятіе вещества не исчерпывается протяженіемъ; протяженіе недѣятельное, недвижимое взаимодействіемъ своимъ, — такое же отвлеченіе, какъ мышленіе безъ тѣла: это противоположные, крайніе моменты жизни.

Декарту было одно великое призваніе—*начать* науку и дать ей *начало*; онъ только для постановленія начала и могъ на минуту удержать напоръ схоластики и дуализма; какъ только онъ произнесъ свое Cogito, ergo sum—плотины были прорваны. Онъ началъ съ протестаціи противъ средневѣковой науки, но она была уже въ его жилахъ,—онъ далъ ей сильнѣйшую опору, онъ оправдалъ ее наукообразно. Но не всѣ требованія ума того времени выразились чисто наукообразно; мы видѣли это очень ясно по Бему. Во Франціи, напимѣръ, гораздо ранѣе Декарта образовалось особое, практически философское воззрѣніе на вещи, не наукообразное, не имѣющее произнесенной теоріи, не покоренное ни одному абстрактному ученію, ни чьему авторитету,—воззрѣніе свободное, основанное на жизни, на самомышленіи и на отчетѣ о прожитыхъ событіяхъ, отчасти на усвоеніи, на долгомъ, живомъ изученіи древнихъ писателей; воззрѣніе это стало просто и прямо смотрѣть на жизнь, изъ нея брало матеріалы и совѣтъ; оно казалось поверхностнымъ, потому что оно ясно, человѣчно и свѣтло. Германскіе историки отзываются о немъ съ пренебреженіемъ, съ Vornehmthuerei, можетъ быть, потому, что это воззрѣніе захватило отъ жизни ея неуловимость въ одну формулу; можетъ быть, потому, что оно говорило довольно понятнымъ языкомъ и часто занималось вопросами обыденной жизни. Воззрѣніе Монтеня, между тѣмъ, имѣло огромное вліяніе; впоследствии, оно развилось въ Вольтера и энциклопедистовъ; Монтень былъ въ нѣкоторомъ отношеніи предшественникъ Бэкона, а Бэконъ — геній этого воззрѣнія.

Противоположность Бэкона съ Декартомъ рѣзка; у Декарта была метода, но не было дѣйствительнаго содержанія, кромѣ формальной способности мышленія: у Бэкона было эмпирическое содержаніе in crudo, но не было науки, т. е. оно не было вполне усвоено ему, именно потому что не пришло то время, въ которое дѣйствительно содержаніе могло быть такъ понято мышленіемъ, чтобъ развернуться въ наукообразной формѣ. Протестъ Декарта былъ сдѣланъ отъ теоріи, отъ чистаго мышленія; протестъ Бэкона—отъ того непокорнаго элемента жизни, который, улыбаясь, смотритъ на всѣ односторонности и идетъ своей дорогой. Результатъ средневѣковой жизни—этого міра ненавидящихъ исключительностей и насильственного расторженія—долженъ былъ явиться раздвоеннымъ, двуглавымъ. Каждая сторона, выходя изъ односторонняго и прямо противо-

положнаго опредѣленія идеи, была далека отъ пониманья, что для истины равно нужны оба опредѣленія; каждая шла отъ своихъ началъ: начало Декарта—отвлеченное мышленіе, онъ хотѣлъ науку а priori; начало Бэкона—опытъ, для него истина только та, которая получена а posteriori. Вопросъ о мышленіи и бытіи Декартъ хотѣлъ рѣшить отвлеченно, трансцендентально, логически; Бэконъ—въ живыхъ областяхъ опыта и наблюдений. У обоихъ мысль совершенно освобождена въ началѣ; но одинъ не можетъ оторваться отъ абстракцій, а другой отъ природы: Декартъ все основываетъ на силлогизмѣ, принявъ за начало не силлогизмъ; Бэконъ не хотѣлъ силлогизмовъ, онъ хотѣлъ одного наведенія, какъ будто наведеніе не силлогизмъ. Одинъ все уничтожилъ, кромѣ мышленія, все отвергнулъ и съ одной вѣрой въ мысль шелъ на созданіе науки. Другой отправился отъ чувственной достовѣрности, отъ вѣры въ фактъ, отъ довѣрія къ великому посредству между природой и умозрѣніемъ, то есть къ наблюденію. Одинъ потерялъ и землю и небо при самомъ началѣ; другой обѣими ногами стоялъ на землѣ, уцѣпился за явленіе, и по внѣшности, по корѣ дошелъ до великихъ и многообъемлющихъ мыслей. Одинъ хотѣлъ физику подчинить математикѣ; другой математику называетъ служанкой физики. Одинъ видитъ въ матеріи только количественное опредѣленіе и думаетъ, что вещество можно отвлечь отъ качества; другой занимается однимъ качественнымъ опредѣленіемъ предмета, хотъ и зналъ мѣсто количественнаго опредѣленія. Оба, наконецъ, соединенные жгучей ненавистью къ схоластикѣ, не понимаютъ и бранятъ Аристотеля и всѣхъ древнихъ; они обернули умы современниковъ, обращенные назадъ, и указали имъ впередъ; схоластика достигала прошлаго, Бэконъ заговорилъ о прогрессѣ и будущемъ; оба имѣли свои односторонности.

Впрочемъ, Бэкона обвинить въ односторонности трудно. Бэконъ хотѣлъ, какъ онъ самъ говоритъ, науки дѣятельной, живой, науки о природѣ и изъ природы. Онъ хотѣлъ такой науки, которая была бы перегнана наблюденіемъ и обдумываніемъ изъ фактовъ во всеобщую мысль. Имѣя это въ предметѣ, онъ на все обращалъ взглядъ прямой и свѣтлый съ цѣлью узнать, разобрать, а не для того, чтобъ поймать въ силки систематики и затянуть узелъ. Онъ очень часто начинаетъ съ односторонности и достигаетъ результатовъ самыхъ многостороннихъ. Онъ чрезвычайно добросовѣстенъ, не дѣлаетъ изъ вопроса науки личнаго вопроса; онъ покоряется объективности истины; у него огромная ученость; онъ безпрестанно подъ вліяніемъ своей памяти; все предшествующее историческое развитіе ему присуще. Ненавидя греческую науку и Аристотеля, онъ мастерски ссылается

на нихъ и пользуется ими. Вовсе не поэтъ, онъ превосходно толкуетъ греческіе мѣны. Нельзя себѣ представить странное ощущеніе, когда, перечитывая или перелистывая средневѣковыхъ схоластиковъ, потомъ философовъ теоретической эмансипаціи, вдругъ доходишь до Бэкона. Помните ли вы, напримѣръ, какъ въ эпоху мечтательной юности, когда теорія смѣняется теоріей, когда вѣра въ себя и друзей безгранична, когда въ мечтахъ перестраивается наука и міръ и когда восторженные рѣчи поддерживаютъ поэтическое опьянѣніе,—вдругъ является откуда-нибудь человѣкъ практическій, дѣйствительно знающій жизнь, знающій, что на отвлеченіяхъ далеко не уѣдешь, что перевороты въ наукѣ и въ исторіи дѣлаются не такъ-то легко? Помните ли вы, какъ сильно дѣйствовало появленіе такого человѣка, какъ сначала вы отталкивали скептическую и холодную мысль его, устранные ея, а потомъ начинали краснѣть своихъ мечтаній, подчинялись пришелицу, ловили его слова, выдавали ему заповѣднѣйшія упованія за наторѣлый, изъ жизни выстроенный взглядъ его, который вамъ казался непогрѣшающимъ. Этотъ практическій пришлецъ—Бэконъ, и, вѣроятно, случалось съ вами и то, что когда мало по малу вы найдете въ новомъ воззрѣніи, разсмотрите ближе, то вспомните и о своихъ мечтахъ; онѣ, конечно, мечты, но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ была такая ширина, которую жаль отдать за практическую мудрость; все это повторяется, переходя отъ энергическихъ реформаторовъ къ спокойному Бэкону. Это не тревожная, не огненная натура Джордано, не бѣснующійся Карданъ, не эти скитальцы, томимые мыслию, бездомные бродяги, разносившіе съ собою по всеѣмъ большимъ дорогамъ Европы восходящее сознаніе и умственную дѣятельность, не эти гонимые труженики, падавшіе часто на пути отъ внутренняго разлада и вѣшнихъ страданій,—нѣтъ, это ищетъ человѣкъ спокойный, человѣкъ огромнаго ума и огромнаго опыта, канцлеръ, привыкнувшій къ государственнымъ дѣламъ, пэръ, не имѣющій занятія, потому что вычеркнуть изъ списка пэрровъ... Въ душѣ этого человѣка, послѣ разрушительнаго огня самолюбія, честолюбія, власти, почести, богатства, неудачъ, тюрьмы, униженій—все выгорѣло; но гениальный умъ остался, да осталось еще воображеніе настолько охлажденное, подвластное разуму, что оно смѣло призывалось имъ бросать пышные цвѣты поэтической рѣчи по царственному пути его ясной, широкой мысли.

Въ сочиненіяхъ Бэкона, съ самаго начала поражаетъ необычайная смѣтливость, дѣльность, практическая рѣзкость и удивительная многосторонность. Бэконъ изошрилъ свой умъ обществственными дѣлами; онъ на людяхъ выучился мыслить. Декартъ прятался отъ людей то въ парижскія предмѣстья, то въ Голлан-

дію; ему люди мѣшали заниматься. Оттого съ Декарта начинается чистое мышленіе, а съ Бэкона—физическія науки; идеализмъ Декарта остался при дуализмѣ; въ мышленіи Бэкона находилось демоническое начало, съ которымъ схоластика часу ужиться не могла. Бэконъ начинаетъ такъ же, какъ и Декартъ, съ отрицанія существующей, готовой догматики, но у него это отрицаніе не *логическій маневръ*, а практическая поправка; отрицаніе Бэкона поставило человѣка, освободивъ его отъ схоластики, передъ природой; ея самозаконность онъ призналъ съ самаго начала; еще болѣе, онъ хотѣлъ ея *очевидной* объективности покорить своевольную мысль, поврежденную схолистическимъ высокомѣріемъ (Декартъ, совсѣмъ напротивъ, поставилъ природу hors la loi своимъ а priori). Бэконъ скромно указалъ на эмпирію какъ на начальную степень знанія, какъ на средство по явленію, по факту добраться до той всевязующей сущности, изъ которой Декартъ стремился вывести явленія. Они работали другъ другу въ руки, и если ни они, ни ихъ послѣдователи не встрѣтились, то это не отъ внутренней непримиримости, а оттого, что ни идеализмъ, ни эмпирія не были развиты ни до истинной методы, ни до дѣйствительнаго содержанія. Лейбницъ называетъ картезіанизмъ «сѣнями истины»; мы можемъ по всей справедливости назвать бэконовскую эмпирію—ся кладовою.

О богатствѣ и недостаткахъ этой кладовой мы поговоримъ въ слѣдующемъ письмѣ ¹⁾.

Село Соколово.—Іюнь 1845 г.

¹⁾ Бэкона необходимо читать самому: у него вездѣ неожиданно, незначай встрѣчаеи мысли поразительной вѣрности и ширины.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

Бэконъ и его школа въ Англіи.

Основная мысль Бэкона до того проста для насъ, что съ перваго взгляда мудрено понять всю ея важность. Мы не разъ имѣли случай замѣчать, что чѣмъ глубже проникаетъ наука въ дѣйствительность, тѣмъ простѣйшія истины открываются ею, — тутъ открываются ей такія истины, которыя *сами собою развиваются*; ихъ простота, какъ простота естественныхъ произведеній, понятна или безыскусственному, *прямому* возрѣнію человѣка, не распадавшагося съ природой, или много трудившемуся разуму, который, въ награду за свой трудъ, освобождается отъ готовыхъ понятій, отъ предварительныхъ полуистинъ; человѣчество вырабатывается до простыхъ истинъ тысячелѣтіями, усиліями величайшихъ геніевъ; истины замысловатыя были во всякое время. Для того, чтобъ возвратиться къ простотѣ пониманья, надобно совершить весь феноменологическій процессъ и снова стать въ естественное отношеніе къ предмету. Практическая, обыденная истина кажется пошлою; все видимое нами *вблизи и часто* представляется не заслуживающимъ вниманія; намъ надобно далекое *il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre*. Чѣмъ меньше знаетъ человѣкъ, тѣмъ больше презрѣнія къ обыкновенному, къ окружающему его. Разверните исторію всѣхъ наукъ, — онѣ непременно начинаются не наблюденіями, а магіей, уродливыми, искаженными фактами, выраженными іероглифически, и оканчиваются тѣмъ, что обличаютъ сущностью этихъ тайнъ, этихъ мудреныхъ истинъ, истины самыя простыя, до того извѣстныя и обыкновенныя, что объ нихъ вначалѣ никто и думать не хотѣлъ. Въ наше время еще не совсѣмъ искоренился предрасудокъ, заставляющій ожидать въ истинахъ науки чего-то необыкновеннаго, *недоступнаго толпѣ*, неприлагаемаго къ жалкой юдоли нашей жизни. До Бэкона такъ думали всѣ, и онъ смѣло возсталъ противъ этого. Дуализмъ, истощенный въ предшествовавшую эпоху, перешелъ въ какое-то тихое и безнадежное безуміе въ мірѣ протестантскомъ, — Бэконъ указалъ на пустоту кумировъ и идоловъ, которыми была биткомъ набита наука его времени, и требовалъ, чтобъ люди отрелись отъ нихъ, чтобъ они возвратились къ дѣтски простому отношенію, къ природѣ.

Нелегко было возвратиться къ естественному пониманію умамъ, искаженнымъ схоластикой. Сжатый, подавленный умъ средне-

вѣковыхъ мыслителей питать подъ скромной власяницей своей формалистики безумно гордое притязаніе на власть; не истинное, не святое право разума и нераздѣльная съ нимъ мощь мысли правилась имъ, — нѣтъ, они стремились къ покоренію естественныхъ явленій своевольному капризу, къ произвольному ниспроверженію законовъ природы. Люди отвлеченные, книжные, затворники, они не знали ни природы, ни жизни, и между тѣмъ, и природа и жизнь ихъ страшили чѣмъ-то невѣдомымъ, полнымъ мощи, увлекающимъ; повидимому, они презирали и ту и другую, но это была одна изъ безчисленныхъ лжей того времени: они понимали, что нелегко совладѣть съ природой и со всѣмъ безграничнымъ властолюбіемъ скованнаго невольника стремились покорить ее своему духу. Благородный интересъ знанія превращался, въ ихъ душѣ, въ нечистое уношеніе своею властью, такъ, какъ кроткое чувство любви въ душѣ Клода Фролло превращалось въ ядовитый порокъ. Посмотрите на алхимика передъ его горномъ, — на этого человѣка, окруженнаго магическими знаками и страшными снарядами: отчего эта блѣдность щекъ, этотъ судорожный видъ, это трепетное дыханіе? Оттого, что въ этомъ человѣкѣ не цѣломудренная любовь къ истинѣ, а сладострастное пытаніе, насиліе; оттого, что онъ *дѣлаетъ* золото, гомункула въ ретортѣ. Объективность предмета ничего не значила для высокоумнаго эгоизма среднихъ вѣковъ; въ себѣ, въ сосредоточенной мысли, въ распыленной фантазіи находить человѣкъ весь предметъ, а природа, а событія призывались какъ слуги, *помочь въ случаѣ нужды и выйти вонъ*. Реформація не могла исторгнуть людей изъ этого направленія; она еще болѣе толкнула умы въ отвлеченныя сферы; она придала католической наукѣ, подчасъ страстной и энергической, какую-то холодную и мертвую обдуманность; протестантизмъ, вмѣсто сердца, развилъ свой томный и слезливый Gemüth. Самый эксцентрическій, самый уродливый мистицизмъ быстро распространялся въ Швеціи, Англіи и Германіи, рядомъ съ совершенно формальнымъ теологическимъ направленіемъ пуританизма, пресвитеріанизма, образцы которыхъ вы имѣете въ «Вудстокъ» и въ «Шотландскихъ Пуританахъ».

Среди всего этого явился человѣкъ, который сказалъ своимъ современникамъ: «Посмотрите внизъ; посмотрите на эту природу, отъ которой вы силитесь улетѣть куда-то; сойдите съ башни, на которую взобрались и откуда ничего не видать; подойдите поближе къ міру явленій,—изучите его. Вы, вѣдь, не убѣжите изъ природы: она со всѣхъ сторонъ, и ваша мнимая власть надъ ней — самообольщеніе; природу можно покорить только ея собственными орудіями, а вы ихъ не знаете; обуздайте же избалованный

легкой и бесплодной логомахіей умъ вашъ настолькоъ, чтобъ онъ занялся дѣломъ, чтобъ онъ призналъ несомнѣнное событіе васъ окружающей среды, чтобъ онъ склонился предъ повсюднымъ вліяніемъ природы,—и начинайте, проникнутые уваженіемъ и любовью, трудъ добросовѣстный». Многіе, услышавъ слова эти, отложили бесполезное блужданіе по схоластическимъ топямъ словъ и дѣйствительно принялись за работу самоотверженно; съ легкой руки Бэкона началось движеніе въ физическихъ наукахъ, движеніе, развившееся потомъ до Ньютона, Липнея, Бюффона, Кювье... Другіе съ негодованіемъ услышали странную рѣчь веруламскаго лорда, и злоба ихъ была такъ спльна, что черезъ двѣсти лѣтъ графъ Местръ счелъ еще нужнымъ *уничтожить* Бэкона и показать, что ненависть къ нему еще жива въ *любящихъ* сердцахъ обскурантовъ. Но въ чемъ же существенная мысль бэконова ученія?

До Бэкона наука начиналась общими мѣстами; откуда брались эти общія мѣста,—никто не зналъ: схоластическая наука думала, что Кай смертенъ, *потому*, что человѣкъ смертенъ. Бэконъ сталъ доказывать совсѣмъ напротивъ, что мы въ правѣ сказать: человѣкъ смертенъ, потому что Кай смертенъ. Тутъ не перестановка словъ, а нѣчто побольше. Событіе, эмпирическое событіе, получило право первой посылки, логическое *anterioritatis*. Вы видите тутъ главный пріемъ Бэкона: онъ состоитъ въ томъ, чтобъ идти отъ частнаго, отъ опыта, отъ наблюдаемаго событія къ обобщенію, взаимнымъ сличеніемъ между собою всего полученнаго сознаниемъ. Опытъ у Бэкона не есть страдательное восприниманіе виѣшняго во всей случайности его; напротивъ, онъ сознательное взаимодействіе мысли и виѣшняго, ихъ совокупная дѣятельность, при развитіи которой Бэконъ не позволяетъ ни мысли забѣгать, дѣлая заключенія, на которыя она не имѣетъ еще права, ни опытамъ оставаться механической грудой свѣдѣній, «не пережженныхъ мыслию». Чѣмъ обширнѣе и богаче сумма наблюдений, тѣмъ незыблемѣе право раскрывать общія нормы наведеніемъ; но, раскрывая ихъ, недовѣрчивый, осторожный Бэконъ требуетъ снова погруженія въ потокъ явленій, на поискъ или обобщающаго подтвержденія, или ограничивающаго опроверженія.

До Бэкона опытъ былъ случайностью; на немъ основывались даже меньше, чѣмъ на преданіи, не говоря уже объ умозрѣніи. Онъ возвелъ его и въ необходимый, начальный моментъ вѣдѣнія, и въ моментъ, сопутствующій потомъ всему развитію знанія,—въ моментъ, предлагающій на каждомъ шагѣ повѣрку, останавливающій своей опредѣленной непреложностью, своей конкретной многосторонностью, наклонность отвлеченнаго ума подниматься въ из-

рѣженную среду метафизическихъ всеобщностей. Бэконъ столько же вѣрилъ разуму, сколько природѣ, но онъ болѣе всего вѣрилъ, когда они заодно, потому что провидѣлъ ихъ единство. Онъ требовалъ, чтобъ разумъ выходилъ на дорогу, опираясь на опыты, рука въ руку съ природой; чтобъ природа вела его, какъ своего питомца, до тѣхъ поръ, пока онъ въ состояніи вести ее къ полному просвѣтленію въ мысли.

Это было ново, чрезвычайно ново и чрезвычайно велико; это было воскресеніе реальной науки, *instauratio magna*. Бэконъ имѣлъ полное право дать это заглавіе своей книгѣ: его книгой началось великое возрожденіе науки. Хотя онъ и говоритъ: «мое твореніе принадлежитъ не столько моему духу, сколько духу времени», но честь и хвала тому первому, въ которомъ воплощается духъ времени и которымъ онъ передается; двойная хвала, если онъ сознаетъ себя только органомъ духа времени, а не личностью, стремящейся подавить собою современниковъ! Эта скромность не мѣшала, однако-жъ, Бэкону чувствовать мощь свою. Когда онъ началъ свой трудъ, наука, по всѣмъ отраслямъ ея, была въ самомъ жалкомъ положеніи; Бэконъ безбоязненно потребовалъ передъ свой судъ всю современную систему свѣдѣній, въ ея готическомъ нарядѣ, и осудилъ ее. Помните, кто-то сравнилъ его съ полководцемъ, дѣлающимъ смотръ войскамъ; да, именно, это спокойный вождь, осматривающій передъ боемъ полки свои. Всѣ отрасли вѣдѣнія человѣческаго прошли мимо его, и онъ осмотрѣлъ каждую, каждой указалъ ея недостатки, каждой далъ совѣтъ, и все это съ той простотой генія, которому такое самоуправство потому естественно, что онъ довлѣетъ своею мощью исполнить то, что хочетъ. Не думайте, что Бэконъ ограничился однимъ общимъ указаніемъ на опыты и наведеніе; онъ развертываетъ свою методу до малѣйшихъ подробностей, учитъ примѣрами, толкуетъ, объясняетъ, повторяетъ свои слова, чтобъ только достигнуть ясности, и тутъ на каждомъ шагу вы поражены богатыми средствами этого ума, страшной по тому времени ученостью и совершенной противоположностью средневѣковой манерѣ. Даже въ веселомъ тонѣ его, въ улыбкѣ, которая иногда пробивается сквозь самую серьезную матерію, вы видите что-то наше, безъ ходуль, безъ докторской шапки, безъ натянутой важности схоластиковъ.

Метода Бэкона не болѣе, какъ личное (субъективное) и внѣшнее предмету средство пониманія. Онъ самъ разомъ выразилъ и глубоко практическій характеръ своего воззрѣнія и субъективность своей методы слѣдующими словами: «Достоинство хорошей методы состоитъ въ томъ, что она *уравниваетъ способности*; она вручаетъ всѣмъ средство легкое и вѣрное. Дѣлать кругъ отъ руки трудно, надобно навѣкъ и проч.: циркуль стираетъ разли-

чіе способностей и даетъ каждому возможность дѣлать кругъ самый правильный». Съ логической точки, это глубоко человѣческое воззрѣніе, конечно, не оправдано, но тѣмъ не менѣе его метода имѣетъ огромный, исторически объективный смыслъ; впрочемъ, и въ ней, какъ вообще въ реализмѣ, философскаго значенія все-таки болѣе, чѣмъ высказано словами. Бэконъ приковалъ своей методой науку къ природѣ, такъ что философія и естествовѣдѣніе должны или вмѣстѣ стоять, или вмѣстѣ идти; это было фактическое признаніе единства мысли и бытія. Эмпирія Бэкона проникнута, оживлена мыслию,—это всего менѣе оцѣнили въ немъ. Не изъ ограниченности держится онъ одного опыта, а потому что онъ считаетъ его началомъ, первой ступенью, которую миновать нельзя; для него опытъ—средство раскрытія «вѣчныхъ и неизмѣнныхъ формъ природы», а форму онъ опредѣляетъ всеобщимъ, родомъ, идеей, но не отвлеченной идеей, а какъ *fons emanationis*, какъ *natura naturans*, какъ животворящее начало, исполняющееся частными опредѣленіями предмета, какъ источникъ, изъ котораго истекають его различія, его свойства, источникъ, нерасторгаемый съ самою вещью. Субъективный эмпиризмъ у Бэкона больше на словахъ, въ неловкости языка, въ реакціонномъ страхѣ сближенія съ схоластикой; но не надобно забывать, что такой человѣкъ не могъ не выработаться не только до того, что лежитъ въ его методѣ, но и до многого, чего строго вывести по его методѣ нельзя. Декартъ далеко выше Бэкона методою, и далеко ниже результатомъ, потому что Декартъ абстрактный человѣкъ. Конечно, на Бэкона падетъ доля односторонности, въ которую впала большая часть его послѣдователей; но онъ самъ былъ далекъ отъ грубой эмпиріи. Вотъ его слова:

«Эмпирики безпрерывно роются, ищутъ, и если найдутъ, чего искали, выдумываютъ что-нибудь новое и опять ищутъ; ихъ трудъ дробится, не обобщаясь; они ходятъ въ потемкахъ, ощупью: лучше было бы съ самаго начала входить съ зажженной свѣчей разума». «Въ естественныхъ наукахъ преобладаетъ желаніе дѣлать, находить различія, различія различій, и т. д. Этимъ путемъ невозможно изучать природу; аналогія, общія воззрѣнія, раскрывающія единство, — необходимы». «Есть умы, болѣе способные наблюдать, дѣлать опыты, изучать частности, отѣнки; другіе, напротивъ, стремятся проникнуть въ сокровеннѣйшія сходства, обобщить полученные понятія. Первые, теряясь въ частностяхъ, ничего не видятъ, кромѣ атомовъ; другіе, расплываясь во всеобщностяхъ, теряють все отдѣльное, замѣщая его призраками... Ни атомы, ни отвлеченная матерія, лишенная всякаго опредѣленія, не дѣйствительны; дѣйствительны *тѣла, такъ, какъ они существуютъ въ природѣ*... Не надобно увле-

каться ни въ ту, ни въ другую сторону; для того, чтобъ сознаніе углублялось и расширялось, надобно, чтобъ эти два воззрѣнія *пресметвенно переходили другъ въ друга*. Понимая это, Бэконъ устремлялъ, однако, всю умственную дѣятельность на опытъ, на изслѣдованія и наблюденія, потому что онъ считалъ опытъ началомъ науки, потому что онъ ясно видѣлъ гибельное вліяніе схоластической распущенности и метафизической неосновательности, при недостаткѣ фактическихъ свѣдѣній. Онъ очень хорошо понималъ, что собраніе и сличеніе однихъ опытовъ не есть наука, но онъ понималъ и то, что нѣтъ науки безъ фактическихъ свѣдѣній. «Мы торопимся, говоритъ онъ, придать наукообразную форму бѣдной системѣ истинъ, узанныхъ нами, и тѣмъ самымъ останавливаемъ ходъ открытій, приращеній. Молодые люди, сложившіеся и получившіе видъ совершеннолѣтія, перестаютъ расти. Пока наука составляетъ массу открываемыхъ свѣдѣній, все вниманіе обращено на новыя открытія». Онъ не хотѣлъ замкнутой цѣлости прежде полноты содержанія; онъ хотѣлъ лучше трудную работу, нежели незрѣлый плодъ. Метода Бэкона чрезвычайно скромна: она проникнута уваженіемъ къ предмету, она приступаетъ къ нему съ тѣмъ, чтобъ научиться, а не съ тѣмъ, чтобъ вынудить изъ предмета насильственное оправданіе впередъ заготовленной мысли: она стремится все привести къ сознанію: «то, говоритъ Бэконъ, что достойно существовать, — достойно быть знаемо». Онъ умѣлъ найти дѣйствительное и истинное даже тамъ, гдѣ мы обыкновенно видимъ суетную призрачность ¹⁾.

Геній Бэкона, положительный, чисто англійскій, не имѣлъ органа для схоластической метафизики: вопросы тогдашней философіи его вовсе не занимали. Онъ, какъ Декартъ, началъ съ отрицанія, но съ отрицанія практическаго; онъ отбросилъ старую догматику, потому что она была негодна; онъ возмущился противъ авторитетовъ, потому что они тѣснили самобытность ума. «Наше понятіе, говоритъ онъ, о древнихъ авторитетахъ поверхностно: старѣе нѣтъ эпохи, какъ та, въ которой мы живемъ. Когда жили предки наши, міръ былъ моложе: они жили въ юномъ времени, мы зрѣлѣе ихъ. Совершеннолѣтній судить основательнѣе отрока». Подрывая авторитеты прошедшаго, Бэконъ указывалъ людямъ впередъ: тамъ, въ будущемъ, цѣною ихъ усилій должна раскрыться истина; онъ доказывалъ, что, оборачиваясь назадъ, по совѣту схоластиковъ, ея не найдешь, что истина искомое, а не потерянное; отрицаніе авторитетовъ у него неразрывно съ вѣрою въ прогрессъ. Отринувъ безплодную догматику, онъ очутился ли-

¹⁾ Напримеръ, въ его Новомъ Органонѣ нашли себѣ мѣсто не только гимнастика, но и косметика, даже теорія роскоши.

цомъ къ лицу съ природой и тотчасъ началъ пзучать ее, изслѣ-
довать какъ фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію; отрицать
природу ему и въ голову не приходило; для него отрицать при-
роду было все равно, что отрицать свое собственное тѣло; въ та-
комъ отрицаніи для человѣка, какъ Бэконъ, очевидное безуміе,
безвыходный, тяжелый мракъ; Бэконъ знаетъ, наприм., что чув-
ства обманчивы, но такое знаніе ведетъ его къ практической
истинѣ дѣлать много опытовъ, многими лицами повѣрять другъ
друга. Вѣра Бэкона въ разумъ и въ природу непоколебимы: онъ
съ такимъ же отвращеніемъ говоритъ о скептицизмѣ, какъ объ
метафизикѣ; это совершенно послѣдовательно въ немъ; ему на-
добны знанія, свѣдѣнія, а не мучительные стоны о безсиліи ума
и неуловимости истины; ему надобно дѣятельное развитіе, ему
надобна истина и ея практическое приложеніе, онъ считаетъ
ничтожною філософію, не ведущую къ дѣлу; для него знаніе
и дѣяніе — двѣ стороны одной энергіи. Человѣкъ, такъ думаю-
щій, всего менѣе способенъ къ романтизму, къ мистицизму и къ
схоластикѣ.

Теперь вы видите, что Бэконъ и Декартъ были въ наукѣ
представителями двухъ враждебныхъ основаній средневѣковой
жизни; въ нихъ и ими противорѣчіе дуализма выразилось са-
мымъ яркимъ и рѣзкимъ образомъ. Оба направленія, идеализмъ
и эмпирія, при послѣдователяхъ Декарта и Бэкона, до того до-
ходили въ формальномъ противорѣчій, что, по діалектической
необходимости, перегибались другъ въ друга, и противоположная
сторона, непосредственно заключенная въ одностороннемъ воз-
зрѣніи, получала голосъ. Вы помните, что мысль человѣческая,
при возрожденіи ея дѣятельности въ началѣ XVI вѣка, являлась
совсѣмъ не такъ исключительно, что, напротивъ, она снимала
восторженнымъ предузнаніемъ дуализмъ схоластическаго воззрѣ-
нія. Таковъ былъ взглядъ Джордано Бруно и его послѣдовате-
лей: они видѣли во всей природѣ, во всей вселенной одну все-
общую жизнь; все, казалось имъ, оживлено ею: былинка и пла-
нета, человѣкъ и трупъ—равно носители ея, и все она стремится
къ сознательному единству мысли, свободно пребывая и повто-
ряясь въ многоразличіи сущаго. Но ни наука не имѣла силъ раз-
вить это воззрѣніе, ни умъ средневѣковой перейти отъ своихъ
романтическихъ, мрачныхъ грезъ къ такому свѣтлому пониманію.
То было пророческое указаніе, цѣль будущаго наукообразнаго раз-
витія, явившаяся въ началѣ шестивія; удержаться на этой высотѣ
не было еще возможности. Въ исторіи часто бываютъ такіе при-
мѣры; при самомъ началѣ переворота, идея его проявляется во
всемъ блескѣ, но въ непреводимой всеобщности; вскорѣ, къ ужасу
и отчаянію дѣятелей, это обличается, свѣтлая идея тускнѣетъ отъ

обстоятельствъ, пропадаетъ, гибнетъ, и современники не понимаютъ, что она гибнетъ, какъ зерно, для того, чтобъ потомъ, искусившись всѣми противорѣчіями и вооружившись всѣмъ, что могла дать среда, явиться побѣдоносною и торжествующею.

Ни Бэконъ, ни Декартъ не могли остановиться на одномъ провидѣніи, какъ Бруно; они хотѣли большаго и сдѣлали большее: по основная идея Бруно выше ихъ идеи. Бэконъ не былъ противъ науки *людей предчувствій*: онъ самъ, какъ мы уже говорили, былъ полонъ предугадыванія: но англичанинъ, дѣлецъ, онъ хотѣлъ опростить вопросъ, сдѣлать его какъ можно болѣе положительнымъ: онъ намѣренно отворачивался отъ нѣкоторыхъ сторонъ, чтобъ хорошенько высмотрѣть одну—именно эмпирическую. Последователи его доказали, что они лучше ничего не просятъ, какъ сидѣть въ односторонности. Недоставало только ученія прямо противоположнаго Бэкону, чтобъ старый вопросъ дуализма *переродился* въ новую борьбу, чтобъ отринутая жизнь, практическіе интересы, физическія событія стали съ одной стороны, а разумъ, какъ сущность, какъ мышленіе и самопознаніе съ пренебреженіемъ къ бытію, съ вѣрою въ свои начала — съ другой. Это направленіе явилось, какъ вы знаете, въ Декартѣ. Единство мысли и жизни, начинавшее просвѣчивать со всею прелестью отрочества у Бруно, снова расторглось; дуализмъ нашелъ новый языкъ, но такой языкъ, который непременно велъ къ отчаяннѣйшей крайности идеализма и къ таковой же матеріализма, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ выходу изъ всякаго дуализма. Вопросъ дуализма рѣшался тутъ не въ *жизни*, не Гвельфами и Гибелинами, а въ теоретической сферѣ отвлеченнаго мышленія, — и къ этому средневѣковая мысль не могла не придти; иначе она не была бы вѣрна своему историческому происхожденію.

Никогда въ древнемъ мірѣ мысль не приходила къ полному сознанію своей противоположности съ бытіемъ: въ новой наукѣ она является въ зломъ междоусобіи: такой бой не могъ остаться безслѣденъ. Скажемъ просто—и это несколько не будетъ преувеличено,—идеализмъ стремился уничтожить вещественное бытіе, принять его за мертвое, за призракъ, за ложь, за ничто, пожалуй, потому что быть одной случайностью сущности—*всѣма немного*. Идеализмъ видѣлъ и признавалъ одно всеобщее, родовое, сущность, разумъ человѣческій, отрѣшенный отъ всего человѣческаго; матеріализмъ, точно также односторонній, шелъ прямо на уничтоженіе всего невещественнаго, отрицалъ всеобщее, видѣлъ въ мысли отдѣленіе мозга, въ эмпиріи единственный источникъ знанія, а истину признавалъ въ одиѣхъ частностяхъ, въ одиѣхъ вещахъ, осязаемыхъ и зримыхъ; для него былъ разумный человѣкъ, но не было ни разума, ни человѣ-

чества. Словомъ, они были противоположны во всемъ, какъ правая и лѣвая рука; и никто не догадывался, что та и другая идутъ изъ одной груди и необходимы для дѣлости организма. Логически, обѣ стороны дѣлали ошибки поразительныя, обѣ не умѣли сдѣлать и шага изъ своихъ началъ, не захвативъ чего-либо изъ противоположнаго начала,—и по большей части дѣлали не то, чего хотѣли. Идеализмъ начинается съ *a priori*, онъ отвергаетъ опытъ, онъ хочетъ начать съ *Cogito ergo sum*, а на самомъ дѣлѣ начинается съ врожденныхъ идей, забывая, что врожденные идеи представляютъ эмпирическое событіе, которое онѣ принимаютъ, а не выводятъ, и разрушаютъ такимъ образомъ *a priori*. Идеализмъ хочетъ всю дѣйствительность, весь разумъ предоставить духу и признаетъ въ то же время матерію за имѣющую въ себѣ независимое и самобытное начало существованія, вслѣдствіе котораго протяженіе гордо становится рядомъ съ мышленіемъ, какъ чуждое ему; у идеализма всегда являются всеобщими, впередъ идущими идеями именно тѣ истины, которыя надобно вывести.

Матеріализмъ имѣлъ у себя въ запасѣ точно такія же впередъ идущія истины, которыхъ вывести не могъ. Юмъ совершенно правъ, говоря, что матеріалисты *повѣрили* достовѣрности опыта. Матеріализмъ ставитъ непрерывно вопросъ: «знаніе наше истинно ли?»,—и отвѣчаетъ на него отвѣтомъ на совершенно другой вопросъ, на вопросъ: «откуда мы получаемъ наши знанія?» Онъ превосходно сдѣлалъ, что начиналъ всякій разъ съ феноменологии знанія, но онъ не оставался вѣренъ своему началу отчетливаго наблюденія; иначе онъ не могъ бы не видѣть, что мысль, истина имѣетъ источникомъ дѣятельность разума, а не внѣшній предметъ, дѣятельность, возбуждаемую опытомъ—это совершенно справедливо, но самобытную и развивающуюся мысль по своимъ законамъ; помимо ихъ, всеобщее не могло бы развиваться, ибо частное вовсе неспособно само собою обобщаться. Матеріалисты не поняли, что эмпирическое событіе, попадая въ сознаніе, столько же психическое событіе. Матеріализмъ хотѣлъ создать чисто *эмпирическую науку*, не понимая, что тутъ *contradictio in adjecto*, что опытъ и наблюденіе, страдательно принимаемые и приводимые въ порядокъ внѣшнимъ разсужденіемъ, даютъ дѣйствительный матеріалъ, но не даютъ формы, а наука есть именно форма самосознанія сущаго. Всѣ хлопоты матеріализма, всѣ его тонкіе анализы умственныхъ способностей, пропехожденія языка и сцѣпленія идей оканчиваются тѣмъ, что частныя явленія, событія—истинны и дѣйствительны. Безспорно, что событія внѣшняго міра истинны, и неумѣніе признать этого со стороны идеализма—сильное доказательство его односторонности; внѣшній міръ

какъ мы сказали въ одномъ изъ прежнихъ писемъ) — «обличенное доказательство своей дѣйствительности»; онъ потому и существуетъ, что онъ истиненъ; это такъ же безспорно, какъ и то, что внутренній міръ (т. е. мышленіе), что *actus purus* разума тоже истиненъ и тоже дѣйствительное событіе. Дѣло совсѣмъ не въ этомъ признаніи, а въ связи, въ переходѣ внѣшняго во внутреннее, въ пониманіи дѣйствительнаго единства ихъ; безъ этого мало поможетъ сознаніе, что предметъ истиненъ: человѣкъ не будетъ имѣть средствъ уловить его. Матеріализмъ со стороны сознанія, методы, стоитъ несравненно ниже идеализма. Если-бъ матеріализмъ былъ философски логиченъ, онъ перешелъ бы свои границы, пересталъ бы быть собою, а потому на видимой непослѣдовательности его воззрѣнія останавливаться нечего, — мы ее впередъ должны предполагать. Онъ имѣлъ другое великое значеніе, *чисто практическое* ¹⁾, жизненное, прикладное; въ его рукахъ была вся масса свѣдѣній человѣческихъ, имъ она разработана, имъ обелѣдована, и онъ благородно употребилъ ее на улучшеніе матеріальнаго и общественнаго благосостоянія людей, на разсѣяніе предрассудковъ, на собраніе фактовъ. Нелѣпости его ученія проходятъ и пройдутъ, истинное и благое осталось и останется; этого забывать не надобно изъ-за логическихъ ошибокъ.

Мудрено, кажется, повѣрить, — а матеріализмъ и идеализмъ до нашего времени остаются при взаимномъ непониманіи. Очень хорошо знаю я, что нѣтъ брошюры, въ которой бы идеализмъ не говорилъ объ этомъ антагонизмѣ, какъ о прошедшемъ; что нѣтъ ни одного дѣльнаго эмпирика, который бы не сознался, что безъ всеобщаго взгляда, безъ умозрѣнія опыты не даютъ всей пользы, — но это вялое признаніе бѣдно и бесплодно ²⁾. Того ли можно было ожидать послѣ плодотворныхъ, великихъ идей, брошенныхъ въ оборотъ великимъ Гёте, потомъ Шеллингомъ и Гегелемъ! Порядочные люди нашего времени сознали необходимость сочетанія эмпиріи съ спекуляціей, но на теоретической мысли этого соче-

¹⁾ Было время, когда идеализмъ въ Германіи ставилъ себѣ въ достоинство свою *неутилитарность, непрактичность*, и презрительно отзывался объ утилитаризмѣ филантропическихъ и моральныхъ ученій шотландскихъ, англійскихъ и французскихъ мыслителей; въ то же время идеалисты проповѣдывали противъ фактическихъ наукъ, выдавая себя за натуры высшія, чуждыя міру практической дѣятельности. Имъ не приходило въ голову, что человѣкъ, считающій себя чуждымъ современности, непрактическимъ, по большей части не высшая натура, а пустой человѣкъ, мечтатель, романтикъ, жертва искусственной цивилизаціи. Греки не поняли бы этой мысли: такъ нелѣпа она. Мысль себя-отчужденія отъ жизни могла выработаться только въ мрачныхъ и запертыхъ кабинетахъ книжныхъ ученыхъ и притомъ въ Германіи, которой общественная жизнь, послѣ Вестфальскаго мира, была не изъ блестящихъ.

²⁾ И исключая нѣкоторыя попытки, сдѣланныя очень недавно въ Германіи и даже во Франціи.

танія и остановились. Одна изъ отличительныхъ характеристикъ нашего вѣка состоитъ въ томъ, что мы *все знаемъ и ничего не знаемъ*; на науку пенять нельзя: она, какъ мы имѣли случай замѣтить, отражаетъ очищенными, приводитъ въ сознаніе обобщенными тѣ элементы, которые находятся въ жизни, ее окружающей. Жанъ Поль Рихтеръ говоритъ, что въ его время, чтобъ примирить противоположности, брали долю свѣта и долю тьмы и мѣшали въ банкѣ,—изъ этого выходили обыкновенно премилыя *сумерки*. Это-то неопредѣленное *entre chien et loup* и нравится нерѣшительному и апатическому большинству современнаго міра. Но возвратимся къ Бэкону.

Вліяніе Бэкона было огромно; мнѣ кажется, что и Гегель не вполне оцѣнилъ его. Бэконъ, какъ Колумбъ, открылъ въ наукѣ новый міръ, именно тотъ, на которомъ люди стояли спокойнѣе вѣка, но который забыли, занятые высшими интересами схоластики; онъ потрясъ слѣдую вѣру въ догматизмъ, онъ уронилъ въ глазахъ мыслящихъ людей старую метафизику. Послѣ него начинается непрерывное противодѣйствіе схоластическимъ трансцендентальнымъ теоріямъ, во всѣхъ областяхъ вѣдѣнія, со всѣхъ сторонъ; послѣ него начинается трудъ, неутомимая, самоотверженная работа наблюдений, изысканій добросовѣстныхъ, усиленныхъ; являются ученые общества испытателей природы въ Лондонѣ, въ Парижѣ, въ разныхъ мѣстахъ Италіи; дѣятельность натуралистовъ усугубилась, сумма событій и фактовъ росла пропорціонально съ уничтоженіемъ метафизическихъ призраковъ, «этихъ словъ, какъ говоритъ Бэконъ, безъ всякаго значенія, затемняющихъ простой, пытающій взглядъ, представляя ему превратное пониманіе природы». Многообъемлемость Бэкона не могла перейти къ его послѣдователямъ; ихъ односторонность очень понятна: свѣтлые и дѣльные умы, долго жившіе въ праздности, получили дѣло, предметъ живой, многосторонній, совершенно новый и притомъ платившій за трудъ вовсе неожиданными открытіями, разливавшими свѣтъ на цѣлые ряды явленій. Это не томное и сухое развитіе *hocceitatis* и *quiditatis*, выводимыхъ изъ-за лѣса логическихъ строилъ, уродливыхъ, ненужныхъ и перемѣшанныхъ съ цитатами,—нѣтъ, это что-то такое, въ чемъ бьется сердце, теплое при прикосновеніи руки. Испытавъ магнетическую силу занятій по части естествовѣдѣнія и вообще практическими предметами, могли ли эти люди безъ ненависти говорить о метафизикѣ? Всѣ они смолода были пытаемы перипатетическими экзерциціями, всѣ они изучали искаженнаго Аристотеля: могли ли они не отдаться вполне, несправедливо, односторонне естествовѣдѣнію? Впрочемъ, въ ихъ отрицаніи нѣтъ той ограниченности, которая явилась впоследствии, когда матеріализмъ самъ вздумалъ

оставить роль инсургента и обзавестись своей метафизической управой, своей теоріей, съ притязаніемъ на философію, логику, объективную методу, то есть на все то, отсутствіе чего составляло его силу. Эта систематика матеріализма начинается гораздо позже, съ Локка: они во многомъ ошибались, но не впадали въ самую догматику.

Первые послѣдователи Бэкона были не таковы: въ числѣ ихъ Гоббесъ—человѣкъ страшный въ своей безбоязненной послѣдовательности; ученіе этого мыслителя, о которомъ Бэконъ говорилъ, что онъ его понимаетъ лучше всѣхъ современниковъ, мрачно и сурово; онъ все духовное поставилъ внѣ своей науки; онъ отрицалъ всеобщее и видѣлъ одинъ непрерывный потокъ явленій и частныхъ,—потокъ въ себѣ начинающійся и въ себѣ оканчивающійся. Онъ въ заколеблѣ, свирѣпой мысли своей не нашелъ доказательствъ ничему божественному; печальный зритель страшныхъ переворотовъ, онъ понялъ только черную сторону событій; для него люди были врожденными врагами, изъ эгоистической пользы соединившіеся въ общества, и если-бъ ихъ не держала взаимная выгода, они бросились бы другъ на друга. На этомъ основаніи, его уста не дрогнули, съ мужествомъ цинизма, въ глаза своему отечеству, Англіи, высказать, что онъ въ одномъ деспотизмѣ находитъ условіе гражданскаго благоустройства. Гоббесъ испугалъ своихъ современниковъ, его имя наводило ужасъ на нихъ. Не такимъ встрѣчается намъ южный матеріализмъ въ странѣ, гдѣ нѣкогда жилъ Лукрецій; онъ явился тамъ въ своемъ прежнемъ уборѣ: аббатъ Гассенди воскресилъ эпикуреизмъ и ученіе объ атомахъ; но его эпикуреизмъ былъ имъ приведенъ въ согласіе съ католической догматикой, и такъ хорошо, что іезуиты находили, что его *philosophia corpuscularis* несравненно согласнѣе съ ученіемъ римской церкви о таинствахъ, нежели картезианизмъ. Атомы Гассенди очень просты: это тѣ же атомы, съ которыми мы встрѣтились у Демокрита, тѣ же *безконечно-малыя*, незримыя, *неуловимыя* и неуничтожаемыя частицы, служащія основою всѣмъ тѣламъ и всѣмъ явленіямъ; сочетаясь, дѣйствуя другъ на друга, двигаясь и двигая, эти атомы производятъ всѣ многообразныя физическія явленія, пребывая неизмѣнными. Нельзя не замѣтить, что Гассенди говорить очень положительно о несокрушимости вещества: мысль эта, сколько мнѣ извѣстно, понадается впервые мелькомъ у Тилезія; она есть и у Бэкона, но Гассенди превосходно выразилъ ее: «Вещественное бытіе, говоритъ онъ, имѣетъ великое право за собою: вся вселенная не можетъ уничтожить существующаго тѣла». Понятно, что рѣчь идетъ только о бытіи, а не о формѣ и качественномъ опредѣленіи. У Гассенди проглядываетъ заманка натуралистовъ позднѣй-

сихъ временъ ссылаться на ограниченность ума человѣческаго; онъ чувствуетъ самъ недостатокъ своихъ теорій и оставляетъ ихъ, какъ были. Эти недостатки выкупаются у него (опять точно такъ же, какъ у натуралистовъ) умнымъ и дѣльнымъ изложеньемъ своихъ свѣдѣній о природѣ. Гассенди, такъ, какъ потомъ Ньютона, не слѣдуетъ почти судить какъ философовъ: они великіе дѣятели науки, но не философы. Тутъ нѣтъ противорѣчій, если вы согласились, что дѣйствительное содержаніе выработывалось внѣ философской методы. Англичане, называющіе Ньютона великимъ философомъ, не знаютъ, что говорятъ.

Назвавъ Ньютона, позвольте сказать объ немъ нѣсколько словъ. Его воззрѣніе на природу было чисто механическое. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, заключить, что онъ былъ картезіанецъ: онъ такъ мало имѣлъ симпатіи къ Декарту, что, прочитавъ 8 страницъ въ его сочиненіяхъ (по собственному признанію), онъ сложилъ книгу и больше никогда не раскрывалъ. Механическое воззрѣніе, впрочемъ, и помимо Декарта, царило тогда надъ умами. Страсть къ отвлеченнымъ теоріямъ была такъ сильна въ XVII вѣкѣ, что ни въ чемъ не соглашавшіеся между собою послѣдователи Декарта и Бэкона встрѣтились на механическомъ построеніи природы, на желаніи привести всѣ законы ея въ математическія выраженія и съ тѣмъ вмѣстѣ подвергнуть ихъ математической методѣ. Ньютонъ продолжалъ дѣло, начатое Галилеемъ. Галилей стоялъ совершенно на той же почвѣ, на которой впослѣдствіи сталъ Ньютонъ; для Галилея тѣло, вещество было нѣчто мертвое, дѣйтельное одною косностью, а сила — нѣчто иное, извнѣ приходящее. Математика необходимо должна входить во всѣ отрасли естествовѣдѣнія; количественныя опредѣленія чрезвычайно важны, почти всегда неразрывны съ качественными; измѣненіе однихъ связано съ измѣненіемъ другихъ; однѣ и тѣ же составныя части въ разныхъ пропорціяхъ даютъ все многообразіе органическихъ тканей, все многообразіе формъ неорудной и орудной кристаллизаціи. Ясное дѣло, что математика имѣетъ огромное мѣсто въ физиологіи, не говоря уже о болѣе отвлеченныхъ наукахъ, какъ физика, или о исключительно количественныхъ, какъ астрономія и механика. Математика вноситъ въ естествовѣдѣніе логику а priori, ея эмпірія признаетъ разумъ; выразивъ простымъ языкомъ ея законы, ряды явленій раскрываютъ неподозрѣваемыя соотношенія и послѣдствія, не сомнѣваясь въ дѣйствительности вывода.

Все это такъ; но *одно* математическое воззрѣніе (какъ бы оно ни довѣло себя) не можетъ обнять всего предмета естествовѣдѣнія; въ природѣ остается *нѣчто*, ей неподлежащее. Категорія количества—одно изъ существеннѣйшихъ качествъ всего

сущаго, однако, она не исчерпываетъ всего качественного, и если держаться въ изученіи природы исключительно за нее, то дойдемъ до декартова опредѣленія животнаго гидравлико-огненной машиной, дѣйствующей рычагами и проч. Конечно, конечности представляютъ рычаги и мышечная система представляетъ очень сложныя машины,—однакожь Декарту не удалось объяснить вліяніе волн, вліяніе мозга на управленіе частями машины чрезъ нервы. Понятіе живого непременно заключаетъ въ себѣ механическія, физическія и химическія опредѣленія, какъ тѣ низкія степени, которыя долженствовали быть побѣждены или сняты для того, чтобъ явился сложный процессъ жизни: но именно единство, ихъ снимающее, составляетъ новый элементъ, не подчиняющійся ни одному изъ предыдущихъ, а подчиняющій ихъ себѣ. Внутренняя присущая дѣятельность всего живого организма и каждой кѣлочки его доселѣ осталась неуловима для математики, для физики, для самой химіи, хотя форма ея дѣйствій и количественныя опредѣленія совершенно подлежатъ математикѣ, такъ, какъ взаимное дѣйствіе составныхъ началъ подлежатъ физико-химическимъ законамъ. Употребленіе математики, сверхъ того, гдѣ она необходима,—тамъ, гдѣ ея не нужно, весьма важный признакъ: математика поднимаетъ человѣка въ сферу хотя формальную и отвлеченную, но чисто наукообразную: это полнѣйшее внѣшнее примиреніе мышленія и бытія. Математика — одностороннее развитіе логики, одинъ изъ видовъ ея, или само логическое движеніе разума въ моментѣ количественныхъ опредѣленій: она сохранила ту же независимость отъ сущаго, ту же непреложность чисто умозрительнаго вывода; къ этому присовокупляется ея увлекательная ясность, которая, впрочемъ, находится въ прямомъ отношеніи съ односторонностію.

Бэконъ, очень хорошо понимавшій важность математики въ естествовѣдѣніи, замѣтилъ въ свое время уже опасность подавить математикую другія стороны (онъ, между прочимъ, говоритъ, что особенное вниманіе ученыхъ къ количественнымъ опредѣленіямъ основано на ихъ легкости и поверхностности, но что, держась на однихъ ихъ, теряется внутреннее) ¹⁾. Ньютонъ, совсѣмъ напротивъ, предался исключительно механическому воззрѣнію: нельзя себѣ представить ума менѣе философскаго, какъ Ньютонъ: это былъ великій механикъ, гениаль-

¹⁾ Бэконъ очень зло отзывался (De Aug. Scientiarum) объ астрономіи: «Наука о тѣлахъ небесныхъ очень несовершенна: она приноситъ людямъ нѣчто въ родѣ той жертвы, которую однажды Прометей принесъ Юпитеру: онъ пожертвовалъ бычьаю кожу, набитую соломой, вмѣсто быка; такъ и астрономія толкуетъ о числѣ, положеніи, движеніи, періодахъ небесныхъ тѣлъ... небесный сводъ для нихъ бычьаа шкура; во внутренность явленій они не проникаютъ».

ный математикъ—и вовсе не мыслитель. Теорія тяготѣнія, при всемъ величїи своей простоты, при обширной прилагаемости, объемлемости,—не что иное, какъ *механическое представленіе* событія, представленіе, быть можетъ, вѣрное, но остающееся безъ логическаго оправданія, т. е., безъ полнаго пониманія, какъ предположеніе, сосредоточивающее на себѣ наиболѣе вѣроятія. Тѣламъ Ньютонъ приписываетъ свойства притяженія и отталкиванія: но въ понятіи тѣла, какъ его понималъ Ньютонъ, не видно необходимости этихъ полярныхъ проявленій; стало-быть, это фактъ гипотетическій или наглядный,—все равно, но не логическій; далѣе, путь небесныхъ тѣлъ таковъ, что механика должна его себѣ представить слѣдствіемъ двухъ силъ: одна изъ нихъ дѣлается понятною изъ предшествовавшаго предположенія, другая зато остается совершенно непонятна (сила, влекущая по тангенсу); эта сила (или толчекъ, производящій ее) не лежитъ ни въ понятіи тѣла, ни въ понятіи окружающей среды; она является à la deus ex machina, и такъ остается до сихъ поръ. И это не заботитъ строителей небесной механики; математика дѣлается обыкновенно равнодушна ко всѣмъ логическимъ требованіямъ, кромѣ своихъ собственныхъ. Нѣкогда Коперникъ, обдумывая гениальную мысль свою, имѣлъ въ виду дать болѣе легкій способъ вычислять планетные пути: теперь Ньютонъ говорить, что онъ предоставляетъ физикамъ рѣшить вопросъ о дѣйствительности предполагаемыхъ силъ, и выставляетъ на первый планъ удобство его теоріи для математическихъ выкладокъ.

Механическое разсматриваніе природы, несмотря на колоссальный успѣхъ ньютоновой теоріи, не могло удержаться; первый сильный протестъ противъ исключительно механическаго воззрѣнія раздался въ химическихъ лабораторіяхъ. Химія осталась вѣрнѣе настоящей бэконовской методѣ, нежели всѣ отрасли естественныхъ наукъ; эмпірія царила въ ней,—это правда, но она оставалась почти во всемъ свободною отъ разсудочныхъ теорій и насильственныхъ притѣсненій предмета; химія добросовѣстно и самоотверженно склонялась передъ признанною ею объективною веществомъ и его свойствъ.

Но протестъ болѣе мощный раздался съ другой стороны. Лейбницъ, тоже великій математикъ, но и великій мыслитель съ тѣмъ вмѣстѣ, поднялся противъ исключительнаго механико-матеріалистическаго воззрѣнія. Изложеніе главныхъ основаній его системы отведетъ насъ совсѣмъ въ другую сферу, а потому я попрошу позволенія окончить сперва повѣствованіе о бэконовской школѣ, довести ее до Юма, т. е. до Канта, и потомъ снова возвратиться къ Декарту и прослѣдить исторію идеализма до Канта же. Въ этой исторіи мы увидимъ только два лица, но какія! Мы увидимъ, до какой

высоты можетъ дойти гениальная абстракція, до чего великое разумѣніе могло развитъ картезіанизмъ. Спиноза положилъ предѣлъ идеализму; чтобъ идти далѣе, надобно выдти изъ идеализма, оставаясь въ немъ, можно быть только комментаторомъ Спинозы: однимъ изъ нахлѣбниковъ его пышнаго стола. Опытъ шага впередъ сдѣлалъ Лейбницъ: въ Лейбницѣ мы встрѣчаемъ перваго идеалиста, въ которомъ что-то близкое, родственное, современное намъ. Суровость среднихъ вѣковъ и протестантское натянутое безстрастіе отражаются еще яркими чертами и на угрюмомъ Декартѣ и на неприступно-гордомъ въ нравственной чистотѣ своей Спинозѣ, въ которомъ осталось много еврейской исключительности и много католическаго аскетизма. Лейбницъ—человѣкъ, почти совсѣмъ очистившійся отъ среднихъ вѣковъ; все знаетъ, все любитъ, всему сочувствуетъ, на все раскрытъ, со всѣми знакомъ въ Европѣ, со всѣми переписывается; въ немъ нѣтъ sacerdotalной важности схоластиковъ; читая его, чувствуете, что наступаетъ *день* съ своими дѣйствительными заботами, при которомъ забудутся грезы и сновидѣнія; чувствуете, что полно глядѣть въ телескопъ,—пора взять увеличительное стекло; полно толковать объ одной субстанціи, пора поговорить о многомъ множествѣ монадъ ¹⁾.

Село Соколово.—Іюнь. 1845.

¹⁾ Мы необходимо должны пропустить явленія чрезвычайно замѣчательныя и нѣкоторыя сильныя личности, явившіяся въ XVII столѣтіи, не въ главномъ руслѣ науки, а, такъ сказать, возлѣ. Сюда принадлежатъ англійскіе и французскіе мистики, протягивавшіе руку эмпиріи и мирившіеся съ нею (въ родѣ того, какъ легитимисты мирятся съ радикалами) на общемъ признаніи безенія разума: сюда принадлежитъ рядъ скептиковъ, сомнѣвавшихся, вмѣстѣ съ мистиками, несравненно болѣе въ разумѣ, нежели въ опытѣ (такъ сильна была реакція противъ схоластической догматики), и въ числѣ ихъ знаменитый Баль—защитникъ вѣротерпимости, признанной въ Россіи Великимъ Петромъ и гонимой во Франціи Великимъ Людовикомъ. Баль былъ одинъ изъ неутомимѣйшихъ дѣятелей XVII вѣка: онъ замѣнялъ во всѣ дѣла, причастенъ во всѣмъ горячимъ вопросамъ и вездѣ гуманенъ и ѣдокъ, уклончивъ и дерзокъ: онъ дѣйствуетъ безъ имени и всѣмъ извѣстенъ: его гонятъ іезуиты, онъ отъ нихъ спасается въ Голландію; его гонятъ точно также протестанты, и отъ нихъ бѣжать некуда; католическій король Франціи его обогащаетъ преслѣдованіемъ его протестантскихъ брошюръ, и протестантскій король Англіи чуть не лишаетъ куска хлѣба... Все это вмѣстѣ живо выражаетъ дѣятельный, кипищій и неустроенный XVII вѣкъ.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.

Реализмъ.

Индуктивная метода Бэкона приобрѣтала болѣе и болѣе послѣдователей. Открытія, слѣдовавшія другъ за другомъ съ поразительной быстротою, въ медицинѣ, физикѣ, химіи, увлекали умы болѣе и болѣе въ область естествовѣдѣнія, наблюденій, изысканій. Увлеченные эмпиріей, легкимъ анализомъ событій и видимой ясностью выводовъ, послѣдователи Бэкона хотѣли опытъ и наведеніе сдѣлать не только источникомъ, но и вѣнцомъ всякаго знанія; они грубый, непретворенный матеріалъ, получаемый чрезъ непосредственное возрѣніе, обобщаемый сравненіемъ и разлагаемый разсудочными категоріями, считали, если не за полнѣйшую истину, то за единственно возможную для человѣческаго разумѣнія. Возрѣніе это долго оставалось мнѣніемъ, практикою, соглашеніемъ, болѣе подразумеваемымъ, нежели высказаннымъ; долго не было въ немъ стремленія выразиться систематически, ни притязанія явиться логикой и метафизикой; ужасъ отъ всего метафизическаго еще царилъ надъ умами; воспоминаніе о схоластическомъ идеализмѣ было свѣжо; все вниманіе ученыхъ продолжало сосредоточиваться на увеличеніи фактическихъ свѣдѣній, на знакомствѣ съ природой. Природа стала соперницею тому гордому духу, который въ средніе вѣка не удостоивалъ ее никакого вниманія; роли перемѣнились: отъ ума требовали одной страдательной восприимлемости; самодѣятельность разума считали мечтою. Въ средніе вѣка, чтобъ сказать, что предметъ недѣйствителенъ, говорили: «это только грубая матерія»; теперь съ тою же цѣлью стали говорить: «это только мысль». Но когда переворотъ совершился, реализмъ бэконовской школы не удержался отъ искушенія систематизировать свое возрѣніе, — искушеніе, впрочемъ, совершенно естественное и свойственное всякой умственной дѣятельности. Эмпирія захотѣла имѣть свою метафизику: Локкъ явился отвѣтомъ на эту потребность.

Человѣкъ долженъ (по Локку) начать обсуживаніе своего вѣдѣнія съ разбора орудій мышленія, съ разрѣшенія вопроса, способны ли умъ знать истину, насколько и какими средствами? Поверхностно разсуждая, кажется, что требованіе Локка справедливо, такъ какъ вообще всѣ разсудочныя требованія *на первый разъ* поразительно ясны; но стоитъ нѣсколько присмотрѣться къ нимъ, чтобъ увидѣть несостоятельность ихъ. Локкъ и его послѣдователи не догадались, что задача ихъ представляетъ логиче-

скій кругъ. Юмъ, какъ человѣкъ несравненно болѣе даровитый, спрашивать: чѣмъ же человѣкъ сдѣлаетъ разборъ своего разума?—Разумомъ. Да, вѣдь, онъ-то и подеудимый: оправданное имъ можетъ быть ложнымъ, именно потому что оно имъ оправдано. Юмъ попалъ въ шляпку гвоздя, какъ говорятъ; Юмомъ восхищались его современники, какъ острымъ скептикомъ, но глубины его отрицанья и великаго мѣста его въ развитіи новой философіи не постигли; первый понявшій его былъ Кантъ, оцѣнившій отъ медузина взгляда юмовскаго воззрѣнія. Надобно (продолжаетъ Локкъ) *себѣ представить* человѣка такъ, чтобъ у него еще не было ни одной мысли, и посмотрѣть, какъ изъ взаимодѣйствія его чувствъ и сознанія съ внѣшнимъ міромъ образуются *идеи* (подъ словомъ «идеи» они разумѣли всякую вещь—понятіе, всеобщее, мысль, образъ, форму, даже впечатлѣніе). Для этого возьмемъ ребенка, который еще не говоритъ, или человѣка *въ естественномъ состояніи*, и начнемъ наблюдать... А болѣе послѣдовательный Кондильякъ беретъ статую и даетъ ей обоняніе, потомъ слухъ... и такъ мало по малу доходитъ до законовъ мышленія *въ статуѣ*. Это называлось у нихъ наблюденіями, анализомъ,—и укоряющая тѣнь Бэкона не погрозила имъ пальцемъ съ своего кладбища!

Все XVIII столѣтіе безпрестанно прибѣгало къ дикому человѣку, къ ребенку; Жанъ-Жакъ, желая описать будущаго человѣка, ничего не нашелъ лучше, какъ представить его самымъ прошедшимъ, доисторическимъ. Не говоря уже объ нюхающей куклѣ, ни ребенокъ, ни предполагаемый идіотъ, ни каннибалъ—не нормальные люди: все, что вы въ нихъ замѣтите, будетъ тѣмъ ложнѣе, чѣмъ лучше подмѣчено. Положимъ, что мы могли бы возстановить забытое и безсознательное развитіе начальныхъ дѣйствій ума, впервые возбужденнаго чувствами,—что же изъ этого? Мы узнали бы историческую феноменологію сознанія, узнали бы фізіологическое взаимодѣйствіе энергій чувствъ и энергій мышленія—больше ничего. Зоологія, ботаника берутъ нормою экземпляры совершенно развившіеся; отчего же антропологія будетъ обращаться къ дикому человѣку? Оттого, что онъ ближе къ животному, т. е. дальше отъ человѣка? Человѣкъ не отошелъ, какъ думали мыслители XVIII вѣка, отъ своего естественнаго состоянія, онъ *идетъ къ нему*: дикое состояніе—для него самое неестественное; оттого, какъ только являются условія выхода изъ него, онъ и выходитъ: чѣмъ глубже въ старину, тѣмъ ближе къ дикому состоянію, тѣмъ неестественнѣе человѣкъ,—этого почти не приходило въ голову тогдашнимъ философамъ. Но что же за выводы изъ наблюденій надъ *предполагаемымъ нечеловѣкомъ*?

Локкъ находить, что простыя идеи (отчетъ въ впечатлѣніяхъ, воспоминаніе о нихъ) передаются прямо въ *пустое мѣсто* разума; разумъ, принимая чувственныя воззрѣнія, страдателенъ, не прибавляетъ отъ себя ничего, а, такъ сказать, задерживаетъ ихъ въ себѣ; поэтому, простыя идеи имѣютъ за себя большую достовѣрность. Но вотъ что худо: вмѣстѣ съ полученіемъ простыхъ идей, люди изобрѣтаютъ знаки для нихъ; Локкъ, поймавъ человѣка на этомъ изобрѣтеніи, очень справедливо замѣчаетъ, что человѣкъ словомъ нарицаетъ не дѣйствительную вещь, а всеобщее собирательное понятіе, родъ, или какой бы ни было порядокъ, къ которому принадлежитъ вещь, слѣдовательно, нѣчто несуществующее. Тутъ разборъ Локка долженъ бы былъ окончиться: если слово выражаетъ не истину, то и разумъ не имѣетъ средствъ сознать ее, ибо слово представитель того, какъ понимаетъ разумъ. Правда, вы можете спросить: почему Локкъ узналъ, что изъ двухъ предметовъ—изъ частной вещи и всеобщаго слова—дѣйствительность, а слѣдственно и истина, принадлежитъ вещи, а не слову; вѣдь, у него еще нѣтъ критеріума, онъ ищетъ его. Дѣло очень просто: онъ матеріалистъ, и потому вѣрить въ вещь и въ чувственную достовѣрность; будь онъ идеалистъ, онъ точно съ тою же неосновательностью принялъ бы за истину слово и всеобщее; онъ не въ самомъ дѣлѣ ищетъ критеріумъ; онъ очень знаетъ, чего хочетъ,—онъ только прикидывается добросовѣстнымъ пытателемъ. Далѣе, всеобщее, названное словомъ, показываетъ отношеніе дѣйствительнаго предмета къ нашему разумѣнію; стало-быть, не одни внѣшнія впечатлѣнія—источникъ знанія, но и самая дѣятельность мышленія. Локкъ не только признаетъ это, но исключительно предоставляетъ разуму право раскрытія отношеній между предметами; онъ признаетъ раскрытое разумомъ (сложныя идеи) *необходимымъ*, однако *не такъ* (?) достовѣрнымъ, какъ простыя идеи. Вся разсудочная наука находится тутъ въ своемъ зародышѣ. Разумъ—пустое темное мѣсто, въ которое падаютъ образы внѣшнихъ предметовъ, возбуждая какую-то распорядительную, формальную дѣятельность въ немъ; чѣмъ онъ страдательнѣе, тѣмъ ближе къ истинѣ; чѣмъ дѣятельнѣе, тѣмъ подозрительнѣе его правдивость. Вотъ вамъ и знаменитое «*nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*», поставленное гордо рядомъ, или противъ «*cogito, ergo sum*»!

Что касается до самой феноменологіи Локка, то его «Опытъ» есть нѣчто въ родѣ логической исповѣди разсудочнаго движенія: онъ рассказываетъ въ немъ явленія своего сознанія, въ предположеніи, что у каждаго человѣка возникаютъ идеи и развиваются одинаковымъ образомъ. Локкъ раскрываетъ, между прочимъ, что при правильномъ употребленіи умственной дѣятельности, слож-

ныя понятія необходимо приводить къ идеямъ силы, *носителя свойствъ* (субстрата), наконецъ къ идеѣ сущности (субстанціи) нами познаваемыхъ проявленій (атрибутовъ). Эти идеи существуютъ *не только въ нашемъ умѣ, но и на самомъ дѣлѣ*, хотя мы познаемъ чувствами одно видимое проявленіе ихъ. Замѣьте это. Очевидно, что Локкъ изъ своихъ началъ не имѣлъ никакого права дѣлать заключенія въ пользу объективности понятій силы, сущности и проч. Онъ стремился всѣми средствами доказать, что сознаніе — *tabula rasa*, наполняемая образами впечатлѣній и *имѣющая свойство* образы эти сочетавать такъ, чтобъ *подобное различнымъ* составляло родовое понятіе; но идея сущности и субстрата не выходитъ ни изъ сочетанія, ни изъ переложенія эмпирическаго матеріала; стало-быть, открывается новое свойство разумѣнія, да еще такое, которое имѣть, по признанію самого Локка, объективное значеніе. Какимъ ужасомъ исполнились бы послѣдователи Локка, если-бъ они узнали въ этомъ *свойствѣ* тѣ врожденные идеи идеализма, противъ которыхъ такъ неутомимо воевали всю жизнь.

Не всѣ идеалисты подъ врожденными идеями предполагали готовые сентенціи, привидѣніе, неотразимые бессмысленные факты, чуждые сознанію и втѣсненные ему, а неминуемыя формы, присущія дѣйствіямъ разума, и притомъ такія формы, которыя сами—аподиктическое доказательство своей дѣйствительности: то есть, то, что говорить Локкъ о понятіи сущности. Матеріалисты, соглашавсь съ Локкомъ, пренаивно спорили противъ слова «*врожденные идеи*» и доказывали неврожденность ихъ тѣмъ, что онѣ *могутъ* не развиваться. Чтожъ изъ этого? Органическій процессъ неминуемо долженъ развить въ животномъ кровеносную систему, нервную и проч. по родовому, пожалуй, предсуществующему и осуществляющемуся понятію, но онъ *можетъ* и не развиваться; ему нужны для этого внѣшнія условія; не будь ихъ, не будетъ и организма, а совершится какой-нибудь другой процессъ, до котораго нѣтъ дѣла органической нормѣ; если же соберутся условія, необходимыя для возникновенія организма, то неминуемо въ немъ разовьется кровеносная, нервная система по общему типу того плана, порядка и рода, къ которому принадлежитъ организмъ, и въ обоихъ случаяхъ родовое понятіе останется истиннымъ, а если угодно, врожденнымъ, присущимъ, предсуществующимъ. Дѣло состоитъ въ томъ, что изъ этихъ формальныхъ противорѣчій, изъ этихъ непослѣдовательностей выйти, стоя на локковой точкѣ зрѣнія, невозможно; разсудокъ (т. е. тотъ моментъ разума, которымъ эмпирическое содержаніе начинаетъ разлагаться на логическіе элементы свои) не имѣетъ въ себѣ средствъ разрѣшить противорѣчіе, самымъ имъ поставленное и условно истинное только

въ отношеніи къ нему. Разумъ на этой разлагающей степени похожъ на химическій реактивъ: онъ можетъ разложить данное, но всякій разъ отдѣлить одну сторону, а съ другой соединиться; таковъ споръ о врожденныхъ идеяхъ, о сущности и проч. Во всѣхъ подобныхъ вопросахъ есть двѣ стороны; на закраинахъ своихъ онѣ односторонни, противорѣчатъ другъ другу, на срединѣ онѣ сливаются; взятая врозь,—онѣ просто ложны и даютъ безвыходные ряды антиномій, въ которыхъ обѣ стороны неправы, пока существуютъ въ отвлеченной отдаленности, и могутъ быть истинными только при сознаніи единства. Но сознаніе этого единства выходитъ за предѣлы того момента мышленія, съ котораго намѣренно не сходятъ люди рефлексіи; я говорю: намѣренно,—потому что надобно много трудиться и много приобрѣсти упорной ксности, чтобъ не послѣдовать діалектическому влеченію, которое само собою выноситъ за предѣлы разсудочности. Умъ, свободный отъ принятой и возложенной на себя системы, останавливаясь на одностороннихъ опредѣленіяхъ предмета, невольно стремится къ восполняющей сторонѣ его; это — начало біенія діалектическаго сердца; повидимому, и это сердце только колыхается взадъ и впередъ, а на самомъ дѣлѣ это біеніе свидѣтельствуетъ о живомъ, горячемъ потокѣ, текущемъ съ безпрерывнымъ ритмомъ своимъ; и въ діалектическихъ переходахъ, съ каждымъ разомъ, съ каждымъ біеніемъ, мысль становится чище, живѣе.

Возьмемъ для примѣра одностороннее воззрѣніе Локка на начало знаній и на сущность. Разумѣется, что опытъ возбуждаетъ сознаніе, но также разумѣется, что возбужденное сознаніе вовсе не имъ произведено, что опытъ одно условіе, толчекъ, такой толчекъ, который никакъ не можетъ отвѣчать за послѣдствія, потому что они не въ его власти, потому что сознаніе не *tabula rasa*, а *actus purus*, дѣятельность, не внѣшняя предмету, а совсѣмъ напротивъ, внутреннѣйшая внутренность его, такъ какъ вообще мысль и предметъ составляютъ не два разные *предмета*, а два момента чего-то единого. Примите незыблемо ту или другую сторону, и вы не выпутааетесь изъ противорѣчія. Безъ опыта нѣтъ сознанія, безъ сознанія нѣтъ опыта; ибо кто же свидѣтельствуетъ о немъ? Полагаютъ, что сознаніе имѣетъ *свойство* противоѣствовать, такимъ-то образомъ, опыту, а между тѣмъ опытъ очевидно поводъ, *prius*, безъ котораго это свойство не обличилось бы. Не рѣшались принять мышленіе за самобытную дѣятельность, для развитія которой необходимы опытъ и сознаніе, поводъ и *свойство*, хотѣли того или другого и впадали въ безплодное повтореніе. Въ этихъ тавтологіяхъ, безпрерывно повторяющихъ противоположное, есть нѣчто, до такой степени противное человѣку, ругающееся надъ нимъ, лишенное смысла, что

человѣкъ, не побѣдившій въ себѣ разсудочной точки зрѣнія, для спасенія себя отъ нихъ отрекается отъ лучшаго достоинства своего—отъ вѣры въ разумъ. Юмъ имѣлъ это мужество отрицанія, это геройское самоотверженіе, а Локкъ остановился на полдорогѣ; оттого-то Юмъ и стоитъ головою выше Локка; логическому уму легче отрицать, легче лишиться всего дорогого, нежели остановиться, не выводя послѣдняго заключенія изъ началъ своихъ. Вопросъ о сущности и атрибутѣ, или видимомъ существованіи сущности, приводитъ къ такой же антиноміи. Разумъ, вематриваясь въ бытіе, доходитъ вскорѣ, переходя рядомъ количественныхъ и качественныхъ опредѣленій, рядомъ отвлеченій, до понятія сущности, ставящей бытіе, вызывающей его возникнуть. Бытіе стремится отразиться въ себѣ, отречься отъ видоизмѣняющейся виѣшности и раскрыть свою сущность,—въ противоположность, такъ сказать, своему наружному проявленію. Но какъ только умъ захочетъ понять основу, причину, внутреннюю силу бытія помимо бытія,—онъ раскрываетъ, что сущность безъ своего проявленія такой же *non sens*, какъ бытіе безъ сущности; —чего же она сущность? Дайте ей проявленіе, тогда вы снова воротитесь въ сферу атрибутовъ, бытія; восполняющій моментъ является, какъ недостающій звукъ, который невольно напрашивается, чтобъ завершить аккордъ. Но что же значить эта діалектическая необходимость, которая указала на сущность, когда человѣкъ хотѣлъ остановиться на бытіи, и указала на бытіе, когда онъ хотѣлъ остановиться на сущности? Это, повидимому, логическій кругъ, а на самомъ дѣлѣ логическая *круговая порука*: это противорѣчіе ясно выражаетъ, что нельзя останавливаться на бѣдныхъ категоріяхъ разсудочнаго анализа, что ни бытіе, ни сущность, отдѣльно взятая, не истинны. Разсудокъ, сказалъ я выше, похожъ на реагенцію; но еще ближе можно взять сравненіе: онъ похожъ на гальваническій снарядъ, который все разлагаетъ въ извѣстномъ отношеніи на двѣ части и который не иначе отдѣляетъ одну составную часть, какъ отдѣливъ къ другому полюсу другую. Антиномія не свидѣтельствуетъ своей ложности,—совсѣмъ напротивъ, она мѣшаетъ только несправедливому дѣйствію ума, не позволяя ему принимать отвлеченіе за цѣлое; она вызываетъ противоположное у другого полюса, какъ уликъ, и показываетъ одинаковую правомѣрность его. Діалектическое движеніе сначала оскорбляетъ мыслящаго человѣка, даже исполняетъ печалью и отчаяніемъ,—своими скучными рядами и неожиданнымъ возвращеніемъ къ началу; оно оскорбляетъ его, какъ видъ домашней крыши оскорбляетъ путника, потерявшаго дорогу, и который, скитаясь цѣлые часы, видитъ, что онъ воротился назадъ; но вслѣдъ за негодованіемъ должно явиться желаніе дать

себѣ отчетъ, разобрать случившееся, а этотъ разборъ, рано или поздно, непременно приводитъ къ высшимъ областямъ мышленія.

Локкъ поступилъ нелогически, признавъ объективность сущности, и также нелогически рѣшилъ, что сущность знать нельзя, потому только, что она неотдѣлима отъ проявленій,—въ то время, какъ въ нихъ-то и можно узнать сущность; атрибуты — языкъ, которымъ высказывается внутреннее (вспомните Я. Бема). Локкъ поступилъ нелогически, признавъ разсужденіе за источникъ знанія въ то время, какъ все возрѣніе его основано на томъ, что въ сознаніи ничего нѣтъ, кромѣ полученнаго изъ чувствъ. Онъ на каждомъ шагѣ бьетъ самого себя. Скажемъ просто: «Опытъ» Локка не выдерживаетъ никакой критики; огромный успѣхъ его основанъ на одной своевременности; метафизика матеріализма не могла развиваться, призваніе бѣконовой школы вовсе не было метафизическое; великое, сдѣланное ею, сдѣлано внѣ систематики; систематика ея только хороша, какъ реакція схоластикъ и идеализму, и пока она себя понимала реакціей, она была полезна; но по мѣрѣ того, какъ она изъ протестаціи переходила къ чиновному положенію, къ теоріи,—она дѣлалась несостоятельною. Логически все возрѣніе Локка—ошибка, такая же вопіющая ошибка, какъ всѣ построенія практическихъ областей, шедшія отъ идеализма. Вообще, Локкъ въ дѣлѣ мышленія представляетъ здравый смыслъ, начинающій имѣть притязанія на догматику, разсудительное благоразуміе, равно удаленное отъ высокаго разума, какъ и отъ пошлой глупости; его метода въ философіи то, что *esprit de conduite* въ дѣлѣ нравственности; по ней равно трудно спотыкнуться и сойти съ битой дороги. Изложеніе Локка умно, ровно, свѣтло, полно практическихъ замѣтокъ; выводы его очевидны, потому что онъ говоритъ объ одномъ очевидномъ; онъ вездѣ стремится удержаться въ золотой серединѣ, воздерживается отъ крайностей; но еще мало бояться прямыхъ слѣдствій изъ своихъ началъ въ ту и другую сторону, чтобъ возвыситься до разумнаго примиренія ихъ обѣихъ. Послѣдовательнѣе его, но изъ тѣхъ же началъ, вышелъ Кондильякъ. Кондильякъ отвергнулъ мысль, что разсужденіе можетъ быть источникомъ знанія, ибо оно не только предполагаетъ ощущеніе, но и есть не что иное, какъ ощущеніе. Онъ самое сочетаніе идей не принималъ за свободное дѣйствіе ума, но за необходимый результатъ ощущеній,—такимъ образомъ всѣ духовные процессы были сведены на ощущенія; съ другой стороны, тотъ же Кондильякъ доказывалъ, что «тѣлесные органы чувствъ составляютъ случайное начало знанія, чувственного ощущенія»; впрочемъ, это ему ни къ чему не послужило. Логика Кондильяка, какъ высшая механика мышленія, не лишена до-

стоишествъ, отчетлива, ясна, приучаетъ къ своего рода строгости и осмотрительности, — но пороха не выдумаешь по его методѣ: это метода искусственныхъ классификацій, описанія признаковъ и проч.

Матеріалисты-метафизики совѣмъ не то писали, о чемъ хотѣли: они до внутренней стороны своего вопроса и не коснулись, а говорили только о внѣшнемъ процессѣ; его они изображали довольно вѣрно, и никто съ ними не спорить; но они думали, что это все, и ошиблись: теорія чувственного мышленія была своего рода механическая психологія, какъ воззрѣніе Ньютона механическая космологія. Притомъ, никакъ не надобно терять изъ вида, что локкова школа рассматривала мышленіе только какъ частную, отдѣльную, личную способность одного типическаго чело-вѣка; разумъ, какъ родовое мышленіе, пребывающее и развертывающееся въ исторіи и наукѣ, не заслужилъ ихъ вниманія; оттого у всѣхъ у нихъ недостаетъ историческаго пониманія прошлыхъ моментовъ мышленія. Ничто не можетъ быть страннѣе, какъ ихъ разборы древнихъ философовъ; даже рядомъ съ ними или почти рядомъ стоявшихъ мыслителей они никакъ не могли понять. Кондильякъ, напр., писалъ подробный разборъ Мальбранша, Лейбница и Спинозы; видно, что онъ много ихъ читалъ, но видно, что онъ ни разу не отдавался имъ, что онъ непріязненно началъ и искалъ только противопоставлять свое сказанному ими. Такъ разбирать философскихъ писателей невозможно ¹⁾. Вообще, матеріалисты никакъ не могли понять объек-тивность разума и оттого, само собою разумѣется, они ложно опре-дѣляли не только историческое развитіе мышленія, но и вообще отношенія разума къ предмету, а съ тѣмъ вмѣстѣ и отношеніе чело-вѣка къ природѣ. У нихъ бытіе и мышленіе или распадаются, или

¹⁾ Кстати, вѣроятно, многимъ казалось страннымъ, отчего большая часть мыслителей XVII и XVIII вѣка, читая Платона и Аристотеля, рѣшительно не понимали единства внутренняго и внѣшняго (платоновой идеи, аристотелевой энтелехії), которое довольно ясно въ воззрѣніи того и другого. Неужели это просто ограниченность?— Не думаю. Новый чело-вѣкъ такъ распался съ природой, что не можетъ легко примириться съ нею; онъ сочетавалъ болѣе широкій смыслъ съ этимъ распаденіемъ, нежели грекъ. Грекамъ легко было понимать неразрывность сущности и бытія потому, что они не понимали во всю ширину ихъ противоположности. Напротивъ, средніе вѣка именно развили до послѣдней крайности этотъ разрывъ, и мысль не только удовлетворялась уже греческимъ примиреніемъ, но потеряла возможность понимать его. Грекъ предавался сочувствію къ истинѣ; новому чело-вѣку надобны были анализъ и критика; онъ убилъ въ себѣ сочув-ствіе рефлексіей и недо-вѣріемъ. Грекъ никогда не отдѣлилъ ни чело-вѣка, ни мысли отъ природы; для него сосуществованіе ихъ было событіе, не то, чтобы совершенно отчетливо понимаемое, но фактически оцененное; новая наука въ обоихъ проявленіяхъ своихъ (реализмъ и идеализмъ) разрушала эту гар-монію.

дѣйствуютъ другъ на друга внѣшнимъ образомъ. *Природа помимо мышленія—часть, а не цѣлое*; мышленіе такъ же естественно, какъ протяженіе, такъ же степень развитія, какъ механизмъ, химизмъ, органика,—только высшая. Этой простой мысли не могли понять матеріалисты; они думали, что природа безъ человѣка полна, замкнута и довлѣтъ себѣ, что человѣкъ какой-то посторонній; конечно, отдѣльно взятые естественныя произведенія не имѣютъ никакой нужды въ человѣкѣ; но если вы возьмете ихъ въ связи, вы увидите, что въ нихъ все неполно, что все ихъ счастье именно въ томъ, что они не могутъ сознать этой неполноты; организмы животные, наприм., при всей цѣлости, замкнутости, конкретности, *отвлеченны*; они, сверхъ собственнаго значенія, намекаютъ на какое-то развитіе, переходящее далѣе; они исполнены указаній на нѣчто болѣе полное и развитое; эти указанія стремятся къ человѣку; чтобъ доказать это, не нужно, пожалуй, философіи, достаточно сравнительной анатоміи.

Въ природѣ, разсматриваемой помимо человѣка, нѣтъ возможности сосредоточенія и углубленія въ себя, нѣтъ возможности сознанія, обобщенія себя въ логической формѣ,—потому нѣтъ помимо человѣка, что мы человѣкомъ именно называемъ это высшее развитіе. Никто не удивляется, что безъ глазъ не видать, потому что глазъ составляетъ единственное орудіе зрѣнія; мозгъ человѣка—орудіе сознанія природы. Природа, какъ вѣчное несовершеннолѣтіе, покорена закону необходимому, роковому, неясному для себя, именно по недостатку *этого* развитаго себя, т. е. человѣка; въ человѣкѣ законъ проясняется, становится сознаваемой разумностью; нравственный міръ настолько свободенъ отъ внѣшней необходимости, насколько совершеннолѣтенъ, т. е. сознателенъ. Но такъ какъ въ дѣйствительности сознаніе не отдѣлено отъ бытія, не другое, а, напротивъ, есть его совершеніе, цѣль его домогательствъ, объясненіе его неясности, его истина и оправданіе, то и міръ физическій, освобожденный въ нравственномъ и оправданный въ немъ, оправданъ въ своихъ глазахъ. Природа, понимаемая помимо сознанія,—туловище, недоросль, ребенокъ, не дошедшій до обладанія всѣми органами, потому что они не всѣ готовы. Человѣческое сознаніе безъ природы, безъ тѣла,—мысль, не имѣющая мозга, который бы думалъ ее, ни предмета, который бы возбудилъ ее. Естественность мысли, логичность и ихъ круговая порука природы—камень преткновенія для идеализма и для матеріализма, только онъ попался имъ подъ ноги съ разныхъ сторонъ¹⁾. Шеллингъ засталъ борьбу разныхъ взглядовъ на разумъ

¹⁾ Позвольте мнѣ привести въ заключеніе сказаннаго о Локкѣ и его послѣдователяхъ слѣдующее мѣсто изъ элементарной анатоміи Генле, Генле—прозектора, вѣчно сидящаго за микроскопомъ и, слѣдовательно, не состоящаго въ по-

и на природу въ ея высшемъ и крайнемъ выраженіи,—когда, съ одной стороны, *не-я* пало подъ ударами Фихте и власть разума провозгласилась въ какихъ-то безконечныхъ пространствахъ холода и пустоты; съ другой, французы отрицали все нечувственное и, какъ черепаховы, стремились истолковать мысль бугорками и углубленіями, а не бугорки мыслию, и онъ первый высказалъ, хотя и не вполне, высокое единство, о которомъ мы говорили. Но возвратимся къ Локку и его школѣ.

Локкъ былъ робокъ и болѣе добросовѣстенъ, нежели діалектикъ; онъ безъ логической необходимости съ своей точки зрѣнія отрекся отъ начала, изъ котораго пошелъ. Признаніемъ сущности за дѣйствительность онъ окончательно призналъ самозаконность разума, которая была уже отчасти признана въ принятіи разсужденія источникомъ сложныхъ идей; какъ скоро идея сущности получила право гражданства, то неминуемо открывалась возможность—многообразіе сущаго привести къ единству; бытіе непосредственное находить въ сущности свое посредство, явленіе получаетъ причину, каузальность неразрывна съ понятіемъ сущности. Но такъ, какъ Спинозъ (мы увидимъ это въ послѣдующихъ письмахъ), чтобъ примирить картезианскій дуализмъ съ требованіями своей глубокой логической натуры, оставался одинъ выходъ—погубить дѣйствительность явленій въ пользу сущности, что составляло своего рода выходъ изъ дуализма, такъ точно

дозрѣніи идеализма. Подробно разобравъ нервную дѣятельность и энергію органа мышленія, онъ говоритъ: „Разбирая сложныя дѣйствія нашего духа, можно ихъ свести на простыя понятія или категоріи; но желаніе эти категоріи вывести изъ чего-либо внѣшняго было бы столько же безумно, какъ звуками объяснять краски. Веѣ такого рода попытки ставятъ впередъ то, что должно объяснить; такъ поступала локкова школа, хотѣвшая вывести понятія изъ внѣшняго опыта. Положеніе: *nihil in intellectu, quod non ante fuerat in sensu*. до такой степени ложно, что, фیزیологически говоря, скорѣе можно утверждать, что ничего не можетъ перейти изъ чувствъ въ разумъ. Внѣшнее не можетъ даже произвести ощущеній, не предшествующихъ, *какъ возможность*; гдѣ же ему проникнуть въ органъ мышленія? внѣшнее развиваетъ только усиленное въ немъ. Во взаимодействіи съ внѣшнимъ міромъ энергія чувствъ обособляется (дѣлается спеціальною) соотвѣствующими раздраженіями, которыя, развиваясь, замѣняютъ собою первоначальныя ощущенія. Органы чувствъ составляютъ соотвѣтствующее раздраженіе органу мышленія. Пораженію чувствъ соотвѣтствуютъ извѣстныя чувственные понятія: степени ихъ развитія находятся въ соотношеніи съ прочувствованными съ прожитыми чувствами (*von den Erlebnissen der Sinne*). Мышленіе развитое относится къ первымъ дѣйствіямъ ума почти такъ же, какъ фантазія образованнаго глаза къ мерцанію и къ цвѣтнымъ пятнамъ. Возвратиться къ первоначальнымъ понятіямъ невозможно. Исторія развитія и образъ чувствованій воспитаніемъ формы, которыми мы думаемъ, и проч. См. *Allgemeine Anatomie von Henle*, p. 751—2; она составляетъ VI томъ превосходнаго изданія, въ которомъ современные германскіе врачи-натуралисты почтили память своего знаменитаго учителя, J. T. Sommering v. Baue des menschlichen Körpers.

матеріализму надобно было послѣднимъ словомъ своимъ принять не робкое и шаткое полупризнаніе сущности, а полное отреченіе отъ нея. Сущность—та нить, которой разумъ все сдерживаетъ: перерѣжьте ее, и все разсыплется, распадется, будутъ существовать одни частныя явленія, однѣ индивидуальности, мерцающія мгновенно и мгновенно тухнущія; всеобщій порядокъ разрушится, будутъ атомы, явленія, груды фактовъ случайности, но не будетъ стройнаго, всецѣлаго космоса,—и все это прекрасно: когда одно-сторонность дойдетъ до такой крайности, тогда она всего ближе къ выходу изъ своей ограниченности. Нѣтъ сомнѣнія, что первый геніальный матеріалистъ бѣконо-локкова направленія долженъ былъ дойти до этого или отречься отъ матеріализма,—этотъ геній былъ Давидъ Юмъ.

Юмъ принадлежитъ къ небольшому числу мыслителей, которые покончили съ собою, которые, взявъ начала, имѣли мужество идти до послѣдствій, не блѣднѣя ни передъ чѣмъ и твердо принимая хорошее и худое, лишь бы остаться вѣрными точкѣ отправленія и логическому пути. Такой человѣкъ можетъ, наконецъ, достигнуть успокоенія, примириться въ вѣрности своихъ выводовъ съ своими началами; пошлыхъ людей, дошедшихъ до этой невозмущаемой тишины, много; но Юмъ былъ одаренъ необычайнымъ умомъ и необычайной діалектикой,—въ томъ-то и важность. Началъ своихъ Юмъ не избиралъ: онъ ихъ нашелъ готовыми въ современномъ ему мірѣ, въ своемъ отечествѣ; онъ къ этимъ началамъ имѣлъ симпатію, какъ человѣкъ практическій, какъ англичанинъ. Самый образъ жизни велъ его къ нимъ: Юмъ былъ дипломатъ, историкъ, а прежде купецъ, несмотря на аристократическое происхожденіе. Разумѣется, начала бѣконовской методы были ближе къ душѣ его, нежели Спиноза и Лейбницъ; но взявъ начала, мощный мыслитель вывелъ неумолимые послѣдствія; онъ выставилъ то, до чего не смѣли касаться его предшественники; тамъ, гдѣ они виляли, уступали, тамъ Юмъ кротно и благородно, но съ невѣроятной твердостью, шелъ прямымъ путемъ. Онъ спокоенъ, потому что правъ; его совѣсть чиста, онъ добросовѣстно сдѣлалъ то, за что взялся.

Видали ли вы портретъ Юма? — Его черты поражаютъ васъ своей невозмущаемой ясностью и кроткимъ покоемъ; весело сидитъ онъ въ щегольскомъ французскомъ кафтанѣ; лицо его полно, глаза блестятъ умомъ, всѣ черты одушевлены, благородны; онъ нѣсколько улыбается. Смотри на него, дѣлается отрадно, вспоминается, что въ жизни есть много хорошаго. Обернитесь къ портретамъ другихъ философовъ, близкихъ къ нему по времени,—совѣтъ не то. Въ сухо-моральномъ лицѣ Локка соединяется выраженіе англиканскаго проповѣдника, съ строгостью матеріалиста—

законодателя: лицо Вольтера выражаетъ одну злую иронию; въ немъ знаменіе гениальнаго разума какъ-то сочеталось съ чертами орангутанга; Кантъ съ своей маленькой головкой и огромнымъ лбомъ дѣлаетъ тѣлостное впечатлѣніе; въ лицѣ его, напоминающемъ Робеспьера, есть что-то болѣзненное; оно говоритъ о непрерывной, тяжелой работѣ, потребляющей все тѣло; вы видите, что у него мозгъ всосалъ лицо, чтобъ довѣсть огромному труду мысли; Лейбницъ съ царственно величественнымъ лицомъ, какъ Гёте, говоритъ всѣми чертами: *procul estote!* А Юмъ зоветъ къ себѣ.

Это не только человѣкъ мысли, но человѣкъ жизни. Таковъ онъ и былъ: онъ умѣлъ съ высокой нравственностью и съ высокимъ умомъ сочетать качества, привязывавшія къ нему всѣхъ людей, близко къ нему подходившихъ. Онъ былъ душою небольшою кучкой друзей; въ ихъ числѣ былъ и великій Адамъ Смитъ и нѣкогда Ж. Ж. Руссо, бѣжавшій изъ веселаго говарищества, гонимый раздражительной хандрой своей. Юмъ остался вѣренъ себѣ до конца: онъ сдѣлалъ передъ смертію ширъ и весело разстался съ жизнью, сжимая замиравшей рукой своей дружескія руки, улыбаясь прощальному тосту ихъ. Это была цѣльная натура! Ни Локкъ, ни Кондильякъ не могли сладить своего реализма съ наукообразными требованіями. Юмъ съ перваго взгляда понималъ, что съ этой точки зрѣнія всѣ метафизическія требованія, всякая догматика будутъ нелѣпостью, и высказать это прямо и не обинуясь. Мы видѣли выше, что онъ опровергъ возможность опредѣлять достовѣрность знанія критикою ума; онъ достовѣрность считаетъ инстинктомъ, подлежащимъ собственно умозаключенію, *предъ-разсудкомъ*. Мы приводимъ въ сознаніе не самые предметы, а образы ихъ: эти образы мы *считаемъ* за дѣйствія виѣшнихъ предметовъ: доказательствъ на это нѣтъ, мы принимаемъ такое отношеніе впечатлѣній къ предметамъ до развитія обсуживанія: это впередъ идетъ, это дано инстинктомъ. Источникъ знанія—опытъ, впечатлѣнія: впечатлѣнія передаютъ намъ образы и вмѣстѣ съ тѣмъ *моральное убѣжденіе, вѣрованіе*, что они соотвѣтствуютъ предметамъ сущимъ, возбуждившимъ ихъ въ нашемъ сознаніи; дѣйствіями ума вывести оправданіе инстинкта невозможно, у него на это нѣтъ средствъ: изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ инстинкъ былъ неправъ, а слѣдуетъ, что у насъ умъ ограниченъ. Чувственные впечатлѣнія, образы, собираясь въ памяти, повторяясь и сочетаясь ею различнымъ образомъ, составляютъ то, что мы называемъ идеями; всѣ идеи, все мыслимое должно быть прочувствовано. Опуская то ту, то другую сторону матеріаловъ, данныхъ впечатлѣніями, слѣчая ихъ, мы отвлекаемъ общее имъ, беремъ ихъ соотношенія, и этимъ путемъ

уравненій достигаемъ общихъ понятій; при этомъ обобщеніи, само собою разумѣется, впечатлѣнія теряютъ долю живости, силы и своего индивидуальнаго значенія. Вѣря въ свой инстинктъ, храня въ памяти ряды впечатлѣній, человѣкъ различныя обобщенія и слѣдствія своихъ сравненій приписываетъ предметамъ, не имѣя ни малѣйшаго права на то; опытъ даетъ одни частныя явленія, ощущенія и ничего всеобщаго. Видя нѣсколько разъ подобное послѣдующее отъ подобнаго предыдущаго, человѣкъ *привыкаетъ* связывать эти представленія и подчинять одно другому, называя первое причиной или силой, а другое дѣйствіемъ; ни опытъ, ни умозрѣніе не оправдываютъ такого произвольнаго принятія. Опытъ даетъ преемственный порядокъ двухъ разныхъ явленій, слѣдующихъ во времени другъ за другомъ, не раскрывая иного соотношенія между ними. Умозаключеніе каузальности явнымъ образомъ не полно, — недостаетъ цѣлаго термина: В постоянно слѣдуетъ за А, слѣдственно, А причина В; заключеніе негодное, ибо я не вижу никакого соотношенія между двумя разными А и В, кромѣ разсказа, что сперва явилось А, а потомъ В, и это случилось нѣсколько разъ; принимая А за причину, В за дѣйствіе, мы теряемъ послѣднюю возможность ихъ сравнить, ибо сравнивать можно одноименное, тождественное по чему-нибудь, а дѣйствіе и причина — до такой степени разнородныя понятія, что сравненіе здѣсь не имѣетъ мѣста. Дѣло въ томъ, что каузальность вовсе и не основана на умозаключеніи, или на прямомъ опытѣ, а *на привычкѣ*; человѣкъ привыкаетъ отъ подобныхъ причинъ ждать непременно подобныхъ дѣйствій; если-бъ эта непременность была разумна, то разумъ и въ первый разъ долженъ былъ ждать того же дѣйствія; но онъ его не ждалъ, а ждалъ во второй разъ, потому что началъ привыкать. То, что здѣсь говорится о каузальности, прилагается очень легко и къ понятіямъ необходимости и сущности.

Опытъ не даетъ нигдѣ и ни въ чемъ никакихъ необходимыхъ соотношеній, а даетъ совокупное и современное сосуществованіе, многообразіе. Слово «сущность» — собирательное имя многихъ простыхъ идей, совмѣщаемыхъ въ одно; мы никакого понятія не имѣемъ о сущности, кромѣ полученнаго изъ связи разныхъ явленій и свойствъ, схваченныхъ нами; идеи, повидимому, чрезъ соединеніе по сходству, совокупности, одновременности, каузальности, становятся крѣпче, общѣ; но если взглянуть, то всѣ эти обобщенія приводятъ къ повторенію одного и того же разными образами (дѣйствіе—раскрытая причина; причина закрытая — необнаруженное дѣйствіе). Напримѣръ, человѣческое *я*, т. е. понятіе самости, представляется въ родѣ сущности всѣхъ явленій, составляющихъ жизнь человѣка;

въ основѣ понятія о нашемъ я не лежитъ тоже ничего дѣйствительнаго. Понятіе я есть признаніе непрерывно продолжающейся самости, стало-быть, и впечатлѣніе, производящее его, должно быть непрерывно; но такого впечатлѣнія нѣтъ: самость наша состоитъ изъ совокупности многихъ другъ за другомъ слѣдующихъ впечатлѣній; мы придаемъ этой совокупности вымышленную связь, называемую я. Мысль эта возникаетъ отъ понятія непрерывности предмета съ одной стороны и отъ понятія послѣдовательности разныхъ предметовъ, другъ за другомъ находящихся въ соотношеніи; чѣмъ болѣе мы замѣчаемъ характеръ постепенной послѣдовательности, тѣмъ менѣе можемъ мы ихъ отличать другъ отъ друга, и чтобъ *скрыть* противорѣчіе, основанное на удержаніи непрерывности и послѣдовательности, человекъ выдумываетъ субстанцію или самость своего я, *какъ невѣдомое ничто, сохраняющее тождество съ собою въ перемѣнѣхъ*.

Consomatum est! Дѣло матеріализма, какъ логическаго момента, совершилось; далѣе идти теоретически было невозможно. Вселенная распалась на бездну частныхъ явленій, наше я на бездну частныхъ ощущеній; если между явленіями и между ощущеніями раскрывается связь, то эта связь, во первыхъ, случайна, во вторыхъ, лишаетъ полноты и жизненности то, что связываетъ; наконецъ, тавтологически повторяетъ то же самое на другомъ языкѣ. Связь эта ни логической, ни эмпирической достовѣрности не имѣетъ; ея критеріумъ—инстинктъ и привычка. Умъ опровергаетъ инстинктъ, но очевидность за него; инстинктъ практически опровергаетъ умъ, хотя, съ своей стороны, доказательствъ ни на что не имѣетъ. Хотѣли одною чувственной достовѣрностію дойти до истины; Юмъ привелъ къ истинѣ *чувственной достовѣрности*, остановившейся на рефлексіи, и что же случилось? Дѣйствительность разума, мысли, сущности, каузальности, сознаніе своего я—исчезли; Юмъ доказалъ, что этимъ путемъ только до этихъ слѣдствій и можно дойти. Но можно ли, по крайней мѣрѣ, схватиться, какъ за послѣдній якорь спасенія, за инстинктъ, за вѣру въ впечатлѣніе? Ни подъ какимъ видомъ. Вѣра въ дѣйствительность впечатлѣній—дѣло воображенія и отличается отъ прочихъ вымысловъ его только невольнымъ чувствомъ достовѣрности, основанной на большей живости впечатлѣній, происходящихъ болѣе отъ дѣйствительныхъ предметовъ, нежели отъ вымышленныхъ. Вѣра эта, прибавляетъ Юмъ, точно такъ же принадлежитъ звѣрямъ, какъ и человеку; она не подлежитъ никакому оправданію умомъ! Что Декартъ сдѣлалъ въ области чистаго мышленія своей методой, то сдѣлалъ практически въ сферѣ разсудочной науки Юмъ. Онъ очистилъ входъ въ науку отъ всего даннаго, впередъ идущаго; онъ заставилъ матеріализмъ сознаться въ невозможно-

сти дѣйствительнаго мышленія съ его односторонней точки зрѣнія. Пустота, къ которой Юмъ привелъ, должна была сильно потрясти людское сознаніе, а выдти изъ нея нельзя было ни методою тогдашняго идеализма, ни робкимъ локковымъ матеріализмомъ. Требовалось иное рѣшеніе: голосъ Юма вызвалъ Канта.

Но прежде, нежели мы займемся имъ и его предшественниками со стороны идеализма, взглянемъ, что дѣлала бэконова школа по ту сторону Па-де-Калё.

Реализмъ явнымъ образомъ перешелъ во Францію изъ Англіи; даже проницескій тонъ, легкая литературная одежда мысли, теорія себялюбивой полезности и дурная привычка кощунства—все это перешло изъ Англіи. Что же сдѣлали французы? За что въ памяти нашей слова: реализмъ, матеріализмъ, неразрывны съ именами французскихъ писателей XVIII вѣка? Если вы возьметесь за логическій остовъ, за теоретическую мысль въ ея всеобщности,—то увидите, что французы почти ничего не сдѣлали, да и не могли собственно ничего сдѣлать: съ точки зрѣнія реализма и эмпиріи одна метода—ее изложилъ Бэконъ; въ матеріализмъ далѣе Гоббеса идти нѣкуда, развѣ броситься въ скептицизмъ, но и тутъ все было исчерпано Юмомъ. Между тѣмъ, французы сдѣлали дѣйствительно очень много, и въ исторіи они не даромъ остались представителями науки XVIII столѣтія. Мы уже нѣсколько разъ имѣли случай замѣтить, что отвлеченная логическая схематика всего менѣе способна уловить не наукообразную по формѣ, но богатую по содержанію *философію* эмпиріи. Здѣсь это очевидно; если вы взглянете не на нѣсколько бѣдныхъ теоретическихъ мыслей, отъ которыхъ равно отправлялись англичане и французы, но на развитіе, которое эти мысли получали у англичанъ и французовъ,—тогда увидите, что Франція несравненно болѣе совершила, нежели Англія. Британцамъ принадлежитъ только честь почина. Энциклопедисты въ области науки сдѣлали точно то же изъ Локка, что бретонскій клубъ, во время революціи, сдѣлалъ изъ англійской теоріи конституціонной монархіи: они вывели такія послѣдствія, которыя или не приходили англичанамъ въ голову, или отъ которыхъ они отворачивались. Это совершенно сообразно національному характеру двухъ великихъ народовъ.

Всякій общій вопросъ дѣлаютъ англичане мѣстнымъ, національнымъ; всякій мѣстный, частный вопросъ стновится общечеловѣческимъ у французовъ. Какой бы перемѣны англичанинъ ни хотѣлъ, онъ хочетъ сохранить и бывшее, въ то время, когда французы прямо и открыто требуетъ новаго; доля души англичанина въ прошедшемъ: онъ челоѣкъ по преимуществу историческій, онъ привыкъ съ дѣтства благоговѣть передъ бывшимъ своей ро-

дины, уважать ея законы, ея обычаи, ея повѣрья; и это очень понятно: прошедшее Англіи *достойно уваженія*; оно такъ величаво и стройно развивалось, оно такъ гордо становилось стражей человеческого достоинства еще во времена мрачнаго безправія, что нельзя британцу оторваться отъ святыхъ воспоминаній своихъ: это благочестіе къ прошедшему кладетъ узду на него. Англичанину кажется неделикатнымъ переходить нѣкоторые предѣлы, касаться нѣкоторыхъ вопросовъ, и онъ, до педантизма строгій читатель приличій, покоряется ихъ условнымъ законамъ. Законъ, Локкъ, моралисты, политическіе эконоы Англіи, парламентъ, пославшій Карла I на эшафотъ, Стафортъ, хотѣвшій ниспровергнуть власть парламента,—все стремятся прежде всего показать себя консерваторами, все двигаются спиною впередъ и не хотятъ сознаться, что идутъ по новой неразработанной почвѣ. Въ мысли островитянина есть всегда что-то ограниченное; она опредѣленна, положительна, тверда, но съ тѣмъ вмѣстѣ видны берега, видны предѣлы. Англичанинъ перерываетъ нить своей мысли на томъ мѣстѣ, гдѣ она отклоняется отъ существующаго порядка, и порванная нить слабнетъ на всемъ протяженіи ¹⁾. Уваженія къ прошедшему, обуздывавшаго англичанина, не было у французовъ. Людовикъ XIV такъ же мало уважалъ прошедшее, какъ Мирабо: онъ открыто бросилъ перчатку преданію. Французы узнали свою исторію въ нашемъ вѣкѣ: въ прошломъ они дѣлали свою исторію, но не знали, что они продолжаютъ; они только знали исторію Рима и Греціи — переложенную на французскіе нравы, разруженную, натянутую. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, французы хотѣли *все вывести изъ разума*: и гражданскій бытъ и нравственность, — хотѣли опереться на одно теоретическое сознаніе и пренебрегали завѣщаніемъ прошедшаго, потому что оно не согласовалось съ ихъ а priori, потому что оно мѣшало, какимъ-то непосредственнымъ, готовымъ бытомъ, ихъ отвлеченной работѣ умозрительнаго, сознательнаго построения, и французы не только не знали своего прошедшаго, но были врагами его. При такомъ отсутствіи всякой узды, при пламенно-энергическомъ характерѣ, при быстромъ воображеніи, при непрерывной дѣятельности ума, при дарѣ блестящаго, увлекатель-

¹⁾ Только Шекспиръ и Гоббесъ не подойдутъ сюда: поэтическое созерцаніе жизни, глубина пониманія ея дѣйствительно безпредѣльна у Шекспира; Гоббесъ былъ до чрезвычайности смѣлъ и konsekventenъ, но объ немъ можно сказать то, что Мирабо сказалъ о Барнабѣ: „Твои глаза холодны, на тебѣ нѣтъ помазанія“. Байронъ — Юмъ поэзи — принадлежитъ уже къ *другой* Англіи, къ той, которая, долго не переводя духа, именно съ года рожденія Байрона (1788), съ судорожнымъ вниманіемъ смотрѣла на революцію и, какъ Гарриксъ, одной частью лица улыбалась, а другою плакала, къ той Англіи, которая, отправляя Веллингтона, вскрикнула: „я побѣдила!“ и сама покраснѣла отъ такой побѣды.

наго изложенія, само собою разумѣется, они должны были далеко оставить за собою англичанъ.

Умозрительное движеніе, сильно возбужденное Декартомъ и его послѣдователями, потухало. Развиватели Декарта были не по характеру французамъ; они охотнѣе читали и лучше понимали Рабле и Монтеня, нежели Мальбранша. Самъ Вольтеръ упрекаетъ Лейбница въ томъ, что онъ *слишкомъ* глубокомысленъ. При такомъ слоѣ ума, ничего не могло быть естественнѣе и своевременнѣе, какъ распространеніе во Франціи англійской философіи въ началѣ XVIII вѣка. Развитие и опрощеніе Бэкона и Локка, развитие и опрощеніе *самой* популярной, нравоучительной философіи англичанъ было сдѣлано во Франціи мастерскими руками; никогда такая огромная сумма всеобщихъ свѣдѣній не была приводима въ форму болѣе общедоступную; никакое философское ученіе не имѣло такого обширнаго круга примѣняемости, такого мощнаго практическаго вліянія; труды англичанъ совершенно затмились изложеніемъ французовъ. Франція воспользовалась всѣмъ засѣяннымъ въ Англіи: Англія имѣла Бэкона, Ньютона,—Франція сказала всему міру ихъ мысли; Англія предложила робкій матеріализмъ Локка,—во Франціи онъ развился въ дерзость Гольбаха съ товарищами; Англія вѣка жила высокой юридической жизнью,—французъ написалъ *De l'esprit des lois*; Англія вѣка жила въ гордомъ сознаніи, что нѣтъ полнѣе государственной формы какъ ея, а Франціи достаточно было двухъ лѣтъ *de la Constituante*, чтобъ обличить несообразности этой формы.

Когда Гельвецій издалъ свою извѣстную книгу *De l'esprit*, одна дама замѣтила: *c'est un homme qui a dit le secret de tout le monde*. Можетъ быть, женщина, съ чрезвычайной вѣрностью опредѣлившая не только Гельвеція, но и всѣхъ французскихъ мыслителей XVIII столѣтія, говоря это, не вполне оцѣнила, что сказать то, о чемъ другіе молчатъ, несравненно труднѣе, нежели сказать то, о чемъ другимъ въ голову не приходило. Энциклопедисты дѣйствительно разболтали общую тайну, и за это ихъ обвинили въ безнравственности, а они собственно не были безнравственнѣе тогдашняго парижскаго общества,—они были только смѣлѣе его. Люди тогда начинаютъ имѣть *секреты*, когда нравственный бытъ ихъ распадается; они боятся замѣтить это распаденіе и судорожною рукою держатся за формы, утративъ сущность; изношеннымъ рубищемъ прикрываютъ они раны, какъ будто раны заживутъ оттого, что ихъ не видать. Въ такія эпохи всего злѣе и ревностнѣе вступаются за обличеніе тайнъ нравственнаго быта, и надобно имѣть большое мужество, чтобъ высказывать громко вещи, потихоньку извѣстныя каждому,—за подобную дерзость былъ казненъ Сократъ. Гласность и обобщеніе—злѣйшіе враги безнравственно-

сти; порокъ кроется въ мракѣ, развратъ боится свѣта: для него темнота необходима, не только для скрытности, но для усиленія нечистыхъ упоеній, жаждущихъ запрещеннаго плода; порокъ, вызванный на свѣтъ, теряется; ему становится пеловко при открытыхъ дверяхъ, и онъ или исчезаетъ, или очищается; та же самая гласность оправдываетъ многое, считавшееся порочнымъ по сбивчивымъ понятіямъ, по искаженнымъ преданіямъ, и радостно расширяетъ кругъ, скажемъ смѣло, самымъ страстямъ, когда онѣ не противорѣчатъ призванію нравственнаго существа. Философы XVIII столѣтія раскрыли двоедушіе и лицемеріе современнаго имъ міра; они указали ложь въ жизни, противорѣчіе officialной морали съ частнымъ поведеніемъ. Общество толковало о строгихъ нравахъ, гнушалось всѣмъ чувственнымъ—и предавалось самому нечистому распутству: философы сказали во всеуслышаніе, что чувства имѣютъ свои права, но что одно чувственное не можетъ удовлетворить развитого человѣка, что высшіе интересы жизни тоже имѣютъ свои права. Эгоизмъ доходилъ до безобразія въ обществѣ и скрывался подъ личиною самоотверженія, презрѣнія къ богатству: философы доказали, что эгоизмъ—одинъ изъ необходимыхъ элементовъ всего живого, сознательнаго и, оправдывая его, раскрыли, что человѣческій эгоизмъ—не только чувство личной любви къ самому себѣ, но, сверхъ того, чувство любви къ роду, къ человечеству, къ ближнему ¹⁾).

Обличеніе всеобщей тайны и отрицаніе прежней морали шло быстро впередъ. При Людовикѣ XIV^м фенелоновъ «Телемакъ» считался страшною книгой. Регентъ издалъ ее на свой счетъ; въ началѣ своего поприща, Вольтеръ поражаетъ дерзостью; черезъ двадцать лѣтъ Гриммъ пишетъ: «патріархъ нашъ отсталъ и упорно держится за дѣтскія вѣрованія свои». Вольтеръ и Руссо почти современники, а какое разстояніе дѣлитъ ихъ! Вольтеръ еще борется съ невѣжествомъ за цивилизацію,—Руссо клеймитъ уже позоромъ самую эту искусственную цивилизацію. Вольтеръ—дворянинъ стараго вѣка, отворяющій двери изъ раздушенной залы рококо въ новый вѣкъ; онъ въ галунахъ, онъ придворный, онъ разъ былъ на большомъ выходѣ, и, когда Людовикъ XV проходилъ, церемоніймейстеръ назвалъ по имени Франсуа-Мари-Аруэта; по другую сторону двери стоитъ плебей Руссо, и въ немъ ничего ужъ нѣтъ *du bon vieux temps*. Вѣдкія шутки Вольтера напоминаютъ герцога Сень-Симона и герцога Ришелье; остроуміе Руссо ничего не напоминаетъ, а предсказываетъ остроты Комитета обществен-

¹⁾ Надобно видѣть, какъ живо или увлекательно дѣлаетъ именно этотъ переходъ отъ эгоизма къ любви глубокомысленнѣйшій изъ всѣхъ энциклопедистовъ, Дидро, если не ошибаюсь въ своемъ «*Essai sur le merite et la vertu*».

наго благосостоянія. Въ 1720 году вышли «Lettres Persanes» Монтескьё, и Парижъ былъ до того *скандализованъ* смѣлостью этой книги, что регентъ, смѣявшійся отъ души надъ письмами Рики, Узбека, долженъ былъ уступить общественному мнѣнію и, для приличія, немного потѣснить автора; лѣтъ черезъ пятьдесятъ, напечатана въ Лондонѣ «Système de la nature» Гольбаха et C-ie и не токмо не удивила никого, но общественное мнѣніе смѣялось надъ гоненіемъ подобныхъ книгъ. Впрочемъ, далѣе идти было нѣкуда. Эта книга—заключеніе французскаго матеріализма, это лапласовское «j'ai dit tout»! Послѣ этой книги можно было дѣлать частныя приложенія, можно было комментировать *Système de la nature*—par le Culte de la Raison; но далѣе идти въ дерзости отрицанія невозможно. Съ ограниченной точки зрѣнія разсудочной дѣятельности, при безбоязненномъ и послѣдовательномъ умѣ, непремѣнно надобно было дойти до Юма или до Гольбаха, Гримма, Дидро, т. е. до скептицизма, оставляющаго васъ темной ночью на краю пропасти, или до матеріализма, ничего не понимающаго, кромѣ вещества и тѣла, и именно потому не понимающаго ни вещества, ни тѣла въ ихъ дѣйствительномъ значеніи. Дойдя до этихъ предѣловъ, мышленіе человѣческое стало искать иныхъ путей, но ужъ не англичане, не французы нашли и расчистили ихъ, а германцы, приготовившіеся къ подвигу науки постомъ двухвѣковаго бездѣйствія,—германцы, сосредоточившіеся въ думѣ, оставившіе жизнь, потому что жизнь для нихъ въ XVII и XVIII столѣтія была невыносима ¹⁾, германцы, хранившіе свято книги Спинозы и книги Лейбница и приученные къ страшному умственному напряженію вольфіанизмомъ.

Энциклопедисты были односторонни до нелѣпости, но они не были такъ плоско-поверхностны, какъ думали объ нихъ нѣмцы, судя по общедоступному языку ихъ. Въ сказкахъ повѣствуютъ о какомъ-то скороходѣ, который, чтобъ не слишкомъ быстро бѣгать, привязывалъ себѣ ядра къ ногамъ; привыкнувъ ходить съ ядрами, я полагаю, онъ очень неловко ходилъ безъ нихъ. Нѣмцы привыкли читать въ потѣ лица тяжелые философскіе трактаты. Когда имъ попадается въ руки книга, отъ которой не трещить лобъ, они думаютъ (или, правильнѣе, думали лѣтъ двадцать тому назадъ), что это пошлость.

Если вы сколько-нибудь припоминаете развитіе науки, изложенное нами въ письмахъ, то вамъ ясна историческая необходимость Декарта и Бэкона; вы видѣли, что средневѣковой дуализмъ, переходя изъ бытоваго устройства въ сферу теоретическую и перенося въ нее двуначалье свое, пошелъ двумя путями—пу-

¹⁾ *Совѣтую* почитать, напр., Шлоссера «Исторію XVIII столѣтія».

темъ идеализма и путемъ реализма. Какъ скоро вы допустите необходимость Декарта и Вькона, или, лучше, ихъ ученій,—то вы должны будете ждать, что и то и другое направленіе разовьется до послѣдней крайности, до нелѣпости, если хотите. Крайность реализма выразили энциклопедисты: они такъ же дѣйствительно, такъ же вѣрно, такъ же полно представляютъ свою сторону духа человѣческаго, какъ идеалисты свою; и такъ же, какъ они, обусловлены временемъ, послѣ котораго и тѣ и другіе должны потерять свои исключительныя притязанія и соединиться въ одно стройное пониманіе истины. Къ этому примиренію, повторяемъ, стремился Шеллингъ и всѣ послѣдователи его; ему-то обширныя основанія воздвигнуть Гегель,—остальное додѣлаетъ время. Языкъ двухъ противоположныхъ воззрѣній еще слишкомъ разенъ; недостаетъ взаимнаго уваженія, недостаетъ безпристрастія. Конечно, натуры сильныя становятся выше личныхъ мнѣній, или мнѣній своей партіи. Гегель, напр., началъ въ своей исторіи говорить о бэконовскомъ воззрѣніи и его школѣ свысока; но мало по малу, перелистывая сочиненія знаменитыхъ дѣятелей того времени, вживаясь въ нихъ, онъ воспламеняется, увлекается практическими мыслителями до того, что голосъ его дрожитъ отъ глубокаго одушевленія, рѣчь становится восторженна, какой-то трепетъ пробѣгаетъ по груди, и эти люди ограниченной мысли начинаютъ ему казаться чуть ли не крестовыми рыцарями, вдохновенно идущими за развернутымъ знаменемъ разума!.. И Гегель съ горькой улыбкой обращается потомъ къ родному идеализму и говоритъ: «А въ Германіи въ это время возились съ лейбницзовольфовскою философіей, съ ея опредѣленіями, аксіомами, доказательствами» ¹⁾.

Село Соколово.—Сентябрь. 1845 г.

¹⁾ Geschichte der Philosophie. T. III, p. 529.

Публичныя чтенія г-на профессора Рулье.

Незнаніе природы—величай-
шая неблагодарность.

Плиніи ст.

Одна изъ главныхъ потребностей нашего времени—обобщеніе истинныхъ, дѣльныхъ свѣдѣній объ естествознаніи. Ихъ много въ наукѣ—ихъ мало въ обществѣ, надобно втолкнуть ихъ въ потокъ общественнаго сознанія, надобно ихъ сдѣлать доступными, надобно дать имъ форму живую, какъ жива природа, надобно дать имъ языкъ откровенный, простой, какъ ея собственный языкъ, которымъ она развертываетъ безконечное богатство своей сущности въ величественной и стройной простотѣ. Намъ кажется почти невозможнымъ безъ естествовѣдѣнія воспитать дѣйствительное, мощное умственное развитіе; никакая отрасль знаній не приучаетъ такъ ума къ твердому положительному шагу, къ смиренію передъ истиной, къ добросовѣстному труду и, что еще важнѣе, къ добросовѣстному принятію послѣдствій *такими, какими они выйдутъ*,—какъ изученіе природы; имъ бы мы начинали воспитаніе для того, чтобъ очистить отроческой умъ отъ предразсудковъ, дать ему возмужать на этой здоровой пищѣ и потомъ уже раскрыть для него, окрѣпнувшаго и вооруженнаго, міръ человѣческій, міръ исторіи, изъ котораго двери отворяются прямо въ дѣятельность, въ собственное участіе въ современныхъ вопросахъ. Мысль эта, конечно, не нова. Рабле, очень живо понимавшій страшный вредъ схоластики на развитіе ума, положилъ въ основу воспитанія Гаргантюа естественныя науки. Бэконъ хотѣлъ ихъ положить въ основу воспитанія всего человѣчества: *Instauratio magna* основана на возвращеніи ума къ природѣ, къ наблюденію; исключительнымъ предпочтеніемъ естествовѣдѣнія стремился Бэконъ возстановить нормальное отиравленіе мышленія, забитаго средневѣковой метафизикой,—онъ не

видать иного средства для очищенія современныхъ умовъ отъ ложныхъ образовъ и предразсудковъ, наслоненныхъ вѣками, какъ обращая вниманіе на природу съ ея непреложными законами, съ ея непокорностью схоластическимъ пріемамъ и съ ея готовностью раскрываться логическому мышленію. Ученый міръ—особенно въ Англіи и Франціи—понялъ вызовъ лорда Верулама, и съ него начинается непрерывный рядъ великихъ дѣятелей, разработавшихъ во всѣхъ направленіяхъ обширное поле естествовѣднія.

Но плоды этого изученія, результаты долгихъ и великихъ трудовъ, не перешли академическихъ стѣнъ, не принесли той *ортопедической* пользы свихнутому пониманію, которой можно было ожидать ¹⁾. Воспитаніе образованныхъ сословій во всей Европѣ мало захватило изъ естественныхъ наукъ; оно осталось по-прежнему подъ вліяніемъ какой-то риторико-филологической (въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова) выучки; оно осталось воспитаніемъ памяти болѣе, нежели разума, воспитаніемъ словъ, а не понятій, воспитаніемъ слога, а не мысли, воспитаніемъ авторитетами, а не самостоятельностью; риторика и формализмъ по-прежнему вытѣсняють природу. Такое развитіе ведетъ почти всегда къ надменности ума, къ презрѣнію всего естественнаго, здороваго, и къ предпочтенію всего лихорадочнаго, натянутого; мысли, сужденія, по-прежнему, прививаются, какъ оспа, во время духовной неразвитости; приходя въ сознаніе, человѣкъ находитъ слѣдъ раны на рукѣ, находятъ сумму готовыхъ истинъ и, отправляясь съ ними въ путь, добродушно принимаетъ и то, и другое за событіе, за дѣло конченное. Противъ этого-то ложнаго и вреднаго въ своей односторонности образованія нѣтъ средства сильнѣе всеобщаго распространенія естествовѣднія, съ той точки зрѣнія, до которой оно выработалось теперь; но, по несчастію, великія истины, великія открытія, слѣдующія быстро другъ за другомъ въ естественныхъ наукахъ, не переходятъ въ общій потокъ кругообращающихся истинъ, а если доля ихъ и получаетъ гласность, то въ такой бѣдной и въ такой неправильной формѣ, что люди и эти выработанныя для нихъ истины принимаютъ такими же втѣсенными въ память событіями, какъ и все остальное схоластическое достояніе. Французы сдѣлали больше всѣхъ для популяризаціи естественныхъ наукъ, но ихъ усилія постоянно разбились объ толстую кору предразсудковъ; полного успѣха не было, между прочимъ потому, что большая часть опытовъ популярнаго изложенія исполнены уступокъ, риторики, фразъ и дурного языка.

¹⁾ Само собою разумѣется, что здѣсь вовсе нѣтъ рѣчи о техническихъ приложеніяхъ.

Предразсудки, съ которыми мы выросли, образъ выраженія, образъ пониманія, самыя слова подкладываютъ намъ представленія не токмо неточныя, но прямо противоположныя дѣлу. Наше воображеніе такъ развращено и такъ напитано метафизикой, что мы утратили возможность безхитростно и просто выражать событія міра физическаго, не вводя самымъ выраженіемъ и совершенно безсознательно ложныхъ представленій, — принимая метафору за самое дѣло, раздѣляя словами то, что соединено дѣйствительностію. Этотъ ложный языкъ приняла сама наука: отъ того такъ трудно и запутано все, что она рассказываетъ. Но наукѣ языкъ этотъ не такъ вреденъ, весь вредъ достается обществу; ученый принимаетъ глоссологию за знакъ, подъ которымъ онъ, какъ математикъ подъ условной буквой, сжимаетъ цѣлый рядъ явленій, вопросовъ. Общество имѣетъ слѣпую довѣренность къ слову, — и въ этомъ свидѣтельство прекраснаго довѣрія къ рѣчи, такъ что человѣкъ и при злоупотребленіи слова полонъ вѣры къ нему, — и полонъ вѣры къ наукѣ, принимая высказываемое ею не за косноязычный намекъ, а за выраженіе, вполне исчерпывающее событіе. Для примѣра вспомнимъ, что всякой порядокъ физическихъ явленій, которыхъ причина неизвѣстна, наука принимаетъ за проявленіе особой силы и, по схоластической діалектикѣ, олицетворяетъ ее до такой самобытности, что она совершенно распадается съ веществомъ (такова модная метаболическая сила, каталетическая). Математикъ поставилъ бы тутъ добросовѣстно *x*, и всякой зналъ бы, что это — искомое, а новая сила даетъ подозрѣвать, что оно *сыскано* — и, для полнаго смѣшенія понятій, къ этимъ ложнымъ выраженіямъ присоединяются еще ложныя сентенціи, повторяемыя изъ вѣка въ вѣкъ безъ анализа, безъ критики, и которыя представляютъ всѣ предметы подъ совершенно неправильнымъ освѣщеніемъ.

Позвольте для ясности прибѣгнуть къ примѣру. Линней, великій человѣкъ въ полномъ значеніи слова, но находившійся, какъ всѣ великіе и невеликіе люди, подъ вліяніемъ своего вѣка, сдѣлалъ двѣ противоположныя ошибки, увлекаемый двумя схоластическими предразсудками. Онъ опредѣлилъ человека, какъ видъ рода *обезьянъ*, и возлѣ него поставилъ нетопыря: послѣднее — непростительная зоогностическая ошибка, первое — еще болѣе непростительная логическая ошибка. Линней, какъ мы сейчасъ увидимъ, и не думалъ унижить человека родствомъ съ обезьяной; онъ, подъ вліяніемъ схоластики, до того отдѣлялъ человека отъ его тѣла, что ему казалось возможнымъ безпощадно обращаться съ формою и наружностію человека; поставивъ человека по тѣлу на одну доску съ летучими мышами, Линней восклицаетъ: «Какъ презрителенъ былъ бы че-

ловѣкъ, если-бъ онъ не сталъ выше *всего человѣческаго*... Это уже не Эпикетовъ: «я человѣкъ, и ничто человѣческое мнѣ не чуждо». Эта фраза Линнея, какъ всѣ фразы вообще, когда онѣ *только* фразы, могла бы преспокойно быть забыта, задвинутая великими заслугами его, но, по несчастію, она совершенно сообразна съ схоластико-романтическимъ воззрѣніемъ: она и темна, и непонятна, и спиритуальна, а потому-то именно и повторяется изъ рода въ родъ, и не далѣе еще, какъ въ прошедшемъ году, одинъ изъ извѣстныхъ французскихъ профессоровъ, Флуранъ, приходилъ въ восторгъ отъ патетической выходки Линнея и говорилъ, что одной этой фразы достаточно, чтобы признать Линнея величайшимъ геніемъ. Мы признаемся откровенно, что видѣли въ этой фразѣ только утрызненіе совѣсти и желаніе загладить вину грубаго матеріализма грубымъ спиритуализмомъ; но два противоположныя заблужденія, оставленные непримиренными, далеки отъ того, чтобы составить истину. Безъ всякаго сомнѣнія, человѣкъ долженъ отбросить все *человѣческое*, если человѣческое ничего другого не значить, какъ отличительную особность обезьяны двурұкой, безхвостой, называемой Кото; но кто же далъ Линнею право, человѣка сдѣлать животнымъ потому только, что у него *есть все, что у животнаго*? Зачѣмъ онъ, назвавши его *sapiens*, не отдѣлилъ его во имя *того, чего нѣтъ* у животнаго, а есть у человѣка? И что за ребячья логика! Если человѣкъ, чтобы быть тѣмъ, чѣмъ можетъ быть, долженъ оставить все *человѣческое*, что же *человѣческаго* въ этомъ оставляемомъ? — Тутъ или ошибка или невозможность: то, что должно оставить,—вѣроятно не *человѣческое*, а *животное*, и какъ подняться надъ самимъ собою? Это что-то въ родѣ того, какъ приподнять самого себя, чтобы быть выше ростомъ.

Сентенція Линнея взята нами случайно изъ тысячи подобныхъ и худшихъ; всѣ онѣ пробрались въ наукообразное изложеніе и повторяются какъ будто по обязанности или изъ учтивости,—мѣшая ясному и прямому пониманію исторической фантазмагоріей. Совокупность подобныхъ сужденій и предразсудковъ составляетъ цѣлую теорію нелѣпаго пониманія природы и ея явленій. Обыкновенные опыты популяризаціи вмѣсто того, чтобы на каждомъ шагѣ обличать нелѣпость этихъ понятій, поддаются къ нимъ, такъ, какъ необразованныя ниньки говорятъ съ дѣтми ломанымъ языкомъ. Но всему этому приближается конецъ: подаромъ А. Гумбольдтъ, какъ нѣкогда Плиній, издаетъ оглавленіе къ оконченному тому, подъ названіемъ *Космосъ*.

Если мы хоть издали нѣсколько присмотримся къ тому, что дѣлается теперь въ естественныхъ наукахъ, насъ поразитъ вѣяніе какого-то поваго, отчетливаго, глубокомысленнаго духа, равно

далекаго отъ нелѣпаго матеріализма, какъ и отъ мечтательнаго спиритуализма. Разсказъ общедоступный новаго воззрѣнія на жизнь, на природу, чрезвычайно важенъ: вотъ почему намъ пришло желаніе поговорить о публичныхъ чтеніяхъ г. Рулье, къ которымъ теперь и обращаемся.

Г. Рулье избралъ предметомъ своихъ публичныхъ чтеній *образъ жизни и нравы животныхъ*, т. е., какъ онъ самъ выразился, *психологію животныхъ*. Зоологія въ высшемъ своемъ развитіи должна непременно перейти въ психологію. Главный, отличительный, существенный характеръ животнаго царства состоитъ въ развитіи психическихъ способностей, сознанія, произвола. Нужно ли говорить о высокой занимательности разсказа послѣдовательныхъ и разнообразныхъ проявленій внутренняго начала жизни, отъ грубаго, необходимаго инстинкта, отъ темнаго влеченія къ отыскиванію пищи и невольнаго чувства самосохраненія до низшей степени разсудка, до соображенія средствъ съ цѣлію, до нѣкотораго сознанія и наслажденія собою; при этомъ разсказъ сами собою отовсюду тѣсняются и просятся интереснѣйшіе вопросы, наблюденія, изслѣдованія, глубочайшія истины естествовѣдѣнія и даже философіи. Выборъ такого предмета свидѣтельствуешь живое пониманіе науки и большую смѣлость: здѣсь надобно часто прокладывать новую дорогу; психологія животныхъ несравненно менѣе обращала на себя вниманіе ученыхъ естествоиспытателей нежели ихъ форма. Животная психологія должна завершить, увѣнчать сравнительную анатомію и физиологію; она должна представить до-человѣческую феноменологію развертывающагося сознанія; ея конецъ при началѣ психологіи человѣка, въ которую она вливается, какъ венозная кровь въ легкія для того, чтобы одухотвориться и сдѣлаться алою кровью, текущею въ артеріяхъ исторіи. Прогрессъ животнаго — прогрессъ его тѣла, его исторія — пластическое развитіе органовъ, отъ полипа до обезьяны; прогрессъ человѣка — прогрессъ содержанія мысли, а не тѣла: тѣло дальше идти не можетъ. Но врядъ возможно ли наукообразное изложеніе психологіи животныхъ при современномъ состояніи естествознанія; тѣмъ болѣе должно уважить всякую попытку, особенно если она такъ хорошо выполнена, какъ чтенія г. Рулье.

Зоологія преимущественно занималась системой, формой, внѣшностью, признаками, распредѣленіемъ животныхъ; классификація — дѣло важное, но далеко не главное. Соблазнительный примѣръ страшнаго успѣха Линнеевой ботанической классификаціи увлекъ зоологію и остановилъ, по превосходному замѣчанію Кювье ¹⁾, успѣхи ея, обращеніемъ всего вниманія, всѣхъ трудовъ на опи-

¹⁾ C. Cuvier. Hist. des Sc. Nat. T. I. page 301.

саніе признаковъ и на искусственныя системы. Противъ этого мертвого и чисто формальнаго направленія возсталъ Бюффонъ. Бюффонъ имѣлъ огромное преимущество передъ большею частию современныхъ ему натуралистовъ,—онъ вовсе не зналъ естественныхъ наукъ. Сдѣлавшись начальникомъ *Jardin des plantes*, онъ сперва страстно полюбилъ природу, а потомъ сталъ изучать ее *по-своему*, внося глубокую думу въ изслѣдованіе фактовъ, думу живую и совершенно независимую отъ школьныхъ предразсудковъ, притупляющихъ мысль и мѣшающихъ рутинной успѣху. Бюффонъ до излишества боялся классификаціи и систематики; предметомъ его изученія были животныя со всею полнотою жизненныхъ проявленій, съ ихъ анатоміей и образомъ жизни, съ ихъ наружностью и страстями: для такого изученія животныхъ мало было идти въ музей, сличать формы, смотрѣть на одни слѣды жизни, подмѣчать ихъ различія и сходства; надобно было идти въ звѣринецъ, въ конюшню, на птичій дворъ, надобно было идти въ лѣсъ, въ поле, сдѣлаться рыбакомъ,—словомъ надобно было сдѣлать то, что сдѣлалъ для американской орнитологіи Одюбонъ. Бюффону не представлялось никакой возможности свои изученія природы привести въ наукообразный видъ: матеріалъ былъ недостаточенъ, да и складъ его генія вовсе не былъ методологическій; оттого, быть можетъ, послѣ него наука пошла не его дорогой, хотя пошла и по пути, имъ указанному. Бюффонъ натолкнулъ Добантона на анатомію животныхъ, и сравнительная анатомія поглотила все вниманіе.

Десяти лѣтъ не прошло послѣ смерти Бюффона, какъ зоологія простилась съ нимъ и съ Линнеемъ. Незвѣстный, молодой естествоиспытатель напалъ 21 флореала III года Республики на Линнееву систему въ засѣданіи института; что-то мощное, твердое, обдуманное и рѣзкое звучало въ словахъ молодого человѣка; мысль о четырехъ типахъ ¹⁾ животнаго царства и объ основаніи раздѣленія не на одномъ порядкѣ признаковъ, а на совокупномъ разсматриваніи всѣхъ системъ и всѣхъ органовъ, поразила слушавшихъ. Этому человѣку было суждено сильно двинуть впередъ зоологію. Онъ требовалъ анатоміи, сличенія частей, раскрытія ихъ соотвѣтственности; труды его были многочисленны, невѣроятная проникаемость помогала ему, каждое замѣчаніе его было новая мысль, каждое сличеніе двухъ параллельныхъ органовъ открывало болѣе и болѣе возможность общей теоріи «правильнаго анализа», посредствомъ котораго можно по твердо определеннымъ *условіямъ бытія* (такъ называетъ Кювье конечныя причины) доходить до формъ, до ихъ отпра-

¹⁾ Позвоночныя, моллюски, суставчатые и звѣздчатые.

лений. ¹⁾ Первый гениальный опытъ практическаго осуществленія этихъ началъ привелъ Кювье отъ возможности возстановленія цѣлаго животнаго по одной косточкѣ къ дѣйствительному возстановленію міра ископаемаго; воскрешеніе допотопныхъ животныхъ было верхомъ торжества сравнительной анатоміи. Мечты Кампера начали сбываться, сравнительная анатомія становилась наукой. Кювье говоритъ въ своей «Палеонтографіи» (стр. 90): «Органическое существо составляетъ цѣлую, замкнутую въ себѣ систему, которой части непремѣнно соотвѣтствуютъ другъ другу и содѣйствуютъ одна другой въ достиженіи общей цѣли; отсюда понятно, что каждая часть, отдѣльно взятая, служить представителемъ всѣхъ остальныхъ частей. Если пищеварительные органы такъ устроены, что они назначены переваривать исключительно свѣжее мясо, то и челюсти должны быть устроены особымъ образомъ, и длинные когти необходимы, чтобы уцѣпиться и разорвать свою жертву, и острые зубы, и сильное мышечное развитіе ногъ для бѣга, и чуткость обонянія и зрѣнія; даже самый мозгъ хищнаго звѣря долженъ быть особенно развитъ, потому что звѣрь способенъ на хитрость, и пр.» ²⁾ Какая ширина взгляда и какое торжество Бэконовскаго наведенія!

Тѣмъ не менѣе исключительно-анатомическое направленіе принесло свои неудобства: гениальность Кювье сглаживала ихъ, у многихъ послѣдователей его они обличились. Анатомія приучаетъ насъ разсматривать несущійся потокъ, стремительный процессъ — остановившимся, приучаетъ смотрѣть не на живое существо, а на его тѣло, какъ на нѣчто страдательное, какъ на оконченный результатъ, — а оконченный результатъ значить на языкѣ жизни *умершій*: жизнь—дѣятельность, безпрерывная дѣятельность, «вихрь, круговоротъ», какъ называлъ ее Кювье. Сверхъ того, анатомическое, т. е. описательное изученіе тѣла животнаго, не что иное, какъ болѣе развитое изученіе наружныхъ признаковъ: внутренность животнаго *другая сторона его наружности*—это не игра словъ. Наружность животнаго, лицевая сторона его ³⁾—обнаруженная внутренность; но

¹⁾ Régne animal. Introduction.

²⁾ Аристотель занимался очень много сравнительной анатоміей, но отрывочно, цѣлаго не вышло изъ его трудовъ. Древніе, впрочемъ, очень хорошо понимали соотвѣтствіе формы съ содержаніемъ въ организмѣ. Ксенофонтъ въ своихъ, *Аπομνημονεύματα* кн. I, гл. IV, говоритъ: „что человѣческое могъ бы сдѣлать духъ человѣческій въ тѣлѣ быка, и что сдѣлалъ бы быкъ, если бы у него были руки“.

³⁾ Наружная фізіономія животнаго (*habitus*) до того рѣзка, что при одномъ взглядѣ можно узнать характеръ и степень развитія *рода*, къ которому онъ принадлежитъ; вспомните, напр., выраженіе тигра и верблюда—такой рѣзкой

и всё внутренняго его части точно такія-же обнаруженія чего-то еще болѣе внутренняго, а это внутреннее начало и есть сама жизнь, сама дѣятельность, для которой части, вѣ и внутри находящіеся, равно органы. Дѣло въ томъ, что ни изученіе одной наружности, ни изученіе анатоміи не дасть полнаго знанія животнаго.

Великій Гёте первый внесъ элементъ движенія въ сравнительную анатомію, — онъ показалъ возможность прослѣдить архитектонику организма въ его возникновеніи и постепенномъ развитіи: законы, раскрытые имъ, о превращеніи частей зерна въ сѣменные доли, стволъ, почки, листья, и о видоизмѣненіи потомъ листа во всё части цвѣтка, прямо вели къ опыту генетическаго развитія частей животнаго тѣла. Гёте самъ много трудился надъ остеологіей; занятый этимъ предметомъ, онъ, гуляя въ Италіи по разрытому кладбищу и натолкнувшись на черепъ, лежавшій возлѣ своихъ позвонковъ, былъ пораженъ мыслию, которая впоследствии получила полное право гражданства въ остеологіи, — мыслию, что голова не что иное, какъ особое развитіе нѣсколькихъ позвонковъ. Но и Гётевское воззрѣніе оставалось *морфологіей*: разсуждая, такъ сказать, о геометрическомъ развитіи формъ, Гёте не думалъ о содержаніи, о матеріалѣ, развивающемся и непрерывно измѣняющемся съ перемѣною формы.

Если-бъ предѣлы этой статьи дозволили намъ, мы остановились бы передъ двумя другими великими попытками, оставившими длинный слѣдъ за собою: мы говоримъ о Жофруа Сентъ-Плерѣ и объ Окенѣ. Ученіе объ единомъ типѣ, эмбриологіи и тератологіи перваго, опытъ глубокой классификаціи другаго — приблизили зоологію къ тому, къ чему она стремилась, къ переходу изъ морфологіи въ фізіологію, — въ это море, зовущее въ себя всё отдѣльныя вѣтви науки объ органическихъ тѣлахъ, для того, чтобъ свести ихъ на химію, физіку и механику, или, проще, на фізіологію неорудной природы. «Тому достанется пальма въ естествовѣдѣніи, говоритъ Бэръ, кто сведетъ на всеобщія міровыя силы всё явленія возникающаго животнаго организма. Но дерево, изъ котораго сдѣлають колыбель этого человѣка, не возшло еще» ¹⁾: мы полагаемъ, напротивъ, что не токмо дерево выросло, но что и колыбель ужъ сдѣлана. Сильная дѣятельность кинитъ во всѣхъ сферахъ естествовѣдѣнія: съ одной стороны Дюма, Ли-

характеристики внутренняго части не имѣють, по очень простой причинѣ: наружность животнаго его вывѣска, природа стремится высказать какъ можно яснѣе все, что есть за душою, и именно тѣми частями, которыми предметъ обращенъ къ вѣншему міру.

¹⁾ К. Е. Бэр, *Entwicklungsgeschichte der Thiere*, p. XXII.

бихъ, Распайль ¹⁾, съ другой Валентинъ, Вагнеръ, Мажанди сообщили новый характеръ естественнымъ наукамъ, какой-то глубокий, реалистической, отчетливый, вѣрно ставящій вопросъ. Каждый журналъ, каждая брошюра свидѣтельствуетъ о кипящей работѣ; все это отрывочно, частно,—но уже само собой связуется единствомъ направленія, единствомъ духа, вѣющаго во всѣхъ дѣльных трудахъ. Но если задача физиологін дѣйствительно состоятъ въ томъ, чтобъ узнать въ органическомъ процессѣ высшее развитіе химизма, а въ химизмѣ—низшую степень жизни,—если она не можетъ сойти съ химико-физической почвы, то верхними вѣтвями своими и она переходитъ въ совершенно иной міръ: мозгъ, какъ органъ высшихъ способностей, разсматриваемый при отравленіи своей дѣятельности,—прямо ведетъ къ изученію отношенія нравственной стороны съ физической, и такимъ образомъ къ психологін. Здѣсь могутъ явиться вопросы, которыхъ не осилитъ ни физика, ни химія, которые могутъ *только* разрѣшиться при посредствѣ философскаго мышленія.

Г. Рулье, вполне понимая, что наукообразно изложить психологію животныхъ при современномъ состояніи естествовѣдѣнія невозможно, избралъ манеру Бюффонскаго разсказа; разсказъ его объ инстинктѣ и разсудкѣ, о смѣтливости животныхъ и ихъ правахъ былъ живъ, новъ и опирался на богатые свѣдѣнія г. профессора, извѣстнаго своими важными заслугами по части Московской палеонтологін; въ его словахъ, въ его постоянной защитѣ животнаго, намъ пріятно было видѣть какое-то возстановленіе достоинства существъ, оскорбляемыхъ гордостью человека даже въ теоріи. Въ одной изъ слѣдующихъ статей мы попросимъ дозволенія сказать наше мнѣніе о теоріяхъ и воззрѣніи г. Рулье, теперь ограничимся мы изложеніемъ одного желанія, приходившаго намъ въ голову нѣсколько разъ, когда мы слушали увлекательный разсказъ ученаго. Цѣлость всего сказаннаго ускользаетъ; намъ кажется, что это происходитъ отъ порядка, избраннаго г. профессоромъ. Если-бъ вмѣсто того, чтобъ послѣдовательно переходить отъ одной психической стороны животной жизни къ другой, г. профессоръ развертывалъ психическую дѣятельность животнаго царства въ генетическомъ порядкѣ, въ

¹⁾ Недавно въ одной петербургской газетѣ мы съ удивленіемъ прочли грубую брань противъ Распайля. Не можно думать, *чтобъ тутъ* была личность, однакожъ и не *химическое* было причиною разномыслія: судя по статьѣ, трудно заподозрить писавшаго въ знаніи химіи. Заслуги Распайля по части органической химіи, микроскопическихъ изслѣдованій, по части физиологін—извѣстны всѣмъ образованнымъ людямъ и уважаются даже тѣми, которые несогласны съ его гипотезами.

томъ порядкѣ, въ которомъ она развивается отъ низшихъ классовъ до млекопитающихъ,—было бы больше цѣлости, и сама собою складывалась бы въ умѣ слушателей исторія психическаго прогресса въ ея прямомъ соотношеніи съ формою. Къ тому же это дало бы случай г. профессору познакомить своихъ слушателей съ этими формами, съ этими орудіями психической жизни, которыя, безпрерывно развиваясь во всѣ стороны, тысячью путями стремятся къ одной цѣли, всегда сохраняя правильную соотвѣтственность между степенью развитія психической дѣятельности, органомъ и средою.

Истинная и послѣдняя эмансипація рода человѣческаго отъ злѣйшихъ враговъ его.

Книгопечатаніе, открытіе новаго свѣта, желѣзныя дороги и пароходы сдѣлали все, что только можно было, для безпокойства рода человѣческаго. Пора что-нибудь сдѣлать для спокойствія людей, пора ихъ приблизить къ величавому отдохновенію на лаврахъ.

Но можно ли при современномъ состояніи цивилизаціи отдыхать на лаврахъ или на миртахъ—все равно?

Цѣлый міръ небольшихъ враговъ вездѣ ждетъ человѣка и дѣлаетъ ему большія непріятности, отравляетъ его существованіе, наводитъ на меланхоличныя мысли, мѣшаетъ философствовать и смотрѣть сновидѣнія до конца; эти ожесточенные враги обрekli себя съ постоянствомъ, достойнымъ лучшей цѣли, на непрерывное, многостороннее огорченіе человѣка.

Доселѣ историки мало цѣнили важное вліяніе тайныхъ враговъ на событія; многое казалось необъяснимымъ въ біографіяхъ великихъ людей отъ опущенія такого важнаго элемента.

Цицеронъ, послѣ своего знаменитаго «они жили», сталъ жаловаться непрерывно на блохъ, которыя мѣшали ему спать, и бранился съ своей женой и дочерью, къ которымъ писалъ такія скучныя письма изъ Брундузіума. Вотъ причина, отчего онъ такъ вяло разсуждалъ о натурѣ боговъ и такъ сквозь сонъ разбиралъ академиковъ.

Но оставимъ исторію и обратимся къ частной жизни нашей.

Сколько скрежета зубовъ, сколько взглядовъ отчаянія, сколько стону вызываютъ свирѣпыя враги! Этотъ скрежетъ, этотъ вопль никто не слыхалъ: они раздавались во тьмѣ ночной, и неизвѣстно было, отчего на другой день рушлись браки, брались рѣшительныя стороны для другихъ,—словомъ, перемѣнялась жизнь.

Кто не быть самъ униженъ среди гордыхъ помысловъ сильными, жгучими страданіями отъ сихъ враговъ? Гдѣ средство спасенія? «Коня мѣ, коня—полцарства за коня!» Но гдѣ этотъ конь?

Осмѣлюсь ли я дерзкимъ перомъ дотронуться еще до свѣжихъ ранъ вашего сердца и напомнить грозное явленіе маленькихъ враговъ?

Вы, котораго я такъ уважаю, вы пишете стихи къ ней, восторгъ въ вашихъ очахъ, стихъ льется плавно, огонь и запахъ розы; но вотъ вамъ на носъ сѣла муха и прогуливается по немъ, вы ее согнали,—она опять на носу и сучить ногами, и вотъ вы бросаете перо, и у васъ завизывается упорный и отчаянный бой, можетъ быть, вы и побѣдите, но увѣ! гдѣ вашъ восторгъ, гдѣ вѣчное слово любви, о которомъ вы писали? Все вяло, не клеится, вы въ апатіи оттого, что всѣ силы души употребили на борьбу съ... мухой.

Вы смертельно устали съ дороги, вы десять верстъ мечтали подъ дождемъ о ночлегѣ, добрались, слава Богу, тепло и, кажется, довольно чисто, вы бросаетесь на постель, сонъ уже смыкаетъ глаза... А тутъ маленькая компанія черныхъ акробатовъ дѣлаетъ уже въ тиши *salti mortali* и торопится обидѣть васъ и, что хуже обиды, лишитъ покоя и, что хуже безпокойства и обиды, уничтожить ваше человѣческое достоинство, несмотря на дворянскую грамоту, которую вы, вѣроятно, имѣете. Извините, эти акробаты принимаютъ васъ за сѣбстной принасъ, для нихъ вы огромное блюдо, въ превосходствѣ котораго они не сомнѣваются, но все же блюдо. Счастье ваше, ежели въ это время ваша память такъ занята, что вы забыли микроскопическое изображеніе блохи, выставленное для поученія дѣтей въ книжной лавкѣ, этотъ страшный хоботъ, выходящій изъ-подъ чернаго шлема, лоснящася какъ сапогъ. Можетъ быть, вы и поймаете одну, двѣ *et ils crèverent comme des hérétiques*, но что значить двѣ, три, когда ихъ сотни... И вотъ вы, вмѣсто возстановительнаго сна, вертитесь со стороны на сторону, а на той сторонѣ встрѣчается смѣренный и нескачущій товарищъ акробатовъ, съ задумчивымъ и благочестивымъ видомъ квакера и съ небольшой семьей, которую онъ любить отъ души и которую привелъ изъ-подъ подушки поподчивать вамъ: если вы прибавите духъ, въ которомъ воспитаны эти квакеры, то картина готова. Данте не зналъ этого мученія, а то не могъ бы пропустить его. Вы въ досадѣ, въ бѣшенствѣ закигаете свѣчу... Только того и не доставало: тараканы вообразили, что вы имъ дадите иллюминацію, и пошли изъ щелей по столу, а черезъ столъ къ вамъ на подушку: русскіе тараканы, капитальные, основательные, мирно и тихо идутъ, а за ними и жал-

кіе прусаки, рыженькіе, бѣгутъ со всѣхъ сторонъ. Конечно, они не такъ вредны, какъ *boa constrictor*, но та только практически вредна, а тараканы обижаютъ взглядъ, наводятъ уныніе. Наконецъ, разсвѣтъ подтверждаетъ вамъ горестную истину, что ночь прошла, что черезъ часъ придетъ вашъ слуга будить, на заспанные глаза котораго вы бросите взглядъ шакала. Но, можетъ быть, вы еще уснете, я, ей-Богу, буду очень радъ. При разсвѣтѣ тараканы пойдутъ по щелямъ, они, какъ ночные извозчики въ Петербургѣ, тогда только и видны, когда ничего не видать; будьте увѣрены, они уйдутъ въ самое то время, какъ батальонъ мухъ, отдыхавшій всю ночь, отправится по всѣмъ направленіямъ, а между ними есть съ какими-то шилами между глазъ. Я не оканчиваю страшную картину.

А послѣ ваши друзья удивляются на досугѣ, отчего вы воротились грустны, исчезли свѣтлыя надежды, привѣтливость etc.

Но, утѣштесь, великое совершено:

На высотахъ Кавказа, возлѣ самой Персіи, растетъ одинъ цвѣтокъ, происхожденіе котораго никому неизвѣстно, кромѣ меня, а я вамъ расскажу его.

Однажды въ Персіи было очень много блохъ. Камбизъ не могъ спать, да и только; много переказнилъ онъ людей, призванныхъ въ совѣтъ о предохраненіи сына солнца отъ дочерей блохъ,—ничто не помогало. Онъ разсердился и пошелъ разорять Египетъ. Счастіе ему улыбалось; однажды онъ, довольный, наѣвши крокодиловыхъ яицъ въ смятку, курилъ пахитосъ въ Мемфисскомъ храмѣ, вдругъ его укусила блоха.

— Какъ! вскричалъ уязвленный Камбизъ, — и здѣсь та же непокорность! Нѣтъ, этого не потерплю, клянусь Ормуздомъ и Зендавестой!

Онъ тутъ же отдалъ приказъ сломать до основанія храмъ, потому весь Мемфисъ: но, справедливо полагая, что этого будетъ недостаточно, онъ велѣлъ предать огню и мечу весь Египетъ по ту и по другую сторону Нила, даже, если найдется третья сторона, и ее разорить. Но передъ нимъ предсталъ мудрый жрецъ, его всѣ уважали; онъ до того былъ уменъ, что сорокъ лѣтъ молчалъ. Старикъ бросился къ ногамъ Камбиза и сказалъ:

«Сынъ солнца, гармонія міра, представитель Ормузда, братъ быка Аписа и близкій родственникъ фараоновой мыши, нарѣченный супругъ Ибиса ест., ест.». Коротко сказать, онъ ему открылъ тайну, плодъ всей его жизни, — растеніе, уничтожающее блохъ и всѣхъ ихъ пріятелей, и тутъ же поднесъ ему фунтъ порошка. Камбизъ сомнѣвался и велѣлъ при себѣ сдѣлать опытъ надъ тремя любимцами: собакой и двумя сатрапами. Сатрапы накрали поскорѣе у собаки блохъ, чтобъ оправдать довѣріе Ормуздова

представители и, о восторгъ! опытъ удался. Камбизъ, пораженный, велѣлъ старика сковать и отослать въ Персію, чтобы онъ посѣялъ Pyrethrum. Тогда въ Персидскихъ вѣдомостяхъ были помѣщены прекрасные стихи, воспѣвавшіе Ормуздову попечительность Камбиза.

Вся Персія плакала отъ умиленія и, освободившись отъ блохъ, никогда не хотѣла никакого другого освобожденія. Ей казалось этого довольно.

Вотъ какъ успокоительно дѣйствіе порошка!

Недавно второй Камбизъ изъ Ревеля, К. И. Зонненбергъ, нашелъ потерянное сокровище.

Лѣтъ десять онъ усиливался взойти на утесы Кавказа, нѣсколько разъ срывался, падалъ съ высоты 2.800 футовъ, тонулъ, замерзалъ, таялъ отъ жары, по любовь къ ближнему и высокая мысль эмансипаціи все превозмогли, онъ набралъ Pyrethrum, и, когда онъ сорвалъ первый цвѣтокъ, тѣнь молчаливаго старца явилась на небѣ и благословила его.

Сиѣшите къ кондитеру Перу, тамъ есть еще нѣсколько картузовъ этой травы, посѣйте ее вездѣ и скажите: теперь я свободенъ и да поблѣднѣютъ враги мои!

NB. Нѣкоторыя предосторожности необходимы при употребленія порошка. Одинъ нашъ знакомый насыпалъ его по стѣнамъ и окнамъ и заперъ комнату; на другой день, представьте его удивленіе: онъ не могъ найти № «Москвитянина», оставленный имъ по небрежности въ той комнатѣ.

Капризы и раздумье.

I.

По разнымъ поводамъ.

Года два тому назадъ, умеръ въ своей подмосковной одинъ очень странный человѣкъ. Я его нѣсколько знавалъ при жизни, и довольно коротко познакомился съ нимъ послѣ его смерти. Человѣкъ онъ былъ тяжелый; его не любили, онъ надоѣдалъ своимъ рефлексивствомъ, — рефлексивство развилось у него подъ конецъ жизни въ болѣзнь, чуть не въ помѣшательство. Не было того простого вопроса, надъ которымъ бы онъ не ломалъ головы. Онъ утратилъ ту врожденную сумму правилъ и истинъ, которая впереди идетъ у каждого человѣка, которую мы находимъ въ своемъ сознаніи прежде, нежели начинаемъ разсуждать, такъ, какъ находимъ у себя носъ, глаза, — нисколько не трудившись пріобрѣсти ихъ и не зная собственно, откуда они. Чужакомъ называлъ ихъ *фунеросами* и искалъ иныхъ правилъ, до которыхъ не добился.

Странный человѣкъ былъ, сверхъ того, совершенно праздный человѣкъ. Не найдя никакой дѣятельности въ средѣ, въ которой родился, онъ сдѣлался туристомъ; потаскавшись лѣтъ десять по Европѣ, онъ воротился усталый, не совсѣмъ юный, и принялся читать. Читалъ днемъ, читалъ ночью, читалъ романы, читалъ ученые сочиненія, читалъ журналы и вскорѣ дочитался до отвращенія отъ книгъ; тогда онъ сложилъ руки и рѣшилъ ничего не дѣлать; вѣроятно для этого, онъ поселился въ Москвѣ. Мысль нельзя сложить какъ руки, она и во снѣ не совсѣмъ спитъ; дѣятельность мысли росла въ немъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе было всякой другой дѣятельности, и онъ дошелъ до своего вѣчнаго раздумья, до своего раздраженного, почти лихорадочнаго рефлексивства.

Послѣ его смерти попались мнѣ въ руки его бумаги; я нашелъ тамъ множество замѣтокъ, мыслей, *капризовъ*, брошенныхъ наскоро, но не лишенныхъ интереса, по крайней мѣрѣ патологическаго интереса. Посылаю два, три образчика въ вашъ альманахъ, — помѣстите ихъ, если найдете занимательнымъ для читателей.

Cogitata et visa.

I.

Легкое, повидимому только, легко, а трудное, повидимому только, трудно. Обыкновенно думаютъ: чѣмъ мысль общѣе, тѣмъ она труднѣе; что надобно имѣть чрезвычайное глубокомысліе и смѣлливость, чтобъ понять, напримѣръ, философскую книгу. Такъ думаютъ не только нечитающіе такихъ книгъ, но и тѣ, которые ихъ пишутъ; они, единственно для облегченія мыслей само-собою понятныхъ, затемняютъ ихъ до того, что онѣ дѣлаются совершенно непонятными. А посмотришь прямо въ глаза этимъ головоломнымъ истинамъ, снявши съ нихъ ежовую шкуру школьнаго изложенія, — ребенокъ пойметъ; труднѣе не понять ихъ, нежели понять. Если мы мало видимъ дѣтей, понимающихъ истины, — это оттого, что со дня рожденія развращаютъ естественный смыслъ ребенка воспитаніемъ. Воспитаніе очень надолго лишаетъ ребенка возможности понять ясное тѣмъ самымъ, что оно ему передаетъ темное за ясное, подавляетъ авторитетомъ, систематически приучаетъ дѣтей къ сумасшествію. Часть людей, свихнувшись въ молодости свой умъ, такъ и остается на всю жизнь, въ родѣ тѣхъ индѣйцевъ, которымъ при рожденіи сдавливали черепныя кости; многіе, потомъ, собственными трудами продолжаютъ развивать въ себѣ способность искаженного мышленія и достигаютъ нерѣдко нѣкоторой ловкости въ этомъ искусствѣ. Человѣку, понявшему ясно и основательно хоть одну ложь за правду, чрезвычайно трудно понять всякую истину; это объясняется по методу Какото: типы нелѣпныхъ выводовъ остаются въ головѣ, какъ законы, отъ которыхъ отвязаться мудрено. Не истины науки трудны, а расписка человѣческаго сознанія отъ всего наслѣдственного хлама, отъ всего осѣвного пла, отъ приниманія неестественнаго за естественное, непонятнаго за понятное.

Дѣйствительно трудное для пониманія не за тридевять земель, а возлѣ насъ, такъ близко, что мы и не замѣчаемъ его, — частная жизнь наша, наши практическія отношенія къ другимъ лицамъ, наши столкновенія съ ними. Людямъ все это кажется очень простымъ и чрезвычайно естественнымъ, а въ сущности нѣтъ головоломнѣе работы, какъ понять все это. Кто разъ, на минуту отступивъ въ сторону, добросовѣстно всмотрится въ ежедневную мелочь, въ которой мы проводимъ время, да подумаетъ объ ней, тотъ или расхохочется до того, что сдѣлается боленъ, или заплачетъ до того, что потеряетъ глаза. Мы слишкомъ привыкли

къ тому, что мы дѣлаемъ и что дѣлають другіе вокругъ насъ; насъ это не поражаетъ; привычка—великое дѣло, это самая толстая цѣпь на людскихъ ногахъ; она сильнѣе убѣжденій, таланта, характера, страстей, ума. Къ чему нельзя привыкнуть? Итальянецъ, живущій на Везувіи, привыкъ спать возлѣ кратера такъ же спокойно, какъ въ свою очередь нашъ мужичекъ спокойно отдыхаетъ въ обществѣ нѣсколькихъ тысячъ таракановъ. Митридатъ привыкъ вмѣсто кабула и сои приправлять кушанья всякими ядами и былъ очень здоровъ; а Фридрихъ II привыкъ класть въ супъ ассафетиду и находилъ, что его супъ прекрасно пахнетъ. Считаютъ, что все достойное вниманія, замѣчательное, любопытное — гдѣ-нибудь вдали, въ Египтѣ или въ Америкѣ; добрые люди не могутъ убѣдиться, что нѣтъ такого далекаго мѣста, которое не было бы близко откуда-нибудь; что вещь, возлѣ нихъ стоящая со дня рожденія, отъ этого не сдѣлалась ни менѣе достойною изученія, ни понятнѣе. Какъ на смѣхъ подобнымъ мнѣніямъ, все самое трудное, запутанное, самое сложное сосредоточивалось подъ крышей каждаго дома, — и критическій, аналитическій вѣкъ нашъ, критикуя и разбирая важные историческіе и всяческіе вопросы, спокойно, у ногъ своихъ, дозволяетъ расти самой грубой, самой нелѣпой непосредственности, которая мѣшаетъ ходить и предательски прикрываетъ болота и ямы; ядра, летящія на разрушеніе падающаго зданія готическихъ предразсудковъ, пролетаютъ надъ головою преготическихъ затѣй оттого, что они подъ самымъ жерломъ.

Наука, государство, искусство, промышленность идутъ, развиваясь, во всей Европѣ стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предприимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ, основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и внѣшнихъ necessitatibus; объ ней въ самомъ дѣлѣ никто не думаетъ, для нея нѣтъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ,—не даромъ ее называютъ *прозой*, въ противоположность плаксивой жизни балладъ и глупой жизни идиллій. Только лѣта юности обставлены по-художественнѣе; а потомъ за послѣднимъ лирическимъ порывомъ любви—утомительное *semper idem* закулисной жизни, ежедневной суеты, мелкихъ хлопотъ, булавочныхъ уколовъ и пр. Общія сферы похожи на вызолоченныя гостиныя и залы, на отдѣлку которыхъ употреблены капиталы; а частная жизнь — это тѣсная спальня, душная дѣтская, грязная кухня, гдѣ гости никогда не бываютъ. Конечно, въ послѣдніе три вѣка много пере мѣнилось въ образѣ жизни, впрочемъ, украдкой, безсознательно, даже вопреки убѣжденіямъ; мѣняя образъ жизни, люди не признавались въ этомъ, — знамена остались тѣ-же; люди, какъ ис-

панцы, хотить только сохранить *фигурсы*, несмотря на то, что большая часть ихъ не соотвѣтствуетъ настоящему. Прислушивалъ къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивинься, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобъ въ одно и то-же время совмѣстить въ свой нравственный кодексъ стоическія сентенціи Сенеки и Катона, романтически восторженные выходки рыцари среднихъ вѣковъ, самоотверженные правоученія благочестивыхъ отшельниковъ стѣнъ еивандскихъ и своскорыстныя правила политической экономіи. Безобразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ, именно—мертвую мораль, мораль, существующую только на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ недостойную управлять поступками; современная мораль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣйствія; это милый обманъ, нравственная благопристойность, одежда—не болѣе. У каждаго человѣка за этой официальной моралью есть свой спрятанный *esprit de conduite*; официально онъ будетъ плакать о томъ, что бѣдный бѣдень, официально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины,—*privatim* онъ беретъ страшные проценты, *privatim* онъ считаетъ себя въ правѣ обезчестить женщину, если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти всегда очернить его за глаза; въ Парижѣ я меньше встрѣчалъ шуринеровъ и эскарповъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье это, конечно, много способствуетъ къ растлѣнію, къ нравственному безсилію, въ которомъ рождаются и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ, и это лганье сдѣлалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ человѣка благовоспитаннаго по тому, что никогда не добьешься отъ него, чтобъ онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

Наполеонъ говаривалъ еще, что наука до тѣхъ поръ не объяснитъ главнѣйшихъ явленій всемірной жизни, пока не бросится *въ міръ подробностей*. Чего желалъ Наполеонъ,—исполнилъ микроскопъ. Естествоиспытатели увидѣли, что не въ палецъ толстыя артеріи и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшнить важнѣйшіе вопросы фізіологіи, а волосные сосуды, а клетчатки, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно рассмотреть пить за питью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самые сильныя

характеры, самыя огненныя энергіи. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлають дома, съ утра до ночи; они тщательно хлопочуть и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о вариационныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ, — но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ, и пр. пр., объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобъ не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобъ не дать развиваться угрызениямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ-же инстинктомъ, человекъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ, — а не пора-ли бы имъ на свѣтѣ? Я, какъ маленькія дѣти, боюсь темноты; мнѣ все кажется, что въ темнотѣ сидитъ злой духъ съ рыжей бородой и съ копытомъ. Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта, да и въ сущности это все равно: прячь не прячь — все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein
Still und fein gesponnen
Kommt—wie kann es anders sein?
Endlich an die Sonnen.

Изрѣдка какое-нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни, пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ возлѣ, заставитъ ихъ задуматься..... для того, чтобъ потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій человекъ въ мірѣ, который не найдетъ въ душѣ жестокости, чтобъ убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ доброе имя ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую прилагаетъ къ частному случаю, рассказанному во всей его непонятности. «Его жена уѣхала вчера отъ него». — Скверная женщина! «Отецъ его лишилъ наслѣдства». — Скверный отецъ! — Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы и люди, сознающіе себя честными и добрыми. Двѣсти лѣтъ тому назадъ, Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать какъ математическую задачу, т. е. стараться понять, — этого никакъ не растолкуешь. Къ тому-же, чтобъ преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобъ оно было чудовищно, громко, скандально, обито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, чтобъ посмотреть, какъ цари, герои, или, по крайней мѣрѣ,

полководцы и наперсники ихъ кровь проливаютъ, а не для того, чтобъ видѣть мѣщански проливаемая слезы. Людямъ необходимы декорации, обстановка, надписи; мѣщанинъ во дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говорить прозой,—мы хохочемъ надъ нимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса,—и мы не плачемъ надъ ними.

Лафаржъ отравила своего мужа (т. е. положимъ, что отравила; слѣдствие было сдѣлано такъ неловко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравила мышьякомъ своего мужа, или судьи отравили юриспруденціей г-жу Лафаржъ) — крикъ, толки. Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное,—въ этомъ никто не сомнѣвается; да что-же собственно новаго въ этомъ убійствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ-же самомъ Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ-бы въ годъ или въ два не случилось чего-нибудь подобнаго—разница въ оружійхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минеральнаго яду; а что далъ, напри-мѣръ, мой сосѣдъ, богатый откупщикъ, своей женѣ, которая вышла за него потому, что ея нѣжные родители стояли передъ нею на колѣнахъ, умоляя спасти ихъ имѣнье, ихъ честь — продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ? что далъ ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отчего эти ввалившіяся щеки, отчего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестятъ какимъ-то болѣзненно-жемчужнымъ отливомъ? Орфила и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ; и немудрено, ядъ у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользаютъ отъ химическихъ реакцій и отъ тупости людскихъ сужденій. «Чего недостаетъ этой женщинѣ? она утопаетъ въ роскоши», — говорятъ глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому, что онъ хочетъ,—себя наряжаетъ; онъ ее наряжаетъ потому, что она его; на томъ-же основаніи, какъ наряжаетъ лакея и кучера. — Все такъ,—говорятъ умнѣйшіе—но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнѣе переносить свою судьбу. А позвольте спросить: возможно-ли *хроническое* самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собою не важность: Курцій бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали, — это понятно; а безпрестанно, цѣлые годы, каждый день приносить себя на жертву,—да гдѣ-же взять столько геройства или столько ослинаго терпѣнья? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву—такая жертва, само-собою разумѣется, не приносится ни отцу, ни матери, потому-что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ, вѣро-

ятно, не остановился на куплѣ, потребовалъ, сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все человѣческое достоинство, любви и, не найдя ея, началъ, *par d'érêt*, тихое, кроткое, семейное преслѣдованіе, эту извѣстную охоту *par force*, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нѣжная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена, преслѣдованіе, отравляющее каждый кусокъ въ горлѣ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ; оно, какъ Янусъ, о двухъ лицахъ: одно для гостей, глупо-улыбающееся, другое для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гіены, сказалъ бы я, если-бъ гіены улыбались; хищные звѣри добросовѣстны, они не дѣлаютъ медовыхъ устъ, когда хотятъ кусать. Умри жена, супругъ воздвигнетъ монументъ; объ немъ будутъ жалѣть больше, нежели объ ней; онъ самъ обольетъ слезами ея гробъ и, для довершенія удара, слезами откровенными, онъ, подавая ей психическаго мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

Людямъ непременно надобны видимые знаки, несчастію нѣмому они сочувствовать не могутъ. «Вотъ, видите этого толстаго мужчину съ усами—онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ»,—и всѣ: «ахъ, Боже мой! бѣдный, что онъ вынесъ!» Ну, а какая-же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравниться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извергъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему ненавидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши, и тюремщикъ, исполняя свою обязанность, не смѣетъ идти далѣе приказа. Конечно, заключеніе тяжело,—я это знаю лучше многихъ, но ставить тюрьму рядомъ съ семейными несчастіями смѣшно. Люди, по своему несовершеннolѣтію, только тѣ несчастія считаютъ великими, гдѣ цѣпи гремятъ, гдѣ есть кровь, синія пятна, какъ-будто хирургическія болѣзни сильнѣе нравственныхъ.

Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, тухнувшая лампа, догорающая свѣча,—на меня находитъ ужасъ: за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣются горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь.—Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ и спятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница притѣсненная, задавленная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ непременно кому-нибудь да солоно жить.

Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не совѣтъ еще выработалось въ шесть тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди и не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой.

Право такъ. У большей части людей мозгъ ребячій,—имъ надобны дядьки, няньки, педали, наказанія, приказанія, карцеры, игрушки, конфеты и прочее—дѣло дѣтское!

II.

Богатые люди по большей части или моты, или скупцы; на сотни выплещется одинъ, который умѣетъ управлять своимъ состояніемъ, не впадая въ крайность расточительности или скупости. Совершенно случайное сосредоточеніе огромныхъ средствъ какъ-то кружитъ голову людямъ; они бросаютъ ихъ, или не употребляютъ, доказывая въ обоихъ случаяхъ ненужность ихъ. Впрочемъ, не надобно ставить расточительность и скупость на одну доску. Расточительность носить сама въ себѣ предѣлъ: она оканчивается съ послѣднимъ рублемъ и съ послѣднимъ кредитомъ; скупость безконечна и всегда при началѣ своего поприща; послѣ десяти милліоновъ, она съ тѣмъ-же оханьемъ начинается откладывать одиннадцатый. Расточительность поправляетъ сдѣланное стяжаніемъ, она видитъ горсть золота въ своихъ рукахъ, неизвѣстно, какъ въ нихъ понавшуюся, не выработанную, свалившуюся съ неба,—и бросаетъ ее за наслажденія, пиры, за упоеніе нѣгой, за удобства роскоши. Конечно, это дурно, т. е. то дурно, что человѣкъ ставитъ высшимъ наслажденіемъ суетное удовольствіе желаній, если и не порочныхъ, то пустыхъ; но вредъ расточительности больше отрицательный; мотъ могъ-бы лучше употребить себя и свои средства—безъ сомнѣнія; но онъ и не удерживаетъ эти средства въ своихъ рукахъ, а отдаетъ ихъ другимъ; собственно гнѣстнаго, преступнаго ничего нѣтъ въ расточительности; мотовство часто сопрягается съ художественной любовью изящнаго, съ благородными порывами. Избалованный мотъ иногда откажетъ въ участіи, но дастъ денегъ; скупой никогда не откажетъ въ участіи, но никогда денегъ не дастъ. Въ мотѣ есть что-то избалованное, прихотливое, распушенность характера гетеры; въ скупцѣ что-то преступное, анти-соціальное, онъ похожъ на шакала, онъ хуже его. Дидро говоритъ, что онъ знаетъ только одинъ порокъ, и этотъ порокъ—скупость.

Ревнивая привязанность къ имуществу безнравственна; богатство хранимое болѣе развращаетъ человѣка, нежели богатство расточаемое; оно, какъ тяжелая гиря, стягиваетъ къ землѣ всякой порывъ, всякую благородную мысль; не имущество принадлежитъ

скупому, а скупой имуществу. Слово—«недвижимое имѣніе» значить для скупца капканъ, въ который пойманъ подвижный духъ его. Деньги и богатство — страшный оселокъ для людей; кто на немъ попробовалъ себя и выдержалъ испытаніе, тотъ смѣло можетъ сказать, что онъ человѣкъ. Самоотверженіе на поприщѣ гражданственности, мужество на полѣ битвы, смѣлая рѣчь, патріотизмъ, готовность служить другу рукой, головой,—все это довольно часто встрѣчается на бѣломъ свѣтѣ; но.... но до кармана касаться не совѣтую тому, кто хочетъ сохранить юношескія вѣрованія. Гдѣ люди, которые не согнутся подъ бременемъ ожидаемаго милліона? А если есть такіе, которые не своротятъ съ прямой дороги для чужого милліона, то, конечно, нѣтъ такихъ, которые не своротятъ, чтобъ сохранить свой собственный.

Обвиняють мота въ неуваженіи къ деньгамъ; но онѣ и недостойны уваженія, такъ, какъ вообще всѣ вещи, кромѣ художественныхъ произведеній. Человѣкъ ими пользуется, употребляетъ ихъ,—и вещь вполне достигаетъ высшей цѣли, отдаваясь въ наслажденіе человѣку; другого уваженія она не заслуживаетъ, другимъ образомъ человѣкъ можетъ уважать только человѣка; уважать вещь — вообще безсмыслица, но уважать деньги — двойная безсмыслица: въ вещи я уважаю иногда ея красоту, воспоминанія, сопряженныя съ нею, но деньги—алгебраическая формула всякой вещи, не вещь, а представительница вещей.

Расточительность и скупость—двѣ болѣзни, текуція изъ одного источника и приводяція различными путями къ одному концу. Голодная бѣдность мота встрѣчается съ голоднымъ богатствомъ скупца, и тутъ они равны. Лучшаго доказательства нелѣпости богатства быть не можетъ.

Безнравственно быть мотомъ, зная, что сосѣдъ умираетъ съ голоду,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; придетъ время, будутъ удивляться нашему аппетиту и крѣпости нервъ, особенно дамскихъ; но... но есть нѣчто гораздо безнравственнѣйшее: беречь свои деньги, зная, что сосѣдъ умираетъ съ голоду.

III.

Совершеннолѣтіе закономъ опредѣляется въ 21 годъ. Въ дѣйствительности, убѣгающей отъ ариметическихъ однообразныхъ опредѣленій, можно встрѣтить старика лѣтъ двадцати и юношу лѣтъ въ пятьдесятъ. Есть люди, совершенно неспособные быть совершеннолѣтними, такъ, какъ есть люди, неспособные быть юными. Знаменитая Бетина оставалась ребенкомъ на всю жизнь—тѣмъ самымъ восторженнымъ ребенкомъ, котораго кудри ласкалъ олимпийской рукой Гёте, никогда не бывшій юношей въ жизни;

онъ отбылъ, какъ извѣстно, свою юность Вертеромъ. Біографы Пьютона удивляются, что ничего не извѣстно объ его ребячествѣ, а сами говорятъ, что онъ въ восемь лѣтъ былъ математикомъ, то есть, не имѣлъ ребячества. Напротивъ, Лафайетъ въ семьдесятъ лѣтъ нуждался еще въ гувернерѣ,—это было самое благородное и самое старое дитя обоихъ полушарій. Для одного юность—эпоха, для другого—цѣлая жизнь. Въ юности есть нѣчто, долженствующее проводить до гроба, но не все: юношескія грезы и романтическія затѣи очень жалки въ старикѣ и очень смѣшны въ старухѣ. Остановиться на юности потому скверно, что на всемъ останавливаться скверно,—надобно быстро нестись въ жизни; оги загорится—пускай себя, лишь-бы не заржавѣли. Человѣкъ, способный на дѣйствительность, на совершеннолѣтіе, имѣетъ органъ претворенія всѣхъ событій, внутреннихъ и вѣшнихъ, въ такую ткань, которая, безпрестанно обновляясь, сама усугубляетъ силу и объемъ взгляда; изъ юношескаго романтизма онъ троитъ практическій взглядъ; онъ подъ тѣми-же словами разумѣетъ несравненно ширшія понятія; старый юноша неподвижно остается при старыхъ понятіяхъ. Въ юности человѣкъ имѣетъ непремѣнно какую-нибудь мономанію, какой-нибудь несправедливый перевѣсъ, какую-нибудь исключительность и бездну готовыхъ истинъ. Плоская натура при первой встрѣчѣ съ дѣйствительностію, при первомъ жесткомъ толчкѣ, плюетъ на прежнюю святыню души своей, ругается надъ своими заблужденіями и, по мѣрѣ надобности, беретъ взятки, женится изъ денегъ, строитъ домъ, два.... Благородная, но не реальная натура идетъ наперекоръ событіямъ, не стремится понять препятствія, а сломить ихъ, лишь бы спасти свои юношескія мечты, и обыкновенно, видя, что нѣтъ успѣха, останавливается и, остановившись, повторяетъ всю жизнь одну и ту-же ноту, какъ роговой музыкантъ. Натура дѣйствительная не такъ поступаетъ: она воспитываетъ свои убѣжденія по событіямъ, такъ, какъ Петръ I воспитывалъ своихъ воиновъ шведскими войнами; она не держится за старое въ его буквальномъ смыслѣ, она не съ юношескими сентенціями отправляется на борьбу, на жизнь, а съ юношеской энергіей: сентенціи, правила ей не нужны, у ней есть *тактъ*, т. е. органъ импровизаціи, творчества; она вступаетъ во взаимодѣйствіе съ окружающей средой: ничего не можетъ быть болѣе удалено отъ твердыхъ и закоснѣлыхъ истинъ, какъ дѣйствительное воззрѣніе; оно тягуче, тягуче, оно колеблется какъ вода въ морѣ, — но кто сдвинетъ подвижное море?

Всѣ нѣмецкіе филистеры по большей части бурши, не умѣвшіе примирить юное съ совершеннолѣтнимъ. Самая смѣшная сторона филистерства именно въ этомъ сожитіи въ одномъ и томъ-же человѣкѣ теоретической юности съ мѣщанскимъ совершеннолѣтіемъ.

Старѣться значитъ окостенѣть; неправда, что всякой долженъ старѣться; старѣется собственно остановившаяся натура, она тогда въ мертвенномъ покоѣ, осѣдаетъ кристаллами; въ нравственномъ мірѣ то-же, что въ физическомъ: мозгъ сохнетъ, хрящъ идетъ въ кость, зубы костенѣютъ до того, что выпадаютъ изъ рта, какъ камешки. Но въ нравственномъ мірѣ это не непремѣнно, натура, безпрестанно обновляющаяся, безпрестанно развивающаяся—въ старости молода. Натура реальная почти не имѣетъ способности старѣться,—она по преимуществу душа живая. Сикстъ V распрямился, чтобъ достать головою тіару, старость не помѣшала ему.

Старый юноша имѣетъ свои приемы, которыми онъ съ двухъ словъ обличаетъ себя. Вы его узнаете по ненависти къ Гёте и по пристрастію къ Шиллеру, по его презрѣнію къ практической дѣятельности, къ матеріальному интересу; онъ не любитъ желѣзныхъ дорогъ, положительности, индустріи, Сѣверной Америки, Англіи; онъ любитъ средніе вѣка, платоническую любовь; ему надобенъ эффектъ, фраза,—и замѣтьте, что у него эффектъ и фраза вовсе не ложь, вовсе не поддѣльны, онъ за фразу пойдетъ и сядетъ на колъ, если только онъ живетъ въ такой образованной странѣ, гдѣ за фразу сажаютъ на колъ. Романтизмъ вообще ищетъ несчастій, онъ очищается имъ, хотя мы не знаемъ, гдѣ онъ загрязнился; это особая метода леченія, Unglückskur, такъ, какъ есть Wasserkur, Hungerkur. Старый юноша—это Эгмонтъ; юный старецъ—это Вильгельмъ-Оранскій. Донъ-Карлосъ, маркизъ Поза, Максъ Пикколомини—должны были умереть въ юности, и образы ихъ остались у насъ неразрывны съ чертами отроческой красоты, и такъ они хороши. Исторія намъ много завѣщала вѣчно-юныхъ лицъ, начиная съ представителя Греціи Ахилла и до... ну хоть до Шарлотты Кордэ. Доживи Максъ Пикколомини до генераль-аншефовъ, Донъ-Карлосъ до смерти Филиппа II, они пережили бы себя, они играли бы престранную роль, или должны были бы переработаться, но въ томъ-то и бѣда, что въ нихъ мало замѣтно перерабатывающей силы. Такъ, какъ они есть, они высоко художественны; но для того, чтобъ ихъ оставить такими, надобно было ихъ спасти смертной казнію. Таковъ нашъ соотечественникъ Владиміръ Ленскій,—и Пушкинъ разстрѣлялъ его. Не такова Татьяна,—и она осталась, слава Богу, здорова. Шекспиръ зналъ, что дѣлать, прерывая, такъ сказать, на первомъ поцѣлѣ нить жизни Ромео и Юліи.

II.

Новыя варіаціи на старыя темы ¹⁾.

Нѣкогда школа остановилась въ грустномъ недоумѣніи, пораженная страшными и, повидимому, безвыходными противорѣчіями, которыми Кантъ завершилъ свое ученіе и изъ-за которыхъ вдали видѣлись улыбающіяся черты его учителя, Юма. Казалось, послѣдняя опора человѣка—разумъ подкосился, достоинство вѣдѣнія исчезла; робкіе умы, всегда предпочитающіе бѣгство труда и лѣнивый покой утомительному изслѣдованію, стали отступать въ свои всегдашнія зимнія квартиры—въ мистицизмъ; эмпирики иронически улыбались; а въ сущности антиноміи Канта были основаны на одномъ формальномъ противорѣчіи и на насильственномъ раздвоеніи истины; вскорѣ наука обличила это.

Но если мы сравнимъ противорѣчія, поставленныя Кантомъ, съ противорѣчіями, встрѣчающимися въ сознаніи современнаго человѣка, то увидимъ, что отъ послѣднихъ не такъ легко отдѣлаться: они прокрались во все наши убѣжденія, исказили весь нравственный бытъ. Они упорны, какъ все явленія полусознательныя и, слѣдовательно, полусостоящія въ волѣ человѣка (человѣкъ дѣйствительно свободенъ только въ томъ, что вполне понимаетъ); они трудно-уловимы, безпрестанно мѣняють платья, форму, языкъ, по временамъ до того притихаютъ, что становятся незамѣтными; но преупорно остаются при своей задней или лучше дряхлой мысли. Тѣмъ опаснѣе эти противорѣчія, что они почти всегда скрыты за туманомъ внутреннихъ чувствъ, что они изобѣгаютъ рѣзко высказаннаго имени, что, наконецъ, знамя, выставленное ими съ величайшей добросовѣстностью, прикрываетъ совѣмъ иное содержаніе. Рядомъ такихъ противорѣчій, утомительныхъ, ироническихъ, оскорбительныхъ, проходитъ озабоченное человѣчество передъ нашими глазами, льетъ свои слезы, льетъ свою кровь, мучится, споритъ, становится съ той или другой стороны, думаетъ примирить, думаетъ побѣдить,—не можетъ, и вмѣсто того, чтобъ наслаждаться жизнью, склоняетъ усталую голову подъ

¹⁾ Статья эта была напечатана въ „Современникѣ“ 1847 года. Случайно въ моихъ бумагахъ остались рукописи этой статьи и другой, также напечатанной въ „Современникѣ“. „Объ историческомъ развитіи чести“; слѣдя ихъ, можно вполне оцѣнить отеческое попеченіе цензуры того времени, при этомъ не слѣдуетъ забывать, что отъ 1843 до 1848 была самая либеральная эпоха николаевского царствованія.

то или другое ярмо предразсудковъ. Но кто же ставить, кто поддерживаетъ это ярмо? Его никто не ставить и никто не поддерживаетъ. Заблужденія развиваются сами собою, въ основѣ ихъ лежитъ всегда что-нибудь истинное, обросшее слоями ошибочнаго пониманія; какая-нибудь простая житейская правда—она мало по малу утрачивается, между прочимъ, потому, что выражена въ формѣ, несвойственной ей; а вѣками скопившаяся ложь, сѣдая отъ старости, опираясь на воспоминанія, переходитъ изъ рода въ родъ. Баратынскій превосходно назвалъ предразсудокъ обломкомъ древней правды. Эти обломки составляютъ одно начало для противорѣчій, о которыхъ мы говоримъ, по другую сторону ихъ—отрицаніе, протестъ разума. Развалины эти поддерживаются привычкой, лѣнью, робостью и, наконецъ, младенчествомъ мысли, не умѣющей быть послѣдовательною и уже развращенной принятіемъ въ себя разныхъ понятій безъ корня, и безъ оправданія, рассказанныхъ добрыми людьми и принятыхъ на честное слово. Это совершенно противно духу мышленія, но оно очень легко: вмѣсто труда и пота—органъ слуха, вмѣсто логической наготы—готовое богатство, вмѣсто нравственной отвѣтственности передъ самимъ собою—младенческая зависимость отъ внѣшняго суда.

Но не должно забывать, что и сознаніе, что и трудъ мысли имѣетъ свою сильно-увлекательную прелесть; а потому, кромѣ несчастной, отстраненной нуждою и работою толпы, да кромѣ пресытившейся и утонувшей въ нѣгѣ другой толпы, почти никто не остается спокойно при готовыхъ понятіяхъ; это просто неестественно человѣку, у котораго мысль сколько-нибудь возбуждена; но хотѣть мыслить, но любить и желать истины—еще не все, тутъ и открываются трагико-логическія столкновенія, скорбныя и мучительныя противорѣчія. Всмотритесь въ нравственный бытъ современнаго человѣка, вы будете поражены противорѣчіями, глубоко и до поры до времени мирно лежащими въ основѣ всѣхъ его дѣлъ, мыслей, чувствъ: это одна изъ самыхъ рѣзкихъ, отличительныхъ чертъ нашего образованія. Отсюда желаніе сохранить разомъ науку со всѣми ея правами, съ ея притязаніемъ на самозаконность разума, на дѣйствительность вѣдѣнія, и всѣ романтическія выходки противъ разума, основанныя на неопредѣленномъ чувствѣ, на темномъ голосѣ; отсюда желаніе воспользоваться всѣми благами современнаго и будущаго, не утрачивая ни одного блага прошедшаго, несмотря на то, что сознаніе несправедливости послѣдняго—единственное условіе водворенія первыхъ. Слѣдствія этой шаткости, этого колебанія—тѣ, которыхъ надобно было ожидать: поразительная смѣлость въ посылкахъ и поразительная робость въ силлогизмѣ, удалъ въ отвлеченіяхъ и

несостоятельность въ приложеніяхъ. Наконецъ, отсюда же истекаетъ потребность возстать всѣми силами противъ этого немужественнаго, ложнаго, стертаго направленія.

Наука, выросшая вдали отъ жизни, за стѣнами аудиторій, держалась большею частію въ отвлеченіяхъ, говорила свысока, языкомъ труднымъ и въ то-же время неопредѣленнымъ, которымъ она столько же высказывалась, сколько скрывалась; въ ея распущенныя, незамкнутыя категоріи вносили все, что хотѣли, придавая грубому матеріалу, захваченному съ улицы, современный лоскъ и отливая его въ логическія формы. Такое неустройство продолжаться не можетъ; время такихъ себя-обольщеній прошло; теперь труднѣе безнаказанно и шутя плавать по поверхности науки, играть ея истинами; ея основы глубоки, а глубь тянетъ въ себя; надобно опуститься съ головою или выходить по добру, по здорову на берегъ и оставить науку и себя въ покоѣ; оно, можетъ быть, и лучше, кому это возможно. Блаженъ, говорить Пушкинъ:

Кто, хладный умъ уgomонивъ,
Покоится въ сердечной нѣгѣ,
Какъ пьяный путникъ на ночлегѣ.

Отойти еще легко; но дѣйствительно трудно становится долго продержаться Колоссомъ родосскимъ—одна нога на берегу, другая на другомъ: берега все болѣе и болѣе раздвигаются. Да и зачѣмъ эта двойственность? «Будь то или другое», какъ говорилъ Іоаннъ. Въ этомъ отношеніи скажемъ смѣло: хвала дерзкому языку, которымъ съ нѣкотораго времени заговорила наука нашего вѣка. Это кончитъ поскорѣ всѣ недоразумѣнія. Ей не нужно скрываться, у ней совѣсть чиста; пора говорить просто, ясно; пора все говорить, насколько это возможно. Половина поклонниковъ современной мысли непременно отойдетъ,—что за бѣда? Кто отойдетъ, тотъ былъ чужой, тотъ былъ обманутъ. Оставляя что-либо недоговореннымъ, значитъ оставлять возможность ложнаго пониманья; надобно, напротивъ, предупреждать всякое двусмысленное выраженіе,—этого требуетъ честность въ наукѣ. Таковъ языкъ Спинозы. Можно съ нимъ ни въ чемъ не соглашаться, но нельзя не остановиться съ уваженіемъ передъ этой мужественной и открытой рѣчью, и вотъ разгадка, почему его вдесятеро болѣе ненавидѣли, чѣмъ другихъ мыслителей, говорившихъ то же, что и онъ.

Говорить языкомъ откровеннымъ можетъ всякій благородный человѣкъ, имѣющій право говорить; но говорить языкомъ совершенно простымъ бываетъ, не скажу невозможно, но трудно при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Современнo слагающееся возрѣніе

на жизнь сложно; взятое съ боя, выработанное въ мучительной борьбѣ, въ отрицаніяхъ и лишеніяхъ, неконченное, наконецъ, оно трудно уловляется въ какой-нибудь маленькій кодексъ, въ нѣсколько общихъ мѣстъ, громкихъ словами и скудныхъ содержаніемъ; можетъ быть, оно трудно уловляется оттого, что его требованія и выше и многостороннѣе требованій прежнихъ моралистовъ и юристовъ. Несмотря на это, новое воззрѣніе имѣетъ не только свою опредѣленность, но и свой инстинктъ, который никогда не обманетъ того, кто совѣстливо выработалъ себѣ смыслъ его, и кто понятое оставилъ не въ отвлеченіи, а принялъ въ мозгъ и кровь. При всемъ этомъ, можно-бы было просто передавать многое, если-бъ просто понимали; но главное препятствіе въ томъ, что каждый является съ готовыми убѣжденіями, воспитавши въ себѣ возможность спокойно укладывать въ головѣ самыя крутыя противорѣчія; что дѣлать съ такими умами? Задача тутъ измѣняется, вопросъ становится не педагогическій, а патологическій. Кто *не все* исторгнулъ изъ груди неоправданное разумомъ, тотъ не свободенъ и можетъ дойти до того, что отвергнетъ *весь* разумъ. Беранже говорить, что его муза прекапризная: за малѣйшій кончикъ галуна начинаетъ бѣситься и кричать ¹⁾. Его муза права; дѣло не въ сажени и не въ вершкѣ галуновъ, а въ галунахъ вообще.

Обернитесь, куда хотите, въ психическомъ быту нашемъ, вы вездѣ найдете эту борьбу сознанія съ привычкой, мысли съ разсказомъ, логики съ преданіемъ, ума съ дѣломъ, философіи съ исторіей. За примѣрами далеко ходить нечего.

I.

Люди испоконъ вѣка или, по крайней мѣрѣ, съ Троянской войны толкуютъ о нравственной независимости, о стремленіи къ ней, о ея достоинствахъ и прелестяхъ, однако не вкушаютъ этихъ прелестей, потому что они несравненно болѣе привязаны (хоть и не хвастаются этимъ) къ авторитетамъ, къ внѣшнимъ велѣніямъ, къ указаніямъ, нежели къ нравственной свободѣ. Любовь къ нравственной свободѣ—чисто платоническая, идеальная; по ней вздыхаютъ, о ней говорятъ въ ученыхъ предисловіяхъ и въ академическихъ рѣчахъ, ей поклоняются пламенные души, но на благородной дистанціи. Людямъ страшна отвѣтственность самобытности; любовь ихъ къ нравственной независимости удовлетворяется вѣчнымъ ожиданіемъ, вѣчнымъ стремленіемъ, они скромно рвутся, воздержно стремятся къ предмету желаній и чувствительно вѣрятъ, что ихъ желанія осуществляются, если не

¹⁾ Цензура пропустила: A bas la livrée!

въ настоящемъ, то въ будущемъ; такая вѣра утѣшаетъ и мирить ихъ съ настоящимъ,—чего-же лучше? Вспомнимъ при этомъ грубыхъ и дикихъ средневѣковыхъ рыцарей, съ своимъ гордымъ и воинственнымъ видомъ слушающихъ благочестиваго капеллана и его поученія о смиреніи, о нищетѣ. Они слушаютъ и глубоко горюють о томъ, что все это не исполняется... а если-бъ?... не такъ бы пришлось горевать имъ. Милая наивная логика!

Съ своей стороны, любовь къ умственному авторитету вовсе не платоническая, а обыкновенная, супружеская d'un mariage de raison, такая любовь, въ которой мечтами и поэзіей пожертвовано для домашнихъ удобствъ, для экономіи, для порядка, для лѣни. Лѣнь и привычка—два несокрушимые столба, на которыхъ покоится авторитетъ. Авторитетъ представляетъ собственно опеку надъ недорослемъ; лѣнь у людей такъ велика, что они охотно сознають себя несовершеннолѣтними или безумными, лишь бы ихъ взяли подъ опеку и дали бы имъ досугъ ѣсть или умирать съ голоду, а главное—не думать и заниматься вздоромъ. Правда, люди боятся умственной неволи, особенно, когда шилою не позолочена, когда она груба, нагла, но они вдвое больше боятся отсутствія авторитета, т. е. простоты, шири, которая тогда дѣлается; они знаютъ, что человѣкъ слабъ, того и смотри—избалуетъ.

Внѣшній авторитетъ несравненно удобнѣе: человѣкъ сдѣлалъ скверный поступокъ—его пожурили, наказали, и онъ квитъ, будто и не дѣлалъ своего поступка; онъ бросился на колѣни, онъ попросилъ прощенія, его, можетъ, и простятъ. Совсѣмъ другое дѣло, когда человѣкъ оставленъ на самого себя: его мучитъ униженіе, что онъ отрекся отъ разума, что онъ сталъ ниже своего сознанія, ему предстоитъ трудъ примириться съ собою, не слезливымъ раскаяніемъ, а мужественною побѣдою надъ слабостью. Но побѣды эти не легки. Первое дѣло, за которое принимаются люди, отбросивъ одинъ умственный авторитетъ,—принятіе другого, положимъ лучшаго, но столько же притѣснительнаго, а если забыть его содержаніе, то и не лучшаго, по очень простой причинѣ, потому что и люди сдѣлались лучше, слѣдовательно, отношеніе осталось то же. Китаецъ, которому дадутъ пятьсотъ бамбуковъ за нарушеніе какой-нибудь изъ десяти тысячъ церемоній, столько же ими огорчится, сколько французъ, котораго драму запретятъ играть самымъ учтивѣйшимъ образомъ ¹⁾. Даже такіе привилегированные эмансипаторы, какъ Вольтеръ, умѣи кощунствовать

¹⁾ „Переходъ отъ авторитета къ авторитету похожъ на то, что дѣлали встарь наши крестьяне: они пользовались Юрьевымъ днемъ, только для того, чтобъ по собственному выбору избрать барина нѣсколько лучше“.

надъ религіей, оставались просто идолопоклонниками *своихъ вымысловъ и призраковъ* ¹⁾).

Моралисты часто умилительно говорятъ о гибельномъ пороѣкѣ властолюбія; властолюбіе, какъ и всѣ прочія страсти, доведенное до крайности, можетъ быть смѣшнымъ, печальнымъ, вреднымъ, смотря по кругу дѣйствій; но властолюбіе само по себѣ вытекаетъ изъ хорошаго источника, изъ сознанія своего личнаго достоинства; основываясь на немъ, человѣкъ такъ бодро, такъ смѣло вступалъ вездѣ въ борьбу съ природою и развилъ въ себѣ ту гордую нескнетаемость, которая насъ поражаетъ въ англичанинѣ. Къ тому-же въ нѣсколько устроенномъ обществѣ, властолюбіе, какъ дикая страсть, является такъ рѣдко, что едва-ли стоитъ о немъ говорить. Совсѣмъ иное дѣло умалчиваемая моралистами любовь къ подвластности, къ авторитетамъ, основанная на самопрезрѣніи, на уничтоженіи своего достоинства,—она такъ обща, такъ эпидемически поражаетъ цѣлыя поколѣнія и цѣлые народы, что о ней стоило бы поговорить; но они молчатъ! Считать себя глупымъ, неспособнымъ понять истины, слабымъ, презрѣннымъ, наконецъ, и получающимъ все свое значеніе отъ чего-нибудь внѣшняго,—неужели это добродѣтель? «Я теперь остался круглымъ сиротой, нѣтъ ни отца, ни матери», говорилъ мнѣ одинъ *чиновникъ* ²⁾ лѣтъ пятидесяти; онъ въ эти лѣта и совершивъ уже общественную тягу, понимаетъ себя безъ отца и матери *сиротою*, а не самобытнымъ, на своихъ ногахъ стоящимъ человѣкомъ. Не смѣйтесь надъ нимъ: также не самобытна большая часть самыхъ развитыхъ людей; вы у каждого найдете какое-нибудь карманное идолопоклонство, какое-нибудь дикое понятіе, унаслѣдованное отъ няньки и спокойно прожившее лѣтъ тридцать съ возрѣніемъ, вовсе несвойственнымъ нянькамъ, и, наконецъ, хоть какой-нибудь авторитетъ, безъ котораго онъ пропалъ, безъ котораго онъ круглая сирота. Вотяки трепещутъ передъ палкой, къ которой привязана козлиная борода,—это ихъ шайтанъ. Нѣмцы трепещутъ передъ страшными призраками своей науки. Конечно, отъ грубаго вотяцкаго шайтана до шайтана нѣ-

¹⁾ „Какой-то естественной и пренелѣпой религіи. Вольтеръ, точно такъ, какъ въслѣдствіи Робеспьеръ, испугался прямого результата, своихъ проповѣдей. Они лучше хотѣли выдумать искусственный авторитетъ, нежели оставить людей неподвластными. Нужно-ли говорить о всей сухости, всей безнравственности всего неуваженія къ истинѣ и всего презрѣнія къ людямъ, проглядывающей сквозь такое возрѣніе. Тотъ, кто безъ вѣры хочетъ поработить другого чему-нибудь, тотъ самъ порабощенъ, рабъ и плантаторъ вмѣстѣ. Кто далъ имъ право скрывать истину подъ спудомъ, если они были въ самомъ дѣлѣ призваны ее свидѣтельствовать, и что за самоуниженіе сказать, что человѣкъ не долженъ, не можетъ знать истины! Религія никогда не шла этимъ путемъ явнаго обмана“.

²⁾ Въ текстѣ: Безерочно отпускнуой солдатъ.

мецкой философіи большой шагъ; но родственныя черты не мудрено раскрыть между ними. «Я вижу на твоёмъ челѣ нѣчто такое, что меня заставляетъ тебя почитать царемъ», — сказалъ Кентъ безумному Тпру. А мы можемъ сказать многимъ, кичащимся своею умственною независимостію: «Я вижу на твоёмъ челѣ нѣчто такое, что меня заставляетъ назвать тебя рабомъ!»

II.

Нѣтъ той всеобщей, истинной мысли, изъ которой бы, вмѣсто расширенія круга дѣйствій, человѣкъ не сплелъ веревку для того, чтобъ ею-же потомъ перевязать себѣ ноги, а если можно, то и другимъ, такъ что свободное произведеніе его творчества дѣлается карательною властью надъ нимъ самимъ; нѣтъ того истиннаго, простого отношенія между людьми, котораго бы они не превратили во взаимное поработеніе: любовь, дружба, братство, со-племенность, наконецъ, самая *любовь къ волю* послужили неизсякаемыми источниками нравственныхъ притѣсненій и неволи. Мы здѣсь вовсе не говоримъ о внѣшнихъ стѣсненіяхъ, а о боязливой, теоретической совѣсти людей, о стѣсненіяхъ внутреннихъ, добровольныхъ, отогрѣваемыхъ въ собственной груди, о трепетѣ передъ послѣдствіемъ, о боязни передъ правдой. Человѣкъ стоитъ безпрестанно на колыняхъ передъ тѣмъ или другимъ, — передъ золотымъ тельцомъ или передъ внѣшнимъ долгомъ; всего чаще, онъ, какъ извѣстный своей разсѣянностью графъ Остерманъ, склоняется передъ своимъ собственнымъ изображеніемъ въ зеркалѣ, передъ фатой-морганой, отражающей ему его самого. Потребность чтить, уважать такъ сильна у людей, что они безпрестанно что-нибудь уважаютъ въ себѣ — отца и мать, повѣрья своей семьи, нравы своей страны, науку и идеи, передъ которыми они совершенно стираются. Все это, допустимъ, и хорошо и необходимо, но дурно то, что имъ въ голову не приходитъ, что и внутри ихъ есть достойное уваженія, что они, не краснѣя, вынесутъ сравненіе со всѣмъ уважаемымъ; они не понимаютъ, что человѣкъ, презирающій себя, если уважаетъ что-либо, то ужъ онъ въ прахѣ передъ уважаемымъ, его рабъ; что онъ уже преступилъ святую заповѣдь: «не сотвори себѣ кумира».

И между тѣмъ, дѣйствительно все превращается въ кумиръ; даже логическую истину, даже самую свойственную человѣку форму жизни превращаетъ человѣкъ себѣ въ тяжкой долгъ, онъ заставляетъ себя насильственно повиноваться своему собственному побужденію, — такъ въ немъ искажены всѣ понятія ¹⁾. Если

¹⁾ Но этого мало: не одной покорности требуютъ моралисты, не одного не

долгъ мною признанъ, то онъ столько же силлогизмъ, выводъ, мысль, которая меня не тѣснитъ, какъ всякая истина, и котораго исполненіе мнѣ не жертва, не самоотверженіе, а мой естественный образъ дѣйствія; мнѣ никто не запрещалъ говорить, что $2 \times 2 = 5$, но я противъ себя не могу этого сказать. Дѣло все состоитъ въ томъ, что моралисты главнымъ основаніемъ своего ученія кладутъ глубокую истину, что человѣкъ отъ природы злодѣй и извергъ, изъ чего и выводятъ, что онъ *долженъ быть добродѣтельнымъ*. Отчего-же ни одинъ звѣрь не имѣетъ отъ природы развратныхъ побужденій, т. е. такихъ, которыя были бы несвойственны и вредны его формѣ бытія? Странная была бы исключительная привилегія человѣка (*homo sapiens*!) быть въ противорѣчій съ своими опредѣленіями, съ своимъ родовымъ значеніемъ и притягиваться къ нему на арканѣ. Если-бъ это было въ самомъ дѣлѣ такъ, то надлежало бы заключить, что или человѣкъ нелѣпъ, или что долгъ нелѣпъ, т. е. не выражаетъ его назначенія. Быть *человѣкомъ* въ человѣческомъ обществѣ вовсе не тяжкая обязанность, а простое развитіе внутренней потребности: никто не говоритъ, что на пчелѣ лежитъ священный долгъ дѣлать медъ; она его дѣлаетъ потому, что она пчела. Человѣкъ, дошедшій до признанія своего достоинства, поступаетъ человѣчески потому, что ему такъ поступать естественнѣе, легче, свойственнѣе, пріятнѣе, разумнѣе; я его не похваляю даже за это, онъ дѣлаетъ свое дѣло, онъ не можетъ иначе поступать, такъ, какъ роза не можетъ иначе пахнуть.

«Поэтому всѣ сознательные люди будутъ героями добродѣтели, самоотверженія и проч.» Нисколько. Дѣлать героическіе подвиги принадлежитъ натурѣ героической, такъ, какъ творить художественныя произведенія принадлежитъ поэту. Но не дѣлать ничего противучеловѣческаго принадлежитъ всякой человѣческой натурѣ, для этого не требуется даже много ума; никому не даю я права требовать отъ меня героизма, лирическихъ поэмъ и пр., но всякому принадлежитъ право требовать, чтобъ я его не оскорбилъ и чтобъ я не оскорблялъ его—оскорбленіемъ другого. Человѣкъ, не дошедшій до признанія, дитя, больной, неполный человѣкъ, недоросль; онъ внѣ закона нравственного, потому что онъ его не понимаетъ своимъ закономъ; за это хотя онъ и вѣренъ своей степени развитія, покоряясь страстямъ больше разума, его должно силою заставить покориться, на томъ основаніи, на которомъ приказываютъ дѣтямъ исполнять волю стар-

шественнаго исполненія *того, что* называютъ долгомъ (потому что содержаніе его до капризности многообразно), но еще чтобъ внутри души своей человѣкъ считалъ внѣшній долгъ, хотя и противъ своихъ убѣжденій, за безусловно-нравственную истину.

шихъ, или, если хотите, изъ тѣхъ началъ, по которымъ сажаютъ сумасшедшаго на цѣпь. Сомнительно, чтобъ внѣшнія мѣры исправили кого-нибудь, но онѣ держать въ страхѣ,—и цѣль достигнута. Уголовные законы составляются въ пользу общества, а не въ пользу преступника ¹⁾. Здѣсь дѣло въ томъ, чтобъ заставить лицо исполнить общую волю, и въ большей части случаевъ развитый человѣкъ ей уступить, если не по охотѣ, то по разсчету, онъ долженъ покориться, потому что онъ слабѣйшій; имѣй онъ достаточно силы, онъ вышелъ бы на борьбу съ ложнымъ въ его глазахъ началомъ, такъ, какъ Сократъ. Лицо можетъ столько-же забѣжать противъ общества, сколько отстать; въ обоихъ случаяхъ можно обуздать, понудить лицо, но мѣры его дѣяній и ихъ несоответственности съ общепринятымъ, но это вовсе не выгода и прелесть общественной жизни, а необходимость ея, ея невыгода,—жертва, которую лицо приносить ей, а жертва никогда не бываетъ наслажденіемъ, я, по крайней мѣрѣ, не знаю радостныхъ жертвъ, потому что радостная жертва вовсе не жертва. Но моралисты вздумали придать какой-то абсолютно высокій характеръ обыкновеннымъ полицейскимъ мѣрамъ, которыя не болѣе какъ справедливы въ юридическомъ смыслѣ и необходимы для столкновений въ обществѣ. Представляя себѣ слишкомъ отвлеченно и односторонне идею долга, они захотѣли, чтобъ и въ политическомъ мірѣ человѣкъ предупредительно, добровольно жертвовалъ собою и всѣмъ своимъ...

III. ²⁾

Ничто въ свѣтѣ не поддерживаетъ такъ сильно людей въ искаженномъ пониманіи, какъ нашъ условный и до крайности невѣрный языкъ; мы нехотя безпрестанно лжемъ, мы говоримъ готовыми типами, и типы эти беремъ изъ двухъ совершенно прошедшихъ міросозерцаній—римскаго и феодальнаго; мы словами своими мѣшаемъ понимать просто и ясно свою-же мысль. Это и грустно, и досадно, и смѣшно!

Что такое эгоизмъ? сознаніе моей личности, ея замкнутости, ея правъ? Или что-нибудь другое? Гдѣ оканчивается эгоизмъ и гдѣ начинается любовь? Да и дѣйствительно ли эгоизмъ и любовь

¹⁾ О пользѣ преступнику толкуютъ изъ того-же лицемѣрія, о которомъ мы столько говорили. Разумѣется, что этимъ путемъ общество можетъ подавить и праваго, и всегда побѣтъ слабого; впрочемъ Гуссъ былъ казненъ, а Лютеръ самъ казнился.

²⁾ Въ текетъ: „Кто для кого, личность для общества, или общество, государство для лица?“

Безъ сомнѣнія лицо для государства, иначе что-же это будетъ *эгоизмъ, своеволие!*

Я совершенно, совершенно согласенъ съ вами.“

противоположны, могутъ-ли они быть другъ безъ друга? Могу ли я любить кого-нибудь не для себя, могу ли я любить, если это не доставляетъ *мнѣ*, именно *мнѣ* удовольствія? Не есть ли эгоизмъ одно и то же съ индивидуализаціей, съ этимъ сосредоточиваніемъ и обособленіемъ, къ которому стремится все сущее, какъ къ послѣдней цѣли? Всего меньше эгоизма въ камнѣ; у звѣря эгоизмъ сверкаетъ въ глазахъ; онъ дикъ и исключителенъ у дикаго человѣка, не сливается ли онъ съ высшей гуманностью у образованнаго?

Вы думаете, что моралисты разрѣшили эти вопросы; нѣтъ, они отдѣляются доблестнымъ негодованіемъ противъ всего эгоистическаго; они знаютъ, что эгоизмъ значительный порокъ, имъ это довольно; ихъ безпорочная натура мечетъ громы на него и не унижается до пониманія. Станные люди! вмѣсто того, чтобъ именно на эгоизмъ, на этомъ въ глаза бросающемся грунтѣ всего человѣческаго, создать житейскую мудрость и разумныя отношенія людей, они стараются всѣми силами уничтожить, замарать эгоизмъ, т. е. срыть *die feste Burg* человѣческаго достоинства и сдѣлать изъ человѣка слезливаго, сентиментальнаго, прѣснаго добряка, напрашивающагося на добровольное рабство. Слово *эгоизмъ*, какъ слово *любовь*, слишкомъ общи: можетъ быть гнусная любовь, можетъ быть высокій эгоизмъ, и обратно. Эгоизмъ развитого, мыслящаго человѣка благороденъ, онъ-то и есть его любовь къ наукѣ, къ искусству, къ ближнему, къ широкой жизни, къ неприкосновенности и проч.; любовь ограниченнаго дикаря, даже любовь Отелло высшій эгоизмъ. Вырвать у человѣка изъ груди его эгоизмъ значитъ вырвать живое начало его, закваску, соль его личности; по счастью, это невозможно и напоминаетъ только того почтеннаго моралиста, который отучилъ свою лошадь отъ эгоистической привычки ѣсть и очень сердился, что она умерла, какъ только стала отвыкать отъ пищи...

Что мы сказали объ эгоизмѣ, то же должно сказать о своеволіи. *Мининъ началъ своевольно великое дѣло возстанія противъ чужеземнаго порабоженія.* 1) Неужели его своеволіе похоже на своеволіе пьяницы, придирающагося къ прохожимъ? 2) Я полагаю, что *разумное признаніе своеволія есть высшее нравственное признаніе человѣческаго достоинства*, 3) что до него и домогаются всѣ. Отчего эти недоразумѣнія, этотъ смутный хаосъ понятій? Отъ дурной привычки брать и понятія и слова безъ анализа,

1) Въ текстѣ: „Виллберфорсъ началъ своевольно хлопотать объ освобожденіи негровъ и послѣ долгихъ, многолѣтнихъ трудовъ—достигъ желаемаго.“

2) „Да и потомъ, что же за нравственная обязанность быть подъ авторитетомъ *чужезолія*?

3) „Я полагаю, что своеволіе есть высшая нравственная среда, что до нея и домогаются всѣ.“

блага мы унаследовали ихъ отъ схоластики. Жизнiю люди стали выше этой унижающей точки зрѣнiя, но изъ учтивости и по скверной привычкѣ остаются при старомъ языкѣ, и таково странное право словъ: мы чувствуемъ, что неладно, что не такъ выражаемся, — но не языкъ отбрасываемъ, а принимаемъ превратный образъ. Мы перетаскали изъ средневѣковаго міра натянутую, романтико-мистическую обстановку всѣхъ наипростѣйшихъ истинъ и затемнили ихъ. Обстановка эта всему придаетъ, какъ освѣщеніе бенгальскимъ огнемъ, странный и изуродованный видъ. Мораль наша еще въ феодальной одеждѣ, но уже въ полинялой и истасканной; ея оружія заржавѣли и притупились, утратили свою рѣзкость и сдѣлались площе. Слагающаяся новая жизнь, непризнанная въ сферѣ морали, почва совершенно неудобная для такихъ сѣмянъ. Она и не пустила корней. Возьмите обыкновенную свѣтскую мораль, — все это до такой степени неистинно, переиначено изъ разныхъ началъ, такъ нелѣпо, шатко, бѣдно, что жаль видѣть добросовѣстную преданность проповѣдующихъ ее. Когда для морали былъ одинъ источникъ — религія, тогда она была послѣдовательна; она стройно шла изъ одного начала. Новый человѣкъ, этотъ Криспинъ, слуга двухъ господъ, хочетъ сохранить выводы прежней морали, но источникомъ ей поставилъ отвлеченный долгъ. Можете себѣ представить плоды такой логики! Отшатнувшись отъ твердаго берега, люди испугались; имъ, привыкшимъ къ мрачнымъ сводамъ, къ освѣщенію свѣчами, къ сырому испаренію каменныхъ стѣнъ, сдѣлалось невыносимо тяжело на чистомъ полѣ, отъ воздуха, отъ солнца, отъ отсутствiя стѣнъ, отъ безграничной дали и возможности идти во всѣ стороны. Со страху они построили на скорую руку досчатый балаганъ нашей морали и подумали, что это новый храмъ, въ то время, какъ въ сущности этотъ балаганъ ничто другое, какъ временной лазаретъ.

Желаніе выйти изъ романтизма ощутительно, но робко покидаемъ мы его; насъ гнететъ вліяніе пугающихъ мечтаній и привычныхъ грѣзъ, и мы равно не имѣемъ геройства ни воротиться къ средневѣковымъ воззрѣніямъ, ни пожертвовать ими; мы краснѣемъ еще при мысли, что у насъ есть тѣло, и не вѣримъ, что мы духи; у насъ въ памяти глубоко вкоренились клеветы, подъ вліяніемъ которыхъ мы думаемъ нашу думу, и готовые образы, отъ которыхъ мысль наша отстать не можетъ. Съ грустью говорить ужъ объ этомъ Гегель, вотъ слова его: «Мы всѣмъ нашимъ образованіемъ погружены въ фантастическія представленія, которыя трудно переступить. Древніе мыслители были совѣмъ не въ томъ положеніи; обычные къ чувственному созерцанію, они не имѣли ничего впередъ идущаго, кромѣ небесъ сверху и земли

внизу. Мысль вольно ширилась и сосредоточивалась въ этомъ мірѣ, и сосредоточивалась свободная отъ всякаго даннаго содержанія: это было вольное выплываніе въ ширь, гдѣ ничего нѣтъ ни подъ нами, ни надъ нами, гдѣ мы остаемся наединѣ съ собою». (Encyclop. Tom. I)...

С. Соколово. Іюль, 1846 года.

IV¹⁾.

Есть слова, понятія, опозоренныя, не смѣющія явиться въ порядочное общество, такъ, какъ не смѣетъ въ него явиться палачъ, отвергаемый людьми за то, что исполняетъ ихъ волю. Что подумали бы о человѣкѣ, который поднялъ бы, напримѣръ, рѣчь въ защиту *пристрастія* и сказалъ бы, что *пристрастіе* настолько выше *справедливости*, насколько *любовь* выше *равнодушія*?

Здѣсь опять не можетъ быть и рѣчи о томъ, что всякое *пристрастіе* выше всякой *справедливости*,—главное дѣло въ томъ, *во имя чего* человѣкъ *пристрастенъ*.

— Нѣтъ, все равно,—для чего бы человѣкъ ни былъ *пристрастенъ*—онъ поступаетъ безчестно, слабодушно!

Хорошо, что такія вещи только говорятъ, а дѣлаютъ совсѣмъ иное.

Справедливость въ человѣкѣ, не увлеченномъ страстью, ничего не значить, довольно безразличное свойство лица, подтверждающаго, что днемъ—день, а ночью—ночь. Въ основѣ всѣхъ отвлеченныхъ, безличныхъ сужденій нашихъ (математическихъ, химическихъ, физическихъ) лежитъ *справедливость*; но въ основѣ всего личнаго, любви, дружбы лежитъ *пристрастіе*. Бракъ основанъ на *пристрастномъ* предпочтеніи одной женщины всѣмъ остальнымъ, одного мужчины—всѣмъ прочимъ. Предпочтеніе, которое мать оказываетъ своему ребенку, вопіющее *пристрастіе*; мать, которая была-бы только *справедлива* къ дѣтямъ, могла бы служить образцомъ сухого и бездушнаго существа. Семейная любовь—такое же *пристрастіе*, не выдерживающее критики, какъ любовь къ отечеству. Строго *справедливъ* космополитъ. *Справедливъ* человѣкъ, ничего не любящій особенно; мизантропъ очень недурно выразился, сказавши: «L'ami du genre humain ne peut pas être le mien». Разумѣется, что здѣсь рѣчь идетъ не о другѣ *человѣчества*, а о другѣ со всѣми на свѣтѣ, то есть ни съ кѣмъ въ особенности. Фанатическій мечтатель Сень-Жюсть пошелъ далѣе мизантропа (онъ вообще не останавливался передъ послѣдствіями, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось кому-нибудь, или ему самому потерять голову) и требовалъ, чтобъ гражданина, не имѣю-

¹⁾ Этого параграфа вовсе не было напечатано.

щаго друга въ тридцать лѣтъ, лишать правъ гражданства, какъ человѣка, не имѣющаго способности быть пристрастнымъ.

«Справедливость прежде всего»—говорять французы; съ этимъ можно согласиться, лишь бы любовь была въ концѣ всего. *Pereat mundus et fiat justitia*, говорятъ по-латыни нѣмцы, и съ этими нельзя согласиться, потому что антитезисъ дурно выбранъ. Нѣмцы странный народъ; мало того, что они имѣютъ Аѳины въ Берлинѣ, Аѳины въ Мюнхенѣ, они хотятъ еще на порошніе пьедесталы греческихъ боговъ поставить свои тощія метафизическія привидѣнія; греческіе боги—чего нѣтъ другого—были разбитые люди, любили весело пировать, пили безмѣрно амброзію, собою были красивы, да и не то, чтобы слишкомъ цѣломудренны,—самъ старикъ Зевсъ завертывался иногда съ волоокой Герой облакомъ (простодушный Гомеръ думаетъ, что это онъ отъ людей прятался, а мыѣ кажется просто отъ Ганимеда). На ихъ то вакансіи берлинскіе аѳиняне хотятъ помѣстить свои трансцендентальныя абстракціи безъ тѣла и жизни, а тоже со строгостями.

— «Идея все, человѣкъ—ничего» — «Всеобщему надобно жертвовать частнымъ». Если слушать и принимать все за чистыя деньги, то можно подумать, что нѣмцы худшіе террористы въ мірѣ, готовые жертвовать лицами, поколѣніями. На дѣлѣ нѣмецъ жертвуетъ всѣмъ міромъ и всѣми идеями въ пользу тихой, семейной жизни, съ подругою дней и ночей, которая останется ему вѣрна лѣтъ сорокъ при жизни, да лѣтъ двадцать послѣ его смерти; въ пользу вечеровъ въ полисадничкѣ, куда приходитъ ученый другъ, также занимающійся филологіей, читать вмѣстѣ Оукидида, или что-нибудь такое современное. У нихъ подобнаго рода выходки до того безвредны, что имъ позволено ихъ высказывать и печатать въ толстыхъ книгахъ; всѣ знаютъ, что нѣмецъ скорѣе переведетъ Ротека на санскритскій языкъ, нежели теоретическую мысль на практику; бѣда въ томъ, что вся Европа стала читать по-нѣмецки. Вотъ какъ французы примутся писать комментаріи къ такимъ идеямъ, того и смотри, что попадешь на фонарь,—французы народъ веселый, а шутить не любятъ. Нѣмцы вовсе не веселый народъ, а шутятъ шутки нехорошія, они и не подумали, что если *mundus* погибнетъ, а *justitia* останется, гдѣ будетъ мюнхенская пianaкотека и гисенская лабораторія?

Люди любятъ декорацію, они и въ истинѣ видятъ одну эффектную сторону,—сзади хоть трава не рости, а *истинныя* истины только кубическія, и всѣ три измѣренія имъ необходимы.

Разумѣется, есть отношенія, по которымъ всеобщее важнѣе частнаго; личность, противудѣйствующая всеобщему, попадаетъ на глуное положеніе человѣка, бѣгущаго съ лѣстницы въ то самое время, какъ густая колонна солдатъ подымается на нее; таковы

личности тирановъ, консерваторовъ, дураковъ и преступниковъ. Но голову мнѣ было бы жалъ отрубить и злодѣю; расчетъ простой: если человѣку отрубить голову, она никогда не выростетъ, а всеобщее, какъ гидра лернская,—тутъ срубили голову, а тамъ двѣ выросли.

Апостолъ Павелъ не говоритъ, что любовь справедлива, а говоритъ, что она *милосерда, долготерплива*. Когда въ тяжелую, въ горькую минуту раскаянія я бѣгу къ другу, я вовсе не справедливости хочу отъ него. Справедливость мнѣ обязанъ дать квартальный, ежели онъ порядочный человѣкъ; отъ друга я жду не осужденія, не ругательства, не казни, а теплаго участія и восстановления меня любовью, отъ него я жду, что онъ половину моей ноши возьметъ на себя, что онъ скроетъ отъ меня свою чистоту.

Если я въ человѣкѣ люблю только его идею, я не люблю человѣка, а люблю идею. Такую теоретическую симпатію можно имѣть къ книгѣ, къ художественному произведенію; но съ человекомъ я мало соединенъ общимъ признаніемъ нѣсколькихъ истинъ, тѣмъ болѣе, что всякой не сумасшедшій долженъ признать истину. Если-бъ достаточно было одного отвлеченнаго согласія мыслей, то все умные люди были бы друзья. Не только ума не достаточно для сближенія, но даже генія: я могу благоговѣть передъ Гёте; но, что бы мы съ нимъ стали дѣлать, если-бъ жизнь свела насъ? Не всякому данъ свыше талантъ быть Эккерманомъ или Ласъ-Казомъ.

Справедливость высшее достоинство судьи, но судья перестаетъ быть человекомъ, пока онъ сидитъ на судейскомъ стулѣ: онъ непогрѣшающій органъ законодательства, онъ языкъ, но не онъ разумъ, не онъ воля—разумъ законъ. Чѣмъ болѣе онъ вѣритъ, что онъ судья, что преступникъ подсудимый, что въ законѣ рѣшено трудное уравненіе прошедшихъ событій съ грядущими истязаніями, тѣмъ незыблемѣ должна быть его справедливость.

Когда люди не были такъ разборчивы, какъ теперь, и были полны наивной вѣры, они безъ малѣйшаго раздумья водили на казнь во имя всякой идеи и во имя всякаго убѣжденія. За что погибли тысячи и тысячи еретиковъ? За то, что одни увѣряли, что *2×2 три*, а другіе твердо знали, что *2×2 пять*, и жарили за это цѣлыми стадами честныхъ испанцевъ, нѣмцевъ, голландцевъ, и неумытные судьи, возвращаясь домой, говорили, «что дѣлать, справедливость выше всего, *pereat mundus et fiat iustitia*»,—и кротко засыпали съ чистой совѣстью на мягкихъ подушкахъ, забывая запахъ подожженаго мяса. ¹⁾

С. Соколово. Іюль, 1846.

¹⁾ Конца нѣтъ въ тетради.

Станція Едрово.

Въ 1842 г. въ Новѣгородѣ я написалъ двѣ статьи, сильно ходившія по рукамъ: «Москва и Петербургъ» и «Владиміръ и Новгородъ». Ни та, ни другая не были напечатаны въ Россіи. Въ 1845—46 споры о Москвѣ и Петербургѣ повторялись ежедневно, или лучше еженочно. Даже въ театрѣ пѣли какіе-то петербургубійственные куплеты *Н. С. Аксакова* въ водевилѣ, въ которомъ была представлена встрѣча москвичей съ петербуржцами на большой дорогѣ.

В. Драшусовъ собирался въ 1846 издавать «Московской Городской Листокъ» и просилъ у насъ статей. У меня ничего не было, я предложилъ ему передѣлать, особенно въ *видахъ цензуры*, мою статью о «Москвѣ и Петербургѣ». «Я вамъ сдѣлаю изъ нея встрѣчу въ родѣ Аксаковской!» Редакторъ былъ доволенъ и торопилъ меня.

— Я такъ вдохновился вашимъ почтовымъ куплетомъ,—сказалъ я Константину Сергѣевичу—что самъ для «Листка» написалъ «станцію».

— Надѣюсь однако вы не за..

— Нѣтъ, нѣтъ, *противъ*.

— Я такъ и ждалъ, что вы противъ.

— Да, да, только, вѣдь, притомъ противъ *обоихъ*!

I.

Отъ С.-Петербурга 334³/₄ вер.

Отъ Москвы... 342³/₄ вер.

Nel mezzo del camin... Здѣсь Дантъ сбился съ дороги: Едрово именно mezzo del camin между Москвой и Петербургомъ. Конечно, въ XIII столѣтіи немудрено было сбиться съ дороги, и я очень вѣрю, что Дантъ обрадовался, встрѣтившись подалѣе съ Виргиліемъ. Въ одиночествѣ какъ-то невесело по такой дорогѣ, особенно за 500 лѣтъ прежде, нежели она была проложена. Совершенно безъ заботы насчетъ пути, я, съ своей стороны, сидѣлъ

нынѣшней осенью въ этой безразличной точкѣ между двухъ великихъ центровъ, изъ которыхъ одинъ въ серединѣ, а другой съ краю, и съ душевною кротостью ожидалъ, пока мнѣ сварятъ;—что вы думаете?

— Soupe à la tortue?

— Нѣтъ, не отгадали. Шину на колеса.

Дѣлать было нечего, я вспомнилъ шиллерову резигнацію, спросилъ себѣ порцію кофе, вынулъ изъ мѣшка сигары, томикъ Мартина Чазельвита и, какъ ожидать надобно было, не развертывалъ его. Порядочный человѣкъ можетъ читать только у себя въ комнатѣ, гдѣ всѣ предметы ему надобны; оттого добродѣтельные отцы семействъ читаютъ велухъ многолѣтнимъ подругамъ жизни и малолѣтнимъ дѣтямъ своимъ. Есть ли какая-нибудь возможность не нѣмцу читать на станціи? Тутъ все развлекаетъ: картинная галлерея на стѣнѣ, ящики передъ окномъ, толстая трактирщица, худошащая горничная... и, наконецъ, объявленіе о цѣнахъ кушаній, которыхъ нѣтъ, и «правила, какъ себя вести пріѣзжимъ». Не успѣлъ я обозрѣть всѣ эти интересные предметы, одни и тѣ же во всѣхъ гостиницахъ и притомъ совершенно различные, какъ подѣхала съ петербургской стороны и съ гласомъ трубнымъ *почтовая карета*. На сей разъ она везла не подсвѣчники отвлеченныхъ мнѣній, не милые куплеты, къ которымъ едва приклеены поющіе ихъ люди, а просто живыхъ людей. Сначала явился человѣкъ лѣтъ 30-ти, въ пальто съ поднятымъ воротникомъ, повязанный пестрыми въ мѣрѣ кашне, съ сигарой въ зубахъ и съ маленькимъ дорожнымъ сакомъ на ремнѣ. Онъ вошелъ въ шляпѣ, употребилъ большія усилія, чтобы не замѣтить меня, подошелъ къ зеркалу и тутъ снялъ шляпу, увидѣвши въ стеклѣ знакомыя и уважаемыя черты свои, потомъ досталъ лорнетъ, вставилъ его какъ двойную раму въ глазъ и началъ съ презрительной миной разсматривать всѣ вещи въ комнатѣ, въ томъ числѣ и меня. Я ему, должно быть, не понравился; бросивъ два-три взгляда какъ-то подозрительно изъ-подлобья, онъ почувствовалъ ко мнѣ такое отвращеніе, что сѣлъ въ обратныя три четверти. За нимъ явился въ тепломъ сюртукѣ оскорбительно-коричневаго цвѣта сѣденькой старичекъ, съ черными зубами и съ натуральными волосами, до того похожими на парикъ, что никто не купилъ бы себѣ парика изъ нихъ. Я тотчасъ заподозрѣлъ, что онъ лѣтъ десять... нѣтъ, лѣтъ двадцать столоначальникомъ и что въ отличномъ порядкѣ ведетъ дѣла своего стола, самъ черновыя пишетъ, раньше всѣхъ приходитъ и позже всѣхъ уходитъ; теперь онъ, должно быть, ѣдетъ осматривать имѣнье: директоръ хочетъ купить, просилъ сѣздить... отчего-же не сѣздить?.. Эта краткая біографія пришла мнѣ въ голову,

какъ только я увидѣлъ почтеннаго бюрократа. Столоначальникъ смотрѣлъ не съ тѣмъ презрѣніемъ, какъ господинъ въ пальто, однакожъ не безъ страха: я началъ думать, что трактирщикъ сдѣлать глупую шутку и увѣрилъ ихъ, что я имѣю привычку поелѣ кофе кусаться. Вмѣстѣ съ столоначальникомъ вошелъ купецъ съ бородой, перекрестился, поклонился мнѣ и началъ расчесывать густую окладистую бороду свою. Кондукторъ замѣтилъ, что «здѣсь слѣдуетъ пить чай»—и вышелъ.

— Мальчикъ! закричалъ господинъ въ пальто дѣвкѣ, которая стояла въ буфетѣ.

Чего изволите?—спросила дѣвка въ должности мальчика.

— Рюмку коньяку и бутербротъ.

— Коньяку нѣтъ.

— Ну, рюмку джину.

— И такихъ напитковъ нѣтъ.

— Ну, рюмку кирша.

Дѣвка не отвѣчала, увѣренная въ томъ, что путешественникъ ее дурачить и что такого напитка нѣтъ во всей солнечной системѣ.

— Экая гостиница! да что-жъ у васъ есть?

— Есть горькая и есть анисовая.

— Ну, дай анисовой.

— И порцію чаю, голубушка, прибавилъ купецъ.

Столоначальникъ ничего не спрашивалъ: онъ вѣрилъ въ чай купца и вѣра его оправдалась. Купецъ велѣлъ дать два стакана, столоначальникъ отказался,—и сѣлъ пить.

— Да передъ чаемъ-то не выпить ли по рюмочкѣ? спросилъ купецъ, вынимая фляжку и серебряную чарку.

— Нѣтъ-съ, не беспокойтесь, отвѣчалъ столоначальникъ.

Купецъ налилъ, подаль своему сосѣду, тотъ выпилъ, онъ налилъ другую... и, нѣсколько колеблясь, обратился къ господину въ пальто съ вопросомъ:

— Не позволите ли васъ, государь мой, просить нашимъ православнымъ, т. е. практическимъ: оно здоровѣе-съ сладкой.

— А что это у васъ за практическое? сказалъ пальто, благосклонно улыбаясь и съ видомъ покровителя.

— Пѣнничекъ-съ—очищенный.

— Нѣтъ-съ, благодарю покорно. Я когда ноги мою себѣ простымъ виномъ, и то запахъ такъ противенъ, что душистой бу-мажкой курю весь день.

— Была-бы-съ честь приложена-съ,—отвѣтилъ купецъ и такъ зло-лукаво улыбнулся, какъ будто онъ сомнѣвался въ томъ, можетъ ли тотъ ноги чѣмъ-нибудь, не только пѣннымъ виномъ.

(Столоначальникъ въ благодарность за хлѣбъ и соль, состояв-

шіе изъ чаю и сивухи, началъ въ полголоса какой-то разскалъ купцу... Я не могъ слышать всего, но до меня долетали слѣдующія слова: «Я и говорю: ваше превосходительство! вы, примѣромъ будучи, отецъ чиновника... конечно, маленькій человѣкъ есть червь... нашъ-то генераль, вѣдь это умница..... вотъ-съ, прихожу въ канцелярію... только экзекуторъ... ну, и лисабонскаго какъ слѣдуетъ»...

На самомъ этомъ португальскомъ названіи, не торопясь и покачиваясь со стороны на сторону, подѣхалъ бѣлокурый дилижансъ первоначальнаго заведенія изъ Москвы; наверху торчали утесы поклажи, изъ оконъ высовывались подушки. Дилижансъ былъ крупнаго калибра, и черезъ минуту обѣ комнаты гостиницы наполнились народонаселеніемъ этого ковчега; тутъ были старики и дворовые люди, дѣти и комнатныя собаки. Впереди всѣхъ явился толстой господинъ въ енотовой шубѣ, съ огромными усами, съ крестомъ на шеѣ и въ огромныхъ мѣховыхъ сапогахъ. Входя, онъ втащилъ съ собою 50 кубическихъ футовъ холоднаго воздуха. Онъ такъ сбросилъ свою шубу, что накрылъ ею полкомнаты и правую ногу господина въ пальто; господинъ въ пальто съ поспѣшностью спасъ свои сигары и съ чрезвычайно недовольнымъ видомъ вытащилъ свою ногу; въ то же время рукавъ шубы какъ-то коснулся затылка столоначальника, который въ ту же минуту привсталъ и извинился.

— Здравствуйте, господа! сказалъ новый гость, очутившійся въ черномъ бархатномъ архалукѣ. — Эй малый! приготовь гдѣ-нибудь умыться. Не могу ни чаю пить, ни трубки курить, не умывшись... Да и чаю живо!

Пока господинъ въ архалукѣ отдавалъ приказъ, тащился въ черной бархатной шапкѣ и въ синей медвѣжьей шубѣ, подпоясанный шарфомъ, въ валеныхъ сапогахъ сѣраго цвѣта, человѣкъ очень пожилой и съ нимъ юноша лѣтъ 20-ти, ушитаый, краснощекій, съ дерзкимъ и смущеннымъ видомъ, который пріобрѣтаютъ барины въ патріархальной жизни по селамъ своихъ родителей. Пока я разсматривалъ его, съ господиномъ въ синей шубѣ сдѣлалось престранное превращеніе: человѣкъ въ нагольномъ тулупѣ развязалъ ему шарфъ, стащилъ съ него шубу, и, представьте наше удивленіе, онъ очутился въ шелковомъ стеганомъ халатѣ, точно онъ не то что два дня въ дорогѣ, а года два не выходилъ изъ комнаты; въ этомъ костюмѣ видъ у него былъ до того московскій, что я былъ увѣренъ, что онъ ѣдетъ изъ Тулы или Рязани.

Господинъ въ архалукѣ отправился умываться. Дамы не вошли. Одна только старуха приходила въ буфетъ, требуя самовара, съ присовокупленіемъ, что чай и сахаръ возить свои.

А что будетъ стоять самоваръ?

— Двадцать копеекъ серебромъ, отвѣчала горничная.

— Двадцать копеекъ серебромъ! повторила барыня, и никто еще не говорилъ съ такимъ нѣжно-дрожащимъ и въ то же время исполненнымъ негодованіемъ голосомъ о двугривенномъ.

— Точно такъ.

— Вы точно нехристи... двадцать копеекъ серебромъ!... за что? за простую воду... слыханое-ли это дѣло?... Вода даръ божій, для всѣхъ течетъ—и двадцать копеекъ серебромъ!

Послѣ этого замѣчанія, зараженнаго коммунизмомъ, она пошла съ ворчаніемъ въ другія комнаты. Но потеря ея вознагради-лась московскимъ купцомъ, точно также перекрестившимся и раскланившимся со всѣми, точно также спросившимъ себѣ чаю. Черезъ минуту оба бородача говорили между собою, какъ старые знакомые, въ то время какъ остальные проѣзжіе разсматривали другъ друга, какъ иностранцы.

— Что, батюшка, изъ Москвы или изъ Питера? спросилъ пестербургскій купецъ юношу съ патриархальнымъ видомъ.

— Да—отвѣчалъ молодой человѣкъ, которому смерть хотѣлось выдать себя за юнкера: онъ съ этой цѣлью безпрестанно крутилъ слабые и пушистые намеки на будущіе усы,—мы ѣдемъ въ Петербургъ.

— Изволили прежде въ Питерѣ бывать?

— Да, какъ-же! отвѣчалъ молодой человѣкъ, покраснѣвшій до ушей: юная совѣсть дугрызала его за то, что онъ еще не былъ въ Петербургѣ, и за то, что солгалъ.

Господинъ въ архалукѣ возвратился съ лицомъ, украшеннымъ каплями воды, и съ полотенцемъ въ рукѣ:

— Трубку! да скажи моему человѣку, чтобъ мой чубукъ принесли, не могу курить изъ вашихъ. А гдѣ-же чай?

— Готовъ, сказалъ трактирщикъ, возмѣвшій особенное уваженіе къ человѣку въ архалукѣ, и указалъ ему на столъ возлѣ господина въ пальто. Господинъ въ архалукѣ бросилъ сахаръ въ стаканъ и слѣдующій вопросъ въ сосѣда:

— Вы изъ Петербурга изволите?

— Изъ Петербурга, отвѣчалъ тотъ съ гордымъ видомъ.

— Что дорога?

— Очень хороша.

— Слава Богу! а то что-то кости сказываются, лѣта..... Бывало, я по этой дорогѣ на тройкѣ, на перекладной, для двухъ, трехъ баловъ московскихъ за какимъ-нибудь вздоромъ лечу... да еще хорошо зимой, а осенью, шоссе не было, по фашинику дую, и горя мало. Шоссе-то не было, да здоровье было. Вотъ скоро восемь лѣтъ, какъ не былъ въ Петербургѣ, да и нынче-бы не по-

ѣхаль. Семейныя дѣла, племянница выходитъ замужъ, пишетъ: дядюшка, пріѣзжай, да, дядюшка, пріѣзжай,—хоть по правдѣ они бы и безъ меня обдѣлали это дѣло; ну, да какъ не потѣшить дѣвку; она же послѣ покойнаго отца своего воспитывалась у меня въ домѣ, своихъ дѣтей нѣтъ.—Поддай лимону. А позвольте спросить, изволите служить?

— Служу..... сказалъ петербуржець.

— При министрѣ? спросилъ дядюшка своей племянницы.

— При министрѣ, сказалъ петербуржець.

— По особымъ порученіямъ?

— Да, то есть при самой особѣ министра: знаете—при самой особѣ... У насъ есть эдакъ нѣсколько...

— Вы, можетъ, видали мою племянницу, коли живете постоянно въ Петербургѣ. Княжна Анна С.

— Какъ-же съ! кто же изъ бывавшихъ въ обществѣ не знаетъ княжны?... отвѣчалъ петербуржець, нѣсколько сконфуженный и очень смягченный аристократической фамиліей княжны.

— Очень радъ! Такъ вы знакомы съ Алиной?

— То есть, извольте видѣть, я не смѣю такъ сказать: я никогда не имѣлъ чести быть представленъ княжнѣ; гдѣ-же ей вспомнить въ толпѣ черныхъ фраковъ..... Я ее только встрѣчалъ на вечерахъ у нашего министра, у графини Z..... имѣлъ случай сказать нѣсколько словъ, танцовать. Знакомство салона, знакомство паркета, забытое на слѣдующій день.

— Это для меня новость: я и не зналъ, что Алина знакома съ графиней Z...

Петербуржець молчалъ, но видно было, что внутри его совершается что-то не совсѣмъ пріятное; онъ раздавилъ сигару и прочистилъ голосъ, для того, чтобъ ничего не сказать, а сосѣдъ его предобродушно посмотрѣлъ на него и сталъ наливать второй стаканъ чаю.

— Позвольте спросить вашу фамилію?

— Чандр—нѣ, произнесъ скороговоркой господинъ въ пальто.

— Какъ-съ?

— Чандрыкинъ-съ, повторилъ господинъ въ пальто съ примѣтнымъ волненіемъ.

— Никогда не слыхалъ... никогда... не случалось.

Между тѣмъ помѣщикъ до того московскій, что ѣхаль изъ Тулы, пришелъ въ себя и, сдѣлавши три, четыре вовсе излишнія исправительныя замѣчанія своему человѣку, возымѣлъ непреодолимое желаніе вступить въ разговоръ, и для этого вынулъ золотую табакерку въ родѣ аттестата и непреложнаго права на участіе въ обществѣ, понюхалъ изъ нея и обратился къ петербуржцу, который внутри проклиналъ отца и мать, что они пустили

его на свѣтъ съ такой немзыкальной фамильей, да еще съ такой, которую не случалось слышать дядѣ княжны Алины.

— А позвольте спросить, спросилъ нѣсколько въ носъ помѣщикъ, каковъ у васъ хлѣбъ нынѣшній годъ?

— Превосходный, отвѣчалъ чиновникъ.

— Давай Богъ, давай Богъ, а у насъ червь много попортилъ.

— Надобно правду сказать, что хлѣбъ сталъ лучше и больше съ тѣхъ поръ, какъ учрежденъ порядокъ по этой части.

— У насъ, нечего грѣха таить, плохъ, вотъ ужъ который годъ, продолжалъ помѣщикъ, не замѣтившій, что г. Чандрыкинъ говоритъ о печеномъ хлѣбѣ. Доходы бѣдные, а расходы такъ-таки ежегодно и увеличиваются; а тутъ, какъ на смѣхъ, тащисъ полторы тысячи верстъ..... Тяжебное дѣло, да вотъ сынишку въ полкъ опредѣлить.

— А гдѣ у васъ дѣло?

— Въ—мъ департаментъ.

— Въ—мъ? Я очень знакомъ съ оберъ-прокуроромъ—прекраснѣйшій человѣкъ! замѣтилъ чиновникъ, начавшій забывать княжну Алину,—такъ натура бываетъ сильна.

Помѣщикъ глубоко вздохнулъ.

— Охъ! ужъ лучше-бъ вы не говорили; а то, ей Богу, такъ вотъ и подмываетъ попросить письмецо, такъ бы нѣсколько строгое, да не смѣю и просить; я, конечно, не имѣю никакихъ правъ на ваше благорасположеніе..... а знакомыхъ нѣтъ почти никого; безъ рекомендаціи куда сунешься, сами изволите знать...

При этомъ помѣщикъ придалъ невѣроятно жалкое и подобострастное выраженіе своему лицу—выраженіе, вѣроятно, рѣдко видѣнное на гумнѣ и въ усадьбѣ.

— Миѣ очень жаль, но другое дѣло, если-бъ я былъ самъ въ Петербургѣ, я бы могъ переговорить; ну, а писать письмо,—это не водится между нами. Впрочемъ, г. З. такой прекраснѣйшій человѣкъ, къ которому не нужны рекомендаціи; если ваше дѣло право,—ступайте смѣло, прямо... и вы увидите.

— Мое дѣло-съ..... ясно какъ день (пословица, выдуманная не въ Новгородской губерніи и вообще не въ этомъ краю: день въ тотъ день, какъ почти во всѣ прочіе, былъ туманный). Вотъ, извольте видѣть, въ 1818 году умеръ у меня дядя... человѣкъ былъ солидный, извѣстный..... Ну, а духовную написалъ такую, что вотъ до сихъ поръ процессъ длится у меня съ сестрами..... Я не умѣю ясно изложить вамъ обстоятельства дѣла... позвольте миѣ прочесть послѣднюю аппеляціонную жалобу... Эй, Никитка, подай изъ кареты несессеръ!

— Сдѣлайте одолженіе, сказалъ чиновникъ, нѣсколько успокоившійся отъ кондукторской трубы, онъ очень хорошо предви-

дѣлъ, что Никитка не успѣетъ принести несессера, какъ ихъ уже позовутъ... такъ и случилось.

— Господа почтовой кареты и брика! возвѣстилъ кондукторъ.

— Идемъ, идемъ! раздалось съ трехъ мѣстъ. Чиновникъ поспѣшно вскочилъ и, сказавши: «очень жаль!» помѣщику и «bon voyage, messieurs!» остающимся, побѣжалъ въ карету, напѣвая Карлушу изъ «Булочной». Вѣроятно разговоръ о хлѣбѣ напомнилъ ему эти куплеты, пѣніемъ которыхъ онъ засвидѣтельствовалъ о своихъ усердныхъ посѣщеніяхъ Александринскаго театра.

Не проѣхала почтовая карета версты, какъ Никитка подаль помѣщику несессеръ.

— Ты-бы, дуракъ, завтра принесть, экой увалень. Вы не можете себѣ представить, сколько онъ во мнѣ крови портить: дома пойдетъ размазня обѣдать... часъ жди, посылай другого въ людскую, чтобы гналъ оттуда осла. И, что у него на умѣ, не понимаю? Сытъ, одѣтъ, женилъ дурака въ прошломъ году, — все не помогаетъ. Ну, что ты надо мной сдѣлалъ? Два часа копался?... Долго-ли взять, да и принесть?... Неси назадъ несессеръ.

— А вы и повѣрили этому фертику? сказалъ господинъ въ архалукѣ; все вреть!... Малый, спроси у моего человѣка рому къ чаю.

— Дилижансъ готовъ, доложилъ кондукторъ.

— Да мы-то, братецъ, не готовы, возразилъ господинъ въ архалукѣ.

— Помилуйте! на всякой станціи теряемъ время.

— Что ты ко мнѣ присталъ? Видишь, никто не допилъ чая. Я оттого и не поѣхалъ въ почтовой каретѣ: не дадутъ ногъ распрямить.

— И я еще не кончилъ чай, замѣтилъ помѣщикъ.

Купецъ, разумѣется, тоже не кончилъ; но такъ какъ его никто не спрашивалъ, онъ ничего и не сказалъ, а обтеръ полотенцемъ ротъ, да и сталъ изъ большого чайника подливать кипятокъ въ маленькій.

Въ это время взошелъ ямщикъ, спрашивая:

— Кому шину варили?

— Мнѣ, отвѣчалъ я.

— Пожалуй, что готова, и лошадей закладамъ... да ужъ на чаекъ-то, баринъ: отъ кузницы какъ бѣжалъ—уморился, чтобъ вашей-то милости поскорѣе сказать.

Я началъ собираться, собрался и уѣхалъ прежде, нежели москвичи кончили чай.

II.

Рѣзкая противоположность пассажировъ почтовой кареты съ жителями дилижанса, поневолѣ, настроила меня на рядъ летучихъ мыслей о Москвѣ и о Петербургѣ. Говорить о сходствахъ и несходствахъ Москвы и Петербурга сдѣлалось пошло, потому что объ этомъ чрезвычайно много говорили умнаго; оно, сверхъ того, сдѣлалось скучно, потому что еще болѣе объ этомъ говорили пошлаго. А я все-таки имѣю смѣлость передать нѣсколько замѣтокъ изъ цѣлой вереницы ихъ, занимавшей меня непрерывно отъ Едрова до Торжка, гдѣ я такъ занялся котлетами, что на время забылъ *la grande question*.

Какъ не быть различіямъ между Москвой и Петербургомъ? Разное происхожденіе, разное воспитаніе, разное значеніе, разное прохожденіе службы... Петербургъ родился въ 1703 году послѣ Р. X. Конечно, человѣкъ такого возраста былъ бы очень не молодъ, ну а городъ 144 лѣтъ просто *jeune premier*. Москва скоро перейдетъ въ восьмую сотню, она такъ стара, что лѣта свои (какъ геологическіе перевороты) вела отъ сотворенія міра, что было очень давно. Москва цвѣла отъ татаръ до Кошихинскаго времени. Петръ I опустилъ паруса ея, видя, что по этому прекрасному пути далѣе идти некуда: Петербургу Петръ I поднялъ паруса и онъ идетъ впередъ до вѣчнаго дня. Москва лѣтъ пятьсотъ кряду отстроивалась и все ничего не вышло, кромѣ Кремля, а если что вышло, то послѣ французовъ; Петербургъ выстроился лѣтъ въ пятьдесятъ съ громадностію, о которой Москвѣ не снилось. Москва почти вся сгорѣла въ 1812 году; Петербургъ чуть не утонулъ въ 1824 году. Совершенно разный характеръ: въ Петербургѣ русское начало перерабатывается въ европейское, въ Москвѣ—европейское начало въ русское... Но, несмотря на это различіе, они не ссорятся; антагонизмъ между Москвой и Петербургомъ чистѣйшій вымыселъ; его нѣтъ: это болѣзнь нѣсколькихъ воображеній, фактъ исключительный. Я самъ видалъ людей, которые думаютъ, что всякое доброе слово о Петербургѣ—оскорбленіе Москвѣ. Они думаютъ, если вы похвалите калачъ московскій—это значить, что вы браните невскую воду. Просто страхъ беретъ что-нибудь сказать при нихъ; молвишь, что то-то не очень хорошо на Невскомъ, а тебя тотчасъ обвиняютъ, что ты находишь все прекраснымъ въ Москвѣ. Это напоминаетъ ту милую и наивную эпоху критики, когда доброе слово о Шиллерѣ сопровождалось проклятіями Гёте и наоборотъ. Гёте, возмущенный однажды глубокомысліемъ подобныхъ сужденій, скромно замѣтилъ Эккерману: «Вмѣсто того, чтобъ благодарить судьбу за

то, что она дала имъ насъ обоихъ, они хотятъ непременно пожертвовать одного другому». Что за необходимость порицать Москву? Будто нѣтъ тамъ и тутъ хорошаго, не говоря ужъ о дурномъ? Будто грудь человѣка такъ узка, что она не можетъ съ восторгомъ остановиться передъ удивительной панорамой Замоскворѣчья, стелящагося у ногъ Кремля, если она когда-нибудь высоко поднималась, глядя на Неву, съ ея гранитными берегами, съ дворцами стоящими надъ водами ея?

Къ тому же, если съ точки зрѣнія различій легко указать рѣзкія противоположности, то не надобно забывать, что много Москвы въ Петербургѣ, и что много Петербурга въ Москвѣ. Петербургъ не оставилъ Москвы въ покоѣ послѣдніе сто лѣтъ; у нея, кромѣ нѣсколькихъ старыхъ зданій, кромѣ историческихъ воспоминаній, ничего не осталось прежняго. Съ своей стороны, Москва и околныя ея губерніи, переѣзжая въ Петербургъ, привезли съ собою *самихъ себя*, и отчего-же имъ было вдругъ утратить свою особность? Странная была бы національность наша, если бы достаточно было проѣхать семьсотъ верстъ, чтобъ сдѣлаться другимъ человѣкомъ—иностранцемъ. Конечно, весь образъ современной жизни, всѣ удобства цивилизаціи, и великій московскій университетъ, и знаменитый англійскій клубъ, и дворянское собраніе, и Тверской бульваръ, и Кузнецкій Мостъ—все это принадлежитъ не Кошихинскимъ временамъ, а вліянію петербургской эпохи. «Можетъ быть, Москва безъ петербургскаго вліянія развилась бы еще лучше». Можетъ быть... такъ какъ не токмо можетъ быть, но весьма вѣроятно, если-бъ царь Иванъ Васильевичъ вмѣсто Казани взялъ Лиссабонъ, то въ Португаліи было бы теперь что-нибудь другое; только это ни къ чему не ведетъ. Не то важно въ исторіи чего не было, а то, что было. А было то, что въ послѣдній вѣкъ Москва состояла подъ вліяніемъ Петербурга и сама многое доставляла ему; онъ вызвалъ наружу ея сильную производительность; безпрерывный обмѣнъ, безпрерывное сношеніе поддерживали живую связь обоихъ городовъ. Въ иныхъ случаяхъ перевезенное совершенно усваивалось, въ другихъ особенности еще сильнѣе развились на иной почвѣ, такъ что можно изучать Петербургъ въ Москвѣ и Москву въ Петербургѣ.

Отъ Петра I до Наполеона Москва жила тихо, незамѣтно; на Петербургъ она не косилась, особенно послѣ первыхъ непріятностей *remue-ménage* и негодующаго удивленія, что часть ея переѣхала на Неву-рѣку съ Москвы-рѣки, что другая часть, вмѣсто красивой бороды, показала голый подбородокъ, вмѣсто русыхъ волосъ—пудреныя пукли. Случалось ей хмурить брови, обижаться всѣми нововведеніями, но соперничать ей въ голову не прихо-

дпо; она поняла, что время сильныхъ преслѣдованій не только за употребленіе телятины, но даже табака, прошло...

И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфирородная вдова.

Москва помнила, быть можетъ, что и она въ свою очередь была Петербургомъ, что и она нѣкогда была новымъ городомъ, надменно поднявшимъ свою голову надъ старыми городами, опираясь на слабость ихъ и на ордынскую поддержку. Старые города обидѣлись: они хотѣли высокомерно не знать Москвы... Но она шла своимъ путемъ. «Посмотримъ, посмотримъ! говорили старые города: что-то она сдѣлаетъ съ Тверью, какъ-то совладаетъ съ Псковомъ, какъ-то сладитъ съ Новымъ-городомъ!» Посмотрѣли, увидѣли какъ, да и склонились. Между Москвой и Петербургомъ ничего подобнаго не было. Петербургъ, *какъ* едучиванный юноша, афишировалъ решнектъ и атенцію Москвѣ, окружать ее знакомъ величайшаго вниманія; а она, какъ добрая русская помѣщица, готовая всѣхъ угостить и послать всякіе гостинцы, любила иногда пожурить Петербургъ, такъ, какъ бабушки журятъ внучатъ-юнкеровъ, приѣзжающихъ въ отпускъ, за чѣмъ трубку курятъ и постныхъ дней не соблюдаютъ... Но пожуривши, Москва отправляла въ Петербургъ свое молодое поколѣніе служить въ гвардію, окружать дворъ, даже литераторы перебирались туда писать и вдохновляться; сердечная связь у этихъ переселенцевъ съ Москвою нисколько не перерывалась: при всякой невзгодѣ, при усталости и грусти вспоминалась родная столица. Маститые вельможи и государственные люди приѣзжали въ Москву отдыхать, провести остатокъ дней своихъ въ величавомъ покоѣ, повѣствуя жизнь свою и прислушиваясь издали къ быстро несущимся событіямъ не-петербургской жизни.

Такъ вихорь дѣлъ забывъ для музъ и нѣги праздной.
Въ тѣни порфирныхъ бань и мраморныхъ палатъ.
Вельможи римскіе встрѣчали свой закатъ;
И къ нимъ издалека то воинъ, то ораторъ,
То консулъ молодой, то сумрачный диктаторъ
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься въ путь.

Среди этихъ мирныхъ и дружныхъ отношеній, наступилъ 1812 годъ. Не знаю, былъ ли Наполеонъ ученикъ Пинетти или Галиостро, но онъ былъ величайшій фокусникъ въ мірѣ. Онъ сдѣлалъ сперва изъ г. Мортъе тревизскаго герцога, а потомъ сдѣлалъ тревизскаго герцога московскимъ военнымъ генералъ-губер-

наторомъ, а маршала Нея просто московскимъ княземъ. Москва попала съ ореографической ошибкой въ бюллетени великой арміи. Наполеонъ переѣхалъ изъ Тюльери въ Кремлевскій дворецъ. Вся Русь, задерживая дыханіе, устремила свое вниманіе на Москву, вся Европа ее вспомнила въ первый разъ послѣ Маржерета, Поссевина, Флетчера и другихъ. Вліяніе ея, утраченное цѣлымъ вѣкомъ, исполнѣ возстановилось нѣсколькими днями великаго пожара. Въ добровольномъ несчастіи Москвы было что-то захватывающее душу; она сдѣлалась интересна съ своими обгорѣлыми домами, она взшла въ моду съ своими улицами, на которыхъ стояли однѣ черныя трубы, однѣ задымленные стѣны. Эта горестная година миновала Петербургъ; князь Витгенштейнъ не пустилъ къ нему непріятеля; спокойствіе его не было возмущено ни на одинъ день. Все это прекрасно, все это славу Богу, но не имѣетъ интереса, моды всего болѣе интересуются несчастіями. Разказы о Москвѣ носились по всему свѣту. Нѣтъ человѣка не только въ Калифорніи и Полинезіи, но въ южной Италиі, гдѣ ничего не знаютъ, который бы не слыхалъ о томъ, какъ дивно, какъ громадно, какъ удивительно, какъ быстро обстроилась Москва. Келейно можно сказать, слухи эти не безъ увеличенія, не то, чтобъ въ самомъ дѣлѣ обстройка эта была такъ сказочно хороша, дома обклеены колоннами, фронтонами съ страшными претензіями, каждый стоитъ на свой салтыкъ, огороженный какимъ-то уродливымъ заборомъ. И что-же Москва была прежде, если была гораздо хуже? Это—тайна, которую она запечатлѣла великимъ пожаромъ. Оставимъ ее подъ историческими углями.

Послѣ 1812 г. уваженіе къ Москвѣ было безусловно: вся Русь, весь Петербургъ брали въ ней живѣйшее участіе; костеръ, зажженный собственными руками, поразилъ своей героической рѣшительностью всѣ уцѣлѣвшіе города. Войска возвращались, осыпанные крестами и медалями, офицеры лѣзли въ Москву отдохнуть съ родными, вспомнить семейную жизнь, которая также хороша послѣ лагеря, какъ лагерь хорошъ послѣ семейной жизни; нигдѣ не было и тѣни соперничества, вражды, никто не предполагалъ, не предвидѣлъ, что въ это время торжество и мира зарождалась въ тиши та высокая и мощная теорія, которой назначено было явиться грознымъ Маякомъ. Шагъ, сдѣланный ею для нашего развитія, необъятенъ. Что значить въ самомъ дѣлѣ передъ нею весь рядъ побѣдъ 1812 и 13 годовъ, переходъ по Европѣ, русскіе гвардейцы на бивакахъ передъ Тюльерійскимъ дворцомъ? Кѣмъ сдѣланы эти побѣды? Людьми, любившими европейское образованіе, любившими Парижъ и французовъ, любившими говорить по-французски, людьми, которые чрезвычайно удивились бы, услышавъ о томъ, что истинный русскій долженъ ненавидѣть

нѣмца, презирать француза, что патріотизмъ состоитъ не столько изъ любви къ отечеству, сколько изъ ненависти ко всѣму, внѣ отечества находящемуся, и тому подобныя правила любви и братства. Храбрые воины, актеры великой эпохи, думали, что достаточно грудью стать противъ непріятеля и мужественно отразить его; они не знали, что, сверхъ того, необходимо день и ночь у себя въ комнатѣ бранить нѣмцевъ и гнѣющую цивилизацію Европы; эти воины мечтали, что они съ приобрѣтеніемъ образованія не утратили достоинства русскаго. Какой предразсудокъ! Оттого-то они и уменьшали славу своихъ побѣдъ кротостью, съ которой они обращались съ побѣжденными. Но извинимъ ихъ, тогда еще не были брошены въ судьбы всемірной исторіи изслѣдованія о происхожденіи Руса, тогда пѣлъ суетный Пушкинъ, который въ своей поэтической распушенности бросилъ по нѣсколько стиховъ Петербургу и Москвѣ, въ которыхъ оба города дивно отразились, но зачѣмъ-же не одинъ?

Довольно впрочемъ о важныхъ матеріалахъ; займемся лучше маленькими различіями петербургскихъ и московскихъ нравовъ,—это гораздо веселѣе и не такъ сильно потрясаетъ нервы, какъ маячныя теоріи. Въ Москвѣ все шло медленно, въ Петербургѣ все шло черезъ пень колоду: оттого житель Петербурга привыкъ къ дѣятельности, онъ хлопочетъ, онъ домогается, ему некогда, онъ занятъ, онъ разсѣянъ, онъ озабоченъ, онъ опоздалъ, ему пора!... Житель Москвы привыкъ къ бездѣйствію: ему досужно, онъ еще погодить, ему еще хочется спать, онъ на все смотреть съ точки зрѣнія вѣчности; сегодня не поспѣетъ, завтра будетъ, а и завтра не послѣдній день.—Москвичъ только живетъ и наслу можетъ отдохнуть послѣ обѣда, петербуржецъ и не живетъ за суетой суетствій, и такъ мало обѣдаетъ, что даже ночью не стоитъ отдыхать. У петербуржца цѣли часто ограниченныя, не всегда безусловно чистыя; но онъ ихъ достигаетъ, онъ всѣ силы свои устремляетъ къ одной цѣли: это чрезвычайно воспитываетъ способность труда, гибкость ума, настойчивость; москвичъ—почти всегда преблагороднѣйшій въ душѣ, ничего не достигаетъ, потому что и цѣли не имѣетъ, а живетъ въ свое удовольствіе и въ горестъ лошадамъ, на которыхъ безъ нужды ѣздитъ съ Разгуляя на Дѣвичье поле. Москвичъ, какъ бы ни былъ занятъ, скроетъ это и будетъ отъ души радъ, что ему помѣшали; петербуржецъ, какъ бы ни былъ свободенъ отъ дѣлъ, никогда не признается въ этомъ. Въ Петербургѣ на каждомъ шагѣ встрѣтите представителей всѣхъ военныхъ чиновъ и четырнадцати соотвѣтствующихъ классовъ статской службы; въ Москвѣ—отставныхъ изъ всѣхъ чиновъ военной и статской службы; изъ военной—знаменитыхъ людей венгерокъ и усовъ, трубокъ и картъ; изъ статскихъ—вѣчныхъ обѣ-

дателей англійскаго клуба, людей золотыхъ табакерокъ и картъ. Ихъ почти совсѣмъ не найдешь въ Петербургѣ, зато я и въ Петербургѣ между львами, тиграми и прочими злокачественными знаменитостями встрѣчалъ такихъ людей, которые ни на какого звѣря, даже на человѣка, не похожи, а въ Петербургѣ дома какъ рыба въ водѣ. Московскіе писатели ничего не пишутъ, мало читаютъ и очень много говорятъ; петербургскіе ничего не читаютъ, мало говорятъ и очень много пишутъ. Московскіе чиновники заходятъ всякій день (кромѣ праздничныхъ и воскресныхъ дней) на службу; петербургскіе заходятъ всякій день со службы домой; они даже въ праздничный день, хоть на минуту, а заглянуть въ департаментъ. Въ Петербургѣ того и смотри умрешь на полдорогѣ, въ Москвѣ изъ ума выживешь; въ Петербургѣ исхудаешь, въ Москвѣ растолстѣешь: совершенно противоположное міросозерцаніе.

Москвичъ любить отъ души Москву, нигдѣ не можетъ жить какъ въ Москвѣ, ему неловко въ Петербургѣ, онъ всюду опаздываетъ, онъ чувствуетъ себя тамъ не дома: и квартиры тѣсны, и лѣстницы высоки, и обѣдаютъ поздно, и Кремля нѣтъ, и икра паюсная хуже..... Но, возвратясь въ Москву, онъ начинаетъ хвастать Петербургомъ, онъ показываетъ въ образецъ фракъ, сшитый на Невскомъ, подражаетъ петербургскимъ модамъ, приказываетъ людямъ изъ домашняго сукна сшить штіблеты съ оловянными пуговками, привозитъ бездну ненужныхъ вещей, сдѣланныхъ въ Москвѣ, и увѣряетъ, что такихъ въ Москвѣ ни за какія деньги не найдешь. Петербуржецъ—не такъ сильно страдаетъ тоскою по родинѣ: онъ вообще привыкъ себя считать выше тоски; но въ Москвѣ на все смотреть свысока; на низкіе дома, на тусклые фонари, на узкіе тротуары и ни за что въ свѣтѣ не сознается, что въ «Дрезденѣ» нумера лучше, нежели въ петербургскихъ гостиницахъ, и что у Шевалье можно обѣдать не хуже чѣмъ у Леграна и Сенъ-Жоржа. Ему смерть не хочется ѣхать въ Петербургъ, но онъ показываетъ видъ, что стремится вырваться изъ провинціальнаго города, такъ, какъ москвичъ показываетъ изъ себя отчаяннѣйшаго петербуржца и большого любителя петербургскихъ нравовъ. Воротившись, петербуржецъ карабкается на свой четвертый этажъ и, отдыхая среди запаха кухни въ маленькой лачугѣ, смѣется надъ московскимъ просторомъ.

Вообще я слышалъ отъ многихъ, что Петербургу вмѣняють въ достоинство эти сплошные дома о пятистахъ окнахъ, а Москвѣ вмѣняють въ недостатокъ, что дома ея удобнѣе, что никто тамъ другъ другу не мѣшаетъ, что московская постройка способствуетъ чистотѣ воздуха. Я ужасно люблю старинные московскіе

дома, окруженные полями, лѣсами, озерами, парками, скверами, саваннами, пустынями и степями, по которымъ едва протоптаны дорожки отъ дома къ погребу, и на которыхъ, если не найдете дворника, то зато встрѣтите стадо дикихъ собакъ. Замѣчательно, что въ Москвѣ домъ окруженъ дворомъ, а въ Петербургѣ дворъ—домомъ: это имѣетъ тоже свою прелесть. . . . Мнѣ часто приходило въ голову, если-бъ въ Петербургѣ случилась теплая погода и свѣтило бы солнце, какую прекрасную тѣнь можно-бъ было находить на дворѣ!..... Но возвратимся отъ домовъ опять къ людямъ. Въ Петербургѣ ужасно любятъ роскошь, но терпѣть не могутъ ничего лишняго; въ Москвѣ только лишнее и считается роскошью; оттого въ Москвѣ почти у cadaго дома колонны, а въ Петербургѣ ни у одного; оттого петербургское гостепріимство стремится изящнымъ образомъ насытить вашъ голодъ и вашу жажду и на этомъ останавливается, а московское только тутъ и начинается, оно молчитъ, пока вамъ хочется пить и ѣсть, и начинается свое преслѣдованіе, когда видитъ, что вамъ невозможно ни пить, ни ѣсть. Потому же у cadaго московскаго барина множество слугъ въ передней, дурно одѣтыхъ и болѣе приученныхъ къ отѣзжу полю, нежели къ мирнымъ комнатамъ, а въ Петербургѣ одинъ слуга, много двое, чисто одѣтыхъ и ловкихъ, но не умѣющихъ травить гончими,—что и не очень нужно за порядочнымъ ужиномъ, гдѣ даже и жареныхъ зайцевъ не подаютъ. Москвичъ непременно закладываетъ четыре лошади въ карету—не для легкости и скорости, а изъ уваженія къ собственному достоинству; петербуржецъ катится въ маленькой колясочкѣ вдвое быстрѣе москвича. Москвичъ любитъ внѣшніе знаки отличія и церемоніи, петербуржецъ предпочитаетъ мѣста и матеріальныя выгоды; москвичъ любитъ аристократическія связи, петербуржецъ—связи съ должностными людьми. Въ Москвѣ до сихъ поръ всякаго иностранца принимаютъ за великаго человѣка, въ Петербургѣ cadaго великаго человѣка за иностранца: тамъ долго никто не вѣрилъ, что Брюловъ русскій. Другихъ иностранцевъ собственно въ Петербургѣ и нѣтъ; тамъ такъ много иностранцевъ, что они сдѣлались туземцами. Одна изъ отличительныхъ чертъ Петербурга отъ прочихъ новыхъ городовъ всей Европы состоятъ въ томъ, что онъ на всѣ похожъ, тогда какъ Москва ни на какой не похожа—ни въ Европѣ, ни въ Азіи...

— Неужели это Торжокъ? спросилъ я, перерывая глубокомышленные разсужденія о Москвѣ и Петербургѣ.

— Пожалуй что и Торжокъ, отвѣчалъ ямщикъ.

— Ступай къ большой гостиницѣ—направо-то.

— Знаемъ, знаемъ! отвѣчалъ нѣсколько пикированный ямщикъ.

Ноябрь, 1846 года.

Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести.

(„Современникъ“, 1847).

NOBLESSE OBLIGE!

Западная поговорка.

Il me serait bien difficile de te faire sentir ce que c'est (le point d'honneur), car nous n'en avons point précisément l'idée.

Usbeck à Ibben.

(Восточныя письма Монтескьё).

Часто споры бываютъ поводомъ къ поединку; недавно случилось противоположное: какой-то поединокъ подалъ поводъ къ безконечнымъ спорамъ. Одни горячо защищали поединки, другіе предавали ихъ проклятію. «Дерзкое самоуправство» — говорили одни. «Но кто-же лучше меня самого управится въ собственномъ дѣлѣ?» отвѣчали другіе. — «Убійство» — говорили одни. — «Война» — отвѣчали другіе. Между этими противоположными воззрѣніями образовалась благоразумная середина, которая находила, что теоретически оправдать дуэль такъ же невозможно, какъ практически избѣжать ея, основываясь на премудромъ правилѣ, что «такъ должно быть» противоположно съ «тѣмъ, что есть на самомъ дѣлѣ». Разумѣется, что всѣ эти споры кончились, какъ всегда, совершеннымъ затемнѣніемъ вопроса и ожесточенной упорностью cadaго въ своихъ мнѣніяхъ. Главный порицатель дуэлей до того разгорячился, что чуть не вызвалъ рыцарственнаго защитника ихъ.

Возвратившись домой послѣ горячаго пренія и вспоминая на досугѣ все слышанное и говоренное, я увидѣлъ, что вопросъ этотъ несравненно глубже и сложнѣе и что его не разрѣшишь ни панегирикомъ, ни порицаніемъ.

Новое законодательство всѣхъ европейскихъ государствъ осудило поединки, поставило ихъ почти рядомъ съ убійствомъ, но поединки не искоренились. Несмотря на запрещенія Густава Адольфа, дрались подъ висѣлицей; несмотря на мѣры Ришелье, дрались передъ плахой. Судьи, твердые и нелицепріятные во всѣхъ случаяхъ, бываютъ снисходительны къ дуэлистамъ, общественное мнѣніе за нихъ; человѣкъ, защитившій честь свою поединкомъ, уважается. Всѣ мыслящіе люди отказываютъ не только отдѣльному лицу, но и цѣлому обществу въ правѣ убійства, и большая часть утверждаетъ, что дуэль—неизбѣжное зло, единое возможное огражденіе неприкосновенности лица отъ оскорбленія. Такое противорѣчіе законодательства съ общественнымъ мнѣніемъ, практическаго приложенія съ теоретическимъ понятіемъ, прямо ведетъ къ вопросу,—на какомъ основаніи держится поединокъ въ образованнѣйшихъ странахъ Европы?

Много было писано о поединкахъ, начиная съ Брантома, но ихъ разсматривали такъ, какъ наши милые спорщики, съ произвольныхъ точекъ зрѣнія и подъ вліяніемъ незыблемыхъ предразсудковъ или готовыхъ понятій. Бранили поединки на основаніи неприлагаемой, мечтательной морали и, вмѣсто обсуживанія дѣла, высказывали холодныя риторическія фразы о смиренномъ прощеніи, бранили ихъ на основаніи юридическомъ, которое требуетъ, чтобъ дѣло обиды было рѣшено не обиженнымъ, а судьей; осуждали ихъ съ точки зрѣнія римскаго права, не отстранивъ предварительно феодальнаго понятія о личности, твердо стоящей за свои права. Вопросъ о томъ, почему римское понятіе о государствѣ единственно истинно, и почему феодальное понятіе о личности, о ея наслѣдственныхъ, семейныхъ и политическихъ правахъ, развитое средними вѣками, неизмѣнно, не былъ рѣшаемъ даже въ такое время, которое, повидимому, отрекалось отъ всего феодальнаго, во время переворотовъ. Лучшее доказательство, что человѣкъ остался при своемъ прежнемъ понятіи о себѣ и о государствѣ. Современный человѣкъ думаетъ, что средніе вѣка далеко отъ него, а они въ немъ: онъ тотъ-же рыцарь, но переложенный на другіе нравы.

Не имѣя возможности, по многимъ причинамъ, предоставить историческую монографію о поединкахъ, я хотѣлъ сколько-нибудь способствовать уясненію вопроса, занимавшаго спорившихъ пріятелей, и съ этой цѣлью написалъ сжатый историческій очеркъ развитія чести, предоставляя имъ выводиться послѣдствія, какія угодно. Я нигдѣ не защищаю дуэли и нигдѣ не браню ея.

Бранить или хвалить какой-нибудь всеобщій историческій фактъ дѣло совершенно праздное, извиняемое только благороднымъ увлеченіемъ, въ силу котораго вырываются рѣчи негодо-

ванія или восторга. Довѣріе къ роду человѣческому требуетъ настолько уваженія къ вѣковымъ явленіямъ, чтобъ, и отрѣшаясь отъ нихъ, не порицать ихъ: въ порицаніи много суетности и легкомыслія; дикіе съ честію хоронятъ умершихъ, а не ругаются надъ трупами. Кто бранится, тотъ не выше бранимаго: бранятся тамъ, гдѣ недостаетъ доказательствъ. И какая цѣль подобныхъ разглагольствованій? Исправленіе нравовъ развѣ? Я думаю, выросшаго человѣка мудро исправить педагогическими средствами и благороднымъ негодованіемъ, когда онъ плохо исправляется уголовными средствами и негодованіемъ палача. Достигайте, чтобъ онъ понялъ истину: это будетъ вѣрнѣе; идти далѣе, хвалить или порицать показываетъ неуваженіе къ его смыслу. Сказать, что поединокъ зло, нелѣпость, преступленіе—легко и справедливо, но недостаточно; неужели же нѣтъ причинъ, почему это *зло*, эта *нелѣпость* сохранилась до сихъ поръ? Если же, вмѣсто порицанія и односторонняго сужденія, мы разберемъ и внутреннюю сторону предмета, тогда мы узнаемъ общія основанія, на которыхъ опирался поединокъ, и легко, можетъ быть, найдемъ связь его съ другими явленіями, ихъ круговую поруку; такой разборъ можетъ насъ привести, въ свою очередь, какъ бы въ вознагражденіе за то, что мы узнали историческое основаніе факта, отвергаемаго нами,—къ раскрытію неразумности фактовъ, неизбежно признаваемыхъ нами; *et c'est autant de pris sur le diable*, какъ говорятъ французы. Рѣзкость одностороннихъ сужденій на первую минуту ослѣпляетъ; въ нихъ больше характернаго, опредѣленнаго; но если взглянуть имъ прямо въ глаза, тощестъ ихъ тотчасъ открывается. «Всего рѣзче видятъ одну сторону, сказалъ Аристотель, тѣ, которые видятъ мало сторонъ».

I.

У человѣка, вмѣстѣ съ сознаніемъ, развивается потребность *ничто свое* спасти изъ вихря случайностей, поставить неприкосновеннымъ и святымъ, почтить себя уваженіемъ его, поставить его выше жизни своей. Пристально взглядываясь въ длинный рядъ превращеній чтимаго, мы увидимъ, что основа ему ничто иное, какъ чувство собственнаго достоинства и стремленіе сохранить нравственную самобытность своей личности,—и то и другое сначала въ формахъ дѣтскихъ, потомъ отроческихъ, какъ во всякомъ человѣческомъ развитіи. Сначала это чувство выражается въ семейныхъ отношеніяхъ, въ фанатической привязанности къ роду, племени, обычаю, преданію, къ *своимъ* богамъ въ противоположность сосѣдскимъ. Потомъ оно является святоуважаемымъ *общимъ дѣломъ* (*res publica*); государство, городъ

поглощаетъ еще человѣка, но уже онъ силенъ своимъ гражданскимъ значеніемъ. Неудовлетворенный, однакожъ, общимъ дѣломъ, человѣкъ ищетъ свое дѣло, обращается внутрь себя, въ груди своей начинаетъ открывать нѣчто твердое и незыблемое, въ себѣ находитъ мѣрило своего достоинства и хладнокровно смотритъ на племя, на городъ, на государство: тогда быстро развивается въ немъ понятіе *чести и собственного достоинства*. Но это еще не все. Переносъ въ грудь свою свое чтимое, человѣкъ переноситъ его на истинную почву; но какова эта грудь? Можетъ быть, онъ понимаетъ себя не такимъ, какимъ онъ дѣйствительно есть,—ниже и выше, духовнѣе и животнѣе, затеряннымъ въ общинѣ или одинокимъ въ себѣ самомъ; наконецъ, можетъ быть, его грудь, въ которую онъ переноситъ кивотъ свой, не *его* грудь; можетъ быть, свободный отъ прежнихъ узъ, онъ перевязанъ новыми, а какимъ онъ себя понимаетъ, такъ понимаетъ онъ и свою честь. «Основа чести можетъ быть нравственна и необходима, можетъ быть случайна и бессмысленна», но всегда и вѣчно она есть «отраженіе человѣкомъ своей самобытности» ¹⁾, сообразно тому, какъ онъ ее понимаетъ, или, вѣрнѣе, какъ ее понимаетъ его эпоха.

Три великія эпохи жизни человѣчества представляютъ намъ тѣ три разныя пониманья человѣческаго достоинства, до которыхъ мы коснулись. Востокъ представляетъ низшую ступень древняго понятія о личности; она почти затеряна въ племени, въ царствѣ. Греко-римскій міръ съ своими гражданами—высшее его развитіе. Основа человѣческаго достоинства обоими была понята въѣ человѣка. Наконецъ, средніе вѣка обернули вопросъ: существеннымъ сдѣлалась личность, несущественнымъ — *res publica*. Самая эта исключительность указываетъ на необходимую односторонность послѣдствій. Жизнь общественная — такое-же естественное опредѣленіе человѣка, какъ достоинство его личности. Безъ сомнѣнія, личность—дѣйствительная вершина историческаго міра: къ ней все примыкаетъ, ею все живетъ. Все общее безъ личности—пустое отвлеченіе; но личность только и имѣетъ полную дѣйствительность по той мѣрѣ, по которой она въ обществѣ. Аристотель превосходно называлъ человѣка — «*зоонъ политиконъ*». Истинное понятіе о личности равно не можетъ опредѣлиться ни въ томъ случаѣ, когда личность будетъ пожертвована государству, какъ въ Римѣ, ни когда государство будетъ пожертвовано личности, какъ въ средніе вѣка. Одно разумное, сознательное сочетаніе личности и государства приведетъ къ истинному понятію о лицѣ вообще, а съ тѣмъ вмѣстѣ къ истинному понятію о чести. Сочетаніе это — труднѣйшая задача, поставленная современнымъ мы-

¹⁾ Hegel. Aesthetik. T. II.

шленіемъ; передъ нею остановились, пораженные несостоятельностью разрѣшеній, самые смѣлые умы, самые отважные пересоздатели общественнаго порядка, грустно задумались и почти ничего не сказали. Мы не беремся дотрогиваться до нея, но думаемъ однако, что она не разрѣшена механическими опытами сочетать феодалную личность съ римскимъ понятіемъ государства; это одно перемирье, т. е. такое соединеніе враждебныхъ началъ, при которомъ каждый остается при своей непріязни, но, уступая внѣшнимъ обстоятельствамъ, не дерется, а протягиваетъ руку врагу. Конечно, жизнь, несмотря на всѣ ученія о политикѣ и о правѣ, дѣлаетъ свое дѣло, роется кротомъ и вездѣ прорывается къ свѣту; въ этомъ нѣтъ сомнѣній, иначе мы не дошли бы не только до рѣшеній, но и до положенія вопросовъ, а это дѣло важное; правильно понятый вопросъ — поль-отвѣта. Однако нельзя не сознаться, что въ самой философіи права, въ самихъ утопіяхъ разныхъ толковъ господствуютъ одни отжившія или отживающія понятія о государствѣ и о личности. Впрочемъ, намъ не нужно разрѣшенія этой задачи, цѣль наша ограниченнѣе: мы имѣемъ только въ предметѣ указать круговую поруку поединка съ пониманьемъ правъ личности, отъ восточной непосредственности до щепетильнаго *point d'honneur*'а французскаго дворянина.

II.

Людямъ надобно было все дѣтское довѣріе и всю беззаботность животнаго, всю настойчивость и упорность естественнаго побужденія, чтобы своими разрастающимися семьями обжить землю. Жизнь семьями обусловила возможность всего человѣческаго развитія. Конечно, семьи не оттого не расходились, что была при этомъ какая-нибудь мысль; разумъ еще дремалъ тогда у человѣка, и ему достаточно было той низшей степени разсудка, которая совпадаетъ съ самымъ органическимъ процессомъ, въ силу которой, на примѣръ, новорожденный ищетъ пищу ртомъ въ первый день своего рожденія. Люди жили семьями, руководствуясь тѣмъ-же инстинктомъ, которымъ руководствуются животныя породы, скитающіяся стадами, собирающіяся въ рои. Забытый и неизвѣстный трудъ дикаго человѣка былъ тягостенъ, онъ облегчался одною грубостью обреченнаго на этотъ трудъ. Вѣками и вѣками усилій приладилъ человѣкъ къ грозной, беспощадной средѣ и ее приладилъ къ себѣ: казалось, стихіи ежеминутно могутъ мощнымъ безстрастіемъ своимъ, непреодолимой силой уничтожить безслѣдно это слабое существо, и вѣроятно не одна тысяча легла, подавленная невнимательной природой, строго исполнявшей законы свои возлѣ нихъ; но это слабое су-

щество имѣло передъ окружающей его природою большое преимущество — преимущество хитрости, уловокъ, которыми развитое животное достигаетъ своихъ цѣлей, а среда не имѣла ничего враждебнаго противъ его работы. Тысячи темныхъ и неизвѣстныхъ намъ поколѣній удобрили костями своими землю, прежде нежели сознание настолько развилось, что стало помнить свое былое, что это *былое* сдѣлалось достойно памяти, и тутъ, черезъ эти тысячелѣтія, какимъ мы встречаемъ человѣка? Онъ еще не можетъ придти въ себя, опомниться; онъ побѣдиль, но съ робостью въ душѣ, но съ сознаниемъ силы природы и своего безсилія; онъ еще съ ужасомъ смотрѣлъ на стихіи, подкладывая имъ злобныя мысли, повергался въ прахъ передъ ихъ грозной и враждебной мощью и просить пощады; дикая молитва его была воплемъ страха, въ которомъ еще не звучали титановскія ноты Прометея.

Одинъ оплотъ, одинъ отдыхъ, одна надежда для человѣка была семья, племя, эта кучка, сросшаяся отъ единства интересовъ и единства опасностей, отстаивавшая себя противъ стихій, звѣрей и враговъ, начавшая хранить свое преданіе и свой обычай. Далекій отъ сознанія своей самобытности, человѣкъ поглощался племенемъ, семьею; все чтимое имъ было внѣ его. То были невѣдомыя силы природы, которымъ онъ началъ придавать человѣческія свойства въ уродливыхъ размѣрахъ, и патріархальныя отношенія къ семьѣ, въ которой личность была ничтожна, а родъ неприкосновененъ, святъ. На этихъ-то началахъ развились колоссальныя азіатскія монархіи. Въ самомъ высшемъ гражданскомъ развитіи своемъ, азіатецъ считалъ себя несовершеннѣйшимъ сыномъ, рабомъ; понятие раба его не унижало, скорѣе его унизило бы названіе *вольнаго* человѣка: ему бы показалось, что это слово значить — *бродяга, бездомовникъ*, изгнанный Измаиль, непринятый ни въ какое племя; и что-же онъ въ самомъ дѣлѣ одинъ? Но какъ бы то ни было, признавая себя рабомъ, несовершеннѣйшимъ сыномъ, онъ не могъ развить въ себѣ понятія о человѣческой личности; рабъ—вещь; истинная личность его въ господинѣ, котораго онъ членъ, органъ. Рабу трудно нанести оскорбленіе: онъ или не доросъ до того, чтобъ понять его, или перенесъ уже безусловное оскорбленіе утратою всѣхъ человѣческихъ правъ и примиреніемъ съ этой утратой. Однако могъ-ли восточный человѣкъ оставаться безъ всякаго понятія о чести? Ни подъ какимъ видомъ. Это такъ же невозможно для человѣка, живущаго въ гражданскомъ обществѣ, какъ невозможно бы было себѣ представить дѣйствительное понятіе о достоинствѣ человѣка у азіатца. На Востокѣ не могли развиться поединки въ нашемъ смыслѣ; но тѣмъ страшнѣе и злобнѣе развилась месть, всего чаще не за собственную обиду, а за обиду семьи, обычая; въ Японіи оскорб-

ленный разрѣзываетъ свой животъ—новое доказательство, что у нихъ не развито ни тѣни истиннаго понятія о безконечномъ достоинствѣ человѣческомъ; японецъ не находитъ въ себѣ средства очищенія, онъ не находитъ того мѣста, которое выше обиды, которое примирится уничтоженіемъ оскорбителя: онъ можетъ смыть обиду только самоубійствомъ. Притомъ азіатцы мелочно раздражительны, у нихъ казуистика чести развилась не хуже средневѣковаго, повсеѣтоодинъ пустой формализмъ, что-то условное; такъ, въ азіатскихъ царствахъ дошли до смѣшного внѣшніе знаки почести, учтивости, т. е. все негодное или, по крайней мѣрѣ, пустое, сопровождающее понятіе о личномъ достоинствѣ, безъ истиннаго смысла его. ¹⁾

Личность азіатскихъ властелиновъ ²⁾ была единая человѣческая личность на Востокѣ, и дѣйствительно одни они въ Азіи понимали честь и вступались за нее. Высоко поставленную личность ихъ было трудно оскорбить; рабами она обидѣться не могла: обида существуетъ собственно между личностями, признающими взаимныя права; цари могли оскорблять другъ друга, въ этихъ рѣдкихъ случаяхъ царства дрались, опустошались: вотъ поединокъ Востока. Отсутствие сознанія личнаго достоинства, неотрѣшенность отъ физическихъ опредѣленій, несчастія, неразрывныя съ дѣтствомъ, погубили Азію. Взгляните на эти чудовищныя царства, возникающія съ притязаніемъ на покореніе вселенной и удивляющія сперва страшной силой, потомъ страшной слабостью: они сходятъ съ поприща исторіи, дряхлыя въ юности, или остаются въ жалкой дремотѣ: безъ нравственной личности нѣтъ движенія, прочности, развитія. Смутное понятіе чести выражалось у азіатца слѣпой преданностью семьѣ, племени, кастѣ. Помните-ли вы, какъ Ксерксъ подвергался опасности на морѣ, и кормчіи объявилъ, что корабль грузенъ; царедворцы не задумались погибнуть для спасенія Ксеркса; медленно выходилъ каждый изъ рядовъ, приближался къ царю, склонялся передъ нимъ, потомъ твердыми шагами шелъ къ борту и кидался въ море. Это восточные Термопилы; царедворцы поступили совершенно послѣдовательно. Любимецъ Дарія Истаспа, видя, что онъ хочетъ снять осаду Вавилона, обрубилъ себѣ уши и носъ и въ этомъ жалкомъ видѣ передался вавилонянамъ, прося отмищенія и говоря, что его изуродовалъ Дарій. Вавилоняне сдѣлали его вое-

¹⁾ Къ подобнымъ явленіямъ принадлежало наше мѣстничество, основанное на патриархальной породистости, а вовсе не на понятіи своего достоинства. Замѣчательно, что, съ совершеннѣйшей потерей всѣхъ человѣческихъ понятій о достоинствѣ и о чести, въ Восточной имперіи точно также выросъ уродливый, вычурный и смѣшный формализмъ почестей, замѣнявшій честь *дѣйствительную*.

²⁾ Въ текстѣ: *царей* (проп. цензурой).

начальникомъ, и онъ предательски отдалъ ихъ городъ Дарію Истаспу. Сколько тутъ самоотверженія! Это восточный Байрдъ.

Понятіе о личности является сознаннымъ въ отношеніи къ государству въ мірѣ греко-римскомъ. Личность неразрывна съ понятіемъ гражданина, она не свободна еще въ отношеніи къ себѣ: восточное поглощеніе всѣхъ личностей одною повторяется и здѣсь, но мѣсто случайнаго лица занимаетъ нравственное, миѣическое лицо города, каждый гражданинъ сознавалъ въ самомъ себѣ долю идеальной, царящей личности города или отечества, и эта доля была неприкосновенная, святая святыхъ его души. Патріотизмъ грека и римлянина былъ раздражителенъ и не выносилъ никакой обиды: въ немъ заключался древній *point d'honneur*.Themistocle, сказавшій: «бей, но дай высказать», тѣмъ ярче выражаетъ греческое понятіе о чести, что оно въ этомъ случаѣ прямо противоположно средневѣковому понятію. Но *общее*, чтимое, святое было понято опять подъ опредѣленіемъ непосредственности и вѣщности; личность чловѣка и его достоинство поглощались достоинствомъ гражданина, а значеніе гражданина было основано на случайности мѣсторожденія, его права были права монополія; свободы въ древнемъ мірѣ не было: свободенъ былъ Римъ, Аѣны, а не люди. Граждане древняго міра, сказали не помню какой-то историкъ, потому считали себя свободными, что всѣ участвовали въ правленіи, лишавшемъ ихъ свободы. Уваженіе къ себѣ, какъ къ гражданину, было недостаточно, оно не помѣшало ни кліентизму, ни обоготворенію цезарей. Римскій гражданинъ, глубоко развращенный невольничествомъ, привычкой считать, сверхъ невольниковъ, всѣхъ иностранцевъ полулюдьми, врагами, варварами, не нашелъ въ душѣ своей никакой нравственной опоры, когда Римъ сталъ падать, да и Римъ, съ своей стороны, на нашелъ опоры въ своихъ гражданахъ. Катонъ и множество другихъ республиканцевъ, консерваторовъ, увидавши, что Римъ падетъ, лишили себя жизни и поступили совершенно послѣдовательно римскому понятію о чести. Что оставалось въ ихъ жизни? Развѣ она имѣла значеніе, независимое отъ Рима, значеніе не національное, чловѣческое? Нѣтъ. Правда, Сенека сталъ поговаривать о неотъемлемомъ достоинствѣ чловѣка, присущемъ ему потому, что онъ чловѣкъ, но Сенека родился послѣ смерти республики и въ то время, какъ яной духъ началъ вѣять въ самомъ Римѣ.

Такъ какъ истинныя личности были въ греко-римскомъ мірѣ—города, то и поединки могли быть, въ нѣкоторомъ смыслѣ, только между городами или республиками; Аѣны и Спарта всю жизнь провели въ дуэляхъ. Между частными людьми въ Римѣ поединка не могло быть потому, что дѣла чести рѣшались цен-

зурой. Государство имѣло право отнять все нравственное значеніе гражданина. Если и случалось что-нибудь въ родѣ поединковъ, то основа ихъ была непремѣнно патріотическая: такова дуэль между Гораціями и Куриціями. Греческая философія и римская цивилизація приготовили переходъ къ тѣмъ понятіямъ о личности, которая возвѣстилась людямъ Евангеліемъ, и если Аристотель былъ настолько грекъ, что дѣлилъ натуру человѣческую на свободную и рабскую, то Юлій Цезарь былъ настолько человѣкъ новаго міра, что жалѣлъ рабовъ и гладіаторовъ; очень понятно, почему первый примѣръ гуманности представляетъ именно тотъ человѣкъ, который нанесъ смертельный ударъ республикѣ. Неблагопристойныя ругательства Цицерона, въ полномъ засѣданіи сената, противъ Антонія, котораго онъ обвиняетъ, между прочимъ, въ томъ, что онъ пьяный бѣгалъ безъ всякой одежды по улицамъ, вызвали отвѣтъ одного сенатора, который также обругалъ Цицерона и заключилъ, что если Цицеронъ носить длинную тогу, то это для прикрытія своихъ отвратительныхъ ногъ. Примѣръ этотъ показываетъ, что уваженіе къ личности мало было развито въ Римѣ, что всего ярче выразилось въ отвратительномъ отношеніи патрона и кліентизма.

III.

Личность христіанина отрѣшается отъ древняго гражданскаго опредѣленія. Спаситель зоветъ мытарей и женщинъ, отворяетъ царство Божіе разбойнику, безщадно казненному закономъ гражданскимъ. Слово: невольникъ, рабъ, становится богохульствомъ, нищета—достоинствомъ, національность теряетъ смыслъ въ отношеніи къ единственной паствѣ, къ единой церкви: любовь къ отечеству уступаетъ первенство любви къ ближнему. Личность христіанина не только освобождалась отъ своего гражданскаго и исключительно національнаго опредѣленія, она стремилась и отъ всего земного; она совлекла съ себя стараго Адама, т. е. всю сторону непосредственную, тѣлесную, земную любовь, земное семейство, земныя страсти, земную мудрость, земное богатство, даже земное тѣло. Но братственная община, о которой говоритъ евангелистъ Лука въ «Дѣяніяхъ», не знаящая права собственности, имѣвшая одну душу и одно сердце, распространяясь, встрѣтилась съ государствомъ. Ничего не могло быть противоположнѣе христіанскимъ началамъ, какъ понятіе о государствѣ, развившееся въ римской имперіи того времени. Діоклетіанъ, первый *восточный царь* римскій, замѣтилъ противорѣчіе азіатско-римскаго понятія о государствѣ съ христіанскимъ, онъ съ свирѣпостью человѣка, не понимающаго духъ времени, гналъ огнемъ

и мечемъ юную церковь. Но дѣлать было нечего; имъ надобно было помириться. Государство было необходимо для христіанъ: это была доля кесаря, которую надобно было предоставить кесарю. При такомъ противорѣчій совѣсти съ гражданскимъ порядкомъ, частнаго съ общимъ, нельзя было развиваться,—можно было остановиться, потерять всякую силу и строеніе и держаться потому только, что еще паденіе не совершилось. Это доказываетъ та часть римской имперіи, которая осталась вѣрною древнему государству и которая разлагалась до XV столѣтія. Дѣйствительное примиреніе вышло индѣ.

Съ своей стороны, ничего не можетъ быть противоположнѣе не только восточному рабу, теряющемуся въ племени, но и римскому гражданину, поглощенному своимъ государственнымъ значеніемъ, какъ германецъ, боящійся всякой централизаціи и предпочитающій дикую независимость удобствамъ гражданской жизни. Германцы жили кучками, общинами, знаменами или дружинами; они почти не принадлежали землѣ, на которой родились, носили родину съ собой и вездѣ были дома. Когда хаотическое броженіе переселеній, завоеваній, перваго устройства успокоилось, когда германцы приняли христіанство, когда весь этотъ новый міръ началъ слагаться, принимая въ себя и остатки древней цивилизаціи и новую религію, развивая ими свою собственную сущность, тогда первымъ полнымъ и органическимъ слѣдствіемъ взаимнаго проникновенія этихъ элементовъ является *рыцарство*. Рыцарствомъ вооруженная ватага кондотьеровъ, наѣздниковъ, необузданныхъ воиновъ поднялась изъ міра грабежей и насилія въ феодалное благоустройство. Ключемъ свода этого готическаго братства, этихъ военныхъ гражданъ, единственныхъ правовѣрныхъ людей того времени, была безпредѣльная самоувѣренность въ достоинствѣ своей личности и личности ближняго, разумѣется, признаннаго равнымъ по феодалнымъ понятіямъ. Это было нѣчто совершенно новое. Не только каждый клочокъ земли захотѣлъ самобытности, послѣ того, какъ весь міръ жилъ однимъ Римомъ, но каждый непобѣжденный человѣкъ понималъ себя независимымъ, своевольнымъ. Феодализмъ—апотеоза личности воина, монахологія въ гражданскомъ развитіи; въ немъ нѣтъ дѣйствительнаго центра.

Понятіе о государствѣ, о городѣ, какъ о единомъ дѣйствительномъ, къ которому отнесенъ человѣкъ, пало; человѣкъ, какъ воинъ-защитникъ, какъ рыцарь, началъ понимать себя собственнымъ средоточіемъ; понявши это, онъ долженъ былъ высокопоставить свою честь, свою самобытность—гордую и независимую. Не массы сознали эту мысль о достоинствѣ личности: массы были побѣжденные, массы были отсталые горожане, люди римскихъ по-

нѣтъ, массы были несчастные земледѣльцы, для которыхъ часть сознанія еще не наставалъ; ее поняли доблестнѣйшіе изъ воиновъ, ее поняли духовные. Ничего не можетъ быть пагубнѣе для исторіи, какъ вносить современные вопросы симпатій и антипатій въ разборъ былыхъ событій; если въ нѣкоторыхъ странахъ позволяютъ людямъ судиться *нэрами*, то какое же право мы имѣемъ судить прошедшее не по его понятіямъ, а по понятіямъ иного времени. Мы привыкли сопрягать съ словомъ рыцарство—понятіе угнетенія, несправедливости, касты; но съ тѣмъ самымъ словомъ мы въ правѣ сопрягать смыслъ совершенно противоположный. Мы теперь смотримъ на рыцарство, какъ на прошедшій институтъ; его слабыя стороны для насъ раскрыты: насъ оскорбляетъ его гордое чувство безконечнаго достоинства, основанное на безконечномъ униженіи привязаннаго къ землѣ; оно пало отъ своей односторонности, оно наказано; оно до того умерло, наконецъ, что пора ему отдать полную справедливость.

Взгляните на рыцарство, отступивши въ VII, VIII столѣтія,—и оно представится передовой фалангой человѣчества; оцѣните внутреннюю мысль его о достоинствѣ человѣческой личности, о святой неприкосновенности ея, о строгой чистотѣ,—и вы поймете великое начало, внесенное имъ въ исторію. Оттого мы рыцарей можемъ принять за высшихъ представителей среднихъ вѣковъ; истинные представители эпохи—не ариѳметическое большинство, не золотая посредственность, а тѣ, которые достигли полного развитія, энергическіе и сильные дѣятельностью; другіе были въ ребячествѣ или въ дряхлости. *Человѣкъ научился уважать человѣка* въ рыцарѣ: этого мы имъ не забудемъ. Гордое требованіе признанія рыцарскихъ правъ было почвою, на которой выросло сознаніе права и достоинства человѣка вообще. Рыцарь далеко не былъ ниже римскаго гражданина. Римскій гражданинъ имѣетъ передъ нимъ то преимущество, что онъ *развилъ* свое понятіе; но то, чего домогался рыцарь, было выше того, чего достигнулъ римлянинъ. Сущность гражданина—въ его, случайность рожденія опредѣляетъ права его; сущность рыцаря—въ немъ самомъ, и онъ становится рыцаремъ, а не родится. Его право не принадлежитъ его личности, какъ случайной, а принадлежитъ ему по развитію въ случайной личности ея родового значенія (разумѣется такъ, какъ оно понималось въ тѣ времена). Никто не былъ признаваемъ христіаниномъ по одному физическому рожденію; никто не родился рыцаремъ; для перваго надобно было духовное рожденіе крещеніемъ, для втораго искусство и торжественное признаніе посвященіемъ. Рыцари были единственные свободные люди въ среднихъ вѣкахъ; они составляли между собой братство, разсѣянное по всему католическому міру и сочув-

ствовавшее между собою; ихъ соединяло единство обычаевъ, единство понятій о своемъ достоинствѣ, единство предразсудковъ; каждый рыцарь сознавалъ неприкосновенное величіе своей личности и готовъ былъ доказывать его мечемъ. Но можно-ли называть братствомъ учрежденіе, при которомъ массы были угнетены? А какъ-же древнія республики называются республиками, когда въ нихъ одни граждане имѣли права? Низшіе классы въ среднихъ вѣкахъ не только не были признаны высшими, но и собою не были признаны; ихъ признавала одна церковь и передъ алтаремъ они были равны; человѣкъ признается человѣкомъ настолько, насколько онъ самъ себя признаетъ человѣкомъ. Кровавыя событія временъ Жакри выразили инныя потребности со стороны народа и обнаружили иное сознаніе, и рыцари всѣми ужасами и свирѣпостями того времени не могли ничего сдѣлать. Тоже въ городахъ: по мѣрѣ того, какъ коммуны начинали сознавать свои права, рыцари со скрежетомъ зубовъ должны были уступать; сознаніе это росло, а рыцарство дряхлѣло. Въ 1614 году оно еще протестовало противъ смѣлости средняго состоянія, дерзнувшего назваться братомъ рыцарства, а въ 1787 году Сіезъ издалъ свою брошюру *Du tiers-état* и увѣрялъ, что среднее состояніе—*все*, мнѣніе, въ которое теперь никто не вѣритъ.

Права личности у рыцарей доказывались и поддерживались оружіемъ; міръ феодальный былъ дикъ и грубъ; кромѣ оружія и матеріальной силы, человѣкъ не находилъ себѣ другого оплота. Рыцарь былъ прежде всего воинъ, побѣдитель; подозрѣніе въ трусости и неумѣнны владѣть мечомъ—было высшимъ оскорбленіемъ. Рыцарство и тутъ, въ міръ вѣчной войны и рѣзни, внесло свое благотворное вліяніе: свирѣпое и необузданное насиліе облагороживается; враги не бросаются другъ на друга какъ звѣри, а выходятъ торжественно на поединокъ, благородно, открыто, съ равнымъ оружіемъ. Поединокъ былъ совершенно на мѣстѣ у этого военного братства. Кто судья надъ рыцаремъ, какъ не онъ самъ, какъ не равный ему противникъ? Для горожанина, для простолюдина существуетъ судебное мѣсто; но развѣ рыцарь подсудимъ кому-нибудь въ дѣлѣ чести, и что государство и его законъ за мѣрило, за возмездникъ его оскорбленію? Онъ самъ себѣ достанетъ право—копьемъ, мечомъ. Онъ признавалъ *самоправство* естественнымъ, неотъемлемымъ правомъ. Зачѣмъ онъ, оскорбленный, пойдетъ искать юридической расправы, когда онъ не вѣритъ въ ея возможность возстановить честь; онъ ищетъ собственной опасностью, смертію свой судъ и въ немъ оправданія себя въ чужихъ глазахъ и своихъ, казнь виновнаго согласна съ рѣшеніемъ небеснымъ. Конечно, храбрость и ловкость въ управленіи оружіемъ—самый жалкій критеріумъ истины, хотя, замѣ-

тимъ мимоходомъ, трусость—вѣчный ошейникъ рабства. Въ наше время странно было бы доказывать истину тѣмъ, чтобъ проткнуть копьемъ того, кто вздумаетъ возражать или кто не согласенъ съ нами въ мнѣніи. Самое требованіе признанія моей личности такъ, какъ я *хочу*, несправедливо; но во время рыцарства, когда чувство чести и самобытности было такъ ново и одушевляло грубыя и съ тѣмъ вмѣстѣ полудѣтскія природы, понятно и деспотическое требованіе признанія и готовность оружіемъ дать вѣсь своему требованію. Не надобно забывать, сверхъ того, что тогда человѣкъ дѣтски вѣровалъ, что небо поможетъ правому; самые судьи не находили тогда лучшаго средства къ раскрытію истины, какъ судъ Божій, какъ поединокъ. Поединокъ имѣлъ религіозную основу и нравственную. Нравственный принципъ поединка состоитъ въ томъ, что *истина дороже жизни*, что за истину, мною сознannую, я готовъ умереть, и не признаю правъ на жизнь отвергающаго ее. Мало сознавать достоинство своей личности: надобно, сверхъ того, понимать, что съ утратою его бытіе становится ничтожно; надобно быть готовымъ испустить духъ за свою истину,—тогда ее уважать, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Человѣкъ, всегда готовый принести себя на жертву за свое убѣжденіе, человѣкъ, который не можетъ жить, если до его нравственной основы коснулись оскорбительно, найдетъ признаніе.

Гражданинъ древняго міра имѣлъ всю святую святыхъ въ объективномъ понятіи своего отечества, онъ трепеталъ за его честь. Рыцарь, безпрестанно сосредоточенный на самомъ себѣ, при всякомъ событіи, думалъ прежде всего о своемъ достоинствѣ; его ни во снѣ, ни на яву не оставляла мысль о его неприкосновенности; ревнивое и раздражительное чувство чести было безпрерывно, лихорадочно возбуждено. Жизнь, имѣющая такую основу, должна была принять характеръ угрюмый, восторженный, пренебрегающій суетами и въ то же время страстный, необузданный. Съ одной стороны, католицизмъ освобождалъ человѣка на томъ условіи, чтобъ онъ отрекся отъ всего человѣческаго; съ другой, рыцарство давало ему копье и ставило его вѣчнымъ стражемъ своей чести. И онъ былъ величественъ—этотъ стражъ! Да, этотъ человѣкъ съ поднятымъ челомъ, опертый на копье, величаво и гордо встрѣчающій всякаго, увѣренный въ своей самостоятельности по силѣ, которую ощущаетъ въ груди, ничего не боящійся, потому что презираетъ жизнь, былъ высокъ и полонъ поэзіи. Вся самобытность рыцаря въ немъ самомъ, это бедуинъ, окруженный степью; онъ едва принадлежитъ какой-нибудь странѣ, онъ воинъ всего міра католическаго, онъ почти чуждъ патріотизма,—гдѣ его отечество? Это монада, сознающая себя самобытнымъ средоточіемъ, сознающая все царственное величіе своей

личности; онъ безпредѣльно вѣренъ своей присягѣ, его честь—залогъ его вѣрности, его вѣрность—свободный даръ; онъ не можетъ измѣнить, потому что могъ не отдаваться; онъ не понимаетъ восточнаго, хвастливаго самоуниженія. Греки смѣялись надъ невѣжествомъ крестоносцевъ; быть человѣкомъ казалось грубостью для византійцевъ. Необразованные воины эти, покрытые желѣзомъ, готовы были за тѣнь оскорбленія лечь костями; греки считали это предразсудкомъ: они, въ случаѣ нужды, подмѣшивали яду, дѣлали допросы..... ихъ воспитанія были совершенно розны.

Но какъ ни было сильно развитіе рыцарства, какъ оно ни было ярко и поэтично,—оно носило въ себѣ причину быстрой дряхлости: она очевидна.

Мы упомянули, что христіане первыхъ вѣковъ приняли, какъ неотразимое событіе, римское государство; истиннаго сочувствія между древнимъ порядкомъ вообще и новой религіей не могло быть. Монастыри показывали разомъ внутреннюю, социальную мысль христіанъ того времени и ихъ отвращеніе отъ языческаго устройства. Мы видѣли такую же несвойственность германскаго характера съ римскимъ понятіемъ государства. Тацитъ въ свое время уже замѣтилъ, что германцы любятъ жизнь въ разбивку. Шлегель думалъ уколоть германцевъ, говоря: *Der Deutschen wahre Verfassung ist Anarchie*, и высказалъ невзначай мысль, которой глубины не предвидѣлъ. Рыцарь—германецъ и христіанинъ вмѣстѣ. Онъ осуществлялъ этотъ протестъ личности противъ поглощающаго государственнаго единства, такъ, какъ другой протестъ, смѣренный и безоружный, являлся въ католическомъ монахѣ, отвергавшемъ гражданскія опредѣленія. Мечта Карла Великаго о сильной имперіи не могла осуществиться: папа, рыцарство и монашескіе ордена составляли оппозицію. Церковь признавала одно единство—единство паствы подъ жезломъ одного пастыря; феодализмъ хотѣлъ жить на каждой точкѣ земли: высасываніе всѣхъ соковъ однимъ городомъ было для него противно, онъ былъ слишкомъ завистливъ, чтобъ помогать централизаціи, у него вездѣ былъ свой центръ; кто-же бы его понудилъ уступить монополію одному городу? Польза, происходящая отъ сосредоточенія, отъ единства управленія, мало согласовалась съ его понятіемъ самобытности каждаго мѣстечка и уваженія ко всѣмъ федеральнымъ обычаямъ его. Эту независимую личность германскую рыцарство выразило энергически. Но во имя чего же былъ этотъ протестъ? во имя чего освобождалась личность рыцари? Зачѣмъ она такъ ревниво отстаивала себя противъ государства? По странному сочетанію противоположностей, составляющему чуть ли не отличительную черту всего средневѣковаго, рыцарь, человѣкъ, развившій въ себѣ чувство самобытности до высшей степени, оставался

нравственнымъ рабомъ; этотъ храбрый и непреклонный воинъ, отважный завоеватель, гордый защитникъ своей личности, былъ съ тѣмъ вмѣстѣ трусъ, и если короли и горожане боялись его, то онъ самъ боялся очень многого. Великій шагъ противъ древняго міра былъ тѣмъ сдѣланъ, что чтимое, неприкосновенное, святое поняли внутри своей груди, а не въ городѣ; но для полнаго развитія личности человѣческой не доставало нравственной самобытности: она была совершенно неизвѣстна въ среднихъ вѣкахъ. Тогда все было несвободно; даже *point d'honneur*, хранитель личныхъ правъ, былъ часто самымъ тяжкимъ игомъ; такъ, феде-рализмъ отстаивалъ самобытность частей государства для того, чтобъ доставить торжество своимъ провинціальнымъ обычаямъ, нерѣдко подавляющимъ личную волю вдвое больше.

Логика событій неумолима. Рыцарь, свободная личность въ отношеніи къ государству и рабъ внутри, развилъ односторонность свою до нелѣпости; онъ съ каждымъ днемъ дѣлался болѣе и болѣе Донъ-Кихотомъ; не имѣя дѣйствительнаго критеріума чести, онъ весь зависѣлъ отъ обычая и мнѣнія; онъ, вмѣсто живого и широкаго понятія человѣческаго достоинства, разработалъ жалкую и мелочную казуистику оскорбленій и поединковъ. Рыцарство пало жертвою своей односторонности, оно пало жертвою противорѣчія, только формально примиреннаго въ его умѣ. Но наслѣдіе, имъ завѣщанное, было велико; оно искупаетъ и его односторонность и весь временной вредъ, нанесенный имъ; лучшаго наслѣдія никто не завѣщалъ людямъ, ни Аѳины, ни Римъ—понятіе о неприкосновенности личности, о ея достоинствѣ, словомъ о *чести*. Честь скоро сдѣлалась неписанной хартіей германо-романскихъ народовъ. «Возлѣ гражданского суда учреждается свой трибуналъ, трибуналъ чести» ¹⁾, восполняющій недостатокъ юридической расправы. Съ человѣкомъ, который ставитъ свою честь выше жизни, съ человѣкомъ, идущимъ добровольно на смерть, нечего дѣлать: онъ *неисправимо человекъ*. Уваженіе къ личности, унаслѣдованное отъ рыцарей, мало-по-малу распространившееся по всѣмъ сословіямъ, трепеть за ея чистоту, спасли Европу во время революціоннаго противудѣйствія феодализму со стороны ожившей идеи государства и централизаціи; они помѣшали, по превосходному выраженію Монтескьё, «чиновнику сдѣлаться лаксемъ и солдату палачомъ». Людовигъ XI, Генрихъ VIII и самъ Филиппъ II знали очень хорошо, что снѣтаемость лица простирается до извѣстной степени, что его можно ограбить, убить, запутать въ сѣти, сжечь на *autodafe*, подавить общими мѣрами, но трудно и опасно оскорбить, нанести личную

¹⁾ Montesquieu «Esprit des Loix».

обиду; они знали, что горе дотрогивающемуся до чести; и то же самое вѣрованіе чести сдѣлалось опорой престола европейскихъ монархій. Ея нѣтъ во всѣхъ богдыханствахъ, деспотіяхъ и султанатахъ Востока ¹⁾.

Но мѣръ паденія рыцарства и самого католицизма возникаютъ въ западной Европѣ и укрѣпляются монархіи съ своими горожанами, постоянными войсками, съ своими судами и придворными, съ своей религіей—протестантизмомъ, англиканской и галликанской церквами. Римская идея государства является снова, но уже не какъ *общее дѣло*, а какъ дѣло правительства, какъ общественная польза, какъ поземельная неприкосновенность. Непреклонная, независимая личность феодала приносится на жертву государству; напрасно прячется она въ своихъ замкахъ и лѣсахъ,—новый порядокъ бьетъ ее вездѣ. Понятіе политической государственной самобытности развивается въ этомъ мѣрѣ... но на какой-то холодной основѣ мелкаго эгоизма, личность жертвуется не отечеству, не государству, а спокойствію и матеріальнымъ удобствамъ. Настоячивый въ своихъ правахъ горожанинъ, хитрый легистъ не развили въ себѣ того благороднаго и открытаго характера, какъ рыцарь; гордость, съ которой феодалы смотрѣли на нихъ, понятна. Поле брани, привычка къ оружію, къ опасности, удивительно воспитываетъ человѣка; онъ привыкаетъ пренебрегать мелочами, къ которымъ привязываетъ оскѣдлая и спокойная жизнь; у него складывается какой-то односторонній, но энергическій взглядъ на вещи, и въ то же время взглядъ наивно-дѣтскій; онъ будетъ грабить, но не будетъ хитрить; онъ будетъ насиловать, но не будетъ подыскиваться; онъ свирѣпо убьетъ, но не изъ-за угла. Совсѣмъ не такъ былъ воспитанъ горожанинъ: онъ былъ умиѣ, дѣльнѣе, ученѣе рыцаря; но онъ былъ рабомъ, привыкъ къ скрытности, къ проискамъ, къ уклончивости; онъ силенъ въ корпораціи — и ничтоженъ одинъ; онъ силенъ, опираясь на положительный законъ; опереться на себя ему и въ голову не приходило; словомъ, въ немъ не было той откровенности, которая присуща дѣйствительному сознанію личности. Этой откровенности вообще не было во всемъ переворотѣ противъ феодализма. Онъ сдѣлался исподволь; союзники, соеди-

¹⁾ Придется исключить одинъ Багдадскій халифатъ, во время его цвѣтенія и мавровъ вообще. Это составляетъ исключеніе, какое-то *mezzo-terme* между Востокомъ и Европой. Заѣмъ Монтескье отдѣлилъ честь отъ добродѣтели? Онъ расходится только въ крайностяхъ; напр. добродѣтель, доводящая смиреніе до позволенія бить себя палкой, распадается съ честью такъ, какъ казуистика бретера или *d'un raffiné* распадается съ добродѣтелью.

Развѣ подъ добродѣтелью Монтескье понимаетъ именно ту циническую *virtus*, которая была основою древнихъ республикъ?

нившіеся противъ феодализма, были заклѣтые враги (Людви́гъ XI и чернь). Главнѣйшіе дѣятели его скрывали свои противоборствующія идеи, не только идучи на бой, но и послѣ побѣды (напримѣръ, Ришельё). Наружно они сохраняли старыя формы, наружно они выдавали себя не только за консерваторовъ, но и за историческую всегдашность, призывали лжесвидѣтельствовать въ свою пользу исторію, обманывали, коварствомъ побѣждали врага и только наружно хранили видъ чести и доблести ¹⁾).

IV.

Стремительно развивающійся духъ европейскихъ народовъ быстро *изжилъ* романтико-феодальное содержаніе; онъ выросъ изъ средневѣковыхъ формъ, часть феодальнаго міра наступалъ; онъ дѣлался тѣсенъ для мысли и дѣйствія; переворотъ за переворотомъ громить его съ XV столѣтія. Эта способность развитія, эта возможность покидать старое и усваивать новое—одно изъ главныхъ отличительныхъ свойствъ европейскаго характера; западные народы не коченѣютъ въ объятіяхъ труповъ, хотя бы это были трупы ихъ отцовъ, не вянута въ тоскѣ; они съ похорономъ возвращаются полными свѣжихъ силъ; обновляются смертью и, вѣчно-юные между могилъ, облитыхъ горячими слезами, они строятъ изъ ихъ развалинъ новыя пріюты жизни. Держаться за однѣ и тѣ же формы, какъ за единственный якорь спасенія,—лучшее доказательство слабости и внутренней бѣдности; скучный Китай можетъ служить примѣромъ. Но, несмотря на эту внутреннюю готовность переходить къ новымъ формамъ, историческіе элементы имѣютъ свои права, хоть и не тѣ, которыя имъ приписываютъ—Нибуръ или Савиньи, и быть народный не снимается такъ легко, какъ черное бѣлье; *natura*, говорили древніе, *abhorret saltus*.

Иная жизнь, манящая лучшіе умы того времени, была вовсе не иная, а та же жизнь, нѣсколько исправленная. Не новый міръ водворялся, а старый передѣлывался. Обѣ стороны уступали, дѣлили грѣхъ пополамъ, закоснѣлыя привычки мирились съ неопредѣленными отвлеченіями; но что это за міръ? Грустный протестантъ, одѣтый въ трауръ, какъ-бы предвидѣлъ, что въ груди его лежитъ зародышъ страшныхъ столкновеній, онъ былъ печаленъ послѣ побѣды—очень дурной признакъ. Рѣзкій средне-

¹⁾ Людви́гъ XIV первый снялъ маску—*l'état c'est moi* сдѣлало бы честь откровенности Тимура или Чингисъ-Хана; глядя на него, и горожанинъ ее снялъ наконецъ, — въ залѣ *Leu de Paume*. Тогда началось второе дѣйствіе великой драмы.

вѣковъ характеръ стирается съ Вестфальскаго мира, монархическая революція побѣдила, гонимая личность рыцаря прячется: вообще, личности человѣческой не видно болѣе на публичной сценѣ, она только не погибла въ кабинетѣ ученаго; наступило время, богатое внутренней работой, работой мысли; мыслящая личность явилась на сцену военной, вооруженная анализомъ, отрицаніемъ, смѣлостью изслѣдованія. Если вы хотите узнать все величіе этого времени, отвернитесь отъ міра политическаго, т. е. отъ міра дипломатіи и несправедливыхъ войнъ: въ тиши кабинетовъ, въ мастерской артистовъ жила тогда новая мысль и росла новая мощь. Это гамлетовскій періодъ исторіи. *Thatenarm und gedankenvoll*, какъ сказалъ Гелдерлинъ о Германіи. Рыцарская личность, утратившая свое феодальное значеніе, едва поддерживалась дворянствомъ: въ дворянствѣ сохранилось по преданію, по привычкѣ, по внушенію съ молодыхъ лѣтъ, понятіе личной чести, и несмотря на то, что, увлеченные обстоятельствами, они домогались мѣстъ и придворнаго значенія, отдадимъ имъ справедливость, что въ отношенія чести они стояли выше горожанъ и готовы были всегда своею кровью искупить оскорбленіе. Горожане долго были довольны неприкосновенностію правъ сословія, общинъ, торговля ихъ была защищена и гражданскія права признаны; ихъ воспитала зависть и униженіе въ хитрыхъ легистовъ. Что же касается до крестьянъ, до немущихъ, объ нихъ никто не справлялся, ихъ всѣ забывали, даже революція забыла ихъ при сборѣ національнаго собранія, ихъ собственно никто не представлялъ. Народный голосъ, раздавшійся еще въ реформацію, совершенно умолкъ; изнуренная войнами грудь народа онѣмѣла, да и языкъ, которымъ стали теперь говорить правительства, былъ для него непонятенъ, все дѣлалось для общественной пользы, для общественного благосостоянія, для блага народа, а ему все становилось хуже; явились безправственные теоріи *du coup d'état*, дипломатическихъ уловокъ; обманъ и ложь были введены въ теорію. Совѣтъ республиканца Макіавелли былъ исполненъ; провію его приняли за чистый деньги.

Политика какого-нибудь Чезаре Борджіа сдѣлалась всеобщей: стремились религію сдѣлать административнымъ средствомъ, постоянныя войска превращались въ полицейскія команды. Это былъ золотой вѣкъ искусственной дипломатіи, она рѣшала судьбы народовъ и государствъ... Тамъ, гдѣ-то, съѣзжались посвященные въ таинства, писали длинныя бумаги тяжелымъ канцелярскимъ слогомъ, уступали, пріобрѣтали, оканчивали дѣлю и для формы объявляли народу, стрѣляя въ него, если онъ не тотчасъ понималъ пользу и справедливость новыхъ мѣръ. И все это вовсе не сказка, а печальная была политической исторіи

Европы отъ Вестфальскаго мира до конца XVIII столѣтія; читая сказанія о томъ времени, наглазно мѣряемъ, насколько мы подвинулись впередъ въ сто лѣтъ. Читайте исторію *великаго* царствованія Людвига XIV, а всего лучше читайте исторію тогдашней Германіи и ея печальнаго настроенія,—и вамъ сдѣлается страшно, и вы съ радостнымъ трепетомъ сердца встрѣтите въ этомъ омутѣ пороковъ, гнусностей, безнравственности, среди слабодушныхъ развратниковъ, окруженныхъ грязными лакеями строгое и полное энергіи лицо сѣвернаго путешественника и его толстый преображенскій мундиръ, такъ непохожій на изнѣженные кафтаны тѣхъ господъ. Кажется, что онъ идетъ на смѣну дряхлому порядку вещей, что онъ идетъ утѣшить людей вѣстью о свѣжей почвѣ. Но тотъ худо знаетъ характеръ европейца, кто думаетъ, что ему нужно обновленіе изнѣ... на краю гибели онъ всего ближе къ выходу. Людовигъ XIV былъ увѣренъ въ прочности зданія, завѣщаннаго имъ своимъ преемникамъ. Но когда послѣ его смерти потянуло изъ Англіи скептицизмомъ и ея политическими ученіями, поддѣльный мраморъ, изъ котораго строилъ великій король, сталъ быстро вывѣтриваться. Оргіи регентства не мѣшали слышать раскаты приближающагося грома, раскаты, которые раздавались какъ на Альпійскихъ горахъ... гдѣ-то подъ ногами. Франклинъ ввелъ въ моду скромный кафтанъ мѣщанина; требованія средняго состоянія во время революціи имѣли цѣлью не одни матеріальныя права и ихъ огражденіе, они требовали почета, какъ сословіе и какъ лицо, вѣрный признакъ совершеннолѣтія. Другой признакъ еще болѣе важный былъ высказанъ громкимъ требованіемъ подвергнуть суду разума весь непосредственный, привычный, обстоятельствомъ сложенный бытъ свой—и отречься отъ всего, что онъ не оправдаетъ. Общественный договоръ и права человѣка были двѣ оси, около которыхъ обращались всѣ вопросы того времени. Напрасно историческая школа въ Германіи, 20 лѣтъ спустя послѣ того, какъ мысль о договорѣ потрясла всю Европу, такъ кичилась своимъ открытіемъ, что *contrat social*—абстракція, что государство не устраивается по теоретическому плану, хотя бы онъ и былъ такъ геометрически правиленъ, какъ пирамида Сіэса. Само собою разумѣется, что мысль объ общественномъ договорѣ была отвлеченна, но именно въ то время нужна была такая абстракція; *Abstractionen in der Wirklichkeit gelten machen*, говоритъ Герель, *heisst die Wirklichkeit zerstören*. Историческія школы никогда не умѣютъ вполне понять историческаго смысла логическихъ, отвлеченныхъ понятій, имъ они все сдаютъ какими-то тѣнями иного міра. Между тѣмъ всѣ перевороты начинаются съ идеала, съ мечты, съ утопіи, съ абстракціи. Консерватизмъ на-

зываетъ всякій прогрессъ, всякое нововведеніе отвлеченнымъ,—онъ правъ, они отвлечены, какъ все наступающее, какъ все юное, но для полноты разумѣнія онъ долженъ назвать отвлеченіемъ и свое охраняемое; несмотря ни на историческія, ни на практическія права его, оно отвлечено какъ отходящее, какъ дряхлое. Само собою разумѣется, что не токмо Францію, но даже колонію нельзя устроить чисто *a priori*—старая Англія и старая Европа умѣли перебраться и въ Пенсильванію и Колумбію. Жизнь народа, такъ, какъ жизнь человѣка, имѣетъ періодъ безсознательный, въ которомъ она подлежитъ вліяніямъ роковымъ, органическимъ, принимаемымъ безотчетно, слагающимся изъ обстоятельствъ и, вырванныхъ имъ, взаимодействій и реакцій; потребность отчета возникаетъ, когда организмъ настолько сложился *a posteriori*, что его не передѣлаешь *a priori*—онъ *есть*, онъ образованъ, у него мозгъ выработался и развился по-своему,—фактъ нравственный и физиологическій вмѣстѣ. Дѣло холодной разсудительности состояло въ томъ, чтобъ, понявши свою историческую особность, идти впередъ, пользуясь обстоятельствами и стараясь поподволь приводить въ сознательную форму данныя начала. Исторія вообще далека отъ такого благоразумнаго пути. Начало сознанія является страстно, оно съ тѣмъ вмѣстѣ разѣдающее отрицаніе, злая борьба; религіозная сторона отрицанія состоитъ именно въ вѣрованіи искорененія стараго и водворенія новаго; отсюда источникъ энергіи и вдохновенія, которое охватываетъ огнемъ людей въ эти эпохи. Отрицаніе беретъ всѣ свои силы изъ того, что отрицаетъ, изъ прошедшаго; оно не можетъ ни пощадить его изъ благодарности, ни уничтожить изъ ненависти, оно какъ огонь сожигаетъ твердыни существующаго,—но само обусловлено именно существованіемъ сожигаемаго, и такъ, какъ въ физическомъ горѣніи старое ничего не утрачиваетъ, такъ и въ дѣлѣ отрицанія прошедшее не утрачивается, несмотря на сильно произнесенное стремленіе до тла уничтожить его; оно дѣлается пнымъ, сознаннымъ, превращается изъ ноши, положенной чужой рукой на плечи, въ свое бремя, которое не тяготитъ, но во всякомъ случаѣ оно остается, какъ основныя черты физиологіи, какъ національность, сохранять которую столько стараются добрые люди, забывая, что ее утратить при жизни невозможно.

Революція впала во всѣ крайности своей точки зрѣнія, но не отдѣлалась отъ прошедшаго даже въ теоріи: въ рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ ея, исполненныхъ пророчествомъ, проникли воспоминанія и былое. Общественный договоръ имѣлъ основую права человѣка—отношеніе личности къ обществу; ея значеніе дѣлается существеннымъ и главнымъ вопросомъ, но вопросъ рѣшился подъ вліяніемъ прежняго міросозерцанія. Рево-

люція признаетъ своей точкой отправленія неприкосновенную святость лица и во всѣхъ случаяхъ ставитъ выше и святѣе лица республику; для блага и спасенія республики, для жертвы большинству она снимаетъ съ человѣка тѣ права, которыя такъ торжественно провозгласила неотъемлемыми. Достоинство человѣка измѣряется его участіемъ въ общемъ дѣлѣ, значеніе его — чисто гражданское въ древнемъ смыслѣ. Революція требовала самоотверженія, себя-пожертвованія одной и нераздѣльной республикѣ. Она хотѣла средневѣковаго аскетизма и античной преданности отечеству. Призракъ вѣчнаго города, гнетущаго другіе города, снова возсталъ изъ могилы, разумъ и свободу поставили на упраздненные пьедесталы,—такъ еще мало былъ разуменъ и свободенъ человѣкъ. Фанатизмъ этотъ спасъ отечество, но не могъ спасти личности, потому что въ немъ было много идолопоклонства. Понятія о цивилизмѣ, объ обязанностяхъ гражданина, о равенствѣ, братствѣ, свободѣ, сдѣлались едиными спасающими догматами отечества, и *salus populi* замѣнило идеальную заприродность романтизма цивической *заприродностью* (*eine diesseitige Jenseitlichkeit*). Все покорялось новымъ идеаламъ до тѣхъ поръ, пока явилась личность настолько смѣлая, что не приняла внѣшняго опредѣленія, своевольно поставила себя рядомъ съ государствомъ и короновалась императоромъ. Цѣлость государства, его слава, его единство, его величіе, побѣда надъ врагомъ — все это ставилось выше личности; Наполеонъ поймалъ на словѣ французовъ, и они увидѣли, что всего этого мало, что человѣкъ дѣйствительно успокоится, когда его личность будетъ чтима и признана, когда ей будетъ свободно и широко, когда ее сознають совершеннѣйшей. Въ революцію такого признанія и быть не могло, революція была борьбою, это осадное положеніе, война, да и внутри ея совѣсти было сознаніе, что она не рѣшила вопросовъ, которыхъ рѣшеніе предпослала себѣ какъ программу,—отсюда доля ея тревожнаго озлобленія. За ея односторонность явился Наполеонъ, лучшее возраженіе со стороны личности противъ поглощающаго государства. Борьба послѣ Наполеона превратилась въ глухой бой оппозиціи, люди жили въ непрерывномъ спорѣ, въ отстаиваніи своихъ правъ, въ раздорѣ и раздраженіи, въ хлопотахъ объ устройствѣ... какъ будто человѣку только и занятій, что учреждаться, какъ будто удовлетворительно всю жизнь строить свой домъ. Байронъ задохнулся въ этомъ мірѣ.

Блестящее время оппозиціи, парламентскихъ дебатовъ миновало; современный человѣкъ является какимъ-то усталымъ и безучастнымъ... Его не увѣришь, что все счастье его около семейнаго очага, но не увѣришь и въ томъ, что оно исключительно на форумѣ; у него нѣтъ въ душѣ античной вѣры, что онъ—для

Рима; но онъ не смѣетъ сознаться, что Римъ — для него. Благо отечества ему дорого, потому что это его благо, но онъ не можетъ забыть свое нравственное достоинство для родины, ни онъ не уступить ни чести, ни истины для нея. Древній гражданинъ протягивалъ руку согражданину, гдѣ бы ни встрѣчалъ его; мы протягиваемъ ее сочувствующему человѣку, какой бы странѣ онъ ни принадлежалъ. Но мы все это дѣлаемъ больше, чѣмъ говоримъ, согласны болѣе, нежели высказываемъ. Робкая совѣсть наша боится признаться, что эгоизмъ и гуманность лишаютъ насъ половины цивическихъ добродѣтелей и дѣлаютъ насъ *вообще больше людьми*.

Предчувствую, что здѣсь надобно остановиться и пояснить сказанное. Мы это сдѣлаемъ въ слѣдующемъ отдѣлѣ нашей статьи.

(Окончанія нѣтъ).

С. Соколово, сентябрь, 1846 года.

Москвитянинъ о Коперникѣ.

Въ № 9 «Москвитянина» напечатанъ *Голосъ за правду*, голосъ благороднаго негодованія за помѣщеніе Коперника въ число Walhalla's Genossen. Гнѣвъ груди, изъ которой вырвался *голосъ за правду*, съ самаго начала обличаетъ волненіе, не позволяющее голосу оставаться въ предѣлахъ логики, хронологіи и даже приличія. Но самое это одушевленіе возбудило всю нашу симпатію: одни сильныя чувства ничѣмъ не вяжутся. Такіе голоса слушаются не умомъ, а сердцемъ: умомъ ихъ не токмо не оцѣнишь, но и не поймешь.

Предупреждая злые толки, мы поднимаемъ нашъ слабый голосъ, чтобъ объяснить нѣкоторые рѣзкіе звуки мощнаго *голоса за правду* въ № 9 «Москвитянина». *Голосъ*, мало-по-малу одушевляясь, возвѣщаетъ, въ лирическомъ пафосѣ, какъ въ Краковѣ Коперникъ духовно сочетался съ великими міровыми именами Галилея, Кеплера, Ньютона, *по слѣдамъ которыхъ шелъ и которыхъ оставилъ далеко за собою...* Холодные люди засмѣются, холодные люди скажутъ, что это изъ рукъ вонъ, и присовокупятъ, что Коперникъ умеръ въ 1543 году, Галилей въ 1642, Кеплеръ въ 1630, а Ньютонъ въ 1727! А у насъ слезы навернулись на глазахъ отъ этихъ строкъ: какъ чисто сохранился «Голосъ за правду» (ультра-славянскій) отъ грѣховной науки Запада, отъ нечестивой исторіи его! ¹⁾ Неужели Коперникъ не могъ идти по слѣдамъ и духовно сочетаться съ гениями, которые жили послѣ него, даже обогнать ихъ, только оттого, что умеръ прежде ихъ? Это матеріализмъ! Случайное время рожденія и жизни будто можетъ имѣть вліяніе на сочетаніе духовное? вѣдь, это не тѣлесное сочетаніе! Конечно холоднымъ разумомъ этого не поймешь; но будто человѣкъ понимаетъ однимъ разумомъ? это западный софизмъ. Какъ-же бы понимали люди, лишеныя разума? Нако-

¹⁾ „Голосъ“ такъ твердо увѣренъ, что въ Европѣ XVII вѣкъ былъ прежде XVI, что, не ограничиваясь вышесказаннымъ мѣстомъ, говорить: „къ счастью, миновало то время, когда Галилей томился въ темницѣ за тѣ же самыя истины, которыя всенародно объявлялъ Коперникъ“.

нецъ, ненадобно забывать, что «Голосъ за правду»—голосъ тренущій отъ гнѣва. До хронологіи-ли раздраженному человѣку? Онъ говорить какъ пѣица на треножникѣ, самъ не зная что. Итакъ, голоса винить нечего. Можно бы, конечно, замѣтить, что редакторы «Москвитянина» могли бы похладнокровнѣе слушать «Голосъ» и поправить ошибки; но, впрочемъ, въ условіяхъ, требуемыхъ закономъ, не сказано, чтобъ редакторы знали, когда тѣлѣсно жили великіе люди: какое-же право имѣемъ мы отъ нихъ требовать этого? Эти вздоры обыкновенно знаютъ люди холоднаго разума, жалкіе: имъ надобно чѣмъ-нибудь наполнить пустоту души; это знаютъ нечестивыя дѣти нашего вѣка—вѣка, который скоро заставитъ траву и каменья поднять голосъ и заставилъ уже недавно вдохновеннаго юношу *могучимъ* словомъ брякнуть на лирѣ:

О вѣкъ! Аравіи безплодная равнина,
Египта сладкихъ мясъ лишъ алчная чета! 1)

Знаніе—это *сладкое мясо* египетское, исторія и хронологія—это Тифономъ обглоданныя кости египетскаго мяса, и исторія европейской цивилизаціи—это просто «лишъ алчная чета».

Что за дѣло, кто прежде кого жилъ! Дѣло въ корнесловіи фамиліи. Тутъ «Голосъ» дома. Мы и прежде никогда не сомнѣвались, что Коперникъ былъ полякъ; но доказательства на это были бѣдны: родился въ Польшѣ отъ поляковъ, имѣвшихъ чисто славянскую фамилію. «Голосъ» идетъ гораздо далѣе; онъ доказываетъ филологически не только польское происхожденіе Коперника, но и выводитъ самое объясненіе его планетнаго движенія изъ корнесловія его фамиліи. Не смѣйтесь, а слушайте. Коперникъ, Копырникъ, это трава, у этой травы корни — во-первыхъ, въ землѣ, во-вторыхъ, въ богемскихъ словахъ *korpnct*, *trpnut*, *strpnut* и въ польскихъ *rokorniec*, *cierpnac*, *scierpnac*. (Ну, гг. нѣмцы, родственны-ли вамъ эти звуки? Нѣтъ!). Мало-по-малу наша трава превращается въ добродѣтель, и изъ *жербжицы* дѣлается *Покорникъ*. Итакъ, Коперникъ *proprie sic dictum* Покорникъ. Слово, которое могло бы быть и русскимъ, замѣчаетъ «Голосъ», если-бъ было принято. Это совершенно справедливо! Но «Голосъ» не ограничивается этимъ, а тотчасъ же усваиваетъ его русскому языку, для того, чтобъ доказать милымъ каламбуромъ, что Коперникъ потому и былъ гениальный астрономъ, что онъ былъ Покорникъ. «Въ Коперникѣ, говоритъ «Голосъ», мы не столько удивляемся безпредѣльной мысли, сколько религіозной

1) № 9 „Москвитянина“. Прекрасное стихотвореніе г. Лихонина! Видно, что это еще первые опыты; языкъ какъ-то не поддается, но надежды большія.

покорѣ, которая дала ему средства и силы постигнуть тайну міровращенія». Странно, конечно, покажется многимъ, какъ Галилей, жившій послѣ Коперника, сидѣлъ (по «Голосу», прежде рожденія Коперника) въ тюрьмѣ именно за ту же *покору* и какъ ученіе Коперника было объявлено нерелигіознымъ, но вы опять забываете, что все это можно узнать изъ костей сладкаго египетскаго мяса. Странно и то, отчего-же никто изъ доминиканцевъ, базилианцевъ, напр. хоть Заремба, который принималъ Коперника въ духовное званіе, не дошелъ покорой до движенія земной планеты, всѣ они были люди препокорные и *прекопырные*. Странно только съ перваго взгляда; со второго вы усмотрите, что Коперникъ былъ покорникъ въ квадратѣ, разъ по жизни, да разъ по фамиліи: какъ же ему было не добраться до объясненія солнечной системы? Это ясно, какъ дважды два четыре. Приобрѣтеніе русскому языку слова *покоры* очень важно и на немъ останавливаться нечего; мы знаемъ многихъ, рѣшившихся идти далѣе и подписываться *«копырнѣйшими слугами»*.

Филолого-мистическое изысканіе есть только пьедесталъ, съ котораго «Голосъ» начинаетъ свой выговоръ Германіи вообще, Баваріи и Швабіи въ частности. Можно себѣ представить, какъ «Голосъ» послѣ всѣхъ *gtrpnut*, *krpnet*, въ справедливомъ гнѣвѣ трактуетъ неумѣстную дерзость германцевъ поставить памятникъ славянину! Онъ называетъ современное состояніе Германіи (а можетъ, и всего Запада) «временемъ игрищъ безумныхъ». Подѣломъ! Что, у германцевъ мало, что-ли, великихъ людей? Три вѣка тому назадъ, завелся какъ-то у сосѣдей, и то чудомъ, *покорой* гений, опередившій самого Ньютона, умершаго сто съ чѣмъ-то лѣтъ тому назадъ, и того давай! Это ни на что не похоже! Вѣдь, мы не ставимъ памятниковъ Гёте или Шиллеру. Коперникъ писалъ не для нѣмцевъ, писалъ для соотечественниковъ: это ясно изъ того, что онъ писалъ по-латыни и посвѣщалъ папѣ римскому великія творенія свои. Развѣ не довольно Европѣ, что она унаслѣдовала, поняла, развила великую мысль, болѣе отгаданную гениемъ, нежели изложенную наукообразно? развѣ не довольно ей, что она же поставила генія въ возможность сдѣлать свое открытіе предшествовавшимъ развитіемъ астрономіи, подавъ ему «Альмагесту» Птолемея и всѣ послѣдующіе труды до XVI вѣка? Мало ей, памятники воздвигать... Нѣтъ, *копырнѣйшіе слуги*, много будетъ! Мы можемъ читать и не читать Коперника, можемъ думать, что онъ дальше повелъ науку Ньютона, основанную на Коперникѣ, мы можемъ ему ставить памятники и не ставить, — намъ онъ свой человѣкъ; съ своимъ человѣкомъ что за церемонія? А нѣмцы не приставай! Мы всегда съ негодованіемъ смотрѣли, какъ какіе-нибудь французы ставятъ памятники корси-

канцамъ, женевцамъ, швабамъ... А проросъ, Баварія виновата; пусть несетъ кару; а бѣдные швабы — ни тѣломъ, ни душой, даже намъ стало темно жалъ ихъ. Какой-то изъ редакторовъ «*Conversation's Lexicon*» написалъ, что Коперникъ происхожденія швабскаго: конечно, ошибка непростительная, хотя и менѣе грубая, нежели сдѣлалъ «Голосъ», считая Коперника послѣдователемъ Ньютона. Не зная, гдѣ и отъ кого родился Коперникъ, — не мѣшаетъ знать его *великое дѣяніе*, а думать, что Коперникъ открылъ движеніе земли, имѣя передъ собою *теорію тяготѣнія* Ньютона, показываетъ совершенное незнаніе предмета. По несчастію, «Голосъ за Правду» зналъ о жалкой ошибкѣ *Conv. Lex.* въ самое то время, когда гнѣвъ его достигъ высшей степеніи. «Какъ, говорилъ онъ, поляка Коперника производить отъ т... швабовъ». «Голосъ», задыхаясь отъ гнѣва, заикнулся на т... Жаль, что редакторы не доглядели этого т... Мы увѣрены, что крѣпкое словцо, начинающееся съ т... вовсе не обидно; но поле толкованія широко: мало ли прилагательныхъ съ т? Таврическій, темный, тупой, толстый, трогательный и проч. Швабъ Шиллеръ не былъ ни толстъ, ни тупъ. Фихте и Гегеля можетъ и считаютъ редакторы «Москвитянина» тупыми и толстыми, но за то навѣрное согласятся, что они не таврическіе...

Послѣ этой выходки, «Голосъ» слабѣетъ, переломъ совершился, онъ становится нѣженъ, добродушенъ, близокъ къ милому лепету дѣтей. Онъ рассказываетъ намъ, что великій астрономъ Коперникъ зналъ механику. Каковъ былъ Коперникъ! Да не знали-ли онъ и геометріи? «Тихо-Браге написалъ стихи въ честь его инструмента; названному *paralacticum*, искусство его въ живописи доказываетъ портретъ его, снятый имъ самимъ». Каковъ сюрпризъ послѣ точки съ запятой! Наконецъ, «Голосъ», утихая, говоритъ, какъ бы выводомъ и послѣднимъ словомъ своимъ, слѣдующія краснорѣчивыя строки: «Заклучимъ воспоминаніе о знаменитомъ Коперникѣ свидѣтельствомъ Мостлина, по мнѣнію котораго день кончины его былъ 19 января, а не 15 или 24 мая, не 19 февраля и 1 іюня».

Послѣ этого трогательнаго мѣста, «Голосъ» умолкаетъ. Послѣднія строки убѣдительны: конечно, если Коперникъ умеръ 19 января, то во всѣ прочіе дни и мѣсяцы того года онъ не умиралъ ¹⁾).

¹⁾ Хотя въ № 10 „Москвитянина“ и сдѣлана оговорка, что „въ статьѣ о Коперникѣ, Ресенсбургъ переставленъ съ Дуная на Рейнъ, а Коперникъ посланъ по слѣдамъ Галилея, Кеплера и Ньютона, между тѣмъ какъ онъ имъ предшествовалъ, благодаря излишнему усердію г. корректора“; но такая остроумная поправка показала такъ забавною моему корректору, что я никакъ не могъ отказать ему въ просьбѣ напечатать эту статью.

Оба лучше.

(Отрывокъ).

— Знаете вы этого господина... вотъ направо, читаетъ газеты?

— Нѣтъ.

— Мнѣ бы хотѣлось узнать, что онъ такое.

— Мудрено ли узнать; люди нынче выдѣлываются гуртовые, оригиналовъ въ Европѣ нѣтъ. Господинъ, васъ занимающій, или Орасъ Жоржа Занда...

— Не думаю.

— Ну, такъ, навѣрное, Барнумъ.

— Только будто и типовъ?

— Нѣтъ, есть еще средній: Барнумъ-Орасъ.

— Однако, я встрѣчалъ людей совершенно не похожихъ ни на Барнума, ни на Ораса.

— Гдѣ? Въ Кукунорѣ—въ Гон-го?..

— Нѣтъ, здѣсь въ Англіи.

— Это могло случиться; я больше думалъ о материкѣ; но развѣ вы не замѣтили, что всѣ эти чудаки, непохожіе ни на Барнума, ни на Ораса, что всѣ они... ну что же... разъ—два—три...

— Не знаю.

— Подумайте...

— Поврежденные.

— Разумѣется.

I.

Когда я возвратился домой, мнѣ пришло въ голову полушутливое и совсѣмъ злое замѣчаніе моего пріятеля. Въ самомъ дѣлѣ, Барнумъ и Орасъ такъ вполне созданы по образу и подобию вѣка мѣщанскаго и риторическаго, что они встрѣчаются вездѣ—внизу и наверху, направо и налево, на лавкѣ судей и на лавкѣ подсудимыхъ.

Барнумъ представляетъ дѣловую сторону, практическую на-

шего вѣка; это проза вѣка, его трудъ, его занятіе. Орасъ — поэзію, сторону артистическую. Барнумъ — это, такъ сказать, Сократъ мѣщанства; Орасъ—его Алкивиадъ.

Жоржъ Зандъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что въ наше время всѣ эти старые волокиты, вѣчные ловлазы, влюбленные маркизы, вовсе не существуютъ, что типъ молодого человѣка сороковыхъ годовъ совсѣмъ иной. Съ тѣхъ поръ, какъ она писала «Ораса», прошло лѣтъ пятнадцать; въ нихъ ничего не перемѣнилось; прежніе Орасы сдѣлались старше, новые подросли. Вся дѣйствующая, пишущая Франція состоитъ изъ Орасовъ. Нѣмцы тоже выработали себѣ, съ прибавкой глубокомысленнаго, но патриархально-простого разврата и основательно-тяжелой безнравственности, типъ Ораса (который они классически называли Горациемъ).

Въ Англіи Орасовъ мало, въ Америкѣ совсѣмъ нѣтъ; но англо-американская порода произвела другой типъ, не меньше всеобщій, и это ужъ не лицо романа, а лицо въ лицахъ, живой человѣкъ, по днесь здравствующій въ Нью-Йоркѣ,—Ф. Барнумъ.

Который изъ нихъ лучше, я не знаю, и принужденъ на это отвѣчать, какъ отвѣчаютъ дѣти: «Оба лучше». Хотя не могу скрыть, что для насъ Орасъ какъ-то интереснѣе,—это все литераторъ, словно свой братъ. Но хорошъ и Барнумъ въ своей античной простотѣ, мудрецъ жизни и поведенія, труженикъ и талантъ.

Съ дѣтства безъ средствъ, Барнумъ растетъ въ мелочной лавочкѣ, онъ окруженъ цѣлой атмосферой плутовства; передъ его глазами совершается мирная мародерская война мелкой торговли на своей низшей ступени, гдѣ лавочникъ покупаетъ у крестьянина земледѣльческія произведенія и продаетъ ему городскія. Малѣйшее разсѣяніе—и лавочникъ обмануть, обвѣшанъ; малѣйшая оплошность—и крестьянинъ надуть. Эта коммерческая игра въ мошенничество занимаетъ всѣхъ; каждый старается прежде сказать «шахъ и матъ» своему противнику. Въ слѣдующую игру, другой употребляетъ всѣ усилія, чтобъ отыгратъ, не скрывая совсѣмъ своихъ намѣреній.

Барнумъ смотритъ на это систематически-устроенное воровство глазами умнаго, расторопнаго мальчика, и первый результатъ, который онъ выводитъ, состоитъ въ томъ, что *работой* можно прокормить себя, но что *многого* не заработаешь, а ему съ дѣтскихъ лѣтъ хочется очень многого. Оборотами и уловками, напротивъ, можно все сдѣлать. Съ этимъ прекраснымъ началомъ, Барнумъ, присмотрѣвшись къ жизни, испыталъ грошевыя лотереи и копеечныя перепродажи пряниковъ и прохладительныхъ напитковъ, понялъ великую тайну вѣка риторическаго, вѣка

эффектовъ и фразъ, выставокъ и громкихъ объявленій, понять, что главнѣйшее для современныхъ номиналистовъ *афиша*!

Эффектъ и фраза—общія орудія у Барнума съ Орасомъ; но для Барнума это только средство наживы: обобравъ васъ, онъ васъ оставляетъ въ покоѣ. Орасъ проникаетъ въ сердце и душу—и тамъ еще что-то крадетъ и жетъ. Оттого подъ конецъ Орасъ сдѣлался адвокатомъ, т. е. краснобаемъ по ремеслу, а Барнумъ составилъ себѣ огромное состояніе и сталъ филантропомъ.

Непоколебимая постоянная вѣра Барнума въ глупость людей оправдалась. Онъ не скрываетъ своихъ убѣжденій, напротивъ, наивно рассказываетъ о своихъ продѣлкахъ, такъ, какъ полководецъ повѣствуетъ о своихъ стратегическихъ хитростяхъ. Онъ всякаго человѣка и всѣхъ людей принималъ за средство обогащенія, такъ, какъ это дѣлаютъ и другіе, но съ большей нравственной силой, съ большей послѣдовательностью. Истощивъ всѣ средства наживаться, разбогатѣвъ, онъ еще нажилъ, продавъ людямъ рассказъ о томъ, какъ онъ ихъ надувалъ. Тутъ Барнумъ становится гениемъ своего дѣла.

Барнумъ случайно нашелъ какую-то полубезумную старуху, съ трудомъ разгибавшуюся и мямлившую всякій вздоръ. Тотчасъ въ его головѣ родилась мысль: «Что, если выдать ее за няньку Вашингтона»? Что долго думать! ...Афиши—и давай ее возить изъ города въ городъ. Куда ни привезетъ, всѣ кричатъ въ одинъ голосъ, что это ни на что не похоже, что это пустяки, что нянькѣ Вашингтона было бы лѣтъ полтора, и всѣ торопятся взглянуть изъ любопытства, что это такое. Толпа выходитъ изъ балагана съ хохотомъ, другая входитъ, обѣ увѣрены, что это вздоръ и обманъ, а Барнумъ откладываетъ себѣ одну тысячу долларовъ за другою.

Возивъ по міру Сирену и Томъ-Пуса, подложную няньку Вашингтона и истинную Джени Линдъ, Барнумъ доплутовался до высокой честности, председательствуетъ въ обществѣ благотворенія бѣднымъ, даетъ отеческіе совѣты начинающимъ карьеру. Прошедшее, по понятіямъ мѣщанъ, не имѣетъ дѣйствія на милліонъ въ кассѣ. Милліонъ все покрываетъ.

Впрочемъ, Барнумъ былъ и прежде всегда нравственнымъ человѣкомъ; онъ наивно останавливается среди книги, чтобъ сказать читателю, что несмотря на то, что онъ иногда былъ въ необходимости пользоваться обстоятельствами безъ особенно-шепелительнаго разбора средствъ, онъ постоянно перечитывалъ Библію и, гдѣ бы ни былъ, ходилъ всегда по воскресеньямъ въ церковь. Онъ даже не забылъ отмѣтить въ пользу своего чувствительнаго сердца, какъ, отправляясь изъ Нью-Йорка въ Лондонъ съ Томъ-Пусомъ, утеръ слезу, прощаясь на пароходѣ съ женою.

Орасъ слезиѣ, нервнѣ его. Орасъ самъ—афиша, живая декорация, воплощенная ложь. Вѣчный актеръ, онъ ежеминутно позируетъ; у него есть идеальный Орасъ, за котораго онъ хочетъ прослыть и котораго онъ представлялъ для всѣхъ знакомыхъ и незнакомыхъ, для мужчинъ и женщинъ, для старыхъ и молодыхъ.

Въ бѣдѣ и счастьи онъ отыскиваетъ одну сценическую сторону, ушмивается дѣйствиємъ, которое производитъ на другихъ; его эпикуреизмъ не простой, а, такъ сказать, рикошетный; онъ вызываетъ сочувствіе, за которое, съ своей стороны, ничего не даетъ, да если-бъ и хотѣлъ, не можетъ ничего дать; у него совѣтъ нѣтъ сердца къ чему-нибудь внѣ его самого, но есть поверхностное пониманіе страстей, ни къ чему его не обязывающее; ему нравятся ихъ накоежное раздраженіе, ихъ дѣйствіе на зрителей, онъ самъ себя увѣряетъ въ нихъ, т. е. лжетъ себѣ самому, но какъ только зыбь становится непокойною, опасною, онъ выходитъ спокойно сухой на берегъ и идетъ себѣ домой. Если онъ привязывается иногда къ людямъ, то это на томъ основаніи, какъ мы привязываемся къ икрѣ или дичи. Въ немъ нѣтъ внутренняго предѣла, который бы остановилъ его въ чемъ-нибудь,—одного изъ тѣхъ инстинктивныхъ предѣловъ, заявляющихъ свое veto прежде всякаго разсужденія. Сверхъ собственной опасности, для Ораса существуетъ одна узда—партеръ, общественное мнѣніе; оставьте его одного,—онъ не будетъ себѣ мыть рукъ. Пуще всего боится смѣха. Чтобъ выправиться изъ смѣшного положенія, онъ опозоритъ сестру, предастъ друга.

Онъ падохъ на каждое наслажденіе, на каждое лакомство (что не мѣшаетъ ему представлять изъ себя давно потухшій кратеръ). Я увѣренъ, что онъ тайно покупаетъ себѣ конфекты и, запершись у себя въ комнатѣ, ѣстъ ихъ.

Между Барнумомъ и Орасомъ разстояніе не такъ велико, какъ кажется: вмѣсто вашингтоновской няньки онъ показываетъ священные убѣжденія души, любовь, братство, отчаяніе. Все это у него до такой степени неистинно, что Орасъ даже и не развратенъ: разврату надобно отдаваться для того, чтобъ онъ нравился, развратъ требуетъ своего рода откровенности. Орасъ будетъ представлять какую-нибудь роль лоретки, падшаго духа, несчастную любовь, которая алчетъ утопить себя въ смертельныхъ волнахъ чувственности, а не то тотчасъ уснетъ.

По мнѣніямъ онъ непременно радикалъ, ненавидитъ аристократію и особенно банкировъ; но страстно желаетъ денегъ, и какъ только попадетъ въ богатую залу съ коврами, маркизами и канделябрами, у него начинается кружиться голова, онъ чувствуетъ, что *рожденъ* для этого міра. Его утѣшаетъ мысль, что онъ имъ *пожертвовалъ* (не имѣя на то никакого права) своимъ

убѣжденіямъ. Дайте ему сто тысячъ франковъ доходу и «mon-sieur le marquis» передъ фамиліей,—онъ не пуститъ васъ къ себѣ въ домъ.

Существо это, позолоченное снаружи и испорченное внутри, у котораго развиты всѣ страстныя пополозновенія и ни одной страсти, вносить гибель и несчастье во всѣ круги людей простыхъ и искреннихъ, пока они не догадываются, съ кѣмъ имѣютъ дѣло. Занятый исключительно самимъ собою и своимъ эффектомъ, онъ, самъ того не замѣчая, оскорбляетъ нѣжнѣйшія струны чужого сердца.

Играя на фальшивыя деньги, онъ всегда въ выигрышѣ, потому, что съ другихъ беретъ золото, пока этого не замѣчаютъ. Орасъ силенъ, но, какъ привидѣніе, теряетъ свою силу при дневномъ свѣтѣ.

Минута, въ которую Мирта перешла отъ любви къ ненависти,—нѣтъ, къ презрѣнію, была та, въ которую Орасъ игралъ самоубійцу у ея ногъ и остался, слава Богу, здоровъ.

Орасъ — главный виновникъ бѣдствій, обрушившихся на Европу въ послѣднее время. Онъ увлекъ своими фразами массы—такъ, какъ увлекъ Мирту въ романъ—для того, чтобъ предать ихъ при первой опасности.

II.

Ж. Зандъ говоритъ, что романъ ея былъ принятъ съ почетомъ,—это естественно. Развѣ у насъ не сердились на «Ревизора»? Сходство схвачено поразительно, обидно. Она сама испугалась: ей стало совѣстно передъ знакомыми и друзьями. Кисть дрогнула въ ея рукахъ и она къ концу смѣняетъ улыбку презрѣнія—улыбкой снисхожденія. Она дѣлаетъ Ораса адвокатомъ и даже намекаетъ на его исправленіе. Адвокатомъ-то онъ будетъ, и адвокатомъ отличнымъ, защитникомъ вдовъ и сиротъ, негодующимъ карателемъ человѣческихъ слабостей; но Орасомъ онъ останется, потому что онъ можетъ только удачно «представить» исправленіе—не больше.

Исправляются люди безъ заднихъ мыслей, люди увлеченные, безъ *premeditation*, люди съ сердцемъ, напримѣръ, Фобласъ. Кстати пришелъ онъ на память. Фобласъ отчаянный шалунъ, Орасъ передъ нимъ отшельникъ: отчего же первому хочется погрозить пальцемъ, а второго толкнуть ногой?

.... Между жителями Новой Зеландіи и обитателями какого-нибудь квартала въ Парижѣ не больше различія, какъ между Фобласомъ и Орасомъ. А, вѣдь, между тѣмъ и другимъ не Богъ знаетъ сколько времени прошло. Фобласъ на старости лѣтъ могъ

еще встрѣтить Ораса у маркизы или поколотить его въ оперѣ, когда онъ такъ мѣщански хвастался своей побѣдой,—и поколотить той самой палкой, которую онъ оставилъ у актрисы, а сынъ нашелъ.

Фобласъ совершенно искренній человѣкъ, онъ ищетъ не побѣды, а наслажденія, онъ вѣтренъ, впечатлителенъ и такъ же откровенно раскаивается въ своихъ измѣнахъ Лодоискѣ (всякій разъ двадцатью часами позже, нежели слѣдовало), какъ и измѣняетъ ей. Останавливать Фобласа поздно, но бояться нечего: онъ современемъ остепенится и сдѣлается человѣкомъ; можетъ быть, по дорогѣ онъ потеряетъ состояніе, здоровье; но сердце у него останется.

Фобласъ жилъ въ испорченномъ воздухѣ будуаровъ; ударилъ громъ: Фобласъ сдѣлался Ларошжакленомъ. Орасъ не переродился землетрясеніемъ; въ немъ нѣтъ больше «нерва», какъ говорятъ французы.

Слабости Фобласа—мужскія, слабости Ораса—женскія: его настоящее призваніе—жить паразитною жизнію, мучить женщину, дѣлать изъ нея пьедесталъ, скамейку, обирать ее, тянуться передъ ней, капризничать и, говоря съ нею, смотрѣть въ зеркало на самого себя.

Но отчего жъ все это... отчего?

А отчего, съ другой стороны, несмотря на то, что Фобласъ часто неприличнѣе романовъ Поль-де Кока, когда вы читаете послѣдніе, чувствуете, что грязь глубже и топче? Уровень понизился!

Между Луве и Поль-де-Кокомъ, между Фобласомъ и Орасомъ—что-то прошло и понизило людей. Съ тѣхъ поръ уровень все еще падаетъ. Фигаро Бомарше и Лизета Беранже сдѣлались теперь такими же идеалами, какъ Баярдъ и Женевиѣва; Фигаро, забавный, милый плутъ, замѣнился Робертъ Макеромъ, который уже крадетъ и грабитъ, дѣлаетъ фальшивые векселя, убиваетъ. Въмѣсто Манонъ Леско и Лизеты является Марго (въ les Filles de marbre), которая ничего не любитъ: «ни цвѣтовъ, ни соловья, ni le chant de Romeo», а любитъ только лундоры...

V-la se qu'aime Margot.

Марго—женщина за №, патентованная и гарантированная префектурой. Немногимъ лучше ея весь литературный парижскій Сень-Газаръ, котораго двери растворилъ А. Дюма-сынъ.

Между Фобласомъ и Орасомъ, между Фигаро и Робертъ Макеромъ, между Манонъ и Марго *прошло мѣщанство, овладѣло людьми и образовало два поколѣнія...*

Изъ писемъ путешественника.

Во внутренности Англіи.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Гровеноръ Скверъ, 1 марта, 1856.

... Скучные вопросы салонной болтовни, походившіе на допросъ, кончились. Допросъ на этотъ разъ былъ длиненъ, подробенъ, скученъ и тяжелъ; я сѣлъ на диванъ въ углу комнаты и съ волчьей злобой смотрѣлъ на разодѣтыхъ старухъ, на дурно одѣтыхъ молодыхъ и на накрахмаленныхъ мужчинъ, наполнявшихъ залу, въ которой угощали свѣчами и холоднымъ чаемъ съ кеками.

Новая жертва была поймана. Жестокость, съ которой меня пытали, была обращена на толстую женщину, которой полу-платье было обшито какими-то стеклами, точно будто она хранила себя такъ, какъ здѣсь берегутъ овощъ въ огородѣ, посылая верхъ ограды битыми бутылками. Ее вели пѣть. Какой-то М. Р.¹⁾ съ завитыми бакенбардами и съ пробормомъ на затылкѣ сѣлъ за рояль, развернулъ ноты, закричалъ по-итальянски, и женщина закричала. Пошла музыка.

Я перебиралъ въ головѣ рядъ глупостей, о которыхъ меня спрашивали... о морозѣ, о казакахъ, о партіи Old-Boyards; тощій клержиманъ освѣдомлялся, правда ли, что официанты одѣваютъ у насъ дамъ, и есть ли у насъ литература, другой т. р. желалъ знать, истинно ли это, что каждый русскій крестьянинъ имѣетъ фанатическое желаніе завоевать Европу. Надо замѣтить, что одни и тѣ же вопросы предлагаются всякій разъ, и отвѣты постоянно приводятъ въ изумленіе честную публику.

Официантъ назвалъ одного литературнаго льва. Устрашенный голосомъ, который подавалъ М. Р., и увидя меня въ углу, левъ продрался къ дивану, помявъ немного свою гриву.

1) Member of Parliament, членъ парламента.

— Вы не будете спрашивать о Россіи? сказалъ я ему, подавая руку.

— А что?

— Пожалуйста, предупредите, я сейчасъ кончилъ свое представленіе, вѣдь и Альбертъ Смитъ не ходитъ два раза кряду на свой Монбланъ въ Пикадили. Если вы памфлены сдѣлать хоть одинъ вопросъ, скажите, я уйду.

— Успокойтесь, я буду васъ спрашивать объ Англіи, сказалъ онъ, смѣясь.—Въ самомъ дѣлѣ, я васъ не видалъ сто лѣтъ: ну, что, какъ вы обжились у насъ, какъ привыкли?

— Такъ себѣ,—если-бъ можно было мѣсяцъ осенью провести безъ насморка и если-бъ не было трехъ осеней въ году.

— Какъ это старо жаловаться на климатъ!

— Мнѣ не легче оттого, что у цезаревыхъ солдатъ за девятнадцать столѣтій тоже былъ насморкъ во время британской кампаніи.

— Ну, а помимо климата, какъ вы сжились съ нашими правами?

— Не могу привыкнуть обѣдать безъ салфетки.

Но спрашивающаго англичанина ничѣмъ нельзя остановить, кромѣ отвѣта, и потому мой храбрый левъ снова напалъ на меня. Я началъ раскапывать въ томъ, что помѣшалъ ему говорить о Россіи, и замѣтилъ ему, наконецъ: «что Англію въ Европѣ меньше знаютъ, нежели древній Египетъ, несмотря на то, что изслѣдованія Байрона стоятъ Шампольионовскихъ».

— Это не заключеніе и относится къ Европѣ, а не къ Англіи.

— Какое же заключеніе? Я, право, не знаю; развѣ вотъ, что Англія...—ничего мнѣ не шло въ голову.

— Ну, что же?

— Англія—Голландія.

— Я не понимаю, сказалъ онъ, однако слегка покраснѣлъ.

— А развѣ вы думаете, что кто-нибудь понимаетъ Голландію? Впрочемъ тутъ обиднаго ничего нѣтъ. Я не знаю почтеніе памятника иныхъ вѣковъ и лучше сохранившагося: Голландія самобытно довольствуется, какъ Стюарты, своимъ *finis*.

— Вы хотите сказать, что мы такое же давно прошедшее?

— Помилуйте, я слишкомъ хорошо знаю грамматику: вы еще à l'imparfait, но нынче глаголы спрягаются ужасно скоро. Да что объ этомъ толковать, скажите мнѣ лучше, когда предложить *alien bill*?

— Его совѣмъ не предлагать.

Напрасно.

— Вы все шутите, *my dear Cossak*.

— Совѣмъ не шучу; если бы ваши министры были патріоты,

они непремѣнно предложили бы alien bill. Вы портите репутацію фирмы, вы подрываете свой кредитъ и дорого заплатите за ваше дорогое гостепріимство. На что же вы и островъ, если чужіе повадятся жить въ Лондонѣ? Лучше сдѣлать мостъ изъ Фонстона во Францію. Въ какомъ же торговомъ домѣ, особенно когда не везетъ, пускаютъ постороннихъ за прилавокъ или въ кассу?

— Мы такъ дорожимъ правомъ убѣжища, что готовы на все неудобства его.

— Все это было бы хорошо во времена гугенотовъ да разныхъ національных вопросовъ. Теперь другія времена. Прежнія эмиграціи вамъ принесли страшную пользу. Вашъ тяжелый работникъ не скоро бы дошелъ до тѣхъ техническихъ усовершенствованій, которыя онѣ вамъ принесли. А теперь чему васъ научатъ иностранцы? Пускать ненужныхъ свидѣтелей за кулисы—бѣдовое дѣло въ наше время, если не хотите, чтобъ знали тайны дирекціи. Тронутый вашимъ гостепріимствомъ, я требую alien bill...

М. Р. пересталъ подавать голосъ, сдѣлалось движеніе, перемѣщеніе лицъ, и мой левъ, казалось, былъ доволенъ, когда къ намъ подошелъ одинъ французскій адвокатъ—орлеанистъ, седьмой годъ ожидающій съ часа на часъ важныхъ вѣстей изъ Франціи и ни въ одно утро не сомнѣвавшійся, что онѣ къ вечеру придутъ. Онъ сталъ намъ рассказывать, что теперь дѣло кончено, что ему писали изъ Лиможа и изъ Бери самыя положительныя свѣдѣнія. Успокоенный насчетъ судьбы адвоката и пожелавъ ему мѣста королевскаго прокурора, я уѣхалъ домой.

Открытіе Англіи и ея внутренней жизни, безъ сомнѣнія, одно изъ важнѣйшихъ событій послѣ открытія Америки и путешествій во внутренности Африки. Для этого были необходимы исключительныя условія, міровыя событія, вулканическіе взрывы, бросившіе на островъ десять осколковъ разныхъ народностей, десять разныхъ эмиграцій, противоположныхъ по духу, которыя были прибиты волненіями Европы къ мѣловымъ берегамъ Англіи, выброшены на нихъ и тамъ оставлены отливомъ.

Прежде, кромѣ англичанъ, никто не жилъ въ Англіи, иностраннаго круга въ Лондонѣ не существовало. Были однѣ спеціальности, поглощенные своимъ дѣломъ. Чиновники посольствъ, негоціанты, артисты, нѣсколько бѣдняковъ, выбившихся изъ силъ, чтобы заработать кусокъ хлѣба, нѣсколько шулеровъ, обиравшихъ глупыхъ туземцевъ и перелетная стая туристовъ. Но туристы ѣздили по Англіи, а не жили въ ней. Въ Англіи страшная скука, въ Англіи климатъ скверный, гостиницы отвратительныя, дороговизна чрезвычайная. Какой же туристъ по доброй волѣ станетъ жить въ ней, имѣя возможность жить въ другомъ мѣстѣ?

Пробыть въ Лондонѣ полсезона съ рекомендательными и кредитивными письмами, съѣздить къ кому-нибудь на дачу и объѣздить этотъ городъ-провинцію—такъ же поверхностно, какъ прокатиться по тонкой плевѣ льда въ Гайдъ-Паркѣ: глубокое и опасное именно подъ ней.

Для изученія англичанъ надобно съ ними *пожить*, т. е. имѣть всякаго рода ежедневныя, будничныя сношенія, денежныя дѣла, общіе интересы и личное знакомство.

До сихъ поръ Англію знали въ Европѣ такъ, какъ она себя выдавала, или, такъ сказать, въ противоположность материкъ, прикладывая къ ней цѣликомъ свои понятія. Такъ, напримѣръ, знали, что въ Англіи существуетъ свобода книгопечатанія, которой въ Европѣ нѣтъ; но что значитъ для Англіи книгопечатаніе, этого не знали. Франція, отдѣленная отъ Англіи своимъ одностороннимъ образованіемъ, своимъ просвѣщеннымъ невѣжествомъ, не знала ея изъ ненависти. Германія, одаренная сильнымъ бугромъ набожности—*der Veneration*, на знала ея изъ подобострастія. Даже въ Россіи питали такое уваженіе къ Англіи, что слово «англійскій» значило превосходное, прочное, совѣстливо оконченное.

Одна страна въ мірѣ знала Англію насквозь (и это очень извѣстно англичанамъ), она знала ее по воспоминаніямъ дѣтства, по молоку, которое сосала, по одной крови въ жилахъ: это Сѣверо-Американскіе Штаты. Дочь и мать, разлученные океаномъ, не спускаютъ другъ съ друга глазъ: это тотъ *одинъ* взглядъ ненависти, которымъ смотрѣли другъ на друга старый корсаръ и его дочь у Байрона.

Англія—страна иной формаціи, мѣстами скрытой наноснымъ слоемъ современнаго образованія. Лишь только вошли вы въ Англію,—равновѣсіе нарушено; человѣкъ нашего вѣка находится не въ своей средѣ. Европейское общество въ Парижѣ и въ Петербургѣ, въ Вѣнѣ и во Флоренціи—одно и то-же, при всѣхъ своихъ различіяхъ; но англійское общество—совсѣмъ иное, въ немъ человѣкъ отступаетъ на три вѣка. Европа много пережила бѣдствіями, войнами, переворотами, столкновеніемъ народностей, борьбою теорій; стѣсненная мысль ея работала внутри и пережигала ея грудь, британскія идеи, оставшіяся безплоднымъ дома, потрясали въ ней поколѣнія; аристократическій эпикуреизмъ британскаго ума дѣлался Вольтеромъ и энциклопедистами, Юмъ—Кантомъ. Внутреннее развитіе Англіи шло послѣ Вильгельма Оранскаго бѣдной арифметической прогрессіей, въ то время какъ въ Европѣ оно неслоь быстрой геометрической. Англія усваивала себѣ одну техническую, прикладную, специальную часть общаго образованія. Это древній готическій соборъ, освѣщенный газомъ,

къ которому ведутъ желѣзныя дороги, это XVII столѣтіе, переѣхавшее на фабрику. Англія, сложившись прежде другихъ странъ изъ своихъ собственныхъ элементовъ и какъ случилось, т. е. оставляя половину на произволъ судьбы, удовлетворилась черезъ край своими учрежденіями. Неповоротливый умъ ея, довольный приобрѣтеннымъ, продолжалъ одно и то же, повторяя поколѣніями условную и неловкую жизнь, храня обряды, боясь переменъ. Такимъ образомъ Англія осталась страной не перегорѣлой, не переплавившейся, страной «Флецовою» въ сравненіи съ третьезданной Европой.

Главный историческій характеръ Англіи—настойчивость, это тихое, неотвратимое, непрерывное осѣданіе, утягиванье всего на дно, храненіе захваченнаго, приращеніе безсмысленнымъ повтореніемъ, вѣчнымъ *semper idem*. Такъ образуются подводные рифы, это жизнь дна морского, совершенно противоположная вулканической натурѣ романскихъ народовъ, мучимыхъ внутреннимъ огнемъ, взрывами, живущихъ катаклизмами и пожарами. Романскіе народы, раздираемые своими потрясеніями, стынуть на время съ лавой на губахъ, съ судорожнымъ выраженіемъ, оставляя тамъ кратеръ, тамъ разорванную скалу—въ память прошедшей бури. Въ Англіи все тихо какъ въ океанѣ, и все растетъ и множится въ страшныхъ количествахъ, т. е. все, что можетъ жить безъ воздуха.

Для осадка нуженъ покой, нуженъ порядокъ, и въ густой атмосферѣ острова все давно приняло мѣсто по удѣльному вѣсу, и если качается изъ стороны въ сторону, то все же не теряетъ баланса и своего слоя. Каждый атомъ въ немъ ищетъ самъ улечься или повиснуть на вѣки вѣковъ въ *своемъ* мѣстѣ.

Сэръ Жозуа Вомелей, извѣстный членъ парламента, рассказывалъ годъ тому назадъ слѣдующій анекдотъ, бывший въ его домѣ. Одинъ изъ «лидеровъ» радикальной партіи, онъ завелъ въ Лондонѣ большой домъ; человѣкъ добрый, онъ сдѣлалъ, что могъ, для удобства своихъ людей, но вскорѣ увидѣлъ, что они недовольны имъ. Однимъ утромъ камердинеръ объявилъ ему, что онъ отходитъ.—Что случилось?—Я вами очень доволенъ, но я не могу остаться, въ нашей дворнѣ нѣтъ никакого порядка. Я не привыкъ къ такой жизни.—Какой же беспорядокъ?—Это не мое дѣло докладывать, извольте спросить ключницу (гаускиперъ).—Съ Богомъ. Затѣмъ Сэръ Жозуа вышелъ въ залу; тамъ его ждали грумъ и футманъ (лакей) съ той же просьбой. Удивленный сэръ Жозуа послалъ за гаускипершей.—Что у насъ въ домѣ дѣлается, всѣ отходятъ? Чѣмъ они недовольны?—У васъ, сказала чувствительно старушка, никто не будетъ жить, я сама отошла бы, если бы не такъ была привязана къ вашему дому. У насъ внизу

такой содомъ, что еще не видывала, все перепутано, никто никого не уважаетъ.—Ничего не понимаю, и какъ же это сами дѣлають безпорядокъ, и сами оставляють домъ себѣ въ наказаніе.

Гаускиперша сжалилась надъ нимъ и сказала ему: «пожалуйте въ людскую». Онъ пошелъ. Тамъ она трагически ему указала круглый столъ, купленный имъ для людского обѣда, и спросила, гдѣ первое мѣсто и гдѣ послѣднее. «Я сама не знаю, гдѣ мое мѣсто: футманъ, кучеръ, грумъ, садятся иногда возлѣ меня, и только для васъ выносила до сихъ поръ».—Ну, а если я вмѣсто круглаго вѣло поставить *четвероугольный столъ*?—Тогда все останутся.—Футманъ, сію минуту ступайте къ мебельщику, чтобъ онъ прислалъ *четвероугольный столъ*. Съ тѣхъ поръ, какъ его принесли, до меня не доходило ни одной жалобы.

Въ этой исторіи, прибавилъ сэръ Жозуа, смѣясь, самое оригинальное лицо, это мой грумъ, отходящій за то, что слишкомъ почетно сидѣлъ за столомъ. Онъ обижался мыслию, что, когда онъ будетъ камердинеромъ, какой-нибудь грумъ сядетъ выше его.

Лакей, которому вы утромъ скажете «здравствуйте», будетъ васъ презирать. Лакей, съ которымъ вы будете говорить о чемъ-нибудь, кромѣ его дѣла, потеряетъ къ вамъ всякое уваженіе, сдѣлается дерзокъ. То же отношеніе между англійскимъ работникомъ и хозяиномъ, между earl или негоціантомъ Сити, между пэромъ и представителемъ нижней палаты.

Никакой талантъ, никакая заслуга, никакой трудъ не отпираетъ человѣку безъ состоянія двери богатыхъ кунеческихъ домовъ. Никакое богатство, никакое значеніе въ City не введетъ въ аристократическій кругъ. Два, три исключенія, которыя обыкновенно приводятъ, по этому самому ничего не доказываютъ. Чтобъ ввести Вальтеръ-Скотта въ высшее общество, надобно было его сдѣлать баронетомъ. Если-бъ Шекспиръ жилъ не при королевѣ Бессѣ, а при королевѣ Викторіи, онъ равно не былъ бы принятъ ни герцогомъ Ньюкестль, ни мѣнялой Мастерманомъ. Для иностранцевъ, умбющихъ *se faire valoir*, дѣлается исключеніе. Англичане теряются въ ихъ de, von, Herr Baron, Mr. le marquis, Mr. le vicomte, Herr Freyherr и, считая ихъ выше обыкновенныхъ squire, пускають въ свои гостинныя безъ всякой геральдической критики. Зато надобно видѣть, какъ принимаютъ они артистовъ, пѣвицъ; есть дома, въ которыхъ ставится балюстрада, отдѣляющая работниковъ голоса и мастеровыхъ гармоніи отъ гостей: они входятъ особой дверью, поють, играютъ, получаютъ свои 20 гиней отъ дворцаго и ѣдутъ домой. Оттого-то первоклассныя пѣвицы такъ неохотно принимаютъ приглашенія пѣть въ частныхъ домахъ, а Тамберликъ просто отказывается. Въ англійскихъ домахъ есть паріи, стоящіе на еще болѣе смиренной ступени, нежели

артисты: это учителя и гувернантки. Все, что вы слыхали въ дѣтствѣ о прежнемъ уничижительномъ положеніи des ouchitels, мамзелей и мадамъ въ степныхъ провинціяхъ нашихъ, все это совершается теперь со всей неотесанной англо-саксонской грубостью, совершалось вчера и будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока будетъ продолжаться эта Англія.

То, что я говорю,—и не преувеличеніе, и не новость; для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ взять два-три новыхъ романа Диккенса или Теккерея, стоитъ взять *Vanity fear*, и увидите, какъ Англія отражается въ англійскомъ умѣ.

При этомъ надобно сказать нѣсколько словъ въ похвалу англійской литературы; она несравненно мужественнѣе, нежели французская, въ обличеніи печальнаго состоянія внутренней жизни острова. Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда англичанинъ, какъ Байронъ, отрывается отъ своей пошлой жизни, отъ лицемерія, и даетъ волю ироніи и скептицизму, онъ бываетъ безпощаденъ и не прибавляетъ на французскій манеръ для нравственного равновѣсія по ангелу на cadaго злодѣя. Вообще, иронія и скептицизмъ чужды нѣмцамъ и французамъ,—у нихъ въ жизни нѣтъ столько разорванности, грусти, тумана, у нихъ нѣтъ столько досуга сосредоточиваться въ себѣ самихъ: французу мѣшаетъ жизнь, нѣмцу—безличная мысль. Въ этомъ отношеніи русская литература всѣхъ ближе по духу къ англійской, и вотъ отчего Байронъ имѣлъ такое вліяніе у насъ на цѣлое поколѣніе, и больше того—на Пушкина и Лермонтова.

Когда французъ обличаетъ темныя стороны Франціи, вы сейчасъ видите, что это—семейная размолвка, преувеличеніе страсти, что онъ ничего лучше не проситъ, какъ примириться, *il boude*—и то въ извѣстныхъ границахъ.

Англичанинъ долго крѣпится, долго гордъ Англіей, царицей океановъ, первымъ народомъ солнечной системы, но, когда онъ отчаливается, наконецъ, отъ этой мели свою ладью, онъ покидаетъ ее безвозвратно, серьезно, въ самомъ дѣлѣ, и спокойно, печально сознавая силу своихъ словъ, говоритъ своему народу страшное:

You are an immoral people—and you know it (Don Juan).

На этомъ горькомъ, выстраданномъ стихѣ Байрона мы и остановимся, готовые продолжать наши сказанія о внутренностяхъ Англіи, если читатели того пожелаютъ.

Изъ воспоминаній объ Англіи.

Межъ сыромъ лимбургскимъ живымъ
И ананасомъ золотымъ.

Пушкинъ.

Вы меня простите, сказалъ я, а мнѣ кажется, что вы отчасти принадлежите къ людямъ, которые съ ужаснымъ трудомъ дѣлають простыя вещи, потому что не просто за нихъ принимаютъ, при первомъ препятствіи теряются, рвутъ себѣ волосы на головѣ, принимаютъ крайнія мѣры или вовсе никакихъ. Иногда это очень хорошіе люди, даже превосходные люди,—но не дай Богъ такого генерала или оператора! По счастью, ваше занятіе не такъ кро-вопролитно.

Я помню, какъ, лѣтъ двадцать тому назадъ, я спалъ рядомъ съ комнатою одного изъ моихъ друзей. Дѣло было въ деревнѣ и крыша рѣдко обитаемаго дома была съ течею. Съ вечера пошелъ проливной дождь, подъ дождь спится крѣпко,—я уснулъ; но черезъ часъ времени, шумъ возлѣ разбудилъ меня. Что такое? буря, воры? Я сталъ прислушиваться: сосѣдъ возился, у него была зажженная свѣча; я вскочилъ и безъ всякаго переплета бросился къ нему. Съ насупленными бровями, работалъ онъ надъ какой-то страшной задачей. Въ его горницѣ было двѣ кровати: на одной онъ спалъ, на другой былъ непокрытый, новый замшевый тюфякъ. Пріятель мой досталъ какія-то двѣ палки и ставилъ матрацъ какъ-то стоймя; пока онъ держалъ его, матрацъ держался дыбомъ; но какъ только онъ отходилъ,—палки падали и матрацъ снова лежалъ въ растяжку.

— Что это у тебя? бѣлая горячка? спросилъ я.

— Да, горячка, точно... съ проклятымъ тюфякомъ часъ возжусь.

— Что съ нимъ?

— Да тутъ, братецъ, капель прямо на тюфякъ, совѣмъ испортить. Я вотъ хочу его поставить вкось и, чортъ знаетъ что такое, какъ ни поставлю и ни укрѣплю, проклятыя палки упадутъ; досада,—не лягу же я, пока не устрою.

— Что-жъ ты кровать то не подвинешь, чтобъ на нее не текло!

— Тьфу ты пропасть! просто не догадался.

Анекдотъ этотъ я рассказалъ на-дняхъ одному туристу-литератору вотъ по какому поводу: мы, двое, обѣдали въ Веллингтонѣ, т. е. мы и одинъ издатель журнала. Издатель, наливая туристу и себѣ не первую рюмку хересу, просилъ его прислать какого-нибудь вздору о Лондонѣ, Англіи, Шотландіи. Туристъ, положивъ тщательно нанизанныя на вилку полдюжины снятковъ ¹⁾ въ ротъ, отвѣчалъ:—Ей-Богу, нечего писать!

— Вы писали прежде письма изъ Кёнигсберга, изъ Штетина даже.

— Мало ли что прежде! Съ уменьшеніемъ цѣны на паспорта, все на свѣтѣ ѣздить по Европѣ, все сами видятъ. Говорятъ, что опять поднимутъ цѣну,—давно пора! Теперь, батюшка, не отдѣлаешься какимъ-нибудь замѣчаніемъ о постройкѣ парламента или о скачкѣ въ Ипсомѣ; теперь давай все extra, давай примѣры, спаржу въ генварѣ,—гдѣ её возьмешь? Жизнь становится все пошлѣе и пошлѣе. Вкусъ у публики страшно притупился. И въ самомъ дѣлѣ, послѣ того какъ Блонденъ яйца печетъ на канатѣ, протянутомъ черезъ Ніагару, а левъ завтракаетъ конюхомъ въ Astley-театрѣ, я не знаю, о чемъ писать.

— Вы меня простите, сказалъ я, — а вы, мнѣ кажется, немного принадлежите къ людямъ... (см. выше).

— Очень хорошо, отвѣчалъ туристъ и литераторъ; но вы кровать-то научите меня отодвинуть. Вы думаете, что достаточно имѣть чернильницу,—такъ взялъ перо и пошелъ писать.

— Я думаю, что и безъ чернильницы даже можно писать, если есть карандашъ.

— Вотъ вамъ, сказалъ туристъ издателю, и корреспондентъ готовъ.

— Я другимъ дѣломъ занятъ; а вы, вотъ, хоть и смѣтесъ падо мной, а я вамъ сейчасъ двадцать, тридцать сюжетовъ укажу, прежде чѣмъ мы дойдемъ отъ Реджентъ-стритъ до Лестеръ-сквера. Ваше дѣло ихъ разрисовать, прибавить общія разсужденія, пріятныя и непріятныя, обличающія нѣжное сердце и скрывающія незнаніе Англіи.

— Ваша бѣда, господа, въ томъ, что вы все въ одномъ ряду креселъ ищите и оригиналовъ и событій, забывая, что въ этомъ ряду даже фраки и панталоны одинакіе. Страсть къ казовому концу увлекаетъ васъ, да жиденъское сибаритство. На желѣзной дорогѣ вы берете первыя мѣста; въ трактиръ идете — такъ въ

¹⁾ Whitebaid—самое гастрономическое кушанье англичанъ.

Wellington; даже гимнастикой занимаетесь на мѣщанскую ногу. Въ газетахъ читаете одиѣ политическія новости, — гдѣ жъ изъ нихъ что-нибудь узнать? Словомъ, вы все движетесь въ безцвѣтной алгебрѣ жизни, а такъ какъ ее то именно и узнаютъ все празднующіеся соотчичи наши, помнящіе родство въ ожиданіи наслѣдства и тѣсно связанные съ родиной оброкомъ, вамъ и нечего писать. Я иначе дѣлаю: грѣшный человѣкъ, политикой не занимаюсь, а люблю, какъ черви въ сырѣ, покопаться, гдѣ поглубже да погнѣлѣе; одинъ полицейскій отдѣлъ въ «Таймсѣ» чего стоитъ! Ну, что вашъ Блонденъ и вашъ Левъ? Львы же всегда бѣли людей, только прежде люди были умнѣе и не подходили къ нимъ такъ близко. Чего стоитъ одна Ковентри-стритъ—въ ней всего шаговъ двѣсти—и ея Лестеръ-скверъ! Недаромъ на немъ глобусъ, non squarus, sed orbi; а въ «Пуншѣ» былъ представленъ Пій IX, спрашивающій, пріѣхавъ въ Лондонъ: «Какъ пройти въ Leicrsera Squarra?» Чего тутъ нѣтъ? Начните хоть съ нищаго испанца, который усохъ до того, что оливковая кожа на немъ стала трескаться, и который такъ загорѣлъ, поражая кристиновъ, что въ тридцать лѣтъ не могъ выбѣлиться на лондонскомъ отсутствіи солнца. Вы его вѣрно видѣли сто разъ; а я съ нимъ другъ, мы даже разъ съ нимъ поссорились и я заискивалъ его расположеніе—и заискалъ. Гверилъся междоусобныхъ войнъ, онъ остался на углу Лестеръ-сквера вѣрнѣе Кабреры и Цумалагеренъ своему законному королю. Отчаянный легитимистъ, онъ обидѣлся, что я дурно отозвался о послѣдней попыткѣ Монте-молино, и пересталъ у него просить милостыню, подергивая и щуря свои глаза стараго тигра, и говоря, на свободномъ романско-британскомъ нарѣчій, учтивости въ родѣ: «Per us sed and intandos every sera, every matina at catholick church pre o» и пальцемъ указывая на небо съ чрезвычайной точностью.

Вечеромъ вы, недалеко отъ испанца, непременно встрѣтите старика Селадона, разбитаго на ноги и зубы, съ цвѣточкомъ въ петлицѣ и съ цвѣтнымъ фуляромъ за пазухой. Онъ ходитъ почти всякій вечеръ наглазно наслаждаться цирцеями Геймаркета; часовъ въ 11 онъ заходитъ въ Ar yle-room; ему все дамы кланяются съ фамплярной улыбкой, даже посылаютъ его за каретой; онъ имъ говоритъ любезности временъ Бромеля и Регента и провожаетъ до кареты, такъ, какъ провожалъ нѣкогда пріятельницъ Нѣмоновой Гампльтонши.

Это предметы для Рембрандта, для Гогарта, а не то чтобы фельетона, который забывается вмѣстѣ съ числомъ на другой день. Не ходить надобно, какъ Діогенъ, съ фонаремъ, а стоять на одномъ мѣстѣ, да, ежели можно, въ потемкахъ,—вы столько наглядитесь и научитесь «межъ сыромъ лимбургскимъ живымъ»!

По моему мнѣнію, рядъ процессовъ разныхъ мертвыхъ, живыхъ и живыхъ мертвыхъ въ страховыхъ обществахъ интереснѣе всякаго романа. Вотъ вамъ примѣръ...

— Вы говорите о Палмерѣ?

— Совсѣмъ не о Палмерѣ. Что такое Палмеръ? Далъ яду—человѣкъ умеръ, съ рукъ сошло; далъ другому—тоже отравилъ, съ рукъ сошло; отравилъ жену—ну, это съ шеи не сошло; что тутъ новаго? Это и варвары умѣли отравлять; тутъ нѣтъ ни генія, ни поэзіи; нѣтъ, я вамъ расскажу получше исторію. Вотъ вы, любезный туристъ мой, взяли бы перышко да и записали бы.

— Что-съ? право не слышу...

— Да онъ просто всхрипнулъ, замѣтилъ, смѣясь, издатель.

— И хорошее дѣло! У него, видно, вино тихое, кроткое; мудрено-ли, что никогда не откроетъ лимбургскую живую жилу подъ ногами?

— Можетъ!—а вотъ у меня вино внимательное—расскажите-ка.

— Вотъ вамъ, напримѣръ: таскался тутъ одинъ дюжій малый по кабакамъ, съ утра пьянъ, отекъ, руки дрожатъ, нечисто одѣтъ, совершенно опустился. Какой-то человѣкъ, видѣвшій его въ кабакѣ, принялъ въ немъ участіе; когда поднесетъ виски съ теплой водой, когда джину съ холодной,—словомъ они подружались. Только, какъ у того совсѣмъ денегъ не было, ему новый знакомый говоритъ: желаете вы пріобрѣсть честнымъ образомъ и безъ опасности 20 фунтовъ? Тотъ обомлѣлъ: онъ за пять фунтовъ готовъ бы былъ подвергнуться опасности и достать ихъ самымъ нечестнымъ средствомъ.

— Условіе у насъ такое: мѣсяцъ не пить ни капли. Не выдержите,—не будетъ денегъ.

— Извольте, говорить, только вы меня ужъ лучше заприте.

И вотъ незнакомецъ этотъ и другой еще благодѣтель принялся за моего пьяницу, вымыли его, вычистили, подстригли, купили превосходное платье,—только изъ комнатъ ни на шагъ. Кормятъ его на убой и вечеромъ, для разсѣянія, въ театръ вожатъ. Отдохъ мой малый, узнать нельзя, кровь съ молокомъ. Когда они его представили въ страховое общество; директоры слыбаются, докторъ смотритъ, видитъ: человѣкъ до ста лѣтъ проживетъ. Они его и застраховали въ большой суммѣ, и когда воротились домой, отсчитали ему его двадцать фунтовъ. Онъ ихъ и домой не приносилъ, и самъ не приходилъ; онъ съ того же дня пошелъ пить мертвую. Мѣсяца черезъ полтора онъ сдѣлался опасенъ, того и смотри параличъ. Вотъ его пріятели ѣдутъ въ страховое общество и говорятъ: «Дѣло худо! нашъ родственникъ

получилъ изъ семьи страшныя вѣсти и такъ пьетъ, что спасенья нѣтъ»!

Тѣ доктора; докторъ видитъ, что онъ непременно умретъ. Что жъ дѣлать?

Родственники говорятъ: «Мы не разбойники, не хотимъ васъ грабить; дайте намъ только половину денегъ, а мы у него возьмемъ всѣ документы». Такъ общество и сдѣлало. А родственники—новый контрактъ. Опять моютъ, чистятъ, брѣютъ, помазываютъ человѣка, опять кормятъ на убой и везутъ его въ другое страховое общество. Коротко—повторяютъ ту же продѣлку. Но слухъ объ первой разнесся и новая компанія не хотѣла сдѣлки, говоритъ: «мы всѣ подъ Богомъ ходимъ; умереть—наше несчастіе».—«Это ваше послѣднее слово?» говоритъ изобрѣтатель. «Послѣднее».—«Ну, треть—и по рукамъ». «Не хотимъ».

— «А, такъ, заплатите все; коли на то пошло, мы не пожалѣемъ денегъ. Любезнѣйшій другъ, говорятъ они паціенту, пейте сколько хотите spirits—мы платимъ. Вы увидите, господа, что онъ обошется».

— Чѣмъ же это кончилось? спросилъ издатель.

— Разумѣется, онъ опился и общество заплатило мошенникамъ.

Вотъ вамъ и другое: какой-то ирландецъ Esq., несчастный человѣкъ, ему ничего не удавалось. Мучился онъ, мучился и, наконецъ, придумалъ фортель: измѣнилъ себѣ немного лицо и пошелъ страховать себя въ пользу брата, заплатилъ за полисъ послѣднія деньги и отправился ходить по больницамъ; тамъ принскивалъ онъ, не торопясь, подходящій трупъ, купилъ его и давай хоронить съ большимъ почетомъ, самъ сзади идетъ, весь въ траурѣ, плачетъ, и потомъ является въ общество съ свидѣтельствомъ о кончинѣ и похоронахъ родного брата; словомъ, уладилъ дѣло такъ хорошо и такъ хорошо его прежде подготовилъ, что деньги получилъ, да, на всякой случай, тотчасъ застраховался въ другомъ обществѣ. Пока онъ жилъ на деньги, полученные послѣ своихъ собственныхъ похоронъ, и придумывать, какъ ему снова получить капиталъ, сама судьба помогла ему. Гуляетъ онъ въ Ричмондѣ, на берегу Темзы; глядь, суета: полицейскіе, мальчишки—всплыло мертвое тѣло, никто не знаетъ, кто такой. Ирландецъ подошелъ и обомлѣлъ. «Господа, кричитъ онъ, это лучший другъ мой, это... это... и называетъ мертвого своимъ именемъ. На слѣдствіи coronera онъ присягнулъ, никто ему не возражалъ; оказалось, что у него было завѣщаніе его друга, и именно онъ ему оставлялъ капиталъ страхового общества. Но несчастію дѣло открылось, и его отдали подъ судъ.

Въ заключеніе, на закуску, я прибавлю одно маленькое собы-

тіе, но необычайно характеристическое и необычайно германское. Какой-то нѣмецъ, жившій въ Лондонѣ, застраховался и долженъ былъ въ извѣстные сроки вносить суммы при жизни. Денегъ у него не было, вносить онъ не могъ. Общество пристало къ нему; онъ просилъ отсрочку—ему отказали. Тогда онъ написалъ, что, если они еще разъ откажутъ и пришлютъ описывать его имѣніе, то онъ застрѣлится и лишитъ ихъ капитала.

Англичане приняли это за браваду и прислали брокеровъ.

Нѣмецъ не шутилъ—и застрѣлился.

— Разскажите еще что-нибудь; я велю перемѣнить бутылку.

— Согласенъ—на бутылку; но разсказы позвольте до другого раза.

Русская колонія въ Парижѣ.

Любезный другъ, вы меня берете за воротъ очень безцеремонно, какъ жандармъ... Я нагорно прозябаю въ Швейцаріи, ничего дурного у меня нѣтъ на умѣ, и вдругъ вы меня останавливаете: ваши бумаги, милостивый государь?—Какія бумаги?—Эскизы, очерки карандашомъ, углемъ, перомъ?—Очерки чего?—Да *русскихъ въ Парижѣ*...

Но, любезный другъ, вы все забыли, за исключеніемъ меня самого. О чемъ же это вы думаете? Я не знаю ни современныхъ русскихъ, ни перестроеннаго Парижа. У меня есть только воспоминанія, засохшіе цвѣты, рисунки, на половину стершіеся, на половину лишенные интереса.

Знаете ли вы, что вотъ уже *двадцать лѣтъ*, какъ я, благочестивый пилигримъ сѣвера, въ первый разъ входилъ въ Парижъ, и что вотъ уже *пятнадцать лѣтъ*, какъ его климатъ сталъ для меня вреденъ.

Да, это было въ мартѣ 1847 года; я открылъ старое и тяжелое окно отеля du Rhin и вздрогнулъ; передо мною на колоннѣ былъ бронзовый челоуѣкъ:

Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ,
Съ руками сжатыми крестомъ.

Такъ это правда, это дѣйствительность—я въ Парижѣ—въ Парижѣ! И вся кровь бросилась мнѣ въ голову!

Существуетъ чувство, которое незнакомо парижскимъ аборигенамъ, имъ, испытавшимъ все до утомленія, то чувство, которое мы испытывали, вступая въ первый разъ въ Парижъ. Съ самаго дѣтства, Парижъ былъ для насъ нашимъ Іерусалимомъ, великимъ городомъ революціи, Парижемъ «же-де-нома» 89 года, 93 года.

Берлинъ, Кѣльнъ, Брюссель—недурно ихъ посмотрѣть, но можно обойтись и безъ этого. Но какъ только мы были въ Парижѣ, мы чувствовали, что пріѣхали, и спокойно принимались развязывать чемоданы. Дальше уже ничего не было. Даже Лондона не знали въ эти блаженные времена. Лондонъ былъ открытъ только со времени выставки 1852 года.

Съ тѣхъ поръ, какъ Парижъ сталъ всемірнымъ городомъ, въ немъ меньше Франціи, *меньше Парижа*. Отношенія измѣнились. Онъ сталъ великимъ вселенскимъ трактиромъ, караванъ-сараемъ всей Европы и двухъ-трехъ Америкъ, и его собственная индивидуальность распустилась, потерялась въ этой иноземной толпѣ, которой онъ изъ вѣжливости даетъ дорогу, а та беретъ ее.

Союзники, расположась въ 1814 году биваками на Площади Революціи, очень хорошо знали, что они были въ чужомъ городѣ. Напротивъ, великая армія туристовъ, завоеватели желѣзныхъ дорогъ убѣждены, что Парижъ имъ принадлежитъ, какъ вагонъ, какъ каюта; они думаютъ, что они ему необходимы, что именно для нихъ онъ наряджается въ новые кирпичи, разрушаетъ свои историческія стѣны и изглаживаетъ свою исторію.

Теперь, проходя по Парижу, я не узнаю своихъ русскихъ; они гуляютъ съ надменной рѣчью на губахъ, съ поднятой головою, какъ будто они гдѣ-нибудь въ Казани или Рязани, они распространяютъ атмосферу русской кожи и турецкаго табака, запахъ Сибири и Татаріи, едва-едва заглушаемый тяжелымъ и наркотическимъ туманомъ Германіи, который, въ свою очередь, наполнилъ Парижъ. И, въ концѣ-концовъ, ихъ нельзя не извинить, этихъ бравыхъ *туранцевъ*; все имъ напоминаетъ ихъ любезное отечество: самовары, икра, вывѣски кирилловскими буквами, возвѣщающія французамъ достоинство китайскаго чая.

Ничего подобнаго въ мое время, въ 1847 году, не было. Парижъ былъ исключителенъ, одноязыченъ, нѣсколько гордъ, тѣмъ болѣе, что къ концу года у него уже начиналась лихорадка. За то нужно было видѣть почтеніе, благоговѣніе, низкопоклонство, удивленіе молодыхъ русскихъ, пріѣзжавшихъ въ Парижъ. Вельможи, которые нисколько не стѣснялись въ Германіи, этой передней Парижа, какъ только переступали за черту города, начинали говорить *вы* своимъ лакеямъ, которыхъ колотили въ Москвѣ. На другой день неприступные бояре, наглецы, грубіяны, совершали свое поклоненіе волхвовъ, ухаживали за всѣми знаменитостями, все-равно какого рода и какого пола, начиная отъ Де-зирабоды, зубного врача, до Ма-па, пророка.

Самые ничтожные лаццарони литературной Къяйя, всякій фельетонный ветошникъ, всякій журнальный кропатель внушалъ имъ уваженіе, и они спѣшили предложить ему даже въ десять часовъ утра редерера или вдовы Кюлико, и были счастливы, если онъ принималъ приглашеніе.

Вѣдныя, они были жалки въ своей маніи удивленія. Дома имъ нечего было уважать, кромѣ грубой силы и ея внѣшнихъ знаковъ, чиновъ и орденовъ. Поэтому молодой русскій, какъ только переходилъ границу, былъ поражаемъ острымъ идоло-

поклонствомъ. Онъ впадалъ въ экстазъ передъ всѣми людьми и всѣми вещами, передъ швейцарами и философіею Гегеля, передъ картинами берлинскаго музея, передъ Штраусомъ-богословомъ и Штраусомъ-музыкантомъ. Шишка почтенія росла все больше и больше до самаго Парижа. Ионски за знаменитостями составляли муку нашихъ Анахарсисовъ; человѣкъ, говорившій съ Пьеромъ Мэру или съ Бальзакомъ, съ Викторомъ Гюго или съ Евгеніемъ Сю, чувствовалъ, что онъ уже не равенъ себѣ равнымъ. Я зналъ одного достойнаго профессора, который провелъ разъ вечеръ у Жоржа-Занда; этотъ вечеръ, подобно какому-то геологическому перевороту, раздѣлилъ его существованіе на двѣ части; это была кульминаціонная точка его жизни, неприкосновенный капиталъ его воспоминаній, которымъ завершалась вся его прошлая жизнь и отъ котораго брала источникъ настоящая.

Счастливыя времена этой наивной религіи, этого Heroworship (поклоненія героямъ) и великаго города!

Русскій въ эти времена не просто жилъ въ Парижѣ: наряду съ положительнымъ удовольствіемъ, онъ имѣлъ отчетливое чувство, глубокое сознаніе того, что онъ въ Парижѣ, чувство нравственнаго благосостоянія, заставлявшее его каждое утро благодарить всеблагаго Бога и добрыхъ крестьянъ, исправно платившихъ свои оброки.

Все переѣнилось съ тѣхъ поръ... даже расходы: русскій сталъ скупцомъ, скрягою; послѣ эмансипаціи явилась ариѳметика.

И вотъ мнѣ приходитъ на умъ, что было время еще болѣе отдаленное и еще болѣе прекрасное, чѣмъ наше время 1847 года. Я съ горестію вижу, что славянскій міръ вырождается, мельчаетъ и становится, по выраженію мадамъ Фигаро, такимъ, какъ цѣлый свѣтъ.

Вотъ доказательство. Я беру свой примѣръ у Польши (Ахъ, если бы русскіе вообще брали у Польши одни лишь примѣры).

Знаете ли вы исторію проѣзда Радзивила? Вѣроятно, нѣтъ. Ну, такъ вотъ что случилось во времена регентства. Князь Радзивиль, самый колоссальный, самый дикій, самый грандіозный и великолѣпный типъ польскихъ магнатовъ, поссорившись съ польскимъ королемъ, который былъ вдвое его бѣднѣе, рѣшился на нѣсколько лѣтъ удалиться изъ Польши. Онъ выбралъ, само собою разумѣется, Парижъ мѣстомъ своего изгнанія и, чтобы скорѣе доѣхать въ него, употребилъ довольно странный способъ: онъ приказалъ купить столько домовъ, сколько было станцій (князь ѣздилъ на собственныхъ лошадяхъ, на сотнѣ, можетъ быть, на двухъ). Онъ рѣшился принять такую экономическую мѣру потому, что онъ не привыкъ спать подъ чужою кровлею. Какъ бы то ни было, дома были куплены, подставы приготовлены,

Радзивиль прїѣзжаетъ въ Парижъ. Тутъ — большая дружба съ регентомъ. Герцогъ Орлеанскій не могъ досыта насмотрѣться, какъ Радзивиль поглощалъ непомѣрные количества венгерскаго, а на смѣну, ради отдыха и успокоенія, водку стаканами. Регентъ страстно любилъ смотрѣть, какъ онъ играетъ въ карты; Радзивиль проигрывалъ огромныя суммы, нимало не задумываясь, и приказывалъ съ полнымъ хладнокровіемъ двумъ гигантамъ «гайдукамъ» принесть мѣшки съ золотомъ.

Словомъ, изношенный регентъ и непочатой князь не могли обойтись одинъ безъ другого. Когда Радзивиль не являлся, регентъ посылалъ къ нему гонца за гонцомъ. Но однажды случилось, что не регенту, а князю Радзивилу нужно было написать къ своему другу. Онъ написалъ, сложилъ письмо и позвалъ одного изъ казаковъ своей свиты.

— Знаешь ты, спрашиваетъ онъ, гдѣ живетъ регентъ?

— Нѣтъ, князь.

— Ты знаешь Пале-Рояль?

— Нѣтъ, князь.

— Ну, все равно, ты спросишь, каждый тебѣ покажетъ; да притомъ это въ двухъ шагахъ.

Казакъ воротился печальный: онъ не могъ найти Пале-Рояля.

Князь велитъ его позвать:

— Смотри, бестія, въ это окно: видишь этотъ большой домъ?

— Вижу, князь.

— Въ немъ и живетъ регентъ; онъ тутъ, какъ у насъ король, понимаешь, и это его дворецъ. Ну, скорѣй.

Казакъ, какъ только выходилъ изъ дому, терялъ Пале-Рояль. Онъ вернулся, не нашедши регента, въ такомъ отчаяніи, что сдѣлалъ нѣкоторыя приготовленія повѣситься. Князь былъ въ хорошемъ расположеніи духа. Онъ велѣлъ позвать своего управителя и приказалъ ему купить *нѣсколько домовъ* и устроить проходъ между своимъ домомъ и Пале-Роялемъ. Когда проходъ былъ готовъ, князь въ большомъ удовольствіи воскликнулъ: «теперь эта бестія, казакъ, сумѣетъ найти дорогу къ Пале-Роялю!»

Tempi passate! — И, что чрезвычайно странно, крестьяне — ни мало объ нихъ не сожалѣютъ. О! эти славянскіе крестьяне такіе «матеріалисты!»

Опытъ бесѣды съ молодыми людьми ¹⁾.

Вѣроятно, каждому молодому человѣку, сколько-нибудь привычному къ размышленію, приходило въ голову: отчего въ природѣ все такъ весело, ярко, живо, а въ книгѣ то же самое скучно, трудно, блѣдно и мертво? Неужели это—свойство рѣчи человѣческой? Я не думаю. Мнѣ кажется, что это—вина неяснаго пониманія и дурного изложенія.

Ни трудныхъ, ни скучныхъ наукъ вовсе нѣтъ, если ихъ начинать съ начала и идти въ какомъ-нибудь порядкѣ. Труднѣе всего и во всемъ—азбука и чтеніе, они требуютъ механическихъ усилій памяти и соображенія, чтобъ запомнить множество *условныхъ знаковъ*, но вы знаете, какъ это легко дѣлается. Всякая наука имѣетъ свою азбуку, далеко не такъ сложную, какъ настоящая, но которая издали дика и запутана; черезъ нее надобно пройти, и это ничего не значить. Разумѣется, нельзя читать химическое разсужденіе, не зная, что такое кислота, соль, основаніе, сродство и проч. Но не надобно забывать, что нельзя и въ карты играть, не давши себѣ труда выучиться мастямъ и названіямъ.

Будьте увѣрены, что трудныхъ предметовъ нѣтъ, но есть бездна вещей, которыхъ мы просто не знаемъ, и еще больше такихъ, которыхъ знаемъ дурно, безсвязно, отрывочно, даже ложно. И эти-то ложныя свѣдѣнія еще больше насъ останавливаютъ и сбиваютъ, чѣмъ тѣ, которыхъ мы совсѣмъ не знаемъ.

Основываясь на ложномъ и неполномъ пониманіи, на произвольныхъ предположеніяхъ, какъ на рѣшенномъ дѣлѣ, мы быстро доходимъ до большихъ ошибокъ. Пустые отвѣты убиваютъ справедливые вопросы и отводятъ умъ отъ дѣла. Вотъ причина, почему, начиная говорить съ вами, я не только не требую отъ васъ знаній, но скорѣе былъ бы доволенъ, если бы вы забыли все, что знаете школьно, и имѣли бы тотъ простой взглядъ и тѣ неизбѣжныя понятія о вещахъ, которыя сами собой пріобрѣтаются

¹⁾ Я убѣдительно прошу принять эту статейку только за *опытъ*. Если я не умѣю его сдѣлать, пусть кто-нибудь другой напишетъ на тѣхъ же началахъ, я вполне убѣжденъ, что *изъ нихъ* я не ошибся.

въ жизни—иногда смутной и ошибочной, но не *предназначенно* ложной.

Мнѣ хотѣлось бы не столько сообщить вамъ свѣдѣній, дать отвѣты на ваши вопросы, какъ научить васъ *спрашивать*, поставить васъ относительно предметовъ на точку зрѣнія *здраваго смысла*. Овладевъши ея несложными приѣмами, вамъ легко будетъ приобрести, сколько хотите, знаній изъ огромныхъ запасовъ наблюдений и фактовъ. Мнѣ хотѣлось бы указать вамъ тропинку въ ихъ дремучемъ лѣсу, чтобъ васъ не обошелъ, какъ говорятъ наши мужички, «лукавый», т. е. духъ лжи и неправды,—дать вамъ нить, которая довела бы васъ до другихъ, уже болѣе опытныхъ проводниковъ и, если вы того захотите, до собственнаго наблюденія.

Преданія, которыя насъ окружаютъ съ дѣтства, общепринятые предрасудки, съ которыми мы выросли, которые мы повторяемъ по привычкѣ и къ которымъ привыкаемъ по повтореніямъ, страшнымъ образомъ затрудняютъ намъ простое изученіе окружающей насъ жизни. Желая что-нибудь понять изъ естественныхъ явленій, мы почти никогда не имѣемъ дѣла съ ними самими, а съ какими-то аллегорическими призраками, вызываемыми по ихъ поводу въ нашемъ воображеніи. Оттого мы почти всегда смотримъ на произведенія природы, какъ на фокусы или на колдовство, и, вмѣсто отыскиванія причинъ, законовъ, связи, мы думаемъ о фокусникѣ, который насъ обманываетъ, или о колдунѣ, который ворожить.

Большая часть людей, занимавшихся изученіемъ природы, знаютъ, что это не такъ, но сами принимаютъ невѣрный языкъ и лепетъ младенческаго развитія,—одни, воображая, что они этимъ сдѣлаютъ понятнѣе науку, такъ, какъ дурныя няньки, говоря съ маленькими дѣтьми, повторяютъ нарочно дѣтскія ошибки и дѣтское произношеніе; другіе изъ равнодушнаго неуваженія къ истинѣ или изъ жалкой боязни раздражить людей, вѣрующихъ въ историческіе предрасудки.

Я намѣренъ говорить съ вами, какъ съ совершеннолѣтними, и думаю, что мнѣ никогда не придется ни употреблять дѣтскій лепетъ, ни лицемерить. Лучше молчать, если нельзя иначе.

Безнравственно на вопросъ о причинѣ какого-нибудь явленія отвѣчать вздоромъ, только для того, чтобъ отдѣлаться. А это-то мы и видимъ сплошь да рядомъ.

Отчего, спрашиваете вы, звѣрь глупѣе человѣка?—Оттого, говорятъ вамъ, что у звѣря *инстинктъ*, а у человѣка *умъ*. Неужели этотъ отвѣтъ дѣльнѣе того, который бы кто-нибудь сдѣлалъ на вопросъ,—отчего близорукій видитъ хуже другихъ?—Оттого, что онъ міопъ. Или, еще лучше, слабые глаза назвалъ бы однимъ

именемъ, а сильные глаза другимъ, и дать бы вамъ это за объясненіе.

Кому не хочется, гляди на природу, заглянуть за ея кулисы, въ ту мастерскую, изъ которой непрерывно идетъ, летитъ, стремится это множество всякой всячины: звѣзды, камни, деревья, вы, я... И всякій разъ на вопросъ вашъ о томъ, какъ все это дѣлается, вамъ отвѣчаютъ шалостью или обманомъ, чтобъ скрыть свое невѣдѣніе, а иногда, и это еще хуже, чтобъ скрыть свое знаніе.

Одинъ изъ обыкновенныхъ пріемовъ—пугать начинающихъ такими цифрами лѣтъ, милей, что ихъ и произнести нельзя. Сбивши ими съ толку, начинаютъ толковать о сотвореніи міра, прежде, нежели объясняютъ, что такое міръ, и какъ онъ можетъ быть сотворенъ; потомъ заставляютъ принять на вѣру три, четыре силы, и все это для того, чтобъ потомъ съ ихъ помощью труднымъ путемъ дойти до того, съ чего начинается катихизисъ.

Не лучше ли было бы начать съ перваго предмета, попавшагося на глаза, съ предмета знакомаго, который можно взять въ руки, посмотрѣть. Тѣмъ больше, что природа вездѣ одинакова, всѣ ея произведенія равны *передъ закономъ*, какого бы роста они ни были, какое бы значеніе они ни имѣли—близко ли, далеко ли, въ телескопъ ли на нихъ смотрятъ, простыми глазами, или въ микроскопъ. Капля воды и струйка дыма подлежатъ тѣмъ же общимъ правиламъ, какъ океанъ и вся атмосфера. Страхъ передъ количествомъ, длинной и долгой надобно побѣдить съ самаго начала, а потому и слѣдуетъ начинать съ величинъ соизмѣрныхъ: то, что мы въ нихъ найдемъ, навѣрно можно будетъ приложить ко всѣмъ прочимъ.

Въ каплѣ нечистой воды зарождается бездна маленькихъ животныхъ, въ междузвѣздныхъ пространствахъ бездна планетъ и кометъ, на сырой стѣнѣ плѣсень.

Объяснить образованіе плѣсени не легче, чѣмъ объяснить образованіе земного шара. Плѣсень насъ не удивляетъ только потому, что она не казиста, не велика. А, вѣдь, было время, что и земной шаръ былъ меньше тѣхъ животныхъ, которыя тысячами вертятся въ одной каплѣ воды.

Сдѣлаться большимъ не такъ трудно, какъ *начать расти*. Вы, вѣрно, слыхали о той дамѣ, которая на вопросъ—вѣрить ли она, что св. Діонисій прошелъ большое пространство безъ головы, отвѣчала, что не въ этомъ важность, что онъ далеко ушелъ, но въ томъ, что онъ сдѣлалъ первый шагъ.

Дѣйствительно, въ определенныхъ явленіяхъ все зависитъ отъ перваго шага, т. е. отъ начальной встрѣчи необходимыхъ условій; гдѣ они соберутся, тамъ и дѣлается *первый шагъ*, и,

если ничего не помѣшаетъ, развитіе пойдетъ длиннымъ ядромъ измѣненій, смотря по обстоятельствамъ—въ комету, въ цвѣтокъ, въ плѣсень. Эти встрѣчи дѣлаются непрерывно, вездѣ, на каждой точкѣ безграничнаго пространства. Міры возникаютъ непрерывно, такъ, какъ плѣсень и инфузорія, они не сдѣланы, не готовы, а *дѣлаются*, одни существуютъ теперь, другіе едва образуются, третьи кончаютъ свою жизнь въ этой формѣ.

Мы имѣемъ одинъ фактъ, не подлежащій, такъ сказать, нашему суду, фактъ, втѣсняющій намъ себя, обязывающій насъ себя признать; это фактъ существованія чего-то непроницаемаго въ пространствѣ—вещества. Мы можемъ начинать только отъ него, онъ тутъ, онъ есть; такъ ли, иначе ли—все равно, но отрицать его нельзя. Пространствъ безъ веществъ мы не знаемъ, мы знаемъ только, что въ иныхъ пространствахъ вещества больше, т. е. что они гуще и плотнѣе, въ другихъ меньше, т. е. что они жиже и пустѣе.

Гдѣ бы вы ни начали изучать вещество, вы непременно дойдете до такихъ общихъ свойствъ его, до такихъ законовъ, которые принадлежатъ всякому веществу, и изъ этихъ законовъ можете вывести, измѣняя условія, что хотите: возникновеніе міровъ и ихъ движеніе, или движеніе пылинокъ, которыя колеблются и несутся на солнечномъ лучѣ.

Вотъ, напримѣръ, одно изъ этихъ общихъ свойствъ, самыхъ очевидныхъ и легкихъ для наблюденія. Стоитъ посмотрѣть на нѣсколько разныхъ веществъ, чтобъ увидѣть, что частицы одного вещества иногда соединяются съ частицами другого, однѣ льнутъ другъ къ другу, другія сближаются тѣснѣе, какъ бы просасываясь другъ въ друга.

Продолжая наблюденіе, мы можемъ изучить, замѣтить нѣкоторыя особенности, сопровождающія тѣсныя соединенія частицъ. Возьмемъ, напримѣръ, стаканъ воды и стаканъ спирту, смѣшаемъ ихъ такъ, чтобъ ничего не утратилось: мы получимъ *вѣсомъ* сумму вѣса воды и вѣса спирта, а *объемъ* ихъ будетъ немного меньше двухъ стакановъ. Новая жидкость сдѣлалась нѣсколько *плотнѣе*. Стало-быть, есть соединенія, при которыхъ разныя частицы соединяются тѣснѣе и въ силу этого занимаютъ, соединившись, меньшее пространство.

Я хочу, взявъ въ основаніе эти два простѣйшія явленія, показать вамъ *возможность* объяснять ими возникновеніе всего на свѣтѣ.

Одного только я потребую отъ васъ, того, что требуетъ всякая старушка, рассказывающая сказки,—немного вниманія и немного воображенія.

Вмѣсто двухъ стакановъ, изъ которыхъ въ одномъ налить

спиртъ, а въ другомъ вода, вы себя представьте глухую ночь безконечнаго пространства, въ которомъ носится разжиженное до чрезвычайности вещество: разсѣяныя частицы безпрерывно встрѣчаются, соединяются, просасываются другъ въ друга, снова разлагаются, опять соединяются,—и это повсюду, споконъ-вѣка и ежесуточно. Въ безконечномъ числѣ этихъ соединеній должны встрѣтиться и такія, которыя удержались и съ тѣмъ вмѣстѣ сдѣлались *плотнѣе*. Что можетъ выйти изъ этого? Первое послѣдствіе будетъ нарушеніе равновѣсія, въ которомъ около насъ сившія частицы держали другъ друга въ балансѣ. Окружающія частицы, не встрѣчая прежняго препятствія, стали падать къ болѣе плотному соединенію, чтобъ наполнить изрѣженное мѣсто, отъ котораго вещество долею отступило, сдѣлавшись *плотнѣе*.

Зачѣмъ? На этотъ вопросъ, совершенно правильный, я буду отвѣчать *фактомъ*. Раздвигаемость частицъ и стремленіе занять наибольшее пространство есть отличительное свойство одного изъ трехъ намъ извѣстныхъ состояній вещества, мы его называемъ *воздухообразнымъ*.

Въ обыкновенной жизни мы почти не считаемъ воздухъ за вещество. Мы говоримъ: «стаканъ пустой», когда въ немъ нѣтъ ничего жидкаго и ничего твердаго, забывая, что онъ полонъ воздуха, и въ этомъ нѣтъ никакой ошибки, потому что стаканъ сдѣланъ для того, чтобъ содержать жидкость. Тѣмъ не меньше надобно остерегаться и отъ тѣхъ ложныхъ представленій, которыя вносятъ не книга, а практически-житейское отношеніе къ предметамъ. Воздухъ у насъ въ большомъ пренебреженіи. Вещь улету-ченную, воздухообразную мы считаемъ *уничтоженной* вещью. «Сколько мы истребили дровъ нынѣшней зимой!»—говоримъ мы относительно правильно, ибо дрова, какъ вещь цѣнная, какъ вещь полезная, даже какъ вещь осязательная, не существуютъ больше; но не слѣдуетъ забывать, что отъ сожженныхъ дровъ ничего не пропало и *не могло* пропасть. Нѣтъ того снаряда, того прессы, того паровика, того плавильнаго огня, которымъ бы можно уничтожить пылинку, носящуюся въ воздухѣ, малѣйшую скорлупу орѣха. Если собрать сажу, дымъ, уголь, золу и разными воздушными соединеніями, вы бы увидѣли съ вѣсками въ рукахъ, что дрова ваши совершенно цѣлы, а только живутъ иначе. Дѣло въ томъ, что всякое самое твердое тѣло (такъ, какъ вы это видите на льду), свинецъ напримѣръ, можетъ сначала расплавиться, а потомъ при извѣстныхъ условіяхъ сдѣлается воздухообразнымъ, нисколько не переставая быть свинцомъ, и точно такъ-же можетъ изъ воздухообразнаго снова перейти въ свое твердое состояніе, такъ, какъ водяные пары превращаются въ ледъ. Это насъ приводитъ къ одному изъ величайшихъ законовъ природы: *ничего*

существующаго нельзя уничтожить, а можно только *измѣнить*. Но если сегодня нельзя ничего уничтожить, то и вчера нельзя было, и тысячу лѣтъ тому назадъ, и такъ далѣе, т. е. что вещество вѣчно и только по обстоятельствамъ переходитъ въ разныя состоянія. Люди, толкующіе о преходимости всего вещественнаго, не знаютъ, что говорятъ; если льду нѣтъ, за то есть вода; если воды нѣтъ, за то есть пары; если и ихъ разложить, мы получимъ два воздухообразныя вещества, которыя можно на тысячу ладовъ соединить, но уничтожить ничѣмъ нельзя, ни даже человѣческимъ воображеніемъ; сдѣлайте опытъ представить себѣ что-нибудь существующее уничтоженнымъ, какъ же оно примется за то, чтобъ не быть?

Сочетанія и разложенія вещества, по собственному ли развитію или по волѣ человѣческой, могутъ только *передѣлывать, измѣнять* матеріалъ, приводить его въ другія соединенія и въ другія формы, но *материалу* отъ этого ни больше, ни меньше, онъ все тотъ же и въ томъ же количествѣ. Если въ одномъ мѣстѣ сдѣлается что-нибудь гуще, непременно гдѣ-нибудь будетъ жиже. Передъ вами фунтъ говядины, вы ее съѣдаете и становитесь фунтомъ тяжеле, а черезъ часъ или два нѣсколько легче, но разница не пропала; говядина, превратившись въ кровь, потеряла разныя водяныя и воздушныя частицы, оставившія ваше тѣло испареніемъ, дыханіемъ. Эти освобожденные частицы пошли каждая своей дорогой: однѣ были всосаны растеніями, другія соединились съ землею, разсѣялись въ воздухѣ.

Но если все, что дѣлается въ природѣ,—только перемѣна вѣчнаго, готоваго матеріала, то вы, нѣсколько подумавши, ясно увидите, что также нельзя въ природѣ ничего *вновь* сдѣлать, ничего прибавить, *ничего создать*. Можно пары охладить въ воду, воду заморозить въ ледъ, но водяныхъ паровъ нельзя составить, если нѣтъ ихъ составныхъ частей; съ чего же начать?

Мы остановились на томъ, что частицы вещества, окружавшія болѣе плотное соединеніе, устремились къ нему. При этомъ движеніи онѣ должны были увлекать съ собою слой за слоемъ и, слѣдственно, быть причиной новаго колебанія, продолжающагося до тѣхъ поръ, пока движеніе слоевъ не потеряется въ пространствѣ и не придетъ въ равновѣсіе.

Наши соединившіяся частички въ этомъ колебаніи уже играютъ роль средоточія, зерна; стремящіеся на нихъ воздушыя (газы) наносятъ имъ новыя соединяющіяся частицы, движеніе отъ этого становится больше и больше. Вы знаете, что вѣтеръ—не что иное, какъ перемѣщеніе слоевъ воздуха, теплыхъ и холодныхъ, сухихъ и наполненныхъ парами, продолжающееся до тѣхъ поръ, пока слои придутъ въ равновѣсіе. Мы можемъ поэтому представить себѣ,

какъ мало-по-малу возрастали вьюги и вихри, колебавшіеся въ воздушномъ растворѣ, безъ всякой рамы, на просторѣ безконечнаго пространства, около сгущеннаго средоточія.

Если средоточіе выдержать напоръ, не потерявъ своей особенноти, не распустившись въ пространствѣ, не прильнувъ само къ *другому*, то оно съ волнующимся около него воздухомъ или туманомъ представится намъ особенной областью, вымежевавшейся отъ окружающаго пространства своимъ движеніемъ около ядра. Если же оно вступить въ *другія* соединенія, вовлечется въ *другое* движеніе, чтѣ вѣроятно повторялось милліоны и милліоны разъ, тогда оставимъ его своей судьбѣ и займемся тѣмъ *другимъ* средоточіемъ, въ которомъ развитіе продолжается. Въ той ли воздушной области или въ другой идетъ операція, мы не можемъ иначе себѣ представить ея форму, какъ шарообразной, потому что нѣтъ никакой причины частицамъ простираться больше или меньше въ одну сторону, нежели въ другую. А простираться равнымъ образомъ во все стороны отъ одного средоточія, — значитъ быть шарообразнымъ.

Но отчего же развилась та область или другая, почему тутъ образовалось болѣе плотное соединеніе, а не тамъ? Какое вамъ до этого дѣло? Это одинъ изъ самыхъ пустыхъ вопросовъ, но такъ какъ его повторяютъ довольно часто, то надобно было о немъ упомянуть. Естественныя науки не даютъ никакого отвѣта на подобные вопросы, потому что имъ нечего сказать. Въ безконечномъ пространствѣ нѣтъ мѣстничества; тамъ, гдѣ случились необходимыя условія, и именно въ то время, когда они встрѣтились, тамъ и начало, тамъ и продолженіе; случись оно въ другомъ мѣстѣ, въ другое время, оно было бы тамъ, а не тутъ: можетъ, было бы въ обоихъ мѣстахъ. Ну что же изъ этого?

Природа представляетъ намъ фактъ, наше дѣло его изучать, приводить къ сознанію, раскрывать его законы. Ну, а если-бъ у нея были другіе законы, тогда, вѣроятно, и насъ бы не было, а было бы что-нибудь совсѣмъ другое... гдѣ тутъ предѣлъ?.. Мы изучаемъ тѣ факты, которые существуютъ, и смиренно принимаемъ ихъ, *какъ они есть*.

Говоря о *возникновеніи міровъ*, напримѣръ, само собою разумѣется, мы говоримъ о тѣхъ мірахъ, которые возникли, и объ общемъ законѣ возникновенія... Міры могли и *могутъ* возникать на всякой точкѣ, но не на всякой точкѣ нашлись условія, для нихъ необходимыя. На иныхъ могутъ быть условія годныя для начала, но которыя не въ силахъ поддержать развитіе. Мы ихъ не знаемъ, да если-бъ и знали, ихъ слѣдовало бы оставить. Описывая животныхъ, мы не останавливаемся на неудавшихся зародышахъ или на уродливыхъ недоноскахъ.

Естественныя науки занимаются только фактами и ихъ изученіемъ, не допуская фантастическаго созерцанія возможностей. Почему мы знаемъ, что теперь дѣлается въ мрачныхъ и холодныхъ пространствахъ между звѣздъ, какіе образуются тамъ новые міры и подрастаютъ на замѣну солнечной системы или какой другой?... Во всемъ этомъ намъ не на что опереться, кромѣ на наведеніе, оно дѣйствительно подтверждаетъ, что *должно быть это такъ*; тѣмъ и оканчивается весь научный интересъ, и дальнѣйшее переходитъ въ область мечтаній.

Насъ ожидаютъ вопросы больше существенныя въ жизнеописаніи нашей воздушной области. Будучи гуще внутри, она должна была сложиться въ послѣдовательное наслоеніе. Легкіе слои всплыли наверхъ, потяжеле повисли въ серединѣ, самыя тяжелыя потонули къ средоточію. Пока все не пришло въ равновѣсіе, въ шарѣ дѣлалось то, что дѣлается, когда кипятятъ воду: подогрѣтая вода подымается, въ то время какъ холодная низвергается на дно. Противуположныя потоки должны были стремиться одни лучеобразно отъ центра ко всѣмъ точкамъ поверхности, другіе отъ всѣхъ точекъ поверхности къ центру, но по мѣрѣ того какъ всѣ частицы повисли бы на своемъ мѣстѣ, онѣ успокоились бы, и общее движеніе мало-по-малу должно остановиться, а съ нимъ замереть и дальнѣйшее развитіе. Этотъ покой дѣйствительно и настаетъ въ кипяткѣ, если воду не будутъ *подогревать*. Но гдѣ же очагъ, который бы подогрѣвалъ нашъ воздушный шаръ?

Переходимъ опять къ ежедневнымъ, домашнимъ опытамъ: возьмите кусокъ холоднаго желѣза, положите его на холодную наковальню и начните его бить холоднымъ молотомъ, оно сначала сдѣлается теплымъ, потомъ горячимъ,—гдѣ очагъ? Если въ металлической трубкѣ съ однимъ отверстіемъ подвижной пробкой, туго входящей, быстро сжать воздухъ, то трутъ, прикрѣпленный на днѣ трубки, загорается. Кто его зажегъ? Дѣло состоитъ въ томъ, что *тѣла, сжимаясь, становятся теплѣе*. А, вѣдь, двѣ первыя частицы, соединившись, заняли *меньше пространства*—сжались, стало - быть, онѣ сдѣлались теплѣе. Притеченіе новыхъ частицъ и ихъ соединеніе развивало больше и больше тепла въ ядрѣ, отсюда движеніе частицъ, отдаляющихся отъ центра и притекающихъ къ нему, должно было становиться сильнѣе и сильнѣе, температура центральной части выше и выше.

Идемъ далѣе... Имѣемъ ли мы какое-нибудь право себѣ представить, что та *данная* воздушная «капля», при развитіи которой мы присутствуемъ, одна и есть во всей вселенной? Если-бъ это было такъ, то, стало-быть, было когда-нибудь время, въ которое ничего не было, т. е. въ которое нельзя было *возникнуть*

чему-нибудь, т. е. что вещество и законы его были не тѣ, которые теперь, чего мы допустить не можемъ; совсѣмъ напротивъ, потому что эта область могла развиться, стало-быть и другіе міры должны были развиваться прежде нея. Если же это такъ... то наша сфера гдѣ-нибудь, какъ-нибудь встрѣтится съ другими.

Какое же будетъ ихъ взаимодѣйствіе? Верхніе слои, самые изрѣженные по свойству воздухообразнаго состоянія, проникнуть другъ друга, могутъ смѣшаться, если не будутъ удерживаемы потоками частицъ, летящихъ или низвергающихся къ средоточію. Мы не имѣемъ причины предполагать обѣ сферы одинакаго объема, одинаковой плотности, — это можетъ быть, но это одинъ изъ случаевъ; гораздо легче себѣ представить, что одна сфера больше другой, и тогда меньшая будетъ постоянно склоняться къ большой. Если частицы, стремящіяся къ зерну меньшей сферы, не въ состояніи противудѣйствовать удаляющимся отъ него, то она *упадетъ* на большую, распустится въ немъ, станетъ двигаться какъ одинъ изъ его слоевъ, или, какъ одна изъ его частныхъ областей.

Но если движеніе частицъ къ средоточію достаточно, чтобъ противудѣйствовать паденію, но недостаточно, чтобъ совсѣмъ пересилить стремленіе частицъ къ средоточію большой сферы, тогда, повинаясь двумъ движеніямъ, шаръ нашъ будетъ кружиться около центра большой сферы, постоянно готовый сорваться съ пути или упасть къ его центру. И то, и другое можетъ случиться, но намъ для нашей цѣли слѣдуетъ взять такое отношеніе сферъ, въ которомъ онѣ уравниваются на постоянномъ движеніи одной около другой.

Но всѣ частицы вещества, составляющаго воздушный шаръ, несущійся около средоточія, вѣ его находящагося, одинаково ринуты въ движеніе. Слои ближе къ его зерну вертятся медленнѣе, у самаго центра все покойно, быстрота, разумѣется, возрастаетъ съ удаленіемъ отъ него и всего больше на поверхности. Простой опытъ мячика, привязаннаго на бечевкѣ, который вы станете кружить, даетъ наглазное представленіе.

Сверхъ того, и на самой поверхности не всѣ точки двигаются съ равной скоростью, потому что не всѣ подвергаются одинаковой близости къ большой сферѣ, около которой двигается меньшая. Наибольшее движеніе будетъ на томъ поясѣ, который всего ближе къ большой сферѣ, туда и будетъ притекать наибольшее частицъ. Въ силу этого разнаго движенія, мы можемъ опредѣлить такую линію, около которой шаръ будетъ обращаться, какъ около своей *оси*.

Съ своей стороны постоянное притеченіе частичекъ къ полю наибольшаго движенія должно измѣнить шарообразную форму,

она сплюснется у полюсовъ, т. е., у концовъ *оси*, и увеличится у пояса, ближайшаго къ внѣшнему средоточію.

Но чѣмъ далѣе частицы отъ зерна, тѣмъ слабѣе ихъ связь съ нимъ, а такъ какъ и движеніе тамъ всего сильнѣе, то подъ его вліяніемъ поясъ можетъ, наконецъ, сорваться или, лучше, расчленился съ общей массой, продолжая увлекаться ея движеніемъ, уже не какъ ея слоемъ, а въ видѣ обруча. За нимъ можетъ отдѣлиться другой, третій и т. д., тогда плотность всей сферы сдѣлается, такъ сказать, полосатой въ отношеніи къ густотѣ гораздо изрѣженнѣйшей между обручами, гораздо плотнѣйшей въ нихъ самихъ.

При крутомъ и стремительномъ движеніи обручей, они сами могутъ разорваться, и тогда,—одна часть дуги отставая, а другая напирая на нее, онѣ могутъ собраться, сжаться въ одинъ или нѣсколько комковъ, обращающихся около общаго центра своей сферы и увлекаемыхъ съ нею около средоточія большой сферы; въ каждомъ расчленившемся обручѣ или кольцѣ снова повторяется тѣ же явленія.

При этихъ отдѣленіяхъ обручей, при ихъ распаденіяхъ на шары должны были остаться свободныя частицы, уносимыя общимъ потокомъ и которыя, въ свою очередь, льнутъ къ тѣмъ или другимъ шарамъ, больше и больше сгущая ихъ. Самое образованіе обручей было сгущеніемъ, но сгущаться значитъ *разогрѣваться*: чѣмъ больше накаливались частные центры, тѣмъ сильнѣе стремились отъ нихъ частицы, поднимаясь къ окружности. Такимъ образомъ зерно, вмѣсто того, чтобъ дѣлаться плотнѣе и плотнѣе, становилось все жиже и жиже, истощаясь своимъ лучезарнымъ разсѣяніемъ частицъ.

Такое средоточіе—наше солнце; его расчленившіеся обручи—планеты нашей системы, ихъ отдѣлившіеся обручи въ свою очередь составили ихъ спутниковъ, какъ луна, или остались обручами, какъ кольцо Сатурна.

Вся солнечная система имѣетъ свое общее движеніе около одного изъ своихъ созвѣздій. Представляетъ ли это созвѣздіе общее средоточіе, или само обращается около чего-нибудь? Навѣрно послѣднее. Мы слишкомъ бѣдны, чтобъ доказать это опытомъ, наши періоды наблюденій слишкомъ ограничены и слишкомъ малы, но нелѣпость средоточія чего-нибудь безконечнаго такъ же очевидна, какъ означеніе года, дѣлящаго на двѣ равныя эпохи вѣчность. Общаго средоточія движенія не можетъ быть, оно не въ духъ природы... Все носится другъ около друга; одни центры исчезли, послуживши причиной движенія; другіе возникаютъ, приставая къ той или другой системѣ, или перетягивая къ себѣ.

Такъ это и наша солнечная система когда-нибудь перестанетъ существовать?—Непремѣнно. Одна изъ причинъ бросается въ глаза,—это постоянное истощеніе солнца; оно уже и теперь не можетъ производить новыхъ планетъ, обручи не отдѣляются отъ него, но оно продолжаетъ на огромное пространство до Сатурна грѣть и свѣтить, не получая топлива снаружи: силы солнца также сочтены, придетъ время, когда воздушный очагъ потухнетъ.

Что касается до возникновенія новыхъ небесныхъ тѣлъ, мы можемъ слѣдить за образованіемъ и ростомъ плотной части *туманныхъ пятенъ* и кометъ, такъ, какъ можемъ изучать по обитателямъ Новой Зеландіи начала стадной жизни людской.

На этомъ мы остановимся. Мнѣ хотѣлось въ этомъ опытѣ только показать, какъ изъ легкаго химическаго опыта и изъ самыхъ элементарныхъ понятій механики и физики, что тѣла, сжимаясь, нагрѣваются, что воздухообразныя частицы стремятся занимать больше пространства, что есть такія соединенія веществъ, при которыхъ соединенное тѣло становится плотнѣе соединяемыхъ.—*есть возможность* объяснить всемірныя явленія, не вводя никакихъ фокусовъ, никакихъ спрятанныхъ колдуновъ, не отводя глазъ. Цѣль моя будетъ совершенно достигнута, если мой опытъ возбудитъ умственную дѣятельность и желаніе ближе узнать то, что едва обозначено въ немъ. Одного желалъ бы я безмѣрно, чтобъ вы замѣтили коренную *разницу* этого приѣма съ обыкновеннымъ риторико-теологическимъ.

Въ этомъ сжатомъ очеркѣ я старался до того сберечь чистоту вашего воображенія, что не употреблялъ, какъ ни было мнѣ это трудно, такихъ словъ, какъ *притяженіе*, *тяготѣніе*, *центростремительная* и *центробѣжная* сила, которыми для краткости выражаютъ общія причины всѣхъ явленій, вслѣдствіе которыхъ частицы соединяются, влекутся къ другимъ, кружатся, и проч. Я боялся ихъ употреблять и предпочелъ передавать факты, не означая ихъ именемъ, потому что незнакомыя названія съ условнымъ собирательнымъ смысломъ замѣняютъ очень часто объясненіе, останавливаютъ вопросы: произнося слово, намъ кажется, что мы знаемъ его смыслъ, что мы опредѣляемъ самую причину, въ то время, какъ мы *только ее называемъ*.

Мы смѣемся съ Мольеромъ надъ шуткомъ, который объясняетъ свойство ревения тѣмъ, что онъ имѣетъ *слабительную* силу, и въ то же время довольствуемся тѣмъ, что частицы веществъ соединяются вслѣдствіе *силы сдѣленія*.

А что такое сила сдѣленія? Опять колдовство, только въ другой формѣ, переведенное съ мистическаго языка на языкъ науки, переодѣтое изъ монашеской рясы въ докторскую мантию.

Слова эти необходимы, но необходимы какъ знаки, это стропилы, вѣхи по дорогѣ къ истинѣ, а не сама истина «взаправду», какъ говорятъ дѣти.

Явленія, ожидающія насъ, если мы будемъ продолжать наши бесѣды, становятся опредѣленнѣе и вводятъ насъ въ сферы больше живыя. Мы видѣли, что съ сжатіемъ является теплота, съ теплотой свѣтъ, при ихъ посредствѣ разсѣянные частицы вещества обнаруживаютъ больше и больше дѣйствій другъ на друга (химизмъ), съ теплотой и химизмомъ неразлучно электричество, а тутъ является и кристаллизація, и органическая клѣтчатка, а съ ними все животное царство и человѣкъ.

Разговоры съ дѣтьми.

I.

Пустые страхи.—Вымыслы.

Желаніе узнать причины, какъ что дѣлается возлѣ насъ, совершенно естественно человѣку въ каждый возрастъ. Это всякій испыталъ на себѣ. Кому не приходило въ голову въ ребячествѣ, отчего дождь идетъ, отчего трава растетъ, отчего иногда мѣсяцъ бываетъ полный, а иногда видна одна закраинка его, отчего рыба въ водѣ можетъ жить, а кошка не можетъ?... Людямъ такъ свойственно добираться до причины всего, что дѣлается около нихъ, что они лучше любятъ выдумывать вздорную причину, когда настоящей не знаютъ, чѣмъ оставить ее въ покоѣ и не заниматься ею.

Такого любопытства *знать*, что и какъ дѣлается, звѣри не имѣютъ. Звѣрь бѣгаетъ по полю, ѣстъ, коли что попадется по вкусу, но никогда не подумаетъ, почему онъ бѣгаетъ, и отчего онъ можетъ бѣгать, откуда взялся съѣстной припасъ, который онъ ѣстъ. А люди всѣмъ этимъ заботятся.

Посмотрите, что изъ этого выходитъ. Чѣмъ больше вещей человѣкъ знаетъ и чѣмъ короче, подробнѣе онъ ихъ знаетъ, тѣмъ больше у него власти надъ ними. Звѣри съ ихъ умомъ несовершеннымъ и маленькіе дѣти съ ихъ незнаніемъ,—всего слабѣе и беспомощнѣе. Не думайте, что дѣти только потому слабы, что они малы: слонъ при всемъ своемъ ростѣ сдѣлаетъ не больше ребенка во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нельзя взять ни массой, ни мышцами.

Когда человѣкъ хочетъ что-нибудь сдѣлать, онъ прежде долженъ знать свойство вещей, изъ которыхъ ему приходится что-нибудь сдѣлать. Вещи сами по себѣ очень послушны, но слушаются онѣ человѣка и настолько исполняютъ его волю, насколько онъ умѣетъ приказывать имъ, то есть, насколько онъ ихъ *знаетъ*.

Вещи не *въ самомъ дѣлѣ* слушаются человѣка или противудѣйствуютъ ему. Это такъ говорится для краткости, вещамъ до человѣка дѣла нѣтъ, онѣ очень равнодушны къ своей судьбѣ и продолжаютъ существовать—рудою, слиткомъ, червонцемъ, кольцомъ на пальцѣ, какъ случится, у нихъ нѣтъ ни цѣли, ни намѣренія, ни воли. Рѣка течетъ,—течетъ потому, что земля поката, а не потому, что ей хочется течь. Человѣкъ ставитъ плотину,—такъ какъ водѣ все равно, то она перестаетъ течь и накапливается. Насколько человѣкъ знаетъ силу воды, силу плотины, вышину береговъ и другія условія, настолько онъ можетъ заставлять воду, дѣлая *свое дѣло*,—исполнять *его волю*: вертѣть колеса, пилить бревна, орошать луга, подымать барки. Изъ этого вы ужъ видите, что мы настолько умѣемъ управлять природой или вещами, насъ окружающими,—*насколько ихъ знаемъ*, направляя однѣ противъ другихъ или соединяя ихъ по ихъ свойствамъ.

Вы хотите отрѣзать сучекъ отъ дерева и сдѣлать изъ него трость. Вы берете ножъ, т. е., кусокъ желѣза, такимъ образомъ сплавленной, выкованной, отточенный, что одна сторона его остра, и начинаете отрѣзывать, зная, что растительныя волокна не могутъ удержаться противъ желѣза.

Такимъ точно образомъ человѣкъ поступаетъ и въ самыхъ сложныхъ своихъ дѣлахъ, въ хлѣбопашествѣ и другихъ работахъ.

Совсѣмъ напротивъ, чего мы не знаемъ, то не только не въ нашей волѣ, но скорѣе мы въ его волѣ, *оно насъ тѣснитъ*. Люди по большей части боятся того, чего не знаютъ, потому что отъ него трудно защищаться.

Вотъ тутъ-то и случается, что люди лучше выдумываютъ ложную, мнимую причину, чѣмъ остаются въ безоружномъ невѣдѣніи. Принимая ложную причину за знаніе, за пониманіе, вѣря ей, они обманываютъ себя и думаютъ, что овладѣли страшнымъ явленіемъ.

Возьмемте для примѣра *грозу* и посмотримъ, въ какомъ отношеніи къ грозѣ находились люди въ младенческомъ состояніи и въ какое перешли въ болѣе образованномъ.

Люди были поражены блескомъ молніи, раскатомъ грома, они видѣли зажженные деревья, убитый скотъ, убитыхъ людей, и потомъ снова прежнюю тишину, тучи проходили, небо разяснялось. Въмѣсто того, чтобъ добираться до причины, сличать, обдумывать, они вотъ какъ рассуждали: «Мы слышали трескъ и громъ, стало-быть, *кто-нибудь гремитъ*», и они стали искать, (тутъ-то вся ошибка), не *что* гремитъ, а виноватаго. Гремитъ наверху, молнія падаетъ сверху, стало-быть, *громовержецъ* живетъ наверху. Черныя тучи, мрачное небо показываютъ, что онъ сер-

дятся: на кого? Конечно, всего больше на тѣхъ, кого убиваетъ.

Что же дѣлать и какъ умиловить этого свирѣпаго громовержца? Униженіемъ, бросаюсь на колѣни, молю о пощадѣ. Такъ люди дѣлали тысячелѣтія, и имъ въ голову не приходило, что громовержецъ бьетъ безсмысленно, скалы и деревья, которые не могутъ быть виноватыми, барановъ и воловъ, мирно пасущихся, и изъ людей убиваетъ не худшихъ, а такъ—кто попадется; это объясняли тѣмъ, что громовержецъ дѣлаетъ это для острастки, чтобы виновные трепетали, а прочіе знали бы его мощь. И эдакого-то безсмысленнаго и безжалостнаго чудака хотятъ умоливать красными словами, поклонами и вѣзтками. А все это дѣлается только для того, чтобъ заглушить страхъ передъ неизвѣстной опасностью.

Помните вы греческое вѣроисповѣданіе,—у нихъ на все былъ свой Бука или своя Баба-яга, для моря и огня, для неба и земли. И серьезные, взрослые люди, полководцы, купцы, отправляясь въ море,—ходили перетолковать объ этомъ съ мѣдной куклой, дѣлали ей обѣщаніе принести въ жертву куръ и телятъ, повѣсить въ ея храмѣ свое платье, если кукла пошлетъ хорошую погоду во время плаванія.

Мы смѣемся надъ ихъ морскимъ богомъ, развѣзжающимъ въ раковинѣ на четверкѣ дельфиновъ, съ трезубцемъ въ рукѣ, такъ, какъ вы смѣтаетесь надъ куклами, съ которыми вы, бывало, разговаривали какъ съ живыми, укладывали ихъ спать, давали имъ лекарства,—вѣдь, вамъ и тогда чувствовалось, что онѣ не живыя, да хотѣлось вѣрить, вы и вѣрили. Но мало-по-малу вашъ умъ крѣпнулъ, и по мѣрѣ того, какъ онъ сталъ брать верхъ надъ дѣтскимъ воображеніемъ, вамъ меньше и меньше казалось вѣроятнымъ, что кукла больна или спитъ. Такъ жили цѣлые народы—до тѣхъ поръ, пока *знаніе* природы не побѣдило ихъ *мечтаніе* объ ней.

Когда люди приобрѣли больше опытности и свѣдѣній о природѣ, они пошли и въ дѣлѣ *грома* и *молиніи* инымъ путемъ: вмѣсто того, чтобъ спрашивать, *кто* гремитъ, стали наблюдать *что* гремитъ, и мало-по-малу, сличая разные явленія, доискались до причины; а найдя ее, стали обороняться отъ нея, уже не молитвами и колѣнопреклоненіемъ, не курами и свѣчами, принесенными на жертву, а снарядами, называемыми *громоотводами*.

Точно такъ дѣйствуетъ знаніе во всѣхъ другихъ вещахъ и предметахъ: вездѣ освобождаетъ оно насъ отъ страха, а гдѣ не можетъ освободиться отъ зависимости,—тамъ учитъ насъ избѣгать вредныхъ дѣйствій.

Прежде, чѣмъ мы пойдемъ дальше, я вамъ расскажу, какъ въ дѣтствѣ я самъ освободилъ себя отъ одного изъ *пустыхъ страховъ*. У меня, по правдѣ сказать, ихъ было немного,—однако-жъ не былъ и я совсѣмъ свободенъ отъ нихъ. Нянюшки натолковали и мнѣ о всякихъ чудесахъ, о томъ, какъ домовый приходитъ по ночамъ въ конюшню и ѣздитъ верхомъ на лошадахъ, и какъ кучеръ противъ этого въ стойлѣ держитъ козла. Лѣтъ двѣнадцати я сталъ съ ними спорить и, разумѣется, разубѣдить ихъ не могъ.

Бѣдные люди эти обречены на темную жизнь невѣдѣнія и тяжкую работу, имъ недосугъ учиться, недосугъ думать, ихъ досугомъ пользуемся мы; и если свѣтъ до нихъ не доходитъ, то мы не должны забывать, что *мы* имъ застимъ его. А осуждать ихъ—большое преступленіе; къ тому же гораздо удивительнѣе, что люди ученые и образованные разсуждаютъ иной разъ не лучше ихъ и что большая часть ихъ вѣритъ въ такого или другого домового и имѣетъ въ конюшнѣ или дома своего *козла* противъ него.

Мнѣ было лѣтъ двѣнадцать, жили мы лѣтомъ въ деревнѣ. За нашимъ домомъ былъ оврагъ, заросшій соснякомъ и ельникомъ; оврагъ этотъ шелъ, огибая поля, къ двумъ-тремъ курганамъ, тоже покрытымъ большимъ сосновымъ лѣсомъ. Курганы эти, вѣроятно, были насыпаны надъ могилами падшихъ воиновъ въ древнія времена.

Тамъ раза два отрывали совсѣмъ перержавшіе доспѣхи, въ преданіяхъ у крестьянъ осталось темное воспоминаніе какого-то сраженія. Курганы эти они звали «проклятыми». Неохотно ходили туда ночью мужики; про женщинъ и говорить нечего, ни одна, ни за что на свѣтѣ, не пошла бы туда послѣ сумерекъ—не оттого, чтобъ онѣ боялись волковъ, это было бы естественно, а оттого, что боялись какихъ-то *духовъ*.

Дворовые люди наши, разумѣется, не меньше ихъ вѣрили въ эти чудеса. Я спорилъ съ ними, смѣялся надъ ихъ трусостью.

— Да вы, вмѣсто того чтобъ говорить, сказалъ мнѣ одинъ изъ нихъ, сами бы ночью сходили.

— Я охотно пойду.

— Когда?

— Сегодня, когда у насъ всѣ улягутся...

— А какъ же знать, до которыхъ мѣстъ вы дойдете?

— У большой сосны вонъ перваго кургана лежитъ лошадинъ черепъ.

— Помню.

— Ну, такъ я принесу его.

Пространство, которое мнѣ приходилось пройти, врядъ было ли всего больше полутора или двухъ верстъ, изъ которыхъ по-

ловина шла полемъ. Пока было видно освѣщенное окно нашего дома и я не покидалъ тропинки, я шелъ себѣ спокойно, пощипывая пѣсни для большей храбрости, но когда взошелъ въ лѣсъ, мнѣ тоже стало очень страшно. Чего мнѣ было страшно, не знаю; но сердце билось и ноги такъ невѣрно ступали, когда я цѣплялся за сучья, что въ ту же пору хотъ бы и воротиться. Но я переломилъ свой страхъ, дошелъ до черепа, взялъ его на палку и побѣжалъ домой.

Человѣкъ нашъ хотя и похвалилъ меня, но все же не убѣдился, а говорилъ мнѣ, что «иногда и ничего не бываетъ, а иногда и бываетъ».

На другую, на третью ночь я уже ходилъ туда безъ всякаго посторонняго повода,—и сердце билось меньше и меньше, и я уже не пугался, зацѣпляясь за хвойныя вѣтви. Вотъ какъ проходятъ пустыя страхи.

Но чего же собственно наши люди и крестьяне боялись на курганахъ? Того, чего люди обыкновенно боятся въ присутствіи мертвѣго тѣла, на кладбищѣ. Они боятся, что покойникъ *не въ самомъ дѣлѣ умеръ*, а что онъ *раздвоился какъ-то*—тѣло само по себѣ, а жизнь этого тѣла *сама по себѣ*. Этого-то люди и боятся, по инстинкту понимая, что въ этомъ есть что-то *нелѣпное*. А то чего же бы бояться? Люди сами хотятъ жить послѣ смерти, скорбятъ и оплакиваютъ, когда кто-нибудь умретъ, стало-быть, слѣдовало бы радоваться, что души усопшихъ уцѣлѣли и являются къ намъ!

Духъ безъ тѣла страшенъ невообразимой нелѣпостью своей; до того страшенъ, что человѣкъ обыкновенно придумываетъ ему или чудовищное *тѣло*, или неестественно красивое.

Вы, вѣрно, видали изображеніе длинныхъ, исхудалыхъ, завернутыхъ въ бѣлые саваны мертвецовъ, съ дырами вмѣсто глазъ. Видали вы, вѣрно, также и маленькія кудрявыя головки, нарисованныя безъ туловища съ двумя-четырьмя крылышками, прикрепленными къ задней сторонѣ нижней челюсти или къ первому шейному позвонку. Само собою разумѣется, что ни скелетъ въ холстинѣ, ни голова безъ груди, необходимой для дыханія, и безъ живота, необходимаго для пищеваренія, не только не могутъ понимать и говорить, но просто не могутъ жить. Несмотря на то, людямъ легче воображать эти нелѣпости, чѣмъ живой *духъ*, т. е., живой *воздухъ*, газообразную личность, безъ всякихъ жидкихъ и густыхъ частей. Это до такой степени нелѣпо, что человѣкъ отпращиваетъ отъ безтѣлеснаго духа къ уродливымъ вымысламъ.

На это, пожалуй, вамъ скажутъ, что *духи* могутъ имѣть воз-

душное или эфирное тѣло, незримое нашими глазами, тонкое, легкое и прозрачное.

На земной планетѣ такихъ нѣтъ, а если-бъ они гдѣ-нибудь и были, то съ умершими людьми они ничего общаго не имѣютъ. Къ тому же не думайте, что въ самомъ дѣлѣ *прозрачность* и воздушность—что-нибудь высшее. Если-бъ человѣкъ могъ сдѣлаться жиже, еще жиже и, наконецъ, совсѣмъ прозрачнымъ, онъ отъ этого сталъ бы только хуже. Хорошая кровь густа и хорошій мозгъ густъ, хорошіе мускулы упруги, воздушные мускулы не могли бы служить; газовымъ мозгомъ нельзя было бы думать.

Невидимыхъ для простого глаза животныхъ бездна, всѣ наливчатые животные; но они, хотя и малы, не состоятъ же изъ одного воздуха или изъ одной жидкости; у нихъ есть свои оболочки, очень тонкія, но которыя оставляютъ послѣ себя известку или мѣлъ. Ихъ прозрачность сопряжена съ самой бѣдной степенью жизни; для того, чтобъ жизнь мухи или осы была возможна, тѣлу животному надобно было очень много погустѣть, потерять своей прозрачности и мѣстами окрѣпнуть, какъ крылья жука или ноги кузнечика.

Тѣло всякаго животнаго—червя, слона, человѣка—дѣлается изъ окружающихъ припасовъ їдой и дыханіемъ. На это ему нужны части твердыя, жидкія и воздухообразныя. Пока онѣ вмѣстѣ работаютъ и ни одна не беретъ верха—*жизнь* продолжается. Если у животнаго отнять твердыя оболочки его, то кровь и всякая жидкость, обращающаяся въ его сосудахъ, прольется, газы, въ ней заключающіеся, испарятся, разсѣются, твердыя части вывѣтрятся, засохнутъ, сдѣлаются черноземомъ, известковой землей.

Общее дѣло (жизнь) твердыхъ, жидкихъ и воздухообразныхъ веществъ, пока они продолжаютъ пищевареніе, нельзя отдѣлить отъ этихъ частей (т. е., отъ тѣла); такъ, какъ нельзя линію—границу двухъ площадей—отдѣлить отъ площадей, не на чертежѣ, а въ самомъ дѣлѣ.

Объяснить это *общее дѣло*, задерживающее въ извѣстномъ видѣ и въ извѣстной дѣятельности части тѣла,—задача трудная; но путь къ ея разрѣшенію очевиденъ—*физиологія и химія*.

Неполное знаніе не даетъ права на произвольныя предположенія. Мы сейчасъ видѣли, до какихъ нелѣпостей люди доходили въ своемъ объясненіи грома; повторять такія ошибки непростительно.

Вымыслы не только отдаляютъ пониманіе, но забиваютъ самую возможность правильно поставить вопросъ; въ манерѣ спрашивать видно, что сдѣланный вопросъ впередъ рѣшенъ.

Такъ, вопросъ: *можетъ ли душа существовать безъ тѣла?* заключаетъ въ себѣ цѣлое нелѣпое разсужденіе, предшествовавшее

ему и основанное на томъ, что душа и тѣло двѣ разныя вещи. Что сказали бы вы человѣку, который бы васъ спросилъ: можетъ ли черная кошка выйти изъ комнаты, а чернѣйшій цвѣтъ остаться? Вы его сочли бы за сумасшедшаго,—а оба вопроса совершенно одинакіе. Само собою разумѣется, тотъ, кто можетъ себя представить чернѣйшій цвѣтъ, оставленный кошкою, или ласточку, которая летаетъ безъ крыльевъ и легкихъ, тому легко представить себя *душу* безъ тѣла, такое *цѣлое*, котораго части *уничтожены*... А затѣмъ, почему ему и не бояться на кладбищѣ или на курганѣ встрѣчи съ давноумершими, ходящими безъ мускуловъ однѣми костями, говорящими безъ языка.

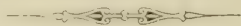
Есть люди, которые, безъ малѣйшаго основанія, говорятъ, что души умершихъ отправляются на *другія планеты*; это понятъ не легче.

Какъ же это онѣ поднимаются въ океанѣ кислорода и селитро-рода, не окислившись въ немъ или не соединяясь съ водородомъ, углеродомъ? Но душа не имѣетъ *химическихъ* свойствъ. Какія-же? *Физическія*?—нѣтъ. *А двигается?*

Предметъ, не имѣющій ни физическихъ, ни химическихъ свойствъ, безъ формы, безъ качества и количества, мы называемъ несуществующимъ, т. е., *ничѣмъ*.

Тутъ прибѣгаютъ обыкновенно къ сравненію съ электрической искрой: но электрическая искра очень богата физическими и химическими свойствами; несмотря на то, въ ней нельзя предположить сознанія, а, вѣдь, это—*главное*, чего хотятъ въ душѣ, отрѣшенной отъ тѣла. Чтобъ сознать себя, нельзя быть ни твердымъ какъ камень, ни жидкимъ какъ вода, ни изрѣженнымъ какъ воздухъ,—надобно быть *студенемъ или кашей, какъ мозгъ*.

На первой случай, я думаю, есть о чемъ вамъ подумать и поговорить съ вашими товарищами и учителями, если только они не боятся *домового* и не держатъ *козла*.



Примѣчанія.

Стр. 1. Посвященіе Н. П. О—у относится къ другу Герцена Николаю Платоновичу Огареву. Эпиграфъ взятъ изъ драмы „Корреджіо“ (переведенной на русскій языкъ въ журналѣ „Вѣкъ“ 1882 г.) знаменитаго датскаго поэта Адама Эленшлегера (род. 1778, ум. 1850).

— Люттеръ и Вегнеръ—хозяева виннаго погреба, гдѣ проводилъ вечера Гоффманъ.

Стр. 2. Захарія Вернеръ (1768—1823), извѣстный нѣмецкій романтическій поэтъ и драматургъ. Его лучшія трагедіи „Аттила“ и „24-е февраля“ переведены на русскій языкъ.

Стр. 3. Абель-Франсуа Вильментъ (1790—1870), французскій историкъ литературы, былъ профессоромъ въ Сорбоннѣ, академикомъ и министромъ народнаго просвѣщенія.

Стр. 6. Огюстенъ Тьерри (1795—1856) считается основателемъ генетической и живописной школы въ исторіи. Главныя его сочиненія: „Письма объ исторіи Франціи“, „Исторія завоеванія Англіи норманнами“ и „Разказы о временахъ Меровинговъ“ переведены на русскій языкъ. Къ первому изъ русскихъ переводовъ „Разказовъ“ Герценъ написалъ предисловіе (см. стр. 26—30 этого тома).

Стр. 8. Августъ-Вильгельмъ Иффландъ (1759—1814), славившійся въ свое время нѣмецкій актеръ и драматическій писатель.

— Новалисъ, псевдонимъ Фридриха Гарденберга (1772—1801), нѣмецкаго поэта романтической школы.

— Людвигъ Тикъ (1773—1853), представитель и основатель романтической школы въ Германіи, поэтъ, беллетристъ и критикъ.

Стр. 15. Нѣкоторыя сочиненія Гоффмана по-русски переводились по нѣ-

сколько разъ; собраніе же сочиненій (неполное) издано въ 8 томахъ Пантелѣевымъ (Спб., 1896—99).

Стр. 16. Эта „Рѣчь“ была издана отдѣльной брошюрой (Вятка, 1837), а затѣмъ, много лѣтъ спустя, была перепечатана въ „Вятскихъ Губ. Вѣд.“ (1862 г., 21 апрѣля, № 16), „Сѣверной Пчелѣ“ (1862 г., 9 мая, № 124), „Сынѣ Отечества“ (1862 г., 10 мая, № 112) и „Московскихъ Вѣд.“ (1862 г., № 102, 12 мая). Мнѣніе о ней самого Герцена см. VI т., стр. 332. „Личное объясненіе“.

Стр. 19 и 22. „Отдѣльныя мысли“ и „Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ“ писаны въ Вяткѣ; они собственноручно занесены Герценомъ въ ту тетрадь, въ которой находятся „Легенда“ и обѣ „Встрѣчи“, и которая теперь хранится въ рукописномъ отдѣленіи Румянцовскаго музея въ Москвѣ. Впервые они были напечатаны Е. С. Некрасовой въ „Рус. Стар.“ за 1889 г., январь, стр. 174 и сл.; здѣсь текстъ ихъ исправленъ по подлиннику.

Стр. 20. Эдгаръ Кине, французскій историкъ (1803—1875). Былъ дѣятельнымъ бойцомъ противъ ультрамонтанства; во время второй имперіи жилъ въ изгнаніи. Главныя его труды: „Духъ религій“, „Лезуиты“, „Исторія революцій“, „Кампанія 1815 г.“, „Твореніе“, „Новый духъ“ и др.

Стр. 21. Джамбатиста Пиранези (1720—1778), итальянскій художникъ, рисовавшій и гравировавшій преимущественно римскія развалины и древности.

Стр. 26. Это „Предисловіе“ было напечатано въ „Отч. Запискахъ“ 1841 г., № 4 (томъ XIV, отдѣлъ II, стр. 45—48). Подписана была статья псевдонимомъ: *Искандеръ*.

— Викторъ Кузень (1792—1867), французскій философъ, сочиненія ко-

торого отличаются эллиптицизмом характером и не имѣютъ самостоятельнаго философскаго значенія.

Стр. 27. Баптистъ-Онорэ Капфигъ (1802—1872), плодовитый французскій писатель, историческіе труды котораго—плохія компіляціи, не имѣющія самостоятельнаго значенія.

Графъ Анри Буленвиле (1658—1722) написалъ много историческихъ сочиненій, въ которыхъ восхвалялъ старую феодальную систему.

—Аббатъ Габріэль Маблі (1709—1785), французскій писатель-утопистъ, рѣзко отвергавшій современное ему социальное устройство общества. Главные, его труды: „Observations sur l'histoire de France“ и „Doutes proposés aux économistes“.

Стр. 29. Григорій Турскій (539—593), былъ епископомъ города Тура; написалъ исторію франковъ.

—Жанъ Фруасаръ (1333—1401), французскій историкъ, написавшій „Chroniques de France, d'Angleterre, d'Ecosse, de Bretagne“, заключающія богатый матеріалъ для исторіи XIV столѣтія.

Стр. 30. Фредегонда (ум. 597), жена франкскаго короля Хильперика изъ династіи Меровинговъ. Извѣстна борьбой съ своей соперницей Брунегильдой.

Стр. 31. Статья „По поводу одной драмы“ была напечатана въ „Отеч. Запискахъ“ 1843 г., № 8 (томъ XXIX, отдѣлъ II, стр. 96 и слѣд.) за подписью: *Ис-рѣ.*

Стр. 39. Подъ „Робертомъ“ подразумѣвается опера Мейербергера „Робертъ Дьяволъ“.

—Арноу Фурнье (Arnoluet Fournier)—драматурги и романисты 40-хъ годовъ, работавшіе по большей части вдвоемъ.

Стр. 48. Беттина или Елизавета Арнимъ (1788—1859), нѣмецкая писательница, извѣстная своей дружбой съ Гёте и перепиской съ нимъ.

Стр. 49. Пьеръ Брантомъ (1540—1614), французскій воинъ и авторъ знаменитыхъ мемуаровъ, названныхъ имъ „Vies des hommes illustres“.

Стр. 56. Хозревъ-Мирза, чрезвычайный посланникъ, посланный Персіей въ Петербургъ, чтобы извиниться за убійство Грибоѣдова.

Стр. 58. „Фиделіо“—опера Бетховена.

Стр. 65. Статья „Дилетантизмъ въ наукѣ“ была первоначально напечатана въ „Отеч. Запискахъ“ 1841 г., №№ 1, 3 и 5 (томъ XXVI, стр. 31—42, томъ XXVII, стр. 27—40 и томъ XXVIII, стр.

1—16 отдѣла II-го) за подписью: *И-рѣ.* Была затѣмъ перепечатана въ книгѣ „Раздумье“ (Спб., 1870).

Стр. 84. Луи-Жакъ Тенаръ (1774—1857), французскій химикъ, открывшій перекись водорода и извѣстный многими научными работами въ области химіи.

—Жанъ-Батистъ Сэй (1767—1832), французскій экономистъ буржуазной школы, написавшій „Полный курсъ политической экономіи“.

Стр. 89. Браманте (собственно Донато д'Анджелио)—итальянскій художникъ и архитекторъ эпохи Возрожденія (1444—1514), выстроившій храмъ св. Петра въ Римѣ.

Стр. 111. Распайль, Франсуа-Венсанъ (1794—1878), французскій политическій дѣятель и естествоиспытатель, принимавшій живое участіе въ революціи 1848 г., когда онъ принадлежалъ къ крайней революціонной партіи вмѣстѣ съ Бланки, Барбесомъ и Собріе. Написалъ много научныхъ сочиненій по медицинѣ, химіи и физиологіи.

Стр. 115. Статья „Буддизмъ въ наукѣ“ была первоначально напечатана въ „Отеч. Запискахъ“ 1843 г., № 12 (томъ XXXI, отдѣлъ II, стр. 57—74) за подписью *И-рѣ.*, а впоследствии была перепечатана въ книгѣ „Раздумье“ (Спб., 1870).

—Генрихъ-Юлій фонъ-Клапротъ (1783—1835), извѣстный въ свое время оріенталистъ; по порученію с.-петербургской академіи наукъ производилъ изслѣдованія о Кавказѣ и коренномъ населеніи Азіи, результатомъ чего явился рядъ цѣнныхъ его трудовъ на нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ объ Азіи, ея исторіи и восточныхъ языкахъ.

Стр. 126. Атлантида—мифическій материкъ, будто-бы существовавшій въ доисторическое время къ западу отъ Африки. Единственное указаніе на преданіе объ Атлантидѣ встрѣчается у Платона (въ „Тимей и Критій“).

Стр. 129. Настоящимъ изобрѣтателемъ одеколона былъ Жанъ-Марія Фарина (1685—1766), но подъ его именемъ и именемъ его наслѣдниковъ еще съ XVIII вѣка стали распространяться многочисленные поддѣлки, которыя чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе увеличивались и росли.

—Карлъ-Теодоръ Байергоферъ (1812—1888), философскій писатель, строго и буквально державшійся въ своихъ сочиненіяхъ Гегеля.

Стр. 136. Первая изъ напечатанныхъ

здѣсь двухъ статей Герцена о знаменитомъ публичномъ курѣ Грановскаго была помѣщена въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ отъ 27 ноября 1843 г., № 142. Попечитель, графъ Строгоновъ, къ которому Герценъ возилъ свою статью, разрѣшилъ напечатать ее въ „Моск. Вѣд.“, но подъ условіемъ, чтобы имя Гегеля не было упомянуто въ ней; второй же статьи Строгоновъ не разрѣшилъ помѣстить въ „Моск. Вѣд.“ и она явилась въ „Москвитининъ“, въ июльской книгѣ за 1844 г.

Стр. 139. Генрихъ-Эбергардъ-Готтлобъ Паулусъ (1761—1851), глава рационализма въ нѣмецкой теологической литературѣ. Нѣкоторые его сочиненія и до сихъ поръ пользуются извѣстностью въ Германіи.

Стр. 147. Статья „Москвитининъ и вселенная“ была напечатана въ „Отеч. Запискахъ“ 1845 г., № 3, отдѣлѣ VIII (смѣсь), стр. 48—51 (томъ XXXIX).

Стр. 148. Сэръ-Робертъ Пиль (1788—1850), англ. министр, отмѣнившій хлѣбные законы и введшій въ Англію подоходный налогъ (incometax).

— Помаре, королева острововъ Отаити (1822—1877), отказавшаяся въ 1852 г. отъ престола.

— Благодаря французскому морскому офицеру (впослѣдствіи адмиралу) Арману-Жозефу Брюа (1796—1855) королева Помаре признала протекторатъ Франціи надъ управляемыми ею островами Отаити. Англіійскій уполномоченный Причардъ, несмотря на всѣ свои усилія, не могъ этому помѣшать.

— М. Лихонинъ — бездарный стихотворецъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, сотрудничавшій въ „Москвитининъ“.

Стр. 152. Григ. Карп. Котошихинъ (или Кошкинъ) (1630—1667), подъячій посольскаго приказа, путешествовавшій въ Польшу и Пруссію, казненный въ Стокгольмѣ за убійство, совершенное въ нетрезвомъ видѣ. Его сочиненіе „Россія въ царств. Алексѣя Михайловича“ (издано въ 1840 г.) драгоценное описаніе русскихъ нравовъ XVI в.

— Ив. Азан. Желябужскій жилъ въ XVII вѣкѣ и оставилъ о немъ цѣнное для того времени описаніе быта и нравовъ.

— Р. Гейманъ и К. К. Зедегольмъ были профессорами московскаго университета въ 40-хъ и 50-хъ годахъ; первый химіи, а второй—философіи.

— Стефенсъ (Генрихъ) — нѣмецкій философъ и писатель (1773—1845).

Стр. 153. Статья „Умъ хорошо, а два лучше“ была напечатана въ Россіи въ первый разъ въ „Русской Старинѣ“ 1871 г., № 4, стр. 524. Тамъ эта статья отнесена къ 1846 году.

Стр. 157. Статья „Путевыя записки Вѣдрина“ представляетъ фдкую пародію на „Путевыя записки“ М. П. Погодина, печатавшіяся въ „Москвитининъ“.

— Петръ Ив. Кенпень (1793—1865), археологъ, статистикъ и этнографъ, написавшій болѣе 130 сочиненій.

Стр. 161. „Письма объ изученіи природы“ печатались въ „Отеч. Запискахъ“ 1845 г. (№№ 4, 7, 8 и 11, отдѣлѣ II, томъ XXXIX, стр. 81—118, XLI, стр. 1—35 и 73—95 и XLIII, стр. 1—28) и 1846 г. (томъ XLV, №№ 3 и 4).

— Генри-Томасъ Кольбрукъ (1765—1835), былъ первымъ санскритологомъ своего времени, положившимъ въ Европѣ начало изученію индійской литературы.

Стр. 174. Французскій математикъ и физикъ Габріэль Ламе (1795—1870) руководилъ, между прочимъ, устройствомъ дорогъ въ Россіи.

Стр. 177. Левкиппъ—греческій философъ, жившій въ концѣ VI и началѣ V в. до Р. Х. и первый выдвинувшій атомистическую теорію, болѣе полно развитую затѣмъ Демокритомъ (жившимъ приблизительно между 460—360 гг. до Р. Х.).

Стр. 181. Петръ Камперъ (1722—1789), голлан. врачъ и натуралистъ.

Стр. 182. Фридрихъ-Генрихъ Якоби (1743—1819), нѣмецкій философъ-романтикъ, въ своихъ сочиненіяхъ указывавшій на несостоятельность философіи и на привожденную намъ вѣру, какъ единственную основу удовлетворенія запросовъ челоѣческаго духа.

Стр. 183. Яковъ Бемъ (Беме), нѣмецкій мистикъ (1575—1624), по ремеслу сапожникъ, написалъ много мистическихъ и теософскихъ сочиненій.

Стр. 196. „Смерть Авеля“, идиллически-героическая поэма извѣстнаго въ свое время швейцарскаго поэта-идиллика Соломона Геснера (1730—1788), была переведена на русскій языкъ Д. И. Фонвизиннымъ.

Стр. 197. Альбрехтъ Геслеръ былъ около 1300 года намѣстникомъ гарманскаго императора въ швейцарскомъ кантонѣ Ури и, по народному сказанію (опозитивированному Шиллеромъ въ извѣстной драмѣ), за свою жестокость

былъ убитъ Вильгельмомъ Теллемъ въ 1307 г.

Стр. 202. Протагоръ (480—410 до Р. Х.), ученикъ Демокрита, обвиненный въ атеизмъ, принужденъ былъ убѣгать изъ Афинъ. Первый назвалъ себя софистомъ. Изъ его сочиненій, сожженныхъ афинскими властями, до насъ дошли только отрывки.

Стр. 210. Анаксимандръ (610—546 до Р. Х.)—греческій философъ іонійской школы, учившій, что начало всѣхъ вещей „бѣзконечное“.

Стр. 213. Парменидъ—греческій философъ, глава элеатской школы, жившій въ V в. до Р. Х.

Стр. 231. Ксенофанъ Колофонскій, основатель элейской школы, греческій философъ, жившій въ VI в. до Р. Х.

Стр. 258. Порфирій (232—305), ученикъ Плотина, философъ-неоплатоникъ, комментировавшій сочиненія Аристотеля и Платона, враждебный къ христіанству и видѣвшій цѣль жизни въ спасеніи души и въ аскетическихъ подвигахъ. Большая часть его сочиненій погибла.

— Плотинъ (205—270), философъ неоплатонической школы. Его ученіе представляетъ примиреніе греческой школы съ восточною и проповѣдуетъ слияніе, въ порывѣ экстаза, съ божествомъ души человѣка, очищенной и подготовленной къ тому добродѣтельной жизнью и созерцаніемъ.

Стр. 261. Маркъ-Анній Луканъ (39—65), племянникъ Сенеки, римскій поэтъ, казненный Нерономъ. Лучшее его произведеніе—поэма „Фарсалія“.

Стр. 264 Стратонъ—философъ-перипатетикъ, жившій въ III в. до Р. Х. (ум. въ 270 г.), подводившій всѣ разнообразныя явленія міра подъ дѣйствіе слѣбныхъ силъ природы, не допуская въ ней разума.

— Иоганнъ-Теодилъ Буле (1763—1821), на „Исторію философіи“ котораго ссылается Герценъ, былъ замѣчательнымъ философомъ и историкомъ въ свое время; былъ профессоромъ въ московскомъ университетѣ (1804—1809), написалъ рядъ цѣнныхъ ученыхъ трудовъ, издавалъ „Московскія Ученыя Вѣдомости“ (1805—1807).

Стр. 275. Луциліо Ванини (1585—1619), итальянскій философъ, сожженный за критическое отношеніе къ религіи.

— Петръ Ломбардскій, знаменитый схоластикъ XII в. (ум. въ 1164 г.),

ученикъ Абеляра. Съ 1159 г. былъ парижскимъ епископомъ. Главное его сочиненіе „Sententiarum libri IV“ множество разъ комментировалось и пользовалось авторитетомъ до самой реформаци; въ немъ, въ первый разъ на Западѣ, догматика была собрана въ одно систематическое цѣлое.

Стр. 277. Пьетро Помпонаций—итальянскій философъ (1642—1525), преподававшій въ Падуѣ и Болоньѣ перипатетическую философію, которую онъ старался освободить изъ-подъ вліянія авторитета церкви. Главное его сочиненіе „О безсмертіи души“.

Стр. 286. Иоганнъ-Генрихъ Юнгъ, прозванный Штиллингомъ, извѣстный писатель-мистикъ (1740—1817), сочиненія котораго были очень распространены и переводились и на русскій языкъ.

Стр. 288. Арнольдъ Брешианскій—итальянскій проповѣдникъ XII в., ученикъ Абеляра, противникъ свѣтской власти духовенства. Съ 1146 г. 10 лѣтъ громилъ, поддерживаемый народомъ, папство, добиваясь возстановленія римской республики. Въ 1155 г. былъ повѣшенъ по приказанію папы Адріана IV.

Стр. 293. Иоганнъ-Эдуардъ Эрдманъ (1805—1892), нѣмекій ученый, написавшій рядъ основательныхъ трудовъ по исторіи древней и новой философіи.

Стр. 296. Генри Моръ (или, какъ онъ названъ у Герцена, Генрихъ Морусъ) былъ англ. философъ XVII в. (1614—1687), проф. богословія и философіи камбриджскаго университета. Держался въ философіи неоплатоновскаго мистицизма, а въ естествознаніи былъ послѣдователемъ Парацельса.

Стр. 303. Графъ Жозефъ де-Местръ (1754—1821), французскій писатель, проповѣдовавшій въ своихъ сочиненіяхъ рѣзкій церковный абсолютизмъ и возвращеніе къ средневѣковой власти папъ. Въ 1803—17 гг. былъ сардинскимъ посланникомъ въ Петербургъ, а затѣмъ министромъ въ Сардиніи.

Стр. 326. „Послѣдующія письма“, о которыхъ говоритъ Герценъ, не были имъ написаны.

Стр. 332. Антуанъ Барнавъ (1761—1793), франц. революціонеръ, замѣчательный ораторъ національнаго собранія 1789 г. и защитникъ Лафайета. Влюбившись въ Марию-Антуанетту, при начавшемся террорѣ онъ сталъ защищать королевскую семью и былъ казненъ.

Стр. 337. Статья „Публичныя чтенія г-на профессора Рулье“ была напечатана въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, 1845 г., № 147 и 148.

Стр. 341. Зоологъ Карлъ Францовичъ Рулье (1814—1858), былъ профессоромъ московскаго университета, основалъ и редактировалъ (1854—57) журналъ „Вѣстникъ Естеств. Наукъ“.

Стр. 347. Т. П. Пассекъ рассказываетъ въ своихъ запискахъ, не указывая года, что эта реклама была написана Герценомъ по просьбѣ К. И. Зонненберга, долгое время состоявшаго при немъ, а раньше—при Огаревѣ, чѣмъ-то въ родѣ дядьки (о немъ—подробно въ „Быломъ и Думахъ“); она-же дважды напечатала эту шутку: сначала отдѣльно въ „Рус. Стар.“, 1874 г., т. IX, стр. 401—6, затѣмъ въ своихъ запискахъ „Изъ дальнихъ лѣтъ“, т. II, стр. 113—8. По ея словамъ, реклама впервые была напечатана въ „Сѣверной Пчелѣ“ и тотчасъ перепечатана въ прибавленіяхъ къ „Русскому Инвалиду“ (такъ сказано въ „Рус. Стар.“, въ запискахъ-же она указываетъ обратный порядокъ сначала „Инвалидъ“, потомъ „Пчела“), но это, повидимому, невѣрно; по крайней мѣрѣ, мы не нашли рекламы ни въ „Инвалидѣ“, ни въ „Пчелѣ“: она напечатана, какъ указалъ уже М. А. Веневитиновъ („Рус. Стар.“ 1888 г., июнь, стр. 702) въ „Отеч. Запискахъ“ 1844 г., т. 37-й, кн. XI, смѣсь, стр. 64. Ей предпосланы здѣсь слѣдующія слова отъ редакціи: „Мы получили пресмѣшной пуфъ, и не англійскій, который передаемъ нашимъ читателямъ“. Между текстомъ, который даетъ Пассекъ, и текстомъ „Отеч. Зап.“, есть различія: у Пассекъ возстановлены нѣкоторые мѣста, опущенныя въ „Отеч. Зап.“ очевидно ради цензурныхъ соображеній. Кое-гдѣ, напротивъ, текстъ „Отеч. Записокъ“ полнѣе. Мы перепечатываемъ рекламу изъ записокъ Пассекъ.

Стр. 351. Первая половина этой статьи (первая глава) была напечатана въ изданномъ Н. А. Некрасовымъ „Петербургскомъ Сборникѣ“ (Спб., 1846), а вторая—„Новыя варіаціи на старыя темы“ (стр. 362 и слѣд.)—въ „Современникѣ“ 1848 г., № 2, томъ VII.

Стр. 375. Іоаннъ-Петръ Эккерманъ былъ близкимъ другомъ Гёте, издалъ свои съ нимъ „Разговоры“ (переведенныя на русскій языкъ Д. В. Аверкіевымъ, 2 т., Спб., 1891).

Стр. 376. „Станція Едрово“ пред-

ставляетъ собственно отрывокъ изъ выше напечатанной (стр. 53—59 этого же тома) статьи „Москва и Петербургъ“.

Стр. 377. „Мартинъ Чаззльвигъ“—одинъ изъ романовъ Диккенса.

Стр. 387. Жакъ Маржеретъ—франц. авантюристъ, служившій сперва Борису Годунову, затѣмъ Лжедмитрію, Тушинскому вору и полякамъ. Оставилъ интересное описаніе современныхъ ему русскихъ событій („Etat de l'Empire de Russie“).

— Антоніо Поссевинъ (р. 1534, ум. 1611), іезуитъ, имѣвшій отъ папы Григорія III порученія на сѣверѣ Европы. При его посредствѣ заключенъ былъ миръ между Иваномъ Грознымъ и Батріемъ. Написалъ описаніе Россіи („Moscovia“)—весьма цѣнный историческій памятникъ.

— Джилльсъ Флетчеръ (ум. въ 1610 г.) былъ отправленъ королевой англійской Елизаветой съ дипломатическимъ порученіемъ въ Россію, которую и описалъ въ чрезвычайно любопытномъ и важномъ историческомъ сочиненіи „О русскомъ государствѣ“ („On the Russian Common Wealth“). Русскій переводъ этой книги, напечатанный въ 1848 г. въ „Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей Росс.“, былъ сожженъ, а редакторъ „Чтеній“ О. М. Бодянский былъ уволенъ въ отставку изъ профессоровъ московскаго университета (впослѣдствіи снова получилъ кафедру).

Стр. 391. Статья „Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести“ была напечатана въ „Современникѣ“ 1848 г. (а не 1847, какъ сказано въ подзаголовкѣ), № 8 (томъ X).

Стр. 402. Жакеріи (у Герцена: Жакри)—кровавыя возстанія французскихъ крестьянъ противъ притѣсненій феодальнаго дворянства и рыцарства.

Стр. 417. „Оба лучше“ было напечатано въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ за 1856 г., № 206. Принадлежность этого очерка, подписаннаго буквами В. Б., Герцену подтверждается письмами Тургенева къ послѣднему (см. „Письма Кавелина и Тургенева къ Герцену“, изд. Драгоманова). 3 (15) дек. 1856 г. Тургеневъ пишетъ: „Милый Герценъ, мнѣ непремѣнно хочется прочесть „Барнумъ и Горастъ“, и поэтому сдѣлай одолженіе—пришли его къ той дамѣ“, и т. д.; въ письмѣ отъ 9 (21) дек. онъ повторяетъ эту просьбу, а 8 янв. 1857 г. уже извѣщаетъ: „Барнума

и Орася я на днях прочелъ въ одномъ №-рѣ „С.-П.-бургскихъ Вѣдомостей“ и только пожалѣлъ, что коротко: очень умная и тонкая вещьца“. — Очеркъ перепечатанъ въ упомянутомъ изданіи Драгоманова.

Стр. 417. Финеасъ-Тейлоръ Барнумъ (1810—1891), извѣстный американскій антрепренеръ-аферистъ, нажившій миллионы, показывая публикѣ разныя диковины: няньку Вашингтона, карлика Тома Пуса, выписавъ въ Америку знаменитую шведскую пѣвицу Джени Линдъ и проч. Онъ издалъ свою автобіографію, переведенную почти на все европейскіе языки.

— Орасъ (Горасъ)—герой извѣстнаго романа Жоржъ-Занда „Горасъ“ (изданъ въ 1842, не разъ переведенъ и на русскій языкъ).

Стр. 421. Фоблазъ—герой скабрезнаго романа (перевед. на русскій языкъ въ 1903 г.) „Любовныя приключенія кавалера Фоблаза“, написаннаго Луве-де-Кувре (1760—1797). Фоблазъ превратился въ нарицательное имя типическаго соблазнителья женщинъ.

Стр. 422. Графъ Анри Ларошжакленъ (1772—1794), франц. легитимистъ, ставшій во время революціи однимъ изъ вождей вандейцевъ. Онъ былъ убитъ въ сраженіи съ республиканскими войсками.

— Манонъ Леско — героиня знаменитаго романа аббата Прево, падшая женщина, достигающая реабилитаціи путемъ искренней любви.

— Сентъ-Лазаръ—женская тюрьма въ Парижѣ, куда заключались порочныя и падшія женщины во времена второй имперіи.

Стр. 423. „Изъ писемъ путешественника. Во внутренности Англіи“. Этого очеркъ былъ напечатанъ въ фельетонѣ „С.-П.-бургскихъ Вѣдомостей“ за 1856 г., № 91. Принадлежность его Герцену доказывается тѣмъ, что онъ подписанъ буквами В. В., т. е. такъ же, какъ статья „Оба лучше“, которая была помѣщена въ фельетонѣ той же газеты за тотъ же годъ, и принадлежность которой Герцену удостовѣрена письмами И. С. Тургенева къ послѣднему.

Стр. 430. Принадлежность очерка

„Изъ воспоминаній объ Англіи“ Герцену удостовѣрена устнымъ свидѣтельствомъ П. А. Ефремова, которому говорить объ этомъ самъ Курочкинъ, редакторъ „Искры“, гдѣ, подъ псевдонимомъ *Н. Огурчиковъ*, была помѣщена эта статья (№ 24 за 1861 г.); притомъ всякій, кто знакомъ съ литературной манерой Герцена, безъ труда узнаетъ въ ней его стиль.

Стр. 432. Донъ-Рамонъ Кабрера — испанскій генералъ, одинъ изъ вождей карлистовъ, долго сражавшійся (въ 30-хъ и 40-хъ годахъ) противъ королевы Изабеллы.

— Томасъ Цумалакарекви (у Герцена: Цумалагерекъ), другой испанскій также карлистскій генералъ (1789—1835), искусный партизанъ, сражавшійся съ войсками королевы Христины и Изабеллы въ началѣ 30-хъ годовъ.

— Графъ Монтемолинъ (1818—1861), ранѣе у испанскихъ карлистовъ называвшійся королемъ Карломъ VI, принцъ астрійскій, старшій сынъ претендента Донъ-Карлоса (брата короля Фердинанда VII). Послѣ неудачной попытки возстанія въ Испаніи въ 1860 г. былъ взятъ въ плѣнъ и, отказавшись отъ своихъ притязаній на испанскій тронъ, принялъ имя графа Монтемолина.

Стр. 433. Пальмеръ—отравитель-докторъ, процессъ котораго надѣлалъ шуму въ Лондонѣ въ 1865 г.

Стр. 436. „Русская колонія въ Парижѣ“ небольшая статья, помѣщенная Герценомъ (на франц. яз.) въ путеводителѣ по Парижу, изданномъ по случаю всемірной выставки 1867 года: *Paris-Guide par les principaux écrivains et artistes de France. Deuxième partie: La Vie. Paris 1867: отдѣлъ: Les étrangers à Paris.* Переводъ этой статейки (безъ пропусковъ и очень точный) мы заимствуемъ изъ „Отеч. Записокъ“ 1867 года (сентябрь, „Критич. замѣтки“, стр. 30 и сл.).

Стр. 440. Статья „Опытъ бесѣды съ молодыми людьми“ была напечатана въ „Полярной Звѣздѣ“, книжка 4-я (1858 г.).

Стр. 452. „Разговоры съ дѣтми“ напечатаны были въ „Полярной Звѣздѣ“, книжка 5-я (1859 г.).



AC
65
H43
t.4

Hertzen, Aleksandr Ivanovich
Sochineniia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

UTL AT DOWNSVIEW



D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 16 08 24 01 015 8